179964

Владимир Санги

Уисгока

Владимир
Санги

Исток

Романы,
повести,
рассказы

«Современник»
Москва. 1981

С(Сиб)
С 18

Санги В.

С 18 У истока: Романы, повести, рассказы. — М.: Современник, 1981. — 464. с., ил.

Творчество В. Санги, первого в истории маленького народа нивхов писателя, знакомо не только русскому, но и зарубежному читателю.

В сборник вошли лучшие прозаические произведения, получившие всесоюзное признание: роман «Ложный гон», повествующий о сегодняшнем дне сахалинских охотников, и роман «Женитьба Кевонгов», который занимает в книге центральное место и представляет собой широкую панораму жизни народа нивхов; повести «Изгин» и «Тынграй», рассказы, легенды, сказки.

С $\frac{70303—156}{М106(03)—81}$ 233 — 81

4702730000
ББК84Ни
С(Сиб)

©ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВРЕМЕННИК», 1981 г.

ОСНОВОПОЛОЖНИК НИВХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В нивхский поселок Чир-Унвд, расположенный в среднем течении большой нерестовой реки Тымь, мы — Владимир Санги и я — приехали в середине августа 1960 года. Тогда не было у Санги ни знаменитой повести «Изгин», ни романа «Ложный гон», не мучился он еще, обдумывая сюжет романа «Женитьба Кевонгов». Не было у Санги тогда ни всесоюзной, ни европейской известности. Мы просто задумали большое путешествие по северу Сахалина. Первым, наиболее трудным этапом наметили: спуститься на лодке от Чир-Унвда до устья Тыми.

Признаться, мне не очень верилось — удастся ли нам это. Но Санги успокаивал: он верил в своих соплеменников — они не оставят без участия. Так оно и свершилось: для нас построили лодку, удобную, легкую, из нескольких гладко оструганных плах. Дали проводника, собаку, ружье. Всем поселком вышли провожать.

И едва скрылись рубленые дома, маленькая школа, сельсовет с красным флагом, я понял, как благородно и разумно поступили нивхи, дав нам проводника: река быстра, местами порожиста, с крутыми излучинами, водоворотами, и наш старик рулевой, сидя с веслом на корме, умело держал лодку на видимом лишь ему фарватере реки.

Четыре дня мы плыли по Тыми, ночевали в палатке, ставя ее на открытых, омытых летними паводками, галечниковых косах, — здесь меньше донимал гнус, — ловили рыбу, по ночам слушали близкий и тяжелый медвежий топот. И ни разу молчаливый проводник не влез в нашу палатку. Он ложился у костра, спал или дремал — не понять, но утром была наловлена свежая рыба, приготовлена уха, круто, по-нивхски, заварен чай.

До сих пор я помню нашего проводника, хоть и забыл его имя, вряд ли мог бы описать в точности лицо, одежду, помню его поведение: мягкое, ненавязчивое, внимательное, однако без намека на покорную услужливость, хоть и сопровождал он двух «важных людей» — писателей. Даже когда лодка чуть не перевернулась на перекате и спасла нас смекалка и решительность проводника, я не заметил, чтобы он смутился или выказал гордость за свою находчивость. На его смуглом, как бы слегка сонном лице можно было прочесть одно: «Что ж, жизнь и не такие испытания преподносит». И, конечно, старик не взял с нас плату за свой труд в районном поселке Ноглики, куда мы благополучно прибыли. Пожал руки на берегу и исчез, будто его вовсе не было.

Именно таким мне видится главный герой романа «Женитьба Кевонгов», старейший вымирающего рода Кевонгов Касказик: немногословен, несуетлив, всегда в работе и думах — на первый взгляд вроде бы не

сложных, но значительных и, не побоюсь сказать, общечеловеческих. Потому что нет ничего важнее для главы человеческого рода, как продлить себя в детях, внуках, правнуках; как прокормить, научить делу, воспитать детей добрыми, чтобы они могли не просто жить на земле, но и дать земле жизнь.

У Касказика была и своя, малопонятная теперь, забота: найти жен для двух сыновей, иметь много внуков, то есть сохранить вымирающий род Кевонгов.

Удивительно человечна эта забота, если представить, что такое был остров Сахалин для тогдашних нивхов: огромная, богатая зверем, рыбой, птицей земля, но малонаселенная людьми. И Касказик хочет, чтобы Сахалин не опустел, чтобы всегда ходили по нему нивхи, чтобы всегда на земле звучали голоса детей.

Род Кевонгов жил в среднем течении Тыми, приблизительно там, где сейчас находится селение Чир-Унвд; выше и ниже по течению реки располагались другие стойбища. Мальчик Ыкилак из стойбища Кево и девочка Ланьгук из стойбища Аво были помолвлены несмышленышами: над ними совершили брачный ритуал — повязали ноги чныр-травой и таким образом скрепили брачным союзом. Ланьгук осталась дома, Ыкилака отец увез в свое стойбище. Им надо было вырасти, невесте научиться вести домашнее хозяйство, а жениху стать настоящим мужчиной — охотником, рыбаком, — прежде чем они зажгут очаг в собственном жилище.

Учится делу Ыкилак у отца. Со старшим братом Наукуном ловит горбушу сетью, умело сплетенной матерью из высушенных стеблей крапивы. Сеть забрасывают с лодки, выдолбленной Касказиком из огромного тополиного ствола. Горбуши им надо заготовить вдосталь: зима долга, а юкола — главная еда нивха, юколой нивхи кормят и своих помощников — собак. Все шесты на солнечном и ветреном берегу увешаны «красными языками» юколы.

А когда деревья и кусты
В снег оденет зимняя пора,
Юколу, как солнце, на куски
Будут резать нивхи у костра, —

вспоминаются стихи Владимира Санги, сочиненные им в ту нашу поездку по Тыми.

В романе много прекрасно и точно выписанных сцен. Вот одна из них — охота на соболя по чернотропу.

«— Подойдите ко мне! — сипло сказал старик.

Сыновья подошли, напряженные в ожидании.

— Соболь, он ходит широко по тайге. Но есть у него любимые места, где он охотится, есть любимые места, где он спит. И переходит ручьи по одним и тем же мосткам. Вот это дерево. Смотрите, чуть выше и здесь. Видите, кора сбита? Это соболь. Один и тот же соболь».

Но необходимо задобрить хозяина тайги Ызнга. Старый Касказик берет завернутые в бересту мос — студень с ягодой, сушеные клубни сараны, немного юколы, щепотку табака и маленький кусок плиточного чая, все это швыряет под куст, произнося речь:

«— Мы к тебе пришли. К доброму хозяину богатых угодий. Дали бы тебе больше, но мы бедные люди. Покормили бы лучше, но у нас нет. Бедные люди мы, неимущие люди мы. На, прими. Делимся с тобой последним. Не серчай. Сделай, чтобы нам было хорошо. Бедные люди мы, неимущие люди. Чух!»

Приходилось мне видеть рыбную ловлю и охоту современных нивхов, они уже не задабривают духов тайги и моря, но добывают рыбу и зверя не менее искусно. Помню, как Владимир Санги, стоя в качающейся лодке, мгновенно вскинул ружье и точным выстрелом сшиб морскую утку на едва досягаемом расстоянии — она круто, камнем упала в воду.

В другой раз, весной, Владимир Санги пригласил меня в родной поселок Чайво поохотиться на нерпу. Конечно, охотился он сам, ибо не каждый молодой нивх сегодня рискнет испытать себя в неспокойном море с плавучими льдами. А Санги добыл крупных морских зверей и вместе со своим старшим братом ловко разделал их на припае — метровой толщины нерастаявшей прибрежной льдине. И потянулись к охотникам жители поселка. Владимир точными взмахами ножа отсекал большие куски мяса и толстого сала, бросал в подставленные миски, тазы. Каждый, кто пришел, получил бесплатно свою часть нерпы, молча благодаря удачливого охотника. И я понял, как справедливо нарекли Владимира Санги старые нивхи Добытчиком.

Четко, живо видятся мне эти картины, пожалуй, потому, что в каждой строке «Женитьбы Кевонгов» как бы присутствует сам автор — мыслями, манерой говорить, умением поймать рыбу, добыть птицу и зверя, а главное — глубокой заботой о своем маленьком самобытном народе. Я вижу его в нашем немногословном проводнике, в старейшине рода Кевонгов нивхе Касказике.

Почти в каждом произведении В. Санги присутствует старик — хранитель родовых преданий, мудрости, опыта народного. Это не случайно: писатель этим подчеркивает важнейшую мысль — долг старшего поколения передать младшему весь свой опыт, дела и неосуществленные заботы.

Роман В. Санги «Ложный гон» — произведение о современности. В тайгу приходит много хороших перемен. Но старый охотник Лучка размышляет: «Нынче пошли люди, к жизни совсем неприспособленные. Парню восемнадцатый год, а он еще и тайги не видел. В его возрасте я четырех человек кормил...» Юный Пларгун, о котором так сокрушается Лучка, и сам отлично понимает, что первый соболиный сезон для него будет нелегким. Однако и предположить он не мог, какими поистине страшными трудностями встретит его тайга. Пларгун будет блуждать в сопках, замерзать, едва не погибнет в лапах медведя, заболеет цингой (тоже по неопытности), его капканы посыплет табаком безжалостный, жадный до денег Нехан, чтобы выжить юношу из тайги, отловить и присвоить отпущенных тому лимитом соболей. Казалось бы, даже всезнающий старик Лучка поначалу бессилен против Нехана, назначенного звеньевым, ему не верится, что так нечестно, нагло может повести себя человек. Лучка помогает Пларгуну

выстоять, выполнить план. Но и сам прозревает: да, в тайгу пришло много хороших перемен (охотников перевозят на вертолетах, снабжают продуктами, припасами, одеждой), и вместе с тем в тайге появился новый человек — предприимчивый хищник.

Образ Нехана — сильного, опытного, познавшего опьяняющую сладость руководящей работы, жаждущего известности, пытающегося любой ценой добиться нового выдвижения, — несомненная удача В. Санги. Выписав Нехана крупно, с нажимом, талантливый писатель показал социально опасную сущность таких типов.

В. Санги не часто прибегает к острым конфликтам. Ему свойственна неторопливая, порой сказительная манера письма, что вполне понятно: суровая жизнь его героев не терпит спешки.

Вот старик Изгин из одноименной повести. «Сколько исходил Изгин за свою долгую жизнь! На восточном побережье Сахалина нет урочища, где бы в погоне за удачей не побывал Изгин. Нет здесь ни одного залива, ни одной речки, где бы не рыбачил Изгин». Но старик еще и отличный сказитель. Послушать Изгина приезжает профессор из Москвы, его тылгуры — легенды — записывает нивхский поэт... И все же Изгин не забывает своего главного дела на земле: пока видят его глаза, ходят ноги — приносить людям посильную пользу.

И здесь писатель оттеняет такую черту своего героя, которая была свойственна нивхам во все времена, но сегодня жизненно необходима не только для нивхов — детей природы, но и для всего человечества, — бережливое отношение к природе. Изгин никогда не брал ничего лишнего, но теперь оберегает черно-бурого сильного лисовина, ибо от него нарождается породистое потомство. Наконец он решается убить постаревшего лисовина, чтобы он не стал добычей какого-либо другого зверя, отдал шкуру ему, Изгину, своему давнему другу («Пусть все узнают о неслыханной шкуре! Пусть все узнают, что лучший охотник — это Изгин. На закате жизни Изгина посетит большая охотничья слава»), однако, увидев, как лисовин играет с молоденькой лисой, он опускает ружье: нельзя — у лисовина еще будет потомство!

В сборник Владимира Санги вошли его лучшие прозаические произведения. Здесь и повесть «Тынграй» — о собаке, преданном друге, и рассказы, и сказки. Все эти вещи талантливы и своеобычны. Но центральное место как по объему, так и по содержанию занимает роман «Женитьба Кевонгов». С него я начал свое эссе, им и закончу.

Пока Касказик добывает пушнину, сушит юколу, думает о женитьбе сыновей, на побережье Охотского моря, в устье Тыми приходит иная жизнь: там начинает орудовать купец Тимоша Пупок, отпрыск бывшего каторжника. Бойко торгует лавка, Тимоша скупает меха, выдает в долг спирт, табак и охотничьи припасы, чтобы потом втридорога содрать за свою «щедрость». Помогает ему якут Чочуна, человек хитрый, мечтающий открыть свою торговлю. Не стесняются купцы, обманывают добрых и ждущих ответной доброты людей, а то и просто жестоко бьют палками, поджигают их жилища, если не получают в срок пушнину.

Жизнь побережья, выбитая из веками сложившихся нравственных устоев, коснулась и стойбища Ке-во. Неудачи, обгоняя одна другую, на-

стигают Касказика. Теперь нигде, ни за какой выкуп ему не удастся взять невесту для второго сына Наукуна. Старик чувствовал перед ним вину (по нивхскому обычаю полагается женить сначала старшего), перестали ладить между собою братья: менее одаренный, неудачливый Наукун пользовался любой возможностью, чтобы обидеть, унизить брата Ыкилака. В ранее дружной семье стало неуютно.

Две зимы Кевонги запасались пушниной, звериными шкурами, летом ловили и сушили юколу. На третью, погрузив богатые дары в нарты, отправились в стойбище Аво брать невесту. Холодно встречает их старейший рода Авонгов согбенный Эмрайн, молчат его сыновья, совсем не видно Ланьгук, будто ее прячут. Недоброе почувствовал Касказик, злые духи и тут опередили его. Но не надо сдаваться, древние обычаи сильнее людей и духов. Он напевает Авонгам легенду, в которой говорится о вечной дружбе двух родов, о нерушимой святости родовых обычаев, взывает к их душам, совести.

И все-таки Эмрайн назначает Ыкилаку испытание — убить медведя, доказать, что он уже мужчина, сможет прокормить жену. Испытание оскорбительное, никогда между близкими родами не бытовавшее.

Семнадцатилетний юноша бьется с матерым хозяином тайги. Ыкилак одолевает зверя, победителем возвращается в стойбище Аво. Кажется, все препятствия преодолены, можно начинать свадебное пиршество. Но не дремлет Кутан, родовой шаман Авонгов. Помня о небывало богатом выкупе за Ланьгук, предложенном людьми с морского побережья, он тайно запрягает нарту, мчится сообщить им о готовящемся ритуале женитьбы.

Как буранный ветер, ворвался в стойбище на шести оленьих упряжках новоявленный купец якут Чочуна, а с ним и его верный подручный, хитро подкупленный им Ньолгун, мечтающий взять Ланьгук в жены. Для Чочуны не существует древних обычаев. Главное для него — пушнина, деньги. И если нравится его лучшему охотнику и помощнику Ньолгуну маленькая Ланьгук, надо взять ее, купить. Чочуна уверен: в этом мире все можно купить...

Чочуна спаивает старейшего Эмрайна, его сыновей. Шаман, побесновавшись, объявляет волю духов: Ыкилаку и Ньолгуну надо сражаться на фехтовальных палках — невеста достанется победителю.

Ыкилак, утомленный борьбой с медведем, проигрывает.

«Люди расходились. И лишь Касказик, растрепанный и жалкий, сидел на истоптанном множеством ног снегу, вскидывая руки, и спрашивал:

— Что же произошло, люди? Что случилось в этом мире? Что случилось, лю-у-уди?»

Трагическим вопросом, обращенным как бы к людям всей земли, заканчивается роман Владимира Санги «Женитьба Кевонгов». Заканчивается в книге, но не в нашем сознании. Потому-то и начал я эссе с путешествия по реке Тымь, на берегах которой живут нивхи нового времени. И хоть наш проводник образно соединился для меня со стариком Касказиком, — это человек современный, уверенный в себе, в своем праве на достоинство. Касказик не понял тогда очевидного теперь даже школьнику:

на землю добрых и честных нивхов пришли купцы и грабители, все стало продаваться и покупаться. Долгим будет путь Касказика к нашему проводнику, но он непременно совершится, глава рода Кевонгов увидит иную жизнь на берегах Сахалина, древней родины нивхов.

Владимир Санги, известный своими оригинальными стихами, рассказами, легендами, повестями, романами, представил читателю книгу прозы, талантливую, с многообразными, художественно убедительными характерами, дающую широкое представление о его в высшей степени самобытном и мужественном творчестве — творчестве первого нивхского писателя.

Владимир Санги удостоился редкой чести — при жизни быть названным основоположником новой литературы.

Анатолий Ткаченко

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

ЖЕНИТЬБА КЕВОНГОВ

Посвящается моему сыну Позвейну, первому нивху, родившемуся в Москве

Автор

Глава I

Еще в дни ледохода стойбище имело два топора. И если бы не этот окаянный Наукýн... Старейший рода Кевонгов скудоволосый и седой Касказúк велел сыновьям заготовить шесты: ожидался рунный ход горбуши, а солнце должно еще провялить древесину и съесть смолу. Братья — Наукун и Ыкилáк — ушли за стойбище к подножию кручи. Здесь, на средней террасе, над пахучим багульником и упругими кустами голубицы поднимался светлый лесок молодого лиственничника. Деревца тонкие, стройные, высокие. Братья рубили не спеша, выбирая длинные и ровные.

Ыкилак уже закончил рубить и ошкуривал, когда услышал резкий дребезжащий звон. И тут же — досадливый вскрик. Почувствовав неладное, юноша поспешил к старшему брату. Тот разглядывал топор, держа его лезвием к себе. В прошлом году отец выторговал этот тонколезвый топор за две крестовки[1]. И сейчас вот чуть не половина лезвия откололась.

Вечером братья вернулись домой, и Наукун, как старший, сообщил о проделанной работе.

— Двадцать штук, — сказал он, опустив голову. Пальцы машинально сдирали с ладони прилипшую смолу, скатывали шарики.

— Хватит. Там, у переката, восемьдесят прошлогодних. И здесь — шестьдесят старых да двадцать новых. Хватит.

Братья продолжали стоять, опустив головы. Старик насторожился. Вроде бы все в порядке. Поработали крепко. В чем же дело? Наконец глаза старейшего скользнули по

---

[1] Крестовка — темная дорогая лиса.

топору, зацепились за изломанную, с острыми краями, щербину.

— Хы! — Старик схватил лежавший рядом толстый сук, с размаху ударил по плечу старшего сына. Наукун, уклоняясь от новых ударов, подставил спину. Но злости у отца хватило еще лишь на один удар.

Старик выдернул топор из рук Наукуна, чтобы закинуть в реку, но передумал, стал внимательно разглядывать лезвие. Блескучая зернистость на изломе. Металл, гладкий снаружи, внутри как бы спрессован из мелких зерен. Охваченный удивлением, Касказик засунул топор под мышку и пошел в то-раф[1].

Наутро отец сказал за чаем:

— Теперь ночи для вас не будет.

Потом ушел к берегу, сел на корточки и внимательно осмотрел тополиное долготье, будто глазами хотел прощупать всю толщу древесины, определить, насколько она просохла. В прошлое лето сыновья в два топора срубили дерево-великан, разрезали на части: одна в семь махов, другая — в пять с половиной.

Жители Охотского побережья любят большие лодки. У них свои мерки. «О-о, хорошая лодка, — говорят обычно и тут же поясняют: — три лахтака и еще две нерпы можно погрузить». А Касказик приведет две новые, без единой трещины. Уже давно приморские нивхи не видели лодок, сделанных руками Касказика. Однако и по сей день те, кто выходил во льды на его лодках, помнят: легкие, с крутыми, невысокими бортами челноки устойчиво держались на волне и при ветре, даже резком, не ложились набок, легко разрезали волну, слушались рулевого весла.

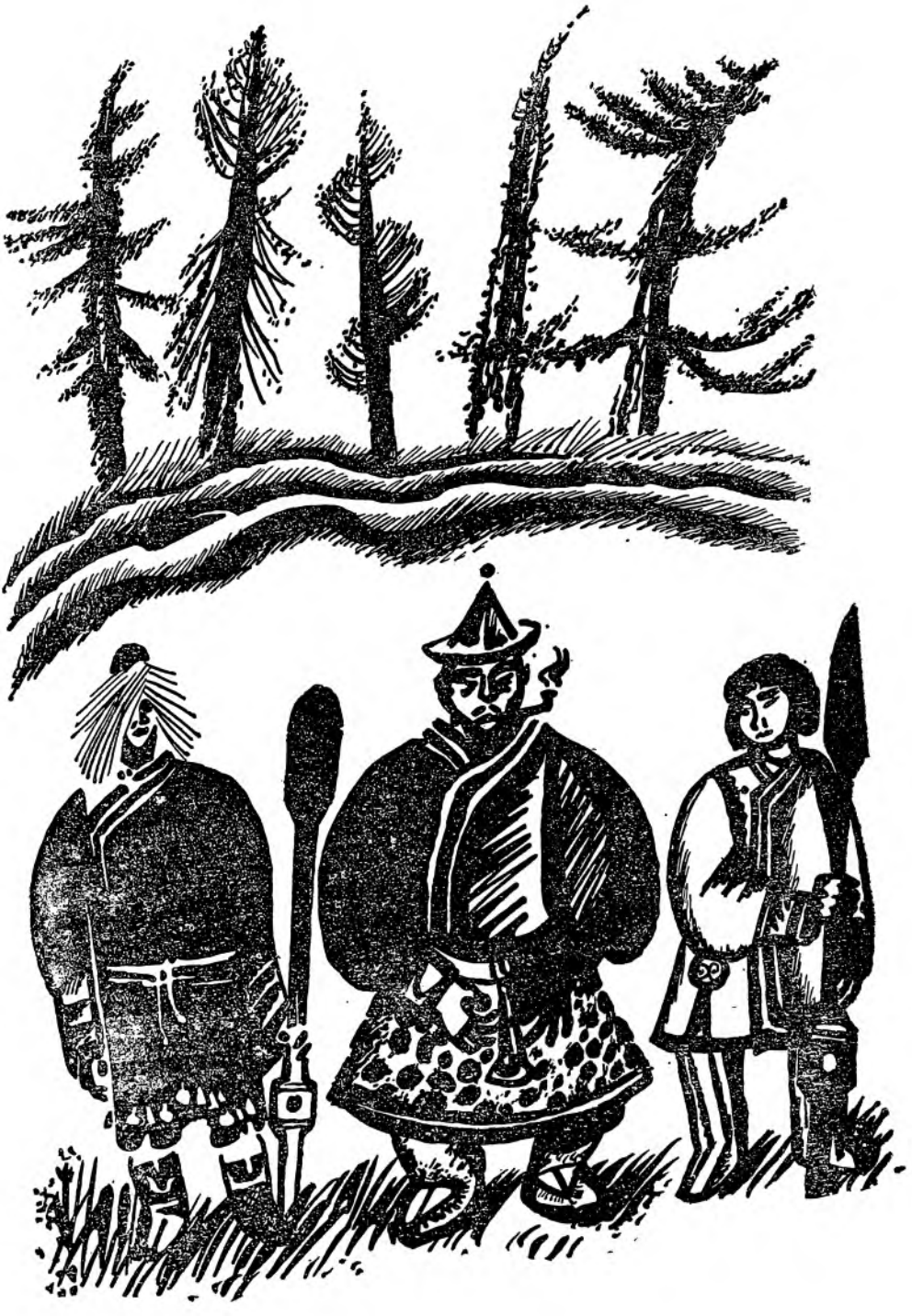
Вскоре после путины пригонит Касказик к туманному морскому берегу две новенькие ладные лодки. Все приморское стойбище — стар и млад — сбежится поглядеть на нивхов с Тыми, позавидовать их лодкам. Нет, Касказик не задержится на берегу — сразу в ке-раф[2] старейшего.

Около месяца сыновья долбили и рубили дерево. За это время их мать Талгу́к успела связать неводок из крапивы. В прошлое лето она нарезала крапиву и пучками вывесила на ветер. Пучков было много — заняли четыре шеста. А в короткие зимние дни среди множества хлопот она находила время и сучила из расщепленных волокон нитки. Дня зимой всегда не хватает. И Талгук сучила и в темноте, засиживаясь допоздна, чуткими пальцами безошибочно определяя толщину ниток.

Отец же возводил новые ха'сы — каркасные вешала для юколы — или подправлял покалеченные зимними буранами

---

[1] То-раф — зимнее, основное жилище нивхов.
[2] Ке-раф — летнее жилище.



старые. И каждый день до изнеможения возился с покалеченным топором. Касказик сточил уже несколько крупных брусков, выбранных им из речного галечника. Лезвие, казалось, почти не стачивалось. Но упрямый старик добился своего. В день, когда брусничник распустил маленькие, круглые, как бусинки, нежно-розовые цветочки на тоненьких ножках, торжествующий старик держал в руках тот же топор, но с укороченным сверкающим лезвием. А когда на перекатах забились первые серебристые гонцы горбуши, он велел сыновьям залить грубые, похожие на неумело сделанные большие корыта долбленки речной водой: стенки намокнут, станут податливыми.

Через несколько дней Кевонги вылили воду из долбленок и заранее приготовленными сухими деревянными распорками аккуратно и очень ровно развернули борта. Долбленки простоят на солнце до конца лета, просохнут, и только тогда старик доведет их: острейшим топором выточит борта и дно, придаст корме и носу нужную форму.

Закончив работу, братья наложили на израненные ладони мясистые листы подорожника, обвязали берестой...

Глава II

В начале осени Касказик вынул из угла завернутый в тряпку топор — тот, который спас неимоверным трудом. И, наказав сыновьям ловить кету, занялся лодками.

Наукун и Ыкилак положили новенький неводок в старую долбленку, спустились по Тыми к перекату. Люди стойбища Ке-во знали урочище, как свои ладони: помнили каждый мыс, каждую излучину и даже кусты на берегах и камни на перекатах.

Ыкилак стоял на носу и, отталкиваясь шестом, вел лодку по быстрому течению. Река стремилась закружить лодку, и юноше все время приходилось быть начеку.

Шест больно отдавал в грубые ладони. На поворотах и Наукун брался за свой шест.

Через два поворота, за мысом Комр-ах, длинным, похожим на язык, река сломалась: течение уперлось в подводные камни, вскинулось и круто упало. За перекатом русло глубокое и течение спокойней.

Братья пристали к песчаному берегу чуть выше переката и стали наблюдать за рекой. Дождей давно не было, и мыс вытянул свой язык чуть ли не до середины реки.

Прошло какое-то мгновение, и Наукун воскликнул:

— Вот! Вот! Вот!

Ыкилак взглянул туда, куда показывал брат. Между камнями, там, где течение ломалось и бугристо срывалось вниз, что-то мощно стрельнуло. Это могла быть кета — большая и сильная рыбина. Наукун глядел победителем — как-никак

он первый заметил, что кета уже пришла из моря. То здесь, то там длинные бурунчики указывали путь рыбин.

Братья стояли молча, радостно ошеломленные: пришло главное для жителей берегов Тыми время — время лова кеты.

Можно было метнуть невод. Но не хотелось действовать наугад: неизвестно, проскочившие между камнями рыбины — от косяка, который остановился у переката, или сильные гонцы-одиночки, которые первыми спешат к нерестилищам. Вечернее солнце отражалось в реке, било в глаза слепящими бликами. Какое-то время братья стояли в нерешительности. Конечно, можно закинуть — хоть несколько штук, да поймается. Но неводок у них новый, еще не был в деле. Хотелось начать с доброй добычи. Есть примета: каков первый замет — такова будет и уловистость невода.

Ыкилака осенило — он нашел на берегу высокий тополь и взобрался на него. Сверху толща воды просматривалась, но Ыкилак не увидел привычного темно-серого дна реки. Дно было почему-то черное. Какое-то время он соображал, с чего это дно так почернело. И тут заметил: в сплошной черноте то и дело проскакивало что-то продолговатое, белое. Вгляделся — голова закружилась: рыбины стояли так густо, что задним, чтобы пройти вперед хотя бы на длину своего тела, нужно было с силой растолкать передних. А те разевали острозубые пасти, давали знать, что без боя не уступят места.

Ыкилак скатился с дерева, второпях неловко перехватился рукой, ободрал кожу. Сунул кровоточащий палец в рот, отсосал кровь и крикнул:

— Рыба стоит, большой косяк!

Братья сняли летние торбаза, сшитые из скобленой, без шерсти, кожи ларги[1], засучили штаны. Осторожно, придерживая лодку за борт, спустили за камни переката. Наукун взял конец и оттолкнул лодку. Конец достаточно длинный — двадцать махов. Это оттого, что неводок короткий — при замете он должен захватить ту часть реки, где больше рыбы. А рыба часто стоит в тайхурах — ямах посредине реки, Ыкилак взмахнул шестом, резко распорол воду впереди у борта, достал дно, оттолкнулся. Потревоженные рыбины стрельнули в стороны.

Надо побыстрее закруглить невод. Несколько сильных толчков, и лодка свернула к берегу. Невод остался позади, и лишь подрагивающие деревянные поплавки указывали, где он находится.

Братья кое-как подтянули неводок, но притонить не сумели: рыбы попало слишком много. Надо что-то делать, иначе большая удача обернется бедой: сильные рыбины могут разорвать неводок.

---

[1] Ларга — крупный вид нерпы.

Ыкилак подскочил к брату, подал мокрый скользкий конец:

— Держи!

А сам, сбросив одежду, полез в невод. Рыба словно взбесилась, колошматила его хвостами, спинами. Ыкилак шел в глубину, с трудом пробивая дорогу в бьющейся массе.

Наукун стоял, раскрыв рот: что там еще задумал младший брат. А когда сообразил, крикнул:

— С ума сошел! Зачем отпускать то, что уже есть!

Но Ыкилак не слышал. А если бы и слышал, поступил бы все равно так, как решил. Еще много рыбы они поймают. Если, конечно, спасти невод. И Ыкилак схватил за подбору, дернул вверх.

Задыхавшиеся в темноте рыбины почувствовали свободу и заметались, определяя, в какой стороне они могут найти спасение.

Через миг-другой, словно влекомые невидимой силой, дружно устремились в глубину, туда, где стена невода была приподнята над галечным дном. За неводом взорвались буруны — это освободившиеся рыбины удирали подальше от ловушки.

— Хватит! Хватит! — орал Наукун. Но Ыкилак продолжал держать подбору на вытянутых кверху руках. Оглядываясь, он прикидывал, сколько еще нужно выпустить.

Откуда-то сзади вырвался крупный серебристый самец: голова в четыре кулака, сам толстый и широкий, нос крюком. Сметая на своем пути другие рыбины, он набрал скорость и таранил Ыкилака в спину. Юноша качнулся, руки опустились. Самец звучно шлепнулся в реку за спасительной чертой.

Наукун видел все. Он хохотал, явно издеваясь над братом. А Ыкилак ругал себя: «Сам виноват, не заметил вовремя, а то бы бросил подбору, вцепился руками и зубами в его здоровенную голову. Сколько там хрящей и жира — вкусная! — Голую спину саднило. — Ну и рыбина: чуть человека не прикончила», — восхищался Ыкилак.

Видя, что брат замешкался, Наукун потянул на себя оба конца. Ыкилак долго выбирался к берегу, шагая по плотным скользким спинам. Наукун хохотал над неудачей младшего брата.

Подтянуть-то невод подтянули. Всего маха на три-четыре. И опять в неводе стало угрожающе тесно. Ыкилак вновь полез в воду, но на этот раз по колено. Он хватал крупные рыбины за хвост и бросал на пологий песчаный берег. Иногда попадались такие крупные, что удержать за хвост оказывалось просто невозможно.

Уже в темноте братья перетаскали улов к голым пока вешалам, которые завтра оживут красной аккуратно нарезанной юколой.

Талгук сегодня развела огонь не во дворе, а в очаге — по ночам уже прохладно, и надо, чтобы то-раф потихоньку прогревался. Уже и мужа накормила, а сыновей все не было.

— Даже еды с собой не взяли, — сказала она тихо.

Касказик ничем не выдал себя; о чем думает старик, Талгук не знает. После долгого молчания он спросил:

— Где твои ножи? Проржавели, небось.

Более двух месяцев, со дня последнего лова тайменя, лежат ножи, обернутые в тряпку. Талгук сняла их с полки, размотала тряпку.

Касказик протянул руку и этим вконец сразил старуху. В какие годы и в какие времена почтенный старейший рода позволял себе такое пустяковое занятие — точить женские ножи?! Он мог сделать невероятное: спасти изуродованный топор. Но заниматься женскими ножами...

Длинные, в три четверти руки, узкие, с загнутыми концами ножи Касказик выковал из самурайской сабли. Долго отпускал сталь на жарких березовых углях. Каленную докрасна и податливую перековал, вытянул в длинную узкую полоску. Разрезал на четыре неодинаковых куска. Из одного, среднего, сделал себе охотничий нож. Из самого короткого — кривой строгальный. Чтобы он не тупился, калил на огне, а затем опустил в холодную воду. Из двух остальных кусков получились ножи — узкие и длинные, чтобы удобно было пластовать самую крупную рыбу. Этих ножей Касказик не закалял — мягкая сталь лучше скользит в сырой рыбе, разрезая ее на тонкие ровные полосы. Да и точить такие легче. К тому же при соприкосновении с гравием острие из каленой стали крошится.

На глазах изумленной Талгук Касказик вынул из-под нар деревянный ящичек и на ощупь нашел плоский камень-точило. Выправить лезвие ножей — дело несложное. И Касказик при отблеске очага принялся за работу, которую обычно выполняла Талгук сама, перед тем как разделывать рыбу.

Наутро старейший не взял в руки топора. Пришло время промысла. В дни промысла нивхом овладевает азарт. Тот, непохожий на все другие страсти, азарт, который возникает только у добытчиков. Эта страсть зажигает огнем угасшие взоры стариков. Она поднимает с постели больных, кружит им головы и, обезумевших, гонит за добычей.

Братья после утренних заметов отогревались у костра, когда подошли родители. С ними прибежала и собака. Окинув взглядом две горки рыбы, Касказик молча подсел к костру и произнес ни к кому не обращаясь:

— Начался рунный ход.

Талгук же зачарованно глядела на добычу сыновей, считала улов — хвосты. В счете своем она уже перевалила за сотню, когда старик движением плеч показал, что недоволен ее бездействием. Талгук знала, чего требует муж. Она схва-

тила плоскую деревянную миску и средний по размерам нож, отобрала крупную рыбу — самцов. Наточенный нож входил легко, и Талгук отрезала голову за головой. Много рыбы еще под низом, сотни две будет. А другая горка и того больше. Талгук улыбалась своим мыслям, но вдруг оглянулась, словно ее уличили в нехорошем. «Добрый дух, не смотри на меня сердито. Я знаю, нельзя быть жадной и грех считать твои дары: сколько бы ты нам ни дал — много ли, мало ли — мы всегда благодарны тебе. Не сердись. Не обходи нас».

Талгук кинула крупные головы в студеную воду, ловко смыла густую слизь и принялась разрезать. Жаберные крышки и костяные обводы пастей с большими загнутыми зубами она легко убрала короткими движениями ножа. Отделила челюсти.

Чай пусть себе греется пока. Касказик положил в рот полоски нежнейших челюстных мышц с тонким мягким хрящом. Потом разжевал мясистые щечки и следом же — большие разрезанные пополам глаза. К тому времени, когда старик добрался до главного лакомства — крупных носовых хрящей, запел чайник.

Братья тоже ели головы. Но, стремясь быстрее насытиться, избавляли себя от лишних хлопот — срезали только хрящеватые носы, жевали крупно и смачно.

Запасливая Талгук прихватила с собой щепоть чая, завязав ее в тряпочку.

Мужчины наелись, потом пили обжигающий душистый чай, радовались добыче, старались хоть на сегодня забыть о больших, но дальних заботах. В довершение радостей с наветренной стороны жаркого костра пеклась распластанная кета. Красная рыбина от жары становилась еще краснее, испускала дразнящий аппетитный дух, исходила соком и жиром.

Талгук подобрала кости и недоеденные хрящи от кетовых голов, бросила собаке. А сама в это время мысленно разговаривала с Курном — всевышним духом: «Видишь, как мы хорошо поступаем: ни одной косточки от твоего дара не пропало. Делай нам всегда хорошо».

Талгук не стала ждать конца трапезы — принялась резать рыбу. И старик допивал чай в одиночестве — сыновья занялись мокрым неводом. Нужно очистить его от травы и развесить на шестах, чтобы побило ветром. Нити из крапивы боятся сырости, и, если после замета оставить невод комом, быстро может погибнуть.

Сыновья пробудут на мысу дней десять. Потом рыба пойдет вверх и перед тем, как устремиться на нерестилища, задержится в Пила-Тайхуре — Большой Яме: будет ждать, пока созреет икра. Вместе с сыновьями все дни на мысу проведет и мать. Ей предстоит очень много работы: ни одна кетина не должна пропасть. А у переката рыба жирная, мяса

в ней много. И приходится срезать по две, а то и по три полосы с каждого бока. Тонкие полосы быстрее схватит солнце, и ветер быстрее провялит. Правда, в долине Тыми дождей меньше, чем на морских побережьях, но и здесь иногда случаются многодневные дожди, особенно во второй половине осени. В сырую погоду рыба портится, и юкола получается плохая, заплесневелая. Об этом знает любой нивх, и в сезон заготовок юколы каждый молит богов, чтобы светило солнце. В долине Тыми всегда больше солнца, потому и юкола у здешних жителей лучшая.

Сыновьям и жене предстоит много работы. Надо, чтобы им было где укрыться от дождей. И Касказик после утренней еды принялся за шалаш. Когда наступило время полуденной еды, шалаш из ветвей и травы был готов.

Потом старик ходил в стойбище, принес немного нерпичьего жира и посуду. В тот день он был благодушен и лишь подумал с досадой: «Как мальчишки — нет бы сразу захватить с собой в лодку. Теперь приходится мне спину ломать».

Ыкилак помогал матери, рогатиной с длинным черенком поднимал на вешала шесты с юколой. Касказик удовлетворенно наблюдал за спорой и красивой работой жены: все полосы — с боков вместе с кожей и с середины ближе к хребту — срезаны аккуратно, без порезов. Такая юкола не только радует глаз, когда вялится. Если сыро, влага быстро скатывается с гладкой поверхности. А на трещинах и порезах влага долго держится. Оттого-то плохо сделанная юкола обычно и портится.

Красиво режет рыбу жена. У нее всегда хорошая юкола. Такую не стыдно подать самому почетному гостю.

После того как подняли на просушку неводок, Наукун лег в высокую плотную траву, закинул за голову руки и, ни о чем не думая, глядел в белесоватое нежаркое небо. Наукун ловил себя на том, что сегодня его раздражает все. И то, что рыба так обильно пошла, и то, что Ыкилак догадался на дерево влезть и оттуда разглядеть рыбу, и то, что мать так быстро и старательно режет ее. Раздражало, что отец доволен уловом. Правда, он никак не проявил радости: ни словом, ни жестом. Но Наукун знает отца, тот от радости еще больше уйдет в свои мысли, ни с кем не поделится ими — разве только с матерью, да и то, когда сочтет нужным. Лишь глаза, вдруг потеплевшие, и глубокое нечастое дыхание выдают его.

Солнце уже пошло к закату. Стало прохладно. Наукун поднялся, взглянул в сторону вешал. Уже почти с половины перил гигантскими языками свисает свежая юкола. Наукун отвернулся, отошел в сторону, зло пнул валежину. Ыкилак занят юколой и хребтинами, на которых мать оставляет изрядный слой мяса. Хребтины тоже вывесят на солнце, чтобы зимой кормить собак... Пусть и ваши собаки подавятся!

Наукун нашел сухие валежины и развел костер.

Перед вечерним чаем мужчины решили снова полакомиться. Пока старик и сыновья с хрустом разжевывали сочные хрящи, Талгук сварила и подала рыбьи сердца. Это блюдо красит собой трудный, но радостный день кетового промысла.

Вечерний костер набрал силу, и его нужно было только поддерживать. Ыкилак приволок сушняк, разломал, ударив о землю.

Злость не проходила. И чтобы хоть как-то избавиться от нее, Наукун сказал:

— У нас был бы больший улов. Все из-за Ыкилака — мы притонили очень много, а он выпустил.

Ыкилак рассердился.

— Порвали бы невод!

— Ничего бы с ним не случилось — новый. — Наукун чувствовал свою неправоту, и от этого еще больше злился.

— «Не случилось бы, не случилось»! — передразнил Ыкилак. Он знал: не соглашается из упрямства. Только из упрямства. Да еще потому, что уродился вот такой злой.

Касказик протянул руку к костру, нашел ветку и горящим концом сунул в черное чрево трубки, донышко которой прикрывал тонкий слой табачной трухи. Затянулся жадно, загнал дым в легкие и долго не выпускал, наслаждаясь. Потом сделал длинный выдох, медленно выпуская чудодейственный дым.

— В давнее время, когда только-только нивх поднялся на ноги, не было реки Тыми. Не было тогда на нашей земле никаких рек. Но уже жили на этой земле нивхи — совсем немного родов. Плохо им жилось, трудно им жилось. Не было тогда зверя в обилии, не было и рыбы в обилии. И, быть может, совсем бы не поднялись нивхские рода, если бы однажды Тайхнад — сотворитель всего живого — не ступил на нашу землю. Он вышел на землю там, где сейчас Тыми с морем встречается. Вышел на землю Тайхнад и пошел в глубь суши. Там, где прошел Тайхнад, остался глубокий след. Щелкнет бичом влево — останется на земле след. Щелкнет вправо — такой же след.

Вслед за Тайхнадом вода пошла волной. След Тайхнада стал рекой Тыми, а следы от бича — притоки. Длина дороги Тайхнада — четыре дня езды на собаках.

И вот однажды Тыми забурлила. Запенились ее притоки. Это Тайхнад послал к берегам нашей земли, в реки, несметные стаи горбуши. Чтобы нивх не умер с голоду. Чтобы нивхских родов было много. Чтобы в нивхских родах было много людей. Тайхнад тогда сказал нивхам: «Пусть каждый возьмет себе рыбы, сколько нужно ему и его собакам».

Но некоторые люди забыли слово бога. Рыбы было очень много, и эти люди, поймав горбушу, откусывали вкусные

носы — хрящи, а рыбу выбрасывали в воду. Много рыбы сгубили. И это рассердило Тайхнада. Он сделал так, что в следующее лето в реки пришло мало горбуши. Но люди думали, что рыба еще подойдет, и снова откусывали носы, а саму рыбу выкидывали. И вот пришла осень — а стаи осенней кеты так и не подошли. Зима оказалась очень трудной — в стойбищах людей поубавилось.

Снова пришло лето. Рыба устремилась дорогой Тайхнада. Сытость пришла к нивхам. А когда человек сыт и вокруг пищи много, он теряет память, его ум становится не длиннее его носа. Люди опять ели только голову, а рыбу выбрасывали. Тогда Тайхнад сделал так: два лета подряд нивхи видели в своих реках лишь редкие хвосты горбуши. Только тогда люди научились беречь рыбу — свою главную пищу. Теперь не пропадала ни одна рыбина. С тех пор и повелось: горбуши приходит много только раз в три лета. А в остальное время — мало. И у нивхов теперь уже никогда не пропадает ни одна рыбешка.

Братья поняли, почему отец вспомнил это предание. Ыкилак подумал: «Хорошо я сделал — выпустил часть рыбы: сегодня тепло и рыба бы пропала раньше, чем мать управилась». Наукун же исподлобья взглянул на отца: «Что я — хуже всех, что ли?»

Утром Касказик вернулся в стойбище.

Несколько дней ловили у мыса Комр-ах. В шесть рук резали рыбу. Все вешала — шестов семьдесят — завешаны юколой. Дни стояли ясные, и первая партия юколы уже завялилась. У мыса больше делать нечего — кета проскочила перекат и ушла выше. К тому же негде развешивать рыбу.

На девятый день Талгук спустила с вешалов первые шесты и связала упругую подвяленную юколу в большие связки. Братья загрузили лодку и двинули ее вверх, к стойбищу. А Талгук вернулась домой пешком.

Еще издали сквозь шум течения братья расслышали гулкие звуки — отец мастерил лодки. Ыкилака охватило нетерпеливое любопытство: много ли сделал отец за их отсутствие? И велико же было его изумление, когда, поднявшись на берег, увидел совершенно готовые, стройные, ровно оструганные долбленки. Отец наносил последние удары острым поделочным топором. Плоские щепки взлетали после каждого удара и, повисев в воздухе, словно большие белые бабочки, плавно оседали на траву. Закончив работу, Касказик положил топор на удлиненный козырек кормы, старательно вытер пот со лба горячей от работы ладонью и улыбнулся:

— Любуйтесь!

Глава III

Ланьгук стояла на краю крутого берега — лодку братьев высматривала. Ланьгук не терпелось. Она сама сегодня наточила длинный нож. Сколько помнит Ланьгук, нож этот всегда был при матери. Им она ловко чистила любую рыбу: и некрупную красноперку весной после ледохода, и летом — горбушу, и крупную кету — осенью. Теперь девушка с легким волнением ожидала возвращения братьев. Она аккуратно и чисто разделает кету — так учила мать. Пусть глаза матери увидят: Ланьгук не посрамит. В последние дни уловы богатые, и в стойбищах А-во резали юколу все женщины — Псулк, Музлук и Ланьгук. Правда, как ни стремилась дочь, поспеть за матерью и женой старшего брата никак не удавалось. Ланьгук нарежет три шеста красной рыбы, мать — четыре! У матери гладкая чистая юкола. И у Музлук, жены старшего брата Хиркуна, хорошая юкола. Она умеет резать кету — ее нож словно сам входит в рыбину. Пусть Ланьгук нарежет меньше, но зато ее юкола мало чем уступит знаменитой юколе Кевонгов. Придут морозы, станет река, и Кевонги получат гостинец, развернет его Талгук — обрадуется: дочь Авонгов уже готова стать хозяйкой. Талгук позовет сына, скажет Ыкилаку: «Гостинец из А-во, поешь...»

Ланьгук высматривала лодку братьев, ждала их с уловом, но услышала отдаленный лай собаки.

Из-за мыса показались две лодки. На первой — Лидяйн и Хиркун — словно указывали гостям дорогу.

Ланьгук внимательно всматривалась в тех, кто ехал во второй лодке, пытаясь разглядеть кто они. И узнала. Это были Ньолгун и его приятели из стойбища Нгакс-во, что на берегу туманного Пила-Керкк — Охотского моря. Однако опять везет водку и подарки, везет нартовую собаку. Опять... Потом отец снова в присутствии Ланьгук будет говорить о Ньолгуне хорошие слова, называть его достойным мужчиной...

Уже к обеим лодкам вырезаны уключины из еловых сучьев и прилажены, а сами лодки спущены на воду. Уже на берегу Тыми у родового жилища почти все вешала были заполнены юколой, когда из-за нижнего мыса появилась долбленка. Ее заметила Талгук — она чистила рыбу утреннего улова. «Сейчас все стойбища по Тыми заготавливают юколу, а эти путешествуют... Самое близкое к нам селение — А-во, стойбище наших ахмалков[1]. Они? Что-нибудь случилось?»

На всякий случай Талгук решила известить мужчин, которые отдыхали после замета. Первыми спустились на берег

---

[1] Ахмалк — человек из рода тестей.

сыновья. За ними не спеша, словно новость совсем и не касалась его, появился старик.

Лодка узкая и длинная, должно быть речные люди, у приморских охотников лодки пошире. В лодке — трое. Двое — один на носу, другой на корме — стоят в рост. И по тому, как они плавными, но быстрыми движениями выбирали из воды шесты, по тому, как отталкивались длинно, ловко перехватывая шесты и рывком завершая толчок, по тому, как лодка шла ровно, словно ее тянули вдоль берега на привязи, Касказик решил: да, это могли быть только речные люди. Но кто? Из какого стойбища?

— А посредине сидит женщина, — Ыкилак разглядел это.

— Хы! — догадка осенила старейшего. — Наверное, ахмалки, люди рода Авонгов.

Долбленка шла ходко. Вокруг нее то и дело всплескивали волны, и вскоре у Кевонгов не осталось сомнения: да, это ахмалки. На носу — широколицый резкий Лидяйн, младший из Авонгов, ровесник Ыкилака. На корме — Хиркун, уже почтенный мужчина зим около сорока от роду, старший брат Лидяйна. А посредине — Ланьгук.

Ыкилак стоял на галечной кромке берега, у самой воды, обозначая место, куда должны пристать гости.

Наукун поддернул штаны и ушел в свой то-раф. Он не хотел видеть ахмалков. Гостей встретил сам глава рода. Так что Наукуну вовсе не обязательно улыбаться и, усердствуя, тащить их лодку на берег — пусть это делает Ыкилак. Дурак! Наверно, прыгает от радости и заглядывает в глаза Ланьгук. И та, дура, рада-радешенька. Не на ней свет клином сошелся. Найдутся женщины. И покрасивей тебя. Однако зачем они явились? Что привело их?

Касказик приветствовал гостей сдержанной улыбкой. В ответ Лидяйн улыбался широко, уверенно. Он из рода тестей и требовал к себе почтения. Хиркун тоже ответил на приветствие улыбкой, на его лице усталость, и улыбка получилась вялая. Касказик увидел посреди лодки груду невода с крупной ячеей — удивился: «С какого они промысла? Или за осетром приехали?»

Хиркун переступил борт, помог Ыкилаку подтянуть лодку. Ланьгук только на миг глянула на него черными глазами и как-то бочком проскочила мимо, низко опустив голову. Толстые косы аккуратно заплетены, и концы соединены за спиной тесемкой. Косы тяжело перекатывались по спине, а желтый халат с голубым орнаментом бился, заплетая девушке ноги. Что-то означал взгляд Ланьгук... Но что? На сердце стало тревожно. Хотелось броситься за девушкой, догнать, спросить. Да нельзя вот так взять и побежать. Пусть даже невеста она тебе. Нельзя оставлять мужчин, тем более — ахмалков. К тому же обычай говорит: девушка не должна всту-

пать в разговор с мужчинами. Она разговаривает только с женщинами. И это до тех пор, пока не станет женой. Тогда она может разговаривать с мужем. И с младшими его братьями, если они у него есть. Потому что младшие братья мужа тоже будут ее мужьями, хотя и вторыми, пока сами не заимеют своих жен. И в случае смерти мужа ее заберет кто-нибудь из младших братьев.

Ланьгук подошла к Талгук, улыбнулась, подала ей маленький узелок, который Талгук, не мучая себя ожиданием, тут же развернула. Глаза засверкали от неожиданной радости — ситцевый платок с голубыми полосками. Талгук с благодарностью взглянула на девушку, но та отвела глаза и всем видом показывала — печальна. Что же с ней?

Гости, сопровождаемые старейшим Кевонгом и его младшим сыном, прошли в родовой то-раф. Лидяйн держался независимо и важно. За чаем сказал:

— Мы к вам только заглянуть. Пусть Нила-Тайхур будет к нам добр.

Лидяйн смолк. И Хиркун молчал. И можно было счесть, что разговор кончен. «К чему им осетр? Или какой важный гость пожаловал?» — томился в догадках Касказик. Но ничего не остается — надо поймать осетра: ахмалки требуют.

Пока мужчины возились с неводом, Ланьгук убежала в лес с маленьким туеском. И когда вернулась, мужчины уже лакомились сырой белой рыбой. В лодке же шевелил хвостом огромный, в человеческий рост, осетр. «Двух поймали», — подумала Ланьгук и поискала глазами вторую рыбину.

— Вон там, за нашей лодкой, — сказал Ыкилак и подал свой нож.

Ланьгук отрезала кусок от хрящевого хвоста. И поставила перед мужчинами туесок, полный брусники. Хороша брусника после осетрины!

Она быстро справилась с едой и на миг, только на миг, снова взглянула в глаза Ыкилаку. У юноши захолонуло сердце. Он стоял, а ноги дрожали. Девушка повернулась и медленно пошла за стойбище в сторону высокой Вороньей ели. Ыкилаку неловко оставлять ахмалков. Но с ними отец, глава их рода ымхи, и Ыкилак потихоньку-потихоньку отошел в сторону, а скрывшись за то-рафом, побежал к Вороньей ели.

Стесняясь своей решительности, Ыкилак подошел к Ланьгук близко. Так близко, что, казалось, глаза девушки вдруг расширились, и юноша видел теперь только одни эти глаза, черные, блестящие.

Девушка порывисто обняла Ыкилака. Дальше все словно провалилось куда-то. Ыкилак только помнит боль в спине, так сильно она притянула его к себе. Потом обрывок песни:

Это птенчик, это птенчик
Крыльями затрепетал...

Так Ланьгук рассказала ему о себе. Но о чем она, эта тревожная песня?..

Ыкилак потом много раз пытался припомнить ее. Но отчетливо помнил только слова Ланьгук: «Ньолгун, он опять приехал. Гостит у нас». Кто он, этот Ньолгун? И зачем приехал?..

После страшной битвы с людьми туманного Нгкас-во Касказик ни разу не спускался по Тыми до устья — опасался встреч с жителями морского побережья. И вот уже больше половины своей жизни глава рода Кевонгов утешал себя: да, их урочище не знает себе равных. Велика река Тыми: четыре дня и четыре ночи требуется, чтоб спуститься по ней от истоков до устья. Много богатых урочищ по реке и ее притокам. Но богаче урочища Кевонгов не сыскать. В Пила-Тайхуре несметно набивается кеты, а это главная нивхская рыба. Только в Пила-Тайхуре и зимой, и летом водится крупный осетр, налим, красноперка, таймень... А в лесах по распадкам и сопкам живет медведь, соболь, олень. На памяти людей еще не было случая, чтобы Кевонги умирали от голода. Случались голодные весны, но чтобы кто-то погиб — такого Касказик не слышал ни от покойного отца, ни от деда.

И теперь, когда в роду Кевонгов снова появится женщина, когда урочище их огласится звонкими голосами внуков — Касказик принял мудрое решение: чтобы прошлое не повторилось, надо помириться с людьми Нгакс-во. Те должны пойти на мир: они потеряли меньше, да и времени прошло достаточно, чтобы остыла в жилах кровь и угасла жажда мести. Касказик чутко ловил слухи о морском побережье, по его подсчетам получалось, что многих из тех, кто требовал крови, сейчас уже нет в живых.

И после путины, когда по ночам травы уже одевались в иней, Наукун и Ыкилак повели по течению две спаренные лодки, сверкавшие свежими бортами. Сам Касказик плыл в старенькой, но еще крепкой долбленке.

Лодки нагружены знаменитой тымской кетовой юколой, вяленым осетром, оленьими шкурами и тремя крупными нартовыми кобелями. Те, кому собаки предназначены, используют их по своему усмотрению: может быть, принесут в жертву Всевышнему, чтобы увидел он кровь, снимающую давнюю вину с людей.

Глава IV

Чочуна — по-якутски «дикий человек», «дикарь». Так прозвали его еще в детстве. Все из-за того, что задирист он и драчлив. Подросток был сущей бедой деревушки Нельма, что спряталась в глухой Олекминской тайге. Не

проходило дня, чтобы шумная игра ребятишек не обрывалась дракой, и какой-нибудь мальчик, хныча, не размазывал по лицу кровь.

— Чо-чу-на-а-а! — вопили матери избитых мальчишек и гонялись с палкой за обидчиком.

— Чо-чу-на-а-а! — кричала его мать сквозь слезы. — О, несчастье мое! В табун бы тебя, в табун...

Табун... Длинногривые, вольноногие, не знавшие ни седла, ни оглобли кони черной тучей проносились над широкой рекой, диким ржанием тревожа тихую деревню. От топота их содрогается земля, осыпается крутой берег...

Семен Аянов, отец Чочуны, — бай. Шла молва о его крутом нраве. Будто резкий свист его кнута обрывался выстрелом не на тучной спине вольных коней, а на костлявых спинах батраков. Бай похвалялся, что у него батраки лучшие во всей округе, безропотные, работящие.

Любил старший Аянов бывать в табуне. Брал с собой сына, который, как говорится здесь, научился сперва сидеть в седле и уже потом ходить.

Вечерами у костра под умиротворенное похрустывание пасущихся на молодой траве лошадей кто-нибудь из усталых батраков запевал олонхо. Особенно нравилось Аянову то место в этом древнем сказании, где к герою подводят коня. Бай, обычно сурово насупленный, преображался.

...И приводят коня,
Черногривого, огненно-рыжего.
Конь, резвясь, бьет ногами —
Не сдержать в себе силушки буйной.
Накрывают коня широченным, как море, потником
И седлают седлом, что подобно двуглавому облаку...
И руками взмахнув, глухарю боевому подобен,
Он взлетает легко, на седло опускается прочно.

А потом батраки ушли. Ушли неблагодарно. Словно не баю они, нищие, обязаны жизнью своей. Словно конина стала менее вкусной. Словно за работу им бай давал теперь меньше мяса.

Ушли батраки от бая, от табуна, который пасли еще их отцы и деды. На заработки ушли, на прииски, которых множество по всей Якутии. И даже в соседней, никогда и ничем не привлекавшей людей речушке, тоже нашли золото. «Погодите! — грозился бай. — Еще вернетесь. Придете как миленькие! Я вас заставлю жрать навоз»...

Аянов с двумя оставшимися мужиками пытался хоть как-то сохранить стадо. Но неуправляемое, оно разбилось на несколько табунов и пошло себе бродить по бесчисленным ивняковым островам — объедать сочные побеги. Узнал Аянов, что пришлый лихой люд стреляет его коней, как диких зверей, — на мясо. Иные же ловили лошадей, уходили на них подальше от Нельмы — в поисках счастливых ручьев. Аянов,

возмущенный, в ярости, написал жалобу губернатору. Но быстро понял: пока примут меры, растеряет он все стадо. К тому же наступило межсезонье, бездорожье.

Кое-как собрал коней, сколько мог, большую часть забил, спустил по хорошей цене — благо зимой в этом краю всегда голодно, а деньги у людей завелись.

В последнее время объявилась у бая еще одна забота: не отправить ли сына в город — вдруг да устроится в гимназию. Того гляди, выйдет в люди.

Старый бай решал, как ему поступить, когда в деревню из города приехал погостить Сапрон, его племянник. Он согласился взять Чочуну в город.

В деревне вздохнули облегченно — наконец-то! А поп, отец Порфирий, маленький и сухой, со смешной козлиной бородкой и слабым, слышным только на придыхе голосом, пищал: «Сатана Чочуна, сатана! Футь! Футь!» — и дергал костлявой рукой, будто отгонял от себя нечисть. Чочуна еще в первый год в школе прозвал попа «Корягой». С тех пор ребята иначе его и не именовали.

Правда, молодая учительница Софья Андреевна не сочувствовала дружной неприязни к Чочуне. Поговаривали, будто она дочь большого человека, чуть ли не самого губернатора. Что толкнуло ее в глухую якутскую деревню — никто не знал толком. Но ходили слухи, будто не сладила с родителями при выборе жениха, отвергла множество предложений и, спасаясь от них, бежала в тайгу. Так или иначе, Софья Андреевна прожила в Нельме почти год.

Чочуна и сам того не заметил, как негласно взял молодую учительницу под защиту. Был такой случай. Кешка Мординов, приятель Чочуны, первый забияка и тоже переросток, заупрямился. Софья Андреевна не стала настаивать. Зато Чочуна после уроков неожиданно для себя нещадно избил друга.

Как-то во время урока Чочуна заметил, что взгляд учительницы все чаще останавливается на нем. Изредка они встречались глазами. Тогда она замолкала вдруг и о чем-то на миг задумывалась. Ученики терпеливо пережидали.

Это было весной, незадолго до ее отъезда. Чочуна в упор смотрел на нее. И то ли сила такая была в его взгляде, Софья Андреевна не сумела отвести глаза. Она прервала рассказ, белое лицо ее словно осветило заходящим солнцем, и — это видели ученики — на красивой длинной шее забилась невидная ранее жилка.

А Чочуна цепко удерживал взгляд Софьи Андреевны и, сам наливаясь необычным волнением, весь подался вперед. Дети смущенно переглядывались...

Весь остаток дня Чочуна ходил в каком-то странном состоянии, когда не чуешь ни ног под собой, ни комариных укусов.

Едва закатное солнце ударило лучами в бревенчатые стены изб, сделав их теплыми и будто мягкими на ощупь, Чочуна прокрался в палисадник и, пригибаясь, чтоб не поцарапать лицо о кривые ветки низкой березы, заглянул в окно. Софья Андреевна в чем-то белом лежала на постели, облокотясь о большую подушку, читала. Прорвавшиеся сквозь окно лучи осветили ее шею, тонкие пальцы, державшие книгу. У Чочуны перехватило дыхание. «Оторвись от книги, оторвись», — просили пересохшие губы. Но Софья Андреевна, казалось, жила совсем другой жизнью, далекой, непонятной. Чочуна озлился, будто его обманули, будто ради потехи нагишом выставили перед народом. Он отпрянул от окна.

Глава V

Уехала Софья Андреевна из Нельмы в начале лета в пору цветения морошки, когда болотистые поляны сплошь покрыты белыми, похожими на мотыльки, цветами. Чочуна в последнее время и сам подумывал о городе. Нет, не гимназия привлекала его. Софья Андреевна... Она теперь ни днем ни ночью не отпускала.

Уехал Чочуна в город. У Сапрона четверо детей. Ютились все в небольшой комнатенке в бараке портовых рабочих. Чочуна спал под столом на кухне — другого места ему не нашлось.

Сразу же по приезде ринулся на поиски. Бродил по городу, останавливал редких извозчиков — спрашивал, не знает ли кто Софью Андреевну, учительницу. Она почти год жила в таежной Нельме. Говорят, дочь большого начальника.

— Кого? — переспросил извозчик, русский седоусый старичок. — Садись, подвезу.

Кривая, пыльная улица разделяла ряды одноэтажных бараков и двухэтажных домов. Кое-где торчали одинокие, объеденные лошадьми, полуживые деревья. Иногда попадались дворы, где за аккуратным штакетником зеленел кустарник.

Бричка долго колесила, подпрыгивая по немощеной улице. Наконец остановилась. За высоким дощатым забором поднимался стройный ряд белоствольных берез, сквозь густую листву которых коричневыми пятнами пробивалась крашеная крыша особняка. За березовым рядом — кустарник, подстриженный до неправдоподобия ровно. Широкую, покрытую речной галькой дорожку, ведущую к подъезду, подметал высокий мужик — серая рубаха подпоясана витым ременным поясом, окладистая борода подстрижена так же неправдоподобно аккуратно, как и кустарник за березовым рядом.

Дворник отвлекся от своего занятия, пристально взглянул на парня:

— Шо тебе?

— Позовите Софью Андреевну, — попросил Чочуна.

— Кого? — Дворник направился к нему, держа метлу так, словно собирался ударить.

— Софью Андреевну. Учительницу. Дочь начальника.

— Какую тебе дочь? Какую Софью Андреевну?

Дворник вышел за калитку.

— Дочь большого начальника. Учительница. Она была у нас в Нельме, — умоляюще объяснял Чочуна, ожидая, что дворник сейчас же пойдет за Софьей Андреевной.

— А ну! — вдруг грозно закричал тот. — Брысь отсюда, не то голову сверну! Дикарь! — и поднял метлу.

— Эй, не дури! — закричал извозчик. — К тебе по делу обращаются, а ты зверем.

— Никакого нет дела! Вон, говорят!

— Садись, парень, — сочувственно сказал извозчик.

Оскорбленный, юноша отступил, не сводя с бородача ненавидящих, налитых кровью глаз.

Глава VI

Чочуна утерял всякий интерес к городу и как-то, уныло бродя по улицам, оказался в порту.

Грузчики таскали соль — отсюда она пойдет во все уголки Якутии.

Брезентовые куртки отсырели от пота, соль просачивалась сквозь них и разъедала спину. К середине дня Сапрон едва держался на ногах. Его молча обходили. Грузчики обычно не прощают, если кто-то сделает меньше заходов. Перекур — отдыхают все. Работа — все работают. Никто никого не обгоняет, никто не должен пропускать свой черед.

Размеренно-удручающий ритм был взорван криком:

— Товарищи! Товарищи!

Люди остановились. Их усталый безразличный взгляд вопрошал: «Кого еще принесло?»

Какой-то коренастый русский, странно подвижный на фоне усталых грузчиков, махал руками, подзывая людей. Чочуна не расслышал, что говорил этот человек. Только разобрал отдельные слова: «прииски... расстрел».

А вечером Сапрон привел домой несколько русских. Среди них и тот, которого видел Чочуна в порту.

Сапрон прогнал домашних спать, прикрыл за ними дверь. И на кухне при свете восковой свечи они допоздна беседовали...

Люди на улицах были хмурые, взбудораженные. Кажется, сегодня никто не работал.

Чочуна быстрым шагом направился было в сторону пор-

та. Но навстречу ему двигалась толпа. Он остановился, чтобы решить, куда дальше податься, но толпа подхватила его, увлекла за собой.

Чочуна шел с краю. Он вытягивал шею, пытаясь отыскать в этой пестрой толпе Сапрона. И увидел. Тот шел в центре потока, рядом с коренастым русским, который нес знамя. Большое красное знамя!

Толпа выглядела внушительно. Казалось, она сметет все на своем пути. А в нее все вливались и вливались — слева и справа. Чочуна же старался идти с краю. Улица вывела людей к крутому берегу. Здесь она, кривясь, потянулась влево над рекой. Немногочисленные зеваки стояли, оттесненные к обрыву. И тут на повороте Чочуне попался на глаза тот человек с окладистой бородой. Вспомнился грубый окрик: «А ну! Брысь... Не то голову сверну!»

Дворник, усмехаясь, разглядывал людей. Чочуна вдруг обрадовался, как-то нехорошо, зло: «Ну, теперь сквитаемся, гад!» И, проходя мимо, легонько, но расчетливо, толкнул локтем в грудь. Дворник, взмахнув руками, полетел с откоса... «Он меня узнал... узнал... А если не разбился? Что тогда?» — Чочуной овладел страх.

Он бросился было бежать, но обойти впереди идущих не смог — люди шли тесно.

За поворотом юноше удалось вырваться из толпы. И вовремя — там, где улица расширялась и выходила к площади, стояли полицейские, как на подбор, одетые в свою нарядную и страшную форму. «Много-то их как!» Чочуна пригнулся и припустил изо всех сил.

Весь следующий день он не выходил из дому. Как зверь, опасливо прислушивался к звукам и шорохам. И каждый раз, когда снаружи доносился топот, неслышным прыжком оказывался у кровати, напряженно прислушивался. Там, под матрацем, он спрятал заряженную отцову берданку.

Поздней ночью Чочуна вышел из барака и задворками, тесными улочками пробрался на окраину города. Рассвет застал его уже далеко. Запыхавшийся, озирающийся, он уходил все дальше и дальше от выстрелов, все дальше и дальше от безумных людей, которые толпой зачем-то идут на выставленные против них штыки...

Глава VII

...Степное солнце. Пронзительное. Оно залило степь с ее холмами и оврагами. Даже камни, казалось, расплавились и стали мягче. Такое солнце, наверное, только в Забайкалье. В диких степях Забайкалья.

«По диким степям Забайкалья»...

Чочуна слышал эту песню не раз. Ее любили не только русские мужики, но и якуты. Эту песню пели и портовые ра-

бочие. Песня будила в очерствелых сердцах полузабытые чувства, глаза печально теплели, и тогда мужики жалели друг друга и, похоже, могли отдать все, даже самое последнее, лишь бы каждому из них было хорошо.

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах...

Вот именно: в горах. Никакая тут не ровная степь. Все, хоть мало-мальски грамотные, знают одно: степи ровные, как стол. Но это где-то... А тут — горы. Надо самому увидеть. А так и не понять это странное сочетание слов: «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах...»

Золото? Золото... Я ушел из той стороны, где золото. И пришел туда, где золото.

Однако в каких же горах роют золото?..

После долгих блужданий Чочуна появился в Нерчинске. Нерчинск — городок богатых и бедных. Купцов и извозчиков. Золотопромышленников и беспросветной голытьбы.

У железнодорожной станции было предостаточно убогих залатанных вкривь и вкось домиков, похожих на тот, в Якутии, где жил Сапрон. «Наверное, по всей земле дома бедняков одинаковы», — и Чочуна постучался в первый. Ожидание не обмануло: впустили.

Хозяин дома — по лицу, похоже, бурят, но слегка утративший остроскулость, глаза пошире, хотя и с раскосинкой, и бороденка жидкая — лежал на топчане, раскинувшись поверх грязного ватного одеяла. Он долгую минуту рассматривал вошедшего. Потом дернулся, чтобы подняться, но передумал — лишь облокотился.

— Откуда? — спросил хозяин вместо приветствия.

— Якут, я якут. Из дому, — ответил Чочуна.

— «Из дому», — передразнил хозяин. — Из Якутии, что ли?

— Из Якутии, ага, — закивал головой Чочуна.

— Это у вас там стреляют в людей?

Чочуна насторожился. Сказать, что он из той местности, где произошел расстрел, — не известно, что на уме у этого похожего на бурята русского.

— Нет. Стреляли где-то далеко от нас. Я сам слышал от пятого человека, — ответил Чочуна так, чтобы дать понять, что ему безразлично, где и в кого стреляли. А сам подумал: «Быстро бежит слух, меня опередил».

— Ты кто?

— Охотник я, охотник, — отозвался Чочуна.

— А-а-а! — Хозяин свесил с топчана разутые белые ноги. — Молодец, что охотник. — И только теперь перенес взгляд с лица Чочуны на его руки, вернее на завернутое в тряпку ружье. — Молодец, что охотник. А то золото, золото... Все с ума посходили от золота... И у нас тут тоже. Чего уши

развесила, не видишь, человек с дороги?! — прикрикнул он на сухую тонконосую женщину.

И лишь за столом — краюха хлеба и кусок какой-то красной рыбы — рассказал немного о себе.

Фамилия его Гурулев. Гуран.

— В жилах гурана — кровь русских, казаков и бурят. Так? — обернулся Гурулев к жене.

— Бог тебя знает, каких ты помесей?

— Думаешь, я не мыл золото? Мыл! По молодости мыл, — громко сказал Гурулев. По тону трудно было определить, рад он тому, что мыл золото, или, наоборот, клянет себя за это.

— Ухватистый, ох и ухватистый был покойный Михаил Дмитриевич. Пятьдесят приисков прибрал к рукам! Свои пароходы имел. По Шилке и Амуру спускался аж до Николаевска и дальше. В Америке побывал!

Гурулев бросил на Чочуну быстрый взгляд:

— Или ты не знаешь, про кого я говорю? Так и скажи. А то я мелю, мелю, а тебе — что барану кукиш.

Чочуна засмеялся. Но Гурулев его не понял:

— Что, не веришь?

— Слова понравились. Хорошо сказал. — «...а тебе — что барану кукиш».

— Тьфу! — в сердцах плюнул хозяин. — Ему о Бутине, а он — «слова».

Только теперь Чочуна осмыслил сказанное гураном.

— Неужто пятьдесят приисков?

— Говорю тебе: пятьдесят!

— И все один?

— Один! Все мы на него работали. Здесь купцов было много, но он — самый сильный. Ох и ухватистый был Михаил Дмитриевич! Пароходы у него. Заводы. Вино гнал! В новом городе его дворцы стоят — сам царь таких не имеет!

— В каком «новом городе»?

— Отсюда несколько верст. Перенесли на высокое место. Чтобы не затопило. А я в Дарасуне мыл. Но бросил.

— Почему бросил? Вымыл?

— Не то. Сволочи, загадили все. По миру пустили.

— Кто?

— Да завистники все. Те же купцы, помельче которые. А их много всегда, завистников-то. Выбрали время, когда дожди кончились и промывка встала, да и все вместе разом потребовали долги. Как ни богат был Бутин, а расплатиться не смог. Вот и отобрали у него прииски. Многие тогда поуходили, потому что новые хозяева дело развалили. И я ушел. Правда, Михаил Дмитриевич потом вернул свои прииски, наладил дело. Но я ушел. В извозчики. Извозчичье дело повыгодней золота оказалось. Купцам чего подвезти, людей — глядишь, и деньжата завелись.

Чочуна разглядывал хозяина.

Ему, пожалуй, уже много лет: голова седая, сутуловат, зубы поисточились.

— Золото, оно любит фартовых. Все промышленники должны кланяться в ноги тунгусу. Тунгус открыл родовую тайну, указал Бутину золотое место в верховьях Дарасуна. А ведь мог показать другому, не Бутину. Мне не пофартило: по молодости хотел свое золотишко найти, да в наемные пошел. Потом и извозчичье дело зачахло: дорога треклятая появилась, железная. Держал восемь коней. Не кони — звери! Лучшие были в Нерчинске. Теперь один остался, да и тот хворый.

Гурулев рассказывал, а сам все подергивал бородку, видно, воспоминания молодости, когда он искал «свое золотишко», тревожат и по сей день.

— Ты ешь, ешь, — спохватился хозяин, хотя есть уже было нечего. — Как рыба — понравилась?

Хотя Чочуна и крепко проголодался, все же уловил сквозь соль вкус неизвестной ему рыбы: она была жирная, сочная.

— Кета. Полно ее на Амуре. Особенно в Николаевске — баржами возят. Рыба купеческая, — похвалился гуран и велел жене: — Дай человеку поесть вдосталь. Земля-то наша богатая. Только фарт надо иметь в жизни, своего тунгуса. Да и ухватистость. Как Михаил Дмитриевич. Ох и богат был. И на редкость человек-то хороший, со светлой головой и сердцем добрый. В неурожаи народ кормил, школ и домов для сирот понастроил. Такому и своего фарта не жалко. Потому как, приди ко мне фарт, миллионы золота — что бы я с ним делал? Как распорядился? Знает бог, кому давать фарт. А ты молодец. Молодец, что охотник. Изюбря подвалить или сохатого. Тоже надо иметь фарт. Сейчас и за золото сохатинки не поешь. Извели. А мы с тобой проскочим. Я знаю, где еще водится сохатинка.

Чочуна понимал: ни за какой «сохатинкой» гуран не «проскочит» — так, дразнит себя. В молодости гонялся за фартом — не догнал, пошел внаймы. Завел лошадей — железная дорога отобрала заработок. А теперь ему бог охотничка подослал — сохатинки захотелось. И, конечно, раз у человека ружье — к нему сохатый сам прибежит. Тунгуса, видите ли, на него не сыскалось...

«А ты бы нашел свой фарт?» — вдруг жестко спросил себя Чочуна. Даже перехватило дыхание. И сердце дернулось, будто тесно ему в груди. «Нашел бы! Нашел!» — закричало все в Чочуне...

Глава VIII

Рассказ старого гурана о необыкновенном человеке — Бутине — казался выдумкой. Якут никак не мог поверить, что один человек может владеть пятьюдесятью при-

исками, пароходами, заводами! Конечно, если человек добрый, он сделает людям доброе. Это еще как-то воспринималось якутом. Но чтобы иметь столько денег, чтобы строить школы за здорово живешь! Откуда такие деньги берутся? Золото! Из земли. Значит, здешняя земля настолько богата? Конечно, сотни и сотни людей, подобных Гурулеву, гнут спины на бутиных. Но почему Гурулев не стал Бутиным? Своего тунгуса не дождался... Хе-хе!

Да, рассказу старого гурана о неслыханно богатом человеке Бутине трудно поверить. Но Чочуна был прямо-таки потрясен, когда своими глазами увидел: гуран говорил правду.

На другой день Чочуна оказался в новом городе. Сперва он увидел дом, собранный из толстых сосновых бревен. Внимательно осматривая этот необычно большой дом, Чочуна обнаружил, что он рублен. Топором, без пилы. И удивился: сколько усилий было затрачено на один этот дом! А в обширном дворе ряд к ряду стояли большие амбары, тоже рубленные из соснового долготья. В Нельме дом самого зажиточного якута куда меньше, чем любой из этих амбаров. Значит, очень богат хозяин рубленого дома, коль для хранения его добра потребовалась целая деревня огромных амбаров!

А дальше, за просторной площадью, глазам Чочуны предстали сказочные белые дома. Казалось, сооружены из морской пены — настолько воздушны и легки.

Чочуна и понятия не имел об архитектуре, и, если бы кто-нибудь сейчас сказал, что перед ним образец мавританского стиля, это абсолютно ни о чем не сказало бы. «Какая надобность тратить столько сил лишь на то, чтобы сделать дом невероятно красивым? Ведь от дома и требуется, чтобы был он теплым, укрывал от дождя и ветра, сохранял от морозов...»

Уже догадываясь, кому принадлежит дом, Чочуна все же спросил у прохожего:

— Бутина дом?

Получив утвердительный ответ, Чочуна подумал еще: «Зачем одному такой большой дом?»

Чочуна, недоумевая и восхищаясь, еще долго крутился вокруг бутинского дома. И отошел лишь тогда, когда почувствовал, как под ложечкой тягуче засосало. Чочуна обошел площадь, вышел к белокаменному гостиному ряду. Но и тут, прежде чем оглядеть торговцев, некоторое время стоял перед домами, теперь уже деревянными, любуясь сложной и тонкой резьбой. «Однако, на украшения затратили трудов и времени больше, чем на сам дом», — подумал Чочуна.

Под ложечкой безжалостно сосало. А у Чочуны в кармане не было ни гроша. В гостином же ряду бойко торговали мясом. Голод и вид парного мяса придали ему решительности.

Нашел на вид здорового, похожего на быка, мужика, ко-

торый часто и тяжело отдувался. «Наверно, сердце», — подумал Чочуна. Подошел кстати: мужик стаскивал с телеги большие, в треть туши, куски мяса, кряхтел, возясь с тяжелой ношей.

— Дай подсоблю, — предложил Чочуна и, не дожидаясь ответа, широко ухватился за самую большую часть. Тяжеленный огузок крупного быка въехал за прилавок. Вслед за ним и другие части быка уместились на деревянных плахах.

Чочуна взялся за топор с широченным плоским лезвием. И не успел торговец еще и подумать, как распорядиться — Чочуна бросил на прилавок несколько аккуратно отрубленных кусков.

— Ты торгуй, торгуй, — сказал Чочуна, так и не дав хозяину опомниться.

Очередь, действительно, собралась. Мясник еще раз оценивающе посмотрел на работу откуда-то взявшегося помощника, удовлетворенно хмыкнул и стал за весы.

Торговля шла бойко — на парное мясо был большой спрос. Очередь все росла и росла. Через каких-то полтора часа была распродана вся задняя часть. Мясник клал деньги в карман, а когда карман наполнялся, сгребал их крупной ладонью, совал в мешок, который лежал у ног.

Вот распродана и передняя часть. Чочуна накидал на прилавок горку нарубленного мяса, выпрямил натруженную спину, бросил рядом с горкой кусок грудины и сказал:

— Это мне за работу. Я отойду на минуту, покурю.

— Иди, иди, друг, — добродушно сказал мясник, кивая головой в знак согласия.

Чочуна постоял секунду-другую за спиной мясника, вытирая руки о мешковину...

Мясник видел, как тает горка нарубленного мяса, ощущал, как набухает правый боковой карман, и, раза два пройдя глазами по небольшому куску грудины, удовлетворенно думал: «Я ждал, что попросит куда больше. А он — всего лишь кусок».

Карман оттопырился, и мясник схватил кучу денег, нагнулся и, не глядя под ноги, привычно пошарил свободной рукой. Рука прошла по доскам пола, коснулась носка сапога, дальше опять ощутила голый пол. Глянул вниз — мешка не было. Обернулся вокруг — мешка с деньгами не было. От неожиданности разжал руку, деньги посыпались на пол. Тяжело дыша, пробежал мимо других торговцев. Над рядами пронесся панический крик: «А-а-а! А-а-а! Огра-били!»

Глава IX

Никогда Чочуна не имел столько денег. Он приоделся в городское и выглядел щеголем. Уже не первый вечер Чочуна проводил в прокуренном грязном кабаке, где

вдоволь было водки, китайского листового табака, жареного мяса, малосоленого омуля и крепкосоленого мата. Мат и табак — они поначалу заставляли юношу из якутской тайги воротить нос. Но вскоре Чочуна перестал отворачиваться, хотя и не пристрастился ни к куреву, ни к мату. Водку пил с заметным удовольствием. И заедал мясом. А мясо — какой же якут без мяса!

Чочуна подходил к хозяину кабака и небрежно кивал: «Грудинку! В долгу не останусь». «В долгу не останусь» — эти слова он слышал здесь же в кабаке от кого-то. Слова понравились — они имели магическую силу. И, действительно, на столе у якута появлялась дымящаяся хрящеватая, сочная грудинка. Якут поедал ее, запивал водкой, на глазах добрел и кидал на стол деньги, не считая.

Как-то вечером в кабак вошли двое русских, по одежде скорее из деревни: рубахи навыпуск, перепоясаны, на ногах у одного яловые сапоги, у другого стоптанные башмаки. Тот, что в сапогах, был постарше и держался независимо. Сели они за соседний стол.

И Чочуна заметил вдруг: глядят в его сторону, переговариваются, произносят незнакомое слово:

— Хунхузик! Хунхузик!

Чочуна насторожился. Кто они? О чем говорят? Двое их, но не крепкие. В случае чего, справится.

Вошедшие заказали водку. Тот, что помоложе, настойчиво разглядывал якута и приговаривал: «Хунхузик, хунхузик». А Чочуна мысленно решил: «Только подойди. Я покажу тебе «хунхузик»!»

Парень встал из-за стола, слегка пошатываясь, подошел к Чочуне, уперся обеими руками в стол и, покачиваясь вперед-назад, сказал:

— Ты хунхуз?

По тому, как он держался, Чочуна понял: нет у него злых намерений. Скорее любопытство.

— Что? — не понял якут.

— Ты хунхуз?

— Не понимаю.

Парень помолчал. Потом снова задал вопрос:

— Ты китаец?

— Нет, не китаец. Якут.

Старший, услышав это, заинтересовался, обернулся, всмотрелся внимательно в лицо Чочуны и, словно узнав знакомого, вскинулся:

— Якут? Откуда? — Подошел быстрым шагом, положил руку на плечо. — Я был в Якутии. На заработки ходил. Сплавлял лес на Лене.

Незнакомцы оказались из какой-то деревни в тридцати верстах от Нерчинска. Старшего звали Нилом, того, что помоложе, — Гришей.

Допоздна сидели тогда они втроем, пили водку и оживленно беседовали.

Чочуна с легкостью согласился принять участие в деле. Если решение ограбить мясника пришло нежданно-негаданно, то сейчас он знал, на что идет.

На днях в гиблом таежном месте группа хунхузов напала на обоз с золотом, который шел из Иркутска в Нерчинск. Хунхузы выскочили из кустов с обеих сторон дороги. Зарезали стрелка и возницу, разграбили средний воз, унесли на плечах драгоценный груз. Охранка забеспокоилась, когда кусты уже сомкнулись за спинами грабителей.

— Такая у нас, у здешних, исстари ведется забава: хунхузы грабят обозы, а мы охотимся за хунхузами. Голого хунхуза бить — что толку? А вот когда он с золотом... — и Нил потирает темные потрескавшиеся руки. — Я уже ходил. И не раз. Но мне все не фартит.

Нил и Гриша приехали в Нерчинск за оружием. И, если бы не встретили Чочуну, неизвестно, как бы дальше пошли события: купить ружье оказалось делом не легким.

По расчетам Нила, хунхузы, рассыпавшиеся после ограбления по тайге и пробирающиеся к югу, со дня на день должны переходить степь. Нил почти наверняка знал, что они предпочтут идти пешком и в основном ночью.

Нил привел Гришу и Чочуну к невысокой холмистой гряде с большими островками рощиц.

— Здесь будем ждать.

Первые сутки оказались безрезультатными. Чочуна уже стал терять терпение. Но утром, когда степные птицы, еще полусонные, только-только начинали лениво перекликаться, зоркие глаза охотника засекли на фоне знойно-оранжевого небосвода две далекие, до пояса скрытые в темной траве, фигуры. Чочуна растолкал своих спутников.

Решено было обойти стороной, выйти вперед и поджидать в одном из березовых колков.

В том, что это хунхузы, сомнений не было, никакая нужда не заставит местных выйти ночью в степь, где так часто пошаливает бродячий люд. К тому же они обычно едут на лошадях.

Трое затаились в густой траве на краю колка. Чочуна чуть впереди с берданкой, Нил и Гриша с ножами наготове.

Солнце еще не поднялось, но даль уже хорошо просматривалась. Из жиденькой рощицы вышли двое и направились точно туда, где поджидала засада. Чочуна подумал: «Словно волки, прячутся. От куста к кусту, от холмика к холмику, где удастся — оврагами. Так можно далеко уйти. А Нил знал, где ждать. Молодец».

— Слушай, Чочуна, — жарко прошептал Нил. — Ты фар-

товый. Вышел — и сразу! А я сколько хожу и вот первый раз...

Чочуна пожал плечами:

— А может, это не хунхузы...

— Кто же, как не хунхузы! — Нил не сомневался.

У обоих в руках палки — так удобнее в долгом пути. За спинами — котомки. У заднего через плечо перекинуто ружье.

Уже можно разглядеть и лица. Первый с обычной для маньчжур редкой бороденкой, сухой и поджарый. Второй совсем молодой. Оба заметно утомлены. Идут не скоро, молча.

Нил толкнул Чочуну. Тот весь сжался. Пусть подойдут ближе — они ведь спят на ходу. Пусть подойдут. Нужно прыгнуть, связать им руки и осмотреть котомки. Вдруг убьешь — а в котомках ничего. Зачем зря убивать человека?

Нил еще раз толкнул Чочуну и прошипел:

— Стреляй!

Чочуна не стрелял. Он прижался к земле, слился с нею. Хунхузы прошли совсем близко, ничего не подозревая. «В спину будет стрелять», — решил Нил. Но Чочуна не стрелял. Он неслышно поднялся. Трех прыжков ему хватило, чтобы догнать старшего, вырвать болтавшийся на правом боку нож. Чочуна повалил жертву, быстро отобрал ружье.

Нил опередил Гришу, первым достал молодого хунхуза, поймал за котомку. Тот, не оборачиваясь, занес руку назад-вверх. Нил вдруг странно согнулся, покачался какое-то время и молча повалился на бок. Гриша стоял в нерешительности. Молодой хунхуз стремглав кинулся в сторону, к деревьям. Чочуна крикнул:

— Догоняй!

Но Гриша не сдвинулся с места. Чочуна бросил ему берданку. Тот поймал ружье на лету, побежал.

...Эх, Нил, Нил! Неудачник ты. Как же мог так оплошать? Ведь знал, что это золото так просто не отдадут. Неудачник ты.

...Не-у-дач-ник... не-у-дач-ник... не-у-дач-ник, — стучали колеса поезда. Чочуна думал о смерти Нила. Но жалости не было. Наоборот, радость переполняла его, вырывалась наружу.

— Чтой-то ты такой радостный? К невесте, что ли, едешь? — спросила сидевшая напротив старушка в черном платке.

— Да, да... к невесте, — не задумываясь, соврал Чочуна.

— То-то и видать.

...Нил сам виноват. Жадность ослепила тебя, Нил. Себя вини. А Гриша... Как он сейчас?

...Гриша бежал не долго. Выстрелил. Не попал, конечно. А в ружье-то был всего один патрон. Хунхузик запетлял между деревьями. Гриша не рискнул бежать дальше. Струсил, что ли? А может быть, подумал, что золота хватит на всех.

Чочуна перерыл всю котомку. На самом дне лежал круглый и узкий, как колбаса, мешочек из серой прочной материи. Чочуна торопливо вспорол ножом уголок — в траву высыпались мелкие кусочки золота. Золотые зернышки были тяжелые, а поверхность их на ощупь казалась текучей и мягкой — то ли руки запотели, то ли в самом деле золото на ощупь мягкое.

Чочуна оторвал тесемку — перетянул надрезанный уголок. И тут почувствовал на себе взгляд. Вскинул голову — Гриша смотрел в упор, ожидающе.

— Это твое, — сказал Чочуна, указав в траву, где поблескивала маленькая горка металла.

— Еще давай, — потребовал Гриша. — Мне и Нилу.

Чочуна перехватил мешочек посредине и стал мелко трясти. Золото стекало струйкой.

Чочуна глянул на Нила — тот лежал скорчившись и тихо стонал. Чочуна отсыпал треть мешочка, быстро перевязал, бросил в котомку.

— Хватит тебе на всю жизнь. Вот тебе ружье, — он протянул ружье хунхуза, но тут же одумался. Винчестер. Чочуна понимал толк в ружьях. Американские ружья пользовались самым большим спросом у охотников. Не отдавать же! Чочуна еще раз окинул оценивающим взглядом винчестер, положил на траву, придавил коленом. — Возьмешь берданку. Тоже хорошо бьет.

Чочуна полез в карман, нащупал патроны. Гриша молча наблюдал за ним. И, угадав в этом взгляде что-то, Чочуна спрятал патроны. Поспешно закинул котомку за спину, схватил винчестер, рывком поднялся и шагнул в степь.

— Патроны! — Гриша подался было вслед за Чочуной, но наткнулся на дуло винчестера.

Он отшатнулся и заплакал. Наклонился над Нилом, попытался было раздеть его, но подкосились ноги, и, упав на плечо своего старшего товарища, он заголосил горько и безысходно. Чочуна, кажется, впервые ощутил в сердце щемящую жалость. Он постоял в нерешительности. И тут увидел, как старик хунхуз, воспользовавшись тем, что его забыли, перекатился по траве, сумел подняться и рванул в открытую степь. Старик бежал странно и смешно: руки связаны за спиной, ноги высоко вскидываются и при этом колени углом выпирают далеко вперед. Чочуна усмехнулся.

Не-у-дач-ник... Не-у-дач-ник... Поезд, оказывается, бежит быстро. И, главное, не устает...

Глава X

Чочуна поездом добрался до Сретенска, а оттуда пароходом спустился в Хабаровск. Около года болтался там. Для начала приоделся во все лучшее, что смог достать в городе. Потом покрыл золотом все зубы. Купил у ювелира бриллиантовый перстень и золотые часы с цепочкой. Среди хабаровских мещан Чочуна прослыл наследником якутского князя. Он не знал, кто пустил такой слух, но эта версия льстила. И когда Чочуна увидел, что его серый мешочек порядком опустел, подался вниз по Амуру — в Николаевск, в город, который славился обилием предпринимателей, промышленников и всякого делового люда.

Уже на второй день после его приезда в городе стали поговаривать, что объявился здесь сын якутского князя, богатый, весь в золоте и бриллиантах.

Теперь Чочуна знал: надо драться, как волк, только так добьешься своего. Гнуть спину, как дядя Сапрон — угробишь себя. Идти со знаменем против царя — убьют. Жаждать счастья, но согнуться перед неудачами, как Гурулев — останешься ни с чем. Нил — вот был человек! Или отец. Но он дурак — время сейчас другое, а он все кнутом размахивает...

Вскоре Чочуна познакомился с богатым рыбопромышленником Никифором Трошкиным, которому принадлежал большой засольный цех под оцинкованной железной крышей, полтора десятка смоленых кунгасов и два паровых катера. Жилой дом из красного кирпича и производственные помещения располагались удобно, на высоком берегу.

Трошкин имел на лимане заездок длиною в полтора километра. Этот гигантский забор-ловушка, построенный нивхами на путях рунного хода кеты, каждую осень приносил владельцу сотни тысяч пудов знаменитой серебрянки[1], специальный посол которой хранился в строгой тайне. Рыба эта завоевала магазины и рестораны Николаевска, Хабаровска и Владивостока, проникла в Пекин и Токио. У Трошкина много конкурентов. Но и работники у него — нивхи и ульчи — самые дешевые. К тому же у Трошкина на Амурском лимане и на Сахалине «свои люди», предприниматели калибром поменьше. Не имея сил для успешной борьбы, они служили «Бате» — так величали Трошкина на обширном Амуро-Охотском побережье.

Чочуна прожил в Николаевске лето и начало осени. Желание испытать себя в большом деле держало его на привязи. Но серьезность предприятия заставляла быть осмотри-

---

[1] Так называли кету, которая еще не вошла из моря в реки. В реках, пресной воде, кета теряет «морской», серебристый цвет, становится бурой и теряет вкусовые качества.

тельным. К тому же его сердце таежника не лежит к морским туманам и соленой мороси.

И тут подоспела новая встреча, которая решила вопрос, как быть. К Бате приехал с Сахалина его зять Тимоша Пупок с братом Иваном. Привезли больше ста пудов дорогостоящих жирных кетовых брюшков — «пупки». Изумлению якута не было границ: сколько же нужно пропустить через руки рыбы, чтобы получить столько брюшков!

За бутылью водки Чочуна спросил:

— А саму рыбу куда девал-то?

Тимоша, довольный произведенным впечатлением, бросил небрежно:

— Куда? Да гилякам и их собакам.

— Собакам?! Такую рыбу и — собакам?

Потом Тимоша рассказывал, что местные жители промышляют соболя и кочуют со своими стадами оленей.

— Тунгусы ловко берут зверя. Гоняют на оленях, а собаки ихние давят соболей, как кошек, — только поспевай сдирать шкурки! Нонче весной привозил четыреста! Больше бы мог, да там другие балуются, ездят по стойбищам.

«Этого я уже знаю: ловит рыбу и скупает соболей. Только чем же он больше занимается: рыбой или пушниной? И кто эти «другие»?» — в голове Чочуны возникали новые планы.

— Как же другие смеют тебе мешать? — вкрадчиво спросил Чочуна. — Ты большой хозяин. Большой хозяин большой земли.

Тимоша покрутил головой.

— Хозяин... Я хозяин?! То-то и оно, что земля большая. Пока я езжу по своему берегу, на другом Иванов или еще кто всех гиляков обдерет. А по Тыми я не поднимаюсь — только морем хожу. Пробовал один раз. Шхуна добралась до середины — там перекаты пошли. А гиляк и в верховьях живет.

«Ясно», — мысленно подытожил Чочуна разговор с Тимошей.

Батя молчал. Видно, беседа якута с Пупком его совсем не интересовала. Он молча пил водку, крупно ходили челюсти, хрустел, грызя малосольную кетовую голову. В конце трапезы сказал лишь:

— Ты там смотри, Тимоша, чтоб гиляк рыбу не оставлял у себя.

— Отучили их, Батя, отучили.

— Все равно смотри.

Тимоша прихватил на Сахалин Чочуну. Так, «для огляда». Он, конечно, и помыслить не мог, кого привез в свои исконные, как полагал до сих пор, владения.

Чочуна накупил в Николаевске водки, чаю, табаку, сахару, охотничьего снаряжения и четыре новых берданы.

Глава XI

По пути домой Тимоша останавливался в нивхских стойбищах, раздавал муку и спички, сатин и водку, чай и бусы, иголки и металлическую посуду, табак и разноцветные нитки. Взамен нивхи запасут рыбу в бочках, которые Тимоша развез еще в начале сезона. Те жирные брюшки, что сейчас в складе у Бати, от летней кеты. Через полмесяца Тимоша обойдет стойбища, заберет набитые рыбой бочки, раздаст пустые. Нивху соленая кета редко требуется. Он вялит рыбу. Режет на тонкие слои и вялит. Юкола называется. А пресную юколу из русских мало кто приучен есть. Так что гиляку, чтобы иметь выгоду, приходится солить. Гиляк же не умеет делать тару. И всю рыбу он солит в Тимошкиных бочках. Правда, надо быть начеку, а то гиляк тоже пошел ушлый: насолит бочку и, если вовремя не забрать, отдаст на сторону. А потом опять принимается солить и не всегда успевает наполнить — кета не стоит в заливе, уходит в реки.

Тимоша родился на острове в семье ссыльного каторжника из Воронежской губернии. Каторжник отбыл срок, но вернуться на родину денег не было. Так и прижился здесь. С великими муками раскорчевал участок, смастерил деревянную соху и пахал землю — на удивление нивхам, которые и слышать не слыхивали о таком занятии. Северная земля хотя и скудна, но давала кое-какой урожай картофеля и ржи. Отец Тимоши понял: не прокормиться здесь земледелием. Два сезона он ловил кету и, засолив, возил в Николаевск. Потом сообразил, что лучше заготовлять не саму рыбу, а икру и жирную брюшину, или «пупок», как говорят на Амурском лимане. Бочка жирного «пупка» во много раз дороже, чем бочка цельной рыбы. К тому времени, когда Тимоша стал хозяином, отец оставил ему добротную пятистенную избу с баней, две коровы, две лошади, свинью с поросятами и трех нахлебников.

Настоящую фамилию ссыльного крестьянина помнили разве только старики. В рунный ход кеты русский обычно ходил по стойбищам и за чарку водки уговаривал добродушных и отзывчивых нивхов подарить ему «всего лишь малость — кетовые пупки». Так и прозвали его Пупком. Кличка закрепилась за бывшим каторжником и перешла к его семье.

Тимоша перенял от отца русское трудолюбие, неторопливую практичность. Восемнадцати лет женился на дочери николаевского промышленника. Когда отец отдал богу душу, он имел двух своих едоков да принял по наследству еще трех отцовых. Став хозяином пятистенной избы, Тимоша с оглядом на будущее стал строить рядом другую пятистенку. Два

лета ставил вместе с братьями. А когда достроил, женил второго брата, Ивана. Женил на дочери нефтепромышленника. Думал Тимоша таким образом породниться с богатыми и влиятельными людьми края. Но нефтепромышленник-одиночка прогорел и неизвестно куда сгинул. Осталась лишь его красивая дородная дочь — жена Ивана.

А Иван немногое перенял от отца. Хотя был здоров и силен, к делу мало интереса проявлял. И был у старшего брата на подхвате. Серьезных дел Тимоша не доверял ему. Только и знал Иван, что липнул к своей красивой и пышной Федосье. Чтобы хоть как-то брат участвовал в нескончаемых заботах о семье, оставленной покойным отцом и народившейся после, Тимоша препроводил в его избу младшую сестру.

Младший брат, Прокопий, в отличие от Ивана, пошел в старшего. Окрепнув, затевал с гиляками дальние поездки, бил нерпу, ловил кету. И был крепким помощником... Не успел развернуться Прокопий... Погиб в шторм вместе с гиляками... С той поры Тимоша стал жалеть своих близких. Ведь они одни в этом проклятом краю.

А где-то далеко-далеко за морем, за бескрайней глухой Сибирью, о которой он знал лишь по каторжанским песням и воспринимал не иначе как огромную бесконечную тайгу, там, в дальней дали, есть и его земля, его родина. И всегда «родина» появлялась в воображении так: тайга — Сибирь глухая и жуткая где-то кончалась, а за нею открывалась необычная земля. Там тоже есть леса, но леса светлые, веселые. И не бесконечны они, леса — островками. Земля покрыта хлебами и тяжелыми, увесистыми колосьями. А над ними в мареве знойного воздуха плывут русские бабы и девицы. Плывут в расшитых сарафанах и кофтах. В руках у них — серпы. Поют женщины раздольные песни. И все наклоняются, наклоняются — режут серпами богатые хлеба. А над головами, повязанными цветастыми платками, редкие белые облака. И текут из небесной глуби звенящими струями тучные пучки солнечных лучей...

Глава XII

Ыкилак поворачивал голову, ловил в прибрежном лесу нечастые просветы, всматривался пристально, не завьется ли струйка дыма, не прорвется ли лай собаки — ведь за двумя поворотами реки стойбище невесты. И, хотя не уговаривались, придется ли погостить у ахмалков и сколько уйдет на это и времени и подарков, — Ыкилак с радостным нетерпением ждал последнего между двумя таежными стойбищами поворота.

Там, где ожидался фарватер, буруны вспороли реку и сквозь пенистые струи проглядывала каменистая мель.

— Приставай! — крикнул отец, ехавший чуть позади.

Наукун ловко сработал рулевым веслом. Лодка прижалась к прибрежному ивняку.

«Зачем?» — хотел было спросить Ыкилак, но спохватился: отец велел, значит, надо.

— Чай будем пить, — сказал Касказик.

— До наших ахмалков всего два поворота, — просительно вымолвил Ыкилак.

Наукун повернулся к брату спиной, достал из лодки топор, принялся усердно рубить сухостойную лиственницу. А когда стемнело и отдельные серые стволы берез слились с черным лиственничным лесом, три лодки — две спаренные, одна чуть позади — неслышно проскользнули по черной воде мимо стойбища ахмалков. Старейший Кевон решил не показываться сейчас им на глаза — не время, явится зимой с богатым выкупом. А сейчас ждут другие дела, не менее важные, чем женитьба: нужно навсегда наладить мир с людьми рода Нгаксвонгов. Навсегда...

Глава XIII

Дорога, она всегда клонит к раздумьям. Думы приходят не только к тем, кто в дороге. Думы охватывают и тех, кто пожелал им удачного пути.

Век нивхской женщины короток. Сорок затяжных, буранистых, голодных зим-близнецов, сорок горячих от работы лет-близнецов, до десятка мучительных родов — и к женщине обращаются «мамхать» — старуха.

Она стояла с непокрытой головой, маленькая Талгук, мать быстроногого юноши Ыкилака и жена седовласого, крепкого, как пень от недавно срубленной лиственницы, Касказика.

Когда Талгук привели в род Кевонгов, чтобы сделать женой удачливого добытчика, крепноногого Касказика, род этот занимал стойбище на берегу нерестовой реки. И еще их мужчины жили на лагунах Пила-Керкк — Большого моря[1].

Ее сватали несколько родов. Каждый сторожил время, когда можно будет ее забрать. А люди из далекого стойбища Нгакс-во, что на берегу туманного моря, пытались увезти ее еще маленькой девочкой. Но отец не дал им сделать это. Пусть дочь доживет в его то-рафе до своей поры, а к тому времени ымхи соберут выкуп...

В то лето ей исполнилось тридцать три ань[2]. Было тогда много водки, но еще больше крови...

Люди из Нгакс-во поднялись вверх по Тыми на двух долбленых лодках. И по сей день перед глазами Талгук — груда

[1] Нивхское название Охотского моря.

[2] Раньше нивхи вели летоисчисление по временам года. Ань означал зиму или лето. Год равнялся двум ань. Сейчас летоисчисление унифицировано: ань приравнен к году. В романе ань дается в старом значении.

собольих шкур и горностая, богатая шапка из лисьих лапок старейшему рода и нерпичьи шкуры — на одежду и торбаза, белая кожа морского льва — на подошву для торбазов и шкуры морского котика, сало свежее и топленое, штуки синего китайского ситца, айнский чугунный котел, топор, шомпольное ружье... И водка. Водки на два дня повальной пьянки. Да, был могуществен род людей Нгакс-во, что живут на холодном берегу моря.

Но раньше этих людей приезжали седовласые сваты с верховьев Тыми. Отец согласился тогда отдать Талгук в род Кевонгов. Дело задерживалось из-за выкупа, который дружно собирали ымхи — люди рода зятей. К зиме Талгук должна была переехать в верховья Тыми.

Пока Кевонги собирали выкуп, нагрянули люди с морского побережья. Сучок-дед, как звали отца Талгук, сперва отказался разговаривать с приезжими — боялся нарушить слово, данное Кевонгам. На второй день беспробудной пьянки сам Сучок-дед полез к гостям с мокрыми губами.

...Талгук почувствовала себя созревшей еще за две зимы до того, как приезжали сваты. Она поначалу перепугалась, не зная, что с ней, прибежала к матери. Та долго и терпеливо объясняла дочери...

В ту зиму что ни день Талгук не узнавала себя. Она тайно, когда нет других глаз, прикасалась к груди, которая, незаметная прежде, теперь быстро наливалась. Плечи, бедра округлились. Вокруг перешептывались: «Дочь Сучка созрела, спеет большая выпивка».

Талгук не представляла себя в роли жены. Но уже тогда внушала себе, что будет старательной, расторопной хозяйкой — ведь таких ценят. И еще она ощущала в себе какую-то новую силу. Эта сила по ночам не давала спать. При встрече с мужчинами девушка не смотрела им в глаза: а вдруг догадаются... Иногда ловила себя на мысли: скорей бы.

И когда пьяный отец сказал, что она жена человека из Нгакс-во, Талгук безропотно смирилась. Она никогда не перечила старшим, отцу — тем более. Отец сказал — значит, так надо.

Все стойбище, горланя, вышло провожать отъезжающих. Мужчины скользили на прибрежной глине, валялись в ней и хрипло орали:

— Охо-хо, наш любимый зять! Охо-хо!

А «наш любимый зять» — криволицый, зим двадцати от роду. Кто-то из приехавших с ним проговорился: этот жених однажды пытался увести чью-то жену. Но нарвался на мужа, и тот прошелся по его лицу тяжелым остолом [1]. Жених долго лежал без памяти, но каким-то чудом выжил...

[1] Остол — тормоз, используемый при езде на нартах. Древко делается из прочной древесины (береза, дуб), наконечник — металлический.

В полдень обе лодки пристали на отдых. Выбрали красивый галечный мыс, развели костер. Снова пили. А потом пьяный жених увел невесту в наскоро срубленный из ивняка шалаш.

Талгук оцепенела от страха, когда он полез к ней грубо. Была боль. Страшная раздирающая боль.

Она не помнит, сколько он терзал. Но вдруг услышала вопль:

— Вот он! Вот он!

А рядом кто-то истошно кричал:

— Нашли вора-росомаху! Нашли! Бей его! Бей!

В шалаш заглядывал человек. В руках — копье. Но в тесноте действовать копьем несподручно. И человек, пригнувшись, прыгнул на криволицего. Тот ударил его ногой. Человек, падая, выдавил стену шалаша. Криволицый вскочил и сам перешел в нападение. Он кинулся на лежащего противника, но наткнулся на мощный удар обеими ногами. Прутяной шалаш разлетелся в стороны. Тускло сверкнули лезвия узких охотничьих ножей. Противники сцепились, сопя и рыча и быстро-быстро орудуя ножами. Кто-то ойкнул, протяжно застонал. С земли поднялся криволицый — из бока хлестала кровь. Пошатываясь, он побежал к лодке. Трава от шалаша до реки покрылась кровью. И тут копье, брошенное чьей-то точной рукой, проткнуло ему спину между лопаток. Криволицый повалился в реку. И вода стала тоже красной. Может быть, река была красной еще от вечерней зари, полыхавшей в полнеба. Но хищные рыбы, почуяв кровь, суетливо всплескивали у пустой лодки.

У разбросанного шалаша мучительно пытался приподняться человек. Он встал на четвереньки, при этом голова с толстой косой волочилась по земле. Приподнимался, руки его подламывались, и, скрежеща зубами, он вновь и вновь падал лицом в траву.

Сородичи криволицего, не ждавшие нападения, разбежались в панике. Когда они собрались с духом и вернулись к потухающему костру, по следам прочитали, что сталось с криволицым. Одна лодка стояла на месте. В ней ничего не тронуто. Вторую, окровавленную, прибило к поваленному дереву.

...Талгук не успела узнать имени мужа. И не знала, кто такие — напавшие. Она послушно позволила посадить себя в лодку, где с шестом стояли двое плечистых молодых мужчин, а на корме, тоже с шестом, — пожилой. Талгук села посреди лодки. Рядом с нею отталкивался шестом охотник, очень похожий на того, кто сидел на корме. «Наверно, отец и сын», — подумала тогда Талгук. Раненого везли во второй лодке.

За большим поворотом пожилой обратился к тому, кто на носу:

— Нгафкка[1], пристанем к берегу, узнаем, что с аки[2] Касказика.

И Талгук поняла. Пожилой — отец. С ним два сына. Один из них по имени Касказик — младший. Он стоит рядом с Талгук и, усердно отталкиваясь шестом, ведет лодку против течения. Второй сын, старший, — это тот, кто ранен. Касказику помогает, по-видимому, ымхи — человек из рода зятей. Те двое, что в лодке, скорее всего тоже ымхи.

Ахмалки — люди рода тестей — часто распоряжаются мужчинами рода зятей, особенно когда то или иное дело требует много людей. Ымхи добросовестно выполняют требования людей рода тестей — так было всегда.

Только в своем стойбище, куда приехали утром следующего дня, Талгук узнала, что новым ее мужем будет кто-то из братьев рода Кевонгов.

Сучок-дед лежал пьяный. Увидев чужих людей, и одного из них — окровавленного, он мигом протрезвел. На дочь не обратил внимания, будто никто ее не увозил.

В тот день здешний шаман сказал: все три рода — род Сучка, род Кевонгов и люди стойбища Нгакс-во совершили тяжкий грех. Сучок-дед нарушил обычай, отдав другим просватанную дочь. Люди Нгакс-во — воры: напоили Сучка и забрали у пьяного дочь. А Кевонги пролили свою и чужую кровь. Курнг — всевышний дух — не простит.

Через два дня Кевонги добрались до родного стойбища. Свадьбы не было. Но были похороны...

Талгук тихо вошла в новый род, стала хозяйкой. Как бы ни был велик улов, летнее солнце не успевало попортить ни одной рыбешки — так проворно нарезали юколу маленькие руки. И еще она следила за очагом. И рожала... Старшая дочь рано научилась держать тонкий длинный нож. С нею было легко, с Иньгит...

...Талгук позволила сейчас себе много. Она обычно с утра до ночи бывает занята делами, большими или малыми, но всегда нужными, а сейчас она стояла тихо у то-рафа, и вот уж можно было бы выкурить целую трубку листового маньчжурского табака — так долго стоит она, ничего не делая. И смотрит куда-то в сторону и ничего не видит, вся в том далеком времени, когда ее увез к себе крепконогий Касказик...

Первым ребенком ее была дочь. Старые бабки, которые сидели у входа сооруженного по случаю родов шалаша, охраняя роженицу от вездесущих злых духов, приняли младен-

[1] Нгафкка — форма обращения. Буквально: товарищ, приятель, друг.

[2] Нивхи обычно не называют старшего по имени. К нему обращаются: отец того-то или старший брат того-то.

ца и принесли весть в стойбище. Касказик не проявил при этом никаких чувств, будто ничего и не произошло. Талгук долго убивалась, будто она повинна в том, что не принесла продолжателя рода Кевонгов. Будто она обманщица, на которую с укором и презрением смотрит весь мир.

Много месяцев суровый муж не подпускал к себе жену. Беспокойными ночами, замучив себя до смерти, Талгук умоляла мужа, чтобы он взял еще одну жену — может быть, с нею придет к нему счастье...

Как-то ночью, когда на очаге жарко вспыхивали крупные угли от догоравших лиственничных дров, суровый Касказик молча лежал без одеяла на оленьих шкурах. Талгук, справившись уже с хлопотами, разделась, по-рыбьи, изогнувшись, прильнула к его крепкому мускулистому телу и, лаская нежно и преданно, умоляюще сказала: «Милый, я принесу тебе сына, поверь мне. Так будет. А девочка — это хорошо. Она будет нянчить своих братьев. Девочка, она быстро подрастет, моя помощница».

И по сей день Талгук не знает, что возымело тогда действие. Чтобы ласка и нежность жены взяли свое, Талгук никогда не позволит себе так подумать: нельзя брать на себя много. Но и по сей день она помнит ту ночь, беспредельно обильную любовью. Касказик был неутомим. И она вновь и вновь загоралась желанием. Кажется, именно в ту ночь Талгук по-настоящему прозрела как женщина. Потом как-то стихла. Все дни, как и прежде, в нескончаемых домашних хлопотах. Но теперь она все делала тихо, неслышно, без резких движений.

Однажды Касказик вернулся из тайги, где после бурана переставлял ловушки, с устатку выпил горячего чая и едва дотянулся до лежанки, как захрапел. В ту ночь он видел прекрасный сон. Касказик ходко шел на широких охотничьих лыжах. Подбитые нерпой лыжи неслышно скользили по снегу. И вот он заметил: по распадку спускается какой-то небольшой зверек. Покажется меж кустов — исчезнет, мелькнет между деревьями — скроется. Касказик остановился, высматривая, куда же пойдет невиданный зверь. А тот спустился по распадку, свернул было в сторону, но увяз в глубоком снегу. Касказик подлетел, схватил зверя...

Наутро он пришел к шаману, рассказал о сне. Шаман ответил: «Того, кто видел сон со зверем, ждет радость».

Касказик не стал мучить себя догадками. Вернулся домой и увидел: его жена продолжает лежать в постели. Неслыханный случай! Жена всегда вставала раньше мужа, и к тому времени, когда просыпался муж, очаг пылал костром и завтрак ждал хозяина. «Подойди ко мне», — услышал Касказик голос жены. Обескураженный глава рода подчинился. Когда муж наклонился, Талгук обвила его шею руками, сказала на ухо шепотом: «У Иньгит будет брат». Касказик ли-

кующе вскрикнул, перевел дыхание, порывисто обнял жену, да так, что та едва не задохнулась.

За одну неполную луну до рождения ребенка Касказик нарубил черемухи и настругал длинные ленты нау — священные стружки. Собрав их в султанчики, обвязал у основания лыком, обмазал кончики стружек брусничным соком и повесил по углам то-рафа. Священные стружки должны передать Курнгу — всевышнему духу — просьбу Касказика. А у Касказика одна просьба: пусть родится продолжатель рода Кевонгов.

В середине лета, когда горбуша тысячными косяками устремилась на нерест, родился сын. О, крепконогий Касказик сразу стал почитаемым человеком. Он обменял у проезжего русского торговца шкуру соболя и перья орла на водку. Счастливый отец и удачливый добытчик щедро угощал соседей. И подтвердил этим свое имя — имя доброго человека.

Младенец, еще безымянный, обычно покоился в берестяной зыбке, подвешенной за поперечину у потолка. Однажды, расшалившись, раскачался в своей зыбке. Нау, что висели у потолка, сорвались и, шурша, упали на ребенка. Касказик увидел в этом доброе предзнаменование, сказал: «Нау-куть» упали нау. Эти слова старейшего рода превратились в имя — Наукун. Ребенок будет счастливым, решили в стойбище, и принесет счастье своему роду.

Глава XIV

Прошло еще несколько ань. Иньгит научилась шить торбаза, накладывать заплаты. А Наукун бегал по мелководным ручьям и на перекатах бил горбушу костяной острогой. Рыбу он волочил по земле и с великим трудом добирался до то-рафа, а осилить-то надо было всего какую-то сотню шагов.

По Тыми за лето не раз проезжали разные люди: нивхи, лоча — русские, маньчжуры. Разные причины заставляли их двинуться в нелегкие путешествия: одних — торговля, других — какие-то непонятные нивхам дела, третьих — нужда навестить родственников.

Чаще других проезжали лоча. Они были самыми непонятными для нивхов. Маньчжур — тот понятно зачем ездит: он торговец. И среди лоча встречались торговцы, военные и еще какие-то там с бумагами. Знали жители Ке-во: далеко в сторону полудня за хребтами на берегу моря в местечке Руй вооруженные саблями и ружьями лоча держат себе подобных, закованных в цепи. И зачем-то заставляют несчастных рушить горы, пробивать сквозь них отверстия такие большие, что могут пройти сразу десять человек. И еще слышали нивхи, что те, кто в цепях, иногда убегают из-под стражи и бродят

по тайге и сопкам. Говорят, они страшнее медведей-шатунов.

Этих сбежавших нивхи звали «к'итьк». Никто из Кевонгов не видел этих людей и не знал, каковы они.

Но однажды они побывали в Ке-во.

Талгук не хотела, чтобы в памяти поднималось то, что тогда случилось, но память не подчинилась воле женщины. И голова налилась жаркой болью, пошла кругом. Талгук глотнула холодного воздуха. Еще раз глотнула. Голове немного полегчало, но опять прошлое всплыло в своих страшных подробностях.

Стояло знойное лето без дождей. Тайга накалилась и дышала жаркой духотой.

В тот день Касказик и два его брата Ненон и Лайргун на двух лодках поднялись выше стойбища и поставили сети — наступало время хода горбуши.

Братья помогли поставить сети и вернулись в стойбище, чтобы починить вешала, а Касказик остался снимать улов. Талгук согрела чай и напоила братьев. Лайргун торопливо ел и не сводил глаз с Талгук. И даже несколько раз прикасался к руке жены старшего брата. Ненон, самый старший из братьев, напускал на себя безразличие, делая вид, что ничего не замечает. Несчастный Ненон был женат. Но чем-то прогневал Курнга — всевышнего: жена родила сына и тут же ушла в Млы-вво— потустороннее селение. Ребенок ушел следом за матерью. И с тех пор Ненон остался холост. Еще до того, как Ненон потерял жену, в одну весну ушли в Млыво старики — отец и мать. И власть старейшего рода перешла к старшему брату. Но оставшийся без жены и ребенка Ненон предался горю. Жизнь стойбища его мало трогала. Теперь дела вертелись вокруг Касказика, у которого была семья.

Обычай запрещает старшему общаться с женами младших братьев. Зато младшим дает право на жен старших. Касказик знал, что в его отсутствие Лайргун спит с Талгук. Но не было случая, чтобы он проявил недовольство — тут обычай на стороне Лайргуна.

Лайргун самый красивый из трех братьев. Он еще юноша, но уже в том возрасте, когда подобает его называть мужчиной.

Последний раз выдался случай дней двенадцать назад, когда Касказик поехал нарубить жердей. Талгук была во дворе — варила собакам корм. Едва Касказик пересек середину реки, Лайргун, жадный до любви и всегда нетерпеливый, схватил возившуюся у костра Талгук и унес в то-раф.

И сегодня ему повезло. Когда поставили сети, Касказик обратился к Ненону:

— Ака[1], я, однако, останусь. Если будет удача, сниму улов. Возвращайтесь домой.

Потом обернулся к притихшему в оживлении Лайргуну:

[1] Аки — старший брат. Ака — форма обращения к старшему брату.

— А ты сними рыбу с вешалов.

Это надо понимать так: Касказик просил старшего брата заняться юколой, но обычай не позволяет младшему повелевать старшим. Поэтому то, что нужно было сказать Ненону, было сказано младшему — Лайргуну.

Лайргун был несказанно обрадован таким поворотом дела. Быстренько сел за весла и так сильно греб, поочередно занося весла далеко назад, что лодка скользила то вправо, то влево, грозя перевернуться.

Талгук знала своего мужа лучше, чем знали его родные братья. Он мог бы оставить Лайргуна сторожить сеть, а сам с Неноном заняться юколой. Но он, добрый и жалостливый, видел, как томится младший брат. Вот и отправил его в стойбище.

Лайргун уже кончал чаепитие и бросал ненавидящие взгляды на старшего брата, который в ленивой раздумчивости потягивал чай. Наконец Ненон поставил чашку, безразлично зевнул и, почесывая живот, удалился к себе.

Лайргун, весь клокочущий, вскочил и торопливо, рывками стал сдирать с Талгук одежду. Единственное, чего опасалась она тогда, чтобы не оборвал подвязку на штанах.

Потом залаяли собаки. С чего бы? В стойбище все свои. Ненон отдыхает у себя в то-рафе. Иньгит и Наукун — играют на галечной косе. Но собаки опять залились. Сперва гавкнула сука, за ней — подросшие щенки.

— Кто-то там? — насторожилась Талгук.

Но Лайргун и ухом не повел.

— Кто-то там, — повторила обессилевшая Талгук.

Теперь уже лаяли все собаки стойбища. По голосам определила: одни лаяли с любопытством, другие — яростно и злобно.

Талгук быстро оделась, открыла низкую дверь. Увидела сперва собак, потом двух, похожих на людей. Длинные всклокоченные бороды, волосы, свисающие на лоб. Палками они отмахивались от наседавших собак. Кто это? Люди? Но разве бывают такие? Да и ростом они больше нормальных. И рыжие, как листья осенней березы. Может быть, это и есть пал-нивгун — полулюди, полудухи, живущие, как рассказывают старцы, в недоступных для простых людей горах? Примета есть: кто видел духов, тот будет счастливым. Талгук, едва увидев духов, уже боялась, как бы они не исчезли. Они могут исчезнуть неслышно, на то ведь они и духи. Они исчезнут, а собаки еще долго будут лаять. Но нельзя, чтобы они так быстро ушли.

— Пойди сюда! — позвала Талгук, приглашая Лайргуна посмотреть на духов: пусть и он будет счастлив.

Духи тоже увидели Талгук. Талгук побежала к собакам, разогнала их пинками. Собаки отошли в сторону, недоуменно взглядывая на хозяйку.

Лайргун нерешительно топтался на месте. Дух, что с бородой до пупа, медленно, на плохо сгибающихся ногах, с отставленной рукой, в которой держал увесистую палку, прошел мимо Талгук, опасливо оглядываясь на собак. Талгук удивилась: духи, а собак боятся. Духи, они обычно невидимые, но, когда хотят сделать хорошее, оборачиваются людьми и приходят в стойбище или к охотникам. Так говорится в преданиях.

Дух с длинной бородой обошел Лайргуна, прошел в тораф. Второй, что поменьше ростом, остановился в нескольких шагах от Талгук.

А она рассматривала их и гадала, что могли они принести жителям Ке-во. «Духи, оказывается, тоже бывают разных возрастов, совсем как люди. Вот этот, однако, молодой — на лбу не видно морщин. А глаза! Странные, будто водой морской налиты». И тут она услышала треск. Оглянулась: Лайргун, этот красивый юноша, младший из трех Кевонгов, медленно оседал. Не успела Талгук сообразить, что произошло, ее втолкнули в то-раф. Духи о чем-то заговорили на своем языке. Потом тот, кто покрупнее, оттолкнул меньшего, кинулся на женщину.

В голове помутилось. Перед глазами проплыло лицо большого бородатого духа. И полуживая женщина еще думала, как понять происходящее: счастье ли привалило, или беда...

Оголенное плечо саднило. С чего это? На плече лежала большая жилистая, немыслимо волосатая рука. А на руке — железное кольцо с обрывком... цепи. Странное украшение... Железо растерло ей плечо до крови, а дух и не замечал, что ей больно. Хоть бы убрал руку, хоть бы убрал... Дух... Добрый дух... И тут от страшной догадки Талгук вздрогнула: это к'итьк! Женщина на какой-то миг потеряла сознание, а когда вновь пришла в себя, увидела лицо другого к'итьк...

Потом оба набросились на сырую рыбу, что лежала у порога. Талгук приходила в себя, но великий страх вновь и вновь повергал ее в забытье.

А к'итьк, как голодные собаки, в спешке засовывали в рот рыбу, хрустели костями, по бородам стекала густая рыбья слизь...

Девочка... Моя маленькая девочка. Зачем же ты вошла в то-раф? Ведь Наукун, увидев злодеев, схватил тебя за руку и потащил в кусты. Там и надо было сидеть до конца. Как Наукун. А ты не выдержала, сердце твое жалостливое вытолкнуло тебя из укрытия.

Даже изувеченное тело дяди не отпугнуло тебя. Ты потянула дверь. Она неслышно перекосилась на ременных подвесках. Ты увидела меня на лежанке, истерзанную. Глаза твои наполнились ужасом, но ты не убежала, вскрикнула и бросилась ко мне. О, зачем так?

К'итьк разом забыли о еде. Первым схватил тебя тот,

что помоложе. До сих пор слышу твой крик. Больно мне, больно... Не могу. Не могу... О-о-о, больно. Лучше бы они меня убили. Лучше бы они меня живую изрезали на куски... О-о-о... Старший схватил младшего за волосы и так дернул, что тот завопил дурным голосом. Мне бы взять топор да снести обоим башку. Но ноги, мои презренные ноги, совсем отнялись. О-о-о. Почему вы, боги, не пришли мне на помощь? Почему?

Потом младший убежал в дверь и тут же опять появился. А ты, моя маленькая дочь, кричала, звала меня. О-о-о, ноги, мои презренные ноги! В руках у младшего сверкнул топор, старший растянулся на земляном полу с пробитой головой.

О-о-о! Зачем только я родилась на свет. О-о-о! О-о-о! И тут откуда-то у меня взялись силы. Наверно, боги услышали меня. Я вскочила, но и злодей поднялся на ноги... Когда я пришла в себя, была ночь. И мне хотелось, чтобы то, что произошло, было сном, кошмарным сном. Но два изуродованных трупа... Голова болела и кровоточила. Где же ты, моя маленькая девочка?

Я кричала, звала тебя. Я обежала стойбище, вышла на берег. И тут в кустах услышала голос сына. О, боги! Добрые боги! Вы сделали так, что у моих детей хватило ума спрятаться. О, боги! Спасибо вам, боги! Я взяла их за руки, и мы побежали в родовой то-раф. О-о-о, о-о-о! Почему вы, боги, на нас в гневе? Почему вы так безжалостны к роду Кевонгов? Едва переступив порог, мы споткнулись о что-то твердое. О-о-о! О-о-о! И старший из Кевонгов был убит. Я только и знала, что кричала. Всю ночь прокричала. Горло мое вспухло и болело невыносимо, голос пропал. Но я кричала и кричала. Кричала и плакала.

...Вместе с утром появился Касказик. Увидев, что произошло в стойбище без него, он, преисполненный горя, молча, как пень, сидел на берегу Тыми.

Вечером запылал большой костер. Касказик отдал своих братьев одному огню.

Тело рыжего злодея уволокли подальше от стойбища, бросили в распадке на съедение воронам....

До той поры глава старинного рода непоколебимо верил, что его таежное стойбище надежно укрыто от всяких человеческих бед и случайностей. Неожиданное нападение беглых каторжников заставило Касказика призадуматься. Но куда деваться?

Вниз по Тыми — там враги. В верховьях много стойбищ. В Выск-вво, что в одном дне ходьбы через тайгу и сопки, — род Высквонгов, они с древнейших времен зятья Кевонгам. Касказик решил навестить их, и по тому, как Высквонги примут его, он решит, отдавать ли им сейчас Иньгит. Нивхи испокон веков поступали так: девочку из рода тестей еще маленькой отдавали в род ее будущего мужа. Мальчик и де-

вочка вместе растут, играют в детские игры, взрослеют, потом и сами становятся родителями.

Когда Высквонги прослышали, что у Касказика родилась дочь, тут же явились, радостные, почтительные, привезли много подарков. По случаю приезда людей ымхи, Касказик выловил в Пила-Тайхуре осетров. Пир длился два дня. Касказик и Талгук тогда особое внимание обратили на мальчика Чиндына, будущего мужа Иньгит.

Высквонги намекнули, что хотели бы забрать Иньгит в возрасте десяти ань. Но Касказик сказал: человечье жилье без детского голоса не жилье. Старейшие договорились: Высквонги возьмут Иньгит, как она «себя увидит» — едва превратится в девушку. Теперь Касказик, чтобы скрыть свое намерение, прихватил шкурки белок и немного лисиц — скажет, что пришел за табаком и чаем.

Вооружившись копьем, двинулся Касказик сквозь тайгу и сопки старинной нивхской тропой, которой сейчас пользовались одни медведи.

Последний раз был он в Выск-вво перед рождением дочери. Стойбище тогда имело четыре то-рафа и жило в нем человек двадцать. Сейчас девять жилищ.

Хорошо встретили Высквонги своего ахмалка. Этот род брал женщин и в стойбищах, расположенных еще выше по Тыми, у самых истоков, и в большом селении Руй на западном побережье, где теперь, как говорят знающие люди, появился пост Александровск с большой тюрьмой. Касказик так толком и не понял, что такое тюрьма — яма, что ли, в которую сажают людей за всякие провинности.

Одноглазый Фулфун, старейший рода Высквонгов, и другие почтенные мужчины угостили Касказика хорошим чаем, водкой, медвежатиной, редким лакомством — русским хлебом.

Касказик узнал, что стойбище Выск-вво увеличилось не потому, что в роду стало много людей. Это приехали с верховьев Тыми люди других родов — их оттуда вытеснили тюрьмы.

Чиндына не было ни в родовом то-рафе, ни в других жилищах, куда Касказик заглянул на чай. Фулфун угадал мысли Касказика.

— Сын у Брони[1], — сказал он, часто мигая слезящимся глазом. И пояснил:

— Ссыльный какой-то. Только непохожий на других.

[1] Б. О. Пилсудский (1866—1918) — ученый-этнограф. В 1888 году студентом Петербургского университета был арестован по делу А. Ульянова в связи с покушением на царя Александра III и сослан на Сахалин. На острове вел большую научную работу. Опубликовал несколько статей по этнографии и фольклору нивхов, собрал богатую коллекцию по этнографии айнов. Составил словари: айнский, нивхский, орокский и магунский (ольчей). Автор известной публицистической статьи «Нужды и потребности сахалинских гиляков». Первый просветитель нивхов и айнов, просветительную работу вел на свои средства.

Записывает нивхские предания, легенды, учит наших детей грамоте. Чиндына обучил русскому слову, писать научил. Пойдем в русское стойбище, сам увидишь.

Броня перебрался в южные стойбища, забрал своего ученика с собой — чтобы переводил тексты сказок.

Фулфун провел поречной луговиной, и за излуками Тыми показалось селение — свежерубленые избы в два ряда.

Первый, кто попался на глаза, — молодой нивх, странно одетый. На нем лихо заломлена фуражка с красным околышем, револьвер на боку. Но еще более странным было его поведение. Вихляющей походкой переходил он от дома к дому, бесцеремонно приставал к прохожим. Увидев сородичей, глянул на них исподлобья, заплетающимся языком произнес оскорбляющие достоинство человека слова.

Фулфун рассказал, кто это — никем не уважаемый человек, ленивый и лживый. По имени Кворгун. Дадут ему водки понюхать, а он придуривается, изображает пьяного.

Здесь вначале надзирателем был военный. Поселенцы поили его водкой, и он, шатаясь и распевая песни, добирался поздними вечерами домой.

В прошлое лето вызвали несколько нивхов в округ. Среди них был Кворгун. Из окружного центра он вернулся в фуражке, при бляхе и револьвере. Оказалось, вызванным зачитали приказ начальника острова, в котором говорилось: «Ввиду крайней необходимости в людях, хорошо знакомых с местностью, и для облегчения сношений местного начальства с инородцами нанимать гиляков в надзиратели, поощрять их в этом деле, за каждого пойманного (или убитого) беглого награждать положенным денежным вознаграждением — 3 рубля за одного человека». Так нивх Кворгун стал надзирателем, «Большим Начальником», как сам себя именовал. А спотыкается и нехорошие слова говорит — это он подражает прежнему надзирателю, считает, что начальнику положено так вести себя.

То, что пережил Касказик, и то, что он сейчас видел, было слишком далеко от его понимания. Порой ему казалось, что это сон, страшный сон.

Вблизи одного селения произошла встреча, никак не отразившаяся на жизни Касказика, но о которой потом узнает весь просвещенный мир. А всему причиной собака, двухлетний кобель, увязавшийся за хозяином.

Глупый кобелек запропастился куда-то. Касказик остановился у дороги и увидел необычную нарту — на больших колесах, ее весело тянули две лошади. Кроме каюра-возчика, еще двое: один в генеральской форме, другой в штатском. Штатский, увидев нивха, близоруко сощурился. Бледное, заметно одрябшее от долгой дороги лицо оживилось.

«Однако большие тянги-начальники, — подумал Касказик. — Неловко отвлекать важных людей...»

— Эй, стой! — крикнул все-таки он. — Не видели ли где мою собаку? Молодую, хорошей породы...

Нивху не суждено было узнать, с кем его столкнула судьба. Для штатского глава вымирающего нивхского рода был просто «гиляк», а для Касказика великий русский писатель Чехов — одним из «больших тянги».

— Ничьей власти они над собой не знали и знать не хотят. Красивый, гордый народ. Но, видно, век их уже определен, — сказал Чехов, когда тарантас тронулся.

— Мною издан приказ принимать инородцев в окружной лазарет за счет казны. В голодные годы выдаем им пособия мукой, крупой. Но смотрители, старосты, надзиратели нашли здесь возможность обирать инородцев. Пришлось издать приказ, чтобы у них не отбирали имущества за долги.

Чехов внимательно слушал генерала-губернатора, ощущая в душе холодок отчуждения, пытаясь определить, откуда и почему он возник.

— Я издал приказ принимать гиляков в надзиратели, ибо это нововведение имеет целью и обрусить, — продолжал губернатор.

Тогда великий писатель сказал:

— То, что близость тюрьмы к гилякам не обрусит, а лишь вконец развратит, доказывать не нужно. Гиляки далеки до того, чтобы понимать наши потребности. Если уж необходимо обрусить и никак нельзя обойтись без этого, то, я думаю, при выборе средств надо брать в расчет не наши, а их потребности. — И помолчав, продолжал: — Впрочем, обрусение началось задолго до вашего приезда. А началось оно с того, что у чиновников, получающих даже самое маленькое жалованье, появились собольи и лисьи шубы, а в гиляцких жилищах — русская водочная посуда.

Фулфун и Касказик пришли в большое, в одну длинную пыльную улицу, селение. В годы юности Касказика здесь была тайга, и небольшое стойбище встречало приезжих громким лаем сытых собак. У причудливого дома — церкви Касказик услышал подозрительный звон. И увидел невероятное зрелище: по площади медленным шагом проходила группа бородатых, мрачных людей, закованных в цепи. Он побелел лицом: те разбойники, что побывали в его стойбище, — из этих людей!

Чиндына нашли в небольшом, чисто прибранном доме. Броня, стройный, высоколобый, с пристальным взглядом молодой человек, обрадовался, увидев гостей.

Касказик удовлетворенно заметил: Чиндын возмужал. Но чего он так привязан к этому пришельцу?

Броня хлопотал, накрывая нехитрый стол: коврига хлеба, жареная рыба, чай. Ему помогал могучего роста человек, примерно одного с ним возраста, назвавшийся Громовиком.

В отличие от многих Громовик не носил бороды. Глаза

веселые. Когда гостям постелили, Громовик со смехом рассказал о своей судьбе. Он из-под Киева. А попал на Сахалин вот после какого случая. Жандарм своими притеснениями озлобил мужиков. Те подловили его однажды и расправились, как могли. Нет, не бил Громовик жандарма, даже пальцем не тронул. В тот злополучный час он сидел на лавочке у своей хаты и орал на всю деревню, взвизгивая и потирая ладони от удовольствия: «Так його, панского холуя! Так його! А зараз пид рэбра йому, бисову сыну, пид рэбра!»

Нет, не участвовал Громовик в мужицкой расправе, но и его отправили в каторгу на Сахалин — за «длинный язык».

Недавно его, как исправляющегося, перевели в поселенцы. Теперь он плотничает. Многие ссыльнопоселенцы застраиваются, вот и приглашают подсобить.

После чая Броня сказал:

— Сегодня не будем заниматься сказками. Вот пишу письмо в Петербург. Мы с Чиндыном набросали. Послушайте-ка, пожалуйста, некоторые места. «Очень прошу посодействовать найти благотворителей в Петербурге, которые бы захотели помочь делу устройства гиляцких школ на Сахалине. Мой опыт за эту зиму дал хороший результат. Выучилось читать и писать более 10 человек. Жалко будет, если первый опыт остановится на этом... Дал пока средства губернатор из фонда — 150 рублей, но я не уверен, будет ли так же добр на этот год. А в Петербурге, быть может, есть люди, которые не прочь укрепить это хорошее дело и связать его со своим именем. Гиляки — симпатичный, способный народ, безусловно заслуживают внимания и заботы. Посодействуйте, пожалуйста, просвещению инородцев. Ведь в Петербурге большой круг лиц, которых вопрос об российских инородцах сильно интересует. Известно, среди таких лиц имеются богатые и влиятельные. Нельзя же только брать с инородцев, надо же что-либо и дать им».

Встреч и впечатлений у Касказика было в те дни больше, чем за все годы его жизни. Не все понял Касказик.

Поразила его и последняя встреча. Они втроем — Касказик, Фулфун и Чиндын — возвращались в Выск-вво. В лесу наткнулись на толпу каторжан — одиннадцать человек. Касказик выхватил нож. Бородатые же люди хохотали, указывая на него и хватаясь за живот. Поодаль от них —Кворгун с револьвером. Кворгун улыбался и заговорщицки подмигивал. Чиндын презрительно сплюнул, попытался объяснить так ничего и не понявшему Касказику. Эти каторжники — «вечники». За прежние побеги и другие провинности им дали немыслимо большие сроки каторжной работы, некоторым до ста лет. Они заранее условились с надзирателем, бежали из тюрьмы и встретились с ним в лесу. За каждого «беглого» казна по три рубля выплатит. Деньги заберут «беглецы», Кворгуну же от каждого достанется по полтиннику.

Мудрое решение принял Касказик: отдал единственную дочь в большой род рыбаков и медвежатников. Вырастет Иньгит в этом сильном роду, принесет ему продолжателей.

Глава XV

Касказик — прозвище. Оно привилось уже в юношеские годы. Мальчик старательно исполнял указания старших, был жаден до работы, не сидел без дела. Вот и назвали подростка Касказик[1]. Прозвище так и сохранилось за ним, перейдя в имя.

И теперь Касказик не сидел без дела. Но делал все неспешно, углубляясь в какие-то свои думы.

От былого сильного рода Кевонгов осталось всего два человека — Касказик и его сын Наукун. А старик надеялся, что падение священных стружек нау на сына — добрая примета.

И все же судьба оказалась милостивее...

Жара навалилась внезапно. Нетеплая еще земля дышала паром; леса по утрам плясали в прозрачных струях марева; река разлилась широко, затопила пойму с ее болотами и ручьями, кустарниками и кочками.

Ярко разнаряженные селезни и скромные серые утки от зари до зари носились в воздухе, суетливо и страстно преследовали друг друга, заполнив мир нетерпеливым кряком и торопливым посвистом крыл.

А вечерами с мелководных заливов призывно доносился плеск. Щука у нивхов — неглавная рыба. Но в конце межсезонья, когда еще нет ходовой, щука занимает на столе почетное место.

Касказик бросил в лодку-долбленку мягкий ком — сетку, положил на дно острогу. Во время разлива течение несильное, челнок хорошо слушается весла. Рыбак напрямик переехал место, где еще несколько дней назад был длинный мыс — теперь он под водой.

И следующий мыс ушел под воду. В разлив расстояния намного сокращаются. «Вольно-то, вольно как!» — вдохнул широко Касказик и направил лодку туда, где торчащие из воды тополя обозначали третий мыс. На низине здесь после спада воды обычно болотина. Небольшой ручей и дожди постоянно питают ее, образуя озерки, а в летнюю жару высокая трава бережет от раскаленного неба. На это мелководье и выходит нереститься щука.

Касказик вел челнок уверенно, ловко лавируя между деревьями. Слева, справа и прямо по носу плескались утки и рыба. «Я еду посмотреть мыс. Как-то давно здесь проезжали люди. Они останавливались у мыса, старушки варили чай. Добрые были старушки, хорошие были старушки. Может

[1] Касказик — расторопный, старательный.

быть, я их увижу»[1], — негромко, но чтобы его услышали щуки, бормотал Касказик. Он знал, что делать: даже если щуки как-то проведают о его намерениях, не так уж разгневаются — ведь Касказик называл их уважительно.

Выбрав сухой бугор, Касказик аккуратно причалил, привязал челнок к жесткому кусту карликовой березы, которая густой подушкой разлеглась у основания белоствольной могучей березы, словно бурая собака у ног хозяина. Деревья отражались в воде и от этого становились как бы вдвое длиннее.

То тут, то там разлив оживал крутящимися бурлящими воронками. И Касказик, недолго раздумывая, протянул сетку от прибрежного кустарника в глубь разлива. Сетка из волокон крапивы, еще прочная. Правда, недлинная, но сейчас обилие рыбы — все равно будет улов. Камни-грузила унесли нижний край сетки на дно, верхняя подбора привязана к колу. Теперь можно и чай сварить.

Касказик пил чай, а сам нетерпеливо поглядывал на верхнюю подбору, нависшую над речной гладью. Но рыба кружилась вокруг, а в ловушку почему-то не шла. «Что сделал я такого, что щука отвернулась от меня?» — мысленно спрашивал себя рыбак, а вслух произнес совсем другое:

— Старушечки, добрые старушечки, куда вы подевались? Чай давно скипел, я напился досыта, а вас все нет да нет...

Но время шло, а рыба не ловилась. Касказику ничего не оставалось, как переставить сетку. Одному несподручно ставить-переставлять: надо и сеть распутывать, растягивать ее и одновременно править лодкой. «Один, все один. Не с кем переговорить, никто не поможет», — думал свою привычную горькую думу глава маленького рода.

Лишь когда стемнело, забурлило вдруг. «Порвет, порвет сеть!» — забеспокоился рыбак и энергично столкнул челнок. Щука крупная, сильная. Касказик осторожно опутал рыбину сетью, сделав ее мешком, и, убедившись, что рыба теперь не уйдет, рывком поднял, перекинул в лодку. Дважды хлестко опустил на плоскую голову палку-колотушку, успев сказать между ударами:

— Видишь, я не мучаю тебя. Пожалей меня, сделай удачливым.

Касказик долго распутывал рыбу в темноте и еще больше времени потратил, чтобы выправить сеть.

Луны нет. А улов — одна лишь щука, крупная, но одна. «Ночь короткая, на рассвете поколю острогой», — решил Касказик. Березовым сушняком пошевелил костер, положил

---

[1] Наговор, имеющий целью обмануть щук. Нивх, отправляющийся добывать рыбу, называл ее иносказательно или говорил о других вещах — иначе, как полагал нивх, рыба узнает о его намерениях и заблаговременно уйдет в другие места, обойдет ловушки, не станет его добычей.

сверху толстое ребристое корневище — выворотень: долго гореть будет.

...Солнце палило нещадно, а Касказик колол и колол рыбу острогой. Лодка заметно осела — так много рыбы. Потом на бугре, где пил чай и ночевал, нашел старинный многослойный прочный лук. Из таких луков древние нивхи отбивали нападение айнов. С такими луками удалые и храбрые охотники ходили на медведей. Касказик сильно натянул тетиву и пустил стрелу вверх. С коротким свистом она взвилась в небо и канула — такой тугой, хороший лук нашел Касказик. Долго смотрел стрелок туда, куда улетела стрела — должна она воротиться назад, воткнуться в землю. И зоркие глаза охотника высмотрели маленькую — меньше, чем мошка, — точку. Вот она увеличивается, увеличивается, падает стремглав. Едва успел отвести голову — стрела мелькнула перед глазами, пригвоздила ногу к земле. Касказик пытался оторвать ее, но стрела не дает. Тянет Касказик ногу, тянет. Глухая боль разбегается по ноге вверх... Тянет, тянет... Боль, боль...

Касказик еще не проснулся, но уже почувствовал: беда. Торбаз на правой ноге горел. Двумя прыжками слетел с бугра в воду. Нога невыносимо заныла. Но, к удивлению, боль быстро отпустила, и ноги теперь ощущали лишь холод воды.

Касказик выбрался на бугор, развязал кожаные тесемки, снял истлевший торбаз — пальцы красные, а на большом — водянистый пузырь. «Только обжег пальцы — удачно отделался», — облегченно подумал рыбак и, внимательно осмотрев обувь, нашел, что она никуда не годится, — забросил с каким-то неизъяснимо легким сердцем.

Солнце уже висело над сопками, обещая опять жаркий день.

В пальцах вновь проснулась боль, но рыбаку не до нее: надо проверить сетку да поколоть щуку.

Сетка вся перепуталась, в нескольких местах зияли большие дыры с рваными краями. «Крупная рыба, очень крупная рыба побывала в моей сети», — почти радостно и горделиво подумал Касказик и направил челнок к отмели, где торчали из воды рыжие макушки кочкарника.

То ли вода еще не замутилась (не подошли дожди), то ли другая причина, но рыба не подпускала на верный удар. «Надо было ночью лучить, а не спать. Но одному опять несподручно». Поняв бесполезность своей затеи, комом выбрал сетку, повернул челнок в направлении стойбища. Обиженный на щук за их недоброту к себе, рыбак громко произнес слова, далеко не почтительные:

— Вы не старушки — вы щуки! Щуки вы худые и зубастые!

С этими словами Касказик сделал несколько сильных гребков и почувствовал, как проходит раздражение и на душе вроде полегчало...

Что за сон приснился? Острога... Лук со стрелами... Острога — куда ни шло: все же был на рыбалке. А лук и стрелы? Однако это добрые духи стрельнули по моей ноге, чтобы разбудить — иначе сгорел бы... О, спасибо, добрые духи! Спасибо, спасибо. Делайте, чтобы мне всегда было хорошо...

Касказик теперь с особым значением поглядывал на правую ногу с обгорелым коричневым ногтем и крупным водянистым волдырем на большом пальце. «Сами добрые духи меня пометили», — с неясной, потому и волнующей, надеждой подумал он.

Но Касказик неверно разгадал сон. Его ждала неожиданная и большая радость. Проезжая второй мыс, Касказик увидел на зеленой полянке жену. Поляна черемшиная, богатая, родовая. «Решила, что муж привезет много рыбы, — пошла рвать черемшу», — усмехнулся рыбак и хотел было проехать мимо, но передумал. «Помогу нарезать».

Выбрался на берег и... обомлел: жена стояла с закрытыми глазами, подставив солнцу оголенный смуглый живот.

Что это с ней? Неужели? Неужели...

Касказик присел, пытаясь унять волнение. Не получилось: сердце рвалось из груди, голова загудела, закружилась, деревья запрыгали перед глазами; река пошла вспять. Нельзя, чтобы жена его видела. Сейчас в мире должны быть только двое, она и солнце. Нет, трое: она, солнце и он... А вдруг случится не он, а она?.. Но ведь сон... Острога... Лук со стрелами... Острога и лук — снаряжение добытчика. Хороший сон!

Чтобы не заметила жена, Касказик поплыл дальше, прижимая челнок к обрывистому берегу.

Жена появилась следом, в подоле принесла черемши. Ее лицо таинственно светилось. И лишь сейчас Касказик вдруг вспомнил: такое лицо у жены — вот уж целая луна! За суетой и делами он не придал тому никакого значения, не обратил внимания.

— Ездил за рыбой, привез сон, — сказал Касказик после завтрака.

Талгук повернула голову, напряженно застыла: что дальше скажет муж?

— Сон, говорю, видел. Острогу и лук со стрелами видел. Хороший старинный лук...

Талгук не ответила.

— Не мужской сон, однако. Женщинам такие сны приходят, когда Курнг[1] жалеет род.

— Это мой сон пришел к тебе. Я его видела раньше, еще в прошлую луну. Острога, лук и копье... Это мой сон, — поспешно сказала Талгук.

---

[1] Нивхи считали, что, если в момент зачатия женщина видела во сне предметы мужского обихода, — родится сын, женского — дочь.

— Чего молчала? — укоризненно сказал муж.

— А тебе все некогда и некогда. Не до разговору было, — уклонилась Талгук от ответа, чувствуя, что муж наливается радостью.

— Поешь щуки. Одну всего словил, — оправдываясь, чтобы не обнаружить нахлынувшую нежность, попросил Касказик.

Настали дни, радостные и томительные. Касказик заблаговременно съездил в селение А-во за Псулк, женой Эмрайна, старейшего рода Авонгов: она должна помочь в родах и принять ребенка.

Талгук уже несколько лун не прикасалась к игле. А то, что сшила в дни беременности, распорола. И красивые, прочные мужние оленьи торбаза распорола. И заплатку, которую наложила на халат, отодрала, и узлы всякие развязала — чтобы роды легко прошли.

А у мужа свои дела. Он обошел путики[1], снял все петли, разрядил ловушки — это чтобы пуповина не стянула шею ребенка. Затем в стороне от родового то-рафа срубил маленький шалаш, накрыл еловыми лапами, на землю положил ветки и сено.

Кажется, сделал все, чтобы роды прошли удачно. Нет, еще не все. Надо развязать ременные крепления у нарты, завязки на одежде и обуви, расплести косу...

Касказик уже несколько дней только и делал, что развязывал узлы, разнимал закрытые туески и берестяные коробы. Ну, теперь, кажется, все. И заботливый муж лениво ходил от нары к наре, зевая от тоскливого безделья. Или лежал на шкурах, предпринимая мучительные попытки припомнить, где еще прячется тот или иной узел.

Талгук до последнего дня рубила дрова и ходила к проруби за водой — так советуют старые люди: беременной нужно двигаться.

Она и радовалась и страшилась. Радовалась, что в стойбище мужа станет одним человеком больше. Страшилась, потому что надо родить, и не просто родить — мальчика. И еще боялась непогоды и сильных морозов: три дня, если родится мальчик, и четыре, если девочка, ей с ребенком предстоит пробыть в шалаше. Плохо рожать зимой, трудно рожать зимой. А попадется нерасторопная помощница, может и застыть ребенок и умереть...

Был ветреный день, когда Талгук поняла: пора в шалаш. Она накинула на себя второй, на собачьем меху, халат, надела лисий малахай, меховые рукавицы и, ничего не сказав, вышла из теплого уютного то-рафа. Вслед за нею поспешила Псулк, тихая, исполнительная.

В шалаше лежал, поблескивая лезвием, топор. Его поло-

---

[1] Путик — охотничья тропа.

жил, конечно, предусмотрительный Касказик. Топор отбросит злых кинров — духов, которые только и ждут появления ребенка, чтобы забрать его душу. У дальней от входа стенки — небольшая горка из елового лапника. У Талгук потеплело на душе, муж заботится, чтобы удобнее было ей рожать — нужно опереться головой и руками об это возвышение, все легче будет.

Псулк обвязала живот роженице и сказала:

— Только не стони и не кричи, когда ребенок начнет опускаться — испугаешь, и он поднимется вверх, больше мучиться будешь.

Когда Талгук молилась об одном — чтобы роды прошли удачно и чтобы ветер не перешел в пургу, донеслись скрип снега и голос мужа: «Все узлы, завязанные тобой, я развязал. Все вещи, которые я сделал раньше, разобрал на части; все вещи, которые я сделал позже, — разобрал на части. Все разнял, все разобрал».

Сказав эти ободряющие слова, Касказик развел костер у входа в шалаш. Талгук была благодарна ему — добрый, всегда сделает так, чтобы хорошо было.

Касказик подбросил в огонь лиственничные плахи, ушел в то-раф, чтобы не мешать жене и не навлечь злых духов...

Ждал Касказик долго, много раз выходил в снежную замять и уже опасался, не приключилась ли беда, когда сквозь темень и завывание ветра услышал крик ребенка. Муж Талгук и отец новорожденного подскочил к шалашу, у которого уже нарастал сугроб. Костер беспомощно и жалко боролся с пургой: над тлеющими углями взвивались не языки пламени — плясали снежные вихри.

Псулк смогла сохранить огонь. Отошла от него лишь тогда, когда начались роды. С чувством благодарности к этой молчаливой и доброй женщине Касказик оживил костер, поставил со стороны ветра плахи так, что они нависли над огнем.

А ребенок все кричал и кричал. Крик приглушенный — это Псулк, приняв мокрого беспомощного человечка в заячью шкурку, быстро перевязала пуповину, отрезала, спрятала живой сверточек под одежду, прижала к голому телу, согревая своим теплом.

Касказика терзало желание знать, кого же принесла жена: сына? дочь? Псулк знала о мучениях мужчины и не заставила долго себя ждать.

— Гость поехал на собаках, гость! — произнесла она словно в никуда: соблюдала обычаи, нельзя женщине говорить с чужим мужчиной, смотреть ему в глаза. Да и сказать, что родился в Ке-во сын, значит выдать злым духам строго охраняемую тайну.

Счастью не было предела. Род Кевонгов увеличился! Род

Кевонгов растет! Но тут же радость сменила озабоченность — пурга. В шалаше уже намело снегу. Ребенку будет плохо. И Касказик решился на отчаянный шаг — забрать и ребенка и мать в то-раф, в теплый родовой то-раф, где в очаге и день и ночь горит огонь. Жаркий, живой огонь. А дров много, еще с осени запасли.

— В то-раф бы лучше, однако, — сказал Касказик.

О, нет! Талгук — любящая, верная жена. Она поступит так, чтобы в детей не вселились злые силы — не болели чтобы. Злые духи охотятся за душами детей, надо строго соблюдать обычаи предков. Она не перешагнет сейчас порог торафа, иначе навлечет на род мужа болезни и мор. Пусть пройдут положенные три дня, Талгук примет ритуал очищения — вот тогда вернется к людям, домашнему очагу.

— В то-рафе бы лучше, однако, — громко и повелительно повторил Касказик.

Правда, случалось, что в жестокие бураны некоторые женщины-роженицы убегали в то-раф. Им, неочищенным, отводили самое плохое место — у порога или у ближнего края боковой нары. Духи не любят, когда переступают обычаи, поэтому-то в тех родах дети часто болеют, умирают.

Измученная родами женщина вдруг закричала:

— Отстань!

И Касказик отстал. Но притащил сена и веток, утеплил шалаш. Из кольев, елового лапника и снега соорудил навес — чтобы ветер не бил в щели. Притащил оленьи шкуры на постель и еще теплой одежды. И, решив, что сыну и женщинам не грозит теперь холодная смерть, стал готовить еду. Лишь к рассвету Талгук и Псулк поели горячей пищи и выпили чаю. Талгук же просила еще и еще налить ей.

Касказик не знал сна: присматривал за костром у шалаша, поддерживал огонь в то-рафе, кормил роженицу. И все дни дул ветер, переметал снег. Касказик и молил ветер, задабривая его ласковыми словами, и уговаривал, но тот был глух. Хозяин Ке-во уже намеревался стрелять[1] в ветер, но за хлопотами и заботами прошли сроки, и, когда наступил третий день, обиженный и рассерженный Касказик плюнул навстречу ветру:

— Теперь хоть лопни — зла мне уже не причинишь. Тьфу! — еще раз плюнул.

Псулк сунула в костер заранее припасенный камень. У входа в шалаш лежала связка тальника — она нарезала ее загодя. Теперь, сделав поперек ствола надрез, Псулк легко освободила его от коры. И стала соскабливать ножом стружку. Тоненькая, белая, мягкая стружка, извиваясь, легко сходила со ствола. Целая гора стружки, на подушку хва-

[1] Раньше у нивхов во время большой и длительной пурги было принято «стрелять в ветер» — пускать против ветра стрелу, и тогда якобы «убивали» ветер и на земле устанавливалась хорошая погода.

тило бы! Псулк разделила ее на две части. Выкатила из костра каленый камень и положила на стружку, а на камень еще набросала стружку и велела Талгук сесть на нее. Кислый дым, подхваченный ветром, сообщил хозяину стойбища Кево, — началось окуривание роженицы.

...Настал очень важный миг. О, Касказик хорошо подготовился к нему. Поставил медный котел у порога, положил в него кремень. Широкую лопату принес в то-раф и поставил у боковой нары. Самое главное теперь — отвлечь злых духов. Они, конечно, невидимые, толкутся у входа и в самом то-рафе, ждут ребенка, чтобы забрать его душу. И Касказик должен обмануть их. Он хорошо продумал, как это сделать: расщепил три тальниковых прута, вставил в расщеп распорки, воткнул прутья цельными концами в снег: один у порога, второй — в шаге от первого, а третий — еще дальше. Теперь пора идти за ребенком. Псулк завернула мальчонку в свежую заячью шкуру, которую нагрела сперва у огня, а сверху еще хорошо выделанная щенячья шкура. Только Псулк знает, как удалось ей сберечь ребенка. Подставляла к огню живот, к которому под одеждой был прижат живой сверток, и дыханием отогревала его, и делала все, чтобы самой не заснуть, и постоянно пила в большом обилии горячий чай — чтобы согреться.

— Х'ана![1] — крикнул Касказик.

Псулк быстро сунула сверток в расщеп. Отец принял его с другой стороны и выбил распорку — прут сомкнулся. Так была закрыта дорога духу, который наверняка гнался уже за ребенком, как зверь за добычей. Пропустили ребенка и сквозь второй, и третий расщеп и тоже выбили распорки. Приняв сына, Касказик переступил порог, развернул шкуры-пеленки, опустил сына ножками в котел так, чтобы они коснулись дна. Теперь будут охранять сам кремень и его дух — огонь. Теперь он защищен от бед и на воде — под ногами его всегда будет твердь — ведь у котла крепкое дно. А чтобы сбить с толку духов, которые могли проникнуть в то-раф, Касказик положил сына на лопату, набросал сверху мусора и прелого сена. Глядите, духи!! Во все глаза глядите! Это не ребенок — разве положат ребенка на лопату, которой выгребают всякую нечисть? Это не ребенок, это мусор! Обыкновенный мусор. И чтобы убедились, что действительно нет здесь ребенка, Касказик сунул лопату под нары. Убирайтесь, духи. Убирайтесь из то-рафа, вам здесь делать нечего!

Касказик забрался на нары, отогнул постель у стены, раздвинул плахи и в образовавшуюся щель вытащил сына.

Талгук же вошла в то-раф позднее и одна — пусть видят, нет у нее никакого ребенка.

И чтобы вконец обмануть духов, младенца назвали Ыки-

[1] Х'ана — приблизительно означает: «давай» (пора, начнем)...

лак — Плохой. А плохой никому не нужен, и дурной глаз обойдет его.

Удачно Касказик обвел духов. В детстве сын побаливал, но не столь опасно, чтобы бояться за его жизнь. Даже шамана ни разу не приходилось приглашать.

И вот теперь Ыкилак — юноша!

Глава XVI

В конце второго дня, пройдя мимо нескольких таежных стойбищ, люди Ке-во выплыли к местечку Чачфми. Крутая береговая терраса разрезана здесь родниковыми ручьями. Еловое темнолесье тянется большим массивом и уходит в глубь сопок. Противоположный берег Тыми, наоборот, низкий и покрыт мшистыми марями.

Кажется, ни один нивхский род не занимал этого урочища постоянно. Лишь в отдельные годы иные приезжали сюда на зиму, промышляли соболя и вновь возвращались на свои заливы — поближе к морской рыбе и зверю. Иногда ороки, племя таежных оленеводов, в своих бесконечных блужданиях по тайге зацеплялись за это веселое местечко, пасли оленей и тоже срывались в другие нетоптаные урочища.

Касказик знал: от Чачфми до устья Тыми по воде — неполный день хода. И было бы хорошо встретить здесь кого-нибудь, расспросить о людях Охотского побережья. И потому обрадовался, когда за поворотом увидел два крытых берестой островерхих чума. «Ороки», — с облегчением подумал Касказик. Старик, хотя и шел на мир с родом Нгаксвонгов, опасался встретить кого-нибудь из них в стороне от людского глаза.

Ыкилак и Наукун никогда не уходили от своего стойбища так далеко и впервые видели жилище ороков. Ыкилаку издали даже показалось, что это не человечьи жилища, а кан-даф — жилье для собак. По прибрежной гальке разгуливала желтомастая собака — по размерам и виду напоминающая нивхскую ездовую. Ее раньше заметили нартовые кобели и подняли лай. Желтомастая ответила громко, визгливо.

Из чума вышли женщины и кривоногий старик.

Старик спустился к воде, приветствовал приезжих по-орокски:

— Сороде, сороде!

Узнав давнего знакомого, обрадовался.

— Ты, однако, это! — сказал по-нивхски, вконец изумив Ыкилака. Обнял Касказика, легонько похлопал по спине.

— Давно не видались! Однако долго мы с тобой живем! Сыновья твои? Вон какие выросли! Последний раз виделись — тот, старший, едва ходил. Меня не помнишь? — обратился к Наукуну.

Наукун покачал головой.

— Вот видишь, как долго не встречались!

— А ты, Лука, куда уходил? — осведомился Касказик.

— Везде уже побывал. Но больше жил на самом севере, на Миф-тёнгр[1]. Хорошие места, ягельные и зверя много. Но там теперь землю ковыряют, кровь земли льют, ягель портят. А те пастбища, что еще не сгубили, заняли пришлые — эвенки, якуты... Мало им своей земли, что ли?..

«Сам приезжий, а местным считает себя», — взревновал Касказик.

Узнав от отца, что орока зовут Лука Афанасьев, Ыкилак удивился. И отцу не без труда удалось объяснить сыну, что ороков не в столь отдаленное время русские попы обернули в свою веру и нарекли русскими именами. Но многие из них наряду с русскими имеют и свои имена. Луку Афанасьева обычно зовут Нгиндалай, или Нгинда-Собака. Оттого, что у него всегда водились собаки. Подохнет одна от старости или задерет медведь — обзаводится новой. Собаки помогали таежнику: охраняли оленей от медведя и росомах. Касказик еще пояснил, что Нгиндалай-Лука сам называет себя ороком. Но он не орок. Эвенк, с материка. Породнился с орокским родом — вот и считает себя ороком.

За чаем словоохотливый Нгиндалай разглагольствовал:

— Ты совсем одиноко живешь. Совсем. Заперся в тайге — ни к кому не ездишь, никого не зовешь к себе, — качал Нгиндалай головой, то ли жалея, то ли осуждая.

Слова его заметно опечалили старого Кевонга, словно на больную мозоль наступил. Уж Нгиндалай-Лука знает, что заставило Касказика засесть в тайге. Не надо шутить над бедным человеком.

— С той поры так и не вылазишь? — сочувственно спросил Нгиндалай.

Касказик утвердительно мотнул головой.

— А теперь куда держишь путь? Не за невестой ли — вижу, с подарками?

— Нет, не за невестой.

Касказик вздохнул. Нгиндалай понял, что опять задел за живое молчаливого нивха. И тогда решился выложить новость, что просилась на язык с самого начала встречи.

— Нгакс-во сейчас большое стойбище. Нивхи там, русские.

— Какие русские? Не те, что с Николаевска приезжают, купцы?

— Не те. Свой купец объявился. Тимоша Пупок. Слыхал?

— Нет, не слыхал. Как это «свой»?

---

[1] Миф-тёнгр — Голова земли, исконное, нивхское название полуострова Шмидта, северной оконечности Сахалина.

— Из местных. Сын каторжника. Купец не купец, но лавку имеет.

— Не слыхал. Не слыхал. А давно это... Нгакс-во стало большим стойбищем?

— Как Тимоша построил лавку. Ань семнадцать, однако, прошло.

— Нет, не слыхал...

Касказик задумался, не зная еще, как отнестись к такой вести.

— А люди рода Нгаксвонгов... Как они позволили? Ведь их родовое стойбище заняли другие?

— А Пупок и не спрашивал позволения. Место ему понравилось: тихая бухта, устье большой нерестовой реки. Нивхи вокруг опять же. А Нгаксвонги... их теперь вроде и не осталось.

— Как это не «осталось»?

— А так, не осталось. Рода не осталось.

— Что же случилось такое?

Касказику не верилось, чтобы род Нгаксвонгов, который славен добытчиками, мог исчезнуть.

— А ты правду говоришь? Может, о другом роде речь ведешь?

— Правду говорю, правду.

Глаза оленевода были грустны. Да и предмет разговора не допускал шуток. Весть поразила Касказика так, что он не мог вымолвить ни слова. Сводило челюсти, и вместо слов из нераскрытого рта вырывалось что-то похожее на стон.

Сыновья и оленевод недоуменно взглянули на Касказика. Наукун не мог понять, что так взволновало отца. Казалось бы, надо радоваться — теперь у Кевонгов нет врагов. Но отец произнес:

— Наш ум был короче рукоятки ножа. Наши головы не знали боли, мы не мучили их думами: споры решали быстро — ударом копья. Пролили кровь, словно ее не жалко, словно ее, как воды в море. И Курнг наказал, никого не обошел: и нас, и их.

Лука негромко, с хрипотцой, сказал:

— Они не умерли от старости. Они не умерли от болезни. Они погибли. И погибли не в битве за свой род...

— На весенней охоте во льдах?

— Нет, не на охоте. Когда появились купцы, люди Нгакс-во выстругали просторные лодки. И не для того чтобы взять больше нерпы — промысел этот они бросили. Построили большие лодки, чтобы набрать на борт больше товару. Тем они и жили, что перевозили купцам товары.

— Бросили нерпичий промысел? — Касказик был несказанно удивлен: как же так жить, только товары перевозить?

— А они уже не живут, — спокойно сказал Лука, — был шторм. Большой шторм. Люди отказывались выйти в залив,

но Тимоша заставил. Обещал хорошо заплатить — те и вышли. На двух лодках вышли. Даже брата своего меньшого не пожалел купец. Так и погибли.

— Весь род погиб?

— Весь. Кажется, весь. — Нгиндалай-Лука сморщил лоб, напряг память. — Кажется... Постой. А Ньолгун — из их рода? — Он обернулся к Касказику.

Ыкилак вскинул голову, второй раз слышал он это имя. Первый раз от Ланьгук там, у Вороньей ели.

— Не знаю, — пожал плечами Касказик. — Я знал всех взрослых Нгаксвонгов. А детей не помню.

— Ньолгун из Нгаксвонгов, — сказал Лука. — Теперь я вспомнил: они из Нгаксвонгов, — твердо повторил он.

— Только один и остался? — встрял в беседу Наукун.

— Один.

— Тогда зачем идти с миром — ведь мириться-то не с кем? — сказал Наукун. Он быстро оценил обстановку: «И мне останется на выкуп».

— Заткнись! — вскипел Касказик. — Ублюдок! Один человек — тебе не человек? Пока жив хоть один человек, род его живет!

Снаружи послышался звон боталов.

— Сыновья мои. Оленей привели, — Лука встал. — Собираемся тоже в Нгакс-во. Тимоша обещал привезти товары. Ты по реке, а я напрямик через сопки. Но ты ненамного отстанешь, может, на полдня всего.

Глава XVII

Привычная для нивхов морского побережья двухпарусная шхуна, словно чайка, лихо проскочила устьевые белопенные бары, вошла в лагуну и, умело используя постоянный напор Тланги-ла[1], медленно пошла против течения. Босоногие нетерпеливые ребятишки убежали далеко от стойбища и у пролива встретили белоснежное судно. Они кричали, размахивали руками, прыгали. «Радуются. Дикари есть дикари. Тимоша сдерет с них последнюю шкуру, а они радуются», — мрачнел молодой якут. Он видел: купчика на этом берегу ждут.

Длинная и узкая, словно палец, песчаная коса защищала от морского прибоя неширокий залив, где только рябь и мелкие всплески оживляли пустынную гладь. Но залив казался пустынным лишь поначалу. Чочуна присмотрелся и заметил на ее воде какие-то черные кругляши. Сперва принял их за обгорелые куски дерева. Но кругляши то исчезали в глубине, то всплывали и двигались не только по течению, но и против. «Нерпы!» — сообразил Чочуна. Он видел их в Амурском ли-

[1] Тланги-ла — «олений ветер», юго-восточный морской ветер, обычно сильный и холодный.

мане. В море же якута свалила качка и двое суток он ничего не видел и не слышал. И только удивился, как это русских не брала эта проклятая, выворачивающая все нутро тягучая качка.

Нерпы в заливе много. Темноголовые с белыми и черными пятнами, они с любопытством рассматривали проходящее судно, без страха подплывали близко и, нырнув, вновь появлялись чуть дальше или с другого борта. Огромные белоснежные чайки степенно кружили над фарватером, высматривая добычу — селедку, корюшку и прочую рыбью мелочь.

Быстроногие мальчишки обогнали шхуну и принесли в стойбище весть: на судне, кроме Пупков, еще человек, обличьем смахивает на нивха. «Нанайца или амурского нивха наняли в помощники», — решили в Нгакс-во.

А Чочуна тем временем озирал берега столь далекой от Якутии земли. Песчаная коса невысокими дюнами, по бокам к ним прицепились низкорослые кустарники. Длинная и ровная коса у основания разбита буграми, бугры переходят в лесистые сопки, обрамляющие залив с другой стороны. В глубине его широкая низинная полоса, разрезанная в нескольких местах зеркальными плесами, над которыми висит белесый пар — видимо, устье реки. Стойбище раскинулось у основания косы. Странные дома — не то рубленые, не то сложенные из жердей. По форме они четырехугольные, без труб. И крыш вроде нет. Окна маленькие — едва кулак проскочит, без стекол. Ниже домов, у кромки воды — вешала. Их много. На них стройными рядами висит распластанная рыба. Ее так много, что она загородила собой стойбище, и дома виднеются лишь в просветах между вешалами.

У каждого дома, слева или справа, высятся похожие на чумы сооружения. «Эвенки?» — обрадованно забилось сердце.

Привязанные к поперечным жердям-перекладинам, рвались с цепи огромные псы. «Собачье жилье», — догадался Чочуна.

Неизвестная земля... Незнакомый народ. Как удастся сойтись с этими людьми?

Среди встречающих отдельной группой стояли люди в меховой одежде. И когда за толпой Чочуна увидел рогатые оленьи головы, обрадовался, словно родственникам, от которых уезжал так далеко. Эвенки? Якуты?

Несколько в стороне от нивхских жилищ две приземистые, с просторными дворами рубленые избы. «Русские везде остаются русскими: дома у них всегда прочные, хозяйство — крепкое», — не то с уважением, не то с тоской подумал якут.

Три русские бабы, дебелые, розовощекие и улыбающиеся, вышли наперед, полезли в воду, высоко задрав сарафаны и оголив полные, белые ноги. И тут в один миг странные нивхи с их добродушными лицами и могучими собаками, олене-

воды с их рогатыми друзьями, песчаный берег с буграми и кустарниками, низкое небо с плотными черными тучами — все исчезло. И только женские ноги, невыносимо белые, казалось, заполнили весь мир.

— Тимошенька, ты мой родненький! — Певучий ласковый женский голос. Чочуна зашатался, его словно толкнуло что-то в сторону.

— Укачало человека, — посочувствовал Тимоша и тут же добавил: — Море — оно тебе не Якутия.

...К удивлению Чочуны, Тимоша оставил весь груз на шхуне. Только поглядел на небо, определил ветер, вытащил якорь на берег, закрепил между корнями гигантского тополя, выброшенного бурей к подножьям песчаных бугров. Чочуна сказал все же:

— Надо выгрузить, наверно?

— Зачем? Сегодня отдыхаем. Завтра выгрузим, — сказал Тимоша таким тоном, что стало понятно: на этом побережье чужое не трогают.

— Идем, — позвал Тимоша, — а то бабы заждались.

Чочуна нерешительно топтался. Тимоша-то, конечно, хорошо усвоил здешние нравы. И если уж оставил все добро без надзора — значит, останется в целости, никто не тронет. И тем не менее он пребывал в нерешительности.

Тимоша взвалил на плечи тяжелый куль — наверно, с гостинцами.

— Ну, чего стоишь? — Тимоша полуобернулся.

— Я зайду к тебе, — поспешно пообещал Чочуна. — Познакомлюсь с людьми и приду.

— Как хочешь. Хозяин-барин, — и, разгребая большими сапогами воду, Тимоша пошел к берегу навстречу визжащим от радости женщинам.

Глава XVIII

Но Чочуна так и не попал к Тимоше. Замученный дорогой и опасениями — не ровен час: эти дикари растащат все — остался у костра, раскинутого на берегу оленными людьми. А коль костер и люди у костра — запах жареного мяса поплыл окрест.

На огонек подходили степенные нивхи — разузнать, что за человек, схожий с ними по виду, объявился на побережье. Они без стеснения рассматривали якута. Чочуне как-то нехорошо стало под их прямыми, добродушными взглядами. «Словно зверь невиданный. Дикари». Нивхи же, изучив лицо приезжего, нашли, что он совсем не похож на них. Глаза большие — чуть поуже, чем у русских, нос крупный, тоже не нивхский. И цвет лица светлый. Только волосы черные и прямые, как у них... Нет, не нашли нивхи в лице Чочуны привычной мягкости очертаний.

Удовлетворив любопытство, они разошлись по своим странным домам. Забот всем хватает: завтра Тимоша будет раздавать товары...

Оленные люди оказались ороками. Чочуна слышал о такой маленькой народности, язык который близок к гольдскому и отдаленно созвучен с тунгусским. Ороки раскинули костер неподалеку от избы молодого, крепкого нивха. Этот нивх с тугой, толстой косой раза два выходил из своего полузасыпанного землей рубленого жилища и обращался к орокам по-нивхски, похоже, приглашал к себе. Ороки что-то отвечали, и нивх исчезал в черном провале низких открытых дверей.

Изба молодого нивха отличалась от других жилищ. Те большие, сложены из толстых жердей, стены покатые, без чердачного перекрытия, с дымовым отверстием в засыпанном землей потолке. Окон нет — лишь маленькие дырки в стене. А у него изба рублена, как у русских. Только маленькая она, с маленькими окнами, словно зимовье таежных охотников.

Чочуна знал тунгусский и спросил старшего орока:

— Ты человек какого рода?

Лука-Нгиндалай от изумления вздернул бороденку.

— Назвался ведь якутом!

— Мы жили с тунгусами в одном селе. Так какого же ты рода?

— Из рода Высоконогого Оленя.

— Где живет твой род?

Нгиндалай, прищурясь, взглянул на якута, словно прикидывал, стоит ли связываться с этим пришельцем. Покрутил в руках вертел с обжаренным мясом и сказал что-то по-орокски. Молодые ороки вытащили из ножен узкие ножи, пододвинулись к костру.

Чочуна поднялся на шхуну, достал початую бутылку спирта. Ороки, увидев бутылку с огненной жидкостью, оживились...

Сухой плавник — добрые дрова. Костер горел размеренно, без вспышек, отдавая большой жар. Подвыпивший Лука-Нгиндалай поведал о себе человеку из далекой Якутии.

Лука — не орок. Он шилкинский эвенк. Еще в юности был наслышан о какой-то земле гиллы [1], что лежит далеко на востоке прямо посреди моря. Говорили: та земля покрыта нехоженой тайгой, соболей в лесах — хоть палкой бей. Несколько отчаянных смельчаков из соседних урочищ уже хаживали на ту землю. Уходили надолго. Не охота отнимала у них время — дорога. Дорога дальняя, опасная. Зиму-две ждали их в стойбище. И они возвращались. Полные мешки соболя привозили с собой.

Отец умер рано, завещал детям стадо в двадцать оленей

[1] Гиллы — так ороки и нанайцы называют нивхов.

и русскую христианскую веру, от которой остались лишь имена да нательные железные кресты.

Прошли долгие годы после смерти отца. Уже седина появилась на голове старших сыновей, да и стать не та, и походка не столь стремительная, а их дети уже помогали пасти оленей. И, наверно, братья не решились бы тронуться с родовых земель, так и жили бы, пасли свое стадо и ловили пушного зверя, поредевшего, правда, в последние годы. Но вслед за новой верой в урочище Шилки пришла дорога — железная. Она разрезала тайгу и сопки, разогнала зверя. А в один из зимних дней, когда олени переходили путь, поезд задавил больше половины стада. Тогда и решили старшие братья податься на землю гиллы. Жены и дети, сестра и младшие братья наказали вернуться весной сразу после промысла. И в конце лета два брата на шести ездовых оленях тронулись в дальний путь по тропе отчаянных и рисковых смельчаков.

...Осенью по чернотропу объехали они много урочищ и добыли более сотни соболей — намного больше, чем пешие охотники — нивхи. Когда же тайга побелела от снега, эвенки пристали к нивхским охотникам, у которых имелся балаган в верховьях одной из нерестовых рек. Было темно, но тепло. И удивились эвенки еще вот чему: нивхи никак не проявляли недовольства тем, что пришлые охотятся в их угодьях. Напротив, все сделали, чтобы незваных гостей не обошла удача. Показали места, излюбленные соболями. Отдали свои широкие лыжи, подшитые нерпой. И радовались каждому их успеху. Странные люди, эти нивхи.

В феврале нивхи подняли силки на деревья — закончили сезон зимней охоты — и распадками спустились к стойбищу Ке-во. Эвенки следовали за ними на лыжах, которые смастерили между делом в дни буранов. За собой эвенки вели оленей. Братья были довольны: добыли двести семнадцать шкурок. Их ждали благополучие и почет среди сородичей, к которым они вскоре вернутся.

Погостили у приветливых людей рода Кевонгов, соорудили себе нарты и подались в Нгакс-во, чтобы продать часть соболей русскому купцу.

Вечером после торгов кому-то из жителей стойбища вдруг захотелось посмотреть гонку на оленях. Подвыпившему Луке и его брату эта просьба польстила. Уж кто-кто, а эвенки, оленные люди, умеют ездить на оленях. Взлетели братья на неоседланных оленей — к чему седла таким ездокам! Седла — удел стариков и начинающих наездников. С криком погнали оленей. Стойбище зашевелилось, зашумело. Со всех сторон доносились возгласы восхищения и остервенелый лай нартовых псов, привязанных к жердям и кольям. Кажется, давно Лука не ездил так красиво: ноги выброшены вперед и хлестко бьют оленя по груди, корпус наклонен, а доха, как крылья орла, взметнулась за спиной.

Проехали эвенки по реке в одну сторону, повернули оленей. Назад в стойбище. А собаки вновь подняли гвалт. И тут чей-то черный пес сорвался с привязи, бросился на оленя и... Лука с большим трудом вылез из сугроба. Огляделся. Где же олень? А олень уже несся далеко за стойбищем. За ним след в след летел огромный пес, к которому присоединились еще несколько. Лука схватил палку и припустился что есть силы, но куда там. С каждым шагом он отставал. Мимо промчался брат. Но оленю с наездником на спине не угнаться за собаками. И брат видел, как далеко впереди псы нагнали ездового.

Застрял Лука на острове. Брат один отвез мешки с пушниной в Николаевск — там меха ценились дороже. Договорились, купит он пару оленей и вернется за Лукой. Но шли дни — брат не являлся. Уж лед на реке заторопился и задвигался — а брата нет и нет. «Наверно, ушел на Шилку. Вернется осенью», — думал Лука. Но прошло лето, прошла осень, настала зима. Появились на острове другие эвенки с материка, но брата все нет как нет. Лука подстерегал каждого приезжего: эвенка ли, нивха ли, русского — расспрашивал о брате. Описывал приметы, но ничего утешительного в ответ не услышал. Вот так и остался Лука на нивхской земле. Нивхи же свято соблюдали обычаи, кормили загостившегося иноплеменника. Тот как мог участвовал в жизни их стойбища: дрова рубил, ходил на охоту, рыбачил.

Как-то Лука чинил прошлогодние лыжи. Было солнечно и тихо, морозец нерезкий, приятный, бодрящий. И тут почудился подзабытый уже, родной с детства звон. Звон повторился. На этот раз отчетливей. Лука замер и опять услышал: «Бол-бол-бол...» «Неужто звон боталов?» — эвенк поднял голову. В стороне от стойбища (чтобы не дразнить собак) проходило стадо оленей. Впереди наездник в дохе, в островерхой меховой шапке — совсем эвенк. Всякие предположения нахлынули на Луку. Может, брат уговорил шилкинских, те согласились покинуть оскудевшие места и переехали на остров? Лука отбросил лыжи и, задыхаясь от волнения, побежал по некрепкой целине, проваливаясь по колено. Он бежал, бежал, бежал... А стадо, не убыстряя своего движения, спокойно удалялось. «Э-э, э-э-э!» — кричал Лука, размахивая шапкой. Пастух, замыкавший караван, остановил оленей. Вся поза пастуха выражала недоумение. Что надо этому человеку? Может, не в своем уме он? А Лука бежал. Он боялся: вдруг пастух ударит оленей и помчится вслед стаду. И тогда... Лука не знал, что будет «тогда». Знал одно: он должен догнать пастуха, расспросить его.

И Лука нагнал. Порывисто и резко схватил за уздечку.

— Что вы за люди? — задыхаясь спросил Лука. Пастух, совсем еще юноша, непонимающе качнул головой. Тогда Лука сказал по-русски: — Твой Амур ходи сюда? — и жестом

помог: показал рукой сперва вдаль, потом ткнул себе под ноги.

Лицо пастуха смягчилось, исчезла настороженность.

— Твой... эвенк? Орочон? — вопрошал наездник.

— Эвенк, — отвечал Лука. — Мой эвенк, мой эвенк.

— Как твой сюда попади? — удивился пастух.

— Мой... мой... — Лука подбирал слова, но видел, не удастся им объясниться на русском. Пастух, очевидно, тоже это понял. Он сказал:

— Твой — эвенк. Сапсем хоросо.

Потом указал рукой на стойбище:

— Ходи туда. Мой скор туда ходи будет.

Ударил ногами в бок оленю, пустился вслед за удалявшимся стадом. А Лука стоял, обескураженный, не понимая, почему пастух отвязался от него. Ведь он хотел... А что он хотел? Что? Лука повернулся и медленно поплелся назад, как-то машинально ступая в свой след.

Он вновь занялся лыжами, но то и дело вскидывал голову, взглядывая на синеющую борозду — след оленьего стада. И тут заметил, два наездника лихим аллюром выскочили из-за поворота. У заднего на поводу мчался еще один олень...

— Это были они, — Лука кивнул головой в ту сторону, где сидели молодые ороки.

Эвенк насыпал в трубку крошеный табак, прижал большим пальцем, задымил.

— Это были они, мои спасители и мои дети.

Чочуна недоуменно вскинул глаза.

— Да, да, мои дети, — подтвердил Лука. — Сперва они взяли меня в свой род, кормили и одевали, как родственника. А когда умер их отец — он был совсем немощный, — я стал отцом юношей, принял их язык и веру... Теперь они считают меня своим, ороком.

«Ишь, какой ловкий! — то был нищий и бездомный, а теперь он — отец этих взрослых ороков и хозяин их стада. Нашелся папаша!»

А Лука продолжал спокойно, негромко:

— На Шилке у моих орокских детей есть братья — эвенки. Их дядя — мой старший брат, — однако, удачно вернулся домой. Привез и моим детям много соболей. И дети позабыли голод и болезни. Но что-то долго не возвращается дядя моих сыновей. Если нынче не появится, я поеду на Шилку. С моими здешними сыновьями поеду. За их братьями и сестрами.

Чочуна был изумлен. Как по русской поговорке: не было ни гроша, да вдруг алтын.

Костер неслышно угасал. Плавник на глазах истончался, и лишь пепел — ветра совсем не было — сизыми перистыми полосками перечеркивал кострище.

...Чочуна рывком поднял голову. Вокруг шевелились люди, переносили груз, сваливали неподалеку от лежавшего у костра якута.

Тимоша, засучив рукава, с каким-то нивхом выбирал из трюма тюки, подавал стоявшим на палубе. Те в свою очередь перекидывали груз на плечи жителей стойбища.

С удивлением Чочуна заметил: весь его небольшой груз выбран из шхуны и аккуратно уложен горкой. Поначалу якута так и подмывало проверить, все ли в целости, но усилием воли он взял себя в руки и тоже стал помогать.

После выгрузки Тимоша открыл свою лавчонку — небольшой дощатый сарайчик. Чочуна еще вчера приметил его. Никогда бы не подумал, чтобы хоть мало-мальски благоразумный человек держал товары в таком ненадежном помещении. Ну и порядки!

Сперва в ход пошла водка. И когда народ стал нетверд на ногах и словоохотлив, Тимоша начал торги. У нивхов не было ничего ценного, кроме кеты, которой они расплачивались за прежние долги, и Тимоша только успевал заносить их имена в долговую книгу. Лишь у Луки с сыновьями оказалась пушнина — немного соболей. Запасливые таежники придержали их во время весенних торгов, чтобы потом было на что выменять табаку, чаю и муки. Но тут Тимоша окончательно сразил якута: драл с опьяневших оленеводов три, а то и четыре цены! Захмелевшие таежники требовали в счет будущей пушнины водку, продукты и холст на палатку. Тимоша наотрез отказал. «Гиляк — он народ привязанный, а эти бродяги — не угонишься за ними в тайге», — объяснял он Чочуне.

Глава XIX

Над устьем реки, где столкнулись теплая речная и холодная морская вода, нестойкий туман. Едва лодки Кевонгов выбрались из него, Касказик заметил белое судно. Оно отчетливо выделялось на темном фоне стойбища. Такого большого судна Касказик никогда не видал. Судно имело высокие борта, а длина его раза в два превосходила длину шестивесельной лодки-долбленки.

Стойбище Нгакс-во сильно разрослось. Раньше в нем стояло восемь ке-рафов — летних жилищ, теперь их, пожалуй, более двадцати. Поставлены они прочно, утеплены корьем и землей, и в них, как видно, живут и зимой. Значит, не все здешние на зиму перекочевывают на противоположный, «материковый», берег залива, где в густолесье еще их предками воздвигнуты теплые то-рафы.

Кевонги подъезжали к берегу. У Касказика теперь лишь одна забота — как в таком большом стойбище отыскать родовой ке-раф Нгаксвонгов.

Жители Нгакс-во давно заметили лодки, приближающиеся со стороны Тыми. Они вышли на берег, расселись на прибрежных буграх и переговаривались, гадая, что это за люди едут к ним. Лодки подошли уже близко, и жители Нгакс-во стали спускаться к воде. Но встретить гостей им не пришлось. Они увидели, как Пупок влетел в избушку Ньолгуна. Люди услышали сперва ругань и крики. Потом низкая дверь, прилаженная к косяку лахтачьей кожей, дернулась, и двое — Тимоша Пупок и Ньолгун, — сцепившись, вывалились из избы. Ньолгун, заикаясь от возбуждения, твердил: «Ты мне пустую бочку давал — бери свою пустую бочку. А за муку я соболь давал».

Разгневанный Тимоша схватил подвернувшуюся под руку палку и со всего маху ударил нивха. Ньолгун, сам крепкий и не малый ростом, молча сносил побои. Но терпению его пришел конец: он плюнул в лицо Тимоше. Пупок на какое-то время замер, опустив руку с палкой, — будто осмысливал происшедшее. Потом бросился было за нивхом, но тот уже отошел на почтительное расстояние и продолжал уходить по твердому, накатанному прибоем берегу залива.

Озверевший Тимоша вбежал в избу, выскочил оттуда со связкой соболей. И нет, не успокоился купец. Вытащил спички и трясущимися руками поджег избушку. Крытую корьем лачугу огонь охватил мгновенно, и горела она ярко и быстро. Тысячеязыковое пламя бесилось над оголившимися балками, прыгало и взлетало, будто хотело покинуть жилье несчастного нивха, но балки и лиственничные стены цепко удерживали огонь, обугливались, истончались и рушились к ногам притихшей в страхе толпы. И лишь Ольга, младшая сестра Тимоши, бегала вокруг догоравшей лачуги и причитала:

— Люди! Люди! Что же вы смотрите!

Потом схватила головешку и с растрепанными волосами подскочила к избе старшего Пупка. Дуня, дородная баба, жена Тимоши, вырвала у нее головешку, при этом обожгла пальцы, и, морщась от боли, крикнула:

— Вот дура-то, свое спалить хочешь.

Глава XX

Несмотря на уговор, Чочуна не пошел к Тимоше. «Такой же узкоглазый, как гиляк, потому и жалеет их», — объяснил сам себе Пупок и, закрыв лавку, исчез в избе.

После его ухода притихшие нивхи и ороки несколько оживились. Но они то и дело поглядывали на покрытые пеплом угли — все, что осталось от дома Ньолгуна, — и тогда в глазах их вновь вспыхивал страх.

Ньолгун весь день просидел на черных головешках, уперев локти в колени и опустив голову. Жители стойбища со-

чувствовали, но благоразумно не приставали — чем могли они помочь, разве только впустить к себе пожить, пока вновь не поставит хижину.

Вечером Чочуна подошел к Ньолгуну. Он сумел разговорить убитого горем человека. Еще весной Тимоша раздал голодающим нивхам подопрелую муку в счет будущего улова. Ньолгун отдал тогда за кулек муки двух отличных соболей. Остальную пушнину оставил себе — собирался жениться. В начале лета Тимоша развез по стойбищам бочки, наказал всем, чтобы рыбу заготовляли только для него. Другой купец — Иванов — летом промышлял севернее «владений» Пупка. Узнав о поездке Тимоши в Николаевск, он совершил быстрый рейд на юг. И Ньолгун, которому нужны были деньги для подарков, продал Иванову брюшки и еще два длинных шеста копченой кеты.

— Теперь все пропало, — горевал Ньолгун. И Чочуна поймал себя на том, что ему жалко гиляка. Но тут же отогнал жалость подальше от сердца, спросил, стараясь придать голосу мягкость:

— Что «пропало»?

Ньолгун, то ли в силу нивхской доверчивости, то ли надеясь найти хоть в этом иноземце защиту, рассказал подробно о своей беде.

Нивхи берут жен из других родов. Мать Ньолгуна из А-во, что на берегу большой реки Тыми. В том стойбище у Хиркуна, хорошего добытчика, подрастает Ланьгук.

Ньолгун последние годы каждую зиму наезжал в А-во, привозил гостинцы, цветной материал — женщинам, прочные нити для сетей, табак, чай и водку — мужчинам. Авонги принимали гостинцы. Старейший рода Эмрайн молча пил чай, молча курил, молча обдумывал свою думу.

В прошлую зиму, когда Ньолгун после удачной осенней охоты привез богатые дары, Эмрайн сказал: «До времени, когда дочь сможет покинуть стойбище отца-матери, ползимы, весна, лето, осень и еще ползимы». Ньолгун счел его слова обещанием. Верным и надежным. Теперь только и живет тем, что собирает выкуп. И вот, когда подготовился к главной зиме, когда у него уже и меха были... Что сейчас делать, как дальше быть? Ланьгук заберут другие, уведут из-под носа...

— Не убивайся, — сказал Чочуна, твердо глядя в глаза. — Сколько тебе лет?

— Не знаю. — Потом задумался. — Мне было столько, сколько вон тому мальчику, сыну погибшего моего дяди. — Ньолгун показал рукой на мальчишку в рваной одежде. Стесняясь взрослых, тот делал вид, что играет с огромной, похожей на медведя, нартовой собакой, а сам то и дело бросал исподлобья то ли любопытствующий, то ли голодный взгляд. — Тогда осенью в шторм выбросило кита. Нивхи радовались: Тол-ызнг, хозяин моря, милостью своей дал им и

собакам их пищу. Через одно лето я узнал: в роду старого Эмрайна родилась девочка Ланьгук. На третью весну она тяжело заболела — вся кожа покрылась красной сыпью. Через четыре зимы весной мой отец и его братья вместе с меньшим братом Тимоши погибли на воде — перевозили груз Пупка.

Два лета еще прошло. Наступила штормовая осень. У многих нивхов сети порвало. И зимой был голод. В осень Большого шторма я ушел в верховья нерестовой речки и нашел там удачу, заготовил юколу из нерестовой кеты. Юкола, правда, сухая, как палка, но в голод и она пища. Я имел силы и мог ставить ловушки. В ту зиму Тимоша совсем плохим человеком стал. Голодные отдавали ему за куль муки десять, а то и двенадцать соболей. Я подождал. И когда ни у кого не осталось соболей, показал своих. У Тимоши глаза на лоб полезли, аж подпрыгнул. Тут уже я цену называл. Хорошо торговал. Вот тогда-то я приехал в род Авонгов, чтобы посмотреть Ланьгук. Она уже была подросток. Очень красивая. Оставил им муки, риса, сахару, чаю и табаку — месяца на два, не меньше.

С той поры каждую зиму наезжаю в стойбище А-во. В прошлую зиму был четвертый раз.

Ньолгун говорил негромко, почти не меняясь в лице, лишь иногда останавливаясь, чтобы вспомнить то или иное событие. И тогда на его гладком лбу обозначались две-три еле заметные бороздки. Закончив, он обратился к собеседнику:

— Ну так сколько же мне лет?

Чочуна, не проронивший ни звука, словно очнулся. Ну и счет у этих гиляков! Любопытный счет. Теперь Чочуна почти все знал о Ньолгуне. Шустрый парень. Далеко пойдет. А Пупки — живодеры, хуже волков.

— Сколько мне лет, спрашиваю? — повторил Ньолгун.

— Ты так долго говорил, что я сбился со счета.

— Вот видишь! — с важностью сказал Ньолгун. — Ты сбился со счета, потому что я долго говорил. А долго я говорил, потому что мне немало лет.

— Около тридцати есть?

— Не знаю, — ответил нивх. Потом возмутился. — Зачем «около», когда можно точно! Ты же умеешь считать? Тогда загибай пальцы, а я буду говорить. Значит так, выбросило кита — мне было столько, сколько вон тому мальчику, который уже не трогает собаку, а копается в пепелище, на второе лето родилась Ланьгук, на третью весну Ланьгук болела тяжелой болезнью; через четыре зимы весной погиб мой род; в то лето родился мальчик. Прошло еще два лета, и зимой наступил большой голод, и в ту зиму я ездил смотреть Ланьгук. С той поры я каждую зиму езжу в А-во. В прошлую зиму был четвертый раз. Сосчитал? Сколько получилось?

— Шестнадцать или пятнадцать... без мальчика, — сказал неуверенно якут.

— А мальчику?

— А мальчику семь лет.

— Сколько же мне? — нетерпеливо требовал Ньолгун.

— Тебе... тебе... двадцать три года.

— А тебе сколько?

— Двадцать.

— Вот видишь! — торжествовал нивх. — Я старше тебя! — Ньолгун смотрел вызывающе.

Чочуне не понравилось это. «Голодранец, а еще так смотрит!» — с неприязнью подумал он. Но и на этот раз Чочуна овладел собой и сказал только:

— Не горюй, друг, человеком будешь. Твой дом сгорел — новый будет. И выкуп соберешь. Богатый выкуп соберешь... Тебя будут уважать. И бояться будут.

Ньолгуну понравилась речь якута. Он заискивающе посмотрел ему в глаза и, не очень веря в услышанное, спросил:

— Ты правду говоришь?

«Вот так! Всегда так будет!» — в глазах якута мелькнул желтый огонь. Нивх встрепенулся, но Чочуна сказал мягко:

— Я помогу тебе. Я сделаю тебя богатым. Тебя никто больше пальцем не тронет. Тебя будут бояться.

Чочуна вытащил из чехла поблескивающее воронью ружье, подал Ньолгуну:

— Возьми. Это ружье сделает тебя сильным.

Ньолгун упал на колени, пытаясь поцеловать ноги якуту. «Вот так всегда и будет!» — твердо сказал вполголоса якут.

Ньолгун поднялся, схватил ружье, засуетился, не зная, куда девать бесценный подарок, который сделает его могущественным, возвысит над людьми. Он сунул ложе под мышку, крепко прижал локтем, огляделся. Стоящие поблизости нивхи и ороки молча наблюдали за происходящим. На их глазах большое несчастье оборачивалось для потомка вымирающего рода Нгаксвонгов внезапным счастьем.

Чочуна в это время скликал мальчишек, которые, словно пугливые щенки, то приближались, то прятались за спинами взрослых.

— Иди сюда. Иди сюда, — звал Чочуна. Но ребятишки не понимали чужого языка. Маленький оборванец, который, сам того не зная, помог определить возраст Ньолгуна, стоял ближе всех. Ньолгун и сказал ему по-своему:

— Мылгун, подойди. К этому большому начальнику подойди. Он хороший, жалеет нивхов.

Мальчик нерешительно топтался, звучно шмыгал носом, пытаясь скрыть страх и смущение. Но когда Чочуна вытащил из мешка крупный, с кулак, кусок сахара, вприпрыжку помчался к нему. Рваные штанины хлопали по грязным босым ногам. Мальчик торопливо вырвал белоснежное редкое ла-

комство, словно боялся, что кто-то другой овладеет им. Чочуна подозвал мальчишек, которые оказались рядом, дал по куску сахара. Заметил: больные с похмелья ороки смотрят на него со странным детским ожиданием. Неприязненно поджал губы, отвернулся.

Чочуна размышлял некоторое время, как дальше поступить. Он знал, наступил случай, когда нужно действовать.

Чочуна оглянулся через плечо — оленные люди с кислыми физиономиями мучились в нетерпеливом ожидании.

У Луки на шее под расстегнутой серой грязной рубашкой виднелась тонкая веревочка. Еще вчера Чочуна обратил на это внимание, но не придал значения. Шпагатик охватывал шею и сходился на груди. Он был темный, пропитан жиром и потом.

Чочуна осторожно протянул руку, двумя пальцами тихонько потянул шпагатик. Из-под рубашки, словно зверек из норы, выскочил маленький металлический крестик.

— Крест. Крест. Я Лука Афанасьев. Лука, — со значением говорил Нгиндалай. Эвенк разговаривал с якутом на языке символов. А это означало: «У меня не эвенкийское имя, хотя я настоящий эвенк. Мы, эвенки, крещеные. Мы тоже дети великого русского царя».

Чочуна оглядел щупленькую, неказистую фигурку хозяина маленького рода таежных бродяг, сказал:

— Все люди — братья!

— Братья! Братья! — охотно подтвердили ороки.

— Подойдите ко мне, братья!

Якут выхватил из мешка красивые бутылки, поблескивавшие на солнце.

— Подходите все! Все подходите! — Чочуна взмахивал руками, словно хотел обнять все стойбище.

Сначала подошли степенные нивхские старики и полные достоинства мужчины-добытчики. Юноши почтительно держались поодаль.

Степенности у нивхов хватило на глоток водки. Старики велели юношам принести низкие столики, рыбу в резной деревянной посуде, нарезанную юколу, топленый нерпичий жир, соленые рыбьи брюшки. Появились женщины, притащили лакомства — сырую нерпичью печенку, сырую голову кеты, вареное нерпичье мясо. На середине столиков в фарфоровых чашечках — соляной раствор, в который нивхи обмакивали хрящи кетовой головы и кровавые куски печенки.

Мелконарезанная печенка с черемшой и без черемши — отличная закуска. Она хорошо шла после водки. Чочуна это сразу оценил.

После закуски подали вареное мясо — большими кусками, на крупных костях. Нарезанную кетовую юколу нивхи брали щепотью, обмакивали в топленый золотистый нерпичий жир и, запрокинув голову, клали в рот.

— Все люди — братья! — повторил торжественно Чочуна. — Вы гиляки, ороки. Я — якут. Но мы братья, потому что мы все люди! Будем жить вместе, помогать друг другу.

Нивхи слушали говорливого якута со смешанным чувством. «Все люди — братья», это верно. Нивх всегда впустит к себе другого человека — будь то нивх, орок, эвенк или русский. Накормит, согреет теплом своего очага. И человек будет жить у нивха до тех пор, пока не изволит продолжать путь. Добро не требует, чтобы о нем говорили. Люди говорят о необычном. Добро — оно обычно у нивхов, как и окружающая их природа с ее обычными ветрами, дождями, снегопадами. А якут все твердит и твердит о вещах, которые известны даже краснозадым младенцам. Будто открыл что-то необыкновенное. Странный этот якут. Но, наверно, хороший, раз такой щедрый.

Уже смеркалось. И Чочуна Аянов наделил гостинцами каждого, кто принимал участие в пире, дал по полплитки чая и горсти табака.

Люди начали было расходиться, но их остановило пение полупьяного Ньолгуна. Он сидел на песке, поджав под себя скрещенные ноги, и раскачивался с закрытыми глазами.

Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Мы, нивхи, сколько помним себя, — жители этой земли.
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Курнг в своей доброте не забыл наши урочища:
Реки в наших урочищах полны рыбой,
В лесах наших урочищ всегда зверя много.
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Нам бы жить — зверя добывать,
Нам бы жить — рыбу ловить.
Но поселился среди нас злой человек.
Только о себе ночами и днями думает.
Только о том, как сильно разбогатеть, думает.
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Жадностью большой сам себя ослепил,
Из-за этой жадности человечье лицо потерял.
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
У него — свои духи, свои боги.
Но Курнг — наш бог — нас услышал:
На счастье нам с далекой земли якута прислал,
Якута богатого и доброго прислал.
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!

Глава XXI

...Высокий, худощавый человек размеренно вышагивал по песчаному берегу залива. Лицо, давно не бритое, шея тонкая, худая. Лохматую грязную голову венчала мятая

светлая шляпа. Вот уже много лет не расстается с этой шляпой топограф.

— Девяносто семь... девяносто восемь... девяносто девять...

Каждую сотню шагов он заносит в тетрадь. А вслед за новыми и новыми сотнями — на графленом планшете тянется ломаная линия — берег залива.

В прилежащих к низовьям Тыми урочищах обнаружили выходы нефти. Но чтобы приступить к поисковым работам, необходимо было иметь план местности. Известный топограф получил задание покрыть маршрутами нефтеносную полосу побережья. Помощником и проводником он нанял Громовика.

Десятки сотен шагов... сотни сотен шагов... тысячи сотен шагов... А в каждом шаге семьдесят шесть сантиметров. Ни на сантиметр больше, ни на сантиметр меньше. Натренированный, выверенный годами точный шаг топографа.

— Сорок пять... сорок шесть... сорок семь...

— Семен Семенович! — слышится радостный крик.

...Пятьдесят четыре... пятьдесят пять... пятьдесят шесть...

— Тимоша прибыл! Вон шхуна жмется к берегу.

...Шестьдесят один... шестьдесят два... шестьдесят три...

Топограф словно оглох. Казалось, ударь его гром — он все так же будет вышагивать и вышагивать.

Лишь отмерив последний шаг и внеся запись в тетрадь, Семен Семенович перевел дыхание, вытер шляпой испарину со лба. А ведь не так уж и жарко.

— Послезавтра к полудню придем к Нгакс-во, как раз и замкнем залив. А там — дальше, — словно отгоняя какие-то сомнения, сказал Семен Семенович и бросил короткий, усталый взгляд на помощника. — А там двинемся дальше, Коля, — повторил он. — На юг надо идти.

— Здесь проходили Крузенштерн, Бошняк...

— А проверить бы их не мешало. У Крузенштерна много приблизительного. Вот Бошняк — тот все пешком исходил, да на лодках. Но он больше на гиляков полагался.

Нет, не пошли топографы на юг. Они появились в Нгакс-во на второй день после пожара. Узнав о случившемся, потрясенный Семен Семенович собрал нивхов и написал от их имени жалобу губернатору.

— Строчишь? — вызывающе усмехнулся Тимоша. И сам же ответил: — Строчи! Строчи, коли грамотный. Только ворона, что ли, отвезет твою писулю губернатору? Ха-ха-ха-ха-а-а...

Тимоша редко смеялся. Озабоченный, он был постоянно хмур. А тут развеселил его этот топограф. Когда, в какие времена жаловался гиляк на кого-нибудь? Бьют его, а он молчит. Грабят его, а он молчит. Молчит, как скотина немая. Только и разница, что на двух ногах ходит.

— Ха-ха-ха-ха-а-а,— рассмешил ты меня, грамотей.

— Смейся, живодер! — зло оборвал его Семен Семенович. — Найдется и на тебя управа. — Голос у топографа срывался.

— И буду смеяться, — вдруг посерьезнев, сказал Тимоша. — Только не ко мне ли в лавку поскребешься? Али гиляку уподобился, сырой камбалой довольствуешься?

Семен Семенович понимал: гиляки внимательно следят за их перепалкой, знал, что гиляки относятся к ним обоим настороженно, недоверчиво. И откуда бы взяться другому отношению, когда европейцы только затем и приходили сюда, чтобы грабить. И надо было сейчас, сию же минуту найти такие слова, чтобы гиляк понял: не все они одним миром мазаны.

Семен Семенович отвернулся — в левой части груди побаливало, — он сделал вид, что полез в карман, просунул руку под куртку, помассировал.

— Живодер, найдется на тебя управа! — И обернулся к жителям стойбища: — Кто из вас понимает русский?

— Мой говори мало-мало есть, — торопливо и громко ответил Ньолгун, словно боялся, что на него не обратят внимания.

— Его говори тозе, — кто-то ткнул пальцем в Чочуну, который с любопытством наблюдал за происходящим.

— Вы говорите по-русски? — Семен Семенович только сейчас заметил этого человека, одетого даже щегольски: хромовые сапоги, рубаха с русским вышитым кушаком, на голове лихой картуз.

— Я приезжий, якут. По-ихнему не понимаю, — объяснил Чочуна.

— Тогда вы, пожалуйста, переведите мои слова, — обратился Семен Семенович к Ньолгуну. — Объясните своим соплеменникам, что лавочник Тимоша Пупок дерзко нарушает царское указание, за что ему несдобровать. Там сказано, чтобы вам, гилякам, никто не чинил препятствий в ловле рыбы — кеты, горбуши, чтобы такие, как этот, — и он кивнул головой в сторону Тимоши, — не посягали на ваши рыболовные тони. А Пупок отобрал у вас лучшие. Вот тут, в этой бумаге, — Семен Семенович ткнул темным, обветренным пальцем, — я обо всем написал.

Чудо свершалось на глазах. Непроницаемые, казалось, безразличные лица нивхов вдруг оживились, потухшие глаза загорелись. Нивхи потянулись к бумаге, словно хотели убедиться в могущественной ее силе, которая способна покарать злодеев и вернуть их тони и сытую жизнь.

Эта ночь была для Касказика тяжелой...

К'итьк — каторжники, злодеи... Пупок — купец, тоже злодей. И вот — Семен Семенович... Обличьем схожи, крови одной, но такие разные. Никто не защитил бедного Ньолгуна, а этот русский заступился. И не только за Ньолгуна — за

всех низов стал... За эту ночь старейший Кеноптов перевороча в своем усталом мозгу множество самых сложных мыслей.

...От стойбища Нгакс-во отошел караван, груженный тюками Чочуны Аянова. Он направлялся в темную островную тайгу.

...Караван ушел. И никто и не заметил в этой суматохе, как, прислонившись к теплой, нагретой солнцем стене дома, стояла в оцепенении Ольга, младшая сестра Тимоши. Лишь глаза печально смотрели вслед каравану, да нежные губы раскрылись в неслышном вопросе.

Ольга родилась в нивхском стойбище. Играла с разноголосыми своими сверстниками, бегала с ними босиком по берегу моря, собирала в лесу ягоды.

Отец всегда был чем-то занят. Теперь-то Ольга понимает: сколько сил пришлось убить ему, чтобы ни она, ни братья не знали нужды.

Ольга любила красные закатные вечера, когда по стойбищу от края и до края перекатывается заунывный вой ездовых собак. Какая-то неизъяснимая тоска в нем. Тоска огромная, беспредельная. Услышав вой во дворе, отец зло оглядывался, энергично заносил руку, будто с маху хотел кого-то ударить, и с нерасплесканным гневом говорил: «Каторжники». И как-то жалко согнувшись, поспешно уходил в избу и долго сидел там в углу, ни с кем не разговаривал и никого не подпускал к себе. «Любила», пожалуй, не то слово. Просто Ольга не представляла себе жизнь иной, вне этого стойбища. После смерти отца жила Ольга у брата своего Ивана.

Целыми днями хлопотала она по дому, радуя своим усердием Федосью. Хлопотала, а у самой в сердце с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем нарастала горечь. Она теряла сон, аппетит, нервничала по пустякам. «Жениха ей нужно. Жениха», — подтрунивал Тимоша в такие минуты и обещал в следующую поездку в Николаевск найти «подходящего». Но этих «следующих» уже сколько было, а «жениха» все нет как нет.

И когда жители стойбища вышли встречать шхуну, Ольга нерво-наперво сосчитала людей на палубе. Трое... Она тихо вскрикнула, накинула на плечи шаль, выскочила на берег и вместе с Дуней и Федосьей полезла в воду, встречать долгожданного.

Но Тимоша и Иван, как обычно, обняли сестричку и не представили третьего человека. А тот прошел мимо нее, к орокам. «Недосуг, верно». Измученная напрасным ожиданием, на другой день Ольга поймала во дворе Ивана:

— Кто это?

— Кто? — не понял тот.

— Ну, кто с вами приехал.

— Не знаю. Погостить, что ли, к гилякам.

...Караван уходил. Караван уходил в тайгу.

— Ы-ы-ы! Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!

Чочуна придержал оленя, оглянулся, кто же это поет? Кешка, старший сын Луки, и Гоша Чинков — зять и батрак Луки и его сыновей, ехали след в след, и видно было, что каждый занят своими мыслями. Ньолгун замыкал караван. Это он раскачивался в седле, вертел головой по сторонам и пел. «Что за народ — эти гиляки? — не переставал удивляться якут. — Только что у него сожгли дом, а он уже и позабыл о горе своем, поет!»

В тайге полно медведей, соболей и всякого другого зверья. Ньолгуну радостно от этого. Над караваном пролетали вороны, сойки и прочие птицы — Ньолгун разговаривал с ними.

Навстречу каравану, раздвинув широко плечи сопок, торопился, подскакивал на камнях ручей.

Глава XXII

Касказик видел, как встречавшие их жители Нгакс-во вдруг разом отхлынули от берега, словно их унесла волна. И тут же запылала чья-то хижина. Касказик осмотрительно пристал выше стойбища и со стороны наблюдал за событиями. Наукун и Ыкилак бегали смотреть пожар и вернулись озадаченные и удивленные. Их поразило то, что никто в стойбище не осмелился помешать купцу. «Когда же это успели так запугать всех нас, — подумал Касказик, — что ни у кого рука не поднялась остановить злодея?»

Касказик и в молодости редко общался с жителями морского побережья, мало кого знал, и теперь ловил себя на мысли, которая давно уже засела в его старой голове и которую грех произносить вслух: хотелось древнему корню Кевонгов, чтобы его сверстников Нгаксвонгов не осталось в живых, чтобы ничьи уста сегодня не могли поведать людям о давней кровавой битве. Касказик твердо знал: его род не может жить в одиночестве. Детям древнего рода нельзя без общения с людьми большой и богатой их земли. Древо Кевонгов должно вновь зазеленеть!

К некоторому огорчению старейшего Кевонга привели его к деду, который был намного старше самого Касказика. Дед крупный, ширококостный, с большой белой, как полярная сова, головой и прищуренными, слезящимися глазами. Он восседал прямо на голом песке в какой-то неземной отрешенности, словно не видя и не слыша, что творится вокруг. Рядом чернели угли и пепелище.

— Аткычх! Аткычх![1] — обратились к нему люди.

Дед никак не откликнулся.

Кто-то прикоснулся к его руке — но дед оставался глух.

---

[1] Аткычх — дедушка, уважительная форма обращения к старику.

Тогда дернули его за рукав, и дед неожиданно резко вскинул голову.

— А-а-а!

— Дедушка, дедушка, человек к вам!

— Чего? — Дед приставил ладонь к уху и весь собрался, даже спина выпрямилась.

— Человек к вам.

— Какой человек?

— Старейший рода Кевонгов с сыновьями.

— Как, как?

— Кевонг с сыновьями.

— Какой Кевонг?

— Мы не знаем такого рода. Он сказал: приехал встретиться со старейшим рода Нгаксвонгов.

Касказик понял теперь, с кем имеет дело. Орга́н — древнейший человек на побережье, старейший Нгаксвонг. А Касказик-то полагал, что его давно уже нет в живых...

— Кевонг... Кевонг... — старик задумался, что-то припоминая, и вдруг тревожно сказал:

— А разве есть еще такой род? — резко обернулся и закричал: — Мылгун! Мылгун! Где ты, мой сын?

Откуда-то выскочил и подбежал к нему маленький оборванец.

Орган обхватил его обеими руками, рывком усадил рядом, прижал к себе:

— Сын мой! Сын мой!

Голос древнего нивха сорвался. И люди услышали рыдание, хриплое и негромкое, горькое мужское рыдание.

Окружающие недоуменно переглянулись. Несколько молодых женщин наклонились к седой, дергающейся от плача голове:

— Атк[1], пошли домой.

Теперь Касказику все ясно: род Нгаксвонгов тоже на грани вымирания. Их тоже осталось всего трое: старец Орган, Ньолгун и мальчик Мылгун. Но у них много родственников по материнской линии: есть кому приютить, обогреть Мылгуна. И если бы у мальчика было несколько братьев, пожалуй, всем хватило бы невест: вон сколько женщин назвали старика «атк».

— Купим товары и поедем домой, — сказал Наукун. Касказик знал, почему возникла у старшего сына эта мысль. Он не принимал в счет престарелого Органа и маленького Мылгуна. Ньолгун же покинул старейшего рода и племянника — оставил на попечение сестер и тетушек. И Наукун решил: никто здесь не знает о Кевонгах, никто не помнит о давнем.

[1] Атк — дядя по женской линии, брат матери.

Чего же лучше? Часть мехов нужно оставить на выкуп, а на другую — товары! При этом Наукун пекся не столько о младшем брате, сколько о себе; ведь ему должно теперь перепасть. С богатым выкупом легче найти невесту.

— Сучий сын! — не оглядываясь, прошипел Касказик. И приказал: — Ступай, узнай, в каком то-рафе Мылгун.

На другой день стойбище Нгакс-во потрясло новое происшествие: какие-то люди, назвавшиеся Кевонгами, передали маленькому несмышленышу, отпрыску рода Нгаксвонгов, неслыханно богатые дары: собольи меха, юколу, оленьи шкуры и новую лодку, сильных ездовых собак, мужскую одежду. При этом Касказик, старейший Кевонгов, молвил: «Пусть ты вырастешь большим и станешь великим добытчиком. Пусть между родами и племенами всегда будет мир. Пусть добрые дела всегда сопутствуют людям. Пусть в твоем роду народятся кормильцы, а не братоубийцы».

А потом жители Нгакс-во увидели: от их берега отошли две лодки: Кевонги в опустевшей старой, а во второй, новой, — русские топографы. За длинными, любовно и мастерски выточенными из лиственницы веслами первой лодки — крепкорукие Наукун и Ыкилак. Касказик с трубкой в зубах — на корме, ловко подлаживаясь под гребцов, молодцевато взмахнул рулевым веслом. Люди уже знали, что топографы продолжат свою мудреную работу в долине Тыми, в урочищах рода Кевонгов и других нивхских родов. И еще знали они, что люди во второй лодке везут бумагу, написанную от имени нивхов русским человеком Семеном Семеновичем. Все жители стойбища и гости поставили свои подписи — замысловатые или простые закорючки. Некоторые по чьему-то совету прижали чуть пониже текста засаленные пальцы — отпечатки.

Когда вошли в реку, где встречное течение усилилось и где потребовалось весла заменить шестами, Касказик перебрался во вторую лодку: он заметил, что русские неумело действуют шестами.

Глава XXIII

Лука не понукал оленя — верховой знал тропу, шел споро, а на некрутых спусках переходил на рысь. Ничто не отвлекало Луку от его дум — ни пение несчастного гиллы, ни восторженные восклицания якута («Ой, сколько рыбы!» — когда переходили нерестовый ручей, или «Ягоды-то, ягоды сколько!» — когда двигались мимо рябинника). Якут всего-то и попросил поохотиться вместе зиму. А весной вернется домой. Так и сказал: «Добуду триста соболей — поеду домой». Чего же не помочь человеку? Попросил человек — надо помочь. Ведь и Луке помогли люди, не дали сгинуть. И если сегодня он хозяин стада — пусть небольшого, но стада, —

благодарить надо добрых людей. А этот человек дармоедом же не будет. Богат он: восемь оленей везут его груз. И щедрый: сколько табаку, сахара и чая раздал просто так, водкой всех угостил. Ньолгуну и мне ружье подарил. Пусть себе охотится, добрый человек.

А Ньолгун пел. Ему было хорошо. Он благодарил судьбу, несчастье для него обернулось счастьем. Он владелец невиданного ружья — ни один нивх с побережья не может теперь тягаться с ним. А нагрянут морозы, Ньолгун явится в стойбище, привезет мясо диких оленей. Накормит стариков и детей. Люди увидят, Ньолгун помнит отца своего и его братьев — были они лучшими на побережье гребцами. Слава о них еще долго жила после их гибели. А лодку, необыкновенно большую и многовесельную, которая за несколько лет успела перевезти столько груза, вытащили и поставили у могил утонувших — пригодится она им в потустороннем мире. Правда, корма у лодки покалечена. После похорон, когда народ разбредался по домам, старик Орган внезапно, словно взбесившись, рубанул ее топором. Ньолгун видел это своими глазами, но не понял, что привело старейшего в такую ярость.

После той большой беды, односельчане редко брали Ньолгуна на промысел нерпы или за рыбой: в роду Нгаксвонгов не было ни промысловой лодки-долбленки, ни охотничьего снаряжения. А какой из безоружного человека добытчик?

Тимоша то и дело приглашал Ньолгуна к себе, просил помочь в домашнем хозяйстве. Свободный от летнего промысла Ньолгун охотно откликался на этот зов, — тем более лавочник угощал необычной для нивхов русской едой — хлебом печеным, кашей, зеленым чаем с кусочками сахара. А иногда давал с собой табаку на две-три трубки.

Ньолгун отдавал старику Органу все гостинцы, пусть хоть на миг отбросит горестную мысль, что внук его — не добытчик. Одна затяжка крепкого табака могла сделать сердитого человека мягким и добрым...

А потом, чтобы трубка чаще была набита, Ньолгун стал сам предлагать лавочнику всяческие услуги: дрова поколоть, сено косить. Тимоша держал странных больших животных — коров.

И еще знал Ньолгун, что сородичи перешептываются: мол, приятель он сильному русскому человеку. И хорошо становилось от этого на сердце. И позволял себе Ньолгун в разговоре то и дело такие слова: «Мой друг русский купец Тимоша...»

Едва переждав лето, Ньолгун уходил в тайгу. Промышлять соболя — здесь не нужно ни лодки, ни хитрого снаряжения. Силки всего лишь, терпение да ноги. А ноги у Ньолгуна неутомимые.

...Зверь этот Тимоша. Хуже, чем зверь. И откуда он узнал о моих соболях? Я копил долго, потихоньку, тайно. А он отобрал. Все отобрал, хоть я и не должен ему. И еще дом сжег. Первый у нивхов настоящий дом. Правда, холодный был — щелей много. Но похож на русский дом. Сколько я сделал для Тимоши: дрова, сено... Даже коров его рогатых находил, когда пропадали в тайге! Поди, сам попробуй найди — заблудился бы, самого пришлось бы искать... Зверь ты, Тимоша. Хуже, чем зверь. Теперь Ньолгуну не нужна дружба русского. Теперь Ньолгун сам сильный человек. У него ружье, такое же, как у Тимоши, даже лучше. Хороший человек якут. Хороший. Так, задаром отдать ружье! За такое ружье мне пришлось бы две, а то и три зимы охотиться. А этот задаром. Хороший человек...

...Лука ожидал. И когда подтянулись все, показал палкой на противоположный склон распадка. Чочуна от радости едва не слетел с седла: в кустарнике пасся большой медведь. Даже отсюда видно было, как на его широких боках ходила и лоснилась черная шерсть. Добрый, жирный медведь. Первым желанием было — пустить оленя вскачь, подъехать к медведю и выстрелить в голову. Чочуна даже отвел пятки, чтобы ударить в бока оленю, но Лука резко схватил его за рукав. Ничего не сказал, только глаза сказали: «Не суетись. Не так надо». Чочуне не понравился взгляд эвенка — в нем уверенность, превосходство.

Ньолгун выдернул ружье из чехла, зарядил. Лука жестами велел Чочуне спешиться. Тот повиновался, но дальше дал знать, — не нуждается он ни в чьих советах. Бросил поводок в руки Луке и, определив направление ветра, спустился к ручью, чтобы перейти его. Ньолгун шел следом. Охотники перепрыгнули ручей и стали карабкаться по сырому травянистому склону распадка. Ньолгуну хотелось, ему очень хотелось, чтобы первый выстрел, первый в жизни выстрел принес добычу. И, когда медведь, обирая малину, оказался на виду, Ньолгун поднял ружье. Ствол ружья длинный и непомерно тяжелый. Ньолгун еще не знал, что нужно крепче прижимать к плечу приклад. Чочуна тоже остановился. Ньолгун, опередив соперника, дернул спусковой крючок. Он и так нетвердо стоял на крутом склоне, а тут ударило неприжатым прикладом.

Чочуна инстинктивно присел — пуля с жестким свистом распорола воздух, и медведь неожиданно легко подпрыгнул. Пуля ударила низко. Не дав медведю опомниться, Чочуна разрядил ружье: медведь опрокинулся на спину и покатился по скользкому склону.

— Прекрасный охотник! — восхищался Лука, глядя на Чочуну.

Глава XXIV

Отец будто испытывал терпение Ыкилака, все молчал, и ничто не предвещало, что пора собираться в распадки. Уже прошли осенние дожди. Запоздалые кетины выбрались из Пила-Тайхура, и по высокой воде проскочили галечные косы — перекаты, тревожа своим шумным трепетом по-осеннему затаившиеся берега. А отец молчал и молчал. Целые дни проводил на своей лежанке, подсунув под спину скатанную оленью шкуру и всякий хлам. Жиденький дымок нестойкой струйкой поднимался от обгорелой трубки, повисал меж лежанками и плотным рядом закоптелых потолочных жердей. Табаку оставалось мало, и Касказик смешивал его с мелко накрошенной чагой. Курево получалось некрепкое. Кевонги лишь в редчайших случаях позволяли себе курить чистый табак. Обычно добавляли примесь из чаги или терпких трав. И чем меньше оставалось табака, тем большую долю занимала в их трубках противная, пустая на крепость и запахи примесь.

Лишь когда трава совсем смякла и мертвая легла на потемневшую землю, а по утрам на невыбранном кроваво-красном брусничнике засверкал иней, старик словно очнулся от полусна. В течение дня он починил крошни. Легкие, плетеные крошни Касказика из тонких, прочных на разрыв тальниковых прутьев. Многое можно унести в них.

Мать разложила по крошням тугие связки кетовой юколы, положила две плитки чая — все, что осталось от недавней поездки в Нгакс-во, — наполнила кисеты куревом. Каждый взял еще по собачьей шкуре и по обтрепанной, облезлой оленьей дохе.

Пока мужчины собирались в путь, Талгук приготовила чай, принесла из родового амбара заготовленный вчера мос — пищу богов, нарезала юколы.

Чаепитие длилось недолго. Торопливо отрыгнув, — значит сыт и пора в путь, — Касказик поднялся, привязал к крошне Ыкилака латунный маньчжурский чайник, взял в руки короткое копье, и трое мужчин — весь род Кевонгов — отошли от полузасыпанного землей то-рафа.

— Подожди, — позвала Талгук. И по тому, как был ее голос нежен, мужчины поняли: мать обратилась к младшему.

Ыкилак приостановился, обернулся, всем видом показывая, что сейчас не время. Талгук подошла к нему, протянула руку — на ладони упругим кольцом лежали тонкие аккуратно сплетенные силки.

Ыкилак шел и рассматривал петли. Волосяные. Теперь уже не сосчитать, из скольких волос мать сплела эти петли. Однако, из десяти-двенадцати. И что это за волосы — длинные и черные? Правда, попадаются белые... Что это? Седина?..

Ыкилак шел, слегка отставая от отца и брата. На плечи его давили крошни, а ноги переступали легко. И на сердце легко. Чтобы не поддаться нахлынувшей нежности, Ыкилак сказал вполголоса: «Когда она успела сплести? Вроде бы и времени-то на это не было».

Едва отошли от стойбища, один за другим поднялось несколько выводков глухарей. Большие птицы тяжело взмахивали широкими крыльями, гремели ими, словно горный ручей галькой, и, вытянув шею, уходили восвояси.

Вековой, не тронутый ни пожаром, ни человеком лиственничник просматривался насквозь. В нем не было кустов, которые обычно создают густое непроглядье у самых комлей деревьев. Лишь изредка попадались береза или ясень — словно для того, чтобы глазу было за что зацепиться. Высокий и светлый лес, скинувший уже хвою, встретил молчанием. Ыкилак слышал только свое дыхание да торопливый шорох сухих лишайников под кожаными подошвами.

Хорошо идти в лиственничнике. Легко. Не мешают тебе ни кусты, ни болота — их не встретишь в таком лесу. Копнешь лишайниковый дерн, и всегда наткнешься на крупный песок.

Лишь в распадках, где тенисто, где неумолчны студеные ручьи, кряжисто, и, подбоченясь от важности, поднимаются ели вперемежку с березой. Елям есть отчего важничать. Мыши и синицы, соболи и горностаи, выдра и рябчики — все они любят ельник. Выдра ловит в ключах рыбешку; мышь собирает ягоду и орехи, подбирает остатки от обеда выдры; рябчику нужна ягода, хвоя; соболь ловит мышь и рябчика, лакомится ягодой. Хороши распадки с ручьями и ельниками. Хороши.

Но и в лиственничниках много ягоды — брусники. Дятлы любят такие леса. И соболь заходит в лиственничники.

Идут охотники по лесу, у каждого свои заботы. Ыкилак думает об одном: богаты ли нынче их леса и распадки соболем. Будет ли милостив Курнг, пошлет ли в их силки драгоценного зверя.

— Пришли, — вдруг сказал Касказик.

Ыкилак осмотрелся, чтобы убедиться, действительно ли наступил конец пути. Они стояли у развилки быстрых ключей, по обеим склонам распадка теснились ели. Ыкилак и не заметил, когда и где пересекли лиственничник. Скажи ему найти обратную дорогу — нет, не найдет.

Распадок незнаком. Ельник большой. По развилкам он поднимался на склоны сопок. А ниже, там, где ключ терял свою стремительность и дно ручья местами темнело ямами, берега окаймляли кустарники.

— Здесь я был тогда, когда Ыкилак едва ползал на четвереньках. Больше не бывал.

И это означало, что отец привел сыновей в богатое угодье.

«Солнце не прошло еще всего дневного пути, а мы уже на месте. Не очень далеко», — обрадовался Наукун.

— Люди так и называют это угодье Ельник рода Кевонгов.

Потом Касказик указал на невысокий, ровный, сухой мысок, возвышающийся над ручьем.

— Смотрите, вон жерди — все, что осталось от нашего балагана.

Ыкилак разглядел гнилые, изорванные ветром и снегом жерди, некогда составлявшие остов балагана.

Братья перешли ручей по перекинутому от берега к берегу мертвяку — сухой, еще крепкой ели. Касказик остановился на середине, посмотрел вверх навстречу течению, потом вниз; русло ручья во многих местах перечеркнуто поваленными деревьями и деревцами. «Готовые мосточки, чтоб соболь перебегал».

По берегам ручья валялись кости отнерестившейся кеты, в ямах против течения стояли крупные почерневшие, с бурыми полосками по бокам самцы. Они еще должны найти себе самок...

Несильные порывы ветра срывали подмороженные скрюченные листья, и те, без летнего кружения, как-то винтом подныривали под ветви и сухим шуршанием тревожили увядшую траву, зеленую подушку из мха в тени вековых деревьев.

Снег вот-вот выпадет, а пока Ыкилак чувствовал себя неуверенно, словно слепой, которому на ощупь надо отыскать в лесу тропинку. Снежный покров — он лучший помощник: смотри, соображай, какой, когда, куда и зачем прошел здесь зверь.

Хороший ли, плохой ли добытчик Ыкилак — и не сказать. Еще маленьким с помощью обрывка сети сооружал ловушки в амбаре для крыс. Здесь требовалось терпение — крысы, большие и хитрые, вскоре распознали в том обрывке врага и спокойно обходили, грызли юколу в каких-нибудь двух шагах от затаившегося мальчика. Тогда он придумал другое — деревянный давок с насторожкой. Наделал несколько штук, поставил у прогрызанных крысами щелей. Касказик тогда не поленился — пришел, полюбовался изобретением сына. «Сам придумал? — спросил, хотя знал, что никто в их пустом стойбище не мог подсказать малышу. — Такой штукой не только крыс — горностаев и белок можно брать. Почти готовая плашка». А через день Ыкилак уже стрелял из лука. У то-рафа долгое время валялась сухая рябина, срубленная для какой-то надобности — кажется, чтобы выстрогать коромысло. Но деревцо оказалось для такого дела тонким — вот теперь пригодилось.

Касказик выточил связку стрел: легкие, остроконечные — чтобы стрелять на дальнее расстояние; тяжелые, оканчивающиеся тупым набалдашником, — чтобы сшибать цель, не по-

портив ее. Первыми мальчик стрелял рябчиков, вторыми — бурундуков, которые подпускали близко, на несколько шагов. Оперенные, стрелы хорошо шли к цели, не отклоняясь при несильных порывах ветра.

Наукун посмеивался над младшим братом. Зачем лук, когда бурундуков можно шестом бить. В следующую весну Наукун нашел тонкую и длинную черемуху, срубил ее, аккуратно ошкурил и долго, более месяца, сушил на ветру, привязав стоймя к высокой березе. К тому времени Ыкилак истратил почти все стрелы. И Наукун с важным видом использовал младшего брата в качестве загонщика: спрячется зверек в кусты, Ыкилак должен выгнать его на брата, который почти без промаха опускал легкий, послушный шест на полосатую спину юркого зверька.

Ыкилаку вскоре надоело быть подручным. Но просить отца он не решался: вечно тот чем-нибудь да занят. К тому же Ыкилак уже не такой маленький, надо испытать свое умение. Настругать прямые стрелы из колотой лиственницы, как это делал отец, — не удастся. Зато вдоль речек растет краснотал. Прямые и тонкие ветки можно выбрать для стрел. Ыкилак так и сделал. Нарезал целую охапку длинных, без единого сучка ветвей. Отец научил делать заготовки для стрел. Сперва вымочить в горячей воде, затем подвесить к шесту, привязав к нижнему концу тяжесть, и прутья станут прямые, как натянутая тетива.

Ыкилак уже сделал заготовки, очинил концы, но чем оперить — не знал. Отец снова помог: маховые перья от вороньего крыла мало уступают орлиным.

Наукун издевался: «Ворона — не бурундук, у нее крылья: загоняй не загоняй, все равно под мою палку не полезет». Тогда Ыкилак смастерил ловушку — такую, какой ловил крыс. Но понятливые птицы сразу учуяли неладное и не шли ни на какую приманку. «Стрелой добуду», — упрямо решил мальчик. Но неоперенные, они вдруг сворачивали в сторону или касались ворон боком. «Только пугаешь», — сердился Наукун. «Прошлогодние стрелы все порастерял?» — спросил отец. «Поломанные есть. Кажется, две или три». — «Принеси», — отец сам и подкараулил ворону. Первый же выстрел оказался удачным — стрела пронзила ее насквозь.

К концу лета Ыкилак овладел луком настолько, что ему не стоило большого труда подстрелить не только бурундука, но и белку. А однажды принес большого черного глухаря. Радости матери не было конца. Талгук все говорила-приговаривала: растет кормилец, растет кормилец.

Юноша обычно охотился в лесу вокруг стойбища — далеко уходить не было нужды. И всегда в первоснежье был с добычей: тогда следы помогали, наводили на добычу или показывали места кормежки...

Осенний день короток, а Ыкилак, как младший, должен

еще заботиться о костре. Эта обязанность поначалу его раздражала. Но ничего не поделаешь. Надо и дрова запасти, и утеплить лапником и сеном балаган.

Через два дня и отец, и Наукун вернулись с добычей: отец принес крупного соболя — самца, а старший сын двух дикуш — черных рябчиков. Тогда Ыкилак сказал себе: «Все равно мне нужно рубить дрова — побольше заготовлю — и не зря пройдут дни».

Желание поскорее добыть ценного зверя не давало ему спать по ночам. А отцу вроде бы все равно, что Ыкилак крутится вокруг балагана и дров. Может, думает, что он ставит ловушки после их ухода и возвращается раньше, чтобы вскипятить чай?

— А ты сделал миф-ард [1], кормил землю?

Так и есть. Отец считает, что сын нарушил таежный закон, потому Курнг и не шлет в ловушки зверя.

— Я еще не выставлял силки.

— Хм! — изумился отец. — Когда ж думаешь выставлять?

— Не знаю, как ловить: снега ведь нет еще.

— Хм! Ты что же, только после снегопада берешь?

— Да, — Ыкилак опустил голову.

— А я-то думал... Где же ты родился? В тайге?

Глава рода никак не мог взять в толк, что сын, его собственный сын, не умеет добывать по чернотропу.

Ночью Ыкилак видел сон. Молодая девушка, нарядно одетая, стояла на противоположном берегу ручья и говорила ему, а голос у нее такой же, как у Талгук: «Ты не бойся — испытай себя. У тебя хорошие силки — будет удача».

Утром после чая отец сказал: «Пошли!» Наукун счел, что это относится к нему, обрадовался.

— Не ты — Ыкилак!

Наукун обиженно глянул на отца исподлобья.

— Ты тоже.

До последнего дня отец полагал, что дети его умеют все. Человек, родившийся в тайге, вместе с молоком матери впитывает и умение своих предков. Сейчас он напряг память, вспоминая себя в возрасте Ыкилака. И сказал сам себе: я уже знал все. Передавал ли ему кто-нибудь из старших свое знание? Просто Касказик смотрел, как делают взрослые, и старался поступать так же. Потом тайга сама научила. Соболь, обходя хитрые ловушки, сам учил добытчика, как его ловить. И дети Касказика должны все уметь. Но оказалось — нет. Как же получилось, что они не знают чернотропа? Потом вспомнил, что в последние годы, едва покончив с заготовкой юколы, срывался в дальние походы. Брал двух ездовых собак и уходил через сопки в отдаленные стойбища искать

[1] Миф-ард — «кормить землю», то есть «кормить» духа, хозяина данной местности.

невест для сыновей. Странствовал долго. Съедал всю пищу, взятую с собой. Изнашивал одежду и обувь. Обменивал соболей на одежду и еду и ходил, ходил, ходил. От перевала к перевалу, от залива к заливу, от стойбища к стойбищу, от рода к роду. Добрые люди принимали путника. Угощали чаем и табаком, обменивались родовыми преданиями, стелили ему постель, сочувствовали его горю, но дочерей не отдавали. В дальних странствиях Касказик убедился: чем горестнее молва, тем быстрее ее полет. О роде Кевонгов, вымирающем роде, знали даже в самых отдаленных уголках земли нивхской.

Заросший, измученный, с тусклыми глазами, возвращался Касказик домой уже по глубокому снегу. Он шагал сквозь тайгу, через нехоженые горы. Как находил он свое крохотное стойбище — известно лишь богам, добрым и милостивым, хранящим несчастного человека.

И сыновья, предоставленные самим себе, каждый как мог постигали законы тайги...

Касказик подвел сыновей к уродливой черемухе, перекинувшей свой кривой пестрый ствол через ручей.

— Смотрите!

Братья удивленно оглядывали дерево. Ничего не найдя, старший отвел глаза. Дурак дураком! Касказику стало до боли обидно за свои горькие неудачи, пустые далекие походы, насмешки недобрых людей. Обидно за попусту истраченное время. За то, что его сыновья, такие взрослые, ведут себя в тайге, как дети.

— Болван! Болван ты!

Касказик едва не заплакал и, желая хоть как-то свалить с души непосильную тяжесть, замахнулся и ударил старшего.

Чтобы успокоиться, ему потребовалось много времени. Такого с ним еще не случалось. Расстроится, бывало, разойдется, но остывал, отходил быстро.

А сейчас он горестно смотрел на старшего сына. И сыновья видели, как ему тяжело. Ыкилак стучал носком по обнаженным корням черемухи и слушал шуршащий тупой звук.

Наконец Касказик взял себя в руки. Но еще дышал часто и шумно.

— Подойдите ко мне! — сипло сказал старик.

Сыновья подошли, напряженные в ожидании.

— Соболь, он ходит широко по тайге. Но есть у него любимые места, где он охотится, есть любимые места — где спит. И переходит ручьи по одним и тем же мосткам. Вот это дерево. Смотрите: чуть выше и здесь. Видите, кора сбита? Это соболь. Один и тот же соболь.

И тут открылась перед Ыкилаком одна из тайн тайги. Оказывается, зверь ходит по своим охотничьим дорожкам след в след не только зимой, но и летом. Только летом не всякий увидит в тайге следы. Хвоя, остатки мертвых деревьев,

сухие опавшие ветви образуют подушку, на которой следы мелкого зверя не заметны. Надо быть очень наблюдательным и хорошо знать тайгу, чтобы и летом видеть ее, как зимой.

А Ыкилак считал, что зверь ходит по своему следу только зимой и лишь оттого, что пробиваться сквозь целинный снег тяжелее, чем идти по готовой тропе. И еще полагал, что тропа потому плотная, что топчет ее не один зверь. Конечно, любой зверь может воспользоваться и чужим следом. Но у каждой местности — свой хозяин. Он пробил след — он и ходит по нему. Других он просто-напросто гонит из своих владений.

Отец показал летний след соболя.

Значит, не только глубокий снег причина тому, что зверь идет по своей тропе след в след. Ыкилаку словно развязали глаза, теперь он знает: земля, черная бесснежная земля, на которой и не видно следов, тоже может помочь.

— Ставьте петли. Только не забудьте сделать миф-ард, — отец хотел уйти, но передумал. — Вместе покормим землю. Принеси, — кивнул он головой.

Ыкилак понял, к кому относится последнее слово. И знал, что от него требуют. Он сбегал к стану, принес завернутый в бересту мос — студень с ягодой, сушеные клубни сараны, немного юколы, щепотку табака и маленький кусок плиточного чая.

Касказик взял все это в руку, повернул ладонь в сторону сопки за распадком и обратился к Ызнгу — хозяину местности:

— Мы к тебе пришли. К доброму хозяину богатых угодий. Дали бы тебе больше, но мы бедные люди. Покормили бы лучше, но у нас нет. Бедные люди мы, неимущие люди мы. На, прими. Делимся с тобой последним. Не серчай. Сделай, чтобы нам было хорошо. Бедные люди мы, неимущие люди. Чух!

Касказик швырнул под куст приношения, повернулся и молча прошествовал к шалашу.

Глава XXV

Наукун сказал, что попробует поймать соболя — хозяина кривой черемухи.

Ыкилак нарубил дрова, принес воды и тоже отправился искать переходные мостки.

Он вышел к реке в стороне от той самой черемухи. И тут сперва услышал странный звук — кто-то бил по ветвям. Потом увидел, как над кустами стоймя плывет тонкий березовый шест. Так оно и есть: Наукун! Он хранил в тайне свой, не очень солидный для добытчика, способ охоты. Шест прятал в лесу, чтобы не навлечь насмешки отца и брата.

Ыкилак обошел куст шиповника. Наукун выглядел со стороны смешно. Ссутулившись, он вышагивал, словно цапля. Шест, который держал на полусогнутых руках, раскачивался вместе с охотником. Наукун преследовал дикуш — смирных, лишенных страха черных рябчиков. Они крупнее обычных и живут в чернолесье, в одиночку или парами. Уважающий себя нивх не трогает этих божьих тварей. Они, как бедные сироты из старинных тылгуров-легенд, очень доверчивы и, увидев человека, тянут шею навстречу, словно спешат узнать, что доброе несет он им.

А Наукун от усердия и жадности затаил дыхание. Вот он коротко взмахнул и ударил. То ли слишком напряженно дернул шест, то ли волновался от того, что добыча близка, но шест скользнул по хвосту дикуши, и птица, вместо того, чтобы убираться подальше, перелетела на следующее дерево, села повыше и, вздрагивая побитым хвостом, вновь повернулась к человеку. Наукун рванулся было, но тут же споткнулся и с маху упал. Раздался треск. «Неужто расколол себе череп?» — у Ыкилака похолодела спина. Но брат вскочил, схватил шест — тот был переломлен пополам. Наукун покрутился на месте. С какой-то тупой злостью оторвал свисавшую половину шеста, отбросил в сторону. Подошел к дереву — дикуша сидела высоко, не достать. Наукун все же нашел выход из положения. Прислонил обломок шеста к пихте, на которой сидела птица, обхватил шершавый ствол руками и ногами, поднялся до первого сучка, ухватился за него обеими руками, подтянулся. Сучок предательски треснул, и Наукун полетел вниз. Он катался по земле, выл от злости, от боли и бессилия.

Ыкилак хотел подбежать, чтобы помочь, но остановился: обойдется. Осторожно отступил и, скрываясь за деревьями, пошел своей дорогой.

Перебрался в следующий распадок, по дну которого протекал небольшой ручеек. Берега сырые, но не топкие. Сквозь гальку пробивалась редкая трава. Береза и ольха, рябина и чуть повыше — ель и пихта — лес хороший, доброе угодье. Ыкилак оглядывал лес, когда услышал жесткий частый треск. Оказалось, едва не наступил на выводок каменных глухарей — паслись на берегу ручья и на галечном островке, который разбивает ручей на две упругие струи, похожие на извивающиеся косы Ланьгук. Ниже этого крохотного островка струи вновь соединялись.

Испуганные большие птицы, едва добравшись до ближайших деревьев, расселись на ветках и с высоты поглядывали на человека, словно решая, как быть, опасаться ли этого двуногого или не обращать внимания. Ыкилак оставил глухарей в покое и пошел искать мостки. Их много — перекинутых через ручей деревьев. Но только на нескольких нашел он то, что искал: по коре видно, что этими деревьями пользуют-

ся соболи. Первое — наклоненная ольха — сразу у галечного островка, второе — береза.

Ыкилак насторожил силки — по три на дерево. Затем решил: глухарь тоже сделает ему честь, тем более, что еды с собой всего дней на пять-шесть. Поставил петли на галечном островке, привязав их к кольям, вогнанным в гальку. Галька уже оделась ледком, и пришлось повозиться изрядно. Глухарь — он бродит по всему островку, клюет мелкие камешки — должен запутаться в петлях.

Юноша вернулся к стану, когда день уже угасал. Костер горел без дыма — кончался. Поодаль, с наветренной стороны на вертелах томилась распластанная кета. А рядом — тоже на вертелах — мясо. Значит, отец и Наукун ели.

— Ну, что видел? — осведомился старший брат. Он величественно восседал на коряжине рядом с кучей еловых веток. Ыкилак прежде, чем ответить, подумал: «Зачем так много лапника?»

— Ничего, — Ыкилак с трудом сдерживал смех — перед глазами всплыла охота за дикушами.

Отец, закрытый шалашом, что-то мастерил. Ыкилак обошел кругом — Касказик сооружал лабаз. «Медведь? Олень? Но как взял? Ведь у него — только нож и петли?»

Ыкилак подошел к куче лапника, приподнял ветви: да, мясо, темно-розовое оленье мясо. А вот и шкура — постелена на землю, и мясо грудой лежит на ней.

У Наукуна вид такой, словно это он добыл.

— Чего сидишь? — в голосе отца слышалось недовольство.

И Наукун стал сдирать с лиственниц кору — ею покроют лабаз.

Ыкилак с наслаждением съел целый вертел оленьего шашлыка, заел кетовой головой и подошел к отцу — чем помочь?

— Притащи жердей.

Когда в небе появились крупные звезды, лабаз был готов. А к тому времени, когда пробились и мелкие звездочки, мясо разрубили на куски.

Легли спать поздно. Ыкилак оказался посредине, и ему было тесно. Он знал: ворочаться в шалаше не принято — мешаешь другим. Но Ыкилаку не спалось не потому, что тесно: так было и вчера, и позавчера. Его терзал вопрос: как добыл отец оленя? Не задушил же руками и не убил же палкой. Олень настолько чуток, что слышит шорох мыши на противоположном склоне распадка. Олень так зорок, что видит не хуже орла. Олень так быстр, что за ним не угнаться.

— Отец, — тихо позвал Ыкилак.

— Вот стукну, будешь знать, как мешать, — пригрозил Наукун.

— Отец, — снова позвал Ыкилак.

— Ыйть! — сердито прикрикнул Наукун и больно ткнул кулаком в бок, отвел руку, чтобы ткнуть еще, но тут послышался голос отца?

— Что, сын? — тихо спросил он.

— Как оленя достал: яму вырыл?

— Когда и чем? — По голосу было ясно, что вопрос позабавил старика.

— Знаешь, как медведь ловит оленей? — спросил в свою очередь Касказик.

— Так то медведь, — сказал Ыкилак.

— Нет, ты ответь: знаешь, как медведь ловит оленей?

— Подкрадывается, когда тот разгребает ягель. Да подходит так, чтобы не попасться на глаза другому оленю, сторожу.

— Я тоже подкрадывался, когда олень слышал только себя, и тоже так, чтобы не видел сторожевой.

— Но ты ж не медведь.

— А сделал то же самое, что медведь. Только дождался, когда олень оторвал морду от ягеля. А когда услышал и оглянулся, нож уже торчал в боку.

Глава XXVI

Когда завтракали, Ыкилак обратил внимание на то, что в стане у них нет дикуш. «Так и не раздобыл, бедняга», — посочувствовал он брату.

Юноша оглядел лабаз, хорошо, что вовремя покормили Курнга — оценил он их усердие и послал удачу. Теперь бы еще одного оленя, и весну можно встречать спокойно.

Проходя мимо того места, где Наукун охотился, Ыкилак увидел у одного мостика подвешенную вверх ногами дикушу. Значит, решил ловить на приманку.

У второго перекинутого через ручей дерева тоже висела дикуша. И у третьего. «Наверно, перебил весь выводок. Рад стараться. Дикуш и так мало. Добытчик называется. — Ыкилак рассердился. — Пусть берет глухарей, их в лесу, как ворон у стойбища. Не умеет ловить настоящих птиц, вот и гоняется за дикушами».

Наукун шел впереди, победно поглядывая на брата, словно соболя уже лежали в его заплечном мешке. «Сперва добудь, а потом задавайся. Невидаль какая — дикуши! Тьфу!» — плюнул Ыкилак. Потом подумал: «Если Курнг благоволит тебе — пошлет в петли соболя. К чему тогда приманка?»

У отца был простой план: окружить стадо оленей и очень осторожно, используя ветер, подкрасться как можно ближе. Первый, кто подойдет на расстояние верного удара копьем, должен поймать случай. И, не дожидаясь остальных, бить зверя. Стадо в панике замечется. И тут может еще подвернуться удача.

У всех троих копья. Но только у отца — стоящее. А сыновья приспособили охотничьи ножи: привязали их крепко к длинным черемуховым черенкам.

Отец вышел к широкому распадку, где накануне достался ему олень. Растревоженное стадо покинуло угодье, но Касказик по следам определил, где искать. И действительно, за несколькими поворотами открылась просторная круглая марь, на которой паслось стадо. Ыкилак быстро пробежал глазами — голов тысяча. А по краям мари в лесах шевелились еще рога.

Окружить стадо — не выйдет: троим это невозможно. И Касказик принял решение. Углубиться в лес с заветренной стороны, разойтись так, чтобы, подходя к мари, охватить большую группу оленей.

Среднему нужно будет потревожить их — те побегут и, прикрываясь кромочным лесом, попытаются уйти в сопки. Они наткнутся на затаившихся с краю охотников, тогда уж не зевай.

Касказик отправил старшего сына вправо, младшего — влево, а сам остался стоять на месте. «Только очень осторожно», — были его последние слова.

Старик выждал время и уверенным, но мягким шагом направился в сторону мари.

Первого оленя он увидел вскоре. Молодую самку. Она стояла на маленькой полянке, легко разгребала передним копытом снег.

Поодаль паслись еще самки и три самца — упитанных, крупных.

Но к ним не подойдешь — сколько сразу ушей и глаз!

Касказик внимательно оглядел лесок. Одинокий олень лежал удобно: головой на марь, глаза, похоже, закрыты. К тому же, он не был крайним — за ним, несколько в стороне паслись две самки. Значит, чувствуют себя спокойно.

Нужно только обойти ту, что ближе. Полянка маленькая, окруженная кустарниками. И Касказик сообразил, как ему поступить. Слабый ветер относил запахи назад и чуть в сторону. Касказик прополз меж кустами в нескольких шагах от оленя. Тот и ухом не повел.

Впереди — завал. Надо подбираться долго, терпеливо...

Наукун застыл, прислонившись к дереву, и смотрел не мигая. Огромный олень, однако, самый крупный в стаде, с большими тяжелыми рогами, уставился в сторону леса и тоже смотрел не мигая. Ему казалось подозрительным еле слышное шуршание, повторившееся несколько раз. Что бы это могло быть?

Наукуну незаметно бы отступить. Но олень так огромен, охотник еще не встречал такого.

Нужно стоять, как дерево, и тогда можно усыпить внимание. Так Наукун и сделал — стоял долго, без малейшего

движения. Олень поскреб задним копытом гривастую шею. До мощной лиственницы, за которой можно спрятаться, — всего два шага. И тут олень резко обернулся и поймал глазами человека. Нет, он не слышал ни треска сучьев, ни шороха — их не было. Просто долгие годы владычества и охраны громадного стада научили слышать неслышное, видеть невидимое. И владыка перед тем, как опустить чуткую морду на душистый ягель, повернул ее и застиг человека в крайне неловкой позе — тот заносил ногу в шаге.

Олень не сразу побежал. Оглядел стадо и, когда убедился, что все на ногах, пошел неторопливо. Так за многие годы сотни раз поднимал он и сотни раз уводил их от опасности...

...Касказик благополучно одолел обе валежины: через первую пролез, а под второй прополз. Олень продолжал лежать. Уже можно было бросить копье. Но только длинное. Нет уж, лучше подобраться вплотную. Никто ведь не мешает ему, никто не торопит.

То ли почудилось Касказику, то ли в самом деле он расслышал: вроде вдалеке раздался глухой хриплый рык. Неужто?

В следующее мгновение оленя, до которого уже можно было дотянуться кончиком копья, не стало. Он исчез мгновенно. Только топот, сотрясающий землю. И тут перед глазами старого охотника запрыгала, заходила, замелькала тайга с ее травянистыми, бурыми мшистыми марями, ощерившимися чернолесьем сопками, с быстроногими рогатыми оленями: светлыми и бурыми, серыми и пестрыми... Все. Это все...

А олени мелькают, мелькают, мелькают. Вот и хор — владыка. Он гнал стадо через марь — вывел его на открытое место, чтобы удобнее было определить и оценить опасность. Он не бежал во главе стада — там был другой, пестрый, тоже большой и сильный. А владыка шел поодаль, останавливался, поджидая отставших.

Касказик еще мог бросить копье — отставшие олени пробегали совсем близко. Но он, как завороженный, впился глазами в владыку. И восхищался старик не могучестью хозяина стада, не его сильными ногами или раскидистыми крепкими рогами. Старый, опытнейший добытчик стоял в непонятном оцепенении и шептал: «В прошлый раз мне удалось победить. Сегодня ты мне не оставил ничего. Сегодня ты победил! Меня и моих сыновей. Ты мудр, владыка! Мудр и велик! Сегодня ты победил...»

Телята и самки сгуртовались в середине, хоры вышли на край. Там, где кончается болото и начинается тайга, владыка возглавил стадо. Касказик знал: теперь он надолго уведет его. Далеко, за перевалы. Туда, где не ступает человеческая нога...

Ыкилак был уверен: и сегодня они с добычей. Он видел,

как олени всполошились. Так бывает, когда их потревожат. Но что поразило юношу: никакой паники. Олени, словно ведомые чьей-то могучей рукой, сбежались к середине мари, сбились в стадо и в небыстром беге исчезли в сопках... Отец-то должен взять своего оленя...

«Похоже, я согнал стадо, — томился Наукун. — Надо же было выйти на вожака! И почему не послушал себя: ведь хотел оставить в покое этого проклятого хора, найти другого. Его бы все равно не взял, раз уж насторожился. Надо было другого брать».

Братья почти одновременно подошли к отцу. Ыкилак увидел его понуро сидящим на валежине.

«Сердитый. Не я один виноват, все трое охотились, — оправдывал себя Наукун. — Молчит. Стоит мне подойти, драться начнет. Он такой: всегда найдет виноватого».

Услышав шаги, Касказик поднял седую голову — облезлая коса поползла по спине вниз. Касказик вздохнул и сказал только:

— Запомните эту марь. Богата она всякой ягодой и ягелем. Вокруг в лесах и на сухих буграх посредине полно грибов. И все деревья вблизи окутаны мхом-бородачом. Олень любит эту марь. Пасется здесь и летом, и зимой. Потопчет марь, уйдет. Но едва оправится ягель — вернется. Оленья марь называется. Запомните.

Охотники вернулись к стану каждый своим путиком — промысловой тропой. Касказик принес двух соболей, темных, хорошо вылинявших. Наукун оказался удачливее — трех. «Когда успели попасться: ведь утром петли были пустые, одни дикуши болтались над ними?» — сокрушался Ыкилак, прикидывая, как сделать, чтоб соболь не обходил его ловушек.

Он принес глухаря — тот запутался ногой в петле. В глухаре мяса много — на всех хватит. Но как поймать соболя?

Через день и отец, и Наукун принесли еще по соболю. У Ыкилака петли оказались сбитыми.

— Отец, а ты как ловишь: на приманку? — спросил Ыкилак.

— Нет, — отозвался Касказик. — На переходах. И на следу.

«Снега нет, а он следы разглядел», — затосковал Ыкилак, а отцу сказал:

— Наукун развесил приманки.

И старый охотник ответил то, что ожидал Ыкилак:

— Если Курнг не поможет, добычи не будет.

Ыкилак вернулся в распадок и у первого попавшегося трухлявого пня бросил жертву: клубни сараны и юколу.

— В прошлый раз мы с отцом плохо накормили вас, не серчайте. Сегодня я кормлю хорошо. Вот, берите. И простите меня.

Глава XXVII

До снега Ыкилак поймал только одного соболя. В первоснежье юноша вдруг увидел: соболь крутится у трухлявого пня, где оставлена жертва. «Их прислал добрый дух. За жертвой. Еще принесу». Но юкола кончилась, и Ыкилаку попалась в ручье только снулая отнерестившаяся кета. Он положил ее туда же, у пня.

После снегопада Ыкилак снял двух соболей — на мостках. Определив по следам, откуда и куда шли эти зверьки, подгоняемый смутной догадкой, он ринулся к трухлявому пню: да, снег вокруг истоптан, изрыт.

Галечный остров тоже подарил Ыкилаку добычу. Но глухарь, запутавшийся в силках, был без головы — соболь отгрыз. Ыкилак не тронул птицу, — раз уж соболь облюбовал этого глухаря, пусть доедает. Он был рад, что угодил соболю. Нет, нет, Ыкилак не тронет птицу. Он только расставит рядом силки.

Касказик доволен — сезон начался удачно. Снег еще не выше щиколоток, а на троих уже восемнадцать соболей. Оба сына приносят хорошо. Научились ставить петли. И, когда ударили морозы и выпал большой снег, старик решил — пора уходить из тайги. Сюда вернется кто-либо из троих. На лыжах. Напрямик через сопку — не долго идти: за день без особого труда обернется. Но тот, кто станет здесь охотиться, должен знать места.

Начали с распадка Ыкилака. Касказик обратил внимание на то, что младший сын ставит иначе, чем он. Касказик не трогает соболей там, где кладет жертвоприношения. Соболя уносят их духам. И место это священное. Касказик не топчет, ставит ловушки на переходах, и зверьки попадаются в петли по пути туда. А Ыкилак ловит прямо на священных местах. Это грех. И если Ыкилаку сходит с рук и его ловушки все же с добычей — значит, Курнг не в гневе на него. Наверно, потому что Ыкилак молод: не все молодые чтят законы тайги. Старому добытчику, конечно бы, не простилось. На тропе Ыкилака насчитали двадцать ставок. Сегодня сняли одного соболя.

Тропа Наукуна длиннее — два распадка. Ловит он на переходах, как учил отец, но тоже вот полез на святые места. Касказик поморщился. Будь они не на промысле, где грех ругаться — духи могут услышать и отвернуться, — показал бы им, как нарушать обычай. Но ведь можно сказать и спокойно. И тут его внимание отвлек какой-то шорох в заснеженных кустах. Наукун вырвался вперед, сломя голову бросился в кусты и... заорал истошно. Крупный черный соболь бился в его руках. Глаза у зверя страшные, клыки острые, а между белыми зубами — кровь. От дикой боли юноша потерял рассудок, так дернул руку на себя, что порвал

силок. Соболь почувствовал свободу и, круто изогнувшись, отпрыгнул далеко. Наукун, уже забыв о боли, бросился вслед за соболем, но куда там: только того и видели.

Касказик недовольно сказал:

— Жадность доводит до безумия. Чего хватать голыми руками? Можно было придавить палкой.

Наукун осторожно поддерживал раненую руку, крутился на месте и выл то ли от боли, то ли от досады.

— Замолчи! — прикрикнул Касказик. — Сам виноват.

Наукун продолжал выть.

— Да перестань же! Лучше отсоси кровь, а то потеряешь руку. Жадность доводит до безумия, — сказал Касказик, но тут же подумал: «И Наукун старается не для себя одного — для всего рода старается». И старый Кевонг пожалел сына-неудачника. Но в следующий же миг внутренний голос вновь заговорил: «Какой же он неудачник, соболи сами лезут в его петли!»

— Отсоси кровь, — мягко повторил Касказик.

— Больно, — простонал Наукун.

— Делай, что говорят! — властно произнес отец.

Наукун шел и плевался, оставляя на снегу красные пятна.

В следующем распадке сняли соболя — не очень черного и среднего по размерам. Касказик на какое-то время забыл, что сыновья ставят силки не там, где надо.

— Уже крови нет, — не то радуясь, не то жалуясь, сказал старший сын.

— Теперь приложи снег, — посоветовал старик. — А вернемся в стойбище, прижмешь подорожником. Мать насушила много этой травы.

По пути домой между братьями разгорелся спор, кому охотиться в Ельнике. Уж очень приглянулся он обоим.

— У тебя нет лыж, — говорил Наукун.

— Врешь. Есть лыжи у меня, только одна сломана. Но я починю, — твердо сказал Ыкилак.

— Пока починишь, снег завалит все ловушки. Их надо поправлять каждый день. А если и починишь, лыжина все равно не выдержит: вон какие крутые сопки.

Это был серьезный довод. И Касказик произнес решающие слова:

— Чего спорите? Кто будет проверять ловушки — неважно. Весь соболь пойдет на выкуп. Пусть Наукун бегает.

У Наукуна что-то не ладилось. Он сокрушался, просил у отца совета. Говорил, что не совершил ничего такого, чтобы разгневать духов — хозяев охоты.

Ыкилак и Касказик ловили вблизи от стойбища. У них добыча была хоть и не такая обильная, как в Ельнике, но все же,

Скончался месяц Лова, народился Холодный месяц[1], а Наукун так и не приносил ничего домой. Касказик сказал тогда:

— Зря ноги бьешь! Лови, как и мы, вокруг стойбища.

Наукун не сразу нашелся:

— Послезавтра еще раз схожу. Если не будет ничего — брошу.

Но он принес двух соболей.

Глава XXVIII

Чачфми — удобное местечко. Здесь по обоим берегам Тыми обширные тундровые мари, отличные пастбища, да в окружающих ельниках полно мха-бородача.

Единственное, что мешает оленеводу, — семья росомах. Кровожадные хищники постоянно тревожат стадо. Лука ставил ловушки, но хитрые звери умело обходили их. Росомахи отвлекали от пушной охоты. И поэтому первое, что решил Чочуна, — уничтожить хищников, чтобы всем вместе потом заняться соболями. Лука согласился, и теперь ждали удобного случая. И случай этот не заставил себя ждать. Морозным ветреным утром прискакал Кириск, розовощекий сопливый подросток, и сообщил: росомахи задрали оленя. Схватив ружья, Чочуна, Ньолгун и Лука вскочили на верховых и помчались за мальчиком.

Проскочили длинный лесистый склон сопки, вышли на круглую заснеженную поляну-марь. И тут Кириск остановил оленя. Таежники уже сами приметили: у дальней кромки леса — два черных пятна, рядом — серый бугорок. Росомахи после трапезы охраняли добычу от ворон.

Охотники окружили поляну, спешились и, когда Лука взмахнул шапкой, стали сужать кольцо. Шум ветра в ветвях — хороший помощник, хищники поздно учуяли опасность. Азартный Чочуна не позволил другим сделать первый выстрел. Тяжело раненный зверь упал, но, подняв голову, ощерился. Чочуна снова поднял ружье, но крик Луки остановил его.

Второй зверь, укрываясь за одиночными чахлыми деревцами, понесся в чащу. Ньолгун торопливо разрядил ружье. Росомаха поддала крепче, только снежные комья взлетали из-под мелькающих лап. Ньолгун выстрелил еще. Зверь круто повернул, заметался, и тут Кириск, безоружный мальчик, как-то уж очень ловко кинул аркан. Гибкая петля догнала зверя. Росомаха дернулась, сильным рывком мальчика бросило в снег. Разъяренный зверь повернул назад и помчался к нему.

Ньолгун бросился туда же что есть силы, крича и стреляя

---

[1] Месяц Лова — ноябрь; Холодный месяц — декабрь.

в воздух. В этот опасный миг спокойнее всех вел себя мальчик. Он не отпустил аркан. Росомаха приближалась крупными прыжками.

Кириск мгновенно вскочил на ноги и, когда зверю оставалось всего два прыжка, отпрянул за дерево. Взрослые подошли, когда мальчик, подобрав торчащий из снега толстый сук, добивал опутанного и уже не страшного хищника.

Чочуна восхищенно качал головой.

Теперь ничто не мешало переключаться полностью на соболей.

Лука-Нгиндалай и его дети добыли за осень знатных соболей, большую часть их отдали Чочуне, но и себе оставили: нынче оленевод поедет на далекую Шилку, к сородичам. Решили так: сперва Лука заедет в Николаевск вместе с Чочуной. С ярмарки Чочуна вернется назад, а Лука с молодыми ороками продолжит путь по Амуру до таежной эвенкийской деревни на Шилке.

Глава XXIX

Как всегда, с рассветом вороны стаями вылетели из голубого заиндевелого ельника, где, укрывшись в гуще разлапистых ветвей, зябко коротали длинную ночь.

Ельник взбирается по кручам высокой террасы, переходит в непролазную тайгу, которая разбегается по глухим нехоженым сопкам.

У подножия кручи в рощице черноствольной каменной березы не сразу приметишь маленькое подслеповатое стойбище Ке-во. Снег засыпал его. И только не в меру высокие сугробы да сизый дымок от сухих лиственничных дров обнадежит проезжего: тут его ждет тепло.

Вороны расселись на вершине узловатой ели, которая, словно осердясь на своих сородичей, убежала из ельника и поселилась в рощице, среди каменной березы, сразу за стойбищем. Целая сотня ворон может спрятаться в ветвях этого дерева. Утром перед вылетом на кормежку или вечером перед сном вороны слетаются к ели со всех лесов, теснятся на ее вершине, дремотно вполголоса каркают. Потом, будто сговорившись, разом снимаются, взмывают вверх и гигантской черной тучей закрывают собой полнеба. На землю опускается сумрак.

Родовое предание гласит: вороны облюбовали ель в тот день, когда на берегу Тыми у подножия высокой кручи появилось стойбище Ке-во. Может быть, в далеком прошлом, люди, поселившиеся на берегу нерестовой реки, назывались не так, как сейчас. Но прошло много лет, люди позабыли

свое прежнее имя и стали называться Кевонги — жители Верхнего селения.

Сегодня вороны медлили с отлетом, облепили оголенную вершину, с которой сбили хвою еще в незапамятные времена. Каркали, словно спорили, гадая, что предпримут жители стойбища.

В эту ночь к Ыкилаку так и не пришел сон. Он и виду не показывал, что его тревожит скорая поездка в стойбище А-во — Нижнее селение. Конечно, он с нетерпением ждал поездки. Осень ждал, зиму ждал. Ждал лето и еще осень. Ждал, но никак не проявлял нетерпения. Только несмышленыши-подростки позволяют чувствам овладеть собой. Даже от небольшой радости готовы прыгать полдня. А он — мужчина! Он уже кормилец. И должен держать себя в руках. Этому учил отец. Этому учила тайга. Учили все шестнадцать буранистых зим и шестнадцать лет: дождливых и сухих, обильных ягодами и рыбой.

Он не спал. Нет, не потому, что взволнован. Это милки[1] всю ночь строили козни. Это они отогнали от Ыкилака сон.

Им бы только напакостить человеку. То ночью в лесу заорут, и человек цепенеет. А потом хохочут над ним, одиноким, скованным страхом. Или в осенний ледостав направят туда, где лед тонок, и человек обязательно искупается в морозной воде. А то и утонет.

И в эту ночь проклятые милки отняли у Ыкилака сон. Хорошо, что никто не видел, как всю ночь он вертелся. В торафе на других нарах спал аки. Всю ночь свистел носом. Вот и зазвал этим своим свистом милков. А все потому, что завидует Ыкилаку. И злится на отца. Ланьгук должна была стать женой Наукуна — он старший. Но волею отца она станет женой младшего.

Зимняя ночь длинная. А эта особенно. Ыкилак ворочался с боку на бок, сбились мягкие, как замша, штаны из кожи тайменя. Они мягкие, пока сухие. Когда подмокнут и высохнут, станут как кора на лиственнице. Мни их потом. Долго и старательно мни. А штаны, ставь их на пол — будут стоять колом.

Ыкилак повернулся на левый бок, взглянул в дымовое отверстие на потолке. Перед сном он сам закрыл его снаружи. Наверно, неплотно. И в щель Ыкилак увидел: небо заметно посерело, будто густой до черноты чай разбавили кипятком.

«Еще полежу», — он подтянул к подбородку старую собачью доху.

Еще от деда доха. Ее никто давно не носит — такая ветхая. Ыкилак не помнит, было ли у него когда-нибудь одеяло — всегда укрывался дохой или еще каким хламом.

---

[1] Милки — злые духи, оборотни.

До полуночи в то-рафе обычно жарко. К утру остывает. Но если надеть халат из рыбьей кожи, накрыться дохой и лежать скорчившись, чтобы ноги не выглядывали, можно пролежать до утра и не замерзнуть. Только устанешь так лежать. Тем более что постель — оленья шкура, брошенная прямо на деревянные плахи, — давно вылиняла, и ощущаешь все неровности нар, как суставы на тощей руке стариков. За много лет Ыкилак приноровился к своей постели: передвинешься чуть-чуть в сторону, и бокам не так больно.

Мелкие звезды погасли, только крупные видны. «Еще немножко полежу», — сказал себе Ыкилак.

И тут он вспомнил о выкупе. Долго, две зимы, собирали этот выкуп. Отец охотился. Ыкилак охотился. Охотился и Наукун. Но тот сердит на отца и припрятывает часть соболей. Ыкилак знал об этом, но молчал. Наукун еще скажет, младший брат не мужчина — только и ждет, чтоб за него другие работали. А ведь обычай велит: всему роду собирать выкуп. Потому что к ним придет женщина. И неважно, чьей женой она станет. Важно другое — принесет детей, продолжателей рода.

Выкуп собрали богатый, соболей большая связка — трижды по сорок шкурок, двенадцать лис, восемь шкур выдры. Ыкилак сам носил одежду из рыбьей кожи, а всю добычу отдал на выкуп.

Он вспомнил, что вчера вечером отец снес увесистый узел в амбар. Срубили они его из лиственничного долготья и поставили на сваи — собаки не заберутся. Но покрыт он корьем. Как бы лесной зверь не проник туда. Ведь для росомахи кора не препона.

Ыкилак откинул доху, быстро встал и, пока накопленное за ночь тепло не улетучилось, набросил халат на собачьем меху, нашарил в темноте нерпичьи торбаза, натянул меховые чулки.

Наукун не проснулся даже тогда, когда младший брат, обходя очаг, зацепил ногой за что-то. Ыкилак нагнулся, протянул руки — они коснулись низкого столика. Братья после вечернего чая не убрали его.

Согнувшись привычно, Ыкилак прошел узкий, тесный коридор, толкнул наружную дверь. Прилаженная к косяку с помощью ремня из сивучьей кожи, она неслышно отошла и, выпустив человека, снова закрыла вход. Ыкилак глотнул морозного воздуха — сна сразу поубавилось.

Мелких звезд не видать. Но крупные редкие звезды, словно подожженные кострами зари, вспыхивали и, мерцая, лучились на небосклоне. И если чутко вслушаться, услышишь, как мир тихо и умиротворенно досыпает еще одну ночь. Звезды в эту пору издают какой-то особый звон, от которого сон спокойный и полный...

В эту ночь не спала и Талгук. Завтрашняя поездка муж-

чин волновала ее не меньше, чем младшего сына. Она тоже ворочалась с боку на бок, стараясь ненароком не задеть мужа. Все-таки задела. Касказик открыл глаза, но не шевельнулся. Только сказал:

— Близко, что ли, утро?

— Нет, еще не близко, — приникнув к его плечу, прошептала Талгук.

— Ты что — не спала? Голос какой-то не сонный.

— Нет.

— Почему не спится? Холодно?

— Нет, не холодно.

— Тогда спи, — и Касказик отвернулся от жены.

Под оленьими шкурами тепло долго держалось. Лишь при вдохе ощущаешь студеную резь в носу. Талгук, чтоб не объяснять причину бессонницы, сказала:

— Нашим сыновьям зачем жить отдельно? Зачем два очага иметь? Зачем рубить дрова для двух очагов?

Касказик, никак не ожидавший такого ночного озарения от своей жены, с которой прожил столько зим и лет, дернулся от удивления всей спиной.

— Ты хоть думай, прежде чем сказать! — Касказик сейчас был добр. Тепло, идущее от рядом лежащей жены, смягчило его резкий нрав. — Сама знаешь: какое же это стойбище, если в нем один лишь то-раф? Раньше наше стойбище было, словно птичье гнездовье: шум, смех, лай собак. Теперь хоть два то-рафа, но свое стойбище. Родовое. Со своим древним священным очагом.

Талгук знала, как обернется затеянный ею разговор. Но была довольна: маленькая хитрость ее удалась — муж принял разговор, и Талгук увела его от попыток узнать, почему ей не спится.

— Спи, — Касказик не изменил своей позы до утра...

То-раф родителей немо и смутно темнел в стороне на сером снегу. Воронья ель черной громадой уходила в небо и будто касалась там ветвями крупных звезд, отчего и чудилось, что звезды звенят. Собаки в большой конуре, похожей на то-раф без коридора, услышали скрип снега, завозились, но, узнав по шагам своего, вновь уснули.

Ыкилак походил вокруг амбара. Убедился: в порядке. Вернулся в то-раф. Наукун продолжал высвистывать носом. «Скоро утро. Милки боятся света. Они, однако, уже исчезли. Полежу еще», — и Ыкилак не раздеваясь полез под доху.

Когда голова коснулась груды хламья — вместо подушки, откуда-то из небытия донесся тонкий серебряный звон. Он дрожал, разрастаясь и множась, — это небо звенело: спать, спать, спать...

— Хы, этот все еще спит!

Ыкилак поначалу не сообразил, чем так недоволен старший брат, с трудом поднял голову. Наукун сидел на своей

наре в накинутой на плечи оленьей дохе. Толстая жирная коса свисала сбоку. Наукун смачно обсасывал чубук и, наслаждаясь, медленно выпускал дым тонкими струйками. В узкую щель в потолке проникал неясный свет наступившего утра.

Поза старшего брата выдавала нетерпение. Ыкилак знал, чего хочет аки. «Сам бы мог развести огонь. Теперь злой, ничего не сделает». Ыкилаку не хотелось оставлять теплую постель. Но вставать надо.

Он рывком поднялся. Нашел нож, насек щепок, настругал стружек от куска березы, сложил на очаге сухие дрова. Затем ногтем большого пальца разрыхлил чагу — березовый нарост, поднес огниво и кремень. Хорошая искра получилась на втором ударе. Она упала на крошку гриба, и крошка едва задымилась. Ыкилак раздул тлеющий уголек. Огонек разросся, перешел на кусок с ноготь величиной. Ыкилак, не переставая дуть, положил его на очаг под витые ленты бересты. Набрал полную грудь воздуха и снова подул сильнее. Уголек рассыпал вокруг себя искры, сухая береста вспыхнула прозрачным, еле видным пламенем. А Ыкилак дул и дул, пока пламя не охватило крупные щепки. Огонь разошелся. Ыкилак разогнул спину и почувствовал, как отяжелевшая голова идет кругом. «Нельзя так долго дуть», — и пошел к двери.

А Наукун все сидел в той же позе.

Отец переносил вещи из амбара к то-рафу. Мать выводила застоявшихся собак. Те лаяли и рвались с привязи. Непривязанная сука носилась рядом, дразня кобелей и мешая сборам.

Мать убрала длинные косы вокруг головы. От этого голова казалась очень большой, а сама мать еще меньше и походила на неокрепшую девочку-подростка. Собаки рвались из рук, и мать кричала на них, нагибалась, чтобы намотать привязь на кол. При этом у нее все время распахивался халат. Она поспешно прикрывалась, завязывала шнурки, но едва наклонялась, халат снова распахивался. «Что у нее — шнурки короткие? Или оборваны?» — Ыкилак наблюдал, как мать безуспешно пытается застегнуть халат. Он висел на ней мешком. Два года назад, тогда еще новый, сшитый из желтой материи, он сидел ладно.

— Спустим нарту, — сказал отец, не глядя на сына.

Придерживая, осторожно спустили нарту по покатой земляной стенке.

— Принеси потяг.

Ыкилак нашел в амбаре свернутый кругами плетеный потяг, с которым через постромки соединены попарно хомуты из широких полос кожи. Каюры обычно используют веревочный потяг. Но сегодня поездка особая, и глава рода велел принести плетенный из кожи.

Мать вывела семь нартовых кобелей и отправилась накрывать на стол.

Наукун не участвовал в сборах. Он явился в то-раф родителей, когда мать уже подала юколу, нерпичий жир и густой отвар из березового гриба — чаги. Чай давно уже редкая радость у жителей Ке-во.

После завтрака разгоряченные люди вышли из то-рафа и поначалу даже не почувствовали мороза.

Касказик уже дернул конец потяга, привязанный к столбу. Талгук умоляюще сказала:

— Запряги суку.

Касказик резко обернулся:

— Только твоя голова может придумать такое. Только твой язык слушается такой глупой головы!

— Сука сильная. Она потянет. А дорога неблизкая, и снег еще не улежался, тяжелый, — не сдавалась Талгук.

— Ыйть! — разгневанный Касказик замахнулся тяжелым остолом, чтобы отогнать жену, так некстати подвернувшуюся под руку. Кто видел, чтобы уважающий себя каюр впрягал в упряжку суку? Тем более в такую поездку. А сука тем временем взвизгивала, рвалась с привязи. Обычно ее не привязывают. Она вольно рыщет вокруг стойбища, сама добывает себе пищу. Ведь велел же еще утром привязать, чтобы не путалась под ногами.

Старик ворчал, левая же рука привычно отвязывала закрепленный конец потяга. Собаки разом рванули — Касказик едва успел ухватиться за тормозную дугу и все же его бросило на бок. Отчаянно ругаясь, он налег на стол с железным наконечником — впереди крутой спуск, нужно притормозить, иначе нарта ударится о торос и разобьется или подомнет под себя задних псов.

Ыкилак оглянулся: у низкого заснеженного то-рафа стояла Талгук. Наукун так и не вышел проводить.

Только спустилась нарта к реке, мимо лихим аллюром промчалась сука. Она бежала впереди, задрав длинный хвост[1]. Кобели наддали, пытаясь догнать ее, нарта запрыгала по крутым застругам.

— Ыйть, проклятая! Чтобы ты разбилась об лед! А вы, безмозглые, чего радуетесь? — орал Ыкилак. — Выдохнетесь уже на третьем кривуне!

Вороны разом сорвались с ели, догнали нарту и некоторое время в смятении висели над нею черной тучей.

Глава XXX

Пред тобою сугробы расступятся пусть,
Рыхлый снег твердым настом вдруг станет пусть.
Чтоб в дороге легки были ноги твои,
Шью тебе торбаза я.

[1] Нивхи обрубают кобелям хвосты, у сук же оставляют.

Самой прочною жилкой я швы прострочу.
Слов надежных и верных я не умолчу.
Чтоб в дороге легки были ноги твои,
Шью тебе торбаза я.

Чтобы в долгом пути ты не встретил беды,
Древних предков узор осторожно кладу...
Чтоб в дороге легки были ноги твои,
Шью тебе торбаза я...

— Красивая песня! — восхищенно сказала Музлук, когда Ланьгук спела последние слова. — У тебя всегда красивые песни.

Ланьгук застыдилась искреннего восхищения невестки, низко нагнулась над шитьем.

Вот уже дней восемь, прячась от глаз отца и братьев, Ланьгук шьет торбаза. Мужские. Из прочного камуса — оленьих лапок. Музлук помогла подобрать мех. Отобрали темно-коричневые. Отделали белоснежным камусом, нарядным.

А узор придумали втроем — мать тоже приняла участие. Поверху пустили крупный орнамент, ниже — шашечками белый и темный камус. Скоро должен приехать Ыкилак, красивый юноша, ловкий, удачливый добытчик...

...Древних предков узор осторожно кладу...

Пусть древний нивхский орнамент хранит тебя от всяких бед...

...На реке снег лежит ровно, без сугробов. Лишь кое-где на кривунах козырьками дыбятся заструги. Снег рыхлый. Полозья то и дело проваливаются. Упряжке тяжело. Постромки гудят, нарта скользит, дергаясь и подпрыгивая — перескакивает через заструги.

На четвертом или пятом повороте, как и ожидал Касказик, упряжка перешла на шаг. Бока у кобелей запаленно вздымались, языки болтались, как мокрые тряпки. А сука, высоко задрав хвост, носилась вокруг, откровенно взывая к игре.

— Ыйть, — выругался Касказик, — ты у меня порезвишься!

Он затормозил. Кобели тут же встали, залегли, жадно хватая снег дымящейся пастью.

Касказик протянул руку, чтобы подозвать суку, но тут же застыл в замешательстве: как окликнуть ее? Четвертую зиму никто не удосужился дать ей имя. Может, потому, что не требовалась она в хозяйстве. Одно знала: плодила щенков для будущих упряжек. Но сука поняла, чего хочет человек. Она отбежала подальше и только тогда оглянулась. Касказик держит на вытянутой руке кетовую хребтину. Соблазн велик. Сука голодно облизнулась, завиляла хвостом, крадучись по-

дошла. Медленно и осторожно, чувствуя подвох, потянулась к руке.

А человек ласково приговаривал:

— Вот тебе рыба. Вкусная рыба. На, возьми, съешь.

Рука отдаляется, отдаляется. Аппетитный запах бьет в ноздри, вызывает обильную тягучую слюну. Сука сделала короткий шаг. Еще шаг. Ноги дрожат от возбуждения. Она видит над своей головой распростертые пальцы другой руки. Внимательно сторожит глазами. Резко хватает кетовый костяк, выдергивает, и не успел человек опомниться, стрелой уносится к берегу, исчезает в кустах. Нартовые собаки, с любопытством следившие за ходом событий, завистливо скулят, бросаются вслед за ней, но лишь запутывают постромки.

— Ыйть, безмозглые! — пинает старик ни в чем не повинных кобелей, срывая на них зло.

Ыкилак в душе хохочет над отцом.

Касказик грубо растолкал кобелей, распутал постромки и крикнул:

— Та-та!

Упряжка пошла, но кобели все оглядывались, посматривали на берег, где в кустах догрызала свое лакомство сука.

Через несколько поворотов, когда упряжка вновь перешла на шаг и кобели из последних сил налегали на хомуты и хрипели, задыхаясь от собственных усилий, каюр смилостивился:

— Порш!

Кобели опять залегли в снег.

Касказик обернулся.

— Она боится меня. Попробуй ты.

Ыкилак соскочил с нарты, пошел к суке, которая сидела в стороне, ожидая, когда снова тронутся в путь. Увидев юношу, собака прилегла на снег, прижала уши, осклабилась в покорной улыбке. Позволила взять себя за загривок, тут же встала на ноги и, повинуясь руке, пошла рядом. Касказик надел на нее не алык-хомут, а простой ошейник — так проявил он свое презрение, привязал ее сразу же вслед за вожаком, приговаривая:

— Убеги на этот раз, добра не будет. Вот и далась в руки. Теперь ты у меня потанцуешь. Такой танец тебе выдам, какого ни один шаман не знает.

Он понимал, кобели, увидев перед собой суку, будут стараться настигнуть ее и сильнее потянут нарту.

Старик перекинул ногу, сел поперек, вытащил остол. Собаки дернули, легко понесли. Сука тянула сильно. На трудных участках, когда полозья исчезали в снегу и шли тяжело, будто по песку, она от усердия приседала, ее задние ноги подгибались, дрожали и, казалось, гудели от напряжения.

Долго каюр не давал передышки. Псы переходили на шаг, но старик кричал, размахивая остолом, и они боязливо озирались и тянули из последних сил. Сука, непривычная к такой

тяжелой работе, выдохлась раньше и еле перебирала лапами.

Конечно, ни один уважающий себя каюр не запряжет суку. И вообще, во всем виновата Талгук. Нарочно выпустила. Ыйть, старая дура, из ума выжила. Теперь, хочешь не хочешь, запрягать надо. Хорошо, хоть постороннего глаза нет.

Касказик ругал жену, но в душе поднимался другой голос: это она сделала от добра, хотела помочь мужу и сыну в их трудном пути.

Лишь в конце дня, когда из-за последнего поворота показалось стойбище А-во, старик остановил нарту, освободился от суки. Та радостно взвизгнула, взмахнула длинным хвостом и снова помчалась впереди упряжки. Уставшие, еле волочившие ноги кобели приободрились, налегли на алыки, и нарта пошла быстрее.

Глава XXXI

Маленькое стойбище А-во встретило гостей остервенелым лаем будто взбесившихся здешних собак. Но в их заливистом лае не злоба была. Скорее любопытство и радость от того, что наконец-то есть повод продрать горло. Редко когда сюда наезжали. Разве какой-нибудь дальний каюр с другого побережья в своей нелегкой поездке по родичам, разбросанным невесть где, останавливался в этом глухом таежном местечке, чтобы дать отдохнуть отощавшей в дороге упряжке и обменяться с жителями А-во родовыми тылгурами — преданиями и легендами.

Из большого то-рафа вышел сгорбленный старец. Это Эмрайн — старейший рода Авонгов. Он в синем матерчатом халате с волнообразным желтым орнаментом на полях. Седые редкие волосы заплетены в тонкую облезлую косу. Старец пристально всматривался в приезжих. Следом вышли два его сына — Хиркун и Лидяйн. Оба в накинутых на плечи цветастых халатах.

За ними выскочили две молодые женщины — одна совсем еще юная Ланьгук. Встретившись с Ыкилаком глазами, она покраснела, будто лицо ее окатили из жбана соком брусники. Девушка юркнула в то-раф — только косы взметнулись, как крылья. За Ланьгук степенно повернулась и исчезла другая женщина. Это Музлук — жена Хиркуна. «Наверно, чай пили — раз собрались все в то-рафе родителей», — рассудил Ыкилак.

Эмрайн прикрикнул на собак, и те смолкли. Лишь некоторые поскуливали, завидев суку, которая нагло и независимо прогуливалась по стойбищу. Непривязанные кобели, тесня друг друга, обхаживали ее. «Ах, ты, бессовестная! Нахалка! Ведь срок твой еще не вышел!» — корил ее про себя Касказик, а вслух сказал, оправдываясь:

— Увязалась за нартой. Гнал, да разве послушается, тварь этакая. Всю дорогу только и мешала.

Эмрайн, криво ступая, подошел ближе.

— Как дорога? Наверно, нелегко было?

Лидяйн вполголоса спросил Хиркуна:

— Не за Ланьгук они?

— Откуда я знаю, разговора еще ведь не было?

И уже на правах старшего не счел нужным скрывать недовольство:

— Ты вечно спешишь. Сходи, позови женщин — пусть помогут распрячь упряжку да собак покормят.

Лидяйн ответил обиженным взглядом исподлобья, но повиновался. Не успел открыть он дверь, как ее толкнули изнутри. Вышли Псулк, Музлук и Кутан, младший брат Эмрайна, родовой шаман.

Ыкилак двигал плечами, размахивал руками, чтобы изгнать из себя холод — день был безветренный, но морозный воздух, казалось, проник во все поры, выстудил кровь. «Еще подожду. Как пальцы отойдут, распрягу». Но ему не пришлось заняться этим. Подошли широкоскулая и плоская, как плашка для распялки шкур, Псулк — жена Эмрайна и с нею на редкость крупная и статная Музлук — жена Хиркуна.

— И-и-и, — улыбнулась Псулк младшему Кевонгу. — Какой большой и красивый стал мальчик.

Она широко и уверенно шагнула к упряжке. Нартовые псы, поначалу с подозрением встретившие женщин, повиновались умелым рукам.

Вечером после чая по традиции пришло время сказаний. Гости должны рассказать свой тылгур[1]. И когда Касказик почувствовал, что окружающие накурились и настроились слушать, рассказал короткое предание.

Три охотника — ымхи, человек рода зятей, и два ахмалка, люди рода тестей, пошли в тайгу ставить петли. Ымхи был бедный, неженатый. Ему нужно добыть соболей на выкуп. Ахмалки же — из богатой семьи, где было много мужчин-добытчиков. Ымхи, если охота окажется удачной, женится на сестре ахмалков.

Пришли охотники в сопки, срубили балаган, расставили ловушки. Ымхи поставил тридцать ловушек, младший ахмалк — пятьдесят, старший ахмалк — триста.

Прошел день, прошел второй. Пришли охотники проверять ловушки. Ни в одной ловушке нет добычи.

Принесли охотники Пал-ызнгу жертву: табаку, корни сараны. Старший ахмалк сказал: «Добрый дух, пожалей меня за все мои страдания — вон сколько ловушек я выставил».

Пошли на следующее утро охотники проверять ловушки. Шли, шли они по распадкам и сопкам, видят: идет по соп-

[1] Тылгур — предание, сказание, легенда.

ке красивая девушка, зовет: «Кыть, кыть, кыть!» Так скликают щенков покормить. Идет красавица по склону сопки, зовет: «Кыть, кыть, кыть!» И со всех склонов и распадков выскочили соболи, окружили девушку-красавицу, идут вместе с нею. А девушка что-то бросает в стадо соболей, соболи ловят на лету.

Стоят охотники, разинув рты. Стоят и смотрят, как лесная девушка, дочь земного Тайхнада[1], прошла по склону сопки вместе с соболями. Прошла дочь Тайхнада по склону сопки — исчезла.

После этого еще несколько дней соболи не шли в ловушки. Охотники ходили по сопкам и распадкам, переставляли ловушки, но все равно не было добычи.

Вечером, когда они сидели в балагане и думали о своей неудаче, кто-то стал спускаться по сопке к балагану. Охотники подняли головы, видят: входит к ним седовласый старец. Вошел старец, прошел к лежанке, присел. «Ух-ух-ух, — перевел он дыхание. — Вижу, что вас мучает неудача. Жалко вас — вы так стараетесь, а добыча не идет в ловушки».

Поняли охотники, к ним явился сам Тайхнад, сотворитель живого на земле.

Старец сказал: «С завтрашнего дня соболь пойдет в ваши ловушки. Вы ловите соболей, а я буду снимать шкурки, сушить». Охотники не знают, как отблагодарить. Покормили они гостя, положили спать. Ымхи подумал: «Хоть бы двадцать соболей послал в мои ловушки. Столько соболей, пожалуй, хватит на выкуп». Подумал так ымхи и уснул с этой мыслью.

Младший ахмалк подумал: «Знать, я наделен счастьем, раз сам Тайхнад пришел ко мне в гости. Сделай так, чтобы мои ловушки всегда были полны добычи». Подумал так младший ахмалк и уснул со своей мыслью.

Утром охотники проснулись рано, пошли проверять ловушки. Увидели: в каждой ловушке сидит соболь.

Ымхи подумал: «Надо убрать ловушки. Если так будет ловиться, не успеем снять шкурки». Так же подумал и младший ахмалк.

А старший подумал: «Вон как ловится соболь. Хорошо! Я поставил много ловушек». Снова зарядил ахмалк свои ловушки. А добычу в мешках таскал к балагану несколько дней.

Пока он таскал соболей, во всех ловушках оказалась новая добыча.

Старик тогда сказал: «Не надо так много ловить, я не успеваю снимать шкурки. Они портятся».

Ахмалк ничего не сказал. Но и ловушки не снял. И накопилось соболей так много, что стало негде хранить.

---

[1] Тайхнад — сотворитель живого на земле.

Старик опять говорит: «Не надо ловить так много священных зверей — они портятся».

Ахмалк подумал: «Старик только мешает мне охотиться». Он знал: Тайхнад не любит, когда костер собирают из пихты: пихта, разгораясь, трещит так, что голова болит.

Ахмалк незаметно срубил пихту, незаметно положил в костер. Костер вспыхнул, затрещал. «Тэ-тэх-тэх!» — трещит огонь. «Ыйк-ыйк-ыйк!» — вздрагивает Тайхнад. Потом старец молча надел шапку и вышел из балагана.

На следующее утро охотники услышали шум, будто ветер прошел по лесу. И увидели охотники: по сопке проходит лесная девушка. Девушка шла и звала: «Кыть-кыть-кыть». И со всех склонов и распадков выскочили соболи, окружили девушку-красавицу, идут вместе с нею. А она все зовет: «Кыть, кыть, кыть». И тут соболи, которых старший ахмалк хранил в амбарах, ожили и помчались к девушке.

Схватился старший ахмалк за голову, побежал с криком: «Соболи! Соболи! Мои соболи!»

Долго бежал ахмалк. Но куда там. Ступит девушка — она на одной сопке, ступит еще — уже на другой сопке. А вместе с нею — стадо соболей.

Бежал охотник за соболями. Ымхи и младший ахмалк долго слышали, как по распадкам и ущельям разносился голос: «Соболи! Соболи! Мои соболи!»

Вернулись они в стойбище. Отдал ымхи отцу-ахмалку выкуп, забрал жену. Рассказали о случае в тайге. Их рассказ стал преданием.

Едва Касказик закончил рассказывать, раздался голос Музлук:

— Так и надо ему: одним жадным меньше стало.

Ыкилак впервые слышал от отца это предание. Другие, разные, отец рассказывал раньше, а этот тылгур о бедном ымхи и жадном ахмалке Ыкилак услышал впервые. Ыкилак слушал отца, видел себя на месте безымянного юноши и желал себе удачи...

Эмрайн не ответил на предание ни словом. Он понял старейшего Кевонга, тот предупреждал: нельзя быть жадным. Хитрый Касказик нанес удар, упредил...

Глава XXXII

Прошла ночь. Наступил новый день Кевонгов, может быть, самый важный для маленького рода. Но что это?

Касказик ощутил, что между ним и людьми А-во незримо встала стена холода.

Что же случилось, почему так внезапно все изменилось?

Два рода — Авонгов и Кевонгов — издревле кровно связаны. Авонги — род тестей, Кевонги — род зятей. Издревле было: женщины из А-во переходят в род Кевонгов. Правда,

бывало в далеком прошлом (об этом гласят родовые предания), когда иные женщины из А-во уходили в род Нгакс-вонгов на туманном берегу моря. Но такое случалось редко и лишь тогда, когда в роду Кевонгов у всех были жены, а взять вторую жену редко кто решался — лишний рот. Но о тех прекрасных временах, когда мужчинам хватало женщин, — об этих временах лишь в преданиях сказывается. И Касказик, сегодняшний старейший оскудевшего рода, с тоскливой печалью думал: «Были ведь такие времена...»

О, эти проклятые воры — люди из туманного Нгакс-во! Будь проклят тот, кто придумал огненную воду! Это с ее помощью лишили ума покойного деда Сучка и его братьев — иначе бы они не изменили своему слову! Будь проклят тот миг, когда пролилась кровь людей Нгакс-во. Это он, Касказик, в то давнее время, увидев убитого брата, разъярился и бросил копье в убегающего криволицего, пронзил его. О, будь проклят этот день: он стал началом кровной мести. Люди Нгакс-во не знали, что и Кевонги понесли утрату. Вернувшись к морю, они учинили резню — уничтожили тамошних Кевонгов, которые отошли от родового древа много ань назад. Жителей Ке-во потрясла неслыханная несправедливость: они убили одного из Нгакс-во, а те отняли три жизни! Как только Курнг не покарал их! Кевонги мудро укротили свой гнев. Отвечать новой кровью значило наложить руки на себя, всему роду пришел бы конец. Касказик дал себе тогда слово: наступит час и он отомстит. Молил богов, чтобы помогли ему: хотел иметь сыновей, много сыновей. Они отомстят людям Нгакс-во. Но боги обошлись с Кевонгом немилостиво. Прав был тот древний шаман, от которого сейчас и трухи не осталось: он сказал тогда, что Кевонги совершили тягчайший грех, пролив человеческую кровь...

Может, Курнг потому и оставил так мало Кевонгов, чтобы чувствовали свое бессилие?

Теперь не заботы о кровной мести занимали Касказика. Он будет виноват, если на его сыновьях оборвется род. Земля будет жить. И травы будут жить. И звезды, и зверье будут жить. А рода Кевонгов не будет! Эта мысль преследует Касказика. Где бы ни был он, на охоте ли, на рыбалке, спит ли с женой в своем теплом то-рафе — не отстает от него эта дума.

Ланьгук, конечно, должна была стать женой Наукуна — уж таков обычай, сперва женят старших сыновей. Но волею Касказика она станет женою младшего. Касказик принял это решение не потому, что любит Ыкилака больше. У него были свои расчеты.

Тогда Касказик надеялся: он сумеет найти своим сыновьям не двух, а трех жен. Ланьгук никуда не денется, она, еще не родившись, предназначена была роду Кевонгов. Наукун на семь ань старше Ыкилака. А пока Касказик в силе, он

объедет стойбища, доберется до самых отдаленных, куда не проникали даже его предки, и найдет, конечно же, найдет двух женщин, пусть не очень молодых, пусть не очень красивых, пусть даже горбатых, но двух. И, пока Ыкилак и Ланьгук подрастут, Наукун уже будет иметь нескольких сыновей от обеих жен! Нескольких сыновей! И дерево Кевонгов пустит новые ветви!

Вот почему двенадцать ань назад Касказик привез в А-во младшего сына. Тогда детям оголили ноги и обвязали их чныр-травой. Так символически соединили Ыкилака и Ланьгук. После этого обряда Ланьгук уже принадлежала не вообще роду Кевонгов — Ыкилаку.

С угрюмой настойчивостью Касказик пытался осуществить свой план. После осенних пеших походов он ненадолго задерживался в то-рафе. Снова оставлял жену и детей, гонял упряжку от стойбища к стойбищу, возвращался уже по насту.

Измученный долгими, бесполезными поездками старейший отвечал на немой вопрос жены виноватым взглядом. И в такой миг этот своевольный властный человек казался жалким, беспомощным. Талгук ничего не спрашивала, только жалела мужа тихо, ненавязчиво, как умеют жалеть нивхские женщины.

В дальних своих поездках Касказик понял, что смерть грозит не только его роду. В некоторых стойбищах ему рассказывали: в таком-то роду еще несколько ань назад было двадцать человек. А теперь только шестеро. В другом же роду всего трое. Касказик ужаснулся: нивхи, похоже, вымирают!

Они чувствовали беду, как птицы изменение погоды, и по-своему принимали спасительные меры. Едва появится у кого дочь, тут же совершают обряд чныр-юпт, а некоторые имели по две или даже по три жены. Но это доступно лишь людям крупных родов: за женщин теперь так много заламывают, что только могущественный род может собрать требуемый выкуп. Узнав, что Касказик из маленького рода, с ним и вовсе прекращали разговор: кому интересно иметь слабых и бедных ымхи!

Так жестоко время расправилось с планами старейшего Кевонга. Четыре ань назад, когда он узнал, что Ланьгук уже могла бы родить, сказал жене, что поедет рыбачить на дальнюю тоню, а сам примчался в А-во. Между старейшими состоялся разговор. И по сей день Касказик помнит каждое слово. Он (умоляюще): «Нгафкка, я затеял обряд чныр-юпт, я и нарушу его. Отдай мне свою дочь: она станет женой Наукуна». Эмрайн (настороженно): «Где это видано, чтобы нарушался кровный обряд?» Он (упавшим голосом, настойчиво): «Это нужно, чтобы мой несчастный род быстрее окреп». Эмрайн (пугливо и неуверенно): «Курнг может возгневаться». Он (все так же умоляюще): «Курнг не щадил мой род.

Сколько бед натерпелись! Теперь мы достойны его жалости». Эмрайн (так же пугливо, но решительно): «Нет! Я не ищу гнева Курнга! Ты хочешь, чтобы и мой род постигла твоя участь».

Касказик вернулся назад сам не свой. Домашние сочли, что рыба не пошла в ловушки. Вот так и случилось, что Ланьгук окончательно должна стать женой младшего сына при живом и неженатом старшем.

...Касказик сидел на сложенной дохе, откинувшись назад и прислонившись к краю нар. Такую же позу принял и его сын. Старик ждал, когда ему подадут табак. Эмрайн протянул кисет младшему своему сыну Лидяйну и тот положил его на колени гостю. Касказику не понравилось, что хозяева заставляют его ждать. Закон гостеприимства требует, чтобы кисет положили перед гостями сразу же, как те поедят. Касказик пошарил рукой под халатом, где-то под мышкой нащупал трубку, вытащил, набил листовым табаком. Передал кисет сыну. Ыкилак тоже набил трубку, подошел к очагу, нашел сучок с тлеющим концом, подал отцу. «Что же это такое? — возмущался про себя Касказик. — Разве так обращаются с людьми из рода ымхи! Что все-таки произошло?»

Женщины у очага молча чинили одежду. Женщинам света белого не хватает на их нескончаемые большие и малые заботы. Мужчины медленно курили. На их угловатых скулах играло пламя очага. Чем больше тянулось молчание, тем явственнее ощущалось напряжение.

Неуверенность тяготила Ыкилака. Он целиком полагался на отца и бросал изредка на него вопрошающий взгляд. Ланьгук, та самая Ланьгук, при одном воспоминании о которой будто головой зарываешься в благоухающий багульник, сидела спиной к нему и, склонив маленькую головку на грудь, рассматривала узоры на полах халата, теребила кончики толстых кос, спускавшихся к бедрам, и по-детски шмыгала носом. Как самый младший член семьи, она не была обременена заботами...

Ыкилак смотрел на Ланьгук, и во всех подробностях встала перед ним их встреча у Вороньей ели.

...Это птенчик, это птенчик
выклюнулся из яйца.
Это птенчик, это птенчик
крыльями затрепетал.
А гнездо мое качают
ветры злые, и пугает
темь ночная. Только крики
страшных духов слышу я...
Упадет на землю птенчик —
крылья сложит и неслышно
затаится между кочек...
Будет ждать покорно птенчик,
как над ним сомкнутся когти,
и от крыльев, и от крыльев

пух и перья полетят.
Где же тот, кто в небо бросит
неокрепшего птенца?

Неужели ты забыла, когда родилась эта песня? Прошлая осень выдалась теплая, солнечная. Природа будто перепутала времена года, и вместо осени пришло весеннее тепло. Воздух был наполнен земными запахами, травы благоухали терпко, по-весеннему. Птицы сытно и беззаботно цвиркали в воздухе, кустах, траве. Будто им не надо сбиваться в стайки, чтобы покинуть наши края, куда скоро придут холода. В воздухе висели утренние паутинки. Они сверкали, переливаясь на солнце.

В тот год был большой ход кеты. Едешь по Тыми, и на каждом мысу — возведенные на скорую руку вешала. Они отдавали белизной свежей рубки, но были сплошь завешаны гирляндами красной распластанной рыбы. В мире ничего нет красивее увешанных юколой вешалов! Юкола обильно вбирала в себя солнце, становилась частью солнца, чтобы в самую стужу съел ее человек — и стало ему сытно и тепло. Когда у нивха солнечная юкола, его обходят болезни и неудачи...

Тогда и вы, люди А-во, и мы, люди Ке-во, набили свои амбары под самое корье плотными душистыми связками отлично провяленной юколы. А потом вы приехали к нам на лодке. Мужчины — чтобы в Пила-Тайхуре ловить осетра, а ты за брусникой. Ее, брусники, в ту осень уродилось как никогда. Все сопки вокруг были осыпаны крупной, темной, как сгустки крови, длинноветвистой таежной ягодой.

Вечером мы вытащили из Пила-Тайхура огромного, в полтора моих роста, жирного осетра, и все, кто находился в стойбище, вышли на берег каждый со своим ножом и вдоволь наелись. Ты подошла ко мне и подала маленький, узорчатый туес, полный брусники. Потом взглянула на меня. Сердце мое забилось совсем по-другому. А ты повернулась и, глядя на меня, медленно пошла из стойбища к Вороньей ели. Твои глаза тянули меня за собой. Ты обвила меня своими тоненькими руками и так прижала к себе, что заломило в спине. А я стоял, как пень. Ты смотрела в мои глаза, а я, теленок-первогодок, от смущения не знал, как поступить. Твои глаза просили, умоляли. Шея и щеки горели. Я почувствовал на губах что-то тонкое, упругое. Это волос твой или паутинка? В ту осень было много ее, паутинки. Надо было целовать тебя, а я перебирал губами паутину. Ты сказала: «Послушай» и тесно прижалась ко мне. Я не понял, что должен услышать. Ты взяла мою ладонь, прижала к своей груди и сказала: «Вот тут слушай». Ладонь ловила частые, сильные удары сердца. А ты тихо и печально пела:

Это птенчик, это птенчик
крыльями затрепетал.

Посмотрела на меня — в глазах мольба. Но в следующий миг я заметил: ты сердишься.

Упадет на землю птенчик,
крылья сложит и неслышно
затаится между кочек.
Будет ждать покорно птенчик,
как над ним сомкнутся кости,
и от крыльев, и от крыльев
пух и перья полетят.

Ты пела вполголоса. Я напрягал слух, чтобы не пропустить ни слова — так они были складны и красивы. Потом будто по голове меня ударило: о чем сказала эта песня? Я глянул в твои глаза. В них — мольба и... отчаяние.

Где же тот, кто в небо бросит
неокрепшего птенца?

Что ты этим сказала?

Ты резко повернулась и побежала в стойбище. А я остался.

На другое утро вы уехали, увезли с собой большую рыбину — ночью Пила-Тайхур подарил еще одного осетра...

Ланьгук, Ланьгук... Где тот взгляд, которым ты смотрела на меня у Вороньей ели? Что случилось?

— Офы! Офы!

Это прокашлялся отец. Что-то хочет сказать?

В то-рафе полумрак. Лишь огонь очага пляшет красной лисой.

— Офы! Офы! — еще раз прокашлялся отец и резко передернул плечами. Окружающие поняли: нет, не уйти от разговора. Двое старейших должны объясниться.

Касказик мудр! От того, как начнет он, будет во многом зависеть, удастся ли ему взять свое.

— Ы-ы-ы! — тянет Касказик. Как талая ледниковая вода нащупывает себе русло, так и Касказик ищет путь к сердцу ахмалка.

— Ы-ы-ы-ы! — Сколько память людская живет, столько живут два добрых соседа — два древних рода: Авонгов и Кевонгов.

Кажется, ручей пробил себе русло и помчался уверенней. Касказик перевел дыхание. Голос старейшего Кевонга звучал ровно:

Ы-ы-ы!
Ы-ы-ы!
С тех пор как солнце восходит в небо,
с тех пор как травы усеяли землю,
с тех пор как сопки покрылись деревьями
и в реки Тайхнад посылает лосося,
живут два рода, два древних рода.
Живут два рода, два древних рода,
собой оживляя долины и сопки,
тайгу оживляя делами и речью,

собой украшая великую землю,
живут два рода, два древних рода.

Касказик перевел дыхание, обратился к старейшему Авонгу:

Волею Курнга — Всевышнего духа,
род твоих предков стал родом ахмалков.
Был он могуч и цветущ, как долина
в теплые дни бестуманного лета.
Волею Курнга — Всевышнего духа,
род моих предков в ымхи превратился.
Добрые наши соседи ахмалки
в род наш своих дочерей отдавали.
Брали мы женщин и в стойбищах дальних,
но лучшие жены — из Нижнего стойбища.
Род наш Кевонгов окреп и разросся,
деревом стал он с ветвистою кроной.
Быть бы всегда нам могучими, сильными.
Нет, отвернулися добрые духи.
Видишь ты сам — здесь не нужен глаз юноши —
дерево гибнет, остались две ветви.
Ветви без сока усохнут однажды,
дерево черви съедят.

Касказик сейчас не тот, каким его знали — властолюбивый, гордый. Он согнулся, голова свисает на грудь, глаза закрыты, голос печален и глух.

Сердце дорогу свою не забудет,
травы всегда будут к солнцу тянуться,
сопки всегда будут лесом покрыты —
рода Кевонгов не будет...

Вокруг напряженная тишина. Ланьгук потихоньку смахивает слезы. Псулк, жена Эмрайна, сердито дергает иголку, нитка рвется, и женщина долго мучается, пока дрожащей рукой проденет нитку.

Эмрайн нервно теребит бороденку, подслеповато мигает, ссутулясь перед очагом, молчит. Чуть поодаль, в тени, полулежат на нарах братья: Хиркун задумчив и хмур, Лидяйн поглядывает на отца с усмешкой.

Ланьгук всхлипнула. Опять тишина, напряженная мучительная.

Эмрайн подкинул дров в огонь, и снова тишина. Наконец он выпрямился, словно сбросил какую-то тяжесть.

— Вы, как снег в ясный день. Мы и принять-то как следует не смогли. А Ланьгук, какая из нее жена: плачет и плачет. Дитя совсем.

— Подождем, — сказал Лидяйн. Сказал так, будто его слово решающее.

«Ах ты, сучий выродок, — выругался про себя Касказик. — Совсем обнаглел. Будь ты моим сыном, я бы показал, как лезть не в свое дело». Потом старейший Кевонг поймал себя на тоскливой мысли: «Будь у меня третий сын, как

бы я благодарил Курнга. Пусть бы даже такой выродок — все равно».

— Какой из Ыкилака муж — он и мясо-то не знает, как добыть.

«Опять этот негодяй. У-у-у... Скажи спасибо, что не мой сын...»

— У него жена на второй же день помрет с голоду.

— Заткнись!

Это уже гневается Хиркун. Он — второе лицо в то-рафе. Уж он-то может прикрикнуть на младшего.

— Пусть докажет, что он мужчина, — обиженно говорит Лидяйн. — Пусть докажет.

Глава XXXIII

Пусть докажет... На ровной белизне снега кое-где торчали стебли пожухлой травы. Слабый низовой ветер чуть пошевеливал ими, и те подзенькивали еле слышно.

Марь переходила в неширокий распадок, где зябко теснились бурые оголенные кусты. Было видно, как распадок, сужаясь, врезался в крутобокую темнохвойную сопку.

По насту идти до распадка — две трубки выкурить. А сейчас снег рыхлый. В начале зимы он всегда рыхлый. Ноги утопают, как в лебяжьем пуху. Снег еще не слежался, ветер не сбил его и мороз не успел схватить. Другое дело — мартовский наст. Особенно утром, когда мороз еще не отступил. Иди себе, приплясывай, только сухой хруст, словно снежные брызги из-под торбазов.

Ыкилак умел ходить. Все свои семнадцать зим и восемнадцать лет он прожил в тайге. Ходил по ней и в лютый мороз месяца Орла, и в душные дни Горбушевого месяца [1]. Ходил и в дождь проливной, когда не найдешь спасения даже под густой елью, и в снег, когда валит он сплошняком и не видишь рукавицы на вытянутой руке. Ыкилак знал тайгу. И давно понял — ничего нет мучительнее, чем брести по ней в начале зимы, когда снег еще еле-еле прикрыл колдобины и кочки. Нельзя ни пешком — ноги побьешь в кровь, ни на лыжах — сломаешь о неровности, невидные под предательски мягким снегом.

Будь его воля, Ыкилак не стал бы терзать себя. Но ничего не поделаешь — так пожелали ахмалки. А сами идут сзади. Им легче. Идти по следу всегда легче.

Надо высоко поднимать ногу, чтобы не пахать ею снег. Но так далеко не уйдешь — выбьешься из сил. Тогда юноша решил идти по кочкам. Они угадывались в пожухлой высокой траве. Если ступить на траву, точно угодишь на кочку.

Ыкилак нацелился на траву, торчащую редким пучком, уверенно опустил ногу. Прыгнул на следующий пучок —

[1] Месяц Орла — январь, Горбушевый месяц — июнь.

ступня не попала в середину кочки, соскользнула. Нога заныла. Ыкилак не подал виду, сжал зубы и пошел дальше, высоко вскидывая ногу, занося ее стороной.

Сзади крикнули:

— Хочешь, чтоб без ног остались?

Это Лидяйн. Ыкилак делает вид, что не слышит. Лидяйн самый что ни на есть дрянной человек. Никогда не сделает другому хорошо. Попадаются же такие!

И теперь, растянувшись на кочке, Лидяйн поносит его. Ыкилак не отвечает. Он сосредоточен на одном: поскорее бы одолеть эту гиблую марь. Жесткие брюки из кетовой кожи отсырели на сгибе. Колени холодит.

Третьим идет Хиркун. Как подобает уважающему себя зрелому человеку, не выказывает недовольства ни тем, что Ыкилак избрал не самый легкий путь, ни тем, что движутся они медленно.

Лидяйн смачно чмокает, глотая слюну, горькую от просмоленного изжеванного чубука. Трубка давно потухла, табаку в ней ни крохи. Но Лидяйн и не думает заряжать трубку: табак надо беречь. И обсасывает горький чубук, и ощупывает под оленьей дошкой мешочек листового маньчжурского табака. Мешочек почти полный, и от этого на душе хорошо.

У Ыкилака защемило под ложечкой, свело челюсти. Нестерпимо хочется курить. Но кисет пуст. Скупые ахмалки так и не насыпали ему перед дорогой. Отправить в дорогу и не дать табаку — все равно что уставшего с дороги гостя оставить без чаю. Так люди не поступают. И еще не дали лук. Теперь одно спасенье — копье. Если бы ахмалки были добрые, они не послали бы его в сопки в такое время. Не стали бы испытывать в рискованном деле. Нет, Ыкилак не боится. А вдруг?

Как они все старались — Ыкилак, Наукун, отец. Две зимы ловили соболей, собирали выкуп. Голодали, холодали, а копили. Правда, Наукун припрятывал часть добычи.

Последнее время старший брат ходит злой. Еще бы — остаться без жены — какая тут радость! Ыкилаку жалко его, но что поделаешь!

— Э!

Опять Лидяйн. Что за человек — идет по тайге и орет? В тайге не кричат — вполголоса разговаривают. Тайга — дом зверей и дом духов. Тут можно докричаться...

— Э! Ты что, оглох!

Ну, что ему сказать? Если бы не Ланьгук, трахнул бы по его собачьим ноздрям. Ей-ей, дал бы.

— Свернуть пора, — спокойный голос. Это Хиркун.

Оказывается, уже прошли марь. Ыкилак остановился. Тяжело дышит, вытирает со лба испарину.

Хиркун кивком головы показывает, куда идти, и сам выходит вперед.

Ыкилак не однажды встречался с медведями — в лесу ли во время сбора ягоды, на речках ли в дни рунного хода горбуши. Тайга одна, речки одни — не разминуться. «Медведь совсем как человек, только на четырех ногах ходит да доху не снимает», — говорит отец.

...В тот день Касказик рыбачил, а Талгук и ее дети рвали бруснику в редколесье на склоне сопки. Ыкилак, увлекшись, свернул в сторону. Из кедрового стланика выскочил пушистенький медвежонок. Ыкилак подскочил к зверенышу, наклонился, чтобы погладить. Тот ощерил зубки, царапнул острым коготком руку. Мальчик обиделся, надул губы, отошел. Надо к матери. Медвежонок с верещаньем помчался следом. Был он смешной — круглый и подпрыгивал кособоко.

И тут появилась медведица, большая, как гора. Беспокойно озираясь, пошла на Ыкилака. Даже не остановилась — ткнула в лицо холодным шершавым носом, грубо толкнула твердым, как камень, плечом. Ыкилак заплакал. Прибежала Талгук. Медведица уходила, уводя детеныша. Талгук пыталась что-то сказать, но только мычание издала — скулы тряслись. Схватила сына, что есть силы помчалась в стойбище. Оставила сына в окружении нартовых собак, тотчас же умчалась обратно. Увидела: дочь, напевая, полными горстями сгребала ягоду. Иньгит так и не узнала о случае в редколесье. Касказик тоже.

Потом было много встреч. И чаще Ыкилак уступал дорогу. Тайга большая, богатая — всем хватит...

Теперь Ыкилак шел в сопки не для того, чтобы уступить. Не еды ради отправился сын Кевонгов в сопки — в амбарах припасов много: хорошо потрудились летом и Касказик, и Наукун, и Ыкилак, и Талгук. Волю ахмалков попытается исполнить Ыкилак. Только пусть бог тайги и охоты Пал-Ызнг будет добр. Только пусть хозяин берлоги пожалеет Кевонга — подождет до его прихода. Берлога теплая, лежи себе, спи...

Кусты хлещут по лицу, цепляются за штаны, рвут потрепанную оленью дошку. Ыкилак устал. Устали и оба ахмалка. Лидяйн, тот и вовсе кое-как плетется. Ыкилак старается обойти кусты и длинные сучья лиственниц. Заденешь за ветвь — и на голову рухнет охапка снега. Снег сползает за шиворот, тает. Одежда сыреет и тяжелеет. А тут еще наполорся на острый сук, проткнул дошку.

Ыкилак сердится и кроет ахмалков — про себя — вслух нельзя: обычай велит почитать всех людей их рода. Лидяйн — так тот самый что ни на есть дурной человек. Если случайно и сделает что-нибудь доброе, ночами потом спать не будет — все от злости. Это он сказал, что надо сделать испытание. Отец хорошо речь держал. Старик Эмрайн глубоко ушел в думы. Тут-то и напортил Лидяйн. Может быть, старейший Авонг собирался отдать свою дочь в род Кевонгов? Может, так и случилось бы. Но Лидяйн вылез:

— Этот негодник жену свою будет рыбьей костью кормить — собаки позавидуют! А если к его то-рафу медведь подойдет? Закроется изнутри и будет сидеть не дыша, пока или медведь не сдохнет, или сам...

Это неслыханно! Неслыханно! Даже Ланьгук, которой обычай запрещает смотреть на братьев, бросила на Лидяйна сердитый взгляд. Лидяйн требовал испытать молодого ымхи. Принято обходиться выкупом. А если и ворчат ахмалки, то лишь потому, что дочь, по их мнению, стоит больше... Но Кевонги привезли хороший выкуп... Эмрайн сказал: «Уйти Ланьгук в другой род — за этим, однако, дело не станет».

Почему старейший Авонг высказался неясно? Надо было прямо сказать: в род Кевонгов.

Эмрайн кивнул головой:

— Позови.

Сказал значительно, таинственно. И кивок головой, плавный и почтительный, был не куда-то в сторону, а в сторону — вверх. И обратился старейший родов не к Лидяйну, а ко второму по старшинству, Хиркуну.

Тот не спеша спустился с нар, накинул на плечи собачью доху, толкнул низкую дверь. Крутые клубы морозного воздуха ворвались, подкатили к очагу и исчезли, как привидения.

Эмрайн, не глядя ни на кого, отставил руку со старым, блескучим от грязи кисетом. Музлук будто сторожила его движение — подскочила, взяла кисет, обнесла гостей. И Касказик, и Ыкилак набили трубки крошеным листовым табаком. Расторопная Музлук выбрала в огне сучок с тлеющим концом, подала гостям.

Ыкилак помрачнел. Прислуживать гостям должна невеста: показать старательность, расторопность, жених ведь приехал! А Ланьгук сидит в углу, совсем безучастная.

«Эти Авонги что-то, однако, затеяли», — теряется в догадках Кевонг.

Пока Хиркун ходил за шаманом, в то-рафе старейшего не произнесли ни слова ни хозяева, ни гости.

Но вот заскрипел снег, дверь бесшумно открылась, в тораф, словно заиндевелые медведи, ворвались клубы морозного воздуха, и словно на них въехал Кутан-прямоспинный, средних лет, в оленьей дохе, без шапки, с длинной косой.

Глаза настороженные, выжидающие. Прошлой ночью он быстро ушел в свой то-раф и теперь, вызванный старшим братом, мучился в догадках.

Эмрайн головой указал ему, куда пройти: на средний понахнг, место почетных гостей. Шаман обошел очаг, сел на лежанку. Хиркун снова примостился около отца.

Эмрайн, ни на кого не глядя, протянул руку с кисетом. Опять подскочила Музлук, передала шаману. Тот не спеша набил трубку, прикурил от уголька.

Псулк занялась столом: нарезала тут же испеченную юколу. А Музлук принесла большой медный чайник с водой, поставила с краю очага, подвинула к нему крупные пышащие жаром угли. Какое бы дело ни ждало вошедшего, его надо сперва накормить — таков обычай.

Шаман ел жадно, как собака, которую долго держали на привязи и без пищи. Видно, этот одинокий человек редко готовил себе, все надеялся, что позовут.

Шаман ел основательно, в сосредоточенном молчании, будто занимался очень важным, ему одному ведомым делом. Выпил чаю четыре большие фарфоровые чашки, купленного еще предками Эмрайна у какого-то маньчжурского торговца. Наконец, круглый, в испарине, отдуваясь, отвалился от стола. Музлук тут же подала кисет. Шаман сытно икнул, нашел на земляном полу ветку, кривым, как у орла, ногтем большого пальца расщепил ее и поковырялся в зубах. Потом прислонился спиной к краю нар, закурил, блаженно жмуря глаза. И только тогда узнал, зачем его собственно пригласили. Эмрайн сказал:

— Тот, кто может говорить с духами, помоги нам. Осенью мой старший сын нашел в глухом распадке теплый, добротно сделанный дом. Однако, не зря хозяин утеплил его. Человек, который общается с духами, что говорят твои духи — залег ли хозяин в свой теплый дом?

Шаман, не знавший, чем обернется для него приглашение старейшего, сразу изменился, облегченно заегозил. Отвечал загадочно:

— О, мудрый и добрый корень почтенного рода! Я знал, что заставило тебя обратиться ко мне, а через меня — к духам. Завтра, как только заря распахнет свои крылья, придут ко мне мои духи. Я узнаю, что ответить тебе.

Шаман медленно поднялся, взял свою шапку, соскреб со стола в подол теплого халата недоеденную юколу и, сопя и кряхтя для важности, направился к выходу. Эмрайн вышел следом — проводил гостя...

...Хиркун негромко сказал:

— Теперь я поведу.

Ыкилак пропустил его вперед.

...Когда охотники исчезли из виду, Ланьгук вытащила новые нарядные мужские торбаза, щекой приникла к прохладному блестящему меху, взглянула на древний орнамент. И тут ей почудилось: орнамент ожил, обрел то ли человеческий лик, то ли звериный. Ланьгук тихо сказала: «Береги его. Сделай, чтобы удача не ушла от него!»...

Высокие облака стерли размашистыми крылами блеклое солнце, и оно едва теплилось в туманных прогалинах низенького зимнего неба. Ровный серый свет не струился — падал. Падал неслышно и медленно, как падают в оттепель хлопья снега. В тайге от этого света сумрачно. Косматые древние

лиственницы стояли смиренные и молчаливые. Природа приучала даже этих великанов к покорности. Тишина необычная, давящая. Ни шороха, ни посвиста мимо летящей птицы. Лишь дыхание свое слышишь да неровный гулкий стук сердца.

Хиркун обошел заснеженный кустарник, остановился. Долго смотрел на вывороченную бурей громадину-лиственницу. Дерево вытянулось вдоль сопки. Могучие корни развортили крутой склон ее, обнажили каменистую россыпь. Толстые длинные корни местами раздвинуты, местами отодраны и лежат в стороне. Кто-то могучий повозился здесь.

Хиркун кивнул головой. Ыкилак и Лидяйн подошли осторожно — след в след. Хиркун ничего не подсказал им: таежник должен сам распознать. По каким-то неуловимым признакам Ыкилак угадал под заснеженным выворотнем провал. И еще заметил на выпростанных из-под снега корневищах куржак.

Хиркун отвел охотников на такое расстояние, чтобы можно было безбоязненно говорить. Дал Ыкилаку и Лидяйну задачу. Ыкилак должен ударом шеста взломать чело у берлоги и энергичным тычком разбудить Его. Когда Он, возмущенный, разъярится и выскочит — одновременно его принимают на копье двое — Ыкилак спереди в грудь, а Лидяйн — справа в бок. Сам Хиркун стоит сзади — на всякий случай. Он вмешается лишь тогда, когда убедится, что без его помощи не обойтись.

Ыкилак нашел стройную гладкую черемуху, неслышно срезал ее ножом, очистил от ветвей. И, держа шест на весу в правой руке, а копье — в левой, осторожно, словно ощупывая каждый свой шаг, направился к берлоге. За ним с копьем в руках следовал Лидяйн.

Чем ближе берлога, тем чаще и громче стук сердца. Вроде и одежда стесняет движения, мешает дышать свободно. Все ближе и ближе берлога. Медленней и короче шаг. Лоб покрылся испариной. Пот стекает на брови, набухает здесь, расползается, наплывает на глаза, заволакивает их и больно щиплет. Не видать ни берлоги, ни деревьев. Ыкилак нагибает голову, чтобы удобнее было достать и, не выпуская копья, смахивает с глаз капли пота. Вроде бы лучше стало.

Вот и чело. Прикрыто снегом. Но снег здесь другой. Крупчатый, ноздреватый. А сквозь снег тихо поднимается кверху пар. Его легко заметить, надо только хорошенько вглядеться. Сейчас Он спит. Он, конечно, знает, что пришли люди. Он хороший и добрый. Он жалеет Ыкилака. Иначе проснулся бы раньше, и люди нашли бы покинутое теплое еще жилище. И ни о какой женитьбе не могло быть и речи. А тут Он спит и позволит Ыкилаку выдержать испытание.

Лидяйн зашел справа. Ыкилак заметил в его глазах какой-то странный блеск. «Боится?» Его и самого трясло.

Он оглянулся, и убедившись, что все наготове, с силой ударил торцом шеста в чело. Надеялся, что шест легко войдет в глиняную стенку, проскочит внутрь. Но шест наткнулся на корневище и больно отдал в руку. Раздумывать некогда. Ыкилак ударил еще раз — уже пониже. Конец шеста почти без задержки проскочил в провал и — это точно ощутил юноша — уперся во что-то мягкое, живое. «Тебе больно. Не сердись. Я не хотел этого. Мне только разбудить тебя. Не сердись», — мысленно умолял Ыкилак хозяина берлоги. Но тут шест будто ожил, дернулся, заходил из стороны в сторону. Словно сама сопка с грохотом взорвалась. От неописуемого громкого рева Ыкилак присел, почувствовал, как волосы потянуло вверх, а ноги... Ноги дрожали и подгибались. Комья глины и снега мелькали перед глазами, а справа что-то метнулось в сторону. Ыкилак не услышал скрип снега, но понял, что Лидяйн бежал. А Он с ревом уже взвился в смертельном прыжке...

...Отец поучал: удобнее всего принимать медведя, когда он встал перед тобой на дыбы. Резкий выпад навстречу с ударом в открытую грудь... А если медведь не встанет на дыбы, а попытается в прыжке достать тебя?...

Медведь редко так нападает. Охотник не всегда успеет направить копье. И тогда... Тогда мужчины всего стойбища преследуют убийцу. Преследуют дни и ночи. Преследуют до тех пор, пока не нагонят его где-нибудь на вершине сопки или в распадке и в гневе великом изрубят на куски, а мясо отдадут мышам на съедение... И еще отец поучал: если взвился медведь в прыжке, держи копье покороче, ближе к лезвию, крепче расставь ноги и встречным ударом насади на копье.

Все было проделано в миг. Смертельная опасность одних обращает в бегство, других заставляет собраться, Ыкилак как-то удачно поднырнул, выставил копье, и медведь напоролся на острие. Упав на одно колено, Ыкилак сильно и резко дернул копье вверх и назад, медведь перелетел через охотника, уткнулся носом в снег. Не успел поднять голову, как Ыкилак, высоко подпрыгнув, оседлал его, схватил за уши, изо всех сил налег, помогая себе коленями, вдавил голову медведя в снег. Тот вдохнул вместо воздуха рассыпчатый снег, отчаянно и глухо закашлялся, но сильные руки юноши, который уже знал, что он победил, цепко держали. Тут подоспел Хиркун, четким движением набросил путы. Медведь крупно, всем телом, задергался, и люди поняли: это душа покинула его.

Хиркун подошел к Ыкилаку, сидевшему на плечах зверя, и, цокая языком, с восхищением смотрел на него.

— Удачлив ты, удачлив! — а сам пытался набить табаком трубку. Руки его непослушно дрожали, и табак сыпался мимо. Наконец, он затянулся, протянул трубку Ыкилаку.

Только сейчас вспомнил о Лидяйне, который растерянно топтался за деревьями.

Лидяйн так и не понял, как все произошло. Он видел: перед ним в трех шагах словно вздыбился склон сопки и выстрелил из себя громадного разъяренного зверя. Маленькие злобные красные глаза, саблевидные желтые клыки, пенистая пасть и рык...

Опомнился Лидяйн лишь тогда, когда взобрался на следующий склон. Как же так? Ведь медведь бросился за ним! Наверно, отстал. Вот как быстро он умеет бегать! Подожду немного. Ему лезть на сопку, а мне сверху удобнее, я и встречу его копьем. Но где же он? Или убежал? А может, Ыкилак убил? Ыкилак-то? Скорее медведь размозжил ему голову. А Хиркун? И его задавил медведь? Или все-таки...

Лидяйн заставил себя вернуться к берлоге.

Хиркун и Ыкилак сидели на валежине, молча курили трубку, передавая ее друг другу. У их ног лежал медведь.

Лидяйн от стыда не знал, куда деваться.

— Иди сюда, — окликнул его Хиркун. «Лучше бы уж ударили. Или обозвали последними словами», — с тоской думал Лидяйн.

Глава XXXIV

Медведя обдирали в три ножа. Лидяйн с молчаливым упорством возился с задней ногой, чтобы усердием хоть как-то загладить свой позор.

Разняли медведя на несколько крупных частей. Лохматую голову украсили нау — священными черемуховыми стружками и вознесли на сооруженный на скорую руку настил. Потом каждый занялся своим делом: Хиркуну, как главному, поручили изготовить крошни — плетеные сумки для переноски груза. Лидяйн, второе по важности лицо, ставил навес из еловых лап — для ночлега. Ыкилак, ымхи, собирал дрова.

Густой сумрак окутал мир, и тайга теперь чернела сплошной плоской стеной с неровным верхним краем. Лишь несколько ближних деревьев выпирали, словно вырезанные из темного русского сукна и приклеенные к черному фону, на котором уже пробились крупные мерцающие звезды.

Перед ужином каждый взял в руки табак, куски юколы и обратился к берлоге, а через нее — к духам, хозяевам этих мест и к Пал-Ызнгу. Благодарим за удачу. Пал-Ызнг очень добр. Это он повелел медведю взвиться кверху, чтобы Ыкилаку сподручнее было достать копьем сердце. Потом у костра с аппетитом уплетали сочную грудину и, отдуваясь, долго пили чай, заправленный чагой. Чага быстро возвращает утомленному силы. Поэтому таежники любят этот отвар березового нароста.

Ыкилак еще до сумерек срубил две сухие лиственницы.

Потом топором растеребил их, чтобы пламени легче было схватить древесину, и рядом с потухающим костром ближе к навесу ожила нодья — долгий таежный огонь. Всю ночь ровно и неторопливо нодья будет давать тепло.

Охотники вытащили головешки, на горячую золу настелили еловый лапник — вот и готова постель. Нагретые ветви обмякли, остро отдавали смолой. Голова Ыкилака налилась тяжестью от густого смолистого воздуха. Хотелось прилечь, но какая же нивхская ночь обойдется без тылгуров — старинных преданий и легенд?

Кто-то из троих должен начать. Ыкилак сказал:

— Люди из рода Авонгов хранят древние тылгуры. Как деревьев в тайге с каждым летом становится больше, так и время дарит Авонгам новые тылгуры... Ваш ымхи подарил бы свой тылгур, но он лишен дара рассказывать.

После такой речи кому-то из ахмалков придется поделиться своим тылгуром.

— Хонь! — попросил Ыкилак.

Наступило молчание. Слышно лишь, как потрескивает нодья. Лидяйн злобствовал: «Волей случая добился удачи и теперь требует, чтобы ласкали его слух».

Хиркун, не отрывавшийся от трубки, отсосал последние струи дыма, выколотил пепел о подошву, вновь заправил и уставился в костер. Потом тряхнул головой, положил руки на колени и без всякого вступления хрипловато начал:

— В большом стойбище, без отца, без родственников, с одной матерью, жил юноша. Он тяжко жил.

Вместе с соседями ездил на рыбалку, за весла сажали. Много рыбы поймают — ему только одну-две рыбки дадут. Соседи много нарежут юколы, так много, что уже негде хранить. А у юноши ни одной юколы...

На сопке глухо прокричал филин. Ночью звуки короткие. И слабое эхо ушло в ночную тишину, как стрела в мох.

Хиркун посасывал трубку, замолкая перед затяжкой, и можно было подумать, что короткого мига ему хватает, чтобы обдумать слова, которых ждут.

— Юноша-сирота пошел вместе с соседями в тайгу. Сами они охотятся, а сироте велят рубить дрова, за костром смотреть, чай кипятить. И кормят, как никудышную собаку: кусок прелой юколы кинут, чая глоток оставят.

Плохо жилось юноше в стойбище, а в тайге пошла совсем не жизнь.

И когда сирота уже не знал, как дальше быть, встретилась ему добрая дочь Тайхнада — бога тайги и охоты. Пожалела она бедного юношу, дала ему две петли-ловушки.

В эти петли попадались самые редкие, неслыханно дорогие звери. Поймал он не много зверей — когда звери очень дорогие, много и не надо.

Поехал юноша в большой город, на торги поехал. Привели

его к самому богатому человеку. Увидел богач шкурки — подпрыгнул до потолка. Сказал: за самую дорогую отдам все, что попросишь. А у богача — красивая дочь. Вот юноша и сказал: «Мы, добытчики, как и вы, торговцы, хорошо знаем цену своим словам. Возьми то, что хочешь, а мне дай в жены свою дочь».

Богач не ожидал такого. Но ничего не поделаешь: отдал. Снарядил богач большое судно, и увез наш юноша красавицу жену домой. Говорят, долго и хорошо они жили, много детей имели...

Ыкилаку по душе пришелся тылгур. Он так желал удачи безымянному сироте. Что-то общее находил между ним и собой. Может, то, что им обоим одинаково трудно вступать на тропу жизни? Юношу из тылгура осчастливил сам бог тайги и охоты. Говорят, редко кому давалось такое счастье. Да и то в старину...

Но и Ыкилак чувствовал себя счастливым. И не бог дал ему удачу — он сам добыл. «Завтра принесу в стойбище медвежью голову и шкуру. После праздника увезу Ланьгук. Не так красиво получается, как в тылгуре, но тоже счастье»...

От смолистого тепла люди разомлели. И вскоре тихо и мирно овладел ими сон.

Глава XXXV

Лидяйн взвалил на себя больше остальных: переднюю ногу и шкуру. Большая у медведя шкура, тяжелая. Лямки от крошни безжалостно давили, натирали плечи. Лидяйн, согнувшись чуть ли не до земли, шел вслед за старшим братом. Хиркун и Ыкилак предлагали взять часть его ноши, но он сердито отмалчивался. Казалось, взвали на него еще полмедведя, — не сбросит. Хиркун знал: упрямый и злой Лидяйн казнил себя за малодушие.

Охотники оставили позади проклятую марь, в кровь сбили себе ноги и, уже не чувствуя ни боли, ни усталости, продолжали идти и идти. Поднимаясь на сопку, они увидели дым. Кто-то поджидал их. Уж, конечно, не Эмрайн. Неужто Касказик? Долго гадать не пришлось. Из-за деревьев навстречу выскочил Наукун. На привязи — огромный пес, чтобы тянул — так легче идти. Наукун выскочил из-за деревьев, уставился на измученных парней, взмахнул руками, как крыльями, повернул назад, крикнул собаке: «Та!»

Он поджидал их с самого утра. Если бы оказались без добычи, возвратился бы с ними вместе. А тут надо сообщить радостную весть и опередить настолько, чтобы в стойбище успели подготовиться к встрече.

На вершине перевала Хиркун сбросил груз, присел отдохнуть — надо дать время Наукуну оповестить.

Когда младший Авонг предложил испытать Ыкилака, а

сына поддержал Эмрайн, Касказик досадовал: «Чего только не придумают люди! Мало им хорошего выкупа, хотят пожрать медвежатины».

Только ушли охотники, Касказик обратился к Эмрайну:

— Нгафкка, ты хорошо знаешь, что Он залег?

— Берлогу обнаружил мой старший сын. Осенью. Потом после снегопада проверил. Приметы говорят, хозяин занял свой дом.

— Ых-ы, — вздохнул Касказик.

Какое-то чувство подсказывало ему: Ыкилак справится. Будь только не пустая берлога. Поэтому и решил Касказик:

— Поеду за Наукуном!

Эмрайн удивленно вскинул седые щетины бровей:

— Может, лучше подождем? А вдруг не так?

Но Касказик упрямо повторил:

— Поеду за старшим своим. Сегодня же.

— Тогда запряги и моих трех псов.

Касказик вернулся на другой день до темноты с женой и старшим сыном. Привез и выкуп. Не выпив чаю, он прихватил топор и отправился выбирать сухое дерево. Срубил его, отрезал бревнышко на два маха, очистил от коры, приволок к то-рафу. Вырезал на толстом конце голову медведя, а другой конец закруглил. И готов тятид-сххар — ударный инструмент. Легонько постучал по дереву топором — звук получился гулкий.

Когда примчится гонец с радостной вестью, тятид-сххар подвесят к двум молодым елкам, воткнутым в снег наклонно. У елок обрублены ветви и только на макушке оставлены в виде султанчиков.

Охотники приближались к стойбищу.

Едва показались они на тропе, загудел тятид. Это женщины в лучших своих зимних халатах встали по обе стороны тятид-сххар и одновременными ударами по бревну выбивали торжественный ритм. Первой от «головы» стояла Талгук, мать рода Кевонгов. Она негромко, как молитву, шептала слова и тут же опускала то одну, то другую, то обе вместе палки. И гулкие, ликующие звуки разлетались по стойбищу.

Уж так принято в нивхских обрядах: женщины знают о большой удаче, но делают вид, что слышат о ней впервые.

О-тец во-рон
на вершину е-ли
сел. Одет он
в нау. Прыг-прыг.
«Кох-кох», — кри-чит,
«Ках-ках», — кри-чит...

Известно, ворон живет много лет. Он много видел и много знает. Долгая жизнь сделала его мудрым. Не зря его почти-

тельно называют: отец. Но вот смотрите, прилетел отец-ворон, сел на вершину ели. Он взволнованно прыгает по веткам. Что его растревожило? Слышите, он кричит: «Кох-кох! Кахках!» Это радостная весть.

Но какая? Да взгляните же на него, взгляните: он одет в нау — священные стружки. Удача! Удача! И кленовые палки радостно и торжественно выбивают:

О-тец во-рон
на вер-ши-ну е-ли...

Касказик принялся строгать нау. Потом с Наукуном он будет рубить молодые елки — их сегодня немало понадобится.

Жители стойбища услышали зов тятида, потянулись к торафу Эмрайна. Те, кто с Авонгами не в родстве, тырнивгун — глазеющие. Они на правах гостей, правда, не почетных. Но их тоже не обойдут во время пира.

...Человек средних лет подошел, сел на кучу дров. На голове — потертый лисий малахай, на ногах — поношенные оленьи торбаза. Одет в рыжую собачью доху. Шаман Кутан. Достал из-за пазухи кисет с трубкой, закурил.

Охотники собрали последние силы, приободрились и чинно, один за другим вошли в стойбище. Сбросили ношу свою на еловый лапник, постеленный прямо на снегу, с трудом разогнули онемевшие спины.

Человек в рыжей собачьей дохе степенно встал. В праздничной суете никто и не заметил, как от крайнего то-рафа отошла упряжка. Кутан помчался в Нгакс-во...

Охотникам не до веселья. Стонет каждая мышца. Пройдет еще немало дней, пока боль утихнет. Ыкилак нашел в себе еще силы отметить: искусно выбивают ритм женщины. Он оглянулся: мать танцевала. Взмахи ее рук плавны. Опускаются разом, словно крылья птицы, преодолевающей ветер.

Тятид-сххар, привязанный к наклонно воткнутым молодым елкам, раскачивается, гудит.

Крайняя в ряду — Ланьгук. Она смущалась, но отбивала ритм старательно, вместе со всеми.

В то-рафе Хиркуна расторопная Музлук уже нарезала испеченную на углях юколу, кипятила чай. Она подала сначала охотникам по чашечке топленого нерпичьего жира — лучшее средство обрести силы. На низком столике Ыкилак увидел несколько ломтей лепешки из серой русской муки: «Нынче торговцы еще не приезжали. Однако, из прошлого запаса».

Женщины отложили на время кленовые палки, занялись делом. Перво-наперво — приготовить пищу богов — мос. Для этого требуется тайменья кожа. И женщины принесли охапки белой душистой юколы тайменя.

Псулк торопливо отдирала кожу от мяса, отмачивала в теплой воде, соскабливала чешую. Обрабатывать тайменью кожу хлопотно. И на помощь женщинам пришли старушки соседки. Целую груду молочно-белой кожи приготовили они. Потом варили ее и толкли в деревянных корытах с искусными орнаментами старых мастеров. Псулк помнит, чьи руки вырезали каждое корыто, хотя многих из этих мастеров уже нет в живых.

Получилось два полных больших корыта студенистой массы. Псулк насыпала сверху мороженой брусники, клубни растения хискир. Залила топленым нерпичьим жиром. Женщины перемешали все это лопатками, заровняли и поставили на холод. Нивхи готовят мос, когда нужно принести дары разным богам — таежным, речным, морским. Мосом потчуют знатных гостей, людей рода ымхи.

Было уже темно, и старики решили отложить торжество на завтра. В то-рафе Эмрайна собрались гости, чтобы послушать сказителей. Хиркун остался у себя, а Лидяйн увел Ыкилака в свой, малый то-раф, где он жил один. В то время, когда у Эмрайна, затаив дыхание, люди следили за необыкновенными походами безымянного героя через восемь небес на девятое и через семь морей на восьмое, стены то-рафа младшего Авонга сотрясались от могучего храпа.

Глава XXXVI

Тимоша был убежден: узкоглазые народы — одинаково не годны ни к чему. Что гиляк, что якут — один черт. И даже в ум не брал, что Чочуна может стать деловым человеком: побалуется, порастрясет дурь и рванет домой, в какую-то свою Якутию.

За осень и зиму быстроногие олени пронесли якута по всей тайге. Чочуна умело пользовался доверчивостью и добродушием нивхов и ороков, их обостренным чувством благодарности. Узнав о бедственном положении в том или другом стойбище, посылал Ньолгуна раздать муку или крупу, нерпичий жир или оленье мясо. Якут прослыл щедрым и добрым. Благодарные нивхи потом сторицей воздавали ему соболями и лисами. Чочуна скупал понемногу и оленей и к середине зимы владел стадом, достаточным, чтобы снарядить караван в Николаевск на ярмарку.

Тимоша, привыкший к тому, чтобы шли к нему со всех стойбищ, сам не бывал в тайге и не знал, что там творится. Чочуна же редко объявлялся в Нгакс-во, ловко держал купца в благодушном неведении.

Только зимой, когда якут возвратился с ярмарки, Тимоша распознал, кого он привез в свои владения!

А Чочуна с самого начала понимал: рано или поздно кому-то из них нужно убираться отсюда. Тимоша легко не усту-

пит. Чочуна даже обрадовался, когда тот спалил дом Ньолгуна — настроил против себя все стойбище. К тому же на Тимошу написана жалоба. Упрям и справедлив этот топограф — дойдет до губернатора. Но начальство что-то молчит. Правда, ему сейчас не до Тимоши и не до гиляков — идет война с германцем. А тут поговаривают и насчет японца — того гляди, полезет.

Чочуна выбрал время поговорить с Ньолгуном. Тот уже несколько дней пребывал в мрачном настроении: узнал, что Авонги еще не отказали Кевонгам.

— Ланьгук ты возьмешь, — ласково, как ребенка, утешал Чочуна.

— Как же возьму, раз сосватана?

— Не беспокойся, будет твоей женой, — уверял его Чочуна. — Я помогу. Весной, после охоты, и сыграем свадьбу.

Ньолгун верил в Чочуну, как в бога. Еще не было случая, чтобы якут не сдержал слова. И сейчас Ньолгун счел неловким расспрашивать, как удастся им заполучить Ланьгук. Но раз Чочуна сказал... Хотя у нивхов и не нарушают священный обряд...

— Поедем к Тимоше, — неожиданно предложил Чочуна.

— Поезжай. Ты же, считай, его зять, — угрюмо отозвался Ньолгун.

— Вместе поедем.

— Он сжег мой дом, а я чай пить к нему? Нет!

— Ты же друг мне. А я ему, как говоришь, зять.

— Мне легче пальнуть в твоего тестя!

— Тс-с-с-с! — Чочуна оглянулся. Никто их не слышал. — Это ты успеешь, — не отступал Чочуна. — Но пока надо мириться. Надо!

Только теперь сообразил Ньолгун, что Чочуна вовлек его в новую игру.

...В просторной избе ярко горели восковые свечи. За столом шумно. Тимоша и Чочуна рядом, с краю — розовощекая Дуня, жена Тимоши. С другой стороны — Ольга. Ньолгун в углу строгал себе мороженую навагу. Тимоша, который чувствовал себя обойденным, досадливо крутил головой, приговаривал: «Значит, осенью в тайге встречались, ягодку собирали? Вот и отпускай одних баб за ягодкой».

Ольга ни разу не обмолвилась сноxе хоть словечком о тайных своих встречах с Чочуной. Дуня вспомнила, как в солнечные осенние дни, никого не предупредив, Ольга уходила в лес. Возвращалась она обычно без ягод, говорила, что заблудилась, еле отыскала тропу домой. И никто бы не узнал о встречах, если бы Чочуна сегодня после третьего глотка вдруг не сказал хвастливо: «Ольга, ягода-то вкусная, пошли собирать!»

Тимоша все еще выражал свое недовольство, когда отворилась дверь и на пороге возник Кутан.

— Ольга, вот тебе ишшо жанишок!

Ольга хихикнула, передернула крутыми плечами — крупные груди заходили под пестрой кофтой. Чочуна набычился, поднял глаза на вошедшего и не здороваясь сказал:

— Сюда садись, жених.

Кутан присел с краю стола. Тимоша разлил водку.

— Ну, бывай! — и все дружно подняли стаканы.

— Чего строгаешь навагу? Давай сига! — потребовал Чочуна.

Ньолгун выскочил в сени, принес несколько крупных серебристых сигов. Быстро, играючи настрогал. К строганине со всех сторон потянулись руки.

Люди Нгакс-во были удивлены, когда узнали, что Тимоша и Ньолгун, похоже, в мире. Гадали, каким образом Пупок смог откупиться. Или Чочуна уговорил забыть прошлое?

— Под строганинку! — снова предложил Тимоша, всем видом своим показывая, что настроен миролюбиво: он неуклюже подмигивал, игриво подталкивал Чочуну локтем.

Пока Тимоша разливал водку, Чочуна отобрал у Ньолгуна второго сига и стал сам строгать. Грубые, неуклюжие стружки церемонно положил на стол перед Ольгой. Та засмущалась — нежные маленькие уши стали как рябина, тихо, одними губами выронила: «спасибо». Большие глаза потупились, длинные темные ресницы запрыгали быстро-быстро. Хороша, чертова девка!

— Шо раззявил рот? — Тимоша хлопнул по широкой спине Чочуны. — Моя сестра — шо яблоко. Жанихайся. А то отдам первому, кто попросит.

— Заберу. В тайгу заберу. Царица будет тайги! — серьезно ответил ему Чочуна, а глаза жадно ловят просвет в пестрой кофточке.

— Забирай. Жалко, што ли? — добродушно соглашался Тимоша. — Давай ишшо под строганинку.

Со стола быстро исчезали изогнутые спиралью стружки. Ньолгун только успевал строгать.

Дуня ушла на кухню и через минуту появилась с миской, наполненной мясом. Поставила на середину стола, подцепила ножом грудинку, положила перед Чочуной, приговаривая:

— Кушайте, кушайте на здоровье.

Кутан взял ребрышко. Широкое и плоское, не как у оленя. Да и запах какой-то травяной. Пожевал. Мясо не сочное, волокнистое.

— Шо, друг, не то, да? — спросил Тимоша.

— Ничо!

Мясо действительно было «ничо». Можно есть. И шаман потянулся за вторым ребрышком. Он видел: Ньолгун с удовольствием поглощает кусок за куском.

— Говядина, оно, конешно, не оленина, — Тимоша поглядывал на Чочуну. И без всякого перехода: — А ишшо друг

называется. Обижаешь меня. Ездишь, ездишь, и все мимо, мимо. Сам жрешь оленину, вон скоро лопнешь, а меня обижаешь.

— Ты богатый. У тебя все есть.

— Какой я богатый? Оленька, скажи, какой я богатый? — обратился Тимоша к младшей сестре. Потом вздохнул: — Последнюю коровку нонче зарезал.

Чочуна оторвался от кости, которую тщательно обгладывал:

— Врешь все.

— Не верит!

— Не верю! — твердо сказал Чочуна.

— Оленька, сестрица моя, — взмолился Тимоша.

Захмелевшая Ольга прыснула.

— Кушайте, кушайте на здоровье, — суетилась хозяйка — сама доброта и щедрость.

Тимоша обнимает Чочуну, слюняво целует в губы. «Русские, как бабы, — в губы целуются», — заметил про себя Кутан. Шаман был удивлен, что никто из присутствующих — ни хозяин, ни гости не поинтересовались, зачем пожаловал к ним человек.

— Вот ты богат, — говорит Тимоша.

— Я? Всего сто олешков.

— Это што — мало?

— Будет тыща! — хвалится пьяный Чочуна.

— Будет! — убежденно подхватил Тимоша. — Сколько соболей успел набить?

— Сколько набил — все твои. — И Чочуна показал на тугой мешок. Тимоша только диву дается.

Не дав никому и рта открыть, Тимоша запел протяжно, неожиданно приятным голосом:

Про-о-ощай, Одес-та,
славный каранти-и-и-н.
Меня посыла-а-а-ют
на остров Сахали-и-и-н.

Бабы подхватили. Было видно: в этом доме любят и умеют петь. Чочуна слушал, и ему было хорошо. Не от слов этой странной песни хорошо — от слаженности и красоты голосов и еще от неожиданной душевности, которую вдруг выжало из себя зачерствелое сердце. И расплакался Чочуна, тогда Тимоша жалостливо загянул:

Каков был соло-о-овьюшек
сильный, храбрый богатырь.

Сквозь слезы, как сквозь туман, сперва неясно, расплывчато, но с каждым мигом ясней и ясней — Софья Андреевна. И странно, в груди у Чочуны не было того волнующего биения, какое он испытывал при встрече с живой, неумолимо

манящей, но загадочной и далекой Софьей Андреевной. Лишь слабое, подзабытое, едва уловимое волнение. Даже не волнение, а скорее воспоминание о чем-то приятном, но далеком, которое сегодня уже не может взволновать — так давно оно было...

Я теперь, соло-о-овьюшек,
в остроге сижу-у-у...

Тимоша весь отдался песне, сам печалясь и вызывая у присутствующих ответную печаль. И Чочуна в эти минуты жил совсем в другом мире. Он словно спорил со своей непутевой, глупой, как он считал сейчас, юностью. Презирал ее. И видел себя могущественным, богатым. Верил, что в течение этой зимы все таежные нивхи и ороки станут его людьми. У Тимоши, конечно, на уме свое: он хочет заполучить и зятя и дарового работника — сборщика таежной пушнины... Пусть надеется. Сейчас главное — усыпить внимание лавочника: он еще силен. Летом же... Зимой — оленьи караваны, летом — белоснежная шхуна! Ха-ха-ха!.. И громкое эхо: а-а-а-а-а! Сопки и солнце, реки и тучи, олени и люди, медведи и собаки — все завертелось, закружилось. Ха-ха-ха!.. А-а-ааа! А-а-ааа!

Да что там Батя! Сам Бутин поднимется из гроба, чтобы снять шапку перед Чочуной!

Ха-ха-ха... ха-а-а! А-а-ааа!

И опять сквозь туман Софья Андреевна. Глаза большие. Ресницы длинные, жесткие. Прикоснись к ним — вонзятся в тебя, застрянут в душе, как заноза...

Чочуна вдруг обнял полные ноги Ольги и торопливо, словно боясь потерять, с жаром сказал:

— Вот она, вот она моя Софья Андреевна. — Последние слова тихо, на выдохе.

Все переглянулись: ну, конечно же, пьян человек.

— Да какая тебе Софья Андреевна! Это же Ольга! Ольга! — смеется Дуня.

Поздно ночью два человека обнявшись вывалились из дома Тимоши и, тревожа ездовых собак, прошли к соседней избе. Это Ольга увела к себе Чочуну...

Лишь близко к утру люди Нгакс-во узнали, зачем пожаловал к ним шаман.

В окне еще было совсем темно, когда мощные удары в дверь разбудили Ольгу. Чочуна продолжал храпеть, Ольга, испугавшись не на шутку, растолкала якута. Тот спросонья никак не мог сообразить, чего от него хотят.

Снаружи раздавался тревожный голос Ньолгуна:

— Эй вставай! Быстрей, быстрей вставай!

Ньолгун основательно подготовился к поездке в А-во. В Николаевске купил шелка, сукна, серебряные серьги, браслеты и еще много другого добра — Чочуна поделился вы-

рученными от торговли деньгами. Хорошо подготовился Ньолгун и собирался появиться в А-во сразу после Николаевска, но Чочуна задержал на промысле. И теперь, получив весть, Ньолгун в какой-то миг собрался в путь.

Не успело еще солнце подняться над сопками, как шесть оленьих упряжек уже стояли у крыльца. К каждой нарте на поводке привязано еще по два оленя.

— Сукин сын, бежишь! Переспал с девкой и бежишь! — закричал Тимоша не по-мужски визгливо.

— Как же так? Как же так, не обвенчавшись-то! — причитала Дуня.

— Надо ехать. Человеку надо помочь. Через день вернусь. У нас все решено, — Чочуна был спокоен и тверд.

— Не дам! Не дам Ольгу! — вопил Тимоша.

Чочуна кивнул. Ньолгун отвязал оленя, трехгодовалого жирного самца, подвел к крыльцу. Вынул из чехла узкий охотничий нож.

А Дуня продолжала причитать:

— Нехристь! Как же так — не обвенчавшись-то!

— Замолчи, дура! — прикрикнул Тимоша. — А мы как появились на божий свет? Смотритель — вот кто был батюшкой. Кинул каторжнику бабу в постель, как собаке кость, — вот мы и появились. А то — «не обвенчавшись», — передразнил он жену.

Чочуна подошел осторожно, без резких движений — полувольный олень пуглив. За уздечку держал Ньолгун. Мягко прикоснулся к шее, погладил по вздрагивающей голове, нашел округлую ямку у основания головы, приставил к ней блескучий тонкий нож. Придерживая левой рукой, приподнял правую и резко, ладонью, нажал на торец рукоятки. Олень упал, забил тонкими ногами.

— Молодец! Это работа! — Тимоша был в восторге.

Оленя быстро разняли. Тимоша тут же отрезал лакомые куски парного мяса — грудину, язык, сердце, передал жене. А сам вынес бутыль и, наполнив большую кружку, пустил по кругу. Каждый глотал, сколько мог, и закусывал горячей печенкой. Подошел черед Ольги. Она только пригубила. Но с удовольствием отведала нежной, сочной печенки.

Отправив гостей, Тимоша, мурлыча ему одному ведомую песню, взвалил на плечо оленя и, сгибаясь под тяжестью, направился к большому сараю.

У него был четкий план. Чочуна — бродяга, без дома. Не будет же Ольга таскаться с ним по сопкам. Будет жить в Нгакс-во, в доме Тимоши! Он обрежет якуту крылья, сделает ручным. Лучшего приказчика и не найти. Пусть мотается по тайге, собирает пушнину...

У разбитой острыми копытами топанины застыла притихшая Ольга. Она смотрела вслед уходящим наездникам и не видела их...

Глава XXXVII

...Летала птичка необычная: темная, с синеватым отливом крыльев. Летала плавно, как бабочка. Огибала кусты, налитые солнцем, изливающие нежную прозелень. Подлетала к смоляным стволам, повисала в воздухе, неслышно взмахивала округлыми крылышками, наискось падала в терпкую траву, но тут же вспархивала и вновь повисала, словно раздумывая, куда лететь.

...Бежал босоногий мальчишка. Бежал за необычной птичкой. Тянул мальчишка руки, ловил необычную птичку. Но птичка уходила из рук, как струя воздуха.

Бежал мальчишка за птичкой, бежал, бежал. Ловил. А та вилась у глаз, у губ. Никак не поймать. Потом она запела. Голосом Ланьгук запела:

Это птенчик, это птенчик
крыльями затрепетал.

Мальчишка коснулся руками. Но птичка опять бестелесно выпорхнула. И опять поплыла, как бабочка. Над кустами, напоенными солнцем. Между огненными стволами лиственниц. И опять доносится песня Ланьгук:

Упадет на землю птенчик,
крылья сложит и неслышно
затаится между кочек.
Будет ждать покорно птенчик,
как над ним сомкнутся когти
и от крыльев, и от крыльев...

Не надо, птичка, так не пой. Зачем тебе эта песня?

Летает птичка. Молчит птичка. Больше не поет она песню Ланьгук. Но мальчишка останавливается лишь на миг и снова бежит за птичкой.

Все тело налито болью. Сбросить бы ее, освободиться. Ыкилак медленно просыпается. Медленно просыпается. Просыпается, слышит боль во всем теле. Откуда она и почему?

Потом голоса, негромкие, приглушенные. То и дело доносится лай собак. Где он? А птичка? А мальчишка, который бежал за птичкой? Почему так холодно? Ведь были солнце, трава... Холодно. Ыкилак наконец понимает: не было никакой птички! Не было солнца и трав, и мальчишки не было!

Он с трудом садится. Оглядывается. Лидяйна нет. Ыкилака охватывает стыд. Ему, зятю, надобно показать усердие, чтобы люди видели: Ыкилак настоящий мужчина, уж он-то не будет ходить по стойбищу и занимать в долг дрова, чтобы его жена и дети не окоченели, не будут его дети ходить по соседям, смотреть на сытых людей глазами голодных воронят.

Авонги, конечно, ушли туда, где народ, где их ждут дела. Не разбудили его. Зачем же? Пожалели? Но ведь он устал не больше их.

А потом — что за сон приснился?

Долго гадать некогда — надо быстрей к людям. Накинул доху, выскочил из то-рафа. Его встретили солнце и белый-белый снег. Но снег вдруг стал черным. Ыкилак долго жмурится, ждет, когда глаза привыкнут к слепящему свету. Люди сновали по стойбищу, каждый занятый своим делом. Одни несли из лесу охапки черемухи. Другие утаптывали снег — готовили место для игрищ. Третьи тащили сухие бревна к то-рафу старейшего. У тропы, ведущей к месту для игрищ, сидят отец и Наукун. Они собрали священные черемуховые стружки в венчики с длинным извивающимся языком. Стволы елок освободили от коры, и они отдавали белизной, будто это не древесина, а обнаженное белое тело. Потом елки превратятся в стражей-посланников, будут сопровождать душу медведя к Курнгу — всевышнему, передадут ему просьбы людей.

А просьб у них много: чтобы зима принесла удачную охоту, чтобы в роду никто не болел и не умер, чтобы в стойбище раздавалось больше детских голосов... Самую высокую ель приставили к то-рафу старейшего. Вознесенная к небу вершина дерева и шелестящие языки нау с окрашенными брусничным соком кончиками оповестили мир: торжества начались! Люди древнего рода Авонгов приглашают всех, кого застал сегодняшний день в пути, всех, кто пришел в стойбище гостем, всех, кто вызвался помочь Авонгам в хлопотах, — всех, всех, всех!

Женщины в ярких нарядных халатах чинно стоят с палками в руках. Нос у деревянного медведя полит брусничным соком — так задобрили его душу.

Место игрищ утоптано, отделено четырьмя елками. На устремленных к небу ветвях гремят священные стружки. А женщины возле тятида. И снова первая — мать Ыкилака. И снова с самого края стоит Ланьгук. Она неуверенно поднимает палки и не всегда удачно вступает в игру. Что с нею? И почему отец мрачен? Да и Наукун отводит глаза в сторону.

Подвешенное на ремнях бревно раскачивается, как лодка на волнах. Густой гул перебивается четкой дробью и нарастает, как гром у скалистого берега во время шторма. И... глядите, глядите! Кто это белой рыбой выплывает из толпы? Да это же Музлук. Хорошо одеты женщины рода Авонгов: белый халат из выделанной кожи тайменя с ярким орнаментом. Древний рисунок его радует глаз цветом ясного голубого неба и алой зари, полыхающей над сопками. Красивы женщины рода Авонгов. Стройная, с гибким станом, с горящими щеками и кроткими глазами, Музлук привлекает к себе все взгляды. Толстые длинные косы двумя ручьями стекают с маленькой аккуратной головы и падают на спину, как в раннее весеннее полнолуние ложатся черные тени берез

на серебристый снег. Ноги в расшитых узором нерпичьих торбазах неслышно переступают, будто уносят ее вслед убегающим вдаль волнам.

Талгук незаметно отставила палки, постояла, словно раздумывая, и решилась! Скользящими шажками очутилась рядом с танцующей Музлук. Как она танцует! Не было в ней гибкости, которой отличалась женщина рода Авонгов. Вскинутые полусогнутые руки, в меру порывистые движения придавали танцу Талгук строгость и сдержанность. Каждому движению корпуса вторила сложная игра рук.

Наукун и Ыкилак привыкли видеть свою мать всегда за работой: очаг и домашние заботы не отпускали от зари до зари. Глаза всегда привязаны к чему-нибудь, неба не видят над собой. А тут...

Касказик на какое-то время забылся, глядя на жену. Струя дыма над обугленным чревом трубки вот-вот оборвется. Он спохватился, спешно зачмокал, втягивая воздух, в котором поначалу едва улавливался запах и вкус табака. А жена все танцевала и танцевала. Даже музыканты зачарованно смотрели на женщину рода Кевонгов. Касказик ударом о подошву выбил пепел, сдвинул лисью шапку набок, ожесточенно почесал голову и сказал только:

— Хе...

Глава XXXVIII

Появление Ыкилака вернуло отца к реальности. Он взглянул на сына растерянно.

— Сейчас я тоже... — поспешно начал Ыкилак, но Касказик прервал:

— Сперва зайди в родовой то-раф.

Отец сердитый: брови хмуро сведены, губы в ниточку, побелели по краям. Ыкилак непонимающе застыл в полушаге. Касказик повелительно мотнул головой. Недоумевая, Ыкилак прошел к крайнему то-рафу и увидел шесть оленьих упряжек — по два крупных ездовых на нарту. Сзади привязаны еще по два оленя. Нарты длинные, с плетеными спинками. Уже разгружены. Судя по нартам и красивым лахтачьим хомутам, нетрудно определить — знатные люди прибыли. Зачем пожаловали? Наверно, услышали о празднике медведя. Быстро же разбежался слух по тайге.

У входа в то-раф Ыкилак стал сбивать снег с торбазов, прокашлялся — пусть знают, что к ним идут, потянул витой ремень. Дверь неслышно отошла. Пригнулся — иначе головой заденешь поперечную жердину. В нос ударил запах вареного мяса. Ыкилак только теперь почувствовал голод. Он проспал утреннюю еду. Теперь, однако, уже перевалило время полуденной трапезы.

Хозяева и гости восседали за столиком, смачно чавкали

и нарочито громко разговаривали. Увидев вошедшего, они замолчали. Но Ыкилак заметил: Хиркун недостаточно быстро, как полагалось хозяину, приветствовал его. Вроде бы даже смутился...

За столом еще двое. Одежда из материи. Только на ногах оленьи торбаза да дохи брошены на лежанку, из оленьего и собачьего меха. Что за люди?

Гости разглядывали вошедшего и молча двигали челюстями. Хиркун, наконец, привстал и неуверенно, на полусогнутых ногах подошел к нему. Ыкилак подумал: «У меня тоже все болит, едва шевелюсь».

С трудом, словно язык одеревенел, Хиркун сказал:

— Пей чай с нами.

Значит, гости и хозяин уже приложились к арак[1] — к воде с таинственной силой. Ыкилаку и раньше приходилось пробовать эту жидкость. Обычно он макал палец и облизывал. Не потому, что не нравился ему арак. В Ке- во редко его видели.

— Кто это? — спросил молодой человек с круглым красивым лицом и быстрыми глазами.

— Это младший Кевонг, — ответил Хиркун.

— Хы! — вскинулся человек.

Сидящие почему-то замялись. Но другой гость уважительно сказал:

— Храбрый юноша! Я ем твою добычу. Ты удачлив, и эта добыча обещает тебе удачу на многие годы.

«Кто он — шаман, что ли? Если шаман, почему у него вид обыкновенного человека? Да и косы нет. Если не шаман, то как он узнал обо мне на многие годы вперед?» — мучается в догадках Ыкилак.

А тот продолжал:

— Я ем твою добычу. Мои друзья едят твою добычу. Слушай меня, человек рода Кевонгов. Ты храбр и удачлив. Нивхи всегда почитали таких людей. И мы приносим тебе наше почтение. Прими его вместе с этой веселящей водой, — и протянул фарфоровую чашку, наполненную прозрачной бесцветной жидкостью. Ыкилак взял чашку. Он никогда не пил столько арак. Говорят, когда ее выпьешь, в тебя вселяются неземные силы и ты говоришь с самими духами.

Ыкилак пил медленно, надеясь уловить тот момент, когда арак начнет действовать. Пил и ощущал невыносимую горечь и жжение. Но даже не поморщился, не подал виду. Только задохнулся было, но, задержав дыхание, усилием подавил неловкость в горле и при этом даже не оторвал чашку от губ. Где он видел этого человека?

Гость разлил водку, осмотрелся вокруг, словно боясь обойти кого-нибудь. Взял фарфоровую бело-голубую чашечку, ко-

[1] Слово «арак», которым нивхи называют водку (вино), произошло от тюрко-монгольского «арака».

торая в его большой руке вдруг стала крохотной, подчеркнуто почтительно подал Музлук, возившейся у очага.

В глазах Ыкилака заплясали языки пламени. Потом вспыхнул огонь. И дом, рубленный по-русски, выстрелил мириадами искр и рухнул, испепеленный. Ньолгун... Ньолгун... «Откуда и зачем? К нам в Ке-во редко когда кто приедет. А здесь только явились мы — глядь и другие тут как тут, — тоскливо билось в отяжелевшей голове. — А-во ближе к людям, здесь чаще бывают гости», — как-то безысходно-примирительно додумывал свою несложную думу захмелевший Ыкилак.

Касказик нервничал. Он настругал стружек достаточно. А родовой то-раф молчит — что дальше? Женщины давно справились со своими делами и теперь отдыхали от тятида и танцев. И те, кто пришел на торжество ради любопытства и с надеждой, что с обильного стола и им кое-что перепадет, стали расходиться. Что-то уж очень долго тянут они там в то-рафе. Люди прибыли, конечно, почтенные — вон какие ладные упряжки, да и нарты нагружены. Видно, богатый товар. Но ведь главное — медвежьи торжества. А тут весь род закрылся в то-рафе. Авонги словно ума лишились. Нет, гости эти, конечно, явились неспроста.

Вот уже и сумерки пали на стойбище.

Касказик оперся руками о снег — пальцы обожгло, они мигом взмокли. «Горячие — хорошо поработали», — как-то со стороны подумал о своих руках старейший Кевонг и выпрямил спину. Поясница глухо застонала. Касказик медленно, нерешительно направился к родовому то-рафу. Не хотелось лезть на глаза богатым, да и встревать в чужие дела не принято. Когда он увидел, как обрадовались Авонги оленьим упряжкам, у него в груди будто что-то оборвалось: этих людей здесь ждали!

Касказик покашлял перед дверью, какое-то время подержал в руке залосненный узелок дверного ремня и тихонько потянул на себя. В лицо ударили острые запахи съестного, пьяный гам.

Его не сразу заметили. Увлеченные застольной беседой, хозяева и гости словно соревновались между собой, у кого горло покрепче и слов побольше. Ыкилак сидел с краю, забытый остальными. Голова упала на грудь. «Напоили», — огорчился Касказик. И тут его заметили. Музлук спохватилась:

— Проходите, — сказала она мягко.

Эмрайн, до этой минуты энергично жестикулировавший, замолк, взглянул исподлобья.

В животе нещадно сосало: старейший Кевонг с утра не положил в рот ни крохи. Голова закружилась быстро — с одной маленькой чашечки. И Касказик теперь налегал на еду:

сперва на строганину из поздней тощей кеты, а потом на вареную оленину.

Наскоро утолив голод, он повернулся к сыну, громко, со злостью сказал:

— Много дел! А он сидит здесь, арак пьет. Не время!

Хозяева круто обернулись. Всем сидящим в то-рафе ясно: старейший ругал не сына, а хозяев. Ругал за непочтение к великой удаче его сына. И то, что он повысил голос, восприняли как вызов.

«Горд этот старик!» — Ньолгун почтительно оглядел седую аккуратно заплетенную голову, морщинистое сухое лицо.

Чочуна рассматривал Касказика с любопытством. Он, конечно, не запомнил его: прошлогодняя встреча в Нгакс-во была короткой, да и нивхи тогда казались ему все на одно лицо. Касказик же, едва глаза привыкли к полумраку, с удивлением узнал якута. Ньолгуна Касказик припомнил сразу. И раньше случалось такое: на медвежьих торжествах откуда-то брались и китайцы, и якуты, и русские — удивляться нечему. Но ведь Ньолгун не просто приехал поглазеть. И Авонгов поит так обильно не зря. Что дальше будет?

— Много дела, а ты сидишь! — уже мягче повторил Касказик.

Вокруг наступила тишина. И жевать перестали. Лишь Музлук, согнувшись у очага, пыталась что-то делать.

— Нгафкка, что произошло? — это старейший Кевонг обращался к старейшему Авонгу.

Еще какой-то миг длилась тишина. Эмрайн сидел на черной собачьей шкуре, тяжело уронив голову на грудь, и медленно раскачивался вперед-назад. И люди даже не удивились, когда услышали глухое, горестное пение:

Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Курнг всемогущий меня не жалеет —
долгою жизнью меня наказал.
Сколько распадков, хребтов исходил я —
нет, не погиб же...
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Духи недобрые, где же вы ходите:
топкие мари, болота, озера —
где только ноги меня не носили!
Нет бы подохнуть...
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Лучше бы небо сразило стрелою,
лучше бы воды меня поглотили,
лучше бы звери меня разорвали,
лучше бы черви меня обглодали.
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Честный и добрый Кевонгов старейший,
совести жалкой мучитель моей.
Руки крепки твои, гнев непреклонен —
бей, позабыв, что тебе я ахмалк!

Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Э-э-э, э-э-э, э-э, хы-хы-ы!
Бей, ненавидя меня, как собаку.
Бей, как воришку, до смерти презрев:
я потерял человека обличье.
Бей меня, бей! Если можешь — убей!

И вдруг — гром, крик, звон, вой:

Кланг-кланг! Бум-бум! Кланг-кланг!

Кланг-кланг! Бум-бум! Кланг-кланг!

В уши остро ударил звон полых металлических побрякушек — рогов. Беспрерывный угнетающий звяк-бряк перекрывался оглушительным ревом бубна. «Когда только он успел надеть свое снаряжение?» — подумал Ыкилак, раздражаясь и наливаясь злостью.

Кутан, до последнего мига сидевший незаметно в углу, словно взорвался. С грохотом прыгнул на середину то-рафа и, черный и страшный на фоне пылающего очага, извивался и подпрыгивал в дьявольском танце.

Кланг-кланг! —изогнулся, как червь.

Кланг-кланг! — прогнулся, как лук.

Бум-бум! — бубен вознесся над косматой головой!

Кланг-бум! Кланг-бум! Кланг-бум! — Кутан подпрыгивал и бил в бубен.

— Ха-а-а-й! Ха-а-а-й — орал он, будто испугался чего-то страшного. — Ха-а-ай! Ха-а-ай!

Бум-бум-бум-бум! Бум-бум-бум-бум-бум!

Кланг-кланг-бум! Кланг-кланг-бум!

Злые духи всегда могут проникнуть в то-раф. Незаметные, невидимые, они прячутся в темных углах и ждут только случая.

Шаман прогонял их из то-рафа, чтобы не мешали связаться с духами предков — те должны посоветовать, как дальше быть.

Бум-бум! Бум-бум! Кланг!

Колокола, звякнув, замолчали. Шаман пристально посмотрел поверх головы Ыкилака, прыгнул в сторону двери, закричал:

— Фыйть! Фыйть!

Загрохотал бубном, зазвякал колоколами-побрякушками. Метнулся к очагу, победно замахал руками и тихо, равномерно стал бить по бубну мягкой, обернутой в тряпку колотушкой. Кутан очистил то-раф от духов — теперь не причинят ему зла.

Притихшая в углу Музлук облегченно вздохнула — в то-рафе теперь нет злых духов, и Кутан будет говорить с духами предков, хранителями правильных мыслей и всего доброго!

«Куда сейчас повернет? — Касказик напряженно ждал. — Пусть шаману будет хорошо. Пусть встретится со всеми, кто

нам желает добра. Пусть никто не помешает шаману в его пути».

А Кутан уже поднимался над всем живущим. Гром и грохот сопровождали его победное вознесение. А потом только судорожные подергивания, обессиленно-вялые взмахи рук, частое с посвистом дыхание говорили людям о том, каких трудов стоит это ему. Ыкилак подался плечом вперед. Юноше хотелось помочь шаману в его многотрудном пути. Но тот словно обмер, вытянулся в жердину, каким-то бессмысленным взглядом уставился в угол.

— Что это? — побрякушки звякнули тревожно.

— Кто это? — бубен забил тревогу.

— Кто ты? Кто ты? — заорал Кутан и стал прыжками, словно медведь, нападать на невидимого противника.

Кланг-кланг! Бум!

Кланг-кланг! Бум!

Музлук встревожилась: кто встретился на пути шамана?

Кевонги встревожились: кого еще принесло? Все шло хорошо, а тут ненужная встреча.

«Шаману встретился шаман», — решил всезнающий Касказик. Теперь не миновать битвы шаманов. И действительно, Кутан прокричал:

— Талгин! Талгин! Чирнг... Тыг'о[1].

Кутан прыгал, кривоного приседая и колотя в бубен. Шаман дерзко нападал, а Ыкилак напряг память, чтобы вспомнить, кто был человек, носивший имя Талгин. Юноша не раз слышал это имя. И произносили его обычно со смехом, издеваясь. Да это же их шаман, родовой шаман Кевонгов, ушедший в Млы-во, когда Ыкилак едва стал помнить себя! Талгин прославился тем, что его предсказания редко сбывались. Когда он умер, в стойбищах еще некоторое время рассказывали-пересказывали один случай: Талгин, молодой, начинающий шаман, поссорился с добычливым охотником. Обиженный в ссоре, Талгин решил самым жестоким образом отомстить за себя. Лето и осень ждал, когда охотник уйдет в тайгу. И, дождавшись, начинающий шаман всю ночь камлал, довел себя до изнеможения, даже упал без сознания — так ему хотелось наказать высокомерного, как он считал, человека, сделать так, чтобы под ногами у того провалился лед, а ловушки его оказались пустыми. О таком страшном камлании и узнали жители стойбища и начали было побаиваться недоброго шамана и с тревогой в сердце ждать вестей из тайги. Но в один из солнечных дней в конце охотничьего сезона люди с изумлением увидели — охотник, правда, усталый очень, но невредимый и с туго набитой котомкой за плечами, вышел из тайги. Он не понял тревожных, вопрошающих взглядов своих сороди-

[1] Самое сильное нивхское оскорбление, после которого любой хоть мало-мальски уважающий себя человек должен принять вызов.

чей. «Ты не провалился под лед?» — спросили его односельчане. «Нет», — ответил охотник. «И соболей наловил?» — «Наловил», — ответил охотник. «И даже не болел?» — опять его спросили. «Нет, не болел», — ответил охотник, недоуменно оглядывая односельчан, так странно принявших его возвращение.

С той поры среди нивхов мало кто верил Талгину, и только очень бедные приглашали его покамлать — за пару-три кетовых юколины.

Бум-бум-бум-бум!

Бум-бум-бум-бум!

Кутан вытянул шею, наклонил голову, прислушался. Но, видно, Талгин не согласен с Кутаном: загрохотал бубен, и колокола ожесточенно зазвякали — даже в зубах заломило у Ыкилака. Кутан, конечно же, сказал: надо помочь людям, ведь с женитьбой Кевонгов вон как складывается. Трудно, ой как трудно сейчас Кутану — люди ждут от него правильных слов. А Талгин, дурак Талгин, видно, не только не советует, как поступить, а, наоборот, мешает Кутану в его трудном пути к правде.

— Этот негодник зачем попался на пути?!

Возмущенные слова исходили от Касказика. Уж он-то знал своего усопшего шамана. Касказик и при жизни его не считал нужным скрывать своего непочтения. Терпеть не мог болтунов, хвастунов, завистников и просто злых людей. Когда Талгин ушел в тот мир, Касказик облегченно вздохнул: в этом мире стало чище.

— Бей его! Бей, собаку! — потребовал Касказик.

А Кутан вихрем пронесся над молчаливо сидящими людьми — видно, Талгин перешел в нападение. Кутан закрылся бубном и в длинном прыжке нанес сильный удар. Ликующий крик и победный грохот бубна означали, что Кутан взял верх.

— Ыйть, с-собака! Ыйть, хотел нам зла! — Касказик всячески подчеркивал свое презрение к Талгину. Старейший Кевонг открыто льстил Кутану, живому, умному шаману, добиваясь его благосклонности. Касказик знал: так, однако, не бывает, чтобы шаман встал на сторону чужого рода. Но безысходность вынуждала. И Касказик шел на все, даже делал вид, что не понимает, куда клонит шаман.

Ыкилак не мог знать всего, что происходило в душе у отца, но видел, как странно тот вел себя. Никогда таким не был. Сердце защемило, горлу стало больно, словно что-то твердое и острое застряло в нем. «Несчастные мы, несчастные. Уж лучше бы нам уйти отсюда. Или умереть», — Ыкилак едва сдерживал слезы.

Но тут, уже в темноте (костер угас и в томс-куты светили звезды), замолкли колокола и бубен затих, и лишь шелест и тяжкое дыхание говорили о том, что камлание продол-

жается — шаман ушел от поверженного Талгина, который, конечно же, хотел людям зла — иначе зачем Кутану сердиться?

Кутан один парил на миром, нашептывал что-то. Он звал тэхнг — духа-помощника, духа-советчика. Но вот и ветер затих. И шепот в полной тишине.

— Кыньган! Кыньган! — звал охрипший, утомленный Кутан.

Такого имени Ыкилак не слышал. Совсем отрезвевший, младший Кевонг вопросительно посмотрел на отца. В другом случае Касказик бы не удостоил ответом этого несчастного несмышленыша, который вроде бы потерял невесту. Кыньган — отец самого Эмрайна, умер ань семьдесят назад. Что он скажет своему сыну? Наверно, то, чего желает сын. Хитрит Эмрайн. Хочет уйти от обычаев предков, вон сколько водки выпил с Ньолгуном. И подарки, видно, принял. Но как он пойдет на нарушение обычаев? Тогда убить его — все равно что собаку никчемную убить...

— Как быть? Как быть? — вопрошал Кутан.

В то-рафе наступила тишина. Что же сказал дух усопшего, который оставил право быть мудрым и всесильным своему сыну.

Кутан тихо, умиротворенно ударил в бубен. Побрякушки звякнули легко, словно переговариваясь с бубном. И люди поняли: добрые слова сказал Кыньган, правильные. «Великий и мудрый Кыньган, ты ушел от нас, унес с собой хорошие мысли. Верни их, пусть они сегодня придут к Эмрайну, передай их через Кутана, нашего шамана», — просила про себя Музлук, уверенная, что теперь уж никто не перейдет обычаи предков и девушка достанется настоящему зятю.

«Какой я негодный человек — так плохо подумал об усопшем. Его дух не простит мне такое, и если где неудача меня найдет — сам буду и виноват: нельзя так плохо думать об усопших, — казнил себя Касказик и решил: — Старею, потому и озлобился».

Музлук осторожно подправила, казалось бы, давно угасший очаг. Огонь занялся, выхватив из темноты сосредоточенные лица. А Кутан, вконец измученный трудной дорогой к духу мудрого предка Авонгов, хранителя хороших мыслей, упал на четвереньки и тут же повалился на бок, неловко подвернув одну руку и закинув за голову другую.

Эмрайн подскочил, приподнял его голову, влил в рот чашечку водки. Тот даже не поперхнулся. Эмрайн нашел оленью шапку шамана, положил под его голову.

— Он великий шаман, — сказал Ньолгун негромко, но чтобы все слышали.

— Пусть уйдет в себя: ему нужно главные слова передать нам, — сказал Эмрайн.

«Собаки вы, собаки. Обманщики. Воры и обманщики —

таких не видали нивхи!» — Касказик еще не знал, какие слова скажет Кутан, но уже чувствовал: его обманули. Обманули самым бессовестным образом. Возмущение, обида, злость закипали в нем. Что делать? Что делать? И, увидев вопрошающий взгляд сына, всегда старательного, доброго и любимого сына, Касказик резко ударил пятерней по чистым, честным юношеским глазам.

Глава XXXIX

...Какой-то жалкий человечек, худой, нечесаный, в истлевшей оленьей дошке, пытался приблизиться к Касказику. Этот человечек весь подался вперед, трудно переступал кривыми ногами, а руками делал движения, будто плыл против течения. Его словно держали на невидимой привязи, он не приближался ни на шаг. Странно: ведь солнце — и ни малейшего ветерка, а человек не может продвинуться ни на шаг. Кто это? Что ему нужно? Касказика взяло любопытство, он пошел навстречу. И был немало удивлен — это Талгин, давно усопший человек из рода Кевонгов, плохой шаман. «Ты пошел ко мне — хорошо сделал. Пусть память мою ты не чтишь и плохие слова про меня говоришь — не сержусь я. Ты и я — люди одного рода. И я тебе помогу. Прерви священные обряды — Пал-Ызнг покарает Авонгов. Медведь не наш. Пал-Ызнг показал Авонгам берлогу, и медведь их. Ты же знаешь обычаи: кто нашел берлогу, тот и будет хранить череп медведя, тот будет говорить с Пал-Ызнгом. Прерви обряды — ответят Авонги...»

Касказик проснулся раньше всех — было еще темно. Очаг еле тлел, его ночью слабо поддерживали — хозяева пьяные. Касказик положил на сизые, подернутые пеплом угли толстые лиственничные сучья. Старику стало полегче, будто и не было тревожных и мучительных переживаний. Теперь он знал, как поступить. Спасибо тебе, Талгин. Спасибо.

Касказик, победно, ухмыляясь, вонзил ненавидящие глаза в спящего Эмрайна, который трудно сопел во мраке на дальней от двери наре. Шамана, лежавшего на земляном полу в прежней позе, даже не удостоил взглядом... Еще у берлоги Хиркун и Лидяйн аккуратно вырезали уйхлаф — священные места: толстое сало со спины между лопатками, сало с пахов и передней части груди.

Уйхлав нужно жарить на отдельном огне, так же как и другие священные места: голову, язык, грудину, печень, горло, три верхних ребра, сердце, крупные мышцы и сухожилия лап — в них сила медведя. Касказик хорошо знает законы. Ахмалки потом разрежут уйхлаф на мелкие куски особым священным ножом. И в последний день праздника, в день усаживания почетных гостей, подадут в красивых деревянных чашах эти священные куски почетным людям — ымхи.

Только после этого можно будет приступить к самому главному обряду — проводам души медведя к Пал-Ызнгу, великому богу гор и тайги. Медвежий праздник — самый главный, самый святой праздник нивхов. И ни один человек не посмеет нарушить обряд. Иначе Пал-Ызнг ниспошлет на отступников голод и болезни, направит на них своих слуг — медведей, сделает так, что человеку откажут ноги и руки, изменит глаз и он будет разорван зверем. Никто не посмеет преступить вековые обычаи. Но Касказик преступит! У него нет выбора. Авонги сами нарушили не менее святой обычай — хотят сосватанную дочь отдать другому. Касказик прервет обряды и этим вызовет смертельный гнев Пал-Ызнга. Но гнев падет не на род Кевонгов — Кевонги только исполнили волю своих тестей, взяли тело медведя. Гнев падет на настоящих виновников — на род Авонгов, ведь им показал берлогу великий, всемогущий Пал-Ызнг. Пал-Ызнг проучит их. И этот неслыханный случай превратится в предание, и его будут передавать из уст в уста, из поколения в поколение — в назидание всем людям, чтобы никто не посмел пускать в свое сердце подлый обман.

О-тец во-рон!
О-тец во-рон!

Созывали нарядно одетые женщины заспавшихся жителей стойбища и гостей на место игрищ. Кленовые и черемуховые палки выбили гулкую дробь. И этот гул, нарастая, бежал по стойбищу накатом осеннего прибоя. Собаки, уютно переспавшие в снегу, как-то тоскливо заскулили. Елочки кивали своими необрубленными верхушками в такт ударам: да, сегодня праздник, второй день медвежьего праздника. Будет пир! Большой пир!

Все наедятся досыта!
Идите люди!
Идите!
Все наедятся досыта!

Женщины знали свое дело. Ночь не спали, скоблили до бела моченую кожу гоя [1], освободив ее сперва от провяленного мяса и чешуи. Целую охапку начистили, до полуночи варили в котлах. Потом разлили горячую студенистую массу по большим корытам, засыпали мороженой брусникой и вареными клубнями сараны, залили топленым нерпичьим жиром и вынесли в коридор остудить. Немного моса дадут собакам, которые пойдут с грузом гостинцев провожать душу медведя к богу Пал-Ызнгу — хозяину гор и тайги, немного моса оставят на родовом священном месте жертвоприношений, а все остальное должны съесть гости. Хозяева же только по кусоч-

[1] Гой — сахалинская разновидность лососевых, похожая на тайменя. Достигает 50 кг весом.

ку в рот положат. А потом гости съедят мясо. А мяса много — большой медведь стал добычей удачливого и счастливого Ыкилака, младшего Кевонга.

О-тец во-рон!
О-тец во-рон!

Женщины знали свое дело. Женщины делали свое дело. Люди неторопливо потянулись к месту игрищ — недалеко от родового то-рафа. Первые стали утаптывать снег, пришедшие позднее тоже включились в эту нетрудную работу. Утоптали гости снег — подготовили место. Сегодня узнают люди, кто среди них самый сильный, кто самый ловкий, кто самый меткий.

Расселись люди вокруг большого костра — наступило время утренней еды.

Талгук обошла всех гостей, положила перед каждым по толстой, в четыре пальца, плитке моса...

А родовой то-раф молчал. Там ждали слова шамана. И Касказик сказал. Он не спешил. Авонгам ничего не останется, как поступить по обычаю: ни один разумный человек не сделает так, чтобы навлечь гнев Пал-Ызнга на свой род. Пусть скажет Кутан — вечером он говорил с духом мудрого предка. Пусть скажет. А если начнет крутить, как лиса, учуявшая глубоко под снегом мышь, тогда поведет разговор старейший Кевонг.

Многочисленные зеваки, всегда готовые наброситься на дармовую пищу, шумно трапезничали, когда из родового то-рафа вышли сперва Хиркун, затем Ньолгун и Чочуна. После них вышли и остальные — размять ноги. Хиркун прошел к местечку, огороженному со всех сторон положенными в ряд жердями, — священному кострищу, и люди поняли — ему не до них, ему надо заняться уйхлаф.

Якут и Ньолгун улыбались. Ньолгун называл якуту селения, откуда тот или иной человек родом:

— Этот из Пото-во. Эти, — показал на плохо одетых стариков, — из Чир-во. Соболиные у них места, богатые. Мехов пропасть! А сидят холодные и оборванные — Тимоше туда не добраться: здесь олени нужны.

Он обходит людей, продолжая называть имена родов и стойбища. Чочуна познакомился со званными и незваными гостями и просил Ньолгуна передать: пусть жители всех нивхских стойбищ знают: Чочуна пришел на их землю с добрым сердцем, хочет помочь нивхам в их трудной жизни. Сейчас не те времена, что при дедах-прадедах. Есть еще нивхи, на которых одежда из рыбьей кожи. Одежда из сукна теплее, удобнее, дольше носится. Нивхи еще ловят соболей силками. Железные ловушки уловистее, надежнее. Многие охотятся еще с помощью луков и копий — ружье лучше, добычливее и вернее. Во многих стойбищах не хватает котлов, железной посу-

ды, иголок, топоров, пил, ножей, сеток. Тимоша за халат требует сорок — сорок пять соболей. Это очень дорого! Таежные нивхи! Речные нивхи! Вам не нужно будет ехать за товарами к жадным купцам-обманщикам. Чочуна сам привезет нужные товары. На оленях привезет. Не спешите отдавать соболей и лисиц русским и маньчжурским купцам-грабителям. Только Чочуна, добрый друг нивхов, даст за ваших соболей настоящую цену. Те, кто привез с собой шкуры, сами могут убедиться, якут честный, как нивх, добрый, как нивх. Подходите к нам, подходите! Сперва выпейте по глотку веселящей воды. Подходите и те, у кого ничего нет, Чочуна щедрый человек, Чочуна добрый человек — угостит всех!

Касказик чувствовал, как голову его охватил жар. Он спрашивал вполголоса:

— Что вы делаете, люди? Что вы делаете — святой медвежий праздник превратили в торги!

Наливали всем — и старикам, и юношам, и мужчинам, и женщинам. Ходили кружки по кругу, опустошались и снова наполнялись. Пейте, друзья нивхи! Якут угощает всех: и тех, кто пришел со шкурами, и тех, кого обошла удача. Пейте и закусывайте. Потом друг нивхов покажет свои товары.

...Ньолгун был занят, когда его позвали. Шаман говорил. А слова были такие. Он долго советовался со своим тэхнгом[1] и вот как порешили. Духи жалеют обоих — и Ыкилака, и Ньолгуна: оба они из слабых, вымирающих родов. И пусть будет по-справедливому, пусть сами решат между собой. Тэхнг сказал: «Пусть с помощью зар-тяр[2] решат».

Ньолгун окинул всех вокруг победным взором. Глаза его остановились на Ыкилаке, который сидел рядом с отцом, словно хотел укрыться за его спиной.

— Нет! Нет! — крикнул Касказик. — Мой сын устал и рукой двинуть не может, а вы хотите, чтобы он бился. Нет, так не будет!

Эмрайн спокойно ответил:

— Ты ведь сам был на камлании. И своими ушами слышал слова шамана.

— Мой сын выдержал ваше испытание! Выдержал! И мы с тобой, Эмрайн, совершили священный обряд чныр-юпт. Слышишь ты меня, Эмрайн?

Но Касказика никто не слушал.

А сон? А совет Талгина? Ведь еще миг назад он считал себя сильным, потому что знал: никто, даже самый что ни на есть негодяй не нарушит святая святых — обряд проводов души медведя. Так было при отце Касказика и при отце Эмрайна, так было при деде Касказика и деде Эмрайна. Так было с того дня, когда на земле появился первый нивх!

А они что делают? Ведь Авонги — древний нивхский род.

[1] Тэхнг — дух-советчик.

[2] Зар-тяр — фехтовальные палки.

Что с ними происходит? Злые духи вселились в них. Злые духи отняли у них человеческую душу. Иначе никак нельзя объяснить их поступки. Старейший рода Эмрайн и шаман Кутан — они хотят отнять жену у Кевонгов.

На какое-то время в голове мелькнула мысль послать старшего сына в верховья Тыми в селение Выск- во в род Высквонгов — за помощью. Высквонги откликнутся — они ведь зятья Кевонгов. Ведь Иньгит, дочь Касказика, принесла Высквонгам много детей...

Стоит только позвать — примчатся. С копьями и луками примчатся, а может, и с ружьями. Но тогда будет кровь. Опять будет кровь!..

Глава XL

Те, кто находился за пределами родового то-рафа, не могли знать всего, что произошло там. Но уже пошли разговоры о том, что дела-то вот как складываются. Кевонги выполнили все, чего требовали хозяева, и удача сопутствовала им. К тому же ранее был совершен священный обряд чныр-юпт. И сомнений не должно быть — Ланьгук принадлежит Кевонгам. Но Эмрайн повел себя очень нехорошо, нечестно. Люди понимали, что Эмрайна купили.

Ланьгук внешне безучастно относилась к тому, какие дела решаются в родовом то-рафе. Не ее забота. Ыкилак сделал все, чтобы она перешла в их стойбище. Мать говорила: обычай никогда не нарушался. И теперь еще Ыкилак доказал всему миру, что в его груди сердце храбреца. Отец и братья, однако, потому так долго сидят в священном то-рафе, что им нужно мягко и вежливо отказать человеку из Нгакс-во. Кевонги дали хороший выкуп. Если Ньолгун потребует вернуть подарки, можно отдать часть выкупа. Так, однако, и сделает отец...

Под бе-ре-зой,
под бе-ре-зой,
рябчик
мо-ло-дой
то сожмется в ком,
то снова
виден над тра-вой...

Ланьгук увидела, как из родового то-рафа вышел Ньолгун. Он нес в руках хорошо оструганную фехтовальную палку. Ланьгук часто видела игру — фехтование на палках. Особенно любил эту игру Лидяйн. Он не упускал случая вызвать на соревнование своих сверстников из соседних стойбищ, когда те приезжали к ним в гости или когда сам оказывался в их селении. В крупных стойбищах все юноши умело пользуются фехтовальными палками. Везде любят эту игру, игру ловких.

Ланьгук подумала, что игры на медвежьем празднике начались.

Но что это? С такой же палкой появился Ыкилак, вслед за ним почтенные старики. И почему-то они суровы, даже мрачны.

Ньолгун вышел к утоптанному месту для игрищ. Затем отпустил пояс, чтобы одежда не стесняла движений, расставил ноги, поднял палку двумя руками на уровень бровей — требует нападения. Ыкилак встал напротив, взмахнул коротко.

Он держался скованно. Нет, он не боялся битвы. Он не хотел этой игры после того, как ему удалось пройти главное испытание — одолеть громадного, могучего медведя. К тому же и руки и ноги вышли из повиновения.

Да, Касказик ждал чего угодно, но не такого поворота. Не ожидал старейший Кевонг, что проиграет так крупно... Нет, он еще не проиграл. Еще есть надежда... Сын должен нанести удар. Один удар по голове этого человека из Нгаксво, потомка тех могущественных людей, в кровавой битве с которыми много лет назад Кевонги выиграли право продлить жизнь своего древнего рода...

Зеваки окружили соперников. Одни кричали просто так — забавы ради, другие пытались подзадорить.

Ыкилак собрался с силами, ударил. Палка его переломилась. «Дали треснутую», — похолодело в груди.

Ланьгук позже других поняла, что идет не игра — идет битва! Битва за нее. Она швырнула черемуховую палку, припустилась было бежать, но увязла в снегу. Слабая надежда заставила ее повернуть к шумящей, орущей толпе.

Но, оказалось, подошла она, чтобы увидеть, как от удара Ньолгуна ее жених зашатался, ухватился за разбитый, расщепленный конец палки, покачался какое-то время и упал.

Над притихшим стойбищем взлетел пронзительный крик, и люди увидели, как Ланьгук вбежала в то-раф, выскочила с новыми мужскими торбазами в руках, пронеслась к нартовой дороге Кевонгов и помчалась по ней что есть силы.

— Ха-ха-ха-ха-ха!

Лидяйн смеялся и дурашливо указывал пальцем вслед сестре:

— Вот безмоглая-то! Далеко не убежишь!

Он быстро и привычно набрал кругами лахтачий ремень, бросил на нарту, запряг собак.

Ньолгун поступил, как требовал обычай: перевязал голову поверженному сопернику.

Люди расходились. И лишь Касказик, растрепанный и жалкий, сидел на истолченном множеством ног снегу, вскидывал руки и спрашивал:

— Что же произошло, люди! Что случилось в этом мире? Что случилось, лю-ю-ю-ди?

ИЗГИН

Что-то родное находил Изгин в тупоносых, битых временем и невзгодами лодках. Они, опрокинутые, сиротливо лежат на берегу залива, как раз напротив его дома; едва откроешь скрипучую дверь, лодки тут же лезут в глаза; с выцветшими, потрепанными бортами они напоминают выброшенных на берег камбал, раскрывших в неслышном хрипе рты: «Воды».

Когда-то дом Изгина стоял в центре поселка. А поселок тянулся двумя рядами вдоль прибрежных дюн. Изгин радовался: его дом расположен удобно — вправо и влево до крайних домов расстояние одинаковое. Это большое преимущество в зимние буранные вечера. Недельные бураны — самое скучное в жизни нивхов-непосед: ни на рыбалку выйти, ни на охоту. Чем же заняться мужчине? Вот и ходит Изгин в гости к соседям. Под нудное завывание бурана неторопливо пьет чай, расспрашивает о последних новостях, осторожно выведывает у соседа его отношение к какому-нибудь событию. Вокруг много происходит событий. И не всегда знаешь, как отнестись к ним. Тут нужно не спеша и обстоятельно обдумать их, узнать мнение людей. Когда же это делать, как не в буранные вечера! Сегодня был у соседа справа, завтра — у соседа слева. А если буран затянется, посетит второй дом справа. Все рядом, удобно. Попробуй-ка в буран пройти по поселку. Прибьет к какому-нибудь сугробу, утонешь в нем. А то и заблудишься вовсе. Вот и ходят жители крайних домов друг к другу ежедневно, потому что сидеть дома несколько дней подряд без дела — невыносимая тоска. Конечно, лучше бы не надоедать соседу частыми посещениями, но в буран и расстояние через дом — почти непреодолимое. И не остается ничего, как каждый день добираться до соседнего крыльца, взбираться по скользким заснеженным ступенькам, громко ругать погоду, звучно кашлять, сообщая о своем приходе, и гулко и усердно топать ногами, стряхивая с торбазов налипший комками снег. Нивх терпелив. Примет гостя по обычаю: подаст трубку и расшитый узором кисет, затопит печь. Угостит. Займет разговором. Если же беседа затянется допоздна, постелит оленью шкуру — зачем выходить в буран? Авось к утру уймется. А Изгину удобно — его дом посредине поселка.

А когда возвратишься с весенней охоты во льдах с удачей — с огромным сивучом, сало которого толщиной в пять пальцев! Какие бы муки он претерпел, перетаскивая сало и мясо к себе, если бы его дом стоял вдали от берега. А он — его старый, добрый дом — стоит прямо над прибрежным обрывом. Удобно стоит.

Правда, в последние годы Изгину не приходится таскать столь огромную добычу... Но выйти теплым днем на нагретую солнцем дюну, посидеть на ней, зарыв в крупный горячий песок голые, узловатые от ревматизма ноги... Удобно стоит дом.

Изгин опытный охотник и рыбак. Некоторые поселковые насмешники говорят, что он отжил свое и теперь годен разве только в сторожа. Но Изгин не слушает их — он был охотником, сейчас охотник и умрет охотником.

Сколько исходил Изгин за свою долгую жизнь! На восточном побережье Сахалина нет урочища, где бы в погоне за удачей не побывал Изгин. Нет здесь ни одного залива, ни одной речки, где бы и не рыбачил Изгин. Пусть кто-нибудь из этих «остряков» попытается посоревноваться с ним в знании залива, его мысков, бухточек, рек. Они и названия-то не все знают. Ведь не случайно в прошлое лето профессор из Москвы, такой же старый, как Изгин, когда записывал названия всех, даже малюсеньких, уже забытых многими речушек, бугров, мысов, бывших стойбищ, взял себе в помощники именно его. Хитрый старик: сам хорошо знает нивхский язык, а все равно просил разобрать, из каких слов состоит то или иное название.

Профессор приезжал вместе с нивхским поэтом. Поэт — частый гость Чайво. А профессор здесь впервые. Говорил, приехал изучать нивхские названия, обычаи, пишет книгу, что ли?

Пока Изгин беседовал с профессором, поэт занялся другими сказителями — благо их в поселке несколько.

Как-то в тихий, на редкость солнечный день старики — Изгин и профессор — сидели на пологой ветхой дюне. Изгин всунул босые ноги в нагретый песок и не торопясь вспоминал подзабытые названия. Уставший профессор не спеша записывал их.

Изгин смотрел на чистую страницу толстой тетради. Карандаш профессора коснулся ее, оставил маленький след. Вот карандаш медленно зашагал поперек листа, и за ним осталась цепочка следов. Но вот он помчался бойко, и цепочка за цепочкой, как волны на заливе, легли его следы.

В стороне послышался раговор. Кто-то говорил глухим голосом. Из-за бугра появился Латун, бригадир молодых рыбаков. На нем черный пиджак, такого же цвета брюки. Ишь, вырядился. Видно, сегодня рыбаки отдыхают. С ним — молодой человек, сын сказительницы Тайгук. Молодой человек сочиняет складные тылгуры — легенды. Это даже не тылгуры. Стихи называются. А он — поэт.

На другой же день после приезда поэт навестил всех стариков. Изгина тоже. Старик благодарил молодого человека: далекий гость принес ему свое почтение. Вот и сейчас он подошел посмотреть, как идут дела у стариков.

...Сын Тайгук родился и жил в Чайво до возраста пускания корня. Односельчане уже ждали, что в поселке появится еще один очаг. Но юноша, подхваченный каким-то ветром, сорвался с родных мест и уехал в какое-то большое русское селение, что, как рассказывают бывалые люди, находится на расстоянии полжизни пути, если идти пешком. Говорят, там большие дома-скалы, такие большие, что можно вселить в один из них всех жителей поселка Чайво с его колхозом, рыббазой, метеостанцией, магазином и почтой, и еще утверждают, тесно не будет. А домов столько, что, если даже заходить не на чай, а просто так справиться о здоровье жителей, понадобится много месяцев.

Сына Тайгук не было пять лет. Вернулся учителем и, как сейчас уже привыкли нивхи называть его — поэтом. Те, кто первым слушал его выступление (слово-то какое, тоже появилось совсем недавно), утверждали: никогда их слуха не касалось подобное.

Вскоре и Изгин услышал его. Сам признанный сказитель, он поразился обилию ума, вложенного в те немногие слова, что составляют стихи. Поразился звучности этих слов, стройности и зримости. Многие стихи поэта были одеты в мудрую печаль. Такое могли говорить лишь уста лучших шаманов, которых Изгину доводилось видеть в годы своей юности.

Этого молодого человека с рюкзаком за плечами видели во всех нивхских селениях. Изгин встречал на своем веку не одного собирателя сказок. Но этот удивлял сказителей какой-то ненасытной жадностью к сказаниям, он мог их слушать часами.

Что греха таить, Изгин поначалу делал вид, что знает не много сказаний: кому охота тратить время на сказки и легенды, когда, допустим, пошла рыба. Да и язык устает.

Но вот однажды увидел Изгин: на берегу собралось несколько неводников с рыбаками и среди них — кто-то в белой рубахе. Вышел старик полюбопытствовать, что заинтересовало столько солидных людей. И услышал неповторимое: казалось, само море вдруг обрело язык и заговорило с людьми — поэт читал стихи. А вокруг тишина, тишина. Даже слышно, как пена шуршит о борта лодок. А поэт стоял на груде невода, широко расставив ноги. Левая рука его энергично согнута, а правая в такт стихам делала круговые движения, будто он вращал что-то тугое. Его подхватила большая внутренняя сила, и казалось — вот-вот он взлетит.

Поэт читал стихи о волне.

Изгин видел, как на бескрайнем океанском просторе что-то еле заметно сверкнуло. Плеск. Еще плеск. И зародилась маленькая волна. Играя с рыбьей стаей, она все росла и росла. И вот, выгнув спину, поскакала белым горностаем. Велик океан. Во все стороны одна даль, даль. И помчалась волна... Куда? Зачем?

Кто тебя приветит
нежным словом?
Кто тебя
в просторных
далях
ждет?

Но ее никто и нигде не ждет.

Громадина волна, перед которой ничто не устоит, не знает, зачем она появилась на свет.

Ничему не рада,
ни на что не злишься,
У тебя, холодной,
никаких страстей.
Забавляясь силой,
вдаль стремишься,
В те края,
откуда
нет
вестей.

И вот она, громадная, и вот она, гривастая и в ярости бессильная, нависла над скалой. Мгновенье! И обрушится всей своей мощью на камни, и... только вспыхнувшие в лучах солнца брызги напомнят: была она громадная, могучая волна.

Поэт кончил читать. Все молчали, захваченные страстным чтением.

Изгину жаль волну, так зря растратившую свою огромную силу. Но вот какая-то смутная, необъяснимая тревога охватила старика, вытеснила все его повседневные маленькие заботы. Эта тревога молнией вошла в голову старика, стала стучать в виски, с настойчивостью дятла, добирающегося до личинки короеда. Только заметили односельчане: с тех пор уже не поэт искал встречи со сказителем, а старый человек шел к поэту и торопился выложить все, что слышал от разных сказителей за свою долгую жизнь. И рассказывал до тех пор, пока неутомимый молодой человек не сдавался:

— Аткычх, передохнем.

...И вот стоит поэт перед стариком, высокий, обветренный, как и все нивхи, с живыми, на редкость большими глазами, окаймленными черными ресницами. Брови — вразлет, как ястребиные крылья, тонкие, цвета клюквы, губы. Худощавое лицо живо откликалось на окружающее.

— Работайте, работайте, — мягко сказал поэт. Чувствовалось, что он смущен, пришел и помешал людям. — Мы с Латуном просто хотели посмотреть, как вы работаете.

Изгин обрадовался молодым людям: им тоже интересно, что говорит старый человек.

— Присаживайтесь, нгафкка, — обратился Изгин к поэту. — И ты присаживайся, бригадир, — сказал Латуну.

— Раз уж сошлись вместе профессор, поэт и сказитель,

надо говорить о том, что всем интересно, — сказал Изгин, лукаво прищурив и без того узкие глаза.

«Сейчас что-нибудь расскажет», — будто неожиданной приятной находке обрадовался поэт.

— Вы, конечно, слышали, что среднее течение нашего залива называется Харнги-ру. Но не знаете, откуда взялось это название. — Старик обвел собеседников испытующим взглядом.

Когда Изгин сказал, что среднее течение залива Чайво у пролива носит название Харнги-ру, профессор удивленно глянул на старика. Смотрел с нескрываемым любопытством. Совсем как подросток, которого посвящают в тайны охоты. А потом на его блеклые от старости глаза опустилось сомнение.

Харнги-ру... Харнги-ру... Пожалуй, никто в поселке не задумывается над тем, почему среднее течение у пролива называтся Харнги-ру. Называется так, и все. И никому нет дела до происхождения этого названия.

Харнги-ру — Озеро гагары. На заливе — и вдруг озеро! Разве может быть такое?

...Очень давно юному Изгину дед (память о нем добрая) рассказал, откуда взялось это странное и загадочное название.

Длинный, сплошь покрытый кедровым стлаником и низкорослым ольшаником остров, что лежит посредине залива Чайво, некогда был намного шире, чем сейчас. А на том острове — озеро.

Как-то гагары пролетали над заливом и нашли этот остров с озером. Озеро удобное: залив под боком, за пищей далеко лететь не надо.

И поселились гагары на этом озере. Свили гнезда. Кормят детенышей живой рыбой. Очень обильно кормят: рыба рядом, сама лезет в клюв.

Детеныши растут сытые, ленивые. Лежат себе в теплых гнездах и только раскрывают рты, чтобы принять рыбу от родителей. Ни летать не хотят, ни ходить. Так отлежали ноги, что и по сей день не разгибаются. Потому гагары и не умеют ходить по твердому. А ведь другая птица и по воздуху летит, и по земле ходит.

Развелось гагар в озере больше, чем комаров в тайге. Они пожрали всю мелкую рыбу в заливе. Старые рыбы забеспокоились — их роду приходит конец. Обратились они со своим горем к хозяину моря Тол-ызнгу.

Приплыл Тол-ызнг к острову. Говорит гагарам:

— Птицы вы, птицы! Вы наделены крыльями — расстояния вам нипочем. Вы наделены умением плавать на воде и под водой — шторма вам не страшны. Пищу добыть вам ничего не стоит. Поселитесь снова в отдаленных озерах.

А гагары тянут шею, чтобы через прибрежные бугры уви-

деть Тол-ызнга. И вытянулась шея у гагар длиная-длинная.

Тол-ызнг снова обращается к гагарам:

— Птицы вы, птицы!..

А гагары издеваются над ним:

— А-а, а. а-а!

Знают, что Тол-ызнг не достанет их. Он только в море хозяин. Через берег он не страшен гагарам.

Разгневался Тол-ызнг. Поднял в море страшную бурю. Волны набросились на берег острова, ударили в склоны побережных бугров. И вскоре разрушили узкий перешеек, что отделял озеро от залива.

Еще дед Изгина видел маленькую бухточку, врезанную в остров, — все, что осталось от озера.

А теперь и бухты нет — прямой, круто обрывающийся к волнам берег.

Гагары разлетелись кто куда.

А море продолжает гневаться и по сей день — все рушит и рушит берега...

Изгин умолк. Но будто видел: над обрывом в молчаливом крике нависли крючковатые, как пальцы стариков, оголенные корни. Им не за что ухватиться. И валятся, валятся в море деревья и кусты.

Исчезло озеро Харнги-ру. Исчезло много прибрежных дюн. Все рушится. Все исчезает. Исчезнувшее забывается. Ничто не вечно. Вечно только время.

Изгину взгрустнулось от этих невеселых мыслей. Он шевельнул ногой. По склону дюны побежала струйка песка. И вот уже ручей низвергается вниз, к воде. Волны подхватывают песок, и течение выносит его в залив. Пройдет немного лет, и не станет дюны, на которой сидит Изгин. Да и сам Изгин скоро умрет.

Грустно и печально старику. Но тут взглянул на собеседника, встрепенулся: профессор и поэт торопливо записывали в тетради его слова, слова старого охотника и сказителя. Цепочка за цепочкой легли волны на чистые листы. Вечные волны.

И старик подумал: вечна и жизнь. Она живет, передаваясь из поколения в поколение.

Через полмесяца поэт уехал домой в областной город. С наступлением перелета птиц в сторону полудня уехал и профессор.

И остался старый сказитель один. Наедине со своими мыслями и настроением...

Прошлое лето было большой радостью в одинокой, ничем не приметной жизни Изгина. Он лелеял надежду на его повторение. Но не приезжал ни профессор, ни поэт. Говорили, что поэт уехал в Москву. Надолго.

Теперь Изгин целыми днями чинил лодку и сети, это занятие стало его повседневной радостью. Хоть старый Изгин,

но он остался охотником и рыбаком. За свою долгую жизнь он хорошо изучил нрав залива.

Кто лучше всех в селении определяет течение? А оно изменчивое. Некоторые бригадиры прямо на рулевых веслах делают маленькие царапины — отмечают дни большой и малой воды. А Изгина увези хоть куда, продержи его там сколько угодно времени, вернется к родному заливу, взглянет на его лицо и скажет: сегодня третий день большой одинарной воды, через неделю будет двойная вода.

А знать воду ой как надо! В большую воду за сутки один длинный прилив и такой же длинный отлив. А в двойную — косы не успевают обнажиться, как тут же вновь заливаются приливной волной. На восточном побережье Сахалина рыбачут в двойную воду два раза, в большую — один. В переходный период между двумя водами первый отлив еле намечается. Но при расторопности можно сделать замет. Иногда во время подходов сельди и в толчок притоняют большие уловы. Но кое-кто по неопытности «зевает» этот миг.

Как-то вышел Изгин на берег, взглянул на залив и заметил: через полчаса вода слегка отхлынет. Но никто и не собирался на рыбалку. Изгин торопливо направился к Латуну, бригадиру молодежной бригады. Застал у него многих рыбаков. Собрались у бригадира и с самым беспечным видом о чем-то говорят. Латун гостеприимно поднялся навстречу старику и предложил стул. Старик прошел мимо высокого неудобного стула, сел у стены на пол, накрест подогнув под себя ноги, хитро прищурив щелки-глазки, сказал:

— Уже май месяц, а медведь все еще спит в берлоге. А осенью он удивится: «Что-то произошло в природе — лето на месяц стало короче».

Молодые рыбаки поняли намек.

— Что вы говорите, дедушка! Толчок будет завтра, — уверенно сказал Латун.

— У человека есть слабость: когда он разучится делать свое дело, начинает поучать других. — Это сказал Залгин, редкий среди нивхов грубиян, не признающий разницы ни в возрасте, ни в положении. Товарищи не любили его за это, но держали в бригаде: работал как нартовая собака.

Вокруг раздалось: «Ш-ш-ш-ш». Это на Залгина. А Изгин надел потрепанную оленью шапку и гордо вышел. Через час молодые рыбаки стояли на берегу — тянул слабый отлив. Рыбки, резвясь, выпрыгивали из воды и, сверкнув жирными брюшками, возвращались в родную стихию. Рыбаки оживленно говорили о чем-то, резко жестикулировали. Все это Изгин видел из окна своего дома. А поздно вечером, когда рыбаки вернулись с рыбалки, использовав только один отлив, мимо прошел старик Изгин. Он шагал с независимым видом: руки заложены за спину, голова запрокинута, будто старая шапка вдруг настолько отяжелела, что оттягивала ее назад.

— Дедушка, — донесся до него виноватый голос Залгина.

Изгин даже не обернулся.

— Дедушка, а дедушка! — слышится глухой, хриплый голос.

Это обращается уже бригадир. Ну что ж. Ему можно ответить.

Молодые рыбаки окружили старика.

— Дедушка, бригада просит извинить Залгина. — Это сказал бригадир.

— И еще, дедушка, я уже третий сезон бригадиром, а нет-нет да и ошибусь с этим проклятым течением. Научите меня совсем не ошибаться.

Изгин внимательно посмотрел на Латуна, потом перевел суровый взгляд на Залгина, стоявшего с опущенной головой. Видно, здорово ему досталось от друзей. Старик глубоко и спокойно вздохнул. Примирение состоялось. Кто теперь посмеет сказать, что Изгин никому не нужен! Человек — он всегда людям нужен. Пусть он будет инвалидом или глубоким старцем — он нужен людям.

Напротив дома Изгина — тонь. Ее так и называют — Изгинская. Когда здесь мечут невод, старик выходит из своего жилища, становится около питчика, который с помощью деревянного кола регулирует замет и натяжение невода, и вслух дает оценку замету. А увидев, как прибрежной струей выносит начало невода, кричит:

— Смотрите, люди! Бригадир выставил пузо! Видно, слишком много рыбы вошло в невод. Видно, не под силу бригаде притонить его. И бригадир, жалеючи людей, загородил рыбе вход в невод!

Питчик пробежками пытается исправить оплошность бригадира, но замет, считай, пропал.

Изгина недолюбливали за его острый язык и старческую настырность. Но он относился к той категории людей, которые всегда бывают правы. И потому его уважали. Колхозное начальство считалось с его мнением, но решило, что будет лучше, если держаться от него подальше: уж очень откровенно говорит Изгин о самых неприятных вещах в работе и поведении членов правления и председателя колхоза. Рядовые же колхозники поддерживали его — пусть говорит.

Но с годами боевой дух старика истощался. А последнюю зиму он пережил с трудом. Почти не вставал с постели. Мучил старый, как он сам, недуг — ревматизм. А тут еще заболел воспалением легких и чуть не ушел в Млых-во — селение усопших. Поднялся только весной. Летом мало общался с сородичами. Лишь изредка спрашивал: не слышно, приедет ли нынче поэт?

По селению уже не ходили его остроты. Не докучал бригадирам своими замечаниями...

— Угомонился, — говорили одни.
— Как бы нынче не того... — шептали другие.

Вот уже третий год колхоз застраивается новыми домами. Посеревшие от времени старые избы были возведены еще руками Изгина и его сверстников. Они отслужили свое, и колхоз построил новый поселок чуть выше прежнего. Старые же дома разобрали на нё — амбары для хранения юколы.

Нынче летом последние семьи въехали в новые дома. Изгин же ни в какую не соглашался покинуть свое старое жилье. Его дом теперь стоял оторванно от пахнущих смолой коттеджей. Колхоз слегка починил жилище старика. На этом от него отстали.

Последнее лето Изгин отдавался своим давним желаниям. А эти желания, как больные птицы, не улетали далеко. В мае он ждал наступления июня — месяца хода горбуши. В июне с нетерпением ожидал хода кеты, который бывает в конце августа. Он заготовил много юколы и все роздал сородичам. Односельчане удивлялись его беспечности: себе-то не оставил...

И опять по селу пополз шепот:
— Пожалуй, нынче он того...

С особым нетерпением старик ждал наступления зимы. Бывает такое. Справится человек со своими насущными делами и однажды ловит себя на мысли: дела поменьше и не очень важные закончены, а главное, большое еще далеко впереди. Сделать бы его сейчас, да нельзя — не время. Остается одно — мучить себя изнурительным ожиданием.

Изгин уже давно закончил приготовления к зиме. И теперь скучал от нечего делать и ругал себя за его непоспешность. Старик открывал дверь. Та выводила скрипучую песню, которая вползала в его душу и тяжелой печалью растекалась в ней. Открывалась дверь и вместе со светом в глаза лезли старые, никому не нужные лодки. Их даже на дрова никто не порубит. Пропитанные насквозь солью, они способны только тлеть, испуская едкий дым.

А ведь когда-то и их водили пузатые и деловитые мотодоры. Наполненные живой сельдью, они важно подходили к приплоткам, где их радостно встречали сортировщицы и шумная ребятня. Когда-то и с ними заигрывали волны, плескались вокруг них и играючи прикасались к ним щечками.

А теперь они, никому не нужные, забытые, лежат на берегу. Лишь ветер навещает их, пролезает сквозь щели, равнодушно гудит в пробоинах и улетает по своим, только ему известным делам. Да дождь, видя их беспомощность, злорадно пляшет по открытым днищам. Старику жалко их, и его

глаза покрываются голубовато-белесой пленкой грусти. Старик старается не глядеть на лодки, у порога звучно сморкается и мучительно думает: чем бы сегодня заняться?

Потоптавшись минуту в нерешительности, не спеша поворачивается и, сутуло пригнувшись, влезает в низкую дверь. Медленно проходит в наполненную сумраком комнату. И начинает переставлять прочные сиденья — чурки от лиственницы — от стены к нарам, потом от нар переносит в угол, где грудится всякий хлам: дырявый брезентовый дождевик, заплатанная ватная телогрейка, грязное белье. Валко ступает в сторону, примеривается, снова хватает чурку, несет в передний угол и ставит к свежевыскобленному пыршу — обеденному столу на коротких, с рукоятку ножа, ножках.

Эта странная для постороннего глаза привычка появилась у него давно, когда Изгин вошел в рыболовецкую артель и закрепился на месте.

До времени пускания корня Изгин прожил как и все нивхи: год у него был строго разбит на сезоны. Когда солнце при своем заходе делает самый длинный в году шаг — это сезон лова горбуши. Многотысячные стаи лосося идут из моря в реки на нерест. И человек выезжает на облюбованное еще предками урочище и заготовляет нежную юколу.

Когда деревья и травы остановят свой буйный рост и, отдав земле свое наследство, устало отдыхают, из моря прет старший брат лососей — кета. И человек срывается за косяком рыбы в новые места.

Но вот пришли холода. По утрам гулко гремит подмерзшая земля, уверенно и обильно падает первый, уже «настоящий» зимний снег, которому суждено растаять весной последним. Бодрящий воздух, мягкое поскрипывание еще не схваченного морозом снега тревожат сердце. Человек чувствует, как он наливается новой силой. Притихает на какое-то мгновение. Потом вдруг заволнуется, заспешит. И переезжает всей семьей с оголенного побережья моря в тул-во — зимнее стойбище, — где под защитой тайги не страшен никакой буран. Зима долгая-долгая. Но вот солнце стронулось с самого короткого дня. Месяца через два мужчины заканчивают сезон охоты на соболя и вскоре переезжают в кэт-во — в летнее стойбище — и открывают сезон охоты на морского зверя во льдах.

Каждый переезд — это новые места, новые дела, новые радости. И так из года в год в течение многих лет.

Когда организовалась рыболовецкая артель, пришел конец такой жизни. Изгина мучила тоска по вольным переездам. Каждодневная многолетняя работа в колхозе приглушила эту тоску. В последние годы вновь заговорил властный зов тайги. Но старость и болезни держали старика в четырех стенах темного приземистого дома.

И заметили люди: у старика появилась странность. Ни с

того ни с сего Изгин переставлял в доме нехитрую мебель. Высокий русский стол, обшитый потрескавшейся, выщербленной клеенкой, переносил от окна к глухой стене, низкий стол — пырш — перетаскивал к нарам, менял местами толстые чурбаки — сиденья.

Не знали люди, что после таких перестановок в доме убийственная тоска по странствиям хоть ненадолго, но заглушалась: перестановка мебели создавала иллюзию смены мест, переездов.

В нынешнюю весну перестановки так участились, что замученный длинноногий стол стал жалобно скрипеть. И чтобы не расшатать его окончательно и как-то отвадить себя от этой неодолимой потребности, старик прибил большими гвоздями ножки стола к полу.

Шли дни. Долгожданная осень медленно, но вступала в свои права. Нгаски-ршыхн — Чересхребтовый ветер, дующий с материка, — стал настойчивым и до дерзости властным. Он взбеленил залив, который долго и упорно бил в берег гривастыми волнами, будто зная, что отсюда ему суждено застывать.

Как-то утром привычно пропела дверь, вместе со светом в глаза ударили силуэты лодок, но за ними старик не увидел живого плеска воды. Как глаза мертвеца, холодно мерцала тусклая полоса. Старик облегченно вздохнул: скоро...

А пока он решил заняться промыслом нерп. Осенью нерпы не уходят в море — в заливе достаточно пищи. Они просасывают тонкий лед и дышат через отдушины. Иногда выходят на лед. Тогда их видно на ледяной пустыне за много километров.

Еще несколько дней стужи, и по заливу можно ехать. Изгин заточил легкий гарпун, подтянул на нарте ремни, обрубком лесины подпер дверь, чтобы бродячие собаки не проникли в дом, и первым в селении открыл сезон дороги. Откормленные собаки рванули и понесли Изгина к острову Лежбище. По целине еще не сбитого ветрами снега четко обозначились две узкие полоски — след Изгиновой нарты. Попарно привязанные к потягу собаки мчали легко. Над заливом взлетала длинная песня полозьев. Впереди упряжки, соединенный с потягом длинной постромкой, резво бежал передовик Кенграй. Он знал, куда его направил хозяин. Каждую осень Кенграй ведет упряжку на остров. Там его и всю упряжку ждет свежее мясо нерпы. Старик не командует собаками — передовик отлично знает дорогу.

Вдруг Кенграй резко бросился в сторону. Упряжка с визгом пошла за ним. Изгин не остановил нарту, а только слегка притормозил. Кенграй, тыча носом, стал разгребать чуть приметный бугор. Под тонким снегом оказалась черная вода.

Отдушина! Обрадованный старик не по возрасту ловко спрыгнул с нарты и отметил ее веткой ольхи, прихваченной на всякий случай. Нерпа этой отдушины по нивхским обычаям уже имела хозяина. Теперь если кто-нибудь добудет ее, обязательно отдаст хозяину отдушины.

...Покосившаяся бревенчатая изба, припорошенная свежим снегом, дохнула на хозяина холодным сумраком. Изгин внес меховую постель, юколу для себя и собак, кастрюлю и остальные вещи. Затопил железную печку сухими прошлогодними дровами, что аккуратно сложены у стены.

...Изгин проснулся с мыслью: не проспал ли? Было темно и холодно — избушка остыла за ночь. Маленькое окно — будто грязный листок бумаги: начинался рассвет. Старик приподнялся на локтях, старость больно отдалась в позвоночнике. Кряхтя, поднялся и разжег печь.

Позавтракал юколой и вышел. Солнца еще не было, но даль хорошо проглядывалась. Старик от радости вздрогнул — на белой, как простыня, поверхности залива чернели три крупные точки. Это нерпы. Сегодня первый день охоты по замерзшему заливу. Старик надел белый маскировочный халат, взял изящный гарпун и малокалиберную пятизарядку и спустился на лед.

...Изгин долго целился. Нерпа взмахнула ластами, красиво изогнулась и ушла в отдушину, будто пронзила лед. Капли крови на снегу говорили о легком ранении.

— Эх, хе-хе-е-е... — только и сказал Изгин.

Вторую нерпу, маленькую, взял. Третья не подпустила на выстрел. Неудача не огорчила охотника. Чего хорошего ждать, когда он не соблюдает даже самых простых обычаев. Ведь перед охотой надо было задобрить хозяина моря Толызнга. Старик отругал себя за поспешность.

Вернувшись в избу, Изгин вытащил из мешка кулечек с рисовой крупой, которую прихватил не для того, чтобы после охоты баловать себя душистой кашей или наваристым бульоном, а специально для жертвоприношений, отсыпал горсть крупы, выложил из пачки несколько папирос, что предназначены для той же цели, так как Изгин не приучил себя к курению, и не поленился сходить за целый километр к отдушине.

— Будь благожелателен ко мне, дряхлому старику. Угостил бы тебя, да нечем: беден я, — сказал, мягким движением бросая в воду приношения.

Изгин больше месяца не ел свеженины. Потому, не откладывая надолго, ловко разделал нерпу, закусил сладкой печенкой, сварил и съел нежную требуху с кровью. Голову нерпы обсосал и закопал под обрывом — пусть другие нерпы не думают, что Изгин дурно обращается с их сородичами.

В последующие два дня старик добыл только одну нерпу. «Ничего, — успокоил он себя, — только начало охоты».

Как-то, поднимаясь с залива на берег, Изгин заметил: под обрывом в снегу мелькнул рыжий хвост. Неужто лиса? Чего она подошла прямо к избе, ведь собаки рядом? Лиса вынырнула из снега — в зубах голова нерпы. Это была молодая, совсем светлая лиса. Она тонко тявкнула на человека и, дразня собак, помчалась прибрежными буграми.

Следы лис стали попадаться часто. Но старик не обращал на них внимания — мех еще недостаточно вылинял. Да и охота на этих прекрасных ходоков — большая трата сил. А старик уже не может долго стоять на лыжах.

В пятое утро вышел Изгин из своей избушки да так и замер: семь нерп лежало на ледяном панцире залива. К первой подкрался близко, но она успела уйти в отдушину. Другие нерпы лежали в отдалении и не могли заметить человека в белом халате. Старик решил подождать: если у нерпы нет второй отдушины, она через несколько минут высунет нос, чтобы вдохнуть воздух.

Так и есть. Вода запузырилась, забулькала, и показался буроватый усатый нос. Изгин с силой вонзил в него гарпун. Нерпа рванула и сдернула наконечник гарпуна с древка, но ремень, связывающий их, не дал ей уйти. Ремень натянулся, зазвенел тетивой тугого лука, с него бусинками брызнула вода. Нерпа вырывалась, но жало наконечника с открылками прочно засело в слое жира под кожей. Изгин с трудом подтянул нерпу, коротко и хлестко ударил палкой по голове, вытащил на лед.

Ко второй подкрался близко и тут увидел: она без головы. А следующая нерпа была с разодранным горлом. Это мог сделать только Он. Да, да, Он. Это его работа. Старик обрадовался тому, что у его друга клыки еще сильны.

Он, конечно, знает, что Изгин одряхлел и очень нуждается в его помощи. Он явился ночью. Как всегда, мастерски подкрался к нерпам и ударами клыков умертвил их. Это Он приготовил подарок своему давнишнему другу. Сам же, должно быть, сейчас отдыхает в буграх острова.

Полдня Изгин занимался тем, что свозил дар друга к избушке и варил пищу себе и собакам...

После крепкого чая он обычно ложился отдыхать. Сегодня же после встречи со старым другом ему не лежалось. А он-то думал, что больше не увидит его, вышел на залив, нашел след. Старик узнает его среди тысячи лисьих следов. Он крупный, как у ездовой собаки. Старик пригнулся над ним — когти притупились, почти не обозначались на снегу. Да, стар. Эта зима — последняя зима старого друга. Такова воля природы. Изгин лишь ускорит его конец. Чего ему зря мучиться?

Они впервые встретились восемь лет назад. Как-то днем

Изгин рассматривал в бинокль поверхность залива и вдруг заметил: от Лесистого мыса к лежбищу движется черная точка. Вскоре он узнал, что это длиннохвостая собака. Наверно, сука, решил Изгин. Собака пробежала мимо него в нескольких шагах. И только тогда Изгин распознал в ней черно-бурого лисовина. Схватил ружье, но зверь скрылся за ропаком. А спустя минуту старик уже радовался, что не убил дорогую лису.

В далекие времена Изгиновой юности каждый род нивхов имел свои охотничьи угодья. У отцов Изгина было большое урочище за Лесистым мысом. Летом и осенью там собирали ягоду и орехи, зимой охотились на соболя. Но главным его богатством, считались черно-бурые лисы. Отцы Изгина выкапывали из нор лисят и держали в поселке. Тогда чуть не у каждого дома можно было видеть маленькие хатки. Тонкий лай лис перемешивался с грубым лаем нартовых собак. И этот хор можно было услышать почти во всех нивхских селениях. На племя оставляли несколько пар лучших чернобурок. Чувствуя покровительство человека, звери не уходили из урочища. Со временем нивхи перестали держать лис. И никто уже не интересовался норами, расположенными далеко от селения.

С некоторых пор охотники стали замечать, что помеси чернобурых и рыжих лис — крестовок и сиводушек — стало больше. А потом у промысловиков появились дальнобойные ружья, охотники преследовали дорогих зверей и выбили почти всех. Бывали зимы, когда чернобурок не встречал ни один охотник с побережья. Вот как мало их стало!

Когда Изгин впервые увидел лисовина, у охотника появилось такое чувство, какое появляется при встрече единственного брата после долгой, полной неизвестности разлуки. Наверно, это потомок чернобурок Лесистого мыса. Где-то глубоко в душе шевельнулось придавленное толстым слоем времени чувство — чувство хозяина и покровителя. Первая мысль была: как бы лисовин ненароком не нарвался на чей-нибудь выстрел.

В течение зимы Изгин и лисовин встречались несколько раз. Человек отгонял зверя от косы, по которой ходили охотники. Лисовин уходил спать в сторону Лесистого мыса. Его переход на залив и косу лежал через остров Лежбище. При каждой встрече радость заполняла душу Изгина, и он разговаривал с лисовином как с родным. А тот, отбежав немного, садился, рассматривал человека и, оглядываясь, медленно уходил.

Лисовин перестал бояться Изгина. И не надо, умница! Знай свое дело — размножайся.

Несколько раз лисовин попадал в облаву охотников, но

перепрыгивал флажки и уходил, дразня стрелков богатым пушистым хвостом. Он крупный и сильный. О нем в селениях ходили легенды и поверья: будто это не лиса, а дух, обернувшийся в дорогую лису, показывается людям, чтобы напомнить о себе.

В феврале во время гона лисовин водит целую стаю самок. Другие самцы боятся его — уж очень сильны челюсти у черно-бурого, а удар широкой грудью может любого сшибить с ног. А в следующую зиму охотники добывали крестовок и сиводушек. И никто не знал, что надо благодарить не всевышнего, а Изгина. Изгин же от этой доброй тайны испытывал неописуемую радость.

С годами спина лисовина все больше и больше седела. И уже на шестую зиму она сплошь заискрилась серебром, и шкура лисовина стала дороже, чем шкура самого темного соболя.

Лисовин — прекрасный охотник. За утро с ходу убивал не одну заспавшуюся нерпу. Он без труда мог зарезать оленя-нялака[1]. Его добычу подбирал вместе с лисами и Изгин. И усердно благодарил прекрасного охотника. И еще старательнее следил, чтобы лисовин не ходил на косу.

В прошлую зиму Изгин видел своего старого друга. Тогда Изгину стало не по себе — лисовин утратил гибкость, позвоночник его огрубел, шаг потерял изящную размашистость, задние лапы не ложились во вмятины от передних; великолепный чок — округлый единый след от передней и задней лап — был потерян, и след получался размазанный. Изгину стало больно от мысли, что и его друга настигла безжалостная старость. Теперь Изгина беспокоила другая мысль: лисовин подохнет где-нибудь в тайге и никто так и не оценит редкостную шкуру.

В прошлом году во время гона состоялась их последняя встреча. А лисовин был один. Наверно, он уже не самец, с болью подумал старик, но не стал стрелять — шкура линяла.

Вскоре охотник слег и только к лету встал с постели.

В эту осень один из охотников на позднюю утку рассказывал, что видел молодую бурую лису. Хотя она не успела надеть «выходную» шубку, можно полагать, что это крестовка. Неужели это потомок лисовина? Неужели он еще может

[1] Олень-нялак — молодой олень-двухлеток.

продолжать свой дорогой род? Чувство, похожее на надежду, вселилось в душу Изгина и стало тревожить и звать в дорогу. Но силы...

Старика все лето мучила мысль: станет ли он на охотничью тропу? Кое-кто в селении поговаривал, что старик отправил на пенсию свое охотничье сердце. Но больнее всего было самому признаться в этом. «Я еще покажу, на что способен!» — вдруг рассердившись, сказал он себе.

Тяжелогруженая нарта с трудом дотащилась до поселка.

Изгин остановил нарту у своего дома, закрепил ее остолом, начальный конец потяга с передовиком Кенграем привязал к колышку и, отодвинув обрубок лесины, толкнул дверь. Он замер от неожиданности — в стороне, у стены лежала большая мерзлая нерпа. Старик понял: это нерпа из отмеченной отдушины. Нивхи строго соблюдают добрые обычаи.

То ли продуло по дороге, то ли остыл во время ожидания нерп у отдушины, но стоило попасть в тепло, как заныли все суставы. Ночью то и дело просыпался от боли в позвоночнике и потом долго не мог уснуть.

Теперь старик целыми днями лежал на оленьих шкурах поверх низкой полати и смотрел на огненный живой глаз-кружок в дверце постоянно горящей печки. Тут забуранило на неделю, и Изгин радовался: не надо подниматься с постели. Его навещали родственники, друзья-старики. Приносили гостинцы: мягкую юколу из тайменя и свежий топленый жир нерпы. При посетителях он старался держаться бодрее.

Прошел буран.

Но старик не поднялся. Он пролежал до большого февральского бурана и встал лишь тогда, когда над миром установилась морозная, тихая до звона в ушах, солнечная погода.

Изгин торопился — неизвестно, что будет через несколько дней. Может быть, его снова повалит болезнь. А пока чувствует себя вполне сносно. Скорей в тайгу!

Но у него нет широких лыж. Изгин попросил их у старика Тугуна, который уже два сезона не становился на лыжи, но хранит охотничьи принадлежности — память о былой славе.

— Зачем тебе мои лыжи? — едва веря в услышанное, спросил Тугун.

— Похожу по тайге, — тихо ответил Изгин.

— Ты же не оправился после болезни, — сказал Тугун, а сам подумал: старость — такая болезнь, от которой не оправляются.

— Я хорошо чувствую себя. Дай лыжи. Я похожу по тайгое, — голос Изгина дрожал. Было похоже, что это его последнее желание.

...Лесистый мыс за спиной.

Звериный инстинкт подсказывал: нужно идти гуськом. Но мешал потяг — прочная, сплетенная из тонких веревок бечевка, к которой попарно привязаны собаки. И собаки тонули в рыхлом снегу на глубину своего роста.

Со стороны казалось бы: по снегу скользит цепочка стройных острых ушей, а за ними — полчеловека... Тяжелее всех Кенграю: ему пробивать дорогу.

А каюр спешил: надо успеть засветло добраться до каменистых россыпей.

— Та-та!

Собаки дружнее налегают, постромки упруго гудят. Но через несколько минут упряжка снова сдает. Из груди, сдавленной широким ремнем — хомутом, — с тяжелым свистом вырывается воздух. Языки провисли на добрую ладонь.

Собаки на ходу беспрестанно хватают снег.

Вот упряжка совсем встала. Собаки виновато оглядываются на хозяина, их верные глаза говорят: сейчас мы снова пойдем, дай только немного передохнуть.

— Та-та!

Упряжка пошла. Медленно и трудно, огибая лома — нагромождения поваленного леса, — обходя придавленные невзгодами суковатые деревья. Иногда какой-нибудь пес падал под лежалый ствол, исчезал в снегу с головой. И каюр останавливал нарту: пока пес выкарабкается из рыхлого снега, совсем выбьется из сил.

День на исходе. А до россыпей еще далеко. Охотник в этих местах впервые. Но идет верно, по приметам, подсказанным отцом, когда Изгин был в возрасте посвящения в охотники: кончится марь, пойдут отроги, что на расстоянии двух дней быстрой ходьбы, после понижения переходят в отвесные горы. До гор не доходить. Идти долиной маленькой речки. Слева и справа долина прорезается несколькими расщелинами. Выше она сужается. На расстоянии полутора дней ходьбы отроги, что идут по правую руку, обрываются, и поперек твоему ходу поднимается круглая сопка с обвалившимися склонами. В этих россыпях раньше было обиталище чернобурок. За сопку лисы не заходят — там поперечная расщелина покрывается глубоким снегом. В нее ветры не проникают, и снег всю зиму лежит рыхлый. Звери не любят эту расщелину.

Лисы отвоевали долину речушки, берущей начало у основания Округлой сопки. И жируют в ней и летом, и зимой. Благо в долине много пищи: кедровых орехов, ягод, мышей, боровой дичи — глухарей и рябчиков. В речушку большими косяками входит летом горбуша, а осенью — кета. Рыба мечет икру. А после, дохлую, ее выносит течением на песчаные мели.

— Та-та!

Собаки идут шагом. Уже не свист вырывается из их сильной груди — слышен хрип, как будто на горле собак сомкнулись челюсти медведя.

Охотник становится на широкие лыжи и выходит вперед. За ним упряжка с пустой нартой.

Справа показался распадок, заросший густым невысоким ельником. Возможно, лет пятьдесят назад здесь был пожар, и деревья не успели вытянуться.

Уже сумрак незаметно опустился на тайгу. И под кронами пихты и ели сгустились тени. А отроги тянутся, тянутся, и конца им не видно.

— Порш! — тихо и как-то безразлично, будто покорившись непреодолимости пути, говорит каюр.

Собаки тут же залегли. Их бока вздымаются часто-часто, как маленькие кузнечные мехи. Собаки жадно глотают снег.

— Вам очень жарко. Замучил я вас, — как бы извиняясь, говорит каюр.

Те в ответ благодарно виляют обрубками хвостов.

Каюр не стал привязывать нарту к дереву — уставшая упряжка без причины не сойдет с места, — закрепил одним остолом.

Огляделся. Темные тучи набросили на землю мглистую тень. У горизонта морозно алела узкая, как лезвие охотничьего ножа, полоска. Тихо. Погода вроде бы не изменится.

Редкие прямоствольные лиственницы вынесли оголенные ветки до самого неба. На сучьях снег — будто кто-то невидимой рукой разложил по толстым ветвям ломти тюленьего сала. Тайга отрешенно и спокойно бормочет свои вечные слова. Похоже, что великой тайге совершенно безразлично, кто вошел в нее: зверь ли, птица ли, человек.

Сумрак сгущался.

Изгин поводил плечами и походил поясницей, изгоняя озноб, овладевший им. Когда руки немного отошли, схватил топор и пошел выбирать сухое дерево. У старика строго-настрого заведено — в любых условиях не отказывать себе на ночь в горячем чае.

Нарубил сухих сучьев, повалил две нетолстые сухостойные лиственницы, перетаскал к нарте. Для растопки содрал с деревьев рыжую бороду — лохматый лишайник бородач.

Через несколько минут затрещал сухой бездымный костер. Старик туго набил снегом обгорелый чайник и подвесил его над костром.

Нужно еще накормить собак. Изгин отрезал кусок сала величиной с пол-ладони и, подцепив кончиком ножа, точно бросил ближайшему псу — высоконогому Аунгу. Тот на лету поймал предназначенную ему порцию. Второй кусок перелетел через голову Аунга и угодил в пасть жадному вислоухому Мирлу. Через несколько минут вся упряжка закусила мо-

роженым салом, после чего принялась грызть мясистую юколу.

Вскоре поспел кипяток. Старик опустил щепоть чая в полулитровую алюминиевую кружку, достал из мешка вареного мяса, немного хлеба и стал жевать в задумчивости.

Горящие угли тонко запели. Дух огня напоминал о себе. Изгин отломил кусок хлеба и юколы, бросил в костер: вот тебе, добрый дух. Сделай, чтобы больному старому охотнику сопутствовала удача. Чух!

Когда старик закончил свою нехитрую трапезу, уже совсем стемнело. В небе кое-где бледно мерцали высвеченные костром звезды.

Пора спать. Обложил костер с двух сторон лесинами, наладил нодью — долгий таежный огонь. Нодья будет тлеть всю ночь.

Рядом с лесиной выбил ногами яму в снегу. Положил на дно оленью шкуру и лег спиной к костру, мысленно попросив хозяина тайги всех благополучий в трудной дороге таежного охотника. Выбрал удобную позу, натянул на голову большой меховой воротник от оленьей дохи и глухо позвал:

— К'а!

Собаки в упряжке привычно подошли к своему хозяину и тесно залегли вокруг него.

В эту ночь старику снился молодой поэт...

Едва развиднелось, а старик уже был на ногах.

Высокие слоистые облака обложили все небо. Сквозь них слабо сочился скупой свет нового дня.

Было тихо, будто закрыли все ворота, откуда мог вырваться ветер и, радуясь своему освобождению, пронестись по свету.

Нодья почти вся сгорела — остались одни обугленные концы сушняка. Человек собрал сучья, нарубил тонкого сухостоя. И второй раз в этой огромной дикой местности запылал маленький костерок.

Налетела стая таежных бродяг — мрачных остроклювых кедровок. Они расселись на ближайших деревьях и резким картавым криком нагло вопрошали: чем бы поживиться?

Прилетели две маленькие черноголовые синицы. Сели на пенек, уставились бусинками глаз на невидаль — костер, о чем-то между собой затенькали. Погреться прилетели. Так подсаживайтесь к огню. Всем тепла хватит. Но синички повертели черными головками, невесомо вспорхнули на высокую пихту и стали прыгать с ветки на ветку, внимательно и зорко всматриваясь между хвоинками — пташки вылетели на завтрак.

Горячий чай выгнал остатки стужи, которая, воспользовавшись сном старика, закралась под самое сердце.

Изгин решил не мучить собак — лес стал гуще, снег глубокий и рыхлый. Растянул упряжку на всю длину потяга,

чтобы собаки не запутались в постромках, дал им мороженой наваги и немного сала (кто знает, сколько ему бродить по тайге) и стал на лыжи.

Кенграй и Мирл оторвались от корма: ты что, уходишь без нас?

Охотник оглянулся: уже вся упряжка недоуменно смотрела ему вслед. Старик налег на лыжную палку и быстрее заскользил между деревьями.

Рассыпающийся целинный снег мягко ложится под легкие охотничьи лыжи, обшитые камусом — мехом из оленьих лапок.

...Лес поредел. И вскоре деревья раздвинулись.

Изгин пересек чистую низину, углубился в ольшаник. Охотник не сомневался, что идет по переходу лисовина. И действительно, между кустами, где снег не переметает, он наткнулся на тропу. И старое, уставшее от пережитого сердце вновь сообщило о себе: застучало радостно и взволнованно.

Последний, трехдневной давности, след уходил в сторону тайги. Лисовин делал частые галсы в сопки. Но основная тропа вела в верховья речки.

На повороте от речушки Изгин вдруг наткнулся на лыжню. Она уперлась в след лисовина, дала несколько лучей в сторону, оборвалась: человек вернулся своим следом. Судя по всему — здесь побывал опытный охотник. Только наметанный глаз Изгина мог заметить места ставки капканов. Их четыре. Человек был здесь позавчера. Надо обойти чужие капканы, нельзя мешать другому охотнику. Это закон тайги.

Но вдруг старик рассердился. Ведь черно-бурый лисовин принадлежит ему, Изгину. А тут кто-то другой покушается на его драгоценность. Но мог ли кто знать, что ты оберегаешь лисовина уже много лет, что дорогая шкура при желании уже давно составила бы венец твоей охотничьей славы? Тот, кто поставил капканы, конечно, не знал о намерениях Изгина. Получается, что Изгину нужно не мешать тому охотиться. От такой мысли стало совсем плохо.

— У-у-у, — злится старик. Он ненавидит охотников, которые, поставив капканы, сидят дома и пьют чай. Ловись, зверь, ловись. Впрочем, чего я мучаюсь, — обрадовался Изгин. — Ты лови себе капканами, а я похожу по тайге, — мирно и окончательно договорился старик с отсутствующим соперником.

Потянул слабый ветер. На полянах взметнулись струйки сухого снега и змейками поползли к опушке, исчезли там в кустах. А в лесу — тихо. Лишь лиственницы таинственно шушукаются своими верхушками.

Слева появился узкий, как щель, оголенный распадок. Лишь кое-где на его крутых склонах зацепился кустарник,

теперь утопленный в снегу до ветвей. Затем справа отроги заметно понизились. Скоро!

Утром небо было светло-серым, сейчас оно стало мглистым. «Успею обернуться», — успокоил себя старик.

А вон впереди за двумя излучинами долины — сопка.

Еще немного, и начнутся бугры и россыпи — дом лисовина.

Подходя к ним, Изгин нашел сегодняшние следы. Лисовин мышковал на пойме и вернулся к каменистым россыпям.

Тяжело переступая, старик поднялся на первый бугор. Оглянулся по сторонам — не видно лисовина.

Дорога утомила старика, хотелось сесть, привалиться к дереву и расслабить ноги. Изгину стало жаль своих верных ног, так долго служивших ему. Пора им на покой. А он заставил их так много трудиться. Но надо еще осмотреть другие бугры. Да поспешая — погода что-то не нравится.

Изгин чуть не вспугнул того, кого так долго искал. На снегу под нависшими ветвями ольхи четко обозначился черный круг. От волнения старик чуть не присел. Сердце колотилось так гулко, что казалось, лисовин слышит его удары. «Он, конечно, знает, что я здесь, — думает Изгин, — он не уйдет. Он позволит мне взять его шкуру».

Метрах в двадцати от лисовина топорщится куст кедрового стланика. Отличное укрытие! Подход удобный. Изгин стал подкрадываться. Нагнувшись до ломоты в спине, он медленно и мягко переступал широкими лыжами. Мех, которым обшиты лыжи, смягчал шелест, рыхлый снег скрадывает звуки движения. Лисовин, не шевелясь, дважды поднимал уши, прядал ими. Изгин останавливался и старался не дышать. Наконец вплотную подошел к кусту и неслышно положил ствол ружья на ветку. Не нужно спешить. Нужно сперва успокоить сердце.

Лисовин хорошо виден. Отдохну и тогда буду стрелять. Но тут в старике что-то поднялось и запротестовало. Нет, он не будет стрелять в спящего лисовина, который щедро дарил ему нерп и оленей. Стрелять в спящего зверя нехорошо. И притом Изгин так соскучился по другу, что ему непреоборимо захотелось увидеть его во всей красоте. Хотелось поднять его, посмотреть живого в невиданной шкуре и тогда уже...

Рядом с лисовином — несколько чашеобразных вмятин: видно, это его любимое место отдыха. Нет, в спящего зверя Изгин не будет стрелять.

Как бы угадав желание человека, лисовин поднял голову, невозмутимо зевнул. Озираясь вокруг, потянул воздух. Встал на толстые лапы и встряхнулся. По всей спине, от головы до хвоста, пробежала серебристая пересыпь. Изгину даже явственно послышался звон — будто рассыпались серебряные деньги.

Лисовин сейчас будет купаться в снегу. Так и есть, он вытянул морду, подогнул передние лапы, оттолкнулся задними и проехался на брюхе. Затем перевернулся на спину, перекатился с боку на бок, встал и встряхнулся.

На лисовине очень дорогая шкура. Такую шкуру Изгин за свою долгую жизнь впервые видел. Вот она. Уже в руках Изгина. Такая добыча! — мечта охотников всего света.

Перед тем как нажать на спусковой крючок, Изгин еще раз внимательно оглядел друга. Он стар. Уже не нужен природе. Все равно умрет где-то в тайге, и его съедят другие звери, и бесценная шкура так и не найдет своего ценителя.

Изгин убедил себя, что убиение столь дорогого зверя оправданно. Пусть послужит своему другу и покровителю последний раз.

Изгину стало немного неловко, когда он поймал себя на мысли — о нем напишут в районной газете. Может, сфотографируют. А что? Пусть пропишут в газете! Пусть все узнают, что лучший охотник — это Изгин. На закате жизни Изгина посетит большая охотничья слава.

Старик снял с правой руки мягкую рукавицу из нерпичьей кожи, приник к прицелу и плавно положил палец на холодный спусковой крючок. Глубоко вздохнул, медленно выдохнул, задержал дыхание. Мушка направлена точно в голову зверя. Сейчас выстрел громко известит миру о неслыханном успехе старого охотника Изгина.

И вдруг — будто пламя из охотничьего ружья. Изгин вздрогнул и поднял голову. Красная молодая лисица вылетела из-за куста, играючи прилегла перед красавцем лисовином. Гибко и упруго заходила всем телом. Виляя хвостом, обошла лисовина вокруг. Изогнувшись, рыбой взметнулась перед его носом. Лисовин, как бы отбиваясь от нахлынувшей напасти, поднял переднюю лапу. Его толстый пушистый хвост заходил кругами. Это был свадебный танец.

«Ты еще можешь!» — изумился охотник. Его руки вяло опустились.

Лиса, извиваясь в страстном танце, звала лисовина. Лисовин принял вызов. Резвясь, они скрылись вдали.

«Пусть поживет до следующей зимы», — спокойно подумал Изгин. Но тут же испугался своей дерзости.

Он повернулся как-то неловко. Резкая боль пронзила поясницу и взлетела по спине. «Что это?» — почему-то безразлично подумал старик.

Но одна мысль стала тревожно и настойчиво стучать в виски: там, на тропе, кап-каны! Там, на тропе, кап-каны!!

Старик несколько раз жадно схватил ртом морозный воздух, собрал все остатки сил и, убедившись, что может идти, двинулся своей лыжней назад.

Началась поземка. Ноги подкашиваются. Суставы скрипят, будто снег в мороз.

Вот и место ставки. Теперь невозможно найти капканы: замело. И старик стал наугад протыкать снег. Он устал от ходьбы, ожесточился и ошалело тыкал палкой. Как сквозь полусон услышал лязг металла. Сломал палку на месте прихвата челюстей капкана — сил не осталось разжать их. «Что ты делаешь!» — кричит кто-то. «Нельзя так», — отвечает помрачневшее сознание. А руки продолжают делать свое.

Еще два раза слышал Изгин лязг металла. Четвертый капкан так и не нашел. Как же быть? Тогда к нему пришла спасительная мысль — нужно оставить запах человека. Ни один зверь даже близко не подойдет! И старик помочился на куст ольхи.

Усталость валила с ног.

Но тут старик забыл об усталости — его осенила пугливая мысль. Если бы кто-нибудь был рядом, то заметил бы: старик весь преобразился. Он медленно повел головою вокруг, посмотрел сперва на неясный след лисовина, потом взглянул в сторону сопки, куда скрылись лисы, и неожиданно отчетливо сказал вслух: «Я еще вернусь сюда». Но от этой дерзости его передернуло.

И опять вспухла голова. И опять туман застлал глаза. И опять одолела страшная усталось, будто он только что завершил большой, отнявший у него все силы труд.

Но надо идти. Ветер настойчиво толкает в спину.

С неба валит крупный снег. Снежинки кружатся перед глазами, слегка завихриваются. Снег пушистый-пушистый. Мягко ложится на плечи, шапку и лицо. О-о, как много снегу!

Тонут широкие лыжи. Старик переступает с таким трудом, будто не снег налипает на лыжи — свинец. Изгин жадно хватает воздух пересохшим ртом. Но воздух будто лишился живительной силы. Старик весь мокрый. А дорога еще длинная-длинная...

И видит: высоко выпрыгивая из снега и с головой проваливаясь в нем, скачет навстречу зверь. Скачет трудно, из последних сил. Скачет так, будто перед ним быстроногая добыча, которую он настигнет следующим прыжком. Старик обрадованно остановился, узнав в скачущем звере Кенграя. Умный пес, по-видимому, забеспокоился в долгом ожидании хозяина. Снялся с ошейника и пошел по заметенному следу.

Кенграй в прыжке обдал хозяина комьями снега и, радостно повизгивая, завертелся у его ног. У старика же не осталось сил поласкать верного друга.

Собака нетерпеливо порывается вперед, останавливается, поджидает хозяина, возвращается к нему. Кенграй недоуменно, не мигая, смотрит на хозяина. Что-то смутное и тревожное овладевает собакой, и Кенграй жалостливо скулит. Сквозь наплывший на глаза мутный туман Изгин благодарно смотрит на собаку...

— Идем, Кенграй, идем, — с усилием говорит старик...

ЛОЖНЫЙ ГОН

Предки зовут

Маленькие медвежьи глаза Мирла злобно сверкнули. На могучем загривке предостерегающе вздыбилась жесткая шерсть. Низко наклонив округлую медвежью голову, он зарычал, обнажая острые клыки. Необычная обстановка нервировала собаку.

Будто гром ударил рядом, и все вокруг заходило упругой дрожью.

Мирл попятился, трусливо прижался к Нехану, жалобно взвизгнул, будто над ними занесли палку, и бросился под сиденье. Только два зеленых огонька по-волчьи мерцали в сумраке.

Кенграй же прижал уши, нервно замигал припухлыми, мягкими веками и доверительно положил удлиненную лисью морду на колени Пларгуна. В глазах собаки было удивление: что происходит?..

Пларгун ласково почесал пса за ухом. Мелкая дрожь пробежала по вылинявшей спине Кенграя.

Мотор надсадно взревел. Вскоре рев перешел в напряженный вой. Вертолет оторвался от земли и криво взмыл. Пларгуна точно вдавило в жесткое сиденье. Казалось, кто-то невидимой рукой схватил сердце юноши и потянул вниз. Плоская земля вдруг накренилась, стала на ребро и покатилась навстречу. Пларгун, опасаясь упасть, крепко вцепился в жесткие края сиденья.

Лучка не по возрасту проворно соскочил на верткий, как лодка-долбленка, пол, распластался на нем, пытаясь обхватить его руками. Он боялся, что этот ненадежный пол вывернется из-под него и сбросит его в пустоту.

Только Нехан не волновался. Широко расставив ноги, он сидел прочно.

Нехан глянул на распластавшегося старика и весь затрясся в хохоте. Пларгун слышал сквозь гул мотора: будто грохотал о камни осенний прибой. Юноша позавидовал силе легких знаменитого охотника. С такими легкими не страшны никакие переходы, никакие перевалы. А Нехан, запрокинув голову, трясся всем своим крупным телом, и казалось: это он могучим хохотом растряс машину.

Вертолет, описав над полем полукруг, выровнялся и, набирая высоту, пошел ровно, без срывов.

Старик вначале встал на четвереньки, потом медленно поднялся и, убедившись, что машина надежно держит его в воздухе, сел на сиденье, конфузливо улыбаясь. Оправляя жиденькую бородку, он повертел головой в разные стороны.

А Нехан все хохотал. Мясистые, наплывшие друг на дру-

га веки совсем сомкнулись, и из узких щелей по щекам катились слезы. Он вытирал их пухлой ладонью.

Пларгун отвернулся. В круглом окошке неслась навстречу темная бесконечная тайга, местами разреженная бурыми проплешинами — марями с четко вырезанными на них окнами — озерами.

Пларгун увидел: в бесконечной тайге с сопками, марями, реками и озерами проложены узкие светлые полоски. Это трассы, прорубленные геофизиками и лесниками. Когда они только успели сделать это?.. А вон на сопках и возвышениях желтые пятна, с высоты напоминающие куропачьи лунки. Они разбросаны на многие десятки километров. Это ищут нефть.

Слева, отсеченный от моря длинной бугристой косой, покрытой кустами ольшаника, открылся залив Нга-Биль со множеством островов, темнеющих густыми рощами приземистой лиственницы. Серое, местами покрытое туманом море уходило далеко влево и обрывалось где-то за изогнутым белесым горизонтом. Длинные извивающиеся волны зарождались прямо из темной пучины, вздымались, обрастая белой гривой, и выбрасывались на пологий песчаный берег, далеко выкатывая живую пенную кайму.

— Смотри! Смотри! — закричал старик Лучка, уже совсем оправившийся от испуга. — Вон, внизу, слева! Речка идет от озера в залив! И поселок у озера!.. И река и поселок называются Къ'атланг-и.

Пларгун утвердительно закивал головой: да, да, он знает эти места. Как-то вместе с одноклассниками он приезжал на экскурсию на нефтепромысел Хатагли.

— Къ'атланг-и... Къ'атланг-и, — повторил старик. — Нгафкка, а ты знаешь, откуда это название пошло?

Гул мотора, больно сверливший уши, стал тише.

— Эта река называется Къ'атланг-и. А русские на своих картах написали Хатагли. Потому что их ухо плохо слышит нивхскую речь.

Старик еще раз взглянул на узкую, извивающуюся речку, тускло блеснувшую щеками-заводями.

— Река как река, — сказал старик. — Но вода в ней совсем негодная. Где-то в нее нефть втекает. Вода в реке, как наваристый чай, густая и очень вонючая. Таймень, что из залива в реку уходит, керосином пахнет. За цвет и запах так реку и назвали: Къ'атланг-и — терпкая, значит. Вон на берегу залива большие, как дома, красные баки. Видишь? В эти баки японцы нефть качали, здесь была японская концессия. Давно это было, до войны. Весь залив нефтью испоганили. Им-то что заботиться о заливе, об этой земле. Знали: временно они здесь. Им нефть была нужна... Но вот пришли наши. Но и наши не очень-то берегут залив... Залив-то Нга-Биль называется — Место крупных зверей. На косах были

лежбища нерп и сивучей. Много рыбы в заливе водилось. А где рыба и зверь есть, там человек поселится. На побережье много стойбищ было... Испоганили залив. Зверя отпугнули, рыбу керосином заразили. Только одно название и осталось Нга-Биль...

Нехан сидел напротив и тоже смотрел в окно, задумавшись. Пларгун украдкой с восхищением поглядывал на него.

Если бы не Нехан, Пларгун болтался бы сейчас в поселке, слонялся по берегам остывших тусклых озер в поисках запоздалых уток... Октябрь — межсезонное время. Рыбаки уже заканчивали осеннюю путину, повытаскивали на берег лодки и мотоботы, ждали, когда станет лед, чтобы выйти на подледный лов наваги...

Своего отца Пларгун не помнил. Когда ему было три года, отец ушел промышлять нерпу во льды Охотского моря и не вернулся.

Пларгун рано научился обращаться с луком — подарком дяди Мазгуна, за лето добывал несколько сотен пушистых, полосатых бурундуков. Дядя Мазгун радостно говорил: растет охотник, достойный отца!..

Когда Пларгуну исполнилось двенадцать лет, дядя подарил ему настоящее ружье — одностволку двадцатого калибра.

В начале лета дядя Мазгун чинил лодку-долбленку. Над бугристым берегом низко пролетали краснозобые гагары и глухо кричали: «Га-га-га!», «Нгах-ваки!», «Нгах-ваки!» А на прибрежной отмели шумели суетливые кулики: «Чир-р-р! Чир-р-р!»

Дядя Мазгун вслушивался в привычный гомон птиц и строгал дощечку для сиденья. Вдруг совсем рядом бухнуло. Дядя Мазгун вскинул голову и увидел: гагара, сложив крылья, со свистом камнем упала в воду и осталась на воде, бездыханно покачиваясь. На дюне стоял Пларгун. Он переломил ружье и по-взрослому спокойно продул ствол. Сизый дым медленно поплыл над охотником.

— Ох! — удивленно воскликнул дядя...

Когда Пларгуну исполнилось пятнадцать лет, дядя Мазгун подарил ему новенькую двухвесельную лодку-долбленку.

— Теперь ты взрослый; единственный мужчина в доме. Ты должен быть настоящим кормильцем семьи, — сказал он. — Матери одной трудно. Да и рыбы совсем не стало в заливе.

— Нет! — отчаянно закричала мать.

Пларгун удивился: мать посмела повысить голос на мужчину? И не просто на мужчину — на мужчину родственника.

— Нет! — повторила мать. — Мой сын не бросит школу! Пусть хоть он не тянет лямку рыбака! И мне не так уж трудно: сын живет в интернате.

Дядя Мазгун будто не слышал слов женщины. Он обратился к Пларгуну:

— Ну, сколько тебе можно учиться! Восемь классов — это много. В нашем колхозе кто с таким образованием? Да к чему тебе большое образование? Все равно директором рыбзавода не станешь. Будешь учителем. Пошлют тебя на лесоучасток, где нет нивхов. И будешь работать в маленькой школе. Уйдешь от сородичей, от родных, от охоты и рыбы. Какой же будешь нивх? Да и какие заработки у учителя? Чтобы получать такие деньги, можно вовсе не учиться. Рыбаки в иные годы больше получают. А ведь не кончали институтов. Ты же охотник!..

...Да, конечно, соблазнительно иметь собственную лодку... Удачно выбрав хорошее течение, попутный ветер, выйдешь на воду у своего поселка на охоту и вернешься в низко сидящей лодке, нагруженной тяжелой добычей!.. И охотника встретят степенные, сдерживающие радость мужчины и старухи. А молодые женщины и девушки будут стоять на прибрежных дюнах, не смея спуститься к воде!.. Соблазнительно...

Нынче весной Пларгун окончил школу.

Признаться, он еще не решил, в какой институт поступать. Кое-кто из выпускников учится в педагогическом институте в городе на Неве. Говорят, Ленинград — самый красивый город в мире. Учиться там — высшее счастье... Конечно, можно стать и педагогом. Или пойти в медицинский, в рыбный... Но юношу больше привлекает профессия, связанная с природой, — географ или егерь, например...

Еще в седьмом классе в руки Пларгуну попал многотомный красочно иллюстрированный Брем. Он так увлекся, что не расставался с ним ни днем, ни ночью, пока не прочитал, а прочитав, вновь и вновь возвращался к нему... В мечтах Пларгун оказывался во всех уголках земного шара: охотился с индейцами, разукрашенными перьями орлов-кондоров. Преследовал ягуаров в густых, сумрачных и сырых лесах Амазонки; на болотистых берегах тропических рек ловил страшных аллигаторов; его душила в железных кольцах восьмиметровая анаконда; его лодку где-то в безбрежии океана таранила громадная меч-рыба. Сильный и смелый, Пларгун предотвращал нападение льва в Африке или преследовал леопарда-людоеда в дебрях индийской реки Ганг...

Вертолет ровно гудел. Скоро впереди отвесной стеной встал Нга-Бильский хребет. Прошли вдоль него, огибая отроги.

Внизу в тайге, как белые нитки, случайно оброненные на зимнюю медвежью шерсть, сверкнули извилистые истоки рек и ключи. Справа хребет кончался полого. Но за ним, несколько в отдалении, выступил другой. С обожженными ветрами и морозом скалистыми склонами, он круто повернул влево, обрываясь в море. Сверху казалось, что какое-то фантасти-

чески громадное животное наполовину вылезло из моря, на мгновение замерло, раздумывая, что ему дальше делать...

Если бы не Нехан, неудачно началась бы трудовая жизнь Пларгуна. Поэтому так велика была радость юноши, когда он встретился с Неханом и тот решил взять его в свою бригаду.

В поселке Тул-во Нехан появился три года назад, летом. Сильный, как медведь, общительный и веселый, он быстро стал своим человеком. Его приняли мотористом на пузатый беспалубный рыболовный бот.

До Нехана мотодорой командовал Накюн. Парень явно не ладил с упрямой и кичливой «дорой», как рыбаки уважительно называли бот. Часто в ожидании, когда подойдет за ними мотодора, рыбаки скучающе зевали или играли в «дурака». А Накюн, молодой моторист, взлохмаченный и весь черный от сажи, совал в цилиндр зажженный факел из пакли и остервенело крутил ручку завода. Говорят, очень скромный, он быстро научился ругаться по-русски и не стеснялся при старших демонстрировать свои познания в этой области.

Бригада, как правило, выезжала на тонь, когда другие рыбаки уже успевали метнуть невод, и их «доры» бойко тащили через залив рыбницы с трепещущей живой сельдью.

С появлением нового моториста «дору» будто подменили: она стала покладистой и безотказной, как выкормленная собачья упряжка у хорошего хозяина.

Бригада единодушно назначила мотористу повышенный пай. А подходы сельди были дружные, и Нехан прилично зарабатывал.

Никто точно не знал, откуда Нехан родом. Ходили слухи, будто он с западного побережья. Кто-то, может быть даже сам Нехан, сказал, что он из рода Ршанги-вонг, который в прошлом населял отдаленные урочища побережья. В наши дни этот род разъехался по всему побережью и группами или поодиночке влился в селения других родов. Жители поселка Тул-во не помнят, чтобы Нехан соединил свой родовой огонь с огнем какого-нибудь местного рода. В наше время, когда старые обычаи забываются, на это мало кто обращал внимание. Лишь некоторые старики, ревностно хранящие старину, иногда намекали: в поселке живет безродный...

В позапрошлое лето рыба подошла к побережью жидкими косяками. И никаких прогнозов на зиму не было. Нехан бросил рыбалку и вместе со стариком Лучкой и охотником Тахуном соболевал где-то у подножия Нга-Бильских гор. Вот тогда-то о нем и узнал весь район.

В самом начале охотничьего сезона Тахун вдруг вернулся в Тул-во. Объяснил: старая болезнь — ревматизм — вновь ударила в ноги. Тахун стал промышлять лис на косе. Односельчане только пожимали плечами: на лису ходит, а на со-

боля не мог. А ведь на лису нужно тратить не меньше сил, чем на соболя.

Заведующий заготовительным пунктом молодой парень Миша Сычев набросился на Тахуна: «Дезертир! Испугался тайги! А план? Вдвоем не возьмут плана!»

Односельчане осуждающе смотрели на охотника: бросил в тайге товарищей... Такого еще не было на побережье. А может быть, не договаривает что-то?..

В конце зимы старик Лучка и Нехан вернулись из тайги. Они подтвердили, что Тахун после месяца охоты начал жаловаться на больные ноги. Да и дров не успел завезти домой, семья осталась без огня. И они отпустили его. Но это не помешало им перевыполнить план еще на пятьсот рублей! И Миша Сычев ликовал!

На страницах районной газеты появился улыбающийся Нехан, руководитель охотничьего звена.

А Нехан из вырученных больших денег подарил Тахуну добротную двустволку. На этот факт люди особого внимания не обратили: у нивхов в обычае делать подарки.

Нынешнее лето было опять безрыбное. И Нехан устроился буровым рабочим в нефтеразведку где-то на север побережья.

В конце сентября он появился в Тул-во и стал сколачивать звено охотников-промысловиков. К нему снова пошел старик Лучка. Третьего найти было трудно: все мужчины готовились к зимней путине, к экспедиции на другие заливы. И Нехан решил взять Пларгуна.

— На... на... наш... рай-а-а-йон д-д-дали лицензию на... на четыреста соболей и... и... и сорок пя-я-ять выдр, — до ломоты в скулах заикался Миша Сычев. Всем известно, что Миша заика, но сегодня он нервничал и заикался, как никогда.

Высокий, сутуловато-изогнутый, будто готовая к прыжку рысь, он настороженно всматривался сквозь табачный дым в лица охотников. Он прекрасно знал, что сейчас спокойный ход районного слета охотников нарушится.

Вон во втором ряду возле стенки сидит человек в одежде из оленьего меха. На нем облезлая доха и шапка, похожая на капюшон с обрезанным верхом. Жухлая, с трещинами, обветренная кожа, раскосые вопрошающие глаза. Это старый орок-оленевод из северного поселка Валово. Сейчас у оленеводов горячая пора — они в тайге, с оленьими стадами, и на слет послали старого Мускана, от которого в тайге мало проку. Сычев на секунду задержал взгляд на его лице... Спокойно попыхивает трубкой... Смирный старик. На горло не будет наступать. Он и языка-то русского не знает... Ему достаточно и десяти соболей. Другим пастухам дам по пять штук. Когда таежники пастухи спохватятся, отвечу: скажите спасибо, что оставил вам по пять соболей, вас на слете не было...

Вон, в центре, наклонившись вперед, сидит Ржаев, ра-

ботник звероферм. Он приезжий, но давно живет на побережье. Лицо обожжено морозом, исхлестано ветром и дождями. Если бы не серые, потускневшие от возраста глаза и светлые взлохмаченно-вьющиеся с сединой на висках волосы, его трудно было бы отличить от местных жителей — нивхов. Летом он работает на звероферме, зимой соболюет. Ржаев напряженно застыл. Он весь — внимание. Давно потухшая папироса повисла, прицепившись к выпяченной нижней губе. Тяжелый пепел не обломится, не осыплется. Ожидающе прищуренные глаза уставились на Сычева. Горлохват... От него не отделаешься и пятнадцатью соболями... сволочь... Вчера пришел с бутылкой «капитана»[1] и с пьяного взял слово: двадцать пять соболей! А утром откуда-то вытащил бутылку спирта. У-у-у... — гудит голова.

За клубами дыма видна серая макушка чьей-то головы. А-а, это старик Лучка. Сидит, безучастный, в дальнем углу, чтобы не мешать людям, когда им вздумается выйти или войти.

А это еще кто такой в четвертом ряду? Совсем еще мальчишка. С молчаливым восхищением смотрит на промысловиков. А-а, это парень Нехана. Нехан вчера говорил о нем — возьмет в подручные. Тоже мне, охотник нашелся.

Лица... лица... Обожженные грубые лица... десять соболей... двенадцать... десять...

За длинным столом, наспех сколоченным из досок и покрытым линялым сукном, — президиум: Нехан, русоволосый Горячев — начальник таежной метеостанции — и еще несколько человек.

Нехан приехал за четыре дня до открытия слета. Все дни он пропадал у Сычева. Вечерами в доме Сычева раздавались громкие голоса и песни. Подпевал Сычев. В это время он не заикался... Нехан просил семьдесят пять на троих.

Лица... Лица... Обожженные лица... десять... двенадцать... десять...

Пларгун впервые на слете охотников. Вокруг — знаменитые промысловики, соболятники, медвежатники, добытчики лисиц и нерп. Юноша с восхищением оглядывает их.

Утром выступал представитель райисполкома. Он поздравил охотников с открытием сезона. Сказал, что труд охотников так же почетен, как труд зимовщиков Антарктиды. Потом наградил передовиков прошлого года ценными подарками. Нехан и Лучка получили красивые Почетные грамоты и золотые наручные часы с центральной секундной стрелкой.

После обеденного перерыва представитель райисполкома отсутствовал. Кое-кто, отметившись, ушел по своим делам, и только к концу слета, когда решался самый главный вопрос, явились все.

---

[1] «Капитан» — коньяк «Четыре звездочки» *(жаргон)*.

Дым под потолком. Дым в груди. Дым в глазах.

Пларгун не курит. И ему хочется откашляться.

— Все-все... всего четыреста со-болей, — повторил Миша Сычев, молодой «пушник». Так коротко называют охотники начальника заготовительного пункта.

Пушник говорил, что нынче план на соболя срезали на сто пятьдесят штук, а план по сдаче пушнины увеличили на несколько тысяч рублей. Значит, план нужно выполнять в основном за счет цветной пушнины: лисицы, норки, ондатры, белки.

На звероферме летом был большой падеж. Значит, на норку мало надежды. Остается лисица.

А лису, как всем известно, добывать труднее всего. Нужно иметь неутомимые ноги, чтобы перехватить скорого и чуткого зверя.

И пушник предлагает: промысловикам, чьи участки находятся в тайге, план таков — соболь и лиса один на один; охотникам с морского побережья, где лисы больше, а соболя мало, — один на два. Значит, таежнику Ржаеву план: двадцать соболей и двадцать лис.

— Врешь! — взрывается Ржаев. Папироска дернулась кверху. Пепел обломился, рассыпался по колену. Но Ржаев не заметил этого. Его округлые росомашьи глаза уставились на сутулого пушника. — Врешь! Я таежник. Зимой лиса у меня. Где я ее изловлю? Не надо мне лисы. Замените ондатрой!

Пушник выдерживает нападение Ржаева. Тут пушника поддерживают:

— Ондатру ты и без плана поймаешь.

— Ондатра — дармовые деньги, — это из президиума бросает реплику Нехан.

— Дармовые? — защищается Ржаев. — Да что ты в ондатре понимаешь? Ты живую-то ондатру видел?!

Нехан, житель побережья, действительно мало понимает в ондатре, которую только десять лет назад выпустили на обширные болота. Ондатра привилась и размножилась по таежным озерам, старицам и болотам. Вот уже третий год, как разрешили на нее промысел.

— А я где возьму лису? — вмешивается в разговор метеоролог Горячев.

Тут поднялся Нехан.

— Вот что, товарищи, — сказал он медленно, чеканя каждое слово. — Все вы знаете, что соболя не так много в нашей тайге. Было время, когда он почти совсем исчез. Но теперь соболь развелся, и на него отпускают лимит.

— Это мы знаем и без тебя! — выкрикнул Ржаев.

— Тихо! — Нехан поднял руку. — Так вот, на одном соболе план не выполнишь. Нужно добывать лису, ондатру, белку, нерпу. Конечно, никому неохота бегать за лисой. Что-

бы выполнить план по соболю и цветной пушнине, я предлагаю следующее.

Наступила тишина.

— Предлагаю всем создать звенья из трех человек. Хватит охотиться по старинке, время охотников-одиночек давно прошло.

«Как он здорово говорит! Совсем как школьный учитель», — подумал Пларгун.

— Что это даст? — спросил Ржаев.

— Зачем это? — раздается из левого угла.

— А затем, — говорит Нехан, — что план Сычева ни одному из нас не по плечу. Приморцу при десяти соболях нужно добыть двадцать лис! А это невозможно. Что он, ракета, что ли, чтобы летать с моря в тайгу и обратно! А если организовать звенья, получится так: двое уходят в тайгу на осеновку[1], берут ондатру и до глубокого снега ловят соболя. А третий с лета разбрасывает на косах приваду и всю осень ловит приваженную лису. Зимой двое подключаются к нему. А весной все трое уходят во льды бить нерпу.

Гул прокатывается по залу. Табачное облако закружилось, завихрилось, прорвалось в нескольких местах.

— Ловко придумал!

— Голова.

— Хе, до него, наверно, одни дураки были.

Ржаев лукаво прищурил глаза.

— А кто и в какие звенья пойдет, а? — с издевкой спросил он. — Неужели Горячев, который живет в тайге на своей метеостанции, опускает в прорубь градусник, получает зарплату и подрабатывает на соболе, пойдет ко мне? Или я пойду к нему? Или кто другой пойдет к третьему? Два медведя в одной берлоге не живут...

— А вот я организовал звено! — перекричал гул Нехан.

В зале притихли.

— Вот мое звено: старик Лучка, молодой охотник Пларгун и я!

К вечеру все присутствовавшие на слете охотники подписали договора. В договоре Нехана стояло семьдесят пять соболей...

Перед отлетом Нехан и Миша Сычев долго сидели над крупномасштабной картой, выбирали промысловые участки. Сошлись на бассейне горной реки Ламги. Оттуда в тридцатых годах нивхские роды ушли на север, в рыболовецкие колхозы. С тех пор этот район посещали только охотники, да и то изредка: уж очень далек он и труднодоступен. В сорока километрах к северу от этого места за перевалом находится маленькое стойбище Миях-во. В нем живет род Таккvонгун:

[1] Осеновка — охота по осени.

несколько мужчин, несколько женщин и их дети. Было известно, что род Такквонгун в тридцатых годах тоже покидал свое побережье. Он целиком вошел в первый нивхский земледельческий колхоз, образовавшийся в долине реки Мымги. Но спустя некоторое время этот род по какой-то причине снова вернулся на опустевшее побережье.

И вот вертолет оставил на крутом берегу таежной реки Ламги трех человек. С ними две собаки, брезентовая палатка-времянка, три жестяные печки, охотничье снаряжение и провизии на три месяца. В основном рассчитывали на подножный корм.

Как только вертолет улетел, старик вошел в чащу, походил там минут двадцать и, вернувшись, сказал:

— Нынче урожайный год. Орех есть — мышь есть, мышь есть — соболь, лиса есть.

Места для промысла были выбраны заранее. Нехан облавливает сопки, распадки и ключи по среднему течению Ламги. Его промысловую избушку решили срубить в двенадцати километрах от берега моря. Зимой лисы уходят на побережье из тайги, где им трудно передвигаться по рыхлому снегу. И Нехану будет удобнее охотиться на них, одновременно промышляя соболя.

Зимовье Лучки разобьют южнее, в двенадцати километрах от Нехана, у места слияния трех ключей. А избушку Пларгуна — в глубине тайги у повернутого к югу притока Ламги.

Таким образом, зимовья располагаются треугольником, с тем, чтобы путики смыкались где-то в середине треугольника в пределах пятнадцати километров от каждой избушки.

Этот план предложил Нехан. Сказал, что в тайге всякое может случиться. Охотник, проверяя капканы, проходит по своему кругу. В точке смыкания путиков видит следы своих товарищей. Если там нет свежих следов кого-нибудь из троих — надо идти к нему: может, нужна человеку помощь.

На третье утро Пларгун проснулся совсем разбитый: все тело ныло, болела каждая мышца. Хотелось лежать не шевелясь. Но раздался властный голос:

— Ты что, отсыпаться в тайгу приехал?

У Нехана удивительная способность: он в любом случае умел повелевать, говорил так, чтобы и мысли не было поступить иначе, ослушаться его. Пларгун не обижался на окрики. В самом деле времени в обрез: начались заморозки, скоро выпадет снег, а избушка еще не готова. Своей очереди дожидаются еще два сруба.

Первый день охотники с утра до вечера валили лес на сопке, резали его на равные кругляши. На второй день сплавляли их по реке к полянке, окруженной вековым лесом.

Юноша резкими, короткими ударами топора очищал кругляши от сучьев, от коры, «разделывал» бревно. Топор не

всегда подчинялся еще нетвердым рукам. Иногда лезвие проходило чуть левее или правее сучка, топор отлетал в сторону. Тогда в воздухе раздавался звон непослушного инструмента, в лицо стреляло осколками крепкого, как кость, сучка. Лицо Пларгуна было в царапинах. Саднило ладони. Старый Лучка посоветовал работать в рукавицах, и это спасло руки от кровянистых мозолей.

Пларгун ошкуривал бревна, а старшие вооружились плотничьими топорами. И полетели во все стороны смолистые щепки. Крикливые кедровки окружили становище и с любопытством оглядывали людей. Вокруг суетились наглые сойки. Они так и высматривали, чем бы поживиться. Ночью к стану подходили сторожкие лисы, обнюхивали его и, уловив запах людей и собак, спешили убраться восвояси. Но к стану подходила не только безобидная тварь...

Пларгун заставил себя подняться. Когда он вышел из палатки, первое, на что обратил внимание, — Мирл и Кенграй лежали неподалеку от дымного костра. Их бока запаленно вздымались — собаки дышали надсадно и часто. Что произошло? Почему собаки не на привязи? И чем они взволнованы? Наверно, опять подрались — они не терпят друг друга.

Старик гремел у реки кастрюлей и чайником. А Нехан сидел спиной к палатке и, согнувшись, что-то делал. «Заряжает», — подумал Пларгун.

— Гуси сели на болото, — сказал Нехан.

Пларгун достал несколько патронов с дробью на рябчика и перезарядил их гусиной дробью.

— Ты тоже идешь? — не глядя, спросил Нехан.

— Да.

— Собаки где-то пропадали. Долго их не было.

— А где болото? — спросил Пларгун. Нехан не ответил. Пларгун закинул на плечо одностволку и молча пошел следом.

Нехан шел сквозь чащу с такой уверенностью, будто перед ним расстилалась прямая тропа.

Вскоре лес поредел, и перед глазами Пларгуна предстала обширная марь. На мари то здесь, то там возвышались бурые бугры. Они сплошь заросли брусникой. Кое-где пробивалась бледная зелень корявого кедрового стланика.

Из-за дерева Нехан внимательно осматривал марь. Над марью — плотная пелена тумана. Казалось, бугры повисли в воздухе.

Пларгун глянул вправо и не поверил своим глазам: на бугре, повисшем в воздухе, стояли три медведя. Точно такие, каких он видел в какой-то книге с иллюстрациями. Но вот самый крупный валко переступил. Пларгун молча схватил Нехана за руку. Нехан перевел взгляд вправо и не подал вида, что заметил зверей. Только черные узкие глаза его свер-

кали жадно и хищно. Правая рука чуть приподнялась, и ладонь сказала: тихо.

Нехан взял в левую руку четыре патрона и отступил назад. Повернулся и, прикрываясь деревьями, сторожким, быстрым шагом ушел вправо. Только раз он обернулся и кивком головы сказал Пларгуну: «Стой здесь».

«Что он задумал? Ведь у него патроны с дробью! — заволновался юноша. — И, кажется, ножа не взял».

Нехан шел неслышно, будто тень. Вот он промелькнул в том месте, где деревья стояли не очень плотно. Потом, пригнувшись к земле, появился на оголенном мысу против бугра, где были медведи, и остановился у чахлого березового кустарника. Дальше нельзя — голая марь. До бугра далеко. Медведи вне выстрела. Да и что сделается с медведем, если даже пальнуть в него дробью на расстоянии десяти шагов. Пларгуна совсем смутило легкомысленное поведение знаменитого охотника. Хоть бы не стрелял. Хоть бы отступил. Пларгун чувствовал, как дрожат ноги. Увидев, что Нехан поднял ружье и прицелился, хотел крикнуть. Но из ружья Нехана вырвался шлейф дыма, и через мгновение до юноши докатился гулкий грохот.

Пларгун вздрогнул, точно выстрелили в него. Медведица, рывшая бурундучью нору, подпрыгнула, будто ее ужалили. Со всего размаху влепила оплеуху ни в чем не повинному пестуну. Многопудовый пестун несколько раз перевернулся в воздухе и шлепнулся в марь, на всю тайгу завопив дурным голосом. Медведица встряхнулась, потянула ноздрями и, не уловив ничего опасного, занялась снова норой. Видно, ее зацепила всего одна дробина.

«Уйди, уйди, пока еще можно уйти», — умолял в душе Пларгун. Но охотник снова поднял ружье, прицелился и выстрелил. Медведица впрыгнула на вершину бугра, оглянулась и с устрашающим рыком помчалась по мари на Нехана. Казалось, никакая сила не остановит ее, огромную, всесокрушающую. В один миг медведица пролетела через марь, в два прыжка оказалась на мысу. Тут на мгновение ее остановил новый выстрел. Но только на мгновение. Еще три прыжка, и она настигла охотника.

Следующий выстрел поймал ее в прыжке. Медведица мотнула головой и дико взревела, но не остановилась, подалась вся вперед. Еще прыжок. Последний прыжок. Пларгун в ужасе закрыл глаза. Тут он услышал еще один выстрел. Когда открыл глаза, медведица грузно рухнула — охотник едва сумел отскочить в сторону. Пларгун сломя голову помчался к мысу.

Глаза Нехана сверкали. Было видно, какого громадного усилия потребовала от него эта схватка. Медведица лежала со снесенным черепом: выстрел дробью в упор, когда дробинки идут плотно, как единая свинцовая пуля, страшен. У раз-

битой головы зверя валялись четыре стреляных гильзы. Юноша поднял их — они были еще горячие и пахли порохом. Пларгун удивился не тому, что Нехан дробью убил громадную медведицу: где-то в душе он верил, что знаменитый охотник способен на невозможное, удивило его другое — человек в какой-то миг сумел трижды переломить ружье, заменить пустые гильзы заряженными и выстрелить по мчащемуся зверю три раза. Это невероятно. Хотя Пларгун своими собственными глазами видел это минуту назад... Нехан перезаряжал только правый ствол. А левый держал на крайний случай. Последний прыжок медведицы, когда она уже разинула клыкастую пасть, еще не был крайним случаем — левый ствол так и остался неиспользованным. Что же тогда является крайним случаем для этого человека?

— Куда девались медвежата? — спросил Нехан.

— Я смотрел только на медведицу, — признался Пларгун.

— Ничего, далеко не уйдут. Мы их поймаем. Нужно только собак привести. Они мигом нагонят, — спокойно, будто звери уже добыты, сказал Нехан.

Он схватил медведицу за плечи, сильным рывком перевернул зверя на брюхо и вытянул лапы. Медведица приняла позу человека, который, распростерши руки, забылся глубоким сном...

Высокое подслеповатое солнце разогнало туман, а Лучка все строгал и строгал черемуху. Острым ножом снимал с дерева тонкие длинные стружки. Они свивались упругими кольцами, образуя пышный венчик. Чтобы венчик не распался, старик связывал стружки лыком. Затем высоко поднимал дерево и встряхивал. Стружки выбрасывали длинные языки, шелестели, вновь свивались кольцами и умолкали.

Пока старик выстругивал священные стружки — нау, Нехан и Пларгун успели отлить в формочке штук двадцать тяжелых круглых пуль.

Закончив строгать нау, старик с трудом выпрямился, утомленно кряхтя, поднялся на кривые затекшие ноги и медленно пошел в чащу.

«Долго он еще будет возиться? Только теряем время!» — недовольство черной тенью скользнуло по широкому лицу Нехана. Но тут же он уступил: «Ладно. Медведица — первая добыча. Хотя бы поэтому нужно соблюсти древний обычай. Да и обижать старика не хочется. Пусть потешится». Так думал знаменитый охотник. Сам-то он давно не верит в святость ритуалов. Но иногда нет-нет да закрадется в его душу сомнение...

— Твой свинец давно сгорел! — ни с того ни с сего разозлился Нехан.

Пларгун схватил банку и вытащил из костра: в капле жидкого, как ртуть, свинца плавал твердый кусок. Юноша недоуменно глядел на Нехана, так и не поняв, почему тот, обычно сдержанный и спокойный, вдруг рассердился.

Вскоре вернулся старик с полной кружкой крупной таежной брусники. Ягодным соком обмазал кончики священных стружек и сказал:

— Хала! Идемте к месту, где удача нас навестила.

Старик сказал «нас». Если в тайге кого-либо одного обходит своим вниманием Курнг — всевышний, удачи не жди. А тут большая удача. И не важно, кто добыл зверя. Считай: удача пала на всех троих.

Нехан проводил старика и юношу к месту, где он убил зверя. Собаки со злобным азартом подскочили к медведице, вцепились в гачи[1] и стали их рвать, захлебываясь яростью.

— Ну и храбрецы на мертвого зверя! — сказал Нехан и разбросал собак ударами ноги. Трое охотников схватили медведицу за передние лапы и за загривок и, подражая голосу зверя, с криком «хук» дружными рывками поволокли его вокруг вековой лиственницы против хода солнца.

Тяжела добыча, и охотники с трудом совершили с нею четыре положенных круга. Отдышавшись, Нехан закинул за спину двустволку и скрылся в чаще. За ним побежали псы.

Старик обвязал сплетенными стружками морду медведицы чуть пониже глаз, второе кольцо приладил вокруг головы позади ушей, соединил оба кольца посередине лба и украсил голову султанчиком из стружек, предварительно обмазав их соком брусники. На медведицу надели символический намордник. Если в звере есть хоть немного злого духа, он укрощен.

Затем перевернули зверя на спину...

Пларгун впервые свежевал медведя. До этого он только иногда ел вареное медвежье мясо из чугунного котла на медвежьих праздниках, которые созывались в честь удачи какого-нибудь охотника. А «праздников домашнего зверя» Пларгун вообще никогда не видел. Такие праздники приходятся на конец февраля — начало марта. В это время Пларгун учился. А школа-интернат находится в районном центре. Праздники домашнего медведя проходят куда более пышно и торжественно. Еще бы: медвежат вылавливают, когда им всего несколько месяцев, откармливают несколько лет до возраста половой зрелости.

Пларгун свежевал медведя впервые. Точнее, помогал свежевать. Самое сложное, оказалось, «раздеть» лапы. Но старик ловко расправился с двумя задними лапами. Оттягивая кожу, чтобы старику удобнее работалось, Пларгун внимательно следил за его действиями. Потом Пларгун вытащил

---

[1] Гачи — длинная шерсть на звериных ягодицах.

свой нож, звякнул по лезвию ножом старика и склонился над левой передней лапой.

Нож непослушно натыкался на многочисленные упругие жилы, вонзался в толстую мозолистую подошву, скрежетал по костям, где, как полагал Пларгун, должен быть мягкий хрящ сустава.

Когда наконец Пларгун высвободил последний палец лапы и стал снимать с ноги «чулок», он почувствовал, что на него смотрит Лучка. Пларгун не поднял головы. Только по разгоряченному лицу текли струйки пота. Быстрее заходил ножом. Но спешка не привела к хорошему — на коже оставались куски сала. Приходилось вновь и вновь возвращаться к ним.

Но вот с лапой покончено. Юноша распрямил гудящую спину и осмотрел свою работу. С многочисленными кровянистыми порезами лапа выглядела так, будто ее изжевали собаки. Три другие лапы слепили ровной белизной. Пока Пларгун «раздевал» лапу, Лучка успел разделаться и с брюшной частью.

У потухшего костра сидел Нехан и спокойно пил чай. Даже не подумаешь, что он прошел большой путь по тайге, да еще с тяжелыми шкурами молодых медведей за плечами.

Кенграй подошел к хозяину, вяло виляя хвостом, и низко опустил голову с прижатыми ушами.

«Почему ты так унижаешься? Что с тобой?» — глазами спросил Пларгун. Собака словно поняла хозяина — не поворачивая головы, бросила на Нехана настороженный взгляд.

Помимо шкур Нехан принес еще и медвежью желчь. Сказал, что настиг пестунов далеко. Надо взять мясо. Остальное пойдет на приваду для соболей и лис. А желчь зачем? Стоило ли...

— Ты останешься. Растянешь шкуры, вот тебе... как оно называется... образец, — сказал Нехан, показав на висящую перед палаткой на гнутых растяжках шкуру медведицы. — И еще сваришь желчь. Только не перевари. Лучше вари на печке, а не на костре. Надо варить на спокойном огне.

Еще вчера старик между делом поставил полог — на случай дождя, чтобы было где готовить пищу.

Старшие, закинув за плечи пустые рюкзаки, удалились. Кенграй остался лежать, удобно положив голову на лапы. Только глазами их проводил.

Соорудить растяжки из молоденьких стройных лиственниц — дело не трудное. А вот натянуть на них сырую «живую» шкуру — куда сложней. Пларгун только к полудню справился с этой работой и сразу же принялся варить желчь. Юноша перевязывал проточные канальцы и чувствовал, как они, тонкие и скользкие, никак не хотели подчиняться его не-

уверенным пальцам. Он боялся, как бы ненароком не прорвать нежный мешочек желчного пузыря.

Сухо потрескивая, топилась жестяная печка. Пларгун поставил на ее большую эмалированную кастрюлю с водой и, подождав, когда она нагреется, бросил три желчных пузыря.

Печка гудела. Искры, вылетев из трубы с горячим дымом, вспыхивали, тускнели и оседали на траву, на полог...

Спокойно лежавший Кенграй встрепенулся и сел. Большие острые уши вскинулись, быстро заходили в разные стороны, сблизились. Пес суетливо повел носом, шумно и глубоко втягивая воздух. Пларгун понял: кто-то посторонний подошел к стану. Его спина покрылась мурашками. Что будет, если это медведь? А вдруг не просто медведь, а шатун? Наверно, почуял мясо и, голодный и злой, пришел на запах. Эта предательская коптилка разносит дух мяса на всю тайгу.

А может, не один? А два. Или три? Озираясь, Пларгун потянулся за ружьем. Трясущейся рукой нащупал пулевой патрон, вложил в ствол. Ружье невесомо взлетело к плечу. И только теперь молодой охотник почувствовал: до чего ружье хрупко и ненадежно!

Вдруг что-то толкнуло в грудь. Пларгун, внимательно смотревший вправо, в кусты, резко откинулся. Никого... а-а, это сильно вздрогнуло сердце. О, как оно стучит!

Кенграй вкочил и бросился было в чащу, но Пларгун остановил его:

— Порш!

Ветер с той стороны, куда бросился пес. Значит, тот, кто в лесу, не должен чуять их... А вдруг он из-за деревьев наблюдает за мятущимся человеком.

Кенграй сорвался и размашистым карьером понесся в чащу. Через секунду там раздался треск, будто кто-то разом сбил все сухие сучья в тайге. Между деревьев мелькнуло что-то бурое и серое и, как само спасение, — рога! Олени! Юноша облегченно и радостно вздохнул. Исчезла неизвестность, а с ней и страх. Пларгун со всех ног бросился вслед за Кенграем.

Олени — это прекрасно! Оленем он откроет охотничий сезон! И не только сезон. Этой прекрасной добычей он начнет свой путь охотника-промысловика!..

Он бежал, ничего не видя перед собой, инстинктивно сторонясь деревьев, в кровь царапая лицо и руки. Спотыкался, падал и вновь поднимался. Его лихорадило. Что это: обыкновенный охотничий азарт? Тщеславие молодого охотника? Или проснулась доселе дремавшая жажда добычи?..

Он бежал, задыхаясь, хватая ртом холодный воздух. И вдруг остановился, будто натолкнулся на невидимую стену. Вокруг ни звука. Куда девались олени? Где Кенграй?

— Кен... Кен... — И наконец из горла вырвался не крик, а скорее — стон, переходящий в хрип:

— Кен-гра-а-ай-и-ии.

В голове пронеслась мысль: я один в лесу... Пларгун вновь впал в такое состояние, когда ноги перестают подчиняться. Глаза прикованы к валежинам и кустам, будто там обязательно кто-то затаился... И тут Пларгун понял: он боится тайги. Да, да, боится!..

— Кенграй!..

Где же собака? Куда подевалось все зверье?

Ну хоть бы какой зверь или птица выскочили вон из-за той колодины. А какой зверь?

Какой? Ноги повели в сторону. Что за зверь?.. Вон какая горбатая тень от него. Приготовился к прыжку... Ноги несут в сторону... Глаза прикованы к тени. Пларгун бросается назад, но сильный удар в темя чуть не сбивает его с ног. «Медведь!» — мелькает в помутневшем сознании...

Пларгун, шатаясь, оборачивается — ружье стволом упирается в узловатый наплыв лиственницы... Юноша еще не совсем понимает, что с ним случилось. Прошло еще некоторое время, когда он почувствовал: воротник у левого плеча мокрый. Ощупывает. На руках — кровь. Пальцы побежали выше — по щеке, шее. Что-то теплое и мягкое. В ладони — темный сгусток крови. Он застонал, когда пальцы коснулись черепа. Опухоль в пол-кулака. Мягкая, как живая: бум-бум-бум. Она отвечает на удары сердца. А череп как? Если пробит?.. Надо перевязать голову. Пларгун сбрасывает ватную куртку, срывает рубаху. Разрывает рубаху на широкие ленты. Выщипывает из куртки вату. Перевязывает голову. Надо возвращаться к лагерю. Надо...

— Ав! Ав! — чуть слышно.

Снова:

— Ав! Ав!

Да это же Кенграй! Далеко. Посадил зверя... Иначе бы с чего ему так яростно лаять? И будто не было страха и сильного ушиба — напрямик на голос! Через завалы, кусты. Только слышно, как трещит одежда. И все громче и больнее стучит в голове: бум!.. бум!.. бум!..

Крупный олень-самец стоял, низко опустив ветвистые стройные рога. Перед ним носился Кенграй. Собака пыталась наскочить сбоку, но хор вовремя наставлял рога. Несколько раз сам бросался на пса, пытаясь поддеть его рогами. Но Кенграй успевал вывернуться.

Пларгун залюбовался оленем. Сразу видно, что дикий олень отличается от домашнего. Домашний более приземист, очертания его спокойные, нрав вялый. А этот высок, стройные сухие ноги «в чулках» ровной белизны, холка взбугренная, и на ней зверовато дыбится серая шерсть. Могучая грудь. Голова изящная. Рога удивительно симметричные, пышные. Нрав крутой. А шерсть будто причесанная. Могучий красавец отвлек врага на себя, дав возможность уйти самкам.

Услышав хозяина, Кенграй с новой яростью бросился на хора. Олень сдвинул сухие ноги, пружинисто оттолкнулся и скакнул навстречу.

Пларгун вскинул ружье. Надо ударить чуть ниже передней лопатки. Олень мотнул головой, и тут же раздался выстрел. Хор вздрогнул, но не упал — пошел прямо. Кенграй отпрыгнул в сторону, чтобы не попасть под острые, как топор, копыта. Пларгун полез в карман, но не нащупал патронов. Полез в другой — тоже пусто. Отчаянью его не было предела, он вспомнил, что, зарядив ружье пулевым патроном, забыл прихватить еще. А олень уже уходил.

— Ту! Ту! — прокричал Пларгун, натравливая пса, и сам пустился следом.

Кенграй легко нагнал хора и, не останавливаясь, прыгнул сбоку, схватив за шею. Даже его могучие клыки не смогли удержаться на горле хора, защищенного густой длинной шерстью — «бородой». Олень повернул в сторону — по спине текла кровь. Высоковато ударил. Кенграй кашлянул совсем по-человечьи, тряхнул головой, чтобы освободить пасть от набившейся шерсти. И тут же вцепился оленю в бок и так рванул, что ослабевший от ран хор споткнулся и упал, неловко подвернув переднюю ногу. Озверевший Кенграй вскочил на холку оленю, зажал в смертельные тиски шею, придавил голову к земле. Охотник мигом оказался рядом, выхватил нож и, глубоко всадив в нижнюю часть шеи, перерезал горло. Кровь фонтаном брызнула во все стороны. Пларгун стоял над своей жертвой в исступлении, будто хор был повинен в том, что Пларгун боится тайги, как беззащитный ребенок...

А кровь лилась. Кровью испачканы руки, одежда, лицо. В крови собака. В крови — трава и кусты...

— Кенграй, наверно, уйхлад[1], — таинственно сказал Нехан, набивая рюкзак мясом. — Пес очень подозрительно вел себя. Как будто меня не было рядом: воет и глаза устремлены в сторону горы Нга-Биль.

— Хы... Туда медведи зимовать уходят. Там их берлоги. Говорят, там Пал-Ызнг живет, — сказал старик, разрезая тушу на большие куски.

— Я и думаю: не поселился ли в собаке чужой дух, — сказал Нехан, пристально глядя на старика.

— Собака — зверь человека. Медведь — зверь Пал-Ызнга, его собака. У каждого зверя — свой хозяин, свой дух, — медленно и негромко проговорил старик.

— Я и говорю, собака очень странно вела себя. Очень

---

[1] Уйхлад — совершивший грех.

странно. Так обычно собаки не ведут себя. Эта собака наверняка уйхлад. Она может навлечь на нас грех...

...Они шли, согнувшись под тяжестью ноши. Нехан исподлобья глядел на Лучку: крепок еще старик. Сподручно с ним в тайге. Не докучлив, все время чем-то занят. Отлично знает законы тайги... И большой умелец — замечательно мастерит легкие охотничьи лыжи. И если б не он, так быстро не поставили бы сруб...

А шкуры, ох какой умелой руки требуют они! Чуть не так и, уже мех может пойти не первым сортом. Только на сортности иные теряют сотни и сотни. Хорош старик. Чудо-старик...

«Нынче пошли люди, — неспешно думал старик, — к жизни совсем не приспособленные. Парню восемнадцатый год, а он еще и тайги не видел. В его возрасте я четырех человек кормил. Обеих жен и двух мальчиков. Старшего брата черная смерть забрала...» — Старик вовсе не был настроен на воспоминания. Но разве воспоминания приходят и уходят по велению?..

«Осталась жена брата Халкук с двумя малышами. Ее, по обычаю, я и забрал к себе. Зачем бы я ее другому человеку отдал! Халкук сдружилась очень с моей женой Ангук. Они никогда не ссорились. Во всех домашних делах помогали друг другу. Хорошие жены. Дружно жили. Очень жалел, когда умерла маленькая Ангук. Умерла, когда хотела подарить сына... Мои сыновья на фронт ушли. Хорошие были парни. Зачем обоих взяли? Хоть бы одного оставили... Они добычливыми ловцами были. Оба не вернулись...

А теперь что? Стрелять-то по зверю не каждый умеет. Тяжело, ох тяжело будет Пларгуну. И что такое с его собакой случилось? Почему она уйхлад стала? Да разве узнаешь почему? Может, хозяин чем-то нагрешил, а может, сам пес пошел против закона тайги, или его к себе злой дух зовет. Хороший пес. Но что поделаешь? Воля не наша...»

— Кровь нужна, жертва нужна, — сказал Нехан.

Они подходили к стану. Старик ускорил шаги. Тревога передалась и Нехану. Внезапно тайга кончилась, они вышли на поляну. Где же полог? На месте полога — пустота. Стоит одинокая потухшая печь, а на ней обгорелая кастрюля...

— Полог сгорел, — спокойно сказал Нехан, рассматривая обрывки брезента.

— У нас второго нет, — озадаченно сказал старик. — Да где же Пларгун?.. — Нехан снял крышку, заглянул в кастрюлю и — весь побелел. В следующее мгновение лицо его налилось кровью.

— Что наделал! Что наделал! — в гневе прошептал Нехан. — Три желчи сжег! Ограбил меня, подлец!

Лучка слышал от людей, что медвежью желчь ценят дороже золота.

— Сопляк! Молокосос! Тайги захотелось?! Соболя захотелось?! Я тебе покажу соболя! Я тебе покажу тайгу!..

...Молокосос — вот ты кто. А еще тайги захотел. Настоящей тайги. С оленями, соболями, медведями. С зимовкой в избушке среди дикой тайги... Молокосос! Ты же боишься тайги! Для тебя тайга — враг. Потому что ты ее не знаешь. Ты боишься тайги. Да, да, боишься! Хотел за жестокостью спрятать свое малодушие. Живодер — вот ты кто!

— А-а-а... Голова... О, как она гудит. А череп цел? Хоть бы череп был цел. А там как-нибудь выживем. Куда я иду? Правильно ли иду? Где Кенграй? А-а, вот он! Впереди. Он идет уверенно. Верно ведет, правильно.

...Мирл нервничал. Ругань вызывала в нем желание пустить в ход надежные свои клыки. И, как только он почуял в лесу движение, вскочил и, еще не зная, кто там, понесся к кустам, низко, по-медвежьи, опустив голову. Навстречу выскочил Кенграй. Но перестраиваться было уже поздно. Да и Кенграй понял намерение Мирла. А Кенграй, опытный боец, участвовавший во многих смертельных собачьих поединках, привык сам нападать. Он помчался аллюром.

Мирл, словно раздумывая, несколько сдержал прыть. Кенграй принял это за неуверенность. Инстинкт подсказывал: наступил момент вцепиться в горло. Мирл отлично знал: стоит чуть повернуться боком, мощный удар сшибет его с ног. И он грудью встретил Кенграя. Псы сшиблись, вздыбились. Совсем как люди, обхватили друг друга сильными лапами и наносили удары клыками.

Пларгун выбежал на яростный, захлебывающийся рык. У нивхских каюров и охотников существует своеобразный этикет: когда люто дерутся псы разных хозяев, подоспевший хозяин сильно избивает свою собаку, деликатно отстраняя чужого пса. Озверевших собак можно растащить только с помощью палки.

Пларгун прикладом отбросил Кенграя. Не успел Кенграй прийти в себя от ошеломившего его удара, как Мирл повис на его загривке. Теперь нужно было убрать Мирла, и юноша ударил его по плечу. По спине нельзя: можно повредить позвоночник. Юноше с трудом удалось разнять разъяренных псов.

— Болван! — вскочил Нехан, когда Пларгун подошел к костру. — Ты что, первый день на свете живешь: не знаешь, что ружьем бить собак нельзя!

И, поймав на себе удивленный взгляд юноши, пробурчал:

— Для тебя же стараюсь. — И посмотрел на старика.

— Грех, сын, собаку ружьем наказывать, — сказал старик. — Грех. Звери и птицы откажутся подставлять этому ружью удобное место.

Пларгун молча подсел к низкому столику — пыршу и стал закусывать остывшим мясом и юколой.

— Собрались сниматься? — спросил он, не глядя ни на кого.

— Почему ты решил, что мы собрались сниматься? — вопросом ответил старик.

— Полог-то зачем сняли?

— Сам сжег и еще спрашивает, — сдерживая злобу, сказал Нехан.

Пларгун недоуменно взглянул на то место, где стоял полог, и увидел обгорелые лоскуты брезента, остывшую печь и черную от сажи кастрюлю. Без слов было понятно, что полог сгорел от искры.

Пларгун закусил губу. Искра могла упасть и на жилую палатку. А там — зимняя одежда, спальные мешки, охотничье снаряжение... От тяжести вины стало невмоготу. Пларгун громадным усилием подавил вырывающееся рыданье.

Смотреть в глаза старшим было невыносимо, он уставился застывшим взглядом на противоположный берег реки.

Его о чем-то спрашивали. Голоса доносились откуда-то издалека, приглушенные, невнятные, как из-под земли. Пларгун ничего не понимал.

Он очнулся, когда к его плечам прикоснулись руки старика.

— Спрашиваю тебя: что случилось с головой?

Пларгун непонимающе взглянул на старика.

— Что с головой случилось, спрашиваю.

Только теперь Пларгун почувствовал, как болит голова...

Старик легонько прикоснулся к голове, снял повязку, внимательно осмотрел ушибленное место.

Большая ссадина. Может, серьезно. Волосы остричь надо, рану йодом облить надо. Повязку хорошую сделать надо. У нас же есть походная аптечка.

Подошел Нехан. Участливо поцокал.

— Да-а, серьезное это дело.

Пока старик накладывал повязку, Нехан молча смотрел на потухший костер и о чем-то думал.

Йод мучительно жег. В голове стучало. Слезы выступили на глазах.

— У него очень серьезная рана, — сказал Нехан так, будто Пларгуна здесь не было.

— Она скоро затянется, — предположил Лучка.

— Я считаю, что Пларгуна нужно везти в больницу, — ни на кого не глядя, продолжал Нехан.

— Как его повезешь отсюда? На чем?

Пларгуну хотелось заснуть, положить голову на что-нибудь мягкое, теплое. Разговор старших совсем не интересовал его, будто говорили не о нем. И смысл разговора не доходил до сознания.

— Километрах в сорока отсюда есть стойбище рода Такквонгун — таежных охотников. Там помогут. Где на лодках, где пешком. Нашему другу надо в больницу.

— А дойдет ли пешком? — усомнился старик. — Ведь это далеко. Нужно идти через перевал.

Не найдя решения, Лучка отрешенно попыхивал трубкой.

И тут старшие увидели, как юноша медленно обернулся к ним. Лицо его, до этого безразличное ко всему, стало осмысленным.

— Что вы говорите?..

Старшие молчали. Нехан глянул на Лучку, как бы прося поддержки.

— Слушай, нгафкка, — сказал он. — Мы еще не знаем, к чему приведет твоя ссадина. Может случиться осложнение. И мы со стариком ничего лучшего не нашли, как отправить тебя в поселок. Тебе необходимо в больницу, к врачам.

Пларгун молчал. В тоне Нехана — явно подчеркнутое участие. А может быть, это только казалось?.. Спокойно и уважительно, как подобает говорить со старшими, Пларгун ответил:

— Я очень огорчен, что своим нелепым поступком причинил вам столько хлопот. Но вряд ли вы будете спокойны, если в таком состоянии я пойду через тайгу в сопки. Череп, к счастью, не поврежден. Ссадина залита йодом. А йод — сильное лекарство. Давайте подождем немного. Если будет хуже, я приму ваше мудрое предложение.

Пларгун сам удивился себе. Как это он сумел сказать все так хорошо и складно?

Нехан нетерпеливо повел плечами и сказал мягко:

— Нгафкка, ждать никак нельзя. Я же сказал, может быть осложнение. Тогда врачам будет трудно. Ведь повреждена голова, а не что иное! — Нехан многозначительно постучал пальцами по виску.

Мудрость юноши только проклюнулась мокрым птенчиком и умерла тут же под строгим взглядом Нехана. И ничего он не нашел лучшего, как сказать:

— Все-таки надо подождать. Я думаю, все будет хорошо...

— Я старший здесь! Я начальник! — закричал вдруг Нехан. — И отвечаю за всех! Я требую не возражать мне.

Старик пристально, с прищуром, взглянул на разошедшегося Нехана.

— На пострадавшего человека грех кричать, нгафкка...

Прошло еще два дня. Ссадина затягивалась. Голова прояснилась, освободившись от тупой и нудной боли. Никто не возвращался к разговору об уходе Пларгуна в поселок.

За это время Нехан и Лучка справились с избушкой.

Звеньевой отстранил Пларгуна от работ — тому нужен покой. Юноша трудно переживал вынужденную бездеятельность. И нет-нет да подсоблял в чем-нибудь.

Было решено — не задерживаясь, перекинуться к Трем ключам и в два-три дня поставить избушку для Лучки. Но Нехан вновь завалил медведицу, и это задержало переброску на юг.

К тому же Лучка настаивал, чтобы ритуал проводов медведицы к Пал-Ызнгу был соблюден до конца. У тайги свои законы, утверждал старик. Они от человека не зависят. Надо эти законы соблюдать. Нельзя гневить Пал-Ызнга. А то он болезни и неудачу на людей напустит.

Все сознавали, что время торопит, но Нехан понял: возражать нельзя. Старик не простит неуважения к обычаям.

Игрищ не было, да и не могло быть: людей-то всего трое. Зрелищная часть праздника начисто исключалась. Из-за отсутствия нгарков — представителей рода ымхи — ритуал сократился до крайнего минимума. Оставалось только изобразить финал — проводы медведя к хозяину гор. Для этого требовались жертва и гостинцы.

Гостинцами могут быть клубни саранки, крупа и обязательно мос — своеобразное блюдо, приготовленное из ягод и студня из вареной рыбьей кожи. Мос — пища богов. А в качестве жертвы приносят обычно собаку.

Увешанный всевозможными гостинцами, сопровождаемый собакой, медведь, а точнее — душа медведя, отдавшая свою плоть людям, идет к Пал-Ызнгу — богу охоты и тайги — и передает ему просьбы людей. А просьб у людей много: чтобы охотнику способствовала удача, чтобы голод не посещал селения, чтобы никто в роду не болел.

Нехан попытался было предложить отдать Кенграя в жертву. Тем более Кенграй — уйхлад. Старик, внимательно слушавший Нехана, вовлеченный в сложную игру обычаев, упорно молчал, потом недовольно крякнул, всем видом выражая несогласие.

И мос не стали варить — дело это хлопотливое. Да и не взяли с собой юколу тайменя, толстая кожа которого идет на студень. Жертва символическая: немного юколы, горсть крупы, несколько пачек махорки, папирос (хорошо, хоть старик курит) и спичек, несколько кусков сахару.

Старик сколотил «дом» — ящик с двускатной крышей, положил в него кости и головы медведей и вознес его на настил лиственницы. Нехан помог поставить у «дома» прунг — священные молодые елки, украшенные священными стружками — нау. Все предметы, имевшие какое-либо отношение к святому зверю, должны лежать в одном месте, которое отныне становится священным. У этого священного места нивх обращается со своими нуждами к Пал-Ызнгу. Но и здесь допустили нарушение. На священное место отнесли только сим-

волическую жертву: «гостинцы», испачканный кровью медведя еловый лапник, который подкладывали под мясо, импровизированные носилки, головешки от костра. Никто, конечно, и не намеревался пустить в ход рюкзаки, посуду и другую утварь, тоже имевшие какое-то отношение к медведю...

На все это ушел еще один день... Только с рассветом нового дня с набитыми рюкзаками пошли они по распадкам в сторону полудня, к Трем ключам.

Было решено не отвлекаться на охоту, чтобы сразу приступить к постройке избушки для Лучки.

Три ключа — это падь, место слияния трех ключей, которые, извиваясь, врезались в темнохвойные сопки. Сопки богаты брусникой. По обеим берегам ключей — мари, красные от клюквы. Отличное охотничье угодье!

Сруб рубили буквально от зари до зари. К исходу второго дня избушку накрыли крышей из жердей и корья, насыпали поверх земли. Ночевали у нодьи — долгого таежного огня...

Крикливое воронье хищно кружилось над деревьями. Подгоняемые тревогой люди выскочили на поляну. Собаки с азартом и визгом помчались к противоположной опушке леса. Что-то темное мелькнуло за деревьями.

Стан был разгромлен и разграблен. Тут каждый лесной житель в меру своих возможностей приложил лапы и зубы. Наибольший вред принесли, конечно, росомахи. Сильные и наглые, они разворочали лабаз с копченой медвежатиной, сожрали и растащили большую часть запасов. Они проникли в избушку, расшатали крышу, изгрызли дверь. Даже коптилка и потухший очаг не были обойдены их вниманием: от коптильни осталась бесформенная куча жердей, а к очагу росомахи обращались после сытной трапезы — он стал у них удобным отхожим местом.

Собаки мигом нагнали зверя и яростно лаяли: зверь взят. Услышав приближение людей, псы осмелели.

Кенграй хваткой в заднюю ногу отвлек росомаху, и Мирл в точном броске сомкнул свои могучие челюсти на горле хищника.

Подбежали люди. Нехан сверкнул глазами.

— Так, так его. Рвите. Рвите его...

— Хватит! — крикнул старик и отогнал рассвирепевших псов.

Затем, изловчившись, ударил росомаху ножом.

Весь день до вечера они шли через тайгу по узкой долине Ламги к ее истоку.

Нехан только помог донести вещи, ему нужно было починить покалеченное зимовье. В тот же вечер он ушел и обещал прийти через два дня.

Охотничье угодье юного охотника — верховье реки Ламги, там, где в реку впадает небольшой приток. Хвост Ящерицы. Повернутый к югу приток тонок и извилист. Он действительно похож на струящийся хвост ящерицы.

Охотники недолго выбирали место для сруба. После короткого совета остановились на высоком спокойном возвышении, устланном ковром ягельника.

И вот на таежном возвышении, может быть впервые за все века существования, вспыхнул костер.

Вскоре люди легли под кустом кедрового стланика. Их спины всю ночь ласкало тепло огня.

Земля перестала отдавать душистой прелью. Лишь в полуденное безветрие земные запахи оттаивали и, еле уловимые, парили в остывшем воздухе. С ветвей уже давно слетала листва.

В щелях узких распадков густо теснились ели. Оголенная лиственница заняла просторные склоны сопок. Березы, невыносимо белые на мрачном осеннем фоне, кокетливо выглядывают то тут, то там из сумрачных ельников.

Под кедровыми кустарниками, что облепили наветренные склоны сопок, на лишайниковых проталинах в лиственничном редколесье краснела брусника.

Пларгун, вспотевший от напряженной работы, стоял над речкой, которая мчала свои холодные струи вниз по узкому дну распадка.

Берег реки был усеян трупами лососей, дряблыми после нереста. На перекатах плескались, преодолевая сильное течение, сотни больших рыбин, еще не успевших отдать мелководным плесам свое потомство. Когда-то они еще дойдут до своих нерестилищ!..

— О-хо-хо-о-о! — тревожа таежную тишину, чуть слышно доносится снизу.

Через секунду, усиленный крутыми склонами сопок, повторяется человеческий крик. А сзади раздается приглушенный грохочущий звук, мало похожий на крик человека. Это человеку ответили горы, крутосклонные и зубчатые, с высоким перевалом в северной части.

Пларгун подсунул под лиственничный обрубок заостренный конец ваги из каменной березы, рванул ее вверх. Обрубок сперва медленно, потом все быстрее и быстрее покатился по галечному склону, криво подскочил на камнях, звучно и тяжело шлепнулся в воду и высоко плеснул брызгами.

Поддел вагой второй обрубок. Спрыгнул с обрыва, обвязал веревкой оба бревнышка, обмотал другим концом бечевки левую руку и оттолкнул ногой спаренные бревна. Течение бойко подхватило их и понесло.

Пларгун, в длинных резиновых сапогах, шел сзади, удерживая и уводя бревна в сторону от цепких коряг.

На излучинах бревна непослушно выскакивали на мели или, подхваченные завихрившейся струей, рвались, как собаки в упряжке, к середине реки. И юноша с трудом сдерживал их, направляя по прибрежной струе.

Идти по галечному дну легко. Течение подталкивало сзади, и достаточно было оторвать ногу от дна, как струи сами несли ее вперед.

Пларгун шел крупным шагом, вслушиваясь, как упругие холодные струи бьют по ногам. Казалось, силы горной реки вливаются в молодое тело.

Первая пороша

Деревья будто покинули тайгу — их совсем не слышно. Еще днем светило солнце. К вечеру белесая синева осеннего неба потускнела. Откуда ни возьмись, появились тучи. Нет, ты не заметишь, чтобы их принесло откуда-нибудь. Они появляются будто из глубин космоса. Не видно и не слышно, как тени, опускаются ниже, ниже, густеют, медленно проявляются и вот уже толпятся над твоей головой, тяжелые, плотные и неподвижные. Нет ни малейшего ветра. Земля, обложенная облаками, приглушает звуки. Все притихло в ожидании чего-то нового, важного.

...Свеча горит ровно, слабо освещая короткую чурку, на которой она стоит, стол, вытесанный топором из нескольких лиственных поленьев, положенных одно к другому и приколоченных к двум толстым чурбакам. Свет мягко играет на маленьком черном квадрате окна, выделяет круглые, небрежно ошкуренные венцы. Между ними неровно выпячиваются сплющенные желтовато-серые слои мха, используемого в тайге вместо пакли. В двух шагах от двери, в которую можно войти только пригнувшись, горит сдвинутая к углу жестяная печка. Горит спокойно, бесшумно. Свет от нее и от свечки упирается в низкий потолок, сложенный, как и стены, из лиственного долготья. В дальнем от двери углу грудятся темные мешки, набитые продуктами: мукой, крупами, макаронами, сахаром, солью. На стене — ружье, патронташ и охотничий нож в чехле из толстой кожи сивуча[1]. На чехле вырезан нивхский орнамент. Над печкой у самого потолка висят две пары широких лыж, вытесанные стариком из сколотой пихты. Старик выгнул их с помощью деревянных распорок. Обещал через неделю принести нерпичий мех и обшить им лыжи.

Пларгун лежит в теплом лыжном костюме, заложив за голову сцепленные руки, а в голове вяло ворочаются ленивые

[1] Сивуч — (морской лев) — крупный вид тюленя.

мысли. Под спиной приятно ощущается мягкость спального мешка и оленьей шкуры.

В избушке не просто тепло — жарко. Но раздеваться не хочется. И скоро все равно нужно будет одеваться: дрова догорят, и тепло постепенно уйдет. Юноша ждет, когда накопится уголь, чтобы закрыть трубу. Кенграй развалился на боку у двери и дремлет. Ему, сытому и довольному жизнью, нынче очень спится. Он разлегся сразу же, как наелся наваристой похлебки из свежей оленины. Разлегся и позевывает, вытягивая розовый язык и умиротворенно поскуливая.

Признаться, трудно представить, что ты оказался один на один с тайгой, с ее законами, которые ты плохо, очень плохо знаешь, с ее ночами, полными неизвестности и страха.

Теперь ты один, как на маленьком островке среди пустынного океана. Когда-то Пларгун читал увлекательную книгу о Робинзоне. Сейчас он сам, как Робинзон. У того хоть был Пятница, его раб и друг. Правда, с Пларгуном его друг Кенграй. Только неизвестно еще, кто из нас Пятница, думает юноша.

Утром Пларгун вышел из своей избушки, не зная, за что взяться, с чего начать свой первый день самостоятельного охотника-промысловика. О, как он ждал этого дня! И вот он наступил. Наступил как-то сразу — с уходом из его промысловой избушки старика Лучки. «Пусть добрые духи тебя не покидают. Не разгневай их. Пусть будет удача тебе!» — сказал старик. Его сутуловатая сухая спина еще некоторое время мелькала между ветвями, пока тайга не поглотила его. Ушел, оставив в душе смятение и неуверенность.

Пларгун долго сидел на пне от молодой лиственницы, которая еще несколько дней назад шумела ветвями, а теперь стала венцами избушки. Его взгляд безотчетно следил за черным муравьем с рыжеватым брюшком. Луч скупого осеннего солнца чуть-чуть прогрел маленькое зябкое тельце, и муравей, на миг очнувшись от сна, стремился успеть что-то сделать. Он куда-то тащил бурую высохшую хвоинку кедрового стланика. Тащил, не зная куда. А может быть, знал, для чего ему понадобилась эта хвоинка...

...Из гущи леса раздался резкий взволнованный крик сойки. В ту же секунду, приглушенный расстоянием, донесся сухой треск, будто под большой тяжестью сломался толстый сук. Что это могло быть?

Треск. Еще треск. Волнение пробежало по всему телу. Первая мысль: к избушке идет громадный медведь. Это под его тяжестью хрустят сухие сучья. Наверно, его привлекли запахи мяса. Хотелось вбежать в избушку и там уже, как в крепости, принимать осаду зверя.

Вновь заверещала сойка. В ее голосе слышались не тревога, скорее любопытство. Через секунду ей ответила вто-

рая сойка. Из глубины леса поспешила напомнить о себе третья. Низко над избушкой, торопясь, пролетели в сторону звуков две голубокрылые лесные птицы.

Пларгун взял на поводок забеспокоившегося Кенграя и, пересиливая волнение и неуверенность, медленно пошел через поляну.

Теперь соек собралось множество. Они кричали азартно и часто. Казалось, идет какое-то представление, а сойки — лесные зрители — отзываются темпераментно и бурно.

Кенграй нетерпеливо взвизгнул, сильно потянул поводок. Пларгун, увлекаемый могучим псом, пошел быстрее. Пес, по-видимому, уже знал, кто находится в лесу: его чуткий заостренный нос заходил ходуном и вмиг повлажнел.

У колодины Пларгун остановил пса, Кенграй недоуменно глянул на хозяина: «Что ты?»

Пларгун оттянул пса в сторону, обошел колодину: все норовишь напрямик. Тебе колодины и выворотни — ничего. Ты бы, конечно, с маху взял их и... запутал поводок. А тут вдруг насядет на нас медведь, и я отбивайся один... Я хоть и молод, но не обладаю звериной прытью.

Впереди посветлело. Оттуда раздавались сап и возня. Медведь? Что он делает? Возится с выворотнем, чтобы из-под него достать барундука или какого-то другого зверька? Кенграй вздыбился, рванулся и протащил охотника на несколько шагов вперед.

То, что увидел Пларгун, сразу уняло волнение, вызвало только любопытство.

Охотник осадил пса. Кенграй, разгоряченно дыша, прилег на землю.

На поляне, голова к голове, застыли два огромных хора. Они уперлись раскидистыми рогами и, тяжело пыхтя, напирали друг на друга. Сначала они напоминали неуклюжих борцов, которые силятся столкнуть друг друга со светлой полянки.

Но вот олени разошлись. Головы опущены низко, глаза, налитые кровью, навыкате.

Слева хор — с мощным кустом рогов, широкий в костях, приземистый, плотный, даже несколько полноват для вольных дикарей. Под его серой шкурой ходят бугры мышц. Высокую холку венчает широкая кисть седой шерсти.

Справа — бурый хор на высоких сухих ногах, будто одетых в белые чулки. У него более редкий куст рогов, но отростки длинные и острые. Шея стройная, длинная. Грудь вся обтянута буграми мышц.

Бурый нетерпеливо вытанцовывает боевой танец. Но серый собрался в один миг. Под богатой длинношерстной шкурой пробежала волна мышц, все четыре ноги сошлись в одну точку, и в следующее мгновение серый, будто выброшенный пружиной, бросился на противника. Бурый принял на-

падение точно на рога. Раздался треск. Кто-то из соперников хрипло взревел. Мощный удар отбросил громадные тела друг от друга. На какое-то мгновение задние ноги бурого подломились. Это скорее почувствовал, нежели увидел серый — испытанный боец. Не давая опомниться противнику, он нагнул голову и кинулся на бурого. Но бурый, быстро оправившись от удара, ушел в сторону, и толстяк грузно проскочил рядом. Бурый по ходу успел дважды всадить свои рога в бок толстяку. Олени развернулись и вновь сошлись.

«Вот безмозглые твари, — подумал Пларгун. — Кажется, взрослые, а дерутся, как дети».

Кенграй порывался вмешаться в драку исполинов, но рука хозяина лежала на его шее: не шевелись!

Длинные ветвистые рога противников мудрено переплелись между собой, и теперь оленям ничего не оставалось, как пытаться любой ценой отцепиться. Но и в таком положении они, уловив миг, наседали друг на друга. Толстяк надавил. Под мощным напором согнулась длинная шея бурого, его опушенные короткой шерстью губы задевали о мерзлую землю. Из ссадины выступила кровь. Запах крови ударил в чуткие ноздри старого бойца. И он, победно, рявкнув, пошел напролом. Бурый, отступая, ловко бросил свое тело в сторону.

Толстяк ожидал яростного сопротивления, но никак не предполагал такого хода. Он споткнулся, припал на передние колени. Шея как-то неловко подвернулась. И тут молодого хора будто подменили. Словно где-то внутри его могучего тела сохранялся неизрасходованный запас сил. Оттолкнувшись ногами, он взлетел в воздух и всей массой обрушился на замешкавшегося противника. Острые рога глубоко вонзились в упругий бок старого хора. Тот как-то странно рявкнул, обмяк и в следующее мгновение рухнул на землю. Бурый еще раза два поддал его рогами и отошел в сторону, тотчас забыв о противнике, который мучительно пытался встать на ноги. Победитель, высоко подняв голову, повел окровавленными рогами, чутко вслушался во что-то и внимательно уставился в кусты.

«Что там? — подумал охотник. — Еще соперник? Хватит и одной жертвы!»

Пларгун хотел было прогнать с поляны самоуверенного хора, но заметил: там, куда так пристально смотрел победитель, кусты зашевелились. И через секунду оттуда вышла молодая стройная самочка.

Маленькие пышные рожки подчеркивали ее элегантность. Она шла, явно играя такими стройными ножками, поводя аккуратной головкой на длинной шее, кротко и кокетливо глядя на победителя. А он, страстно всхрапывая, поджидал, когда самочка подойдет к нему.

Какой-то внутренний протест овладел всем существом

юноши. Он с презрением смотрел на самку, из-за которой произошла кровавая драма. С ненавистью и с восхищением — на могучего хора... У кого силы больше — тот и хозяин. Победитель получает все, побежденный — ничего... И если он не повержен насмерть, то ему уготовлено жалкое существование. А то вовсе съедят его другие, более мелкие звери...

Самка даже не взглянула на поверженного богатыря. Она, ласкаясь, потерла рожками грудь могучего красавца, ее куцый белый хвостик нервно и страстно задергался.

Поверженный богатырь мучительно силился подняться...

Вокруг торжествующе и хищно закричали красивые птицы сойки — маленькие лесные разбойники.

В тайге действуют законы тайги. Они, точно тысячи духов, притаились и внимательно следят за каждым шагом юноши, рискнувшего войти в их владения. Притаились, выжидая, когда назреет время, чтобы встать поперек его дороги и зловеще захохотать: «А вот и мы! Попробуй-ка, одолей нас!..»

Пларгун, оставшись один, растерялся, не знал за что взяться. Дел оказалось множество. Он хватался за все и тут же бросал. В первый день руки просто-напросто опустились.

Пларгун свалил в кастрюлю пшенную крупу и подстреленного рано утром рябчика и пытался сварить суп. Получилась бурда. Крупа так и не проварилась, и ее вместе с бульоном пришлось отдать Кенграю. Но и тот, выхлебав наваристый бульон, как истинная нивхская собака, брезгливо отвернулся от растительной части варева.

Чтобы хоть как-то занять день, Пларгун нарубил сухостойной лиственницы, снес к избушке, сложил небольшими штабелями. Дрова всегда нужны, все равно когда-то надо потратить на них время...

Печка, чуть потрескивая, ровно гудит. В душе — смятение.

В поселке ребята сейчас собрались в клубе. Накюн, конечно, неважный моторист, но парень хороший. И баянист хороший. Сам научился играть. Помнится, за участие в районном смотре художественной самодеятельности клубу вручили баян. Какая это была радость! А до этого все крутили старую радиолу, которая в последнее время стала хрипеть и странно подвывать. Сколько раз обращались к председателю с просьбой купить баян, но тот возмущался: на ремонт квартир нет денег, а тут подавай им баян! Но все-таки добились ребята своего: председатель уступил. И тут оказалось, что баяна нет ни в одном магазине района. Обращались в торгующие организации, в управление культуры — везде ответ: мы не фабрика музыкальных инструментов...

И вот, когда в один из тоскливых осенних вечеров ребята

и девчата собрались в своем старом клубе и скучающе рассматривали на стене пожелтевшие плакаты, вбежал Накюн.

— Друзья! — воскликнул он. — Ведь есть на свете «Союзпосылторг»!

— Ура-а-а! — закричали ребята.

— Качать его! — И подбросили Накюна, так что бедный моторист не рад был своей находчивости.

Говорят, авиаписьмо идет из областного центра в Москву всего два-три дня. Возможно, люди, которые пишут в Москву и оттуда получают ответы, говорят правду. Ребята подсчитали, что на переписку с «Союзпосылторгом» понадобится всего-навсего две-три недели, не больше. На пересылку денег телеграфом, на получение этих денег в Москве, на упаковку посылки, отправку, на время пути уйдет дней двенадцать. В общем, к Октябрьским праздникам, если не раньше, баян будет в колхозе.

Дни потянулись томительно и длинно, хотя осенние дни коротки, как миг. Вот уже застыли лужи. Вот и болото у поселка замерзло. Вот и озеро за болотом покрылось льдом, и ребятишки, забывая об обеде, целыми днями катаются там — кто на резиновой подошве, кто на самодельных салазках, а кто и на коньках.

Вот по заливу поплыло «сало» — шуга. На смерзшихся комках молодого льда — нерпы. У молодежи появилось новое занятие — охота на нерпу.

Незаметно подошли праздники, и тут вспомнили о баяне. Даже ходили на почту: не затерялось ли там письмо из Москвы. Почтарь Будюк, угрюмый и сильный украинец средних лет, приехавший на побережье по вербовке, воспринял их визит как оскорбление почтенной огранизации — советской связи. Он обругал их и выпроводил за дверь.

Глубокой зимой пришел наконец из Москвы пакет с прейскурантом.

Чего только не было в том прейскуранте! Там было все, от карандашей до лодочных моторов. Последние так заинтересовали рыбаков, что баян отошел на задний план...

Наступили сроки смотра-конкурса. И председатель, посадив в тракторную будку бригаду рыбаков в двадцать человек, сказал трактористу:

— Насчет первенства — не знаю, но чтобы всех привез обратно в целости и сохранности.

Плохо ли, хорошо ли выступали рыбаки, никто в колхозе не знает. Об их выступлении не писала даже районная газета. Сами артисты, как подобает истинным талантам, тоже не рекламировали себя, скромно помалкивали.

Тракторист выполнил наказ председателя. На другой день к вечеру привез обратно не только рыбаков, но и... баян — привез за активное участие в районном смотре художественной самодеятельности!

Однако танцев в тот вечер не было. Накюн, известный во всем поселке гармонист, без которого не проходит ни одна свадьба или вечеринка, лихо взял в руки призовой баян, удобно расселся на услужливо предложенный кем-то стул и, чувствуя себя в этот миг самой важной персоной, если не на всей планете, то, во всяком случае, в поселке, взял аккорд и растянул мехи. Получился какой-то нестройный звук. Пальцы побежали было по клавишам, но вдруг споткнулись. Накюн, обветренный до цвета лиственничной коры, покраснел и стал похож на перезрелую клюкву.

— Испорченный, — сказал кто-то.

— Дурак, расстроенный, — солидно поправил другой.

Тогда заведующий клубом разрешил Накюну взять баян домой — пусть переквалифицируется из гармониста в баяниста.

Прошло всего каких-нибудь полгода, и на вечере, посвященном Первомаю, Накюн появился с баяном.

Мнение присутствующих было единодушно, музыкант совершил большой подвиг. Он играл на баяне не хуже, чем на гармошке!

Кто-то даже сказал: если Накюн будет расти такими темпами, то будет играть не хуже баяниста из районного Дома культуры.

...Сейчас молодежь собралась в клубе и танцует. Кто не умеет танцевать, столпились на маленькой сцене и играют в бильярд.

Пларгун чаще всего проводил вечера здесь, ловко вгонял в лузы металлические шары, проигрывал и снова занимал очередь, украдкой поглядывая в зал: кто танцует с Нигвит?

Нигвит, маленькая и круглолицая, выделялась необычайной бойкостью. После выступления на смотре художественной самодеятельности она отрезала свои черные косы и ходила с какой-то мудреной прической. Ее голова теперь напоминала осеннюю болотную кочку: будто кто повыдергал волосы, а жалкие остатки топорщились в разные стороны, как обожженная холодным ветром жесткая болотная трава.

— В райцентре давно уже никто не носит косы, — сказала Нигвит подругам.

...Темным сентябрьским вечером Пларгун шел прибрежными буграми, торопился в клуб. Вдруг под песчаной дюной послышалась возня. Пларгун поначалу подумал, что это шумит приливное течение. Вслушался. Казалось, кто-то силится поднять что-то неподатливое. Услышал и глухой прерывающийся шепот. Это говорил Накюн. Только он мог говорить так быстро, заглатывая слова.

— Нет! — полушепотом ответил женский голос.

Снова шепот. И снова шелест.

— Нет! — отчаянно сказал тот же голос.

Пларгун, устыдившись, быстро зашагал в сторону клуба.

Сзади послышались торопливые шаги.

— А, это ты, Пларгун? — будто обрадовавшись неожиданной встрече, сказала Нигвит.

Она засеменила рядом. Пларгун смотрел под ноги, точно боялся споткнуться, неловко переступая, чувствуя, как дрожат колени.

До самого клуба Пларгун так и не нашелся, что сказать.

Следом за ними появился Накюн. Подошел к бильярдистам и безучастно уставился на шары, будто видел их впервые. Его попросили сыграть на баяне. Он долго отказывался, потом уступил. Играл вначале вяло, потом разошелся.

Маленькая Нигвит поднялась на сцену и подошла к Пларгуну:

— Идем, потанцуем!

Пларгун не помнит, как они ушли из клуба. Все произошло как в полусне.

Они шли по прибойной полосе песчаного берега. Бугры молчаливо подняли головы, настороженно и чутко вслушиваясь в ночь. На их склонах кое-где цеплялся узловатый кедровый стланик. Легкий ночной ветер притаился в этих кустах и перешептывался с буграми. Справа у самых ног, мерцая и фосфоресцируя, клокочет черная вода. Она дышит холодом и сыростью. Невысокие волны длинными светящимися складками накатываются на берег, выплескивая брызги и пену, шелестят галькой, морской травой и журча откатываются.

Была холодная ночь. Но молодые шли медленно, прижавшись друг к другу. Нет, они не сговаривались, куда идти. Ноги сами несли их от поселка в ночь.

И вот теперь один в таежной избушке за много-много километров от человеческого жилья Пларгун вспомнил тот вечер.

...В поселке сейчас танцуют. Кто танцует с Нигвит? Думает ли она обо мне? А мы вместе учились в школе. Только Нигвит была классом старше. И жили через улицу, а вот случилось же — будто встретились впервые...

Не тебя ли выискивал я среди других девушек? Не на тебя ли поглядывал я украдкой, когда ты, вся облепленная мерцающей чешуей, озорно смеешься после хорошего улова?

Даже чайки, услышав твой звонкий голос, шумно срываются с дальней косы и долго кружатся над заливом, радуясь своим сильным крыльям и легкому парению...

С кем ты танцуешь, Нигвит?

...Его отвлекла от воспоминаний необычная тишина. Вслушался: дрова уже перестали гореть. Надо сохранить тепло, пока оно не вылетело в трубу. Поднялся. Нет, тишина слишком необычна. Мягкая тишина... Что происходит?

Кенграй мигом вскочил и, радостно повизгивая, нетерпеливо уставился на дверь.

Пларгун натянул нерпичьи торбаза и, не застегивая шнурков, толкнул дверь.

Что это?

Снег!

Падает густыми хлопьями, медленно, торжественно, сознавая всю свою важность. Не зря так сладко зевал Кенграй!

Темные ели будто накинули на плечи белые вязаные шали. Земля притихла под свежим теплым одеяньем. Только кое-где в белом лесу чернеют выворотни.

Тихо, совсем тихо. Лишь слышен бесконечный, волнующий, как хорошая музыка, шелест падающего снега.

Кенграй ошалело понесся вокруг избушки, остановился, вспахал носом мягкий снег, шумно и отрывисто принюхался к своему же следу...

Старик налегке уходил от юноши, но в душе уносил тревогу. Под самое сердце закралось сомнение: сможет ли этот совсем еще неопытный мальчик выстоять против одиночества? Правильно ли поступили они, взрослые, взвалив на его неокрепшие плечи эту неимоверную тяжесть? Не лучше ли было бы оставить мальчика с кем-нибудь из них?

В первый день, когда юноша уходил на речку за водой, Лучка высказал свои сомнения Нехану. Тот, еле сдерживая гнев, ответил:

— План дали большой. Надо охватить побольше угодий. И тайга — не курорт, чтобы, объевшись жирного мяса, валяться на шкуре. Никто гробиться за него не будет.

Потом уже тише, не сводя прищуренных глаз со старика:

— Мы и вдвоем бы взяли план...

Пларгун еще совсем мальчишка. А Нехан тяжелый человек. Разве так добрые люди поступают? Какой же нивх на его месте принял бы такое решение? Да, Пларгун — совсем мальчишка. Правда, в его возрасте я уже был посвящен в основные тайны охоты и кормил семью и стариков... Сегодня люди взрослеют позднее, нежели в мое время. Молодые, пока возьмут на свои плечи заботу о продолжении рода, уж очень долго готовятся: учатся в школе, потом еще где-то. Сегодняшняя жизнь — совсем не такая, какая была в годы моей молодости. В ней много сложностей. Молодые люди умеют разбираться в этой жизни и распутывают ее сложности, как охотник распутывает следы хитрющей лисы.

Но ведь много людей не понимают жизни тайги. Для них тайга — это такая сложность, какой является для меня их жизнь... Вот, к примеру, случай. По годам мне давно полагается пенсия, но я до прошлого года не ходил просить ее: слава богу, ноги еще держат меня, глаза, правда, стали видеть слабее, но еще могу направить мушку на убойное место зверя. Но слышал я, что другие почтенные люди, у кото-

рых наступает пенсионное время, идут к властям. Их встречают с распростертыми объятиями и тут же вручают пенсию. И они каждый месяц получают эту пенсию, хотя и не работают. Некоторые из них еще довольно крепки. Но раз наступил пенсионный возраст — подавай им пенсию.

Я сперва стеснялся просить пенсию. Последние годы охотился на нерпу. От нерпы, правда, никаких заработков, но кормиться ею можно. Небольшая пенсия могла бы быть подмогой. Ведь нерпа не всегда бывает. Да и на одном мясе не проживешь. Вот и набрался духу. Да и сородичи подбивали меня на это. «Чего ты, говорят, отказываешься от денег. Что они лишние, что ли?» Рассмешили. Да у меня никаких денег не было. Откуда им взяться?..

Вот и я пошел за пенсией. Пришел к председателю колхоза. Они меняются часто, председатели. Этот председатель недавно в колхозе, второй год. Его прислали из области на место прежнего, которого почему-то убрали.

Председатель обрадовался моему приходу, будто я ему приятель какой, по которому он сильно соскучился.

— О-хо-хо! — воскликнул он, раскрыв широкие объятия. — Кто пришел! Проходи, Лучка, садись! — Взял меня под руку и посадил на стул у большого стола. А стол у него покрыт свежим красным сукном. Раньше, у других председателей, скатерть была одна и та же, потертая, с порезами и залитая чернилами. А этот сразу купил новую скатерть. Стоит, улыбается. Загорелый, только вернулся из отпуска. Отдыхал у Черного моря. Интересно, почему-то дальнее море называют «черным»? Может быть, потому что люди там обугливаются от сильного солнца? Далеко то море. Но рыбаки ездят туда отдыхать. А чего не ездить, когда поездка им дается бесплатно, колхоз платит? Правда, далеко не все нивхи ездят туда. Года два назад побывал там рыбак Лиргун. Вернулся похудевший в конец и черный, как будто его все время держали над очагом.

«Жарко, — сказал он. — Кое-как выжил до конца срока. Нивху лучше не ездить туда!»

А этот улыбается. Радость так и брызжет из него.

— Ну, чем могу быть полезен тебе?

— Пришел за пенсией, — сказал я.

— За какой пенсией? — удивился председатель.

— Ты что, не видишь, что я стар?

— Вижу, вижу. Но ты не рыбак. Колхоз наш рыболовецкий.

— Ну и что же, что не рыбак. Я старый человек. Есть такой закон: старому человеку полагается пенсия.

— Есть такой закон, — соглашается председатель. — Но нужен стаж работы для пенсии.

— Чего нужно?

Кое-как понял, что такое «стаж».

— А я что, бездельничал, по-твоему? Я всю жизнь охотничал и рыбачил.

— Но ты же сейчас не рыбак, — спокойно говорит председатель.

— Я сейчас старый человек, — говорю я.

Потом вспомнил, что несколько лет рыбачил в бригаде.

— Я рыбачил в колхозе. Все старики подтвердят это.

— Сколько ты рыбачил? — опять спокойно спрашивает председатель. Он уже перестал улыбаться.

— С перерывами — около десяти лет.

— Мало! — коротко сказал председатель.

Сказал, будто отрезал.

— Но я всю жизнь охотничал и рыбачил! — в отчаянии кричу я. А в сердце такое чувство, как будто качусь вниз по мокрой глинистой круче и не за что зацепиться, а впереди клокочет ледяная вода.

Председатель молчит.

— Что, разве охота — не работа? — кричу я.

— Работа, — отвечает председатель.

— Ну, так давай пенсию!

— Не могу, — спокойно, очень спокойно говорит председатель. Мне уже кажется, что этот сытый человек издевается надо мной.

— Давай пенсию! — требую я.

— Пойми, Лучка, колхоз тебе пенсию не может дать, потому что у тебя нет стажа работы в колхозе. Да ты давно уже и не колхозник. Ты охотник. Охотишься на «Заготпушнину», а не на колхоз. — Очень длинно отвечает председатель.

— Что же мне делать? — совсем убито спрашиваю.

— Не знаю, чем помочь. — Потом, подумав, добавляет: — Иди в сельсовет. Там скажут, что делать.

Пошел в сельсовет. Председатель там женщина, уже в возрасте. Все в поселке знают: она добрая женщина. Она-то даст пенсию.

— Пенсия? — спросила она. — Надо обратиться в колхоз.

Маленькая надежда, которая толкнула меня подняться по крутой лестнице сельсовета, погасла тут же, как только вошел в сельсовет.

Поехал я через неделю в район, обратился к пушнику. Он меня уважает — я же, считай, всю жизнь сдаю пушнину.

— Да ты что, в уме ли? Где ты видел, чтобы «Заготпункт» выдавал пенсию охотникам? У нас есть штатные работники, им полагается пенсия. А ты хоть и охотник-промысловик, но охотишься по договору только на период охотничьего сезона.

Вот и все. Я не знаю, как убедить людей, что я — промысловый охотник, работаю всю жизнь: зимой охочусь на пушного зверя, весной и осенью — на нерпу. Летом, конечно, ни один охотник не охотится — не сезон. Летом я рыбачу, заго-

товляю юколу, чтобы зимой кормить себя и упряжку собак. Пушник посоветовал обратиться в райсобес. Там могут дать пособие по старости. Но мне пособие не нужно — я не нищий. Я всю жизнь трудился. Мне нужна заслуженная помощь, а не подачка!

И вот по совету людей я обращаюсь к прокурору. Есть такая должность со странным названием «про-ку-рор». Точно не знаю, чем он занимается. Но, говорят, он помогает обиженным людям находить справедливость.

Ожидал увидеть старого мудреца. Ведь, чтобы восстанавливать справедливость, много надо знать, много мудрости иметь. А он оказался совсем молодой. Даже бороды и усов не носит. Ну, думаю, разве он сможет что-нибудь сделать, когда люди почтенного возраста ничем не помогли мне. А он внимательно выслушал, что-то записал для себя, спросил, где я живу, кто у нас руководитель, и отпустил, попросив дней через десять снова к нему обратиться. Но мне так и не удалось зайти еще раз к этому человеку: уехал в тайгу. Весной обязательно зайду к нему.

Очень сложный и запутанный мир...

Хорошо в тайге. Все здесь родное, близкое и понятное. Ни к кому не надо обращаться: ни к председателю, ни к прокурору. Здесь я сам и председатель, и прокурор. Извини меня, Пал-Ызнг, за подобные мысли. Будь благожелателен ко мне и пошли в мои ловушки зверя. Хорошего зверя. Мне с тобой быть наедине всю зиму. А потом мне нужно будет возвращаться в селение. Помоги, пока я у тебя дома. Помоги и двум моим товарищам, чтобы удача не обошла их. Особенно будь внимателен к мальчику. И если он допустит непочтительность к тебе, не очень гневайся — он с детства оторван от тайги и плохо разбирается в ее обычаях.

Нехан не подошел ни через два дня, ни через три. И не избушка задержала его. Опытный таежник, он знал, что наступило жесткое время, когда дни — да, да, дни! — решают успех промысла.

В несколько часов Нехан справился с небольшими повреждениями сруба. Амбар почти не тронул, только подтесал топором пазы и — венцы осели, плотно прижались один к другому. Подогнал крышу.

Уже стоял некрепкий морозец. Он схватил землю, оледенил травы, и те звенели, будто из жести.

На другой день чуть свет Нехан отправился исследовать свой участок, чтобы подготовить его к облову. С карабином за плечами и маленьким топориком в сумке-крошне он прошел распадком, который обрывается у реки в ста шагах ниже избушки за грядой невысокого увала. В нескольких местах потревожил выводки рябчиков, видел глухаря на сопке. На песчаных берегах ключа нашел отпечаток перепончатых лап с острыми когтями — следы выдры. Ключ образует не-

широкие заводи. В одной из них метнулась стая мелкой разномастной рыбешки. Тальниковые берега — прекрасные места для куропатки и зайца...

На изгибах ручья Нехан срубил нетолстые сухие обомшелые лиственницы и перекинул их с одного берега на другой. Этими мостками обязательно воспользуются соболи.

Нехан шел не спеша, примечая поперечные распадки, лес на склонах, мысы и уступы, лома — битые поваленные деревья и каменистые россыпи.

К ночи Нехан оказался у крутого хребта-водораздела с зубчато-неровным гольцом на вершине, к югу от которого начались владения старика Лучки. Переночевал у костра под елью. Утром перевалил седлообразную сопку и пошел на запад.

Два часа спустя он уже шел поймой неширокой долины, образованной звонким ключом. И здесь Нехан перекинул через ручьи мостки. Найдя дуплистое дерево, прорубил в нем «окна», в которые через некоторое время поставит ловушки. Чтобы дерево на срезе не отпугивало зверя своей свежестью, втирал в места, которых касалось лезвие топора, хвою, лишайник, торф.

У одной сопки на ягоде вспугнул медведицу с двумя медвежатами нынешнего помета. Мирл понесся наперерез медведям, но куда там — разве догонишь медведицу, когда она спасает детенышей!

Поздно вечером, усталый и голодный, охотник вышел к реке Ламги и спустился берегом к стану.

Весь следующий день Нехан потратил на подготовку капканов: счищал с них смазку, спиливал, выпрямлял или слегка подгибал насторожки, ругая при этом тех, кто создал такие неуклюжие самоловы. Потом долго и терпеливо вываривал ловушки в ведре, куда бросил вместе с капканами и ветки кедрового стланика, чтобы убить запах металла. После этой процедуры крючковатым суком выуживал их из ведра, нанизывал на вываренную в том же ведре мягкую проволоку и вывешивал на сук дерева — пусть продует таежным ветром.

Ночью шел небольшой сухой снежок. Он даже не задержался на ветках деревьев — его сдуло ветром, и он не дошел до земли — застрял на сухих листьях травы и на ягеле.

При снеге и небольшом морозе средний по силе ветер становится промозглым. И это сигнал медведям: наступает время ложиться в берлогу. Медведи не боятся легких морозов, для этого они тепло одеты. Не морозы гонят медведя в берлогу — снег. Глубокий снег для медведя — все равно что путы на ногах, далеко не уйдешь. К тому же для него нет в тайге страшнее врага, чем его сородич. Более сильный зверь отыскивает своего собрата по следу, оставленному на мелком снегу, догоняет, давит его и пожирает. Вот почему медведи спешат залечь в берлогу еще по чернотропу. Застигнутые

врасплох первым снегом, они осторожно пробираются к логову, стараясь ступать по бесснежным местам.

Нагулявшие сало медведи уходят с побережья по узким долинам рек к истокам, где у подножия гор в непролазной чащобе выкопают себе уютные берлоги. Небо заботливо накроет их теплым одеялом из мягкого снега. И всю морозную зиму над берлогой будет виться легкий парок — свидетельство мира и спокойствия...

Нехан был уверен, что сегодня на переходах он перехватит не одного медведя.

...Когда старик Лучка по дороге к своему стану завернул к Нехану, чтобы дать ногам отдохнуть и обговорить ближайшие планы, он к своему изумлению увидел: на распорках висело весемь медвежьих шкур разных размеров — от пушистого маленького лончака до громадных шкур с седой шерстью.

Идет снег.

Он медленно опускается на седые поредевшие волосы, на расслабленные плечи, мягким пухом ложится на брови и ресницы, приятно холодит уши, тает на лбу. Капли трепетно дрожат, срываются и неслышно исчезают в шерсти потертой оленьей дошки.

Лучка стоит неподвижно, будто всевышняя сила сковала его навечно. О чем он думает?.. Может быть, он думает о том, что жизнь его на закате и перед ним осталось уже совсем немного зорь?..

А может быть, он вспомнил свое детство, которое прошло в отдаленном стойбище у подножия обрывающихся к морю скал, окутанных туманом, продуваемых промозглыми ветрами?..

Может быть, вспомнил день, когда по берегу реки прибежал взлохмаченный, оборванный старший брат и, не доходя до жилища, дико прокричал:

— Курнг прогневан! Черная смерть опустилась на землю! Черная смерть!

А когда отец и мать уложили скудные вещи в долбленку и тащили к лодке упирающихся собак, старший брат вдруг схватился за живот, страшно выкатил помутневшие глаза и упал будто подрубленный.

А может быть, вспомнил, как однажды отец после голодной зимы собрал всю накопленную за два года пушнину и увез в большое селение, что вдали от побережья, но вернулся почти без припасов. То было время холодной затяжной весны... Уж который раз отец возвращался из лесу без радующего тяжелого груза за спиной, смотрел отсутствующим взглядом, напивался с горя и пел долгую, заунывную, переходящую в надрывный плач песню. Дети забивались в темный угол, испуганно таращили глаза и тесно жались друг к другу, пытаясь хоть немного обогреться.

После одной из таких попоек отец уснул. Уснул и не проснулся. Родовой шаман сказал, что отец взял на свою душу не нивхский грех и тем прогневал Курна.

Вскоре Лучка стал добытчиком. Потом он отделил от родового очага свою долю огня: женился.

Спустя еще несколько лет в мире произошли перемены. Время помчалось с быстротой нарты, запряженной сильной, откормленной упряжкой, — даже не успеваешь осмотреть, какие мимо тебя проносятся берега. Несколько десятков лет — это много...

И это «много» пролетело незаметно, в напряжении, в заботах, в постоянном стремлении к чему-нибудь нужному...

И теперь, когда старик задумывается над своей жизнью, он ловит себя на таком ощущении, будто в отяжелевшей его голове бьется маленькая живинка: а жизнь-то прошла!

Идет снег. Еще один снег...

Охотники еще раньше сговорились: при первом сколько-нибудь значительном снеге, когда уже можно будет различать следы, всем троим собраться у Нехана на совет. И на следующий день после ночного снегопада Пларгун и Лучка почти одновременно появились у Нехана.

Нехан встречал гостей приветливо, как подобает уважающему себя нивху. Заслышав скрип снега, он выходил из избушки и, радушно улыбаясь, шел навстречу гостю с протянутой рукой.

— А-а, пришел, — говорит он. — А я жду. Уже сварил свежей оленины.

Нехан держался уверенно, и окружающие должны принимать его поступки как должное. Но эти покровительственная интонация и уверенность, сильное рукопожатие не очень понравились старику Лучке. По нивхским обычаям, Нехан должен бы скромно, без шума, с почтительной предупредительностью встретить старшего. И вовсе не надо хватать руку и трясти ее так, будто необходимо вытрясти из нее костный мозг.

С Неханом Пларгун чувствовал себя как-то скованно. Дни, проведенные вместе со стариком, были блаженной свободой. Лучше быть в тайге наедине с собакой, чем бесконечно ощущать на своих плечах тяжелую, властную руку, от которой невозможно освободиться. Поэтому шумная встреча порадовала юношу. Сегодня Нехана будто подменили. Он стал вдруг таким внимательным, разговорчивым, радушным.

Хозяин избушки подцепил дымящееся мясо чефром — длинной заостренной щепкой, похожей на вертел, и один за другим выложил прямо на низкий столик большие сочные куски жирной оленины. Избушка наполнилась аппетитным запахом мяса. Нехан вытащил из-под нар початую бутылку спирта и, как бы извиняясь, сказал:

— Вчера так продрог, что вынужден был раскупорить бутылку. Иначе хрипел бы сейчас на кровати.

Как-то трудно было представить себе этого могучего человека, поваленным недугом.

— Хорошо, что был спирт. Ведь не интересно свалиться от болезни, когда охота только началась, — сказал Пларгун с нарочитой грубоватостью и поймал себя: сказал совсем не то, что было на уме. Откуда эта фальшь? Что творится со мной: то дал себе вольность не поверить в искренность поступков знаменитого охотника, то позволил себе сказать совсем не то, что вертелось на языке?..

Нехан вышел к лабазу и принес холодной соленой кеты — на закуску.

Старик нарезал свежеиспеченной лепешки, а Пларгун подложил в огонь мелко наколотые поленья и поставил на раскалившуюся докрасна печку медный чайник с водой.

— Ну, нгафккхуна, за начало! — Нехан поднял кружку чистого спирта.

Пларгун поднял полкружки разведенного спирта, Лучка — столько же.

Сказав короткий тост, Нехан уже поднес было кружку к мясистым, округло раздвинувшимся губам, но его остановил старик. Он вдохновенно произнес:

— Пусть никто не думает, что мы пришли в тайгу за соболем — нет, мы не за соболем пришли. Пусть никто не думает, что мы пришли в тайгу за выдрой — нет, мы не за выдрой пришли. Пусть никто не думает, что мы пришли в тайгу за лисой — нет, мы не за лисой пришли. Пусть никто не думает, что мы пришли в тайгу за глухарем — нет, мы не за глухарем пришли. Пусть все население тайги знает, что мы не за ними пришли. Верно, нгафкка? — обратился старик к Нехану.

— Верно! Верно! — торжественно подтвердил Нехан.

Пларгун с раскрытым ртом слушал длинную и странную речь старика.

Сперва Пларгун принял ее, как начало удачной шутки. Но чем дальше говорил старик, тем больше сомневался Пларгун в своей догадке. И когда старик с пафосом, обратился к нему: «Верно, нгафкка?» — он чуть слышно, с покорностью ответил:

— Верно! Верно!

— Слышите, вы? — Старик повернулся к правой стене. — Слышите, вы? — Старик повернулся к задней стене. — Слышите, вы? — Старик повернулся к левой стене. — Слышите, вы? — Старик обернулся к двери. — Все вы слышали, что мы, трое людей, пришли в тайгу вовсе не за вашими дорогими шкурами. Носите их сами. Не бойтесь нас! И выходите все! Выходите из своих нор, из своих логовищ, из своих дупел и расщелин, из-под валежин и коряг. Выходите все!

Занимайтесь своими делами. Бегайте по тайге, по сопкам! Оставляйте больше следов! Больше! Больше! Больше!

Старик вошел в экстаз. Он уже не кричал — хрипел. Он дышал часто и тяжело, желтая пена каймой обложила потрескавшиеся губы, вспучилась по углам рта. Узкие глаза округлились и отрешенно уставились, застыли на мгновение. Потом старик очнулся и вернулся в бренный мир из того неведомого для других мира, в котором пребывал. Он вспомнил о кружке со спиртом, поспешно обхватил ее дрожащими руками, поднес ко рту и опрокинул. И Нехан привычно, одним духом проглотил целую кружку спирта гольем.

— Ты что? — повелительно гаркнул Нехан на замешкавшегося Пларгуна. И юноша, не в силах противиться, поспешно выпил.

Жидкость обжигающей струей вошла в него, горячим пламенем растеклась в теле, ударила в голову.

— Закусывай, друг, закусывай, — уже мягче сказал Нехан и сунул в руку Пларгуну кусок холодной соленой кеты.

После длинной дороги по морозному воздуху и выпитого спирта аппетит у всех был зверский. Дымящиеся куски оленины исчезли со стола один за другим.

Юноша усиленно двигал челюстями, разламывая крепкими зубами неподатливые волокна плохо проваренного мяса, а в помутневшем мозгу билась одна и та же мысль: в чем суть длинной и странной речи старика? И пришел ответ: да это же ритуал первобытных людей! Язычники наивно полагали, что подобными заявлениями можно скрыть свои истинные намерения, обмануть Пал-Ызнга — хозяина гор и тайги — и вместе с ним всех зверей и птиц. И обманутые звери становятся добычей ловких охотников.

Первобытный ритуал и космические полеты!..

— Ха-ха-ха-ха-ха! — не выдержал Пларгун.

От смеха изо рта вывалились непрожеванные куски. Пларгун схватился за живот и перегнулся пополам.

— Пьян, — сказал Лучка.

— Слабак, — брезгливо сказал Нехан.

...Пларгун проснулся от душераздирающего визга собаки. Сбросив с себя оленью доху, он мигом открыл низкую дверь и услышал безудержный мат на смешанном нивхско-русском языке. Перепрыгивая через порог, он все равно больно задел головой притолоку.

Нехан отвел назад ногу и со всей силой пнул в живот пытавшегося подняться Кенграя. Кенграй спиной ударился о толстый столб лабаза. Мирл злобно набросился на своего недруга. У злых собак есть особенность — они никогда не упускают случая, набрасываются на избиваемого сородича, загрызают его до смерти. Заметив Пларгуна, Нехан отшвырнул ногой Мирла и не в бок, а в безопасное место — в мясистую ляжку.

— Сволочи! Воры! Грабители! — ругался Нехан в сильнейшем гневе. Потом сокрушенно нагнулся над ящиком со сливочным маслом. Вернее, над пустым ящиком из-под сливочного масла.

— Сволочи, сожрали все масло! — Нехан замахнулся, чтобы снова ударить собак.

— Стой! — вне себя от возмущения крикнул Пларгун. Кенграй истошно выл, извивался в страшных муках.

Пларгун подскочил к своему другу, попытался поднять его. Но едва притронулся к спине, Кенграй завыл еще пуще, будто снова его ударили. Было ясно, что Кенграй получил тяжелые увечья.

— Три дня назад росомахи проникли на чердак, разорвали мешки с мукой и солью, все смешали с корьем и землей. А сейчас наши же собаки ограбили своих хозяев! — не унимался Нехан.

Пларгун стоял спиной к нему. Весь его вид выражал протест. Смысл сказанного Неханом не доходил до его сознания.

Лучка оперся об угол избушки. Руки его были безвольно опущены. Уж он-то знал всю меру обрушившейся на их головы беды.

Люди завтракали вяло. После вчерашней попойки всех охватила апатия. От Нехана несло перегаром. «Неужели еще от вчерашнего?» — неприязненно подумал Пларгун.

В отличие от гостей хозяин избушки энергично заворочал челюстями, уминая розовые куски душистой кетовой юколы, и заел ее медвежьим салом. После юколы он приступил к оленине. И все это запил кружкой густого терпкого чая.

Пларгун вышел посмотреть собаку.

Кенграй лежал на древесном мусоре у штабелька колотых дров и осторожно вылизывал языком ушибленный бок. Завидев хозяина, пес виновато прижал уши, слегка зажмурил умные глаза и, нагнув голову, чуть осклабился. Опушенные редкими длинными усами губы нервно задергались. Пес тонко повизгивал. Пларгун легонько опустил ладонь на голову собаки и нежно провел по шерсти. Кенграй положил голову на бок и лизнул руку хозяина.

— Ну, походи, походи, — попросил Пларгун.

Узнать меру увечья можно, когда заставишь собаку пройти. Пларгун отошел на несколько шагов, присел на корточки, протянул руку с раскрытой ладонью, ласково позвал:

— Кенгра-ай, Кенгра-ай.

Кенграй поднялся. Жалобно повизгивая и занося зад в сторону, приковылял к хозяину. Было очевидно, что увечья серьезные. Надо полагать, что ушиблен позвоночник и повреждены ребра. У нивхов запрещено бить собаку по позвоночнику и в бок — это может привести к непоправимым последствиям. Когда необходимо наказать собаку, ее бьют чаще

всего по шее и по голове. При несильном ударе голова более безопасна, чем хрупкий позвоночник.

«Нехан — опытный охотник. Он должен знать, как обращаться с собаками», — с горечью думал Пларгун.

Нехан вышел за дровами. Наложил на левую руку столько поленьев, сколько в связке на спине мог унести Пларгун, легко поднялся, открыл правой рукой дверь и, обернувшись, сказал:

— Зайди на совет.

Лучка полулежал в углу на скатанной постели, дымил новой трубкой, вырезанной на днях из плотного березового корня.

— Ну что, кажется, главное для начала сделали, — как-то слишком спокойно, обыденно сказал Нехан. — Избушки построены — есть где зимовать. Теперь наступила пора охоты. Соболь уже полностью переоделся в зимнюю шубку, мех крепкий. — Сидя на полу, он достал из-под нар скомканный темный рюкзак, вытащил округлую темно-коричневую шкуру с нежной, шелковистой шерстью, встряхнул ее и подул на мех. Длинная ость заискрилась, обнажив густой голубоватый пух — подшерсток.

— Три дня назад он сам вышел на меня в распадке. Вскочил на дерево и стал преспокойно посматривать оттуда. Наверно, хотел отдать мне свою дорогую шкурку, — явно адресуясь к старику, сказал Нехан. — И чтобы не обидеть Курнга, я снял этого зверя для пробы, — спокойно, будто шел разговор о чем-то несущественном, закончил Нехан.

— Хы! — изумился старик. Вытащил изо рта трубку, положил прямо на пол, протянул руку. Встряхнул привычным движением шкурку, пронаблюдал, как лег мех, провел по нему пальцами.

— Вот это «проба»! — уважительно сказал старик и передал шкурку Пларгуну.

Пларгун никогда не охотился на соболя, но много раз видел шкурки, но такие темные, как эта, встречал редко.

Нехан бросил шкурку в рюкзак и продолжал прерванный разговор:

— Соболь сменил мех полностью. Пора.

Нехан не говорил, как охотиться. В начале охотничьего сезона, когда снегу мало и зверь бегает, где ему угодно, ловушки — дело второстепенное. Тут нужно промышлять ружьем. Об этом знает всякий охотник. И Пларгун вновь в мыслях вернулся ко вчерашнему. Как же ему быть без собаки?! Кенграй сильно покалечен и не скоро поправится.

— Когда пойдете осматривать свои участки, наткнетесь на седлообразную сопку, что стоит примерно на одинаковом расстоянии от наших трех избушек. Сопка небольшая, ее легко обойти за полтора часа. Она изрезана распадками. В сторону полудня, если идти от этой сопки, возвышается невысо-

кий, но длинный хребет с гольцом на одной вершине. Хребет расколот в нескольких местах поперечными впадинами. Седлообразная сопка полого опускается в ту же сторону и упирается в одну из его впадин. Думаю, у стыка сопки с хребтом и будет место встречи наших путиков. Путики пробьет каждый, когда сочтет нужным. Увал-хребет уходит от побережья в глубь тайги. Он и будет границей наших участков. А седлообразная сопка разделит наши с тобой участки, — Нехан кивнул на Пларгуна. — Вот, кажется, и все.

Нехан умолк. На его широком, мясистом лице играли темные тени. Он повернулся к собеседникам спиной, нагнул голову так, что побагровела шея, и сказал, придав голосу озабоченность:

— Вы уже знаете, что продовольствие растаскали воры-росомахи, а масло сожрали собаки. Я наскреб немного муки и соли. Килограммов на десять муки и горсти по четыре соли на брата — вот и все, что удалось наскрести. Это от силы месяца на полтора. А дальше не знаю, как быть. Придется жить на одном мясе.

Установилось тягостное молчание. Сухие дрова живо потрескивали в печке, в окно цедило блеклым светом осеннего дня.

— Что будем делать?

Этот вопрос ввел Пларгуна в такое состояние, будто его подвесили на чем-то непрочном и подняли в воздух. Чем дальше тянулось молчание, тем, казалось, его поднимают выше.

— Может быть, кто-то из нас вернется в селение за продовольствием? — Нехан ни на кого не смотрел. Он настороженно потупил голову и ждал, когда ему ответят.

Идти сквозь тайгу сотни колометров через заснеженные хребты и непроходимую чащобу — это почти самоубийство. К тому же ясно, старому Лучке это непосильно — он отпадает. Оставались Нехан и Пларгун.

— Что будем делать?

Пларгун почувствовал, как в его висок впился цепкий взгляд. Пларгун даже перестал дышать.

Нехан обернулся к Лучке, но тот угрюмо молчал.

— Э-э, — прервал затянувшееся молчание старик. Нехан резко обернулся. Его требовательный взгляд спрашивал: а ну, что ты скажешь? — Э-э, дело ведь такое, совсем даже не безнадежное. Разве когда-нибудь люди умирали, когда вокруг бегает столько мяса, а у людей в руках оружие? Да и продовольствия какой-то запас есть. Не-ет, мы не в безнадежном положении. А идти кому-то в селение — вот это дело почти безнадежное. Когда он еще дойдет до него! Да и реки еще не все стали. Только в древности могли нивхи сюда на собаках проникать. Но каким путем они ездили?

Нехан нервно и нетерпеливо слушал старика.

Пларгун облегченно перевел дыхание.

...Кенграй плелся позади. Он тяжело прихрамывал, жалобно скулил, взвизгивал.

Они шли по своему следу вдоль реки. На поворотах Пларгун останавливался, поджидая собаку. Кенграй подходил медленно, преданно смотря на хозяина умными карими глазами, в них была мольба: не бросай меня.

Но вот за одним из поворотов человек не дождался своей собаки.

— Ке-е-е-нгра-ай!

Собака не появлялась.

— Кенгра-ай! Кенгра-ай!

Собака не появлялась.

Пларгун сбросил тяжелый мешок и помчался назад.

Он нашел пса у трухлявой заснеженной колоды. Кенграй, обессилев, лежал под сгнившим деревом. По-видимому, он пытался перелезть через толстый ствол — на стволе был сбит снег, — но силы покинули собаку.

Голова безжизненно лежала на лапах, пасть беззвучно раскрывалась, источая густую слюну; изредка сквозь неслышный стон пробивался визг.

— Кенграй! — позвал Пларгун, подбегая.

Пес попытался подняться, но ноги его подломились, и он упал.

Пларгун опустился на колени.

Сперва раздался всхлип. Потом еще. Еще. Окружающие деревья и кусты впервые услышали, как плачет человек.

Он шел, пошатываясь, будто находился в глубоком опьянении. Рубаха промокла насквозь и прилипла к горячему телу. Промокли и ватная телогрейка и теплые брюки. Все тело налилось жаром. Жар пробивался через одежду и клубился тяжелым паром.

Спина ныла, ноги мелко дрожали, натруженно гудели. День на исходе...

Уже вечер окутал мир... Ноги требуют отдыха... Уже звезды пробились в темно-густом небе... Каждый стук сердца отдается в ногах. Потом все онемело: и ноги, и согнутый торс, и спина, и руки. Притупились чувства... Только бы не упасть. Надо идти, идти, идти. Упадешь — больше не встанешь. Никогда. «Идти... идти... идти...» — упорно стучит в замирающем сознании.

Он еще помнил, как уложил ношу, как отодвинул лесину, которой подпирал дверь...

Лучка подобрался под самую ель, громадную, раскидистую. Дерево своими лапищами коснулось старика.

...Ночью ему снился предок, большой и суровый. Лучка хотел было подойти к нему, но предок отошел от него. Лучка сделал еще несколько шагов — предок отошел от него на столько же.

«Чем я тебя прогневал, отец? Почему ты холоден ко мне?

Иду ли я в тайгу, в сопки, выхожу ли я в море, во льды — всегда обращаюсь к твоему образу, а через тебя к еще более древним предкам. Попаду ли я в беду или какая трудность встретится мне — всегда обращаюсь к твоему имени. Так почему ты обижаешь меня?»

А предок сказал глухо как из-под земли:

« Я знаю, что произошло у вас. Мне больно слышать, как оскверняют люди законы тайги. Человек, прежде чем войти в тайгу, должен оставить плохие мысли. Мне казалось, что ты достаточно мудр, чтобы в священной тайге всегда царили мир и добро. Как ты это мог, старый человек?..»

Лучка стоял у ног предка — маленький и смятенный. Он воздел руку кверху, но предок исчез, словно дым.

«Разве я не делал все, чтобы мы принесли в тайгу мир и согласие? Да, я старый человек, должен был сделать все, чтобы предупредить ссору. Я должен был своими советами направлять умы людей. Но я не в силах сделать это. Нехан утвержден нашим бригадиром самим районным начальством. Разве он послушается меня? Извини, тайга, людей, что они позволили переступить обычаи предков. Извини. И сделай все, чтобы нам хорошо было. Чух!» — широким движением Лучка рассыпал горсть рисовой крупы, взятой с собой специально для жертвоприношений. Разложил у основания дерева несколько папирос.

Затем старый человек подошел к огромной лиственнице и обратился к ней с просьбой не гневаться на людей. И еще попросил благополучия. В той лиственнице наверху есть дупло. Оно прикрыто толстым многоветвистым суком. Дупло — дом соболя. Лучка видел его однажды на рассвете. Он черной молнией мелькнул вверх по обомшелому столу и юркнул в дупло. Только и заметил старик — соболь отменной черноты, вороной. У охотников этот самый дорогой сорт называется головкой.

Лучка обрадовался, будто соболь обещал ему удачу. И каждый день, проходя мимо дерева, высматривал только ему заметные приметы, следы соболя... Нет, он не будет преследовать его. Пусть себе живет рядом со стариком. Соболь, как талисман, как наговор могущественного шамана... Потом старик крадучись отходил в сторону и шел по своим делам. Соболь рядом — значит есть надежда на удачу. Старик дал соболю имя — Пал-нга[1]. Этим старик выделил его среди других соболей и приблизил к Пал-Ызнгу.

И на этот раз он тихонько подкрался к дереву и увидел свежие следы зверька. Лучка вздохнул обегченно и, надеясь, что все обойдется, ушел в избу.

В это время на соседнем участке Нехан спешил разбросать приваду и ругал погоду самой отборной бранью.

К вечеру разыгрался первый в этом году буран.

[1] Пал-нга — Горный зверь.

Пларгун мгновенно открыл глаза и некоторое время соображал, где он. Потом вспомнил о собаке. Где же Кенграй?

Хотел было встать, но по телу будто молния прошла и в глазах помутилось. Он тихо застонал. И тут почувствовал на своем лице что-то мягкое, теплое. А Кенграй продолжал лизать своего друга и спасителя. Живы! Но как смог он осилить неимоверный груз — тяжелый рюкзак и собаку?..

Пларгун не помнит, как он забрался в спальный мешок. Теперь, когда проснулся, почувствовал: лежит очень неудобно. Отлежал бок и руку. Надо вставать.

Большого усилия стоило преодолеть боль в разбитом теле.

Первым делом надо затопить печку, а то избушка так настыла, что в ней стоит колотун, от которого мигом околеешь.

Пларгун толкнул дверь. Но тут в него будто дунули сразу сто чертей, захватило дыхание, в лицо вонзился мелкий колючий снег. Дверь больно ударила по голове, отбросила его назад, захлопнулась. Был сильный буран. Когда он только успел разыграться? Сколько же я спал?..

Желание выйти на улицу как рукой сняло. Он плотно прикрыл дверь, вернулся к нарам. Сел. Руки безвольно повисли. Хотелось забраться в мешок, закрыться с головой, обогреться дыханием.

...Род Койвонгун произошел от дерева кой-лиственницы. Раньше на земле не было никакой жизни. Да и земли никакой не было. Было только одно огромное море.

На море жила одна-единственная птица, маленькая утка — чирок. Утка летала по небу, плавала в море. Одна на все небо и на все море. Но не могла она жить одна. Старея и чувствуя приближение смерти, она решила оставить после себя жизнь. Но куда положить яйца? Они не могут лежать на воде.

Как-то в тихий солнечный день утка спокойно сидела на море и чистила перья, смазывая их жиром. С груди слетело перо и медленно поплыло по морю. Такое бывало и раньше. Но на сей раз утка погналась за пером, положила под себя и стала ощипывать с груди перья, сбивать из них круглое гнездо.

Снесла яйца. Из яиц проклюнулись маленькие желтенькие утята. Мать выкормила их. А дети, став взрослыми, тоже повыщипывали из своих грудок перья. Образовалось много гнезд. Их соединили вместе — получился остров. Утки снесли яйца. И многочисленные дети сделали то же самое.

С тех пор прошло много времени. И тот остров вырос в огромную землю. На этой земле появилась всякая живность: травы и насекомые, птицы и звери, деревья и люди... Люди появились позже. Сперва выросло дерево кой-лиственницы. На солнце и вольном воздухе оно поднялось до самого неба. Сильное дерево держало на своих ветвях сотни птиц и зве-

рей с их гнездами, кормило их своими семенами. На земле развелось живности неисчислимое множество. Но в дереве было много силы, и она пробилась сквозь толстую кору и смолою стала стекать на землю. Только коснулась смола земли, из нее появился человек. Люди других родов появились от других предков. Есть нивхи, которые пошли от орлов. Но род Койвонгун, веткой которого является Лучка, произошел от лиственницы...

А чирки, они осенью улетают в сторону полудня, весной возвращаются обратно. Вы думаете, почему они делают далекие перелеты? Они ищут конец земли, но земля стала настолько огромной, что ей ни конца ни края не видно. А чирки и по сей день выщипывают свои перья. Им все мало. Хотят, чтобы земля росла и живность на ней умножалась.

Три дня продолжался буран. К вечеру третьего дня небо посветлело, образовав в нескольких местах голубые окна. Края туч подернулись розовой морозной каймой.

Две вороны, преодолевая слабеющие порывы ветра, косо прочертили небо, сели на сук ближайшей лиственницы, с голодным любопытством наклонили хищные головы и прокричали:

— Ка-ак? Ка-ак?

...После случая у Нехана Пларгуна все угнетало. Было больно за Кенграя, больно, что Кенграй стал виновником ссоры. Только непонятно, как ящик с маслом оказался на земле? Он же был в лабазе, а лабаз на высоких столбах. Собаки не могли сами стащить ящик. Тут что-то неясно. Может быть, Нехан спустил ящик для чего-нибудь, а поднять забыл?.. Да, тут дело неясное. А Нехан страшен в гневе. Пларгун радовался, что теперь он далеко от этого человека.

Кенграй уже мог ходить, даже пытался преследовать рябчиков в прибрежном ельнике. Он увлекся и неосторожно зацепил за сухой сук, взвизгнул от боли, заскулил протяжно; еще долго боль будет давать о себе знать...

Когда неверный свет раннего утра просочился в маленькое окошко, Пларгун проснулся, как от толчка. Спросонья никак не мог понять, что его разбудило.

Непонимающе посмотрел вокруг. Взгляд упал на патронташ, на ружье, приставленное к стене, — резко хлопнул по голове: ведь собрался же с утра выйти на охоту и боялся проспать!

Кенграя оставил в избушке — ему нельзя, он еще не поправился.

Тайга молчала. Лишь маленькие и легкие как пушинка синички копошились на нижних ветках старых елей, ворошили космы провисших черных лишайников, внимательно всматривались блестящими круглыми глазенками в трещины коры, отщипывали от нее чешую и, уколов тишину тонким писком, перелетали на следующее дерево.

На чистом снегу аккуратные крестики — следы рябчиков. От дерева к дереву словно два ряда бисера. У основания дерева в сугробике дырка, будто снег пронзили прутом. Это следы мыши.

А вот белка размашисто чиркнула по пороше и взлетела на ель. Пларгун осторожно обошел дерево, внимательно всматриваясь в тени между ветвями. Если белка на дереве, она должна дать о себе знать: шелуха ли упадет от еловой шишки, ветка ли покачнется или снег посыплется сверху. А может быть, она притаилась? Пларгун всматривался до рези в глазах, но никаких признаков белки не обнаружил.

Он отломил сухой сук и ударил им по стволу ели. Всмотрелся. Прислушался. Дерево молчало. Охотник забросил палку и углубился в чащу.

Следы зайцев и лис попадались часто. Но разве настигнешь этих быстроногих тварей! Их можно взять на лежке или когда они случайно нарвутся на выстрел. Но где она, лежка?

Потом Пларгун увидел свежие следы оленей. «Хорошо бы свалить одного — для привады», — подумал он.

Олени то шли гуськом, то рассыпались. Местами снег взрыхлен, истоптан. Охотник прочитал по следам: самцы то и дело сходились и упорно бились.

Стадо не могло уйти далеко. И действительно, через полчаса быстрой ходьбы Пларгун нагнал его на замерзшей мари.

Два молодых хора беспокоили стадо. Третий, высокий, могучий хор набрасывался на соперников, отгоняя их от важенок. Пларгун вдруг узнал в стройном хоре того бурого самца, который еще до снегопада выиграл на лесной поляне жестокий бой у стареющего великана. И юноша обрадовался встрече со старым знакомым.

Теперь хор-владыка обзавелся гаремом. В тайге сильный владеет всем. От него идет жизнестойкое потомство. И этот закон тайги вполне оправдан.

Юноша заметил в стаде облезлого тощего хора с побитыми рогами. Он внимательно следил за могучим хором и, когда тот, преследуя соперников, покидал стадо, норовил отбить самочку.

Бурому нелегко биться сразу с несколькими соперниками.

Тощий старый самец выбрал удобный миг, выскочил из-за деревьев, кинулся к стаду и стал нагло распоряжаться в нем. Пларгун быстро поднял ружье. Выстрел разбросал стадо. Самки шарахнулись к деревьям и исчезли в чаще. А бурый хор выскочил на марь, грозно оглянулся кругом и грациозно поскакал вслед за самками. Пларгун некоторое время соображал: почему он выстрелил именно в старого самца? И нашел ответ: старый самец портит стадо. Молодой охотник только помог навести порядок...

Он углубился в ельник, местами разреженный березой и

кустами кедрового стланика. И тут наткнулся на округлые парные следы. Соболь!

Мягкие вмятины округлой формы пролегли от дерева к дереву, от куста к кусту. Соболь никогда не идет шагом. Он скачет, оставляя парные следы. С удивительной точностью, ноготь в ноготь, ставит он задние лапки в следы передних. И никогда не оставляет «бороды». Его побежка[1] изящна и аккуратна.

Пларгун отломил прут, коснулся им следа. Прут мягко прошел в снег — след свежий, мороз еще не успел прихватить.

В нескольких местах на снегу обозначились мелкие парные следы. Встретившись с побежкой соболя, они обрывались, уходили под снег. Это следы маленького, но алчного хищника — ласки. Соболь не любит соседства с этим злобным зверьком и всегда старается изгнать его из своих владений.

Четкий соболий след повел от кустов к лежащему дереву. И по снегу, что пластом прикрыл его, протянулась цепочка.

Сердце молодого охотника забилось взволнованно. Участилось дыхание. Глаза азартно проследили за направлением побежки. Цепочка оборвалась у валежины.

Ноги сами потащили к валежине. Соболь обошел валежину вокруг и, не найдя здесь ничего интересного, проскакал дальше.

Зверек не мог уйти далеко. Наверно, он где-то поблизости... Пларгун в азарте помчался по следу. Ему казалось, где-нибудь рядом зверек выскочит из кустов или из-под колодины и, спасая свою шкуру, взлетит на дерево. А там... Пларгун умеет стрелять.

Он бежал уже полчаса. А след вел дальше и дальше, петляя и кружа, не оставляя без внимания ни одного поваленного дерева, ни одного дупла, ныряя в лома — нагромождения мертвого леса, заскакивая на гнилые пни. Потом ходил спокойными размеренными скачками. А дальше этот след пересек следы другого соболя, проскакал по нему немного. Пларгун остановился в нерешительности, он еще не умел различать следы одинаковых зверей.

Тогда молодой охотник решил: надо при пересечении выбрать поздний след и идти по нему. Так и сделал...

Кажется, уже за полдень. А следу не видно конца. Пора бы возвращаться назад... Но тут вышел он к следам человека. Кто мог здесь ходить? След овальный с ровным обмином. Тоже, значит, в торбазах. Неужели вышел на участок Нехана?

Через час или больше опять наткнулся на человеческий

[1] Побежка — цепь следов мелкого зверя.

след. Пларгун внимательно осмотрел его. Человек преследовал соболя. «Да это же мои следы! — холодом ударило в сердце. — Неужели заблудился?!» В голове теснились лихорадочные мысли. «Что делать? Что делать?» — стучало в висках. «Заблудился, заблудился!» — злорадствовал невидимый бес.

Пларгун глянул на небо. Оно прикрыто высокими спокойными облаками: погода не изменится. Это хорошо. Очевидно, все-таки лучше идти от места пересечения навстречу пересекаемому следу... Неизвестно, как далеко сейчас находится Пларгун от избушки. В любом случае путь от пересекаемого следа короче. «Пожалуй, засветло дойду до избушки», — решил он. И, приняв разумное решение, пошел быстрым, широким шагом. Теперь время решало все.

Слева в отдалении открылась сопка с частым ельником на пологих склонах. Охотнику показалось — он ее видел раньше. От нее до избушки около часа ходьбы. А не пойти ли к ней напрямик? К тому же уставшие ноги просили пощады. Но след тянул к себе, держал цепко. Юноша боялся, что, уйдя от следа, больше не найдет его в темноте. Тогда нужно будет переночевать в тайге.

А небо темнело на глазах. Может, уйти от следа и срезать путь напрямик через сопку?

В лощинах скопилось много свежего снегу. Снег прикрыл все, и ноги часто проваливались в ямы. Мягкие торбаза, отлично приспособленные для ходьбы по ровному и по твердому, плохо предохраняли от ушибов, ноги саднило от ударов об острые сучьи и камни.

Когда Пларгун взобрался на сопку, на небе уже зажглись звезды. Они, высвеченные потухающей зарей, мерцали, мелкие и слабые. Охотник осмотрелся с вершины сопки. Перед ним тайга, тайга. Бескрайняя тайга, окутанная синей тенью.

В каком же направлении избушка? Он вглядывался в темнеющие дали, но перед ним были только деревья. И ему стало страшно. Возвращаться к следу было бессмысленно: ночь застанет на полпути и тогда...

Надо срочно собрать дрова для ночного костра.

Пларгун спешил. Но как назло, поваленные бурей деревья были так громадны, что соорудить из них костер — безумие. Пларгун вытащил из рюкзака маленький топорик и стал срубать сучья.

Сухие сучья тверды, как металл, а топорик слишком мал, чтобы с маху перерубить их. Он годен разве только для городских охотников-любителей, которые и тайги-то не видели, и костра-то настоящего не разводили...

Топор отскакивал от сучьев, как от стальной пружины, больно отдавая в руку. Пларгуну стоило больших усилий нарубить сучьев для костра.

Ногами он разгреб снег у искари — вывороченного корня громадной ели, разложил дрова. Ножом насек щепок, настругал стружек от сухой ветки пихты. Пихта, хотя и дает тепла меньше, чем лиственница, но легче схватывается огнем. Смолистую пихту, как и бересту, используют в тайге для растопки.

Маленькое пламя от спички охватило свившиеся узором стружки, вспыхнуло, перешло на щепки, пробежало по ним, точно чуткие пальцы слепого, и, убедившись в их способности гореть, подожгло. Вскоре огонь, треща и разгораясь, схватил снизу бестолково сложенный сушняк.

Пламя от костра высветило из темноты ближайшие деревья, отдаленные же отбросило в черный провал. Мир сузился предельно, до размеров охватываемого светом костра.

Костер весело трещал, пламя гудело, будто ветер в трубе. На душе стало веселей. Врешь, не возьмешь меня! Гори, костер! Гори!

И он горел. Горел быстро, неэкономично, потому что сложен был неумело. Приходилось возиться с валежинами, рубить мелкий сухостой. На это уходили силы.

Натаскав дров, Пларгун сел поужинать. Достал из рюкзака смерзшийся кусок оленины и небольшой ломоть хлеба. Никогда в жизни не ел он чего-либо вкуснее.

Только съев последний кусок мяса, почувствовал, как нужен горячий чай. Пларгун полагал, что уйдет недалеко, и не взял с собой чайник.

«Идешь на день — бери на три дня!» — кто-то мудро сказал. В следующий раз без чайника и шагу не сделаю. А сейчас придется заесть снегом.

Пларгун прислонился к нагретой искари, как к теплому щиту. Тело разомлело от жары. Голова налилась тяжестью и клонится, клонится к груди. Уставшие от напряжения мышцы блаженно расслабились, приятная истома растеклась по всему телу. Веки стали тяжелые-тяжелые, будто налились свинцом.

Не засыпать!

Пларгун пытается открыть глаза. Но все усилия напрасны. А в голове стучит: не спать! не спать! Пларгун пальцами пытается раздвинуть сомкнувшиеся веки. Пальцы будто одеревенели: неповоротливы и непослушны. Наконец ему удается разомкнуть веки. И видно: перед ним струится и пляшет ярко-красное пламя, будто льется свежая кровь-костер.

Гори, костер! Гори!

А голова падает... падает...

— Ну, так когда же придет хозяин?

Кенграй еще днем начал проявлять беспокойство: вставал, нервно ходил от стены к стене, садился, внимательно всматривался в дверь, вслушивался.

Теперь беспокойство овладело им настолько, что он уже не находил себе места в избушке.

— Ну так когда, говорю, придет хозяин?

Кенграй в ответ взвизгнул, нетерпеливо заходил передними лапами, опять уставился на дверь.

— Вот кончу обшивать лыжи, затопим печь и горячим чаем встретим хозяина.

Время шло. Уж вечер опустился на тайгу, а хозяина все нет и нет. Теперь волнение собаки передалось старику. Шутливый тон сменился беспокойством:

— Хы, однако, уже ночь!

...Они шли по следу. Полная луна поливала обильным светом ночной мир. Каждое дерево, каждый куст, каждая ветка и каждая вмятина на снегу резко выделены и оттенены.

Старик запыхался. Кенграю было еще тяжелее. Через несколько шагов он останавливался, взвизгивал от боли, но, собравшись с силами, продолжал упорно уводить в ночь. «Далеко ушагал. Как он сейчас там? — беспокоился старик. — Может быть, выстрелить в воздух? Авось откликнется», — старик стаскивает с плеча ружье...

Кенграй поднял голову, навострил уши, помчался к валежине, перевалился через лиственницу.

Старик обошел искарь кругом и увидел его. Он сидел, привалившись к искари, подогнув ноги, сиротливо обхватив себя руками спереди. Голова безжизненно склонилась к груди. Легкий ветер тихонько пошевеливал выбившуюся из-под ватной стеганки кисть шарфа.

Перед ним — груда пепла и несгоревшие концы сушняка. Старик снял рукавицу, тронул пепел. От прикосновения пепел вспучился. Его неслышно подхватил ветер, снес в сторону. Пепел был чуть теплым. Холод волной окатил старое, видавшее всякие беды сердце. Кровь отхлынула от лица, мороз ожег спину.

Лучка подошел к юноше. Не веря возникшей у него страшной мысли, притронулся к спине. Затем крепче схватил за плечо, дернул.

Пларгун, не меняя позы, повалился на бок. Ударился о мерзлую землю, шевельнул ногами, вытягивая их. Потом открыл глаза. Заиндевелые ресницы недоуменно захлопали.

— Нгафкка, вы замерзли.

— Что? — Пларгун не понял, что происходит вокруг. Облокотился и попытался встать, но зашатался и упал.

Старика будто подменили. Острый топор, перерубая сучья и сушняк, зазвенел на всю тайгу.

Вспыхнул большой языкастый костер, обдал жаром. Лучка набил чайник снегом, поставил к огню.

Пларгун немного отошел. Встал, но не смог разогнуть окоченевшие ноги и спину. Так и ходил, согнувшись в три погибели.

— Походи еще! — скомандовал старик, когда Пларгун присел на обрубок сушняка.

Чайник тонко запел. Старик бросил в него еще ком снега. Вскоре крышка подпрыгнула, из-под нее клубами вырвался пар.

Старик налил кружку горячего чая, и дал ему немного остыть, чтобы Пларгун не обжегся.

Пока юноша отогревался чаем, старик перенес костер в сторону, на горячий пепел накидал елового лапника и скомандовал:

— Ложись.

Снял свою доху, накрыл юношу, сверху завалил лапником.

— Будет очень жарко. Терпи.

Старик подсел к костру, не спеша заварил себе чай. У него незыблемый закон: в тайге ни при каких обстоятельствах не отказывать себе на ночь в горячем чае.

— Жарко! — раздалось из-под груды лапника.

— Терпи!

Старик вытащил кусок вареного мяса, подержал его над огнем, опалил слегка.

— Жарко!

— Терпи.

Старик поел. Медленно, наслаждаясь, потянул из кружки чай, потом подошел к груде лапника, скомандовал:

— Переворачивайся на другой бок!

Поправил доху и еловые ветви, вернулся к костру, налил полную кружку чаю.

— Мечтал о шашлыке из медвежатины, а сам превратился в шашлык, — глухо донеслось из-под груды лапника.

Пларгун ожидал, что после злополучного ночлега в тайге с ним будет плохо. Но — обошлось.

Когда к концу второго дня старик заявил, что утром уходит, Пларгуном овладела паника. Со стариком, добрым, всемогущим стариком, и уютней, и теплей, и чувствуешь себя человеком. А тут вновь закралось сомнение в своих возможностях, и опять он ощутил бессилие и свое ничтожество...

— Ваш участок рядом с моим. И, должно быть, скуден зверем. А у меня участок — вся тайга! Зверя хватит не только на двоих, — быстро, будто боясь не успеть, проговорил Пларгун.

Старик ответил пристальным, суровым взглядом.

В эту ночь юноша допоздна не мог заснуть. И хотя Лучка не шевелился, Пларгун уловил: он тоже не спит...

Лучка уходил утром. Он ни разу не оглянулся. Пларгун стоял долго, прислонившись к двери, и растерянно мял шапку, которую почему-то не надел, хотя было ветрено и морозно...

В последние дни он все чаще и чаще возвращался в мыслях к дому... Там тепло сейчас. Пусть даже и не ловится рыба, но там тепло. И ничто не страшит тебя. Хорошо ребятам — они вечерами в клубе. Нигвит... Как ты? Скучаешь ли по мне?.. Пларгуну очень хотелось, чтобы ей не хватало его... Дядя Мазгун... Если бы ты знал, как нелегко мне стать тем, кем ты хочешь меня видеть...

Может быть, зря я уехал так далеко от дома? Ведь есть же участки неподалеку от поселка. Я бы через каждые десять дней наведывался домой... Домой... Наверно, мать вся извелась, тоскуя. Зря я мучаю и мать и себя. Ведь есть же охотничьи участки неподалеку от поселка. Правда, небогатые. А мать каждый день с утра выходит на залив и под пронизывающим до костей ветром долбит тяжелой пешней толстый лед... Сорокаградусный мороз... тяжелая пешня... неподатливый лед... А рыба? А рыбы нет. Ее нет уже много лет. На побережье ее всю выловили. Говорят, и в океане ее мало стало... И мать с тупым ожесточением долбит на заливе лед.

Нет, мать, я привезу соболей. Да, да привезу. Я обязательно привезу соболей!

Уходя, старик вручил Пларгуну отличнейшие охотничьи лыжи, обшитые мехом, и проговорил торжественно, как при исполнении ритуала:

— Пусть творение рук старого человека поможет молодому человеку в его первых шагах на трудной тропе охоты! Удачно идти!

Старик ушел и унес с собой хорошую погоду. Из-за дальних хребтов налетел ветер, завихрил снег, перемел, сдул с открытых мест, завалил распадки, трещины, бочаги.

Потом явились тучи, чем-то напоминающие большие темные машины, которые доводилось видеть Пларгуну. Подошли тяжело груженные тучи-самосвалы и разом сбросили свой груз на тайгу.

Когда установилась погода, Пларгун стал на лыжи. Легкие, послушные, они мягко скользят по рыхлому снегу.

Он взял с собой Кенграя. За три недели пес оправился от ушибов и теперь охотно шел в тайгу.

Пларгун согнулся под тяжестью рюкзака, заполненного олениной на приваду. В руках — ружье. Палку решил не брать. Пларгун хороший лыжник, а на подъемах мех на лыжах хорошо сцепляется со снегом, не скользит назад. Так что палка просто не нужна.

Охотник прошел вверх по берегу реки, дошел до первого распадка, склоны которого густо облеплены ельником, прошел по ключу в сторону истока. Распадок у устья неширок. Пойма покрыта ивой, березой, ольхой. Выше распадок су-

жается клином. Здесь местность очень привлекательна: склоны распадков покрыты старым ельником. В чаще Пларгун нашел две пересекающиеся колоды и бросил около них приваду.

Свежих следов мало. Но соболь должен подойти к приманкам, и охотник разбрасывал приваду у каменистых россыпей, на обвалившихся склонах бугров, у мшистых валежин и у нагромождений поваленного леса. Все заприваженные места отметил затесами на деревьях.

Скоро распадок вклинился в невысокое светлое лиственничное плато. Кенграй, до этого рыскавший поблизости, принюхивался к старым следам, вдруг сорвался — только снежная пыль взмыла за ним и медленно, искрясь, оседала, запорашивая его же следы.

Соболь! Соболь! Наконец-то! Охотник помчался по пологому склону вверх на плато. Он часто семенил, подминая под собою снег и радуясь совершенству охотничьих лыж; они даже на самых крутых склонах нисколько не отдавали, позволяя быстро взбираться на возвышенные места. Он мчался вверх, не глядя ни по сторонам, ни под ноги. Он знал, что собака нагоняет дорогого зверя, и тому ничего не останется, как спасаться на дереве. Зверь на дереве — верная мишень. К нему можно открыто подойти совсем близко. Даже немного полюбоваться им.

Пларгун мчался, вслушиваясь, не залаял ли пес. Спешил быстро одолеть подъем. И уже на самом верху склона задел ногою за толстый сук от валежины, споткнулся и, неловко балансируя, опрокинулся на спину.

Лыжи, сдав назад, глубоко ушли в снег.

Пларгун лежал в мягком удобном снежном ложе.

Хотел было подтянуть ноги, но их будто взяли в тиски: лыжи прочно вошли в снег. Попытался облокотиться, но снег предательски разверзся, и рука провалилась на всю длину. Попытался сесть без помощи рук, но мешала одежда и тяжелый рюкзак. Надо скинуть рюкзак. Действуя руками и чуть поворачиваясь влево и вправо, сбросил лямки. Освободившись от груза, вновь попытался встать. Но стоило ему напрячься, как снег под спиной осел. Теперь молодой охотник лежал в вырезанном по форме его тела глубоком снежном ложе. «Снежный гроб», — мелькнуло в голове, и Пларгун вздрогнул. Панический, нечеловеческий вопль огласил тайгу.

Потом он слышал лай Кенграя. Заливистый, азартный. Загнал все-таки на дерево. Цепко держит.

— Кен-гра-а-а-ай!

Лай Кенграя далекий, зовущий. Перекатывается, гулко дробясь о стволы лиственницы.

— Кен-гра-а-а-ай!

Зря, совсем зря не взял лыжную палку. Круг на палке

сплетен из лозы ивы. Он хорошо держит палку на снегу, не топит. Старик — мастер, каких не часто встретишь. Зря, совсем зря не взял палку... А небо, оно серое... Черт возьми, где же Кенграй?

— Кен-гра-а-ай!

Уже совсем негромко раздается лай. Охрип бедняга. Не дождется меня.

Вскоре где-то совсем рядом заскрипел снег. И в то же мгновение Пларгун почувствовал на лице горячее прерывистое дыхание.

— Кенграй, друг мой. Ну, что же это такое, а? Почему мне так не везет?

Кенграй, нетерпеливо повизгивая, суетливо бегал вокруг. Ему было непонятно, почему хозяин ничего не делает, когда соболь сидит на дереве.

— Кенграй! — простонал Пларгун.

То ли голос подсказал псу, что человек находится в беде, то ли сам понял это, но подскочил к хозяину, схватил зубами за плечо, стал тянуть. Тянул сильно, бестолково.

Пларгун выпростал из снега руки, повернул пса головой вверх, по склону, взял его за складку кожи на загривке.

— Та-та!

Могучая лайка сильно дернула, и Пларгун сел. Помогая себе движениями корпуса и опираясь на собаку, подтянулся вперед, встал на ноги. Резкими рывками вытащил лыжи. Поднял рюкзак и, еще не веря своему спасению, вдруг рванул наверх. Он помчался быстро, будто за ним гналась смертельная опасность.

Увидев человека, соболь кинулся еще выше, винтом обежал макушку дерева, пытаясь найти безопасное место.

Соболь сидел на самом верху лиственницы у основания сдвоенного сука. Темно-коричневый на спине и чуть светлее на брюшке. Спина изящно изогнута, хвост молодым месяцем лежит на суку, ветер чуть слышно теребит его конец. Какой красавец!

Пларгун скинул с плеча ружье, переломил его, чтобы зарядить патроном с дробью средних размеров. И тут увидел, что ствол ружья забит тугой снежной пробкой. Поднес его ко рту, чтобы продуть. Но как ни тужился, пробка оказалась сильнее его легких.

Пришлось вырезать тонкий прут, и только тогда пробка поддалась, раскрошилась и высыпалась серебристой пылью.

Спокойно прицелился, нажал на гашетку. Соболя подбросило в воздух вместе со щепками, отколотыми от ветвей, Кенграй подскочил, на лету поймал зверька, несколько раз стиснул его зубами и подал хозяину.

Первый соболь!

Снег падал день и ночь. Падал медленно, крупными хлопьями. Лег на ветках и лапнике толстыми пластами, будто кто аккуратно, чтобы не сорвались, разложил их как можно больше. Ветви провисли под тяжестью, деревья притихли, покорные и безропотные.

Молодые гибкие березы не выдержали груза, смиренно приникли головами к земле, образовав то тут, то там причудливые арки.

Серое небо без движения. И все — в молчаливом ожидании. Только слышалось через короткие промежутки будто кто-то устало вздыхал тяжело:

— Пфых!

Пларгун прислушался. Где-то он уже слышал подобные звуки. Да, вспомнил! Это было на море, когда он выходил с дядей охотиться на нерпу во льдах. Огромное бурое животное плавало в чистой ото льда воде, выгнув спину, уходило на дно, через минуту-другую показывалось на том же месте. Сперва слышалось натруженное «пфых!». Потом показывалось само животное. Это сивуч пасся на подводных колониях морских моллюсков. Но то было в море...

Пларгун стоял молча, прислушиваясь. На голову с дерева свалился огромный пласт снега. Обсыпал с головы до ног, облепил лицо — дышать стало трудно, проник за шиворот, промчался леденящей струей по горячей спине под одеждой.

Пларгун хотел было обломить ветвь ели, чтобы сбить с себя снег, но только прикоснулся к дереву, как по голове и плечам ударил целый залп.

Снег таял на лице, на руках, на спине. Промокла ватная куртка, промокли теплые стеганые брюки.

А вокруг только и слышится плюханье комьев: пфых! пфых!.. Ветви, сбросив тяжелый груз, как крылья взмывают кверху, раскачиваются, радуются своей легкости.

Вот огромный ком сорвался с высокой ели, угодил в сугроб, захоронивший вершину березки. И береза, вырванная из западни, распрямилась упругой пружиной, взмыла вершиной в небо, удивленно и испуганно оглянулась кругом — еще не верит в свое освобождение.

Лыжню завалило, и Пларгун шел по памяти, ориентируясь по редким зарубкам на деревьях. Снег был настолько рыхлый, что даже широкие охотничьи лыжи проваливались глубоко. Пларгун добрался только до первой привады, что у искривленной старой ели. Поверхность свежего снега изрешечена упавшими с деревьев комьями. Иногда охотник принимал мелкие лунки за долгожданные следы соболя...

В первый день после обильного снегопада ни один лесной обитатель не спускался на снег. Сидит в своем гнезде на дереве. Просыпающаяся тайга с ее извечными шорохами, звуками зовет зверя, но рыхлый снег страшит его: в рыхлом снегу даже самые сильные беспомощны.

Все зверье знает: через день снег осядет, ночью мороз схватит его, образуется наст, пусть непрочный, но достаточный, чтобы удержать их на осторожном ходу.

Сперва покинут свои гнезда те, кто не успел перед снегопадом наесться настолько, чтобы спокойно проспать ненастье. В голод и самые теплые гнезда покажутся холодными. Сегодня, а может быть, и завтра, следов не будет.

И Пларгун повернул назад.

А увидев, как Кенграй с головой проваливается в снег, как ему трудно достается каждый шаг, молодой охотник понял, что упустил самое добычливое время охоты с лайкой по малоснежью. И в душе, вскипая, поднялось смешанное чувство досады, ярости, бессилия, обиды на Нехана...

Эй, человек!

После обильного снегопада снова пришлось пробивать лыжню. Целинный снег был рыхлый и глубокий, и охотник проваливался по колено. Вскоре Пларгун почувствовал, что занесенный след твердо прощупывается под слоем свежего снега. И молодой охотник двинулся медленно и осторожно, как слепой, нащупывая палкой тропу. А пройдя еще несколько шагов, убедился, что занесенный след легко уловить лыжами: они не глубоко уходят в снег, если точно ложатся на невидимую лыжню. И, наоборот, тут же проваливаются, стоит соскочить с нее. Через какую-то сотню шагов Пларгун, приспособившись, уже точно знал, легла ли лыжа всей своей поверхностью на след, или только половиной, или четвертью.

Соболь побывал у большинства приманок, долго кружил вокруг, чуть притрагивался к мясу.

Молодой охотник ставил капканы, как учил старик Лучка: сначала подрезал снег под след подхода деревянной лопаточкой, что соединена с верхним концом лыжной палки, просовывал руку с ножом в образовавшуюся под следом пустоту, осторожно срезал оставшийся слой рыхлого снега, и, когда твердый смерзшийся наст на следу станет настолько тонким, что сквозь него можно будет видеть, как тенью движется темное лезвие ножа, — считай, след обработан. Теперь надо осторожно, чтобы не разрушить пленку снежного навеса, просунуть под него настороженный капкан. Затем свежим снегом присыпать ямку под следом, натрусить кухты и, убедившись, что капкан отлично замаскирован, заякорить его незаметно. Второй капкан ставить под след ухода.

На протяжении путика юноша насторожил около восьмидесяти капканов.

Два дня ожидания показались вечностью. Думалось, времени достаточно, чтобы соболь облюбовал приманку, пошел смело.

Пларгун две ночи видел сны: чуть не во всех капканах сидели соболи, один темнее другого. И, подгоняемый нетерпением, он отправился осматривать ловушки.

Еще за несколько шагов до первого капкана заметил: он сработал. Пларгун увидел голубоватый нежный мех, чуть припорошенный переновой — переметенным снежком. И он не подошел — подлетел к добыче, порывисто схватил ее. И тут как-то весь погас: руки опустились, ноги ослабли. В капкане оказался не соболь, а лесная воровка сойка, которая всегда сует свой нос туда, куда ее не просят... Пларгун разжал челюсти капкана, брезгливо отбросил сойку, будто это была не птица, а смерзшийся ком грязи.

— Ка-ак? Ка-ак? — раздается над головой, и черная тень проскользнула по валежине.

Ворона села на макушку ели и, любопытствуя, наклонила голову.

Черная ворона... черная кошка... пересекла дорогу... Нет, Пларгун никогда не был суеверным. Но все-таки неприятно, когда имеешь дело с вороной. Ворона — верный признак несчастья. Она спутница кровавых драм... Она пожирает трупы, выклевывает глаза... У нее всегда дурные намерения. Я ей нужен мертвый. Чтобы выклевать мои глаза... Черт возьми, откуда у меня такие дурацкие мысли?

— Ка-ак? Ка-ак?

Какого черта тебе надо? И голос у тебя противный... Черная птица... черная кошка... Накликает беду... Или неудачу.

— Ка-ак? Ка...

Но ворона не успела сказать свое злорадное «как?». Пларгун никогда еще не стрелял с таким мгновенным «навскидку». Приклад не успел даже прикоснуться к плечу, а ворона уже билась у ног. Кончилась твоя разбойничья жизнь. Теперь послужишь охотнику приманкой для соболя.

У подъема на плато, там, где несколько дней назад Пларгун чуть не остался в снежном гробу, он наткнулся на стаю рябчиков. Они не боялись человека. Выстрелом он сбил сразу двух. Один упал замертво, а второй споро помчался прочь, волоча подбитое крыло. И Пларгун нагнал его, придавил палкой. И тут его осенила мысль: использовать на приваду живого рябчика! Соболь — большой охотник до рябчиков. Зверек, услышав живую птицу, забудет об осторожности.

Пларгун снял ближайший капкан. Нашел старую ель с норой под корневищем, накинул петлю на лапку рябчика, привязал нитку к корневищу. Рябчик юркнул в нору. Сиди себе в норе. Только смотри не замерзни.

Капкан поставил на ходу к норе, но на таком расстоянии, чтобы птица в него не угодила. Хорошо стоит ловушка с отменной приманкой, ветер идет снизу по распадку, и запах птицы выносит на сивер — на темно-хвойный лес, что занимает склоны возвышения.

Было еще темно, когда Пларгун проснулся. Наскоро позавтракал засохшими кусками лепешки, размочив их в кружке горячего чая, заел консервированной уткой.

Едва деревья зарешетились на фоне белеющего неба, Пларгун ступил на лыжню.

У двух колодин пришлось подумать еще над одной задачей. Соболь подходил к приваде. Подходил близко. И в каком-то шаге хорошо замаскированного капкана шарахнулся назад и понесся своим следом что есть сил.

В чем дело?

Предположить, что он почуял запах железа, трудно. Ведь капканы выварены стариком Лучкой. К тому же соболь подходил и раньше и не бросался от привады сломя голову, а спокойно обходил кругом, неуверенно топтался на месте и уходил. Это обычная осторожность зверя. А тут шарахнулся, будто его стегнули прутом.

Ответ не заставил долго ждать. Соболь вышел на жировку еще в потемках. Сразу поймал чуть слышный запах замерзшего мяса и поскакал своим старым следом. Теперь он шел уверенно, потому что и места хорошо знакомы, и мясо, откуда-то взявшееся, лежало там же, никем не тронутое. Соболь мчался широкими прыжками. Спешил. Голод подгонял его. И когда подскочил к колодам, вдруг наткнулся на что-то черное, огромное, страшное, притаившееся в темной щели под перекрещенными деревьями. Соболь, насмерть перепуганный, рванулся назад, оставляя на снегу кровавые испражнения.

Черная ворона в темноте может напугать не только соболя — самого беса оставит заикой. «Ты и здесь сыграла со мной злую шутку!» — расстроился Пларгун. Но вскоре понял, что дохлая ворона ни при чем. Ведь он сам подстрелил ее и бросил у капкана с приводой. Пларгун схватил замерзшую ворону и закинул на дерево. Но и тут ворона осталась вороной: от резкого броска едва не вывихнулось плечо. Рука после этого долго болела...

Юноша отправился к следующему капкану.

Еще издали услышал лязг металла. Кто-то попал в ловушку. Жестоко обманутый в своих ожиданиях и замученный неудачами, Пларгун не допускал и мысли о соболе. Никак, несчастный рябчик дотянулся-таки до капкана и угодил лапкой и теперь от боли не находит себе места. Греми, греми. Сегодня ты пойдешь в суп. Это будет очень кстати, а то мяса осталось всего на несколько дней...

Но кто бы это мог быть?

Из норы выглянул шустрый зверек. Он испуганно уставился круглыми глазками, повел изящной головкой, показав темные плечи. И, загремев металлом, мгновенно исчез в провале под корневищем.

Пларгун суматошным движением вдруг задрожавших

пальцев оттянул лыжные крепления, сбросил лыжи — без них ловчее под деревом, где твердо и снегу мало.

Хотя знал, что капкан прочно заякорен, бросился к норе и упал на нее, накрыв животом выход: всякое бывает. Случается, добыча выскальзывает буквально из рук. Чтобы ловчее схватить соболя, сбросил меховые рукавицы и запустил руку в длинную нору. Не успел он дотронуться до мягкой, шелковистой шерсти, как почувствовал острую боль в руке. Больших усилий стоило, чтобы не взвыть. Онемевшими пальцами Пларгун нащупал шею зверька, схватил ее крепко и вытащил соболя вместе с капканом. Левой рукой сжал челюсти с боков. Соболь не отпускал руку. В маленьких, точно бусинки, глазах зверька не было испуга. Была ярость, смертельная ярость. И ненависть. Охотник что есть силы сжал челюсти зверя, даже пальцы побелели. Челюсти хрустнули, сдали, освободили руку.

Пларгун отсосал из раны кровь, палкой сшиб с березы желтый гриб-чагу — раскрошил его, спалил и рану присыпал грибным пеплом. Затем обмотал руку лоскутом от нижней рубашки.

Покончив с рукой, вспомнил о рябчике, которого намеревался отправить в котел. Но рябчика что-то не было видно. Запустив руку в нору, нащупал маленький кусочек с перьями. Оказывается, соболь, уже в капкане, притерпевшись к ужасной боли, все же решил позавтракать.

Молодой охотник погладил нежный дорогой мех: «Я подарил тебе живого вкусного рябчика, а ты мне — свою шкурку. Так что мы квиты».

Проходя путиком, Пларгун переставил несколько ловушек — ветра не слышно, но на неразреженных местах появилась перенова. По-видимому, ночью все-таки дует.

И еще отметил молодой охотник: соболь, выйдя на охоту, не оставляет без внимания ни одной валежины, ни одной колоды. Обязательно завернет, проскочит по ним. И охотник перенес приваду и часть ловушек к колодам.

Спустившись с плато к ключу, что идет от увала мимо сопки, проверил ловушки на выдру. Велика была радость, когда в одной из них оказалась добыча: длинный, как охотничьи лыжи, коротконогий усатый зверь.

Нехан растопил печь, вытащил из мешка сверток со свинцовыми слитками. Потом развернул старую, мятую газету, в которую был завернут свинец, бросил слитки в плоскую банку из-под рыбных консервов. Подхватил банку щипцами и просунул в печь.

В ожидании, пока расплавится свинец, охотник разгладил газету и равнодушно скользнул по ней глазами. Внимание его привлек снимок. На нем был изображен небольшой человечек в иностранной военной форме. Он бесстрашно позировал рядом с громадным тигром. Нехан подивился смелости

этого человека. «Наверно, какой-нибудь дрессировщик», — подумал он. Но опытный глаз охотника тут же обнаружил подвох: тигр не тигр, а чучело тигра!

— Так любой дурак может, — сказал он, оглядывая обманувшего его человека в военной форме. И подумал: «А еще, наверно, какой-нибудь начальник. Не солидно, друг мой, не солидно».

Нехан поднял газету, чтобы узнать, что это за человек. С трудом прочитал стершиеся строки. Звали его Кхань. «Кхань — Нехан, Кхань — Нехан», — невинно скаламбурил Нехан, уловив созвучие имен. Но кто такой Кхань? Подпись под снимком гласила: Кхань — южновьетнамский генерал, один из тех, кто правил страной после многочисленных переворотов.

— Ничтожество! Ничтожество! Ты не только тигра — паршивого шакала боишься! И такое ничтожество правит страной! Да я бы одной рукой задавил тебя!

Нехан почувствовал себя жестоко обворованным.

— Да ты по сравнению со мной пигмей! Я медведей, как зайцев, травлю! Медве-дей!.. Пигмей несчастный... Мне бы... мне бы... Я бы тоже мог быть королем или императором! Только у нас дальше председателя колхоза мне не пойти.

Расстроенный Нехан скомкал газету и бросил в печь. Пламя подхватило бумагу — вскоре печь загудела напряженно и ровно.

Через несколько минут Нехан забыл о ничтожном человеке. Припав на одно колено, он просунул обмотанную тряпкой руку со щипцами в печь, откинувшись на длину руки и закрыв левой ладонью лицо от нестерпимого жара, нащупал щипцами закраину мятой банки, расшевелил пышащие жаром угли, чтобы не сбить их на пол, вытащил банку, аккуратно наклонил ее над формочкой и отлил точно порцию свинца. Нехан готовил пули. Тяжелые пули. На его оголенных плечах плясало пламя. По горячему лицу, по вздувшейся от жары и усердия шее стекал пот, пропитывая грязную, линялую майку неопределенного цвета.

Как-то незаметно для самого себя Нехан стал мурлыкать сымпровизированную тут же мелодию. У охотника в последние дни хорошее настроение — для этого достаточно причин: заприваженные еще до снегопада соболи облюбовали его участок и сейчас что ни день есть добыча — будь то соболь или горностай, выдра или лиса.

Умело организованная удачная охота радовала очень. Удачная?.. Что такое удача? Ну, кто скажет, что такое удача? Допустим, рыбак, желая сварить уху, наткнулся на большой косяк рыбы или старатель на заброшенном участке нашел самородок... И говорит: удача... Нехан усмехнулся. Это не удача — а случайность. Надо не ждать случайной удачи,

а делать ее своими собственными руками! Да, да, своими! Надо быть хозяином своей судьбы...

Покинув долину Мымги, он спустился на побережье к рыбакам. И сразу отметил: добродушные, непосредственные, они до сих пор не научились строить свою несложную жизнь. Объединившись в рыболовецкие артели, прибрежные нивхи отказались от охоты на пушного зверя. Многие, особенно кто помоложе, уже потеряли навыки, накопленные их предками-охотниками. Странные люди: зимой и летом черпают неводом пустой залив, а в тайгу идти не хотят, или никто их не надоумит. Странные... Ну, бог с ними. Меньше шататься будет в тайге неудачников. Пусть уж лучше черпают свой оскудевший залив. А то появился в тайге один... Тоже мне охотничек. Упрям, черт. Ну, ничего. Мы еще посмотрим!.. Надо быть хозяином своей судьбы... У меня будут хорошие деньги. Будут! И слава. И тогда...

Нехан вспомнил последний разговор с женой.

— Ты все-таки уходишь? — Она стояла у занавешенного окна в ночной сорочке. Длинные густые пряди падали на плечи. Скупой свет предосеннего утра слабо проникал в комнату, и все казалось серым. Жена стояла к нему спиной, слегка запрокинув голову. Нет, она не плакала. И в голосе — суровая сдержанность. И она говорила, будто не спрашивала, а сообщала о свершившемся.

— Я не знаю, что меня ждет. — Нехан повернулся в постели. Жена молчала.

— Я не знаю...

— Не надо, — прервала жена.

— Я буду помогать.

— Не надо, — сказала она.

— Я помогу воспитать дочь.

— Не надо.

На рассвете, когда проснулось маленькое село в долине Мымги, Нехана в нем уже не было...

Пларгун, натянув шкурки на распялки, соскребал остатки жира и разговаривал с собакой:

— Что ты облизываешься? Голоден? Думаешь, я не хочу есть? Я тоже хочу. Только у тебя есть что есть, а у меня все на исходе. Муки осталось на неделю, мясо кончилось, консервы тоже на исходе. Скоро кончится соль. И сахару-то осталось на неделю-две. Что я буду делать? Тебе-то что, ты будешь есть соболей... Тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить бы. Вот закончу со шкурками и сварю тебе двойной суп из соболя и выдры. Какая собака пробовала подобное блюдо? Ну, скажи! А выдра, видишь, какая жирная. Отменный будет суп.

Кенграй стоял рядом, внимательно следил за движениями хозяина.

— Можно подумать, что ты проходишь курсы по первичной обработке шкур. Смотри, смотри. Хорошо бы, если б у нас с тобой было разделение труда: я бы ловил соболей, а ты — снимал с них шкурки. В этом деле главное — не скатать шерсть, не сбить ости, — поучал Пларгун, вспоминая наставления старого Лучки.

— Ну что, идет?

Но собака не сказала ни нет, ни да. Она выжидающе уставилась на дверь.

— Что это?

Пларгун приоткрыл дверь. Донесся морозный скрип снега, потом появился человек в ватной телогрейке и оленьей шапке. Человек легко скользнул по охотничьей лыжне.

Это был Нехан.

Почему он шел по путику, а не напрямик вдоль реки?

Нехан, разгоряченный дорогой, подкатил к избушке и, встретив недоуменный взгляд хозяина, сказал, будто оправдываясь:

— Я ходил по своему кругу и, чтобы не делать большого обхода, прошел твоим. У меня к тебе дело...

Выждав минуту, добавил:

— Хорошие места у тебя, богатые зверем. Ну, как дела?

А сам глянул на Кенграя, который выскочил было навстречу, но вдруг остановился, повернулся и отошел в сторону.

Нехан втиснулся в дверь, сел на лиственный чурбак. Глянул на распяленные шкурки и поднялся, пощупал мех.

— Охо! Вот это добыча! Соболь и выдра в один день! Здорово! Здорово!

В голосе Нехана звучала фальшь, восхищение какое-то не настоящее. А может быть, просто показалось? Ведь Пларгун мало знает этого человека.

Пока варили чай, шел разговор.

— Значит, тайга не очень скупа? — переспросил Нехан.

— Как сказать, щедра ли она ко мне. Наверное, я сам такой неловкий на удачу — всего два соболя и одна выдра.

— Что ты говоришь? — удивился Нехан.

— Я пропустил малоснежье.

— Как так?

— Кенграй... Он долго болел после вашего удара.

— А-а-а-а... Черт возьми. Они, гады, сожрали все масло. Оставили нас ни с чем. Я, может быть, малость погорячился тогда. На моем месте всякий поступил бы так. Нельзя же допускать, чтобы из-за собак мы все подохли с голоду.

Лицо не лицо, а тугой мешок с кровью, надвинулось, нависло над юношей. Маленькие, запрятанные под толстыми веками глаза так и сверлили Пларгуна.

— Ты упустил не только первоснежье. Ты упустил все. Охоты больше не будет! Настали большие снега. Теперь и собака не поможет. Соболь сыт и не пойдет на приманку.

Ты все потерял. Плана тебе никогда не взять! Тем более съестных припасов ни у кого не осталось. Я-то еще как-нибудь продержусь на мясе. А ты? Ты и десяти дней не протянешь. Я рос в другое время, когда нивхи ели мясо и рыбу. А ты рос на русской пище — на хлебе и овощах. Ты отвык от пищи предков. Ты не протянешь и десяти дней!

Нехан говорил жарким полушепотом, будто вводил юношу в самое сокровенное.

— И мяса-то у тебя нет. Олени ушли в малоснежные сопки. А глухари еще не спустились с хребтов. Как ты будешь жить? Как?

Юноша угрюмо молчал. Его самого преследовал этот вопрос.

— Вот что! — Нехан наседал на юношу, как медведь на растерявшегося оленя. — Тебе надо подумать о своем положении. И серьезно подумать, что тебе делать!..

— Карр! — скрипуче вмешалась в разговор ворона.

Затем донесся радостный лай Кенграя. Через секунду зарычали собаки.

— Это старик с Мирлом, — сказал Нехан, обрывая тяжелый разговор. — Я забыл тебе сказать, что завтра идем будить медведя. Я уже давно заприметил берлогу. Но выжидал, чтобы хозяин облежался, крепко заснул...

Собаки шли сзади по умятой лыжне.

Нехан вел прямо, будто через реку, лес и сопки видел цель. Пробивали лыжню споро, по очереди. В полдень охотники подошли к подножию отвесной сопки.

Собак взяли на сворки. Нехан дал последние указания. Договорились, что медведя тревожат с двух сторон Лучка и Пларгун. Нехан станет напротив лаза и, как только появится медвежья голова, будет стрелять.

— А теперь — осторожно и тихо, — сказал Нехан и вышел вперед. Пларгун и Лучка пошли следом, придерживая псов.

Вошли в сивер — гущу леса на склоне сопки. Нагромождения сухих деревьев изрядно мешали. Даже широкие лыжи утопали глубоко. Пларгун чувствовал, как ноги начали мелко дрожать. Сердце стучало громко и часто. Вокруг — напряженная тишина. Пларгун уже заметил, что следы зверей стали встречаться реже, а вскоре совсем исчезли.

Через несколько шагов Нехан остановился и показал рукой вперед. Метрах в двадцати от них за вывороченной с корнем елью — чуть приметный бугор, какой, на первый взгляд, в тайге можно встретить на каждом шагу. Пларгун затаил дыхание. Вгляделся. Над бугром струится чуть заметный пар. На ветвях ели и кустах, нависших над бугром, — густая бахрома куржака. Почему собаки безразличны к бер-

логе? И, заметив, в каком направлении сносит пар, понял: Нехан подвел так, чтобы ветер шел от берлоги не на них, а в сторону. Иначе бы собаки преждевременно подняли лай.

Нехан отвел охотников с собаками обратно по лыжне на расстояние, чтобы шумом не потревожить зверя.

Срубить две молодые лиственничные лесины, связать из них залом в виде крестовины, накинуть на концы веревочные петли — дело пятнадцати минут.

У Нехана два ружья. Он придерживает собак. Лучка и Пларгун понесли крестовину к берлоге. Несли осторожно, внимательно всматриваясь под ноги, чтобы не наступить на сук или, что еще хуже, не зацепиться за него. Лучка шел чуть впереди. Старый охотник не раз обкладывал берлоги и знал, что делать. Очень осторожно подкрались к челу, или лазу, как называют охотники вход в берлогу, положили на него тяжелую крестовину. Концы крестовины привязали к крепким кустам. Потом вооружились жердями.

Охотники утоптали снег, чтобы удобней было действовать. По знаку старика Нехан отцепил сворки. Собаки поначалу не поняли, что от них требуют.

— Кха! — позвал старик.

Собаки подбежали к охотникам, вертя пушистыми хвостами, но вдруг отпрянули назад. В глазах вспыхнул огонь страха и злобы: в ноздри терпко ударил близкий дух медведя. На загривках вздыбилась шерсть. Собаки яростно набросились на чело берлоги.

Охотники взломали чело, затолкали жерди в берлогу и стали с силой тыкать ими в разных направлениях. Пларгун почувствовал, как его жердина попала во что-то мягкое, и тотчас же из-под земли раздался такой рев, что юноша чуть было не упал. Крестовина вскинулась, но веревки крепко держали ее концы. Громадная бурая голова уперлась в крестовину. Маленькие, налитые кровью глаза обозначились из темноты, заходили из стороны в сторону.

Собаки залились отчаянным лаем. Медведь снова исчез в черном провале, накрест перечеркнутом заломом. Лучка энергично сунул в пустоту жердиной. И тут же его рвануло вперед с такой силой, что старик, не удержавшись на ногах, упал на бок, но не отпустил жерди.

Пларгун в оцепенении смотрел на происходящее.

— Пихай! Чего стоишь! — заорал Нехан.

Пларгун пришел в себя, понял, чего от него требуют, и с силой пропустил жердину в чело. Медведь пронзительно рявкнул, схватил ее зубами и рванул на себя. Потом снова набросился на залом. Собаки отскочили. Медведь вцепился в крестовину и могучими рывками силился втянуть ее в берлогу. Нехан прицелился. Но не стрелял. «Почему не стреляет?» — подумал Лучка, но увидев, с какой быстротой мелькает медведь за крестовиной, решил: трудно выцелить голову.

Наконец раздался выстрел. От крестовины отлетела щепка. Медведь исчез, но в следующее мгновение вновь навалился на залом. Раздался второй выстрел. Опять слетела щепка от крестовины. Нехан схватил второе ружье. Но тут под напором медведя разрушилась часть «неба» — крыши берлоги, и разъяренная голова высунулась наружу. К тому же пробитая пулями крестовина выгнулась под мощным напором и грозила вот-вот разлететься на части.

Пларгун отскочил в сторону. Отскочили и собаки, визжа и скуля.

Нехан целился, долго целился. Надо стрелять. Стреляй же!

Медведь повернулся боком, выпростал лапы со страшными когтями.

Стреляй!

Медведь плечами выставил еще часть «неба».

Стреляй же!

Медведь, подгребая лапами, вылез наполовину.

Стреляй!

Медведь рванул, крестовина разлетелась на две половины, и медведя будто выбросило сверхсильной пружиной.

Стреляй!

Медведь на мгновение замешкался, на кого броситься: на человека в оленьей дохе, который так настойчиво досаждал ему колючей жердью, или на человека слева, который больно его ударил.

— Стреля-я-яй!!!

Собаки подскочили сзади и в слепом азарте вцепились в гачи. Медведь резко обернулся. Собаки, взвизгнув, отпрыгнули к Пларгуну. «Вот сейчас насядет на меня!..» В глухой панике Пларгун сорвался с места, но увяз в снегу по пояс. Чувствуя приближение смерти, он вобрал в себя голову и закрыл ее руками.

— А-а-а-а-а!

Пларгун не видел, как собаки схватили зверя, уже приготовившегося к прыжку на беззащитную жертву.

— Стреляй! — вне себя закричал старик.

Зверь обернулся назад, взмахнул лапой, пытаясь схватить собак, но те ловко увернулись от его растопыренных когтей.

Тогда медведь бросился за стариком и в два прыжка настиг его.

Пларгун не видел развязки, а она наступила мгновенно. Старик, как подкошенный, упал навзничь. Но не успел еще медведь после прыжка опуститься на лапы, как запутался в своих же внутренностях: рука старого таежника сработала точно и четко.

Кенграй вцепился медведю в ухо, Мирл — в горло.

Медведь, собравшись с силами, медленно поднялся над обагренным кровью снегом, поднял на себя вцепившихся на-

мертво собак и обхватившего его ногами старика. Одна рука старика крепко держалась за богатую шерсть медведя, а другая с ножом нащупывала сердце. Еще секунда, и зверь рухнул, подмяв под себя маленькое тело старого человека.

Когда Пларгун, еще не веря в спасение, оглянулся, старик с трудом вылезал из-под медведя. А зверь силился поднять голову.

Нехан, будто только что вспомнив, вскинул ружье.

— Уж не надо, — старик сделал останавливающий жест и посмотрел на Нехана так пристально, точно увидел его впервые.

Собаки оставили зверя, повернули к берлоге. Мирл с остервенелым лаем исчез в ней, вслед за Мирлом в берлоге оказался Кенграй. Послышалась возня, раздались неимоверные вопли, и вскоре собаки вытащили отчаянно сопротивлявшегося медвежонка ростом побольше собак, шире и толще их.

Нехан снял телогрейку, повесил ее на сук и, закатав рукава теплого шерстяного свитера, сделал надрез на коже над челюстью медведя.

Освежевать медведицу — дело не быстрое.

По обычаю, хозяином медведя является не тот, кто убил его, а тот, кто нашел берлогу... И хотя в этом случае хозяин не имел какого-нибудь особого преимущества, так как мяса взял каждый столько, сколько мог унести, шкуру и желчь забрал Нехан.

Во время разделки туши, когда ножи притупились, Нехан попросил Пларгуна:

— Достань брусок из кармана телогрейки.

Пларгун смыл снегом кровь с рук, выпрямил натруженную спину, шагнул к дереву, на котором висела телогрейка, потянулся к карману, нащупал камень. В кармане, кроме бруска, были еще какие-то крошки. Сперва юноша уловил терпкий запах табака и уже потом рассмотрел на ладони зеленовато-бурую пыль махорки. Махорка? Ведь Нехан не курит. Откуда она у него? И для чего?

Нехан оглянулся на замешкавшегося Пларгуна.

— Ты что там? — в его голосе была настороженность.

— Махорка... — сказал Пларгун.

— Так это для жертвоприношений! — быстро сказал Нехан, удивив юношу: он-то знал, что Нехан плевал на предрассудки.

...Кенграй ел хорошо, зато его хозяину мясо надоело до невозможности. Он всячески изощрялся в своих скудных кулинарных навыках: мясо шло в виде шашлыка или печеное, в вареном виде или с бульоном. Но все-таки наступило такое время, когда один вид мяса стал вызывать тошноту. К тому же десны стали медленно, но заметно припухать.

Зубы ныли тупой болью. Недомогание, одиночество и бесконечные, непрекращающиеся неудачи терзали молодого человека.

Уже несколько недель соболь отказывался идти в ловушки. Каждое утро чуть свет поднимался юноша, не спеша готовил завтрак, без всякого желания ел кусочки мяса, запивал кипятком и становился на лыжи.

Каждый раз он уходил по лыжне с пугливой надеждой на успех. Но ловушки встречали охотника с раскрытой пастью: они сами изголодались по добыче. Иногда в них оказывались воровки-сойки. Юноша отметил: оказывается, у сойки хорошо развито обоняние. Иначе как бы она нашла занесенное снегом мясо? У молодого охотника совсем пропала надежда на успех.

Может быть, надо было попросить Нехана взять на себя часть плана? Ему ведь ничего не стоит выловить не двадцать пять соболей, а, скажем, сорок. По всему было видно, что завышенный план не удовлетворил знаменитого охотника. Нехан все время сердился. Даже несмышленому мальчику было бы заметно: присутствие в тайге Пларгуна раздражает Нехана. Почему он так недружелюбно относится к новичку? Чем тот не угодил знаменитому охотнику?

Другой, внутренний, голос возражал: «Отдать ему часть плана? Да ты, друг мой, совсем потерял веру в себя! Ты что, приехал в тайгу на экскурсию? Хе-хе, отказаться от плана... Хорош охотник, который не умеет наладить отношения с тайгой. А ты думал над тем, чего добивается Нехан? Подумай!»

«А чего он добивается? — раздраженно спросил первый голос. — Что ты мелешь? Думай над тем, что говоришь!»

Вялость и апатия одолели совсем. Теперь Пларгун топил печь один раз в день, кормил собаку мерзлым мясом и ложился спать в настывший спальный мешок. Обходил ловушки сперва через день, потом через два. И уставал. Страшно уставал. Обход ловушек теперь ему стоил больших усилий.

Как-то Пларгун вышел из своей остывшей избушки собрать сучьев на растопку и услышал громкое, зовущее:

— Эй!

По тайге, затухая, пробежало эхо.

Пларгун не поверил своим ушам.

— Эй! — послышалось опять. — Человек! — отчетливо и ясно выкрикнул тот же голос.

Пларгун медленно, точно выходя из оцепенения, обернулся.

Тяжело переступая короткими широкими лыжами, человек поднимался на крутой заснеженный берег. Было видно: он пришел издалека через тайгу и набрел на одинокую избушку, как на спасение.

Одет он был в короткую, удобно сшитую доху из собачьих шкур и оленью островерхую шапку, отороченную заячьим пухом. На ногах — длинные оленьи торбаза, расшитые округлыми нивхскими узорами. За плечами — ружье. Уже потом Пларгун разглядел — это не какой-нибудь там дробовик, а новый пятизарядный карабин.

Несмотря на усталость, он подходил широким скользящим шагом, отталкиваясь палкой в правой руке, взмахивая левой, как крылом. Отличный ходок!

— Человек! — переводя дыхание, глухим голосом обратился незнакомец, и клубы пара на миг закрыли его лицо.

Юноша смотрел изумленно, еще не очень веря своим глазам. Кенграй с любопытством вертелся вокруг, всем своим видом показывая дружелюбие.

Наконец человек отдышался, опершись грудью о палку, воткнутую между концами лыж. Потом привычным движением сбросил лыжи, скинул с себя карабин и прислонил к стене. Лицо незнакомца было совсем юное, нежное, разгоряченное длительной дорогой. Ростом он был на голову ниже Пларгуна.

Человек рывком снял шапку. И Пларгун увидел: перед ним стоит девушка, нивхская девушка! Откуда? Как?..

— Хы! — изумился Пларгун. Но спохватился и сказал, стараясь сдержать волнение: — Входите!

Он толкнул дверь и отступил, пропуская вперед гостью.

Она села на низкий лиственичный чурбак, подперла голову обеими руками и молча уставилась на хозяина. Она смотрела пристально и жадно, будто никогда не видела человека.

Пларгун смутился. Надо угостить девушку чаем. Таков обычай: сперва накорми гостя с дороги, а расспросы — потом.

За все время, пока юноша неумело и торопливо копошился у печки, гостья не изменила позы, не произнесла ни слова. Только смотрела на него пугливо-дикими прекрасными глазами и изредка тяжело вздыхала.

— Садитесь к столу, — сказал Пларгун, выложив из кастрюли дымящуюся оленину и наливая в кружку кипяток.

Девушка не ответила на приглашение.

— Садитесь, — повторил юноша и взглянул на гостью.

Вдруг руки девушки подломились, голова ее упала на грудь. Раздался безудержный плач, громкий, захлебывающийся.

Пларгун засуетился, не зная, чем помочь.

Прошло немало времени, пока девушка успокоилась.

— Я знала, что найду вас... Я... Я долго шла... — Девушка говорила торопливо, сбивчиво. Черные глаза ее блестели в полумраке.

— У вас другой мир. Маленькой я однажды видела его. А младший брат совсем не был там... Вот этот карабин оттуда.

Пларгун внимательно слушал девушку, но смысл ее несвязной речи слабо доходил до него.

— Раньше мои сородичи жили в вашем мире. Но потом вернулись в тайгу, в родное стойбище. Я просила увезти меня к людям, но старший брат отца запретил уходить в другой мир. Только отцу разрешает ездить туда, чтобы сдать пушнину.

Девушка устала. Она говорила уже шепотом. Вскоре ее глаза сомкнулись, плечи расслабленно опустились. И когда Пларгун прикоснулся к ней, она уже спала.

Юноша осторожно поднял девушку на руки, перенес к нарам, положил на оленью шкуру и накрыл дохой.

Наступила ночь. Полная луна выкатилась на небо, остановилась, оглядывая уснувшую тайгу круглым ярким глазом.

Мягкий лунный свет играл на лице девушки, серебрил густые волосы, выделял обнаженную шею.

Пларгун лежал рядом в мешке, ощущал ее горячее тепло, слышал легкое, как у младенца, посапывание и неотрывно смотрел на лицо, прекрасное в своей невинности и безмятежности.

Иногда он силился думать о делах, которые ждут его впереди, но тут же забывал обо всем. Перед глазами, точно из тумана, выплывало юное лицо спящей девушки. Она приближалась, открывала глаза, смотрела пугливо-ожидающе, о чем-то настойчиво прося. А то вдруг превращалась в Нигвит...

А потом кто-то заслонил окно, и серебристый свет луны тотчас погас. Послышалось нетерпеливое поскрипывание снега. Кто бы это мог быть? Эй, тайга! Теперь ты уж ничем не удивишь меня! Кто там еще толчется и не решается зайти? Заходи!

А лицо девушки прекрасно. Оно спокойно. Вот оно уплывает в тумане и вновь возвращается. Раскачивается слегка. Глаза открыты и смотрят перед собой.

— Это он! — сказали бледные, плотно сомкнутые губы.

— Конечно, он, — беззвучно отвечает Пларгун.

— Это он!

— Ну и пусть «он».

И тут Пларгун приподнимается:

— Кто «он»?..

— ...Он шел за мной. Я кормила его сперва мясом из крошней, потом стреляла глухарей. Он всю дорогу шел за мной. Ночью подходил прямо к костру. Я так боялась! Он не должен съесть меня, пока я не увижу человека из другого мира. Теперь он пришел сюда и требует жертвы. Дайте ему что-нибудь. Дайте!..

Уже несколько зим стоит он над нашим стойбищем. Приходит с первым большим снегом. И всю зиму держит нас в страхе. Мы отдаем ему свою добычу: рыбу, птицу, оленей. Уходит лишь тогда, когда первая трава покроет землю. Но за зиму так обирает нас, что мы еле дотягиваем до лета...

С ним совсем не сладишь. Он не знает смерти. Если даже направишь на него ружье, он не умрет. Он просто отдаст шкуру и мясо, а сам станет еще более лютым.

В первый год старейший встретил его пулей. Он тогда еще не знал, что имеет дело со злым духом. Злой дух отбил пулю, и та улетела в небо. И старик, чтобы не вызвать гнев Пал-Ызнга, запретил трогать духа в обличье медведя. С тех пор мы каждую зиму приносим ему жертву...

Нынче он появился рано и помешал нам в охоте. Мы не успели сделать запасов на зиму. И хотя еще не испытываем голода, знаем — недолго ждать, когда начнем делить съестные припасы на дни. А дней у зимы впереди много-много, а заготовленного мяса совсем мало. Пришлось бы делить припасы на такие малые куски, что они не смогли бы в лютые морозы поддержать силы.

И отец не стал ждать, когда наступят эти страшные дни. Он нарушил запрет старейшего. И... поплатился двумя собаками. Дух преследовал его до самой двери нашего жилища.

Видно, мало жертв мы приносили ему.

Старейший рода говорит: мы ушли от злого человека, посягнувшего на жизнь и честь рода Такквонгун. Мы ушли от него в свое стойбище. Закрылись от него горами и тайгой. И прожили тут много благополучных мирных лет. Но злой дух явился к нам. И нет от него никакого спасения.

Я знала: где-то рядом с нами есть человек из другого мира. Мне о нем сообщил дух Ночного Покоя — дух Сна. Я его видела по ночам и слышала его зов...

Я знала: где-то за хребтами — другой мир, прекрасный мир. Каждую зиму отец уходил туда с мехами и возвращался с богатым грузом. Я так хотела побывать в том мире, но не смела заговорить об этом.

И вот теперь с осени меня навещает дух Ночного Покоя и шепчет, что в нашей тайге появился человек из другого мира. Я порывалась пойти к нему, но злой дух держал нас в стойбище. Он съел все наши скудные запасы.

Он не хотел щадить нас. Он хотел, чтобы род Такквонгун весь ушел в Млы-во — селение Вечного Покоя. Съестные припасы скудели и скудели. Мы потеряли осеннюю охоту.

Скоро наступит ложный гон. Злой дух не пустит нас в тайгу, мы останемся без мехов.

И вот я сказала отцу, что отведу злого духа от нашего стойбища. Не знаю, что подействовало на стариков: отсутствие тропы, на которой люди нашли бы спасение, или страх омрачил их мудрые умы, но они молчаливо согласились со мной. Помню их глаза — полные скорби. И еще в них теплилась слабая вера. Я молила добрых духов помочь мне в пути. А желание видеть человека из прекрасного мира придавало силы и заглушало страх.

Я набила полные крошни копченой олениной — последние остатки наших запасов. Отец на всякий случай сунул мне в руку карабин. Только отошла от стойбища, злой дух уже шел по моему следу. Я шла быстро. Глубокий снег мешал ему догнать меня. Только к концу дня он приблизился ко мне. Тогда я бросила ему пять оленьих ребер. Ночь застала меня на склонах хребта. Я развела костер. Всю ночь не спала. И он не спал. Ходил вокруг костра. Иногда его громадная тень появлялась у ближайших деревьев.

Утром он получил еще полребра. Пока ел оленину, я успела уйти довольно далеко. На хребте добрые духи помогли мне добыть глухарей, и я оставила их у лыжни. На северном лесистом склоне хребта снегу навалено много. Мои приношения наконец задобрили духа, и он отстал. Добрые духи пожалели меня и позволили подойти к оленьему стаду. Жирный хор подставил убойное место. И я принесла свою добычу в жертву злому духу. Два дня не слышала его и не видела.

Я верила, что увижу человека из другого мира. И не обманулась. Я нашла вас. Нашла. Но злой дух и здесь нагнал меня. Он не хочет слышать мольбу людей рода Такквонгун. Наш род ушел от человека с плохим сердцем. Тот человек, однако, давно в Млы-во, но оставил на этой земле свой дух, злой дух...

Пларгун слушал девушку в странном забытьи. Голос ее то слышался явственно, то затихал. И эта ночь казалась дурным сном.

Веки невыносимо отяжелели и слипаются, слипаются... Голова, будто налитая свинцом, тяжело падает на грудь.

— Дочь тайги, чье имя ты назвала? — хотел он спросить или спросил, но собственного голоса он не слышал.

...Род Такквонгун покинул урочище последним.

Уже давно ходила пугающая весть: роды собирают вместе и из них организуют какие-то артели. Знающие люди утверждали: артель, колхоз — это новый укрупненный вид рода. «Какой же это будет род, когда произойдет смешение крови разных родов?» — спрашивали недоуменно старики.

Род Такквонгун удален от других селений, и старейший рода Ковзгун, тогда еще крепкий и добычливый мужчина, уговорил своего младшего брата Вилгуна и других сородичей пока воздержаться от объединения.

Несколько раз приходил и уходил сезон дороги, после того как другие роды ушли через хребет, а люди Такквонгун продолжали жить своей жизнью. Мужчины по многу дней пропадали в тайге, преследуя соболей и оленей. Подростки обучались мудреным способам ловли зверя. Женщины выделывали шкуры, шили из них одежду и варили корм для многочисленных ездовых собак.

И вот зимой, когда лютый месяц Орла был на исходе, к стойбищу подъехала нарта дальней дороги — в упряжке тринадцать заиндевевших собак.

Оба приехавших были одеты в белые тулупы и меховые шапки. В каюре Вилгун признал нивха. Нивх был молод, лет двадцати, крупный телом.

— Как люди Такквонгун поживают? — спросил он густым, как у медведя, голосом и протянул продрогшую руку. Вилгун почувствовал сильное рукопожатие и удивился поведению человека: какой же уважающий себя гость сразу кидается на хозяев с вопросами? Будто впереди нет времени для обстоятельной беседы.

— Ковзгун в стойбище? — опять спросил приезжий человек и этим совсем обескуражил хозяина, приветливо встретившего далеких гостей. В его вопросе — нетерпение и озабоченность. С чего это?

Когда второй гость снял тулуп, Вилгун определил — милиционер. Он был одет в форменный китель, перепоясан широким ремнем, на котором висела кобура с наганом.

И только после чая приезжий представился. Родом он с западного побережья. Но сейчас он живет в селении Кор-во, где организован нивхский колхоз. Зовут его Нехан. А приезжал он сюда по делу: власти хотят видеть старейшего рода. Нет, нет, ничего тут плохого нет. Просто хотят побеседовать с мудрым человеком.

Конечно, плохо, что род Такквонгун отказывается жить новой жизнью. Жители Кор-во зовут людей Такквонгун и ожидают их приезда не позднее конца месяца Орла. К сожалению, не удастся погостить долго. С рассветом нового дня они покинут стойбище. С ними поедет Ковзгун.

...Ковзгун уехал. Вилгун остался за старшего. На стойбище опустилась тревога. С каждым днем она нарастала, как снежный ком, который катится по склону горного хребта.

Уже прошел месяц Орла, а Ковзгуна все нет и нет. Тогда Вилгун решил повести свой род в долину Мымги, в селение Кор-во. Его успокаивала мысль: в Кор-во съехались многие роды. Если бы им там жилось плохо, они бы разъеха-

лись по своим урочищам. И повел свой род на трех собачьих и на четырех оленьих упряжках.

Дорога была трудная — через два высоких, крутых, заснеженных перевала.

Ковзгуна в селении не оказалось. Одни говорили: Ковзгуна, как мудрого старейшего рода, увезли в областной город для разговора и вскоре он вернется большим начальником.

Другие предполагали совсем обратное — Ковзгуна посадили в глубокую темную яму, которая называется «тюрьма». За что посадили — никто не знал.

Через несколько лет Нехан стал председателем колхоза. До него колхозники занимались охотой и рыбной ловлей. Новый председатель начал с невероятных новшеств — потомственных охотников и рыболовов превратил в земледельцев.

О первом нивхском земледельческом колхозе много шумели в газетах и по радио, а фотография необыкновенного председателя появлялась частенько на страницах газет. Кое-кто из этого колхоза был участником Всероссийской сельскохозяйственной выставки и награжден серебряной медалью. Но, как выяснилось, медали не могли прокормить бывших охотников и рыболовов, а скудная северная земля давала мало картофеля, — рыба и мясо, привычная пища нивхов.

И жители долины Мымги постепенно стали покидать родные места, переезжать на побережье в рыболовецкие колхозы.

Затем в Кор-во вернулся Ковзгун, постаревший, ссутулившийся и подавленный. Он будто поклялся не говорить о том, что с ним было за эти годы. Только в первый же день один на один встретился с Неханом.

А через неделю запряг собак и на двух нартах уехал куда-то со своей семьей. По последнему весеннему насту, когда Нехан готовился к полевым работам, вслед за старейшим подался и Вилгун с семьей...

Говорят, Нехан руководил колхозом лет десять, пока не довел хозяйство до разорения. Потом его все-таки сняли с высокого поста. Он куда-то исчез, бросив жену и дочку. Одни утверждали, что его перевели руководителем рыболовецкого колхоза, другие предполагали — угодил в тюрьму, третьи слышали, что он умер...

Он, конечно, умер. Иначе откуда было взяться злому духу? Это дух Нехана. Нехан ушел в селение Вечного Покоя, а дух его остался. И преследует род Такквонгун...

...Пларгун напрягает волю из последних сил. Перед глазами, то проваливаясь в небытие, то всплывая из тумана, раскачивается круглое, как луна, лицо девушки. Лунный свет то затухает, то вновь бьет в маленькое окно, расплывается по грязному полу. А в окне мерцают голодные хищные глаза...

— Дух бродит. Он преследует род Такквонгун!..

— Я его убью!

— Грех поднимать на него руку!

— В твоих руках прекрасное оружие. Из него не глухарей надо стрелять. Я убью его.

— Грех так говорить!

— Убью...

Потом Пларгун почувствовал, как в легкие ударил морозный воздух, услышал рык Кенграя и увидел огромного, размером с дом, черного духа. Дух глянул на юношу ожидающе. И не спеша, вперевалку, пошел навстречу.

Пларгун не слышал выстрела. Только почувствовал сильный толчок в плечо. Потом и зверь, и девушка, и тайга со снегом и луной провалились в бездну...

Бывает с человеком такое, когда он в состоянии полусна ясно слышит вокруг себя все. Пларгун слышал шаги девушки. Слышал звон посуды. Но это происходило будто во сне. Во сне? Да, да, это был сон. Сон? Нет. Это было в действительности. А что было?

Пларгун мучительно силится выйти из этого состояния. Но не удается. И снова и снова он проваливается куда-то в пропасть.

— Тебе совсем плохо...

Это сказано наяву. Девушка? А ты разве не приснилась?

Пларгун попытался шевельнуть рукой. Но рука отяжелела настолько, что не сдвинуть ее с места. Отяжелели и ноги, и голова. Хоть бы крикнуть. А-а-а-а-а... Кажется, удалось крикнуть.

— Да, с тобой совсем плохо, — тот же грудной голос, и в нем — чувство сострадания и беспокойства.

В ноздри ударил терпкий запах хвои, и во рту стало горько. Что это?

Потом опять провал.

Пробуждение происходило медленно и долго. Сон и недуг нехотя отпускали его.

— Теперь будет лучше. А мне надо идти.

— Куда ты?

— Мне надо идти. Надо...

Глаза до боли слепит. Пларгун долго жмурится, пока глаза не привыкают к свету.

Засыпал — была ночь. Сколько проспал?

Первое, что он почувствовал, когда проснулся, — во рту горький привкус и ощущение, будто набил оскомину.

На чурбаке у печки сидит Лучка и задумчиво смотрит на огонь. Лучка? Пларгун заморгал, не веря своим глазам. Кто же с ним разговаривал?

— Как ты здесь, аткыхч? — обрадовался юноша.

— Теперь тебе станет лучше. — Старик улыбнулся уголками глаз. — Хорошо, что девушка появилась вовремя. У тебя плохая болезнь — цинга. Ее напустил злой дух.

— Как ты здесь? — нетерпеливо переспросил Пларгун.

— Как здесь, как здесь, — передразнил Лучка.

Потом объяснил:

— А так, что два раза ходил по своему кругу, а твоего следа не видел у места встречи. Вот и пошел посмотреть, что с тобой случилось. Подхожу к твоему дому, смотрю — из трубы дым идет. Ну, думаю, жив парень, но почему он не проверяет ловушки? Неужели обленился? Иду, а сам смотрю себе под ноги и у порога чуть не умер от разрыва сердца: медведь лежит под дверью. Странно: дым в трубе и медведь у порога.

— Какой медведь? — не понял Пларгун.

— Как «какой»? — в свою очередь не понял старик.

— Какой, спрашиваю, медведь у порога?

И теперь Пларгун начал мучительно припоминать, что произошло в ту ночь.

— Где девушка?

— Она готовится в дорогу.

— Я хочу видеть ее.

Старик открыл дверь, высунул голову.

— Она ушла.

— Как ушла?

— Уже ушла. Она очень спешила. Это она отходила тебя напитком из кедрового стланика и шиповника. А теперь ушла. Она очень спешила в стойбище.

Пларгун в отчаянии застонал.

— Она двое суток не отходила от твоей постели. Я только вчера пришел.

Помолчал. Потом опять заговорил:

— Да, я же не рассказал, что дальше было. Значит, чуть не умер от страха. Неужели, думаю, мой друг сидит под караулом? Надо, решаю, освободить его от такого плена. Вскинул ружье, а медведь как лежал, так и лежит. Взял палку да и бросил в него. Палка в голову угодила. По звуку понял — голова у зверя мерзлая. Только тут заметил: на снегу пятна густой убойной крови. Подумал: «Плохо нам будет — медведь у избушки неспроста, где-то не поладили с Пал-Ызнгом». Потом стал прощупывать его — чуть пальцы себе не отбил: в нем одни кости. Бедный, от него отказался могучий бог Пал-Ызнг. И он превратился в злого духа. Я знаю, он уже несколько зим преследует стойбище рода Такквонгун.

Пларгун облокотился, спустил ноги на пол. Шатаясь, прошел к двери и открыл ее. Старик вышел за ним.

— Это не злой дух, — сказал Пларгун. — Это медвежий выродок — шатун, которого приняли за злого духа. Никако-

го духа нет. Все это выдумка самих людей Такквонгун. Выдумали себе злого духа и кормят его много лет вместо того, чтобы хорошенько влепить в него пулю. Темные люди эти Такквонгун. — Пларгун почувствовал, что говорит раздраженно, но не мог сладить с собой. — Посмотри на этого владыку тайги. У него передняя левая лапа кривая. Человек перебил ее, и она срослась криво. Покалеченный, он не мог догнать оленей. Вот и явился к своему мучителю — человеку, объел его, да от души поиздевался над ним.

Старик слушал в молчании. Сейчас Пларгун ему не нравился. Старик с укоризной посмотрел на дерзкого молодого человека.

— Нет никакого злого духа! Нет вообще никаких духов! — почти кричал Пларгун, тяжело дыша.

— А чем объяснить твою неудачу? — медленно, отчеканивая каждое слово, сказал старик, пронзительно глядя в глаза Пларгуну. — Нехану осталось совсем немного до плана. Я, худо ли, хорошо ли, взял восемь соболей. А ты — всего два. Так чем же объяснить твою неудачу? А время — идет!

— Просто я никчемный охотник! — сказал наконец Пларгун. В его охрипшем голосе была подавленность.

— Врешь! — Старик сейчас очень напоминал пригнувшуюся для прыжка старую облезлую росомаху. — Врешь! Я видел, капканы твои поставлены правильно. А соболь обходит их на расстоянии десяти — пятнадцати прыжков. Вот теперь и подумай!

Потом быстро отошел, повернулся в сторону деревьев, согнулся.

До Пларгуна донеслось всего несколько слов. Старик молил Пал-Ызнга простить молодого человека, не смышленного в таежных делах, в обычаях предков, и его, старого человека, вышедшего из ума и принявшего участие в столь непристойном разговоре...

Слабость валила с ног. Пларгун вошел в избушку, выпил из чайника целебный напиток и лег на нары. Старик в угрюмом молчании сел на чурку. Но тут же вскочил и вышел. Принес потрепанную охотничью сумку, достал мясо, нарезал большими кусками и бросил в кастрюлю с растопленным снегом. То ли от усердия, то ли еще от чего, старик сопел шумно, с присвистом. В ожидании, когда сварится мясо, он сидел на чурке в позе уснувшего филина.

«Зря все-таки я обидел старика, — мучился Пларгун. — Он тут ни при чем». Но чей-то беспристрастный голос спросил: «А ты подумай хорошенько. Разве не старик своим невежеством вселял в тебя сомнения и сковывал волю? Этого тебе мало? А разве не он вместе с Неханом чуть было не отправили твою собаку в жертву духам? И этого мало? А разве не он...»

— Хватит! — заорал Пларгун, вяло переворачиваясь на другой бок.

Лучка недоуменно вскинул седую голову. Потом неторопливо снял с печи кастрюлю, заостренной палкой подцепил кусок мяса и выложил его на стол. Отлил бульон в миску. Затем снова нагнулся к своей сумке, вытащил вяленый кусок кеты, бросил Кенграю, следившему с неотступной жадностью за всеми его движениями.

Не сказав ни слова, толкнул дверь и исчез за морозным облаком, что плотными клубами вкатилось в натопленную избушку. Через минуту послышался скрип утоптанного снега — звуки лыж.

«Ушел», — с тревогой подумал Пларгун.

К вечеру недомогание несколько прошло, и Пларгун почувствовал себя лучше. Поужинал. Накормил Кенграя. И когда уже засыпал, услышал выстрел. Он, казалось, раздался над ухом.

Кенграй вскочил, его уши заострились, заходили в разные стороны, ловя звуки.

Раздался скрип снега, кто-то быстро подходил. Открылась дверь, в темную избушку ворвались клубы морозного воздуха, закрыли проем в двери, оставив узкую щель наверху, через которую виднелись освещенные луной ветви.

— Вставай! Иди со мной! — голос старика прерывался от одышки. Старик загремел чайником и снова исчез в густых клубах морозного облака.

Пларгун накинул доху, надел шапку и, выйдя следом, замер.

Шагах в двадцати от избушки, запрокинув точеную голову с великолепными пышными рогами, судорожно бился дикий олень.

Уже потом, в избушке, после того как добычу освежевали, старик объяснил: зная, что в глубокий снег олени не любят делать переходы, он пошел по следу девушки, которая рассказала, что в четверти дня ходьбы отсюда пасется стадо оленей. Глубокий снег тяжело преодолевать тонконогому оленю. Поэтому его нетрудно нагнать на лыжах. И старик отбил хора и пригнал его к избушке, как домашнюю скотину...

Старик выхватил нож, пригнулся и точным движением вскрыл вену на шее оленя. Кровь хлесткой струей ударила в подставленный чайник.

— Пей! — приказал старик.

Пларгун упал на колени, подрезал струю сложенными лодочкой ладонями и припал иссохшими губами к горячей крови.

Он пил долго и жадно: истощенный организм, замученный цингой, требовал немедленной помощи...

Держался некрепкий мороз, к которому легко притерпеться. Если находишься в движении, даже становится жарко, хотя на тебе только ватная телогрейка.

Ловушки давно ждут хозяина. А за эти дни Пларгун заметно окреп.

Оба охотника ушли вместе по лыжне Пларгуна. У хребта с вершиной-гольцом старик сойдет на свою лыжню.

Когда стали на лыжи, Лучка кивнул на медвежью тушу.

— Что ты будешь делать с ним?

— Да ничего. Оставлю мышам.

— Будет корм — будут мыши. Будут мыши — будут соболи, — сказал старик.

Охотники двигались легко — впереди Пларгун, за ним — старик.

Накатанная лыжня сверкала под сильным солнцем, вела по распадкам и по взгоркам.

Пларгун обратил внимание на то, что сучья и колоды, ранее спрятанные под толстым слоем снега, теперь чернеют тут и там, будто кто сдул с них снег.

Следы соболей испещрили тайгу вдоль и поперек. Вся лесная живность воспользовалась затишьем, спешила пополнить свои запасы. Мыши и те вышли из-под снега и прострочили сугробы мелкими убористыми стежками.

У первой ставки охотники остановились изумленные: капкан черным крестом выделялся на снегу. Лучка досадливо покачал головой: кто же так маскирует капкан — он весь на виду.

— Просто-напросто снег испарился сверху.

— Что ты сказал? — переспросил Лучка.

— Снег, говорю, испарился сверху, над капканом.

Старик нерешительно покачал головой.

Через минуту-другую открытие заставило их задуматься. На снегу рядом с капканом и оголившейся, источенной мышами привадой будто кто-то насыпал мелкой древесной трухи. Но труха была слишком правильных размеров и странного зеленоватого цвета. Пларгун нагнулся, ногтем выковырял сперва одну крошку, потом вторую. Помял пальцами и понюхал.

Старик внимательно следил за ним.

— Что это?

Но Пларгун от обиды и ярости уже не слышал старика.

...Снег... Берлога... Куртка Нехана... Махорка в кармане... Испуганный взгляд Нехана и торопливое: «Это для жертвоприношений!» Подлец, вот как ты приносишь жертвы!

— Что это? — переспросил старик.

— Дух! Злой дух! — гневно закричал юноша.

Старик наклонился над желтыми крошками, дрожащими крючковатыми пальцами выковырял несколько штук, растер о мозоли на подушечках пальцев и поднес к носу.

Махорочные крошки нашли и у второй ловушки, и у третьей...

— Вот он, злой дух. Злой дух — человек! А не какой-нибудь там всевышний или еще кто, которого никогда и нигде не было!

Гнев придал юноше силу, он шел широким шагом. Старик едва поспевал за ним.

У стыка Округлой сопки и хребта с гольцом охотники переступили на лыжню Нехана.

Мирл лежал под сугробом с подветренной стороны наполовину занесенной снегом избушки и нежился на солнце. Нехан не имел обыкновения держать собаку в избушке — считал, что домашние запахи притупляют у собаки нюх, и даже в самые лютые бураны не впускал Мирла в дом.

Мирл услышал скрип снега, поднял толстомордую голову, повел обвисшими ушами в белесых шрамах — память о многочисленных драках с другими собаками, негромко гавкнул.

Нехан приоткрыл дверь, высунул лохматую густочерную голову: по его лыжне не спеша приближались двое.

«С чего они решили навестить меня?» — подумал он и, накинув на плечи телогрейку, вышел навстречу.

Двое подходили медленно и сурово. Даже не поздоровались. Нехан, привыкший к тому, что его почитали, сразу почувствовал что-то неладное.

Охотники молча сняли лыжи и повесили на сук корявой лиственницы, что стоит у избушки. Туда же повесили котомки и ружья.

Молча вошли в избушку, молча сели на чурбаки.

Нехан сходил в амбар за мясом и юколой. Все время, пока он возился у печи, старик и юноша не произнесли ни слова.

Нехан чувствовал: молчание похоже на предгрозовое затишье. Он еще не знал, что затеяли эти двое, и лихорадочно искал причину, побудившую их явиться к нему вместе. «Наверное, пронюхали о провизии, — подумал он. — Но когда они сумели это сделать? Пларгун ни разу не бывал у меня с тех пор, как разошлись по своим участкам. Может быть, Лучка? Но он, кроме избушки, ничего не мог видеть».

Молчание тяготило. Прервать его каким-нибудь пустяковым вопросом? Или непринужденно рассказать о чем-либо смешном? Нет, не надо. Все эти старания будут выглядеть нелепо и лишь подчеркнут возникшую между ними неприязнь. А может, спросить о делах? Ведь я все-таки начальник. И уже хотел было задать вопрос, но вовремя спохватился и промолчал. Он понял, что одно его слово станет той искрой, которой не хватает для взрыва. Нехан выставил на низкий столик нехитрую снедь, налил кипятку в кружки, поставил чайник обратно на раскаленную печь.

Он уже взял себя в руки и терпеливо ждал, когда они сядут к столу. Такой уж обычай: будет разговор приятным или окажется неприятным, а надо накормить людей с дороги.

Первым, не заставляя себя долго ждать, к столу придвинулся старик, за ним — Пларгун. Лучка сидел плотно, ссутулившись над краем стола, удобно подтянув под себя скрещенные кривые ноги. Левой рукой он выхватил дымящийся кусок оленины, прикусил редкими зубами, правую с ножом поднес под мясо и коротким резким движением отрезал кусок у самых губ. Прожевал его и с шумом проглотил.

Он быстро отрезал куски мяса, при этом сверкающее лезвие ножа энергично ходило у самого приплюснутого носа, а глаза довольно щурились, отчего казалось: на его лице вместо глаз остались только две черточки.

Пларгун жевал с угрюмым усердием, машинально глотал, совсем не чувствуя ни вкуса мяса, ни запаха чая. Он с испугом заметил, что его решительность тает по мере насыщения желудка. И поэтому опасался, как бы злость не прошла совсем. Надо быстрее закончить затянувшееся чаепитие. А старик даже не думает кончать трапезу. Вот как смачно чавкает. Как будто для того только и прошел трудный путь, чтобы сесть к столу и больше никогда не вставать из-за него.

Пларгун уже отодвинулся к стене. Старик же взял левой рукой новый, большой кусок.

«С таким аппетитом и до ста лет можно дожить», — сердито думал Пларгун.

Прошло еще много долгих минут, пока наелись и напились чаю.

Старик отодвинулся к стене, сложил дошку валиком и удобно прилег. Он дышал тяжело, сопел со сладким присвистом.

Нехан отщепил от полена щепку, разодрал ее ногтем и, причмокивая и чавкая, стал ковырять в зубах.

Все трое знали: молчание не может быть бесконечным. Где-то оно должно прерваться.

— Погода-то какая стоит, а? Курнг нам благоволит. — Нехан знал, в какую цель бить. Но старик сытно икнул, ожесточенно почесал давно не мытую голову, негромко сказал:

— Погода-то стоит хорошая. Да злой дух насыпал нам на приваду отпугивающей трухи.

Пларгун зло уставился на Нехана:

— Хватит строить из себя невинного оленя! Мы знаем все! Зачем вы это сделали?

— Что я сделал? Я ничего не делал! — растерялся Нехан. Признаться, он опасался, что Пларгун обнаружит следы его преступлений. В отношении старика Нехан не волновался нисколько — тот все объяснит кознями злых духов. А этот сопляк упорно будет доискиваться причин невезения.

Нужно было отвлечь внимание Пларгуна до снегопада,

который спрячет все следы. Для этого случая Нехан приберег берлогу. Конечно, он мог один добыть медведя. Но медведь был нужен, чтобы оторвать людей от ловушек хотя бы на несколько дней! А за это время или выпадет снег, или порошей присыплет махорку. На медведя Нехан возлагал и другие надежды... Но он бросился не на того, болван.

А сейчас предательское солнце и ветер съели верхний слой снега, и крошки всплыли. Положение такое, что не отвертеться...

— Вы сделали все, чтобы меня преследовали неудачи. Вы покалечили Кенграя и лишили меня охоты по первоснежью. Вы бы, конечно, пристрелили пса, но я бы все равно нашел следы преступления, как нашел их сейчас. Вы пытались сделать все, чтобы я покинул тайгу. Вы хорошо обдумали свой грязный план. На случай, если я откажусь идти в селение, у вас было готово другое решение — взять меня измором. А потом еще стали давить на мою душу, на мое самолюбие. Знали, что, терпя неудачи, я дойду до отчаяния, и сознание собственного ничтожества выгонит меня из тайги. Вам это едва не удалось. Но не вышло! Не вышло! Вы жестоко просчитались. Это преступление — последнее!

Нехан весь как кипящая кастрюля с плотно закрытой крышкой. То он грозно распрямлял плечи, вскидывая голову, и порывался что-то сказать, то сгибался, как под непосильной тяжестью.

— Я знаю, зачем вы хотели меня изгнать. Вы хотели забрать деньги. Все деньги! Теперь ясно: это вы изгнали старика Тахуна из тайги.

— Врешь, негодяй! Клевещешь на человека. Это тебе даром не пройдет! — Нехан приподнялся было с чурбана, но, встретив решительный взгляд юноши, не выдержал. Отвернулся.

Лучка, услышав последние слова Пларгуна, в упор взглянул на Нехана. В широко раскрытых глазах старика недоумение, но уже через секунду оно сменилось гневом.

Пларгун перевел дыхание и продолжал:

— Конечно, вы бы могли поймать не только семьдесят пять, но и сто соболей. Благо, нынче урожайный год. Вы без особого труда взяли бы план со стариком. А старик вам нужен для обработки шкурок. Меня же взяли, чтобы выбить повышенный план. А потом — изгнать. А план-то остается прежний! И деньги все ваши. И слава. И вы...

— Что ты мелешь, негодяй! Клеветник! Ты ответишь за клевету! Старик Лучка свидетель...

— Да, старик Лучка свидетель. Но свидетель ваших преступлений!

Старик сидел молча, на его побледневшем лице играли тени необычных сомнений.

— А теперь открывайте лабаз и чердак!

Нехан не шевелился. Он злобно и тупо смотрел под ноги.

— Открывайте!

Нехан взорвался:

— Кто ты такой? Кто? Сопляк! Мразь!

Пларгун уже не смотрел на Нехана, будто того и не было.

— Идемте, — сказал он. И по тону было ясно, к кому он обращался.

Старик Лучка, крайне удрученный резким оборотом дела, медленно привстал, секунду покачался на отсиженных ногах, в которых легонько покалывало, и, щекоча, забегали сотни мелких мурашек.

Как и ожидал Пларгун, в лабазе нашли куль муки, полящика масла, кислую капусту в стеклянных банках, сахар в мешке, консервы и чай. Но продуктов оказалось намного меньше, чем могло бы быть. Очевидно, часть продовольствия Нехан предусмотрительно снес куда-нибудь в чащу или уничтожил. Оставил ровно столько, сколько потребуется ему одному до весны.

После осмотра лабаза Пларгун хотел было подняться на чердак, но его остановил Нехан. Устрашающе сощурив глаза и отведя руку с ножом назад, он прошептал:

— Убью!

До бурана Пларгун поймал одного соболя.

Но сильный четырехдневный снегопад, который занес избушку по крышу, прервал охоту. Все эти дни и ночи охотники почти не спали. Чуть ли не через каждый час они поднимались с нар, на которых дремали, налегали плечом на дверь, отталкивали нарождающийся сугроб, выметали выход.

Старик Лучка лежал с открытыми глазами на сложенной оленьей постели, молча курил трубку. Иногда вытаскивал из-под кровати тяжелый плоский ящик с охотничьим снаряжением, долго рылся в нем, гремя металлом, наконец находил трехгранный мелкосетчатый напильник и ожесточенно садился точить ножи или пилу...

После бурана Пларгун еще раз переставил ловушки и поймал двух соболей. Один соболь темный с дымчатым подшерстком.

К этому времени дни заметно удлинились и солнце уже не спешило скатиться за стену высоких хребтов.

Пларгун заметил вскоре, что соболи перестали интересоваться привадой. Они не то чтобы специально обходили приманки, а будто потеряли нюх и, проходя рядом с привадой, не останавливались, а шли своей дорогой дальше. И еще заметил молодой охотник: соболь пошел по тайге широко и часто — приглядываясь к побежке другого соболя. Создавалось впечатление, что зверьков больше не интересовали ни мыши, ни рябчики, ни другая живность.

...Пал-нга терпеливо пережидал непогоду в своем теплом гнезде. Высокое старое дерево покачивалось и скрипело.

Пал-нга чутко прислушивался к шуму бурана и при каждом скрипе дерева вздрагивал. Обычно соболь спокойно пережидал непогоду: в гнезде тепло и запасенной пищи хватало на несколько дней. Но этот буран он пережидал в каком-то томительном нетерпении. Он даже не притронулся к мыши, которую поймал накануне ненастья и воткул в щель рядом с дуплом.

Пал-нга еще задолго до прекращения бурана почувствовал его конец. Обычно после снегопада соболь не спешил покидать гнездо — снег рыхлый, не держит.

Но теперь, едва стих ветер и прекратился снегопад, он осторожно осмотрелся вокруг и быстро спустился по испещренной трещинами и желобками коре.

Сначала он не знал, в каком направлении идти, и минуту топтался на месте, пробуя снег. Снег мягкий, рыхлый. Пал-нга широко распустил густо опушенные жесткой остью лапки и легонько прыгнул на сугроб.

Скок. Еще скок. Ноги сами понесли к густому ельнику в сторону хребта с гольцом на вершине. Соболь скакал широко, не останавливаясь ни у валежины, ни у коряг и колод, под которые раньше он непременно бы заглянул.

Вскоре он наткнулся на след другого соболя. Прежде бы он не обратил на него внимания, но сейчас этот след всколыхнул сердце, притянул к себе.

Соболь помчался по следу. Не сделал он и сотню прыжков, как заметил: по следу, опередив его, проскакал еще один соболь. Теперь Пал-нга мчался по двойному следу. А этот след перевалил хребет и повел в сторону сопки, густо поросшей ельником...

Как только прекратился буран, старик стал на лыжи и, подгоняемый радостным предчувствием, покатил к старой ели.

Так и есть, Пал-нга покинул дупло раньше, чем снег осел. Старик прошел его торопливой побежкой и вскоре убедился в своем предположении: Пал-нга искал другую побежку. Началась долгожданная пора в длинной зимней охоте — ложный гон!

В конце зимы соболи будто теряют разум, забывают об осторожности. И пища уже не так их занимает, как прежде. Они всецело подчинены древнему и самому сильному зову — продлению рода. Самцы неустанно и с непреодолимым упорством рыщут по обширной тайге — ищут себе подружку. Чаще по следу одной самки идут два-три, а то и больше самцов. Они протаптывают тропы в самых тесных чащах и логах.

А самка всячески уходит от самцов: сейчас не время течки.

У соболей течка бывает летом. А к концу зимы, когда солнце уверенно идет к весне, в тайге повсюду заметно наметившееся пробуждение: почки, еще скованные прозрачным ледяным панцирем, сверкают необыкновенным блеском и будто даже заметно припухают, вороны, сойки и кедровки перебираются в более северные края. И соболь чувствует приближение весны. И у него просыпается потребность к гону. Но это не истинный гон. Это, как говорят охотники, «ложный» гон, во время которого соболи забывают об осторожности и легко становятся добычей охотников.

Сейчас Пларгун не может объяснить, чем вызывается у соболей ложный гон. Когда-нибудь он найдет ответ и на этот вопрос.

А пока он ловил обезумевших соболей. Бывали случаи, когда соболь, наскочив на лыжню, охотно шел ею. Пларгун обнаружил эту особенность соболей в самый разгар ложного гона и воспользовался им: ставил капканы не только на тропах, но подрезал прямо под свою лыжню и таким образом поймал несколько самцов.

Он научился выделять среди многих следов округлый изящный след самки. И зная, что запоздалые самцы обязательно помчатся за нею, подрезал под ее след.

Пларгун занимался шкурами, когда за дверью раздалось рычанье Кенграя. Он приоткрыл дверь, высунул голову: к избушке устало подходил человек в легкой дохе. Это был Нехан. Как и подобает хозяину, Пларгун вышел встретить его.

Нехан подкатил к избушке, шумно отдышался, смахнул рукавицей серебристый куржак с бороды и шапки, поздоровался негромко. Чувствовалось, что он настроен миролюбиво.

— Как дела? — спросил Нехан, входя в низкую дверь. И, заметив связку шкурок, сам себе ответил: — Ничего дела, ничего.

Потом доброжелательным тоном добавил:

— Не надо держать шкурки на свету. Лучше заверни во что-нибудь цветное. Или повесь в темное место.

Что ему надо?!

Последний буран чуть не похоронил меня заживо, — говорил Нехан за чаем. — Если бы не Мирл, стала бы мне гробом собственная избушка. Проснулся ночью по нужде, толкнул дверь, а она — ни туда ни сюда, будто кто пригвоздил ее большими гвоздями к косяку. Я толкать ее плечом, а она только поскрипывает. И топора нет, чтобы прорубить в ней отверстие. Вечером, после колки дров, вогнал его в стену, чтобы не занесло порошей. Слышу, снаружи на уровне головы повизгивает собака. Мирл мой дорогой! Я рвусь к нему, а он — ко мне. Слышу — визг ближе, слышней, и че-

рез минуту он стал царапаться в дверь. Я наклонился к полу и снизу зову его: «Мирл! Мирл, друг мой!» А он нетерпеливо повизгивает и роет сверху вниз. Я налегаю на дверь, шевелю ее, а пес мой сильней роет. Так и спас меня мой верный друг.

В голосе Нехана — умиление. Оно совсем не шло этому жестокому человеку.

— Вот что, мой друг, — сказал он уже серьезно, без всякого перехода.

Пларгун насторожился. Кажется, сейчас Нехан выложит цель своего визита.

— У тебя сколько соболей?

— Я еще не взял плана, — ответил Пларгун.

— Я спрашиваю, сколько у тебя соболей?

— Мм... вот с этим будет шестнадцать, — Пларгун головой показал на сырую, вывернутую мездрой шкуру, которую еще не успел натянуть на распялку.

— Вот что, Пларгун. — Голос Нехана был тверд и решителен. — Скоро конец сезона. Тебе, сам понимаешь, не взять плана. Но главное — не к чему: я поймал больше положенного. И все мои соболи черные.

«Врешь, хитрец, — сообразил Пларгун. — Ты, конечно, поймал гораздо больше, чем говоришь. Светлые шкурки спрятал, отобрал только черные, но и тех оказалось гораздо больше, чем требовал план. Браконьер...»

— Я это сделал специально, чтобы помочь тебе. Предвидел трудности. А мне это особого труда не составляет. Значит, поступим так: я отдаю своих соболей в счет твоего плана, а деньги пополам. Идет?

Пларгун медленно (ох, как медленно!) поднимал голову.

— Нет!

И по тому, как он произнес, было ясно: его не переломишь. Но Нехан попробовал.

— Слушай, не валяй дурака. Мои девять черных соболей дадут в три раза больше денег, чем твои девять рыжих. Ты получишь в полтора раза больше! Подумай!

— Нет! — повторил Пларгун.

Нехан выдержал его взгляд. Тяжелые веки Нехана на мгновение вскинулись, и округлившиеся глаза полыхнули злобой. Он привстал, шагнул на полусогнутых ногах. Руки отставлены в сторону, растопыренные сильные пальцы напоминают когти медведя.

— Ты что — хочешь, чтобы я сел в тюрьму?

Нехан устрашающе пригнулся, отчего еще больше напомнил вздыбившегося медведя. Ярость желтой пеной выступила на губах.

— Ты что... ты что... — Нехан задыхался. Он уже вплотную подошел к юноше, но тот стоял, не шелохнувшись. Пларгун услышал тяжелое звериное дыхание.

— Последний раз спрашиваю: возьмешь соболей?

— Нет!

Нехан засуетился в глухой панике.

— Хочешь посадить... хочешь посадить... ы-ы-ы-ы, — Нехан хотел еще что-то сказать, но голос дрогнул, сорвался. Толстые губы провисли, лицо передернулось, и в тот же миг тайгу всполошил пронзительный душераздирающий крик:

— А-а-а-а!

Как будто из-под ног Нехана выбили опору — он грохнулся на пол. Нехан намертво вцепился зубами в свою руку и с диким воплем покатился по земляному полу.

Кенграй недоуменно глянул на странное существо и вопрошающе уставился на хозяина.

Пларгун накинул на себя дошку, открыл дверь. Вместе с ним выскочил Кенграй.

Легкий морозец покалывал разгоряченные щеки.

Юноша долго стоял не шевелясь. От него шел прозрачный пар, сквозь который преломлялись деревья, сопки, заходящее солнце, наступающий сумрак.

Солнце скатывалось за горы. На небе пробились крупные звезды и изумленно смотрели на человека, который, забывшись, одиноко стоял посреди громадной сумрачной тайги.

Пларгун опомнился лишь тогда, когда его стало знобить. Он вернулся в избушку.

Нехан угрюмо сидел на нарах.

Когда Пларгун сбросил дошку и подсел к потухающей печи, тот жалостливо попросил:

— Ну, будь человеком.

Эти слова подействовали так, будто в душу Пларгуна бросили раскаленных углей.

Он хотел сказать в ответ: был ли ты, Нехан, человеком, когда много лет назад надругался над Ковзгуном, а вместе с ним — над всем родом Такквонгун?! Был ли ты человеком, когда в погоне за личной славой и благополучием разорил целый колхоз? Был ли человеком в те годы, когда жил где-то вдали от побережья — ведь никто не знает, чем ты там занимался. А сегодня кто ты, Нехан? Кто?

Пларгун хотел было сказать все это Нехану, но сдержался. Только подумал с досадой: «Человек всю жизнь лез из кожи вон — во имя чего? Во имя себя, своего живота! Но только ли это? Нет, во имя того, чтобы стать над людьми. Над людьми! При этом не брезговал никакими средствами... Да может ли когда-нибудь случиться, чтобы у людей такого сорта заговорила совесть? Без совести им удобней. И легче добиться своего».

Пларгун соорудил себе постель на полу, а Нехана положил на свое место — на нары.

Пларгун лежал, отвернувшись к стене, и долго не мог уснуть. Далеко за полночь, когда луна щедро обливала землю

голубоватым светом, Нехан оторвал голову от подушки. Но его предупредил спокойный и совсем не сонный голос Пларгуна:

— Хватит сторожить друг друга. Нам к людям возвращаться!

Утром Нехан уходил. Но, исчезнув за деревьями, он так же поспешно вернулся. «Что-то забыл или что-то хочет сказать?»

Нехан подошел к Пларгуну:

— Что ты с ним будешь делать?

— С кем? — не понял Пларгун.

— С ним. — Нехан постучал лыжной палкой по запорошенной снегом хребтине шатуна.

— Ничего, — небрежно ответил Пларгун. — Пусть лежит себе. Будет отличный корм для мышей, соболей, лис.

Нехан торопливо скинул лыжи, сбросил доху, попросил топор. Подошел к огромной застывшей туше, сильно замахнулся и, сверкнув широким лезвием топора, с силой опустил его под хребет медведя. Ему потребовалось минуты три, чтобы вырубить в медвежьем боку просторное окно, отделить с кусками печени объемистый желчный пузырь и сердце шатуна. Нехан заботливо завернул их в тряпку, положил в походную сумку и через минуту скрылся в чаще.

Последние дни Пларгун занимался готовыми шкурками — очищал мездру от прожилок жира, спиртом вытравливал смолу на мехах, мягчил шкурки, осторожно разминая их руками.

В связке оказалось двадцать шесть шкурок.

До окончания охотничьего сезона было еще недели полторы-две. Это видно по луне, которая пошла на ущерб. Охотники договорились сойтись у Нехана в первый день после новолуния. У Пларгуна оставалось достаточно времени, и он не спеша перетаскивал к Нехану охотничье имущество.

По всему было видно: Нехан еще не собрался к отъезду. Снял он ловушки или нет, Пларгун не знал. Но их не было в коридоре, где торчат толстые гвозди, предназначенные для того, чтобы вешать на них тяжелые связки капканов. Их не было и в избушке, в одном из углов которой беспорядочно грудится куча одежды и мятых вещмешков. Может быть, они в лабазе? Но зачем они там, когда пора уже связывать их и укладывать в вещмешки?

Нехан встретил Пларгуна с холодной сдержанностью и всем видом показал — тот его стесняет. И у Пларгуна не было никакого желания оставаться у Нехана. Он быстро подкрепился с дороги, сразу стал на лыжи и, свистнув Кенграя, бросил через плечо обрадованному Нехану:

— Пойду к старику, помогу в сборах.

Уже ночью Пларгун перевалил хребет. Он не торопился и шел с прохладцей. Лыжня старика хорошо видна между деревьями, от которых в тайге сплошная густая синь с желтовато-серебристыми прогалинами лунных пятен. Накатанная, она отблескивала, как лезвие ножа, от яркой, но уже на ущербе, луны.

В полночь, откуда ни возьмись, посыпала изморозь. Пларгун переживал восемнадцатую зиму. Изморозей на его веку было сколько угодно, а вот такой тонкой и нежной не видел. Небо, насколько хватал глаз, было чистым, безоблачным. Откуда же взялась изморозь? Будто родилась от мороза и щедрой луны.

Изморозь не скрывала ни звезд, ни луны. Только делала их матовыми, чуть расплывчатыми.

Каждая кристалинка, прежде чем упасть Пларгуну на ресницы или нос, десятки раз перевернется в воздухе, сверкнет граненными боками, будто хвастаясь: вот какая я красивая.

Кенграй трусил впереди, не отвлекаясь, задумавшись о чем-то своем. Изредка он останавливался, поджидая хозяина. И тогда вытягивал отточенную лисью морду, тоскливо смотрел на луну, будто мучительно вспоминая что-то далекое, древнее. Может быть, вспоминал то отдаленное время, когда его предок, умирая от голода, подполз к пещере полудикого существа, который поделился с ним обглоданной костью, и в благодарность собака вывела это существо из логова и помогла ему стать человеком?..

Пларгун не поверил своим глазам — дверка избы старика была приперта колом. Давно ли ушел Лучка? Пларгун сбил в сторону кол, дернул на себя дверную деревянную скобу. Избушка дохнула настоем из теплоты и жилых запахов: ушел сегодня. Чтобы проверить свою догадку, юноша коснулся ладонями печки — она уже остыла: ушел рано.

Юноша зажег спичку и при ее неверном мерцании поискал свечку. Кривой и короткий огарок притулился в углу, правее занесенного снегом окошка. Второй спичкой зажег огарок, полез в ящик под нарами, порылся в нем, гремя металлом и деревом, нашел прохладный и мягкий на ощупь длинный стержень воска.

Старик появился, когда Пларгун уже растапливал печь.

— Не ожидал, что придешь так рано, — сказал Лучка в дверях. Потом сутуло прошел мимо Пларгуна, сел на пол у стены, устало прислонился к ней.

— Ух-ух-у-у-у, — перевел он дыхание.

Печка загудела. Пламя охватило поленья, и избушка наполнилась сухим треском.

— Взял, говоришь, план... Молодежь пошла непочтитель-

ная: что она со стариками делает! — сказал Лучка с наигранной горечью.

Пларгун знал: это нужно принимать как комплимент. Он почувствовал, как к лицу приливает кровь. Хорошо, что сидит у печки, можно подумать: лицо покраснело от жары. А возможно, старик и не заметил в таком полумраке его смущения.

Пларгун еще не знал, что даже по затылку очень легко узнать, смущается человек или нет.

— Думаешь, я припозднился случайно? Думаешь, я где-то блуждал? Не-ет, не блуждал. Соболя совсем не стало. Всех выловили. На моем участке осталось всего три следа. Вот и подался в сторону полудня. Хожу туда часто. Уж месяц, как я там брожу. Но и там соболя мало. Наверно, еще осенью весь перебрался в заприваженные участки. Совсем мало осталось. Совсем мало. Мне еще нужно взять двух соболей. Да разве возьмешь, когда он кончился! — Старик пристально посмотрел на юношу. — Совсем зря не согласился с Неханом, когда в середине предлагал мне двенадцать соболей. Черные они, пушистые, — старик горестно сокрушался, а сам не спускал с юноши внимательно изучающих глаз.

Юноша порывисто обернулся. В его глазах — ярость. И этим было сказано все. Значит, и у него побывал Нехан, понял старик. И, конечно же, получил отказ. Этот мальчик еще доберется до Нехана... И старик отвернулся. Отвернулся, чтобы скрыть удовлетворение. Очевидно, он забыл, что и по затылку можно судить о состоянии души человеческой. А возможно, надеялся, что по молодости своей Пларгун еще не научился по внешним признакам отгадывать истинные чувства.

Старик посапывал тихо и мирно. А юноша все лежал с открытыми глазами, хотя и устал с дороги. Его тревожили новые мысли. Сколько трудностей преодолел он за эту зиму! Сколько опасностей осталось позади!..

А как бы обернулась охота, если бы они приехали в «неурожайный» год? Они бы обловили участок начисто, и все же не взяли бы плана. А соболь был бы выведен...

Еще несколько дней назад он не размышлял об этом. А теперь и старик сказал: «Совсем мало осталось. Совсем мало...» Во все века человек только брал от природы. И мало возвращал.

«Кем ты будеш-ш-шь?» — Откуда-то взялось странное существо. Глаза черные, маленькие, злобные. Усики редкие, черные. А клыки длинные, хищно загнутые, острые.

«Кем ты бу-деш-ш-шь?»

Существо отплывает, поворачивается боком. Показывает-

ся изящная головка, гибкая белая спинка, белый хвостик... Ласка. Злобная хищница... Она шипит еще некоторое время, потом уходит короткими прыжками... Пларгун засыпает.

Утром Пларгун неожиданно сказал:

— Я схожу в стойбище рода Такквонгун.

Старик, чистивший одностволку, медленно поднял голову:

— Зачем?

— Надо посмотреть, как они там живут. Ведь они почти не связаны с остальным миром. Живут, как медведи в берлоге, и никуда не выезжают.

— Хе, а зачем им выезжать? У них там есть все: и мясо, и рыба, и пушнина. А раз пушнина — есть ружья, одежда. Что еще надо человеку? А стариков кормит род. И не надо им мучиться о пенсии.

— Много, очень много надо человеку. Вы даже представить себе не можете, как много надо человеку!

Пларгун умолк, задумавшись о своем. Потом сказал:

— У них еще и дети есть. Как же им без школы?

— Гм-м-м, — протянул старик. — Значит, пойдешь родителей агитировать, чтобы они детей в интернат отпустили? Ух-ух-у-у, как давно я этого не видел. Давно, в те годы, когда мне было немногим больше, чем тебе, по поселкам ездили девушки-учительницы агитировать в школу. Однажды зимой поехал я в соседнее стойбище. Вышел на залив, смотрю: что-то чернеет впереди на снегу. Думал, нерпа. Даже гарпун приготовил. Подъехал — человек. Русская женщина. Сидит прямо на снегу, подогнув под себя полу тулупа.

— Чего ты здесь? — спрашиваю ее по-нивхски. Она что-то хочет сказать, а язык — как палка. И не шевельнется. Сильно озябла.

— Садись, — говорю. А сам рукой приглашаю. Она ни с места — до того продрогла. Поднял ее, посадил на нарту и поехал назад. Оказалось, в соседнем стойбище, чтобы отвязаться от нее, сказали, что недалеко через залив есть большое селение, где много детей. Темнота, что они знали тогда? Кто-то пустил слух, что детей забирают от родителей, чтобы где-то вдалеке обучить их военному делу, а потом послать на войну... А девушка та послушалась их и пошла через залив. Да разве в овчинном-то тулупе далеко ушагаешь? Бедняга, совсем из сил выбилась, села отдохнуть. Так бы и не встала, если бы я не ехал мимо...

Пларгун молча слушал, потом объяснил:

— Да я не агитировать. Просто поговорю с людьми. Они и сами понимают: без образования сегодня нельзя. Скоро и я поеду учиться в город. Вот здесь, в тайге, научился добывать зверей, а там научусь разводить этих зверей. Ведь соболя осталось мало. И меня научат разводить соболей...

Старик с недоверием посмотрел на него. Пларгун смутился.

— В общем, я поговорю с людьми.

— Но ведь скоро за нами вертолет прилетит! Ты можешь не успеть обернуться!

— Не надо меня ждать. Я вернусь на собаках с первым настом Кар-Лонга — месяца Грачей. Только вот о чем думаю: смогу ли я дойти до стойбища?

— Дойдешь, нгафкка. Местность не сложная. Пойдешь по тайге, все время видя по левую сторону хребет. И девушка была давненько. После нее уже десять раз переметало порошу, набило на ее следах снегу, обнажило их.

Пларгун надел лыжи.

— А Кенграя оставишь? — спросил старик, тоже надевая лыжи. Он решил проводить юношу до перевала.

— Нет, заберу. Я его потом впрягу в упряжку.

Всю дорогу до перевала оба молчали. Старик жалел, что охотничий сезон подходит к концу. Скоро за ними придет адова коробка с вертящейся головой на тонкой шее. Кто только умудрился выдумать ее? Самолет — это еще куда ни шло: у него хоть крылья есть. А этот на чем только держится в воздухе? И голова так вертится, так вертится, что тонкая шея когда-нибудь обязательно оборвется... Кто только выдумал ее?

Но вот старик подумал о приятном. Он вспомнил все подробности этой, возможно последней в его жизни, охоты. Вспомнил, как юноша впервые вошел в тайгу, и сколько было у него нелепых случаев. И как его угораздило спалить полог, когда варил медвежью желчь?.. А теперь юноша — не юноша, а муж!

Старик ругал сегодняшних людей за то, что они забыли старые обычаи. А сколько среди них нужных и прекрасных! Забыли их, забыли. Потом старик удовлетворенно улыбнулся, вспомнив, как он легко справился с медведем у берлоги. Чего тогда Нехан не стрелял? Если бы не собаки, с Пларгуном случилась бы беда. Ай-я-яй, как могло случиться, что Нехан растерялся... У него было два ружья... А здорово все-таки я одолел громадного медведя! Такое даже в старину не каждому удальцу удавалось...

Потом старик снова вспомнил: сезон охоты подходит к концу. И уже совсем испортилось настроение, когда подумал о том, что нужно будет вновь ходить ко всяким людям, унижаться перед ними, выколачивая несчастную пенсию...

На перевале старик долго тряс руку Пларгуну. Потом потрепал Кенграя за уши.

Пларгун помахал рукой и, оттолкнувшись, быстро ска-

тился вниз по другую сторону перевала. Уже далеко внизу обернулся: маленькая фигурка старика стояла неподвижно на перевале...

Пларгун шел широким шагом. Кругом было много лисьих следов. Мелкие стежки горностая испещрили сугробы. Кусты кедрового стланика высунули из-под снега игольчатые лапы, в которых держали кедровые шишки — корм для всякой таежной дичи, начиная от мышей и кедровок, кончая медведем и лисой...

Пларгун и сам не заметил, как у него наладилось ритмичное дыхание, как размеренно и широко ступают окрепшие ноги. Он шел шагом дальней дороги...

ТЫНГРАЙ

От кого я впервые услышал о легенде — уже не помню. Услышал во время одной из многочисленных ночевок на охоте и рыбной ловле. Тогда попался ничем не примечательный рассказчик. Он отделался лишь тем, что сказал: вот-де раньше были собаки! Куда сегодняшним до них. И только назвал имя легендарной собаки, добавив, что упряжки во главе с Тынграем не знали поражений.

Второй раз услышал через несколько лет зимой, и вот при каких обстоятельствах.

Я приехал в свой родной поселок Ноглики на Праздник народов Севера. В районном центре собрались рыбаки, оленеводы и охотники за десятки и сотни километров, чтобы посостязаться в стрельбе из лука, гонках на собаках и оленях, нивхской борьбе и других видах спорта.

Гонки на собаках выиграл каюр из Пильтуна, самого северного селения на восточном побережье. Упряжка у него выделялась среди других: собаки высоконогие, поджарые, с развитой мускулатурой, красивой аккуратной головой. В беге они нестомчивы и резвы.

После гонок я встретился с каюром. Мы знали друг друга: были школьными приятелями. Разговорились. Он расспрашивал меня о жизни в городах на материке. Мой приятель ни разу не бывал дальше районного центра. Но это не мешало ему быть хорошим рыбаком и отличным каюром.

Когда зашла речь о соревнованиях, мы тут же заговорили об упряжках. Говорили с интересом. Мой приятель большой знаток ездовых собак. Он отметил, что собаки из разных селений отличаются друг от друга: мастью, размерами, экстерьером... И даже характером.

О своей упряжке только сказал, что выводил ее долго, строго отбирая производителей. Мой друг признался, что не любит угрюмых собак: угрюмые и в работе не резвые. Особенно трудно давалось ему изменить характер своры. И тут он сказал, что его любимцы — далекие потомки того легендарного Тынграя, о котором и по сей день рассказывают предания. А Тынграй был угрюмым псом...

Второй раз услышав это имя, я уже не мог не записать легенду о Тынграе. Но мой приятель не унаследовал от своих предков дар рассказчика, да и относился к легендам и преданиям как к не стоящим внимания пустякам.

И все-таки помог мне мой приятель. Сказал, что, если верить преданиям, Тынграй был родом с побережья Лунского залива. Эту версию подтвердили и другие каюры. А тут мне еще сообщили, что с недели на неделю в стойбище на берегу

Лунского залива состоится медвежий праздник. Весть привез охотник-соболятник. Он приезжал в райцентр сдавать пушнину.

Через день меня уже мчали быстроногие собаки. Предстоял путь более чем за сотню километров через залив, соболиную тайгу и перевал.

Через три дня мы приехали в стойбище Миях-во. Стойбище — в нескольких километрах от оголенного берега. Оно защищено от ветров низкорослыми рощами корявой лиственницы. В двух-трех километрах в глубь острова — отроги хребта, изрезанные распадками и покрытые хвойным густолесьем, — излюбленные места соболя. В стойбище (в нем четыре дома) жил род Сакквонгун — таежные охотники. Мы приехали за несколько дней до праздника.

Наши хозяева — люди Сакквонгун — оказались по-нивхски гостеприимными. Днем они занимались охотой и другими делами. А вечера отдавались тылгурам (преданиям, легендам, сказкам). Иногда мы слушали нгастуры — эпические сказания о необыкновенных путешествиях какого-либо безымянного героя (меннгафкк — «наш человек», так именуется герой в эпосе).

В один из вечеров я сказал, что видел на Празднике народов Севера упряжку, которая состоит из потомков легендарного Тынграя. Искра попала в цель. В эту ночь я услышал тылгур о Тынграе от человека из рода Сакквонгун. Именно люди Сакквонгун воспитали Тынграя и были его первыми хозяевами.

И в то время род Сакквонгун не был многочисленным. В стойбище Миях-во стояло несколько то-рафов — зимних жилищ, покрытых корьем и землей.

В одном из то-рафов жила семья: хромоногий мужчина, который мог кормить только одну жену и их десятилетнего сына. Несколько родов предлагали красивой женщине, когда она была незамужем, перейти к ним, но ее родители свято хранили обычаи — отдали свою дочь в род ымхи.

Хромоногий был старательный кормилец. Но не всегда удачей заканчивались его старания. А долго преследовать добычу он не мог.

Зимой хромоногий ловил пушного дверя. Он не мог ходить далеко и ставил ловушку сразу за стойбищем. Потому не часто приносил домой добычу.

Весной он ездил вместе с сородичами в море, во льды бить нерпу. Охота на нерпу требует сноровки. Но откуда быть сноровке, если охотник хромоногий? И сородичи брали его гребцом. При дележе добычи хромоногого не баловали вниманием.

Только летом он мог промышлять один. Он вместе с женой сплетал из тонких ветвей тальника тёкко — ловушки на

рыбу — и ставил их в горных речках. Много ли, мало ли добывали они рыбы, но делали кой-какой запас юколы и как-то тянули до весны.

А если весна затягивалась — первой начинала голодать семья хромоногого.

У хромоногого было всего три кобеля и одна сука. Он не мог держать целую упряжку — собаки требуют много корма. И, когда нужно было заготовить дрова, хромоногий запрягал в легкую нарту трех своих тощих кобелей и медленно исчезал в ближайшей роще. А потом люди видели: из рощи выходила странная упряжка — те же три тощих кобеля, и вместе с ними тянул нарту сам хромоногий.

У него была одна радость — сын. Мальчик рос смышленый. И отец делал все, чтобы передать сыну свои нехитрые секреты рыболовства и охоты.

В свои десять лет мальчик уже умел точить наконечники гарпуна, умел различать следы лесных зверей и узнавать птиц по их голосам.

Мальчик любил собак, и те отвечали ему взаимностью. В сытые вечера в начале осени он помогал матери варить на костре похлебку для собак. Когда выпадал первый снег, он запрягал всех трех кобелей в упряжку и с веселым криком носился вверх и вниз по-над берегом реки. Об одном мечтал мальчик: когда станет юношей, заимеет свою упряжку. И не какую-нибудь, а самую отборную. Чтобы она возила с весенней охоты тяжелую нарту, груженную жирными нерпами и лахтаками, которых добудет удачливый охотник; чтобы она возила хозяина по весеннему насту в отдаленные стойбища в гости; чтобы она не знала поражений в гонках.

Однажды весной кто-то заметил: один из нё[1] ограблен. По следам определили: нё ограбила собака. Следы собаки были крупные, но аккуратные. Они вели в лес.

И с тех пор неизвестная собака стала каждую ночь проникать в закрытые нё и пожирать юколу и скудные запасы нерпичьего жира.

Люди, чтобы поймать пса-грабителя, выставили ловушки с приманками. Но собака будто обладала человеческим умом: она ловко обходила настороженные ловушки и безнаказанно брала приманку.

Тогда жители стойбища решили травить дикого пса домашней сворой. Отобрали несколько крупных и злобных кобелей и стали караулить.

Но он не появился ни в ту ночь, ни в следующую. Он будто знал, что́ его ждет. Люди сменяли друг друга и продолжали караулить. И вот на шестую ночь он явился. По-видимому, голод выгнал его из леса. Нет, люди не видели его. Но откормленные кобели вокруг яростно залаяли и один за другим помчались к крайнему нё. При сильной луне было видно: от

[1] Нё — амбар, хранилище.

нё к лесу стрелой метнулась длинная тень. Кто-то утверждал, что заметил, как луна высеребрила его рыжеватый загривок и сделала пса каким-то неземным.

Долго доносился лай, отдаляясь. Потом лай перешел в рык и рев. Было ясно: свора нагнала дикаря. И люди облегченно подумали: теперь стойбище избавится от грабителя. Рык и рев перешли в визг, который вскоре оборвался. «Конец», — подумали люди. Но тут же недоуменно переглянулись: лай донесся с новой силой.

Когда рассвело, хозяева увидели: у одного кобеля разорвано ухо, у другого прокушена лапа, у третьего на загривке зияет рваная рана, а четвертого, самого могучего, не узнать: морда разбита, будто колотили по ней обухом топора. И подивились люди, какой же силой и ловкостью надо обладать собаке, чтобы отбиться от целой своры ездовых кобелей!

Прошло несколько спокойных ночей. И так уж случилось, что мальчик, сын хромоногого, выйдя поздно вечером за дровами, увидел: огромный пес желтой масти воинственно прохаживался среди привязанных к кольям трех тощих кобелей, а те покорно прижимали уши и водили куцыми отрубленными хвостами.

Когда вышли взрослые, пса уже не было. Только три тощих кобеля пристально глядели куда-то в ночь.

Наутро жена хромоногого вынесла объедки от скудного завтрака, чтобы покормить непривязанную суку. Обычно сука поджидала у порога, когда ей вынесут объедки. Но на этот раз ее не было.

Женщина громко звала ее, но той нигде не было. И объедки пришлось отдать кобелям-бездельникам, от которых летом нет никакого проку.

Сука объявилась через четыре дня. Стелющимся шагом подошла она к хозяйке, лизнула ей ногу. Она была какая-то другая: шерсть на ней лоснилась, будто ее долго откармливали. Она теперь подолгу лежала на солнцепеке, старательно вылизывала себя и не отвечала на ласковый зов мальчика.

Прошло два месяца, и однажды утром хромоногий воскликнул:

— Хы! Да наша сука отяжелела!

Как-то в середине лета, когда мальчик с отцом вернулись с рыбалки и привезли матери жирных красноперок, мать загадочно улыбнулась и сказала сыну:

— Сходи-ка к конуре, посмотри.

Мальчик вышел посмотреть. И что увидел: из-под лежащей суки выглядывали маленькие игрушечные лапки с белыми коготками и тонкие хвостики с белесой редкой шерстью. Лапки и хвостики беспокойно шевелились, доносились недовольные попискивания щенков, ищущих соски, и сочное торопливое причмокивание других, кто счастливо обладал молоком матери.

Вслед за сыном подошел отец. Он криво уставился на суку и усмехнулся почему-то горько. Потом резко наклонился, сдвинул ее ногой, схватил одного щенка за задние лапки, перевернул. Сказал: «Щенок-кобелек». Схватил второго, потянул кверху. Но щенок намертво всосался в розовый пухлый сосок, обхватив его такими же розовыми лапками. «Ох, и жадный ты!» — сказал хромоногий, не то сердясь, не то поощряя. Взглянув между задних лапок щенка, отец опять сказал: «Щенок-кобелек». В выводке всего одна сука и восемь кобелей как на подбор!

Отец опять усмехнулся и печально сказал:

— Сын мой, ты мечтал об упряжке — вот тебе целая упряжка. И смотри, какая будет отборная красивая упряжка: все кобели одной масти!

Мальчик счастливо запрыгал, прибежал к матери:

— Мама! У меня будет самая лучшая упряжка!

— Когда станешь большой, тогда будет и у тебя лучшая упряжка, — ответила мать.

— Нет! Сейчас у меня будет самая лучшая упряжка! — возразил десятилетний мальчик.

— Но ведь сейчас лето... И щенки еще не подросли... — сказала мать.

Наступила осень, дождливая, ветреная. Хромоногий каждое утро выходил из то-рафа, всматривался в даль, туда, где лесистый хребет зазубренными вершинами вгрызался в низкое тяжелое небо. Иногда шквалом разрывало тучи, и между ними голубыми прогалинами пробивалось небо. И тогда хромоногий облегченно вздыхал и шел готовить рыболовные снасти. Но зря он это делал: следующий шквал приносил новые тучи. И землю заливал дождь, крупный, холодный.

Хромоногий не успел за лето заготовить столько юколы, чтобы быть уверенным, что весна не принесет беды. Он еще надеялся на осенний ход кеты. Но этот ход или задержала непогодь, или кета прошла незамеченной в бурных потоках разлившейся реки.

Всему бывает конец. Конец наступил и шторму.

Вышел хромоногий на реку, хотя знал: рискованно ставить сети, когда река озверело вырывается из русла.

Вышел хромоногий на реку, поставил сети. И тут же был наказан: бурное течение бросило на его сети огромное суковатое дерево. И от сетей остались только обрывки. А у хромоногого сети были одни-единственные.

Вернулся хромоногий к себе, сказал испуганной жене:

— Не печалься, жена. Станет лед, будем удочками ловить рыбу.

А на следующий день мальчик увидел: отец подпоясался ремнем и стал класть щенков себе за пазуху. Хватает щенков за голову и сует за пазуху. Одного, второго, третьего... Оставил только одного, у которого щеки были желтее, чем у дру-

гих, того, который в первый же день жадно прилип к соску матери и никак не отпускал, когда хозяин хотел перевернуть его на спину.

Сын испуганно следил за действиями отца, еще не понимая, чего он хочет.

— Папа, ты это зачем? — спросил осторожно.

И тут страшная догадка поразила его, он закричал:

— Нет! Нет! Не дам!

Мальчик повис на шее отца. Он ощущал под животом живые комочки, чувствовал, что щенкам больно от его тяжести, но не отпускал и плакал:

— Нет! Нет! Не дам!

Вокруг тревожно забегала сука. Хромоногий пнул ее кривой ногой и тяжело поплелся к реке. А мальчик раскидывал ноги в разные стороны, цеплялся ими за кустарники, чтобы хоть как-то задержать отца.

У самого обрыва хромоногий остановился. Он устал и дышал тяжело. Сын мешал ему. И он двинул плечами, пытаясь стряхнуть мальчика, но тот продолжал висеть на его шее. Тогда хромоногий схватил за руки, но руки будто окаменели.

Долго стоял хромоногий над бурлящей рекой. Стоял угрюмый, темный. Потом медленно повернул к стойбищу.

Морозы не заставили себя ждать. Несколько дней стояло ясных. Потом в мире что-то сместилось. Ветер сорвался из-за гор, будто высокие хребты долго держали его и не пускали.

К тому времени щенки уже понимали свои имена и шли на зов. Они все реже и реже лезли под теплое материнское брюхо, больше спали отдельно на сене, свернувшись пушистыми клубками. Выспавшись, резвились во дворе, дрались с соседскими щенками. Все драки возглавлял желтощекий щенок по имени Тынграй.

Мальчик каждый день варил для своих любимцев еду. Щенки пожирали много рыбы, запас которой быстро таял.

И вот пришел день, когда отец сказал:

— Сын мой, нам с тобой не прокормить всех щенков. Они уже большие и могут прожить без матери. Отдадим половину соседям?

Мальчику было жаль щенков. Но нечего делать: чтобы прокормить их, нужно иметь большой запас рыбы и мяса.

И отдали половину щенков соседям.

Выпал снег. Колючий, ледянистый. Будто, пока он летел, его сперва оттаяли и уже потом заморозили. Он выпал на землю, и ветер еще несколько дней переметывал его, как сухие песчинки. Четыре щенка, резвясь, носились по кустам, принюхивались к неведомым запахам и так низко наклоняли мордочки, что снежинки бисеринками прилипали к их влажным носам.

Семья хромоногого с утра до вечера пропадала на реке, пробивала лунки на льду и ловила форелей на удочки.

Когда выдавались безветренные дни, хромоногий уходил в лес ставить петли. Он пропадал целыми днями и возвращался поздно ночью. Жена не ложилась спать, пока не встречала мужа. Та зима выдалась на редкость скупая на добычу, и хромоногий, и без того неудачливый, на этот раз поймал всего двух соболей.

Щенки за зиму подросли. И к весеннему насту были высоки, как взрослые нартовые псы. Только в костях еще были тонки и характером шаловливы.

Мальчик научил своих любимцев ходить в упряжке. Молодые псы поначалу резво тянули нарту, но быстро выдыхались.

С весенним настом жители стойбища запрягли лучшие упряжки и уехали далеко за сопки менять пушнину на товар. И хромоногий запряг своих трех кобелей, ввел в упряжку и молодых псов. Поклажа не тяжелая, и несильная упряжка легко тронула нарту.

Уехал хромоногий в отдаленное селение, обменять две шкурки соболя на одежду, топор, пилу, ножи. Уехал и долго его не было. Уже вернулись все охотники. Вернулись с богатыми товарами, с неслыханной вкусной едой для детишек, с душистым чаем и табаком. А хромоногого все не было. И когда снег уже почти растаял, а кое-кто в стойбище уже поговаривал, что хромоногий, наверно, погиб, появилась маленькая упряжка: три тощих кобеля и с ними один молодой пес — Тынграй.

Приехал хромоногий в стойбище, но мало чем порадовал семью. Сказал, что торговый человек плохо оценил его соболей и мало товару дал в обмен. И еще сказал: торговому человеку понравились молодые псы, и он потребовал продать их. Хромоногий наотрез отказался продавать любимцев сына. Торговый человек клялся, что любит хромоногого, предложил свою дружбу, просил не торопиться с отъездом. Обещал заплатить за каждого пса дороже, чем за шкуру соболя. Держал он хромоногого, спаивал водкой. Хромоногому давно пора домой, скоро снег растает, и придется идти пешком. Вот на это и рассчитывал торговый человек. Без снега упряжка не понадобится хромоногому, и он оставит ее.

Пришлось уступить торговцу. Тот в обмен дал немного товару. Сказал, что, пока хромоногий жил у него, пропил всю упряжку. Только и сумел хромоногий забрать Тынграя и под покровом ночи выехать из селения.

Весна этого года выдалась тяжелая. И хромоногий успокаивал себя: хорошо, что молодые псы находятся не у него. А то бы они терпели жестокий голод и вряд ли выжили до дней весенней охоты.

Оставшихся собак хромоногий спустил с привязи. И те, как могли, сами добывали корм.

Когда устойчивый ветер пригнал льды к побережью, жители стойбища вышли в море промышлять нерпу.

Хромоногий одним из первых вывел свою утлую долбленку во льды. С ним на свою первую охоту вышел сын. Мальчик был очарован величием торосов и громадой ледяных полей. Засмотревшись, он порой забывал о своих обязанностях. А от него пока требовалось немного: несильно грести. Отец ловко действовал рулевым веслом, умело направлял лодку между льдами.

Когда лодка обогнула торосистую синюю льдину, мальчик увидел невдалеке стадо нерп и указал на него рукой. Отец глянул: около пятнадцати нерп лежало на небольшом ледяном поле. Охотник сильным движением увел лодку снова за торосистую льдину, чтобы не вспугнуть нерп. Он недолго соображал, выбирая наилучший план нападения на стадо. Отец велел сыну лечь в лодку, чтобы его не было видно со стороны, а сам, низко наклонившись, направил лодку так, чтобы ветер шел от нерп.

Несколько десятков сильных, но неслышных гребков рулевым веслом, и лодка тихо уткнулась носом в край ледяного поля. Отец взял в руки гарпун и палку-колотушку, мягко прыгнул на льдину и понесся к нерпам что есть силы. Нерпы увидели опасность и в панике, наталкиваясь друг на друга, поползли к воде. Те, кто лежал ближе к краю льда, успели уйти в воду. Но четыре нерпы остались на льду. Пятую, остервенело вырывающуюся, хромоногий держал на гарпуне. Потом подтянул ее к себе и добил колотушкой.

Нерпы не уместились в лодке. И двух пришлось тащить за лодкой на ремне.

В стойбище старики угощались первой весенней добычей, славили тех, кто дал людям пищу. О сыне хромоногого говорили, что его первая охота обещает ему удачу на многие годы. И тут же мальчика назвали кормильцем.

Удача не покидала охотников до конца весенней охоты.

Мальчик щедро разносил по то-рафам мясо и сало от своей добычи. И, конечно, не забыл и нартовых псов. От хорошей пищи Тынграй быстро пошел в рост. К началу лета он стал высоким, сильным псом.

Несмотря на большой рост, Тынграй был легок и подвижен.

К этому времени у пса сложился характер. Это был угрюмый и величавый кобель. Он ко всему окружающему относился спокойно. Других кобелей он не замечал. И когда те не желали уступить добром, пускал в ход свои острые клыки. Он никогда не лаял без необходимости. Жители стойбища так и не слышали его голоса. Он и рычал-то всегда негромко. В этом не было нужды: достаточно его взгляда, чтобы псы поджимали хвосты.

Хромоногого Тынграй не любил. Во всяком случае, он не

выказывал радости при встрече с ним, хотя и выполнял требования хозяина.

Мальчика же Тынграй всегда встречал радостным поскуливанием. Разрешал трепать себя за уши, охотно играл в борьбу, позволяя положить себя на лопатки.

О Тынграе давно судачили старики. Но по-настоящему заговорили о нем осенью, когда открылся сезон охоты.

Мальчик напросился в тайгу. И хромоногий с сыном ушли на промысел еще до появления пороши. Взяли с собой Тынграя.

Пришли охотники в сопки, срубили балаган и на следующее утро пошли ставить силки. Ставили ловушки у ключей, на местах, где должны быть переходы соболей.

Тынграй, пока охотники выбирали удобные места, носился рядом, принюхивался к невидимым следам.

Мальчик с любопытством смотрел, как Тынграй по только ему известным приметам находил, где прошел зверь. А Тынграй бегал по кустам, по колодинам, долго распутывал следы у нагромождений мертвых деревьев. И вот охотники впервые услышали его голос. Он был звонкий и азартный. Пес пронесся мимо охотников, не видя их. Помчался вверх по склону сопки и, будто натолкнулся на стену, остановился и залаял отрывисто, призывно.

Мальчик прибежал на лай и увидел: на вершине толстой и высокой лиственницы сидел темный зверек — соболь. Мальчик восторженно смотрел на зверя и ждал отца. Хромоногий не спеша подошел, как-то отрешенно взглянул наверх и молча подался в сторону. У хромоногого не было никакого оружия, чтобы достать зверька. Мальчик понуро поплелся за отцом. Тынграй же обиженно осекся и недоуменно взглянул на людей. Он долго не хотел отходить от дерева. И когда наконец понял, что этот зверек не интересует его хозяев, тоже подался следом за ними.

Тынграй трусил сзади. Но вот он остановился, отрывисто потянул носом и вдруг помчался по распадку. Хромоногий понял: Тынграй поймал след. Пес нетерпеливо повизгивал, значит — след теплый.

Хромоногий, неловко припадая на кривую ногу, побежал за собакой. Мальчик тоже припустил. Он тут же обогнал отца и побежал впереди.

И увидели охотники: из куста, к которому подбежал пес, выскочил соболь.

Тынграй стрелой погнался за соболем и, когда тому оставалось до ломов всего несколько прыжков, на лету подхватил его. Возбужденный, он остервенело тискал добычу зубами, пока не подбежали запыхавшиеся охотники. Тынграй неохотно отдал свою добычу.

С этого дня Тынграй стал охотиться на соболей. Он научился неслышно подкрадываться к кормящемуся зверьку.

Иногда, завидев соболя, долгими минутами лежал в кустах, выбирая удобный миг, чтобы зверь отошел подальше от валежин или высоких деревьев. Умный пес прекрасно знал свою скорость. Изучив, как быстро бежит соболь, Тынграй нападал так, чтобы соболь не успевал вскочить на ближайшее дерево. Иногда пес в высоком прыжке снимал зверя, когда тот уже взлетал на нижний сук.

Охота в ту осень началась удачно. Хромоногий уже строил планы новой поездки к торговым людям. И жалел, что отдал купцу замечательных нартовых кобелей. Теперь семья будет сыта, и хромоногому, как уважающему себя мужчине, следовало бы иметь полную упряжку.

Но не суждено было хромоногому иметь полную упряжку. Перед самым снегопадом отец и сын преследовали соболя и ушли вверх по глухому распадку. Тынграй залаял неожиданно яростно и злобно. Хромоногий, опытный таежник, сразу определил, что пес не на соболя напал. Олень? Нет, оленя собаки берут уверенно. Злость приходит, когда они не уверены в своих силах. А по лаю видно — пес не схватился со зверем. Наверно, медведь. А у охотника только нож. Надо бы уйти. Тынграю надоест облаивать, и он догонит хозяев по следу. Но тут какая-то смутная сила толкнула хромоногого вперед на голос. Может быть, он вспомнил последнюю голодную зиму. Голод сильнее, чем страх перед самым лютым зверем... У хромоногого нож, надежный охотничий нож... в медведе мясо... на всю зиму хватит.

Какая-то необыкновенная сила толкнула охотника. Наверно, это было отчаяние.

Медведь сидел у входа в берлогу и отмахивался от наседавшего пса. Видно, зверь уже залег на зиму, но пес разбудил.

Хромоногий выхватил нож и с диким криком, ослепленный отчаянной смелостью, бросился на громадного зверя. И было бы совсем худо охотнику, если бы Тынграй не вгрызся в загривок медведю.

Хромоногий сунул в пасть зверю левую руку по плечо, а правой ножом нанес несколько быстрых ударов в грудь. Медведь навалился на охотника.

Хромоногий с трудом оттолкнул от себя еще рычащего зверя, но не смог подняться — медведь предсмертным ударом сломал ему вторую, здоровую ногу.

Всю зиму пролежал охотник в постели. Нога хоть и срослась, но плохо.

Так и не поохотились хромоногий и его сын. Все охотники стойбища добыли соболя, а семья хромоногого снова осталась без добычи.

В начале весны жители стойбища праздновали удачную зимнюю охоту. Было большое веселье. В стойбище приехали гости из отдаленных мест. Несколько дней продолжался

праздник. Мужчины соревновались в борьбе, в стрельбе из лука, в поднятии тяжести, в прыжках. И когда начались соревнования в гонках на собачьих упряжках, собрались и млад, и стар. Упряжек было как никогда много.

Хромоногий не участвовал в гонках. Но о Тынграе были наслышаны далеко за пределами побережья. И вот в один из вечеров к хромоногому пришел молодой гонщик. Сказал, что он из рода Такрвонгун. Человек из рода Такрвонгун дает в обмен на Тынграя шкуру черного соболя и полтуши таухурша-лахтака.

Семья хромоногого уже голодала, и человек из рода Такрвонгун без труда договорился.

На другой день весть о победе человека из рода Такрвонгун облетела все стойбище. Все говорили о вожаке упряжки — Тынграе. Говорили о его силе, нестомчивости, азарте в беге.

Так и уехал человек из рода Такрвонгун в свое стойбище со славой победителя. Он жил в двух днях езды к северу по восточному побережью Ых-мифа.

Сын хромоногого долго горевал. Но нечего делать — нельзя перечить отцу.

Прошло несколько дней после того, как гости разъехались по своим селениям. И однажды вечером сын хромоногого, играя у своего то-рафа, увидел Тынграя. Он лежал на своем обычном месте у конуры. Мальчик обрадовался, подбежал к собаке и стал играть с нею. Потом вошел в то-раф и рассказал отцу. Отец велел сыну привязать Тынграя.

Через два дня у то-рафа хромоногого остановилась упряжка. Это приехал человек из рода Такрвонгун. Оказывается, Тынграй перегрыз привязь и убежал. И чтобы такое больше не повторялось, хромоногий сильно избил Тынграя. На следующее утро человек из рода Такрвонгун увез пса. И мальчик видел: Тынграй долго упирался, рвался назад. Но ему одному не осилить целую упряжку.

Тынграй попал к новому хозяину, молодому, удачливому и сильному.

Новый хозяин хорошо кормил собак. И Тынграй вскоре превратился в матерого пса. Человек из рода Такрвонгун был рыбак и охотник на морского зверя. В тайгу же он ездил разве только за дровами. Потому новый хозяин не ходил с собаками на охоту. Тынграя он держал только для соревнований. Откормленный и сильный, Тынграй мало бывал в упряжке. Он стал еще более угрюмым. Даже злость появилась в нем. Теперь он чаще пускал клыки в ход, бил других кобелей без причины. И чтобы Тынграй не покалечил упряжку, новый хозяин держал его отдельно на цепи.

Через год человек из рода Такрвонгун женился. И за невесту отдал богатый юскинд — выкуп. Тестю очень понравился Тынграй, и он забрал пса. Тынграя увезли еще дальше на север в селение Пильтун. В том селении от Тынграя още-

нились несколько сук. И тамошние каюры стали подбирать упряжки из кобелей — потомков Тынграя.

Но и в Пильтуне Тынграй недолго жил. Его перекупил богатый род из селения Нгань-во, что на западном побережье Ых-мифа. И на том побережье Тынграй возглавлял упряжки на соревнованиях. И всегда упряжка с Тынграем побеждала в гонках.

О необыкновенной собаке пошли легенды. Самые богатые нивхи мечтали приобрести ее.

Последним хозяином Тынграя был торговый человек. Тот самый купец, у которого несколько лет назад оставил своих собак хромоногий.

К тому времени у торгового человека подобралась самая отборная упряжка. Богатый человек потехи ради участвовал во всех крупных состязаниях. И не знал поражений. Если во время гонок Тынграй нагонял чужую упряжку, с ходу цеплялся в горло другому вожаку. И каюры не любили участвовать в одном заезде с купцом.

В середине зимы и в начале весны торговый человек объезжал нивхские селения, забирал пушнину.

Случилось, что приехал он в стойбище хромоногого. Тынграй узнал своего бывшего хозяина — мальчика. А хромоногого не допустил к себе, встретил его глухим рыком, обнажив острые клыки.

Через несколько дней сын хромоногого тяжело заболел. Родовой шаман сказал, что болезнь идет от тоски по любимой собаке. Хромоногий готов был отдать все, чтобы вернуть пса. И торговец сказал, что вернет Тынграя, если хромоногий и его сын дадут за него пять самых темных соболей. А у хромоногого было четыре соболя. Сговорились купец и хромоногий: двух соболей обменивают на товары, а двух других торговец берет в счет Тынграя. Как только хромоногий привезет еще трех соболей, тут же получит пса.

Когда торговец уезжал, хромоногий вырвал у Тынграя клок шерсти, завернул в тряпочку и повесил на шею сына. Так велел сделать шаман. Тоска по любимой собаке будет не столь велика, и страдания подростка уменьшатся.

К концу охотничьего сезона хромоногий поймал еще пять соболей. Жители стойбища ждали торгового человека. Но тот не приезжал.

Весной мальчику стало еще хуже. Он худел на глазах. Но вот однажды в стойбище увидели Тынграя. Люди подумали: надо ждать торгового человека. Тынграй, наверно, снялся с ошейника и опередил упряжку. Но прошел день, прошел второй, а купца все нет и нет.

Хромоногий хотел поймать Тынграя, ввести в то-раф, чтобы сын мог видеть своего любимца. Но Тынграй не давался в руки. Он ходил вокруг стойбища, дразня привязанных к кольям собак.

Как-то всю ночь жители стойбища слышали вой Тынграя. Он ходил вокруг стойбища и выл. А утром сын хромоногого умер. В тот же день Тынграй исчез.

Говорят, через день его видели в селении рода Такрвонгун. Он ходил по селению с низко опущенной головой и кидался на нартовых кобелей.

Потом он объявился в Пильтуне. И там он грыз собак. Люди в панике прятались от него в жилищах. Позднее его видели на западном побережье.

И с последним весенним настом Тынграй перевалил Ых-миф через горы и вновь появился на восточном побережье. Люди видели его следы на могиле мальчика.

Через несколько дней он снова ушел на север.

Шаман сказал, что Тынграй будет ходить вокруг Ых-мифа, заходить во все селения, где он жил. Будет ходить, нигде не останавливаясь надолго. Ходить до тех пор, пока его держат ноги...

РАССКАЗЫ

ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ

Давно это было. Но тот день я навсегда запомнил. Мне тогда исполнилось восемь лет. И помню эту дату не потому, что ее отмечали как-то по-особому. Во времена моего детства нивхи еще не знали такого праздника. Мои сородичи переняли его у русских немного позже. Да и другие праздники проходили как-то незаметно, без прежней яркости и радости. Это было такое время, когда в нашем селении не стало мужчин. Остались одни немощные старики и женщины. Уже давно никто не волновал сердца стариков сильным взмахом весла, уже давно не вспарывал вечернюю гладь залива мощный ход многовесельной долбленки. Даже чайки и те покинули притихший залив.

Было голодно. Помню дни, когда одну наважью юколу мы делили пополам с моим аки — старшим братом. Мне и теперь все кажется, что мой аки всегда был взрослым, хотя он старше меня всего на шесть лет.

Отца помню плохо. Но помню, как моя скрученная ревматизмом мать, забыв свои недуги, опираясь на палку, радостно выходила на студеный берег залива и садилась свежевать огромные туши лахтаков. Длинные, тонкие, изогнутые ножи ловко ходили в ее слабых руках. Мне было тоже радостно, потому что мать брала меня помогать. Когда она прорезала брюхо морскому зверю, я поддерживал края шкуры с толстым, в ладонь, салом.

Поддерживать сырую шкуру — дело трудное. Руки быстро уставали, и шкура помимо моей воли выскальзывала из рук, звучно шлепалась в песок. Мать бранила меня. Но я не обижался, потому что то были сытные дни.

Когда мать высвобождала от сала шею, грудь и брюшину лахтака, к нам подходил аки. Он переступал через могучую шею морского великана, вонзал в основание шеи острый нож, выкованный из японского напильника дедушкой Ламзиным,

налегал всей силой на костяную рукоять. Грудь с хрустом распарывалась, обнажая перерезанные белые ребра. Перерезать толстые хрящи — ребра — мог только сильный мужчина. И мой аки прекрасно справлялся с этим делом.

Аки разрубал лахтака на много кусков, прорезал в каждом дырочки, чтобы можно было продеть в них пальцы, и я носил мясо в нё — амбар, очень похожий на избушку на курьих ножках из русских сказок. Сало, нарезанное большими кусками, носил сам аки.

Затем мы, трое мужчин — отец, аки и я, — садились за пырш — низкий стол, — скрестив по-восточному подогнутые ноги. Мать подавала нам еще теплую кровавую печенку, и мы, каждый своим ножом, разрезали ее на мелкие кусочки и, обмакнув в раствор соли, не спеша ели. Я глотал шумно, подчеркивая этим, что добыча охотников очень вкусна и я, которого они кормят, доволен ею. Мать и сестра моя садились за другой пырш, погружали пальцы в расколотый череп лахтака и выбирали нежный мозг. К великой радости моей сестры, голова у лахтака большая, с полведра.

Аки ездил на весеннюю охоту с отцом в лодке-долбленке. Аки, как и все взрослые нивхи, мастерски правил шаткой, круглой, как бревно, лодкой. Сколько я помню, он ни разу не перевернулся на ней. Это — искусство, доступное только настоящим охотникам-зверобоям.

Отец и брат привозили много нерп. Никто не спрашивал, кто из них добыл больше, потому что у нас не принято спрашивать, кому люди обязаны пищей, если в охоте принимало участие двое или больше мужчин. Это и неважно. Важно, что люди сыты.

Однажды, когда снег растаял, а льды угнало течением и ветрами в море и я стал бегать босиком по буграм за бурундуками, исчез отец. Исчезли отцы многих моих сверстников. Позже я узнал: они ушли на войну.

Раньше мы любили играть в игру «олени и охотники», которая требовала от «оленей» умело скрываться в кустах, а от «охотников» — угадывать, где спрятались «олени», и подходить сторожко, чтоб ни одна ветка не хрустнула под ногами. Теперь же мы, разбившись на две команды, играли в «войну».

Мой аки и русский мальчик Славка были командирами. У Славки глаза прозрачные, будто из стекла. И я ловил себя на том, что мне очень хотелось потрогать их — вдруг они на самом деле стеклянные.

Одна команда пряталась в кустах, а другая наступала. Когда мимо куста, где я замаскировался, проходил «противник», я поднимал крученый сук, похожий на обгорелую трубку дедушку Ламзина, и тихо стрелял:

— Кх!

Если «противник» не слышал моего выстрела, стрелял громче и несколько раз:

— Кх! Кх!

Часто мы всей армией ходили в атаку. Тогда Славка, став в чинную позу взаправдашнего полководца, каких показывают в кино, громко кричал: «За мной! Ура-а-а!» И его армия поднималась навстречу нам. Я громко стрелял из моего сучка. Сучок у меня волшебный: он мог быть и пистолетом, и автоматом — в зависимости от того, что мне хотелось иметь в данное время.

Я стрелял в Славку, потому что «убить» командира всегда почетно. Но Славка не падал. И тогда волей-неволей начиналась рукопашная, которую мы все любили. Вообще-то раз в тебя стреляют, да еще длинными очередями, полагалось падать. Когда стреляют одиночными выстрелами, можно сказать, что тебя лишь ранили, а то и вовсе промазали. А я стрелял в Славку длинными очередями и в упор. Но он все равно догонял меня, убегающего от него, отстреливаясь, хватал сильными пальцами и больно бросал на землю. И когда я начинал шумно и обиженно протестовать, он пренебрежительно отвечал:

— Не хнычь! Вы же — «немцы», а мы — «наши». Мы должны победить!

А потом, махнув рукой, говорил:

— Давай по новой!

И мы начинали игру сначала. Только на этот раз мы — «наши», а Славкина команда — «немцы». Но все равно повторялось то же самое: Славка не хотел проиграть ни одного сражения. И на наше возмущение отвечал:

— У-у-у, молокососы! Что вы, не знаете, что на войне сейчас наши отступают?

Потом, опять махнув рукой, сокрушенно говорил:

— Да и откуда вам знать? Ме-люз-га-а-а.

После этого мы возвращались к милой игре «олени и охотники».

Как-то само собой, незаметно, мы стали встречаться все реже и реже. Дети, как могли, помогали дома своим матерям. Каждый день я ходил в лесок за хворостом. И всегда брал с собой свой волшебный сучок. На этот раз он превращался в охотничье ружье. «Оленями» были ветвистые кусты корявой ольхи.

Иногда играл в «охоту» дома, во дворе. Я скрадывал «уток» — консервные банки — и стрелял из-за угла дома. Все банки были ржавые, еще времен моего отца.

Уже давно недоедание в нашем доме стало таким же обычным и частым явлением, как дни и ночи.

Мой аки, которому в то лето исполнилось четырнадцать лет, ушел в рыболовецкую бригаду. Но рыбу мы видели нечасто. Потому что сдавали все. Даже мелочь и так называемую сорную рыбу: большеротого, брюхатого, тощего бычка и морских ершей, которых сейчас никто и за рыбу-то не считает.

Аки приходил с рыбалки усталый и промокший до последней нитки. Мне становилось неловко, когда я видел брата, измученного изнурительной работой.

Дед Ламзин, старший в нашем роду, древний и дряхлый, вскоре научил меня удить рыбу. И я иногда приносил небольшой улов.

Сам же дед целыми днями сидел на осыпающемся склоне песчаного бугра и зачем-то пристально и долго смотрел через бинокль в море. Может быть, он ждал, когда среди беснующихся валов-волн появится маленькая точка — катер, который привезет моего отца с войны. Но отец не приезжал. И дедушка с какой-то угрюмой настойчивостью проводил все дни на берегу и смотрел в бинокль.

Я видел, как брату тяжело. Но не мог ничем помочь.

Когда наступили голодные дни, я поймал себя на том, что стал часто поглядывать на отцово ружье, висящее на пышных, по пятнадцати веток, оленьих рогах. Оно могло как-то помочь нам. Но некому было воспользоваться им. Единственный мужчина, кормилец семьи нашей, мой аки, все дни находился на тони.

Я с надеждой поглядывал на ружье. С ним связаны далекие воспоминания о вкусной печенке, печеных нежных плавниках и ластах лахтаков и нерп, воспоминания о жирных супах из уток и гусей, оленины и даже то сердце медведя, которого подстрелил отец где-то в тайге.

Сердце медведя дали мне, чтобы дух могучего хозяина гор и тайги отпугнул от меня чувство страха, чтобы я вырос сильным мужчиной, удачливым добытчиком.

Стрелять из настоящего ружья — мечта всех нивхских ребятишек-малышей. Я не раз просил брата дать выстрелить просто так, по какой-нибудь мишени, уж очень хотелось стрельнуть из оружия взрослых и хотя бы на мгновение почувствовать себя мужчиной. Но он не давал, потому что охотничьего снаряжения у него было в обрез. Да и мал был я. Но в день, когда мне исполнилось восемь лет, аки впервые разрешил стрелять из ружья.

Он сказал:

— Хаскун, вот тебе два патрона. Иди потренируйся по куликам. Только крепче прижимай приклад к плечу — ударит больно.

В это время у нас сидел Славка. Он посмотрел на меня как-то необычно. Никто до этого не смотрел на меня так. Его задумчивый взгляд пронзил меня и ушел куда-то далеко-далеко. В глазах Славки холодно сверкнул и еще долго мерцал огонек удивления — так смотрят на что-то большое и непостижимое.

В коридоре у истоптанного дощатого порога под ноги мне попался крученый сучок, который мог быть и автоматом, и пистолетом, и охотничьим ружьем. Я было замахнулся ногой,

чтобы затолкнуть его куда-нибудь, но спохватился, поднял и засунул в щель между досками разбитой завалинки: может, еще пригодится когда-нибудь — мне только восемь.

Было жаль тратить драгоценные патроны на мелких куликов, которые большими стаями скапливаются на береговой отмели, и я пошел на болото в надежде найти уток. Прошел кустарники, взобрался на песчаный бугор. Смотрю: внизу, в луже посредине маленького болота, плавают две утки.

Нивхские дети моего возраста уже знают почти все виды диких уток. И в этот раз по небольшим размерам, маленькой голове, тонкому клюву, по темно-пестрому оперению и суетливым движениям я определил — плавают чирки. Утки ужинали. Глубоко погрузив голову в воду, они так и плавали с опущенной головой. Над водой забавно торчали их вздернутые хвосты. Иногда клали голову на воду и быстро-быстро работали клювиками. И до меня доносилось их частое чавканье, похожее на журчание ручейка: утки, как сквозь сито, процеживали воду через зубчатые края клюва, а на широком чувствительном язычке оставались рачки и другая мелкая живность болота. Изредка утки поднимали голову и оглядывались — не грозит ли им опасность.

Это была моя первая охота. Никто не учил меня ее законам: брату некогда, не до меня, дедушка Ламзин уже давно не охотился — силы оставили его, а другие мужчины нашего рода были на войне. Не знаю, откуда у меня появились повадки охотника. Скорее всего это передалось по наследству, в крови.

До уток далековато. Необходимо скрасть их. Для этого придется спуститься по оголенному склону бугра, проползти до заросшей багульником кочки. И с нее стрелять. И еще можно было дать большой круг за буграми, обойти болото и стрелять с противоположного берега из-за кустов кедрового стланика, что густо нависли над самой водой. Но этот план я тут же отверг. Может быть, потому, что пришлось бы тратить много времени, и я боялся, что утки улетят. Я тогда еще не мог знать, что утки без причины не покидают богатые кормом болота.

Оставалось первое решение, рискованное — скрадывать на виду у уток. Моя одежда — рубахи и брюки цвета хаки — не выделялись на фоне песка. Я быстро оценил это. И решился. Когда обе утки опустили головы в воду, вышел из ольшаника и, не спуская с них глаз, сделал несколько быстрых шагов. Босые ноги мягко, бесшумно ступали по песку.

Одна утка подняла голову. Я мгновенно остановился и застыл в очень неудобной позе — с отставленной рукой, в которой держал ружье. Я даже перестал моргать.

Заметит или нет?

Утка повернула голову, уставилась на меня долгим взглядом. Вот сейчас взмахнет крыльями. За ней, так и не поняв,

в чем дело, ошалело взмоет в воздух и вторая. Только с крыльев мелкой дробью посыплются брызги.

Утка наверняка заметила посторонний предмет. Но ее смутило то, что этот предмет не шевелится. По-видимому, ей показалось, что он был тут и раньше, просто она не замечала его.

Утка успокоилась, снова занялась ужином. Вторая перестала было цедить воду, но увидела спокойную подругу и тут же вновь погрузила голову в болото.

Быстрыми пружинистыми шагами спустился с бугра. И когда утки подняли головы, я уже сидел за прикрытием из редкого ольшаника. Предо мною, в десяти шагах, — кочка с багульником. До нее нужно добраться. Кочка низкая. К ней даже пригибаясь не подойдешь — утки заметят. Оставалось одно — подбираться ползком.

Охота целиком захватила меня. Хотелось вернуться непременно с добычей. Ведь это моя первая охота!

Не раздумывая, ложусь в болото. Чувствую — не прогретая скудным солнцем холодная вода леденяще обволокла мое тело, захватило дыхание. Одежда прилипла к коже, мешая движениям.

Ползу. Стараюсь держать ружье высоко, чтобы вода не залила стволы.

Вот и кочка. Утки метрах в двадцати. Они спокойны. Продолжают кормиться. Удобно положил ружье на кочку. Перевел дыхание. Заметил — кормящиеся утки сидят низко. Только тонкие полоски спины остаются над водой. Попасть трудно. Жду, когда спарятся, чтобы одним выстрелом ударить по обеим. Но они никак не сходятся. Аккуратно целюсь в ближайшую. Плавно нажимаю на спусковой крючок. Хотя и плотно прижимал ружье, ударило больно. Но мне было не до боли в плече.

Утки взлетели и, обалдело махая крыльями, поднялись прямо вверх. Но вот одна свернула в сторону. Вторая же столбом поднималась надо мной. Голова как-то неестественно подтянута. Понял — утка ранена. И действительно, она застыла на секунду и, растопырив крылья, упала на противоположный берег. Вторая вернулась к подруге и громко и взволнованно кричала в кустах.

Я перехватил ружье и, утопая по колено в грязи, побежал через болото на крик. Утка, увидев меня, поднялась, но тут же села рядом. Она кричала громко и часто. Хвост ее при этом подергивался, и она казалась смешной.

Первая мысль была — стрелять в нее. Но я боялся, что вспугну раненую, и она улетит. И вдруг еще промажу и вернусь вовсе без добычи. А раненую можно добить вторым выстрелом.

Я долго искал ее. И все время, пока я рыскал по кустам, вторая утка вертелась под ногами. Мне даже стало жаль ее,

Через некоторое время ее крики стихли. Она улетела, так и не найдя подругу. И я не находил. Я уже сожалел, что не стрелял во вторую — ведь она была совсем близко, и вряд ли я промазал бы.

Повернулся было к болоту, чтобы посмотреть, там ли вторая утка, как между кустами кедрового стланика увидел чирка. Он лежал на спине. И на его светлом гладком брюшке играло солнце. Я порывисто подхватил его и, ликуя, помчался домой.

Мать достала из тощего кошелька талоны на крупу. У нас в семье, когда удавалось, хранили талоны на конец месяца, чтобы потом сразу купить побольше. И хоть раз в месяц мы чувствовали себя почти сытыми.

Но в тот день, хотя и было далеко до конца месяца, мать достала талоны и купила крупы.

В нашем доме собрались старушки и дедушка Ламзин. Гости обсасывали косточки моей добычи и хвалили охотника.

После ужина, когда старушки дымили самосадку из одной трубки, пуская ее по кругу и затягиваясь на кругу по разу, подошел ко мне старейший рода дедушка Ламзин, мягко положил свою большую руку на мои худые узкие плечи, посмотрел мне пристально в глаза и почему-то приглушенным голосом сказал:

— Я знал, что ты станешь настоящим мужчиной.

Потом отвел глаза в сторону, часто-часто замигал воспаленными оголенными веками и, как мне показалось, скорбно добавил:

— Но не думал, что ты станешь им так рано.

У ИСТОКА

Полун встал рано. Но когда вышел на крыльцо, заметил, что над некоторыми домами уже струится дым. Струится, как из его трубки, когда он, отрешившись от всего мира, уставляется долгим взглядом в одну точку. Мысли сами лезут в голову, занимают ее и так теснятся, что голова пухнет. Эх, что-то очень важное упустил Полун в своей жизни. Это «важное» совсем, кажется, рядом, но никак его не поймаешь в петлю мысли, все ускользает. Что же угнетает самого древнего человека на побережье, пережившего всех своих сородичей?..

Иногда то или иное давнее событие надолго занимает мысли Полуна. Он обдумывает, взвешивает свои поступки и находит, что событие могло бы обернуться по-другому, поступи он иначе. Свои рассуждения старик обычно заканчивал

вздохом: «Эх, что утруждать свою голову, когда это прошло много-много лет назад».

Но вновь и вновь его одолевали думы. А думать было о чем. Полун — последняя ветка из рода Кэвонгун. Его род пришел на Сахалин одним из первых. Это было много сотен лет назад. Некогда род Кэвонгун был могущественным. Но от поколения к поколению он хирел. Последние шестьдесят — семьдесят зим в живых было всего несколько человек.

Потом, после черной болезни, осталось только несколько женщин и Полун. Женщин забрали в другие рода, и Полун остался совсем один.

У него невеста была, но и ее увели на западное побережье в большой род. Что мог поделать Полун? Конечно, он мог бы уехать с невестой куда-нибудь подальше в тайгу. Но так думает Полун сейчас. А в то время он даже не сопротивлялся: куда ему одному против рода?

После этого Полун не искал себе жену. А когда спохватился, оказалось — все женщины из рода тестей были замужем. Так и остался бобылем. С тех пор горькая дума все тяжелей наваливалась на плечи Полуна и с годами сгибала его спину.

Струи дыма задумчиво уплывают ввысь... Солнце застряло где-то между горами, но живым заревом оповещало мир, что вот-вот выйдет к нему. Легкий морозец холодной струей ворвался в теплую грудь и бодрит дряблое тело старика.

Полуна что-то тревожило. Он привычно закинул за спину одностволку и осторожно вышел к реке.

Природа, затаив дыхание, ожидала восхода солнца. Небо оделось в оранжевую шаль. Из сырого замолкшего леса выглядывают сумеречно-багровая рябина и сморщенная бурая ольха. Они засмотрелись в дремлющую заводь реки. Недолго им любоваться своим осенним нарядом. Скоро жгучий мороз опалит листья, деревья оголятся и будут всю долгую зиму зябко трепетать под ударами злых ветров. А вот из чащобной темноты и сырости поднялись ели. Они угрюмо, с молчаливым ропотом стерегут тишину.

Охотничьим шагом вышел старик к толстой, скрученной временем березе — ее он знает издавна.

На противоположном берегу реки задергались нижние ветки рябины. Это белка рвала обвисшие гроздья ягод. «Знает, когда собирать ягоду, — сладка рябина после заморозков», — усмехнулся старик. На дымчатой спине белки кое-где рыжел летний мех. «Какая ты некрасивая», — старик улыбнулся. Как бы стыдясь, что ее застали в таком неприглядном виде, белка юркнула в кусты.

То ли в березовом кустарнике, то ли в ветвях ольхи в глубине рощи на другом берегу реки настойчиво дзенькает сиротливая синичка. Над головой старика на оголившихся ветвях черемухи сидят два розовых рябчика. Они притихли,

совсем будто грибки-наросты. Душа Полуна сейчас, как поверхность широкой заводи в тихую-тихую погоду. Достаточно легкого ветерка, и побежит по заводи рябь и уничтожит зеркальную гладь. Грубый выстрел в такой волшебной тишине разом убил бы мирное настроение старика.

Полун тихонько шагнул к реке, чтобы студеной водой освежить слезящиеся глаза.

Из неба, лежащего под ногами, глянул на него старик с белыми, торчащими во все стороны волосами. На морщинистом, как кора старой лиственницы, лице и в потускневших глазах — испуг и удивление. Потрескавшиеся губы так и остались полуоткрытые, как будто всунули ему в рот что-то твердое и невидимое. Старик, древний старик!

Хоть Полуну очень много лет, но его и сейчас, как в молодости, влекут ели со снежными воротниками и острым дурманящим запахом смолы, мягкие вмятины соболиных лапок на свежем снегу.

Наступает тиф — сезон дороги. Скоро в тайгу. Как только приходила мысль о зимней охоте, старик начинал суетиться. Ему бы хотелось вот сейчас, сию минуту, оказаться на охотничьей тропе.

Всю зиму Полун будет жить в тайге, ставить ловушки и просить курна быть доброжелательным к нему. Полун не позволит себе просить только черных соболей. Он никогда не был алчным. Его никто в этом не обвинит.

Долгое время он рыбачил в артели. Сколько рыбы выловил он с бригадой! Никто не сосчитает, сколько выловил.

Очень давно предок Полуна перевалил Сахалин по ветру Конгр[1] в сторону восхода солнца через высокий хребет Арквовал. Он вышел на солнечную долину, густо поросшую могучими тополями. Быстрые студеные струи, соединившись, превратились здесь в большую реку. Тот человек беспредельно обрадовался своему открытию — тысячи и тысячи лососей нерестились на многочисленных галечных плесах. И назвал человек открытую им реку «Тым-и!» — нерестовая река.

Предки сегодняшних нивхов заселили Тыми, потому что она была богата рыбой. Теперь рыбы стало меньше. С каждым годом она убывала, и это тревожило старого Полуна из рода Кэвонгун.

Теперь, при новой жизни, русские научили нивхов кормиться не только дарами природы. Они научили их копать землю, класть в ямки картошку. Полун, как и другие нивхи Тыми, неохотно учился новой работе. Но все-таки иногда в руки брал тык — берестяную посудину — и поливал свой небольшой кусок земли. Каково же было его удивление, когда из одной лунки, куда в начале лета он бросил две картошинки, осенью достал целых восемнадцать картофелин!

---

[1] Конгр — западный ветер.

Многие нивхи в поселке привыкли к земледелию и даже образовали нивхский колхоз, а Полун так и остался рыбаком и охотником.

Чем больше старел Полун, тем чаще задумывался над своей жизнью. И каждый раз оставался чем-то недоволен, как будто в чем-то допустил непростительную ошибку, как будто где-то поступил не так, как надо было.

Старик заметил, что у него появилась непонятная нежность ко всякой живности. Он теперь не закапывал живых щенков в снег... Выкормив, дарил их односельчанам. Пусть будет больше собак.

Сородичи не могли не заметить странностей в поведении Полуна. Во время хода кеты древний Кэвонг выходил до восхода солнца на нерестилище и подолгу, ссутулясь, сидел неподвижно на берегу. Что его тянуло туда, о чем он думал, никто не знал. Наверно, он и сам не мог бы сказать, зачем приходит к нерестилищу. Он ласково и грустно смотрел на нерестящихся рыб, и по его лицу лучиками разбегалась улыбка, свойственная добрым душам.

Однажды его обожгла и уже не оставляла мысль: «Лосось может исчезнуть!» Она поднимала его с топчана, на котором он проводил большую часть времени, выгоняла на улицу, и старик подолгу бродил, не зная, за что взяться.

Эта мысль беспокоила, наверное, не только его. Недалеко от старинного нивхского селения Тлаво русские люди построили странные дома. Говорят, там выводят из икры кету. Но Полун туда ни разу не ходил.

Когда всяким людям с плохими мыслями запретили ловить кету, Полун обрадовался всем сердцем. И все же ему приходилось сталкиваться с бесконечно жадными людьми, которые сотнями вылавливали кету, брали икру, а тушки выбрасывали. Каждый раз при встрече с ними у него закипало все внутри.

В это лето, как раз перед ходом кеты, как пожар в сухостойном лесу, распространился слух: древний Кэвонг стал рыбнадзором. Все были удивлены. Зачем нивху становиться рыбнадзором? Какое ему дело до того, что другие ловят рыбу? Нивху-то никто не запрещает ловить рыбу на юколу.

— Полун, наверно, порезал обе свои сети, — посасывая трубки, издевались сородичи.

А Полун набивал обгорелую трубку махоркой, закуривал и делал вид, что не слышит этих слов. Браконьеры поначалу всячески пытались задобрить старика. Но тот хладнокровно наказывал их. Они стали угрожать ему, пугать, что поймают где-нибудь и утопят. В ответ Полун только ухмылялся.

С тех пор как новый рыбнадзор отвадил браконьеров, оштрафовав одних и отдав под суд других, на нерестилищах стало спокойно. И на душе у Полуна было хорошо. Его походка приобрела уверенность.

...Но в это утро тревога не покидала его. Он все смотрел в воду и вот увидел пару лососей. Каждый раз, увидев рыбу на нересте, Полун преображался. Даже будучи не в духе, он вдруг начинал весело щуриться: его радовало, что он, древний Кэвонг, оберегает потомство лососей от нехороших людей.

Полун прошел немного вверх по реке, остановился у мелкого плеса-нерестилища. Плес кипел от лососей.

Старик наклонился над водой. Вот большая брюхатая самка. У нее левый плавник истрепан. А у самца на боку багровый рубец. Какое расстояние им пришлось пройти из далекого океана в верховья Тыми? Никто не считал. По дороге их поджидали японские железные крючки, стеной стоящие в море, длинные сети, зубы морских животных. Многие их сестры и братья не дошли до заветных нерестилищ. А они дошли. Израненные и избитые, добрались они до места, где должны оставить после себя жизнь. Полуну хочется погладить своей жесткой рукой каждую рыбину. Ласки у него хватит на всех.

Самка плывет тихо-тихо, выбирает место для своих икринок. Со стороны к ней подплыл длинный самец. На него набрасывается самец с израненным брюхом, хватает огромной пастью. Тот стрелой пролетает вверх по течению, а израненный возвращается к своей самке. Она не спеша выбирает место. Самец торопит ее, тычет крючковатым носом, кусает. Самка ускальзывает от его острых зубов.

Но вот она остановилась. Прижалась к гальке. Плавниками щупает дно. Место ей понравилось. Хвостом ударила в гальку. Течение потянуло, как пыль, поднятый ил. Под самкой образовалась лунка. Самка замерла, застыла. Лишь хвост подергивается нервно. И вот в ямку золотистой струей потекла икра!

Струя! Еще струя! В каждой икринке играло по солнцу. А икринок — сотни. Вода, казалось, до упругости пропиталась солнцем. И рыбы плавали в солнце.

Сердце Полуна затрепетало в груди, забилось сильно, радостно. Он видит начало жизни! Вот они, тысячи будущих кетин! Самец нетерпеливо вился вокруг, устрашающе разевая пасть, предупреждая других самцов. Наконец, вяло вильнув хвостом, самка отодвинулась в сторону. Самец стремительно занял ее место. Белое мутное облачко закрыло искрящуюся икру. Затем самец принялся бить хвостом по дну, заботливо загреб ямку — колыбель своих потомков.

А кругом и рядом сотни таких же пар совершали великое дело продолжения рода. А после стояли над бугорками гальки, охраняли их, обессиливали и здесь же умирали. Их дряблые тела выносило на берег течение.

«Вы можете спокойно умирать, — думал старик, — вы совершили самое важное в своей жизни — оставили после себя жизнь».

Полун попятился назад, тихо отошел от нерестилища и направился дальше, вверх. В километре от этого места — второе нерестилище. Как там дела?

Уже издали тонкий слух таежника уловил тревожные всплески воды на нерестилище. Кто там — медведь? Полун зарядил ружье жаканом. Быстрыми, но мягкими шагами подошел к кустам и осторожно выглянул из-за них.

То, что увидел старик, настолько поразило его, что он чуть не крикнул: «Ыйка!»[1]

Человек в длинных резиновых сапогах стоял по колено в реке, ловкими ударами остроги бил лососей и выбрасывал их на берег. Там лежало уже несколько десятков рыбин. У некоторых вспороты животы. Рядом стояла бочка.

«Заготовляет икру», — будто острым ударило в сердце Полуна.

Человек метнул острогу в проплывающую рыбину и поднял ее, трепещущую, над водой. Из рваной раны, сверкая кровавыми слезинками, стекала упругая икра.

Полун узнал в браконьере Серегу. Того самого Серегу, который некоторое время жил на берегу Тыми. Серега приехал на Сахалин по вербовке. Работал трактористом. У нивхов научился солить икру. Днем работал в поле, а по ночам ловил кету. Добычу продавал.

Полун уже имел с ним неприятную встречу. В прошлую осень старый охотник возвращался со своего участка, где разбрасывал приваду. На этом самом нерестилище он неожиданно наткнулся на Серегу, который точно так же заготовлял икру. Тогда Серега поставил кружку водки и взял с него слово никому не говорить.

Вскоре Серега исчез. Говорили, что он уехал куда-то на материк.

Сейчас он в сапогах стоял на нерестилище.

Почувствовав пристальный взгляд Полуна, Серега резко обернулся. В его глазах вспыхнул страх: незнакомый человек стоял, опираясь на ружье. Но тут же страх как рукой сняло. Глаза Сереги засияли, будто луна, с которой сошло облачко.

— Ах, это ты, Полун! Чего ты уставился на меня?

Полун не двинулся с места. Его взгляд, наверное, был страшен, потому что Серега перестал улыбаться. Сдерживая волнение, браконьер, не торопясь, вышел на берег.

— Подойди сюда, — голос Сереги срывался.

Полун не шелохнулся.

— Ну, иди же ко мне! Утро холодное... У меня есть, чем согреться. — Браконьер хищно, по-рысьи, улыбнулся и положил перед собой длинный окровавленный нож.

— Вот что, — старательно выговаривая слова, сказал Полун. — Уходи отсюда! И не вздумай возвращаться. Если

[1] Ыйка — восклицание, выражающее испуг, крайнее удивление.

хоть раз твоя нога ступит на эти угодья, я убью тебя. Выслежу, как медведя, и убью. Ни один шатун-разбойник еще не ушел от меня. Уходи!

Это был последний случай браконьерства. Теперь на всех нерестилищах стоял покой.

Окончился нерест. Сородичи не узнавали в Полуне прежнего Кэвонга. Он стал общительным, заходил к односельчанам. Полун, казалось, помолодел. Даже спина его стала выпрямляться. Чувствовалось, гнетущие старика мысли ушли в забытье.

Прошел сезон дороги. Зима вступила в свои права. Многие охотники уже сдавали пушнину. А Полун только закончил приготовления к охоте. Скорей в тайгу! Туда, где стоят вековые ели со снежными воротниками, где даже сильный ветер не в силах пробиться сквозь тайгу, и о нем догадываешься только по шуму верхушек елей. Туда, где осторожный соболь оставил на свежем снегу отпечатки мягких лапок.

Широкие, упругие охотничьи лыжи — энь, — подбитые снизу нерпичьим мехом, легко скользят по рыхлому снегу. Полун вышел к большому озеру, соединенному с рекой Тыми протокой. Чтобы не делать большого крюка, охотник решил перейти озеро поперек.

Снял лыжи, привязал к ним бечевку и потащил за собой. Вода у берега замерзла наплывами. Но дальше пошел чистый, ровный лед. Сквозь него на желтом песчаном дне виднелись островки водорослей.

Вдруг что-то живое шевельнулось подо льдом. Живое и страшное. Дрожь холодной волной прошла по всему телу. Волосы вздыбились, приподняли шапку. Кто это, как тень, движется по дну? Не водяной ли подкараулил Полуна? Старик напряженно сощурил щелки-глаза, силясь разглядеть, кто там, подо льдом. Большое и темное приближалось. Вот оно обрело форму рыбы. Да это же кета! Огромный, сгробившийся самец с кроваво-бурыми полосами на боках. Он медленно, будто находясь в глубоком раздумье, подплыл под самые ноги старика. Полун опустился на четвереньки и стал разглядывать рыбину.

Странно! Все лососи, отметав икру, давно умерли. А этот жив. На боках у него рубцы — раны — свидетельство трудных дорог из океана в верховья рек; жабры выцвели, пообтрепались, и из них, как космы бороды, свисают зеленые водоросли.

«Лосось не выбросил молоки, — подумал старик, — не оставил после себя потомства, и курн наказал его долгой, одинокой, бесполезной жизнью. Будет он теперь пугать своим страшным видом рыбное население озера...»

Полуну стало жаль лосося. Он прекратил бы страдания

несчастной рыбы. Но как это сделать? Между рыбой и человеком лежит толстый лед. Глаза старого охотника, всю жизнь прожившего холостяком, затуманились.

— Ты-то почему остался бобылем? — спросил старик лосося.

Омертвевшие глаза рыбины, преломляясь сквозь воду и лед, становились все больше и больше. Старик видел теперь только два огромных рыбьих глаза, и в них — тоску и укор.

ГОЛУБЫЕ ГОРЫ

Далекие они, горы... Высокие они, горы. Высокие и голубые. Голубые-преголубые. Ветрами и легендами овеяны они.

В молодости мечтал Курлан побывать в тех горах, пройти по их склонам, подняться на вершины... Говорят, вон там, на той двугорбой вершине, что возвышается сразу же за седлообразным перевалом, — глубокая расщелина. Из нее вырывается ветер. Вырывается морозной волной и, радуясь обретенной свободе, носится по земле, обжигая зверей и людей, угнетая растительность.

Курлан подростком потаенно вынашивал дерзкую мечту: вскарабкаться по крутому склону и скалой заткнуть горло этой зловещей расщелине.

А вон справа от перевала — плоская гора. Говорят, она потому и плоская, что на самой вершине — большое мирное озеро. Озеро то полно всякой рыбы. Жирные там рыбы, нежные. Каждая порода рыбы раз в год спускается в реки несметными стаями, чтобы нивху было сытно, чтобы нивх заготовил про запас юколы себе и собакам. Заготовил побольше: зима длинная, вьюжная.

Берега этого озера окаймлены узором из пены. Вы видели нивхских женщин в национальной одежде — х′ухте? Так вот: самый красивый орнамент на полах х′ухта снят с той каймы. Узоры орнамента плавные, волнообразные.

Курлан в юности долго вынашивал мечту побывать в тех горах. Ступив на охотничью тропу, он иногда порывался пойти вслед мечте. Но дела и заботы захватывали его, и мечте не оставалось места.

Курлан — отличный охотник. О нем ходит множество легенд. И любил он такую охоту, которая требовала от человека сноровки, большой воли. Он не любил охотников ни по боровой, ни по водоплавающей птице.

Как-то весной жители всего поселка были свидетелями одного любопытного разговора. По главной улице возвращался из лесу молодой рыбак Хакун. Через его плечо тяжело свисали три гуся. Охотник шел бодро, шел так, будто не

исходил за день десятки километров. И когда проходил мимо Курлана, его остановил резкий окрик хозяина:

— Как тебе, здоровенный хор[1], не стыдно уничтожать невинную птицу? Что, по-твоему, она для того и облетела полсвета, чтобы попасть в твой ненасытный желудок?! Если каждый болван убьет по три гуся, то их скоро вовсе не останется на земле. Тоже сыскался охотник! Храбрец! Нашел кого расстреливать. Тебе бы ломать хребты медведям. Их в лесу не меньше, чем собак в нашем селении. Иди, бей их!

Парень сник. Он поспешно завернул в переулок и исчез в воротах дома.

Курлану нынче весной стукнуло шестьдесят пять. Несмотря на такой возраст, он был еще крепок. Его высокую, редкую для нивхов фигуру не брал возраст. Он был прямой, как тяжелая лиственница. Голову держал с легким наклоном к левому плечу. Верхняя губа стянута шрамом, отчего казалось — с его лица не сходит кривая усмешка.

В прошлое лето он убил сорок восьмого медведя.

По селению ходили разговоры, что на этом он бросил опасное занятие. В подтверждение слухов медвежатник всю осень не выходил на охоту.

Лето нынешнего года началось с того, что высокоудойная корова колхозного бухгалтера, приехавшего с Украины два года назад, не вернулась в поселок. На другой день ее нашли в полукилометре от крайнего дома. Тех, кто видел останки коровы, охватил панический страх. Гонимые ужасом, они прибежали в поселок и наперебой стали рассказывать об увиденном. И весь поселок направился в лес смотреть следы ночного разбоя.

Только Курлан оставался невозмутимым. Когда все всполошились, он вышел на улицу, протянул между шестами сеть и стал чинить ее.

В полдень мимо него проходил Заркун, бригадир рыбаков.

— Аткычх уже готовится к кетовой путине? — как бы между прочим спросил бригадир.

— Ты что, ослеп? Видишь, горбушечья сеть, — даже взглядом не удостоив высокопочтенного человека, бросил старый охотник.

Заркун сел на чурку. Вынул портсигар и протянул старику. Тот молча взял папироску. Прикурил. Глубоко, с заметным наслаждением затянулся.

— Знаешь, медведь-то большущий. У меня сапоги сорок третьего размера и то меньше его следа, — будто случайную малоинтересную вещь сообщил бригадир.

— Ну и что же, мало ли в лесу крупных медведей, — в тон ему ответил охотник.

— А ты знаешь, старики утверждают, что он хромает на левую переднюю лапу.

[1] Хор — олень, бык-производитель.

И тут безразличие исчезло с лица Курлана.

— Что ты говоришь? А след-то большой?

— Я же говорил, больше моих сапог.

Папироска задергалась в крючковатых пальцах Курлана. Дым, извиваясь, потянулся к небу.

— Вот что, у тебя есть время? — быстро, будто вспугнутый чем-то, проговорил Курлан.

— А что?

— Сходим туда. Я хочу посмотреть на его следы.

Они вышли за поселок. Прошли невысокие песчаные бугры и вошли в лес. Старому охотнику не нужно было показывать следов борьбы. Не обратив на них внимания, он направился дальше.

— Ты куда?

— Надо найти следы спокойного хода. А здесь ничего не разберешь — следы затоптаны.

Нашли следы, уводящие в глубь леса.

Пристально вглядываясь в них, Курлан ушел вперед. Его загипнотизировали следы разбойника. Он опустился на четвереньки, застыл и стал внимательно рассматривать отпечатки на влажном песке.

— Да, это он! Сколько лет его не было в наших краях. А на старости лет решил вновь встретиться с Курланом.

...Это случилось восемь лет назад.

Возвращаясь домой с морского берега, Курлан увидел огромные свежие следы.

В поселке охотник узнал, что медведь напал на стадо оленей, которое, спасаясь от гнуса, вышло на берег залива. Он задрал крупного самца, но не успел полакомиться — спугнули.

Курлану показали место, где лежал труп оленя. Отчаянию его не было предела, когда он узнал в нем своего единственного самца, на котором ездил зимой соболевать. Тогда он мысленно сказал себе: «Ах ты, бандит, вор, грабитель!» А вслух проговорил: «Как же ты не мог среди огромного стада поймать другого оленя? У меня он единственный ездовик, мой кормилец. За что же ты так меня обидел?» И подумал со злой решительностью: погоди же, мы еще встретимся.

Медведь должен был вернуться к добыче.

И Курлан засветло пришел на засаду. Место было ровное, вокруг — ни дерева. Ближайший кустарник находился шагах в восьмидесяти. Далековато для ночной засидки. Тогда охотник приволок короткое, но толстое бревно. Оно было и укрытием и подставкой для стрельбы, Курлан залег за бревном.

Скоро солнце спустилось за горы, окрасив небосклон пылающим огнем, который быстро угасал. Темнело. Запоздалые кулики торопились к местам ночлега и, вразнобой вереща, пролетали табунками над головой охотника.

В прибрежных кустах замолкли неутомимые певуньи-пташки. Вскоре стали расплываться бугры. Заря поблекла и потухла. Кривой кровавой саблей месяц повис над сопкой, подкарауливая кого-то.

Наступила ночь.

Потянулись бесконечные минуты. Курлан до боли в глазах всматривался в темноту. Иногда ему казалось: что-то темное движется к нему. Но стоило напрячь внимание, и пятно исчезало.

Было тихо. Только легкий плеск приливной воды да далекий лай чьей-то собаки нарушали ночную тишину.

Огромная тень оторвалась от бугра и стала быстро приближаться.

Ветер дул от зверя, и он шел, не чувствуя постороннего запаха. Шел крупно, уверенно. В нескольких шагах от оленя он на мгновение остановился и стал обходить стороной. Медведь заметил посторонний предмет. Что это могло быть?

«Ага! Не выдержал! — злорадствовал старик. — Боишься! Обходи, обходи!»

Но медведь не закончил дугу. Шумно втягивая воздух, он напрямик пошел на охотника.

«Какой уверенный! Обнюхивает меня, как будто я пень или сгнившее дерево».

Оскорбленный Курлан направил ружье в середину квадратной головы. Но голова у зверя подвижная. Трудно в нее попасть, особенно в темноте. «Я тебе покажу, как лезть ко мне напрямик!» Курлан нажал на спусковой крючок. Гром выстрела и рев раздались одновременно.

Вспышка ослепила охотника. Он хотел было вскочить на ноги, но невидимая масса сшибла его с ног и навалилась всей тяжестью. Острая боль пронзила левое плечо. Свободной рукой Курлан прикрыл лицо. Правая рука крепко держала ружье. Но как направить его в медведя? И Курлан стал водить стволом по животу зверя, направляя в грудь.

Вместе с вспышкой стало легко. Исчезла давящая тяжесть. Руки охотника пощупали воздух и безжизненно упали.

Когда он пришел в себя, солнце уже стояло над прибрежными буграми. Невыносимо болело плечо. Лицо, казалось, было все в рваных ранах. Левая рука не двигалась. Он попытался встать, опираясь на ружье. Надо рассмотреть следы медведя, чтобы запомнить его, не спутать с другим. С выстрелом медведь сделал большой прыжок и уткнулся носом в песок. Здесь остались сгустки крови. Дальше он уходил прыжками, волоча переднюю левую лапу.

Курлан изучил и следы подхода. На мизинце правой передней лапы нет когтя. Очевидно, он потерял его в драке с другими самцами.

Теперь Курлан запомнит этого разбойника навсегда.

Пять месяцев пролежал охотник в районной больнице.

А когда вернулся в родной поселок, его первым вопросом был:

— Не убил ли кто того медведя?

— Нет, никто, — ответили ему.

Медведь ушел с косы и больше не появлялся.

С тех пор Курлан добыл еще двадцать медведей. И вот, когда он навсегда бросил медвежью охоту, его старый враг сам явился к нему...

— Что ты там нашел? — спросил Заркун.

И Курлан, помедлив, ответил:

— Мы с ним уже встречались. Это он восемь лет назад крепко помял меня.

— Что ты будешь делать?

— Почему у меня спрашиваешь? — вдруг разозлился старый охотник. — Как будто в поселке больше некому ходить на медведей. Хотя бы Лозган. Он удачливый охотник. Или другие старики.

— Они не пойдут на него. Ты же сам рассказывал об особенностях его следа. Весь поселок уже знает, что это он. Ты узнал последний. А остальные мужчины, ты ведь знаешь, уехали далеко на лов сельди.

— Ну, тогда ждите, пока он сожрет всех ваших коров и колхозных лошадей.

— Хакун пойдет с тобой.

— А-а, — как от мелкой назойливой мухи отмахнулся старик.

Всю обратную дорогу оба молчали.

Вернувшись домой, Курлан с невозмутимым видом взялся за сети.

Через два дня нашли растерзанного бычка. Стало ясно, что старый хозяин тайги потерял способность ловить быстроногих диких животных. На одной ягоде и муравьях далеко не уедешь. Он и поселился близ человеческого жилья, где мог без особых усилий ловить неуклюжих домашних животных.

В тот вечер Заркун не один час просидел у Курлана. Но и четырехлитровый чайник густого терпкого чая не решил вопроса. Проводив гостя до крыльца, Курлан долго смотрел в густое черное небо, будто просил у него помощи.

Он вспомнил своего отца, затем отца своего отца. В этих воспоминаниях о предках старик искал прилива сил. С неба льдинками мерцали ему немые звезды.

Как Курлан один пойдет на хитрого зверя? Но слово, данное когда-то самому себе, не давало старику покоя. Да и весь поселок ждет... Надеется...

Был бы хоть один помощник? Но кто пойдет на страшного зверя? Если бы все мужчины были дома, конечно, кто-нибудь решился бы.

Старик ссутулился, входя в дверь, хотя в этом не было необходимости.

Он уже стелил постель, когда дверь открылась и на пороге неслышно появился Хакун.

— Раз вошел, проходи и садись. Чая нет. Угощать не буду.

— Не стоит беспокоиться, дедушка.

— Так зачем же ты навестил меня так поздно? Что, соскучился по вредному старику?

— Не надо так говорить. Однажды осмеяли меня на глазах у всего поселка, и хватит.

— А я ничего еще не сказал.

— И не надо говорить. Лучше, дедушка, выслушайте меня. Я знаю, что вы рассердитесь, и знаю, что вы один не можете идти на охоту. Возьмите меня с собой. Я стрелять умею. Я никогда не был трусом.

— Медведь не гусь. И даже не пять гусей. Хакун не охотник. Тем более — не медвежатник. Медвежатником так просто не станешь.

— Я же просил не вспоминать о прошлом, — прервал старика Хакун.

На другое утро все видели, как Курлан и Хакун направились в лес с ружьями за плечами.

Охотники уже шли полдня, а свежих следов все не было. И только к вечеру наконец нашли «теплые» отпечатки огромных лап. Следы вели в сторону селения. И прошел разбойник каких-то полчаса назад.

— Он, наверное, возвращается к бычку, — сказал Хакун.

— Не думаю. Этот хитрец боится засады. Он наверняка задерет еще одну корову.

— Надо догнать его. Пойдем напрямик к поселку!

— Нам не догнать. А если и пойдем по его следу, он может проскочить в тайгу. И мы не заметим его между буграми. Надо ждать его на перешейке. Там его и перехватим, когда он будет возвращаться с очередного ужина.

Через час быстрой ходьбы охотники были на перешейке, устеленном низким кедровым стлаником. Через стланик просматривается далеко. Впереди, в полукилометре в сторону поселка, грудятся зеленые бугры; позади в сотне шагов чернеет роща из лапистой корявой лиственницы. Курлан засел у следа, а его молодой напарник выбрал место на берегу залива, в сотне шагов от старика.

Солнце уже село за голубые горы, что возвышаются за синим массивом леса. Небосклон облепили тяжелыми кровавыми пятнами облака. С залива потянуло сыростью. От настывшего песка холод проникал в тело и студящими толчками поднимался вверх по позвоночнику. От долгого сидения в одном положении затекли ноги и больно ломило спину.

Взошла полночная луна. Ее серебристый свет резко выделил в ночи окружающие предметы, и от них упали длинные тени.

Курлан несколько раз встряхнулся, изгоняя из тела холод. Вдруг он увидел приближающееся черное пятно. Старое сердце не выдержало. Оно, захлебываясь, заторопилось невесть куда. Старик положил горячую руку на холодный металл ружья. Так он делал всегда, когда хотел успокоить сердце. Но это не помогло.

Черное пятно приближалось, угрожающе громадясь и приобретая такую знакомую старику форму. Курлана бросило в мелкую дрожь.

Он с усилием сделал несколько глубоких вдохов. Так он поступал всегда, когда хотел унять волнение. Но и этот испытанный метод не помог. Волнение не проходило.

Медведь идет широким спотыкающимся шагом. Вот уже стали различимы маленькие уши на большой голове. Несколько раз сверкнули, отражая лунный свет, глаза.

Курлан поднял ружье. Этого было достаточно, чтобы опытный осторожный зверь заметил движение и резко остановился.

Оглушающий выстрел прорезал тишину, гулко перекатываясь, пробежал по отдаленным буграм. Дым густым облаком повис перед охотником. И вдруг из облака вырвалась огромная разъяренная голова. Она была настолько близка, что Курлан отчетливо видел серебристую седину на загривке.

И видно, старость была виной тому, что не успел охотник выстрелить во второй раз. Страшный удар бросил его на землю.

...Курлан очнулся от тряски. На месте возницы сидел Заркун. Хакун шел рядом с телегой. Увидев, что старик пришел в себя, он остановил лошадь.

Запекшиеся губы старика шевельнулись, но не издали ни звука.

— Медведь убит, — сказал Хакун.

Старик вновь впал в беспамятство.

Потом он пришел в себя уже на кровати, весь перебинтованный. В комнате было много народу. Люди тихо перешептывались, чутко прислушивались, скорбно молчали.

Дышать тяжело. Мутнеет в глазах. И перед ним, то проваливаясь в небытие, то вновь смутно проясняясь, прошла его долгая жизнь.

...Голова кружится. Тошнит. Перед глазами плывут круги. В одном круге появился его сын. Точно такой, как на фотокарточке. В военной форме, со снайперской винтовкой и медалью «За отвагу». Он похоронен на берегу русской реки Волги. Интересно, Волга больше нашей Тыми?

Стучит в висках. Нет, это стучит колхозный катер. Наверно, везет рыбаков на тони. Стучит громко, у самых ушей. От него болит голова.

...Хакун молод. Он сильный. Он смелый. Ему нужен новый карабин...

Где-то стреляют. Нет, это тарахтит колхозная электростанция. Лампочки-круги, круги-лампочки. Сейчас ведь день. Почему работает станция? От шума болит голова.

Курлан много ездил. Он объездил все восточное побережье Сахалина. Бывал и на западном побережье, и на самом севере, и на Миф-Тенгре. Но ни разу не бывал он в горах, что синеют далеко в центральной части Сахалина. Древние нивхи утверждают, что на самой высокой горе обитает Пал-ызнг — хозяин гор. Медведи — его собаки. Охотники, павшие в схватке с медведями, не просто умирают. Их забирает к себе Пал-ызнг, и они превращаются в пал-нивнгун — горных людей, самых счастливых людей, и покровительствуют живущим сородичам. Интересно, какое там счастье?

Что-то тяжелое подступило к горлу, перехватило его.

— Вынесите меня на воздух, — еле слышно произносят горячие губы.

О! Как много света! Небо то синее, то красное. Веером разбегаются по нему длинные разноцветные лучи. Что это?

А горы? О, горы голубые! Они такие голубые, какими никогда еще не были. Высокие они и голубые. Голубые-преголубые.

Не видел их вблизи. Не был там...

ПОСЛЕДНЯЯ ДАНЬ ОБЫЧАЮ

Дальше говорилось:

«По ночам свои порядки устанавливают медведи. Они прогуливаются по селу, не обращая никакого внимания на лай собак. Нартовые кобели рвутся, чуть не ломают колья. Непривязанные суки с визгом носятся вокруг медведей, а те, не спеша, разваливают хасы и ужинают юколой». В это лето на северном Сахалине, как ни странно, была засуха. Она пала на время цветения ягод — основной пищи медведей. Во всей огромной сахалинской тайге не было ягоды. И медведи ушли из нее к побережью моря, где могли полакомиться заспавшейся нерпой.

Письмо заканчивалось так: «Вернулась забытая традиция — молодые люди должны доказать свое мужество в схватке с медведями. Охотиться на медведей стало в нашем селении модно. Девушки дарят улыбки только кавалерам-медвежатникам. Умора...» Когда Малун дочитал до этого места, появилась физиономия Закуна: толстые губы выпячены, взгляд сверху вниз, высокомерный, и голова — дрын-дрын — качается, словно незрелая кедровая шишка на тонкой ветке. Это обычная манера Закуна, когда он чему-нибудь дает свою оценку.

Когда-то они были одноклассниками. Закун мастерски пользовался шпаргалками, подглядывал в учебники или выставлял свои большие уши, стараясь поймать подсказку. Его друзья были такие же лодыри. Они помогали друг другу, когда писали контрольные. Он бросил школу с седьмого класса: «Просвещайтесь! Забивайте свои головы науками. Нивху нужно уметь охотиться, а не тратить время на пустое дело — учебу. Я как-нибудь найду себе место: земля большая и солнце большое». И голова дрын-дрын, как кедровая шишка. Откуда у него эта манера?

Когда Малун вернулся из Ленинграда, Закун работал заведующим магазином. Крупная фигура на селе. Все здороваются с ним за руку. У него уверенный, громкий голос. Окружающие встречают его шутки, пусть даже плоские, дружным смехом. И в разговоре последнее слово за ним.

Закун умело пользовался некогда бытовавшими у нивхов преимуществами в родственных отношениях. Все решающее оставалось за ним, как за представителем рода ахмалк — тестей. Закун старался одеваться в духе времени. Но выглядел нелепо. Сочетание широкоплечего пиджака, яловых сапог и зеленой шляпы вызывало у людей усмешку. Он лез из кожи вон, чтобы быть первым парнем на селе.

Малуну всегда неловко общество Закуна. Не совсем осознанное в детстве чувство с годами перешло в открытую неприязнь. Грубая самоуверенность и надменность — вот чем подавлял Закун окружающих. Они были для него тем же, что сила и клыки для кобеля, делавшие его хозяином на собачьей свадьбе.

«...Умора. Тоже выдумали моду. Медведь — это же наимирнейшая тварь и трус...» Малун на минуту задумался. Еще совсем недавно нивхи говорили о медведе только почтительно. «Мок — добрый» — вот как называли его взрослые при детях, утверждая этим посредничество медведя между землянами и таинственным всемогущим, от которого якобы зависит благополучие людей.

Когда Малун рассказывал об этом своим ленинградским друзьям, те, расширив глаза так, что в них вмещалось все небо, восклицали:

— Да ты откуда взялся? Ты же первобытный!

Потом уже серьезно просили рассказать о нивхах, их обычаях и нравах. Малун чувствовал внимание окружающих. Это вливало в него, обычно несколько робкого, уверенность, и он со знанием дела и с интересными подробностями рассказывал о своем народе. Русские ребята особенно любили слушать его рассказы о медвежьих праздниках и нивхские песни. Песни покоряли своей проникновенностью и глубокой лиричностью. Друзья просили дать подстрочники, записывали ритмику и переводили на русский.

Ленинград... Ленинград... Как быстро прошли пять лет!

Первые робкие шаги по непривычно твердым асфальтированным улицам города... лекции по древнеславянскому и современному русскому языкам... Теоретические основы нивхского языка... спортивные лагеря и соревнования... удивленные глаза перед картинами в Эрмитаже на первом курсе и глубокое понимание идеи и замыслов художников — через несколько лет... Потом будто остановка стремительного бега времени: диплом... Как вы быстро прошли, пять лет!

«До-мой! До-мой! До-мой!» — стучали в быстром и четком ритме колеса экспресса. «Ж-ж-ж-ж-ду-у-ут!» — гудели мощные моторы ТУ-114.

...Ноглики... Оно звучит на русском таинственно.

Это слово как кусок айсберга.

Ноглики... Ноглики... Когда-то, несколько веков назад, предок Малуна перевалил Сахалин с запада на восток через хребет. Он вышел к истоку безымянной реки, срубил тополь и выдолбил из него лодку. Долго спускался он по большой реке. Но вот пахнуло солоноватой свежестью: Стало быть, до моря близко. И тут уставший путешественник увидел, что его вынесло к высокому лесистому берегу, прорезанному притоком. Он повернул к устью спокойной реки, привязал лодку к нависшим ветвям ивняка и, измученный жаждой, прильнул к воде. Но тут же отпрянул — в чуткие ноздри ударил терпкий запах. И только теперь нивх заметил — вода в реке загрязнена маслянистой жидкостью. И назвал первооткрыватель эту речку Ноглын-нгиги, что на русском означает — Пахучая река.

...Ноглики... Ноглики... Здесь Малун окончил школу, здесь посадил первое в своей жизни дерево.

Уезжал Малун из маленького серого селения. А вернулся и с трудом узнал его. Встреча обрадовала обоих. Малун стал одним из первых учителей своего племени, а Ноглики раздалось вширь втрое, оттеснило тайгу на отдаленные сопки и вытянулось к небу: появились целые кварталы двухэтажных домов. Вокруг поселка поднялись эклипсы — качалки нефти. Они с равнодушным спокойствием встречают нового человека, безразлично кланяясь ему железной головой.

В несколько корпусов новые здания интерната. Спокойная уверенность готовой к приему детей школы... Все это сулило хорошее начало работы. Малун с радостью повторял, что вот он уже учитель и скоро будет обучать детей своего племени. До нового учебного года оставалось немногим менее месяца.

«...И трус...» — в устах Закуна это звучало фальшиво. Он сам недалеко ушел от стариков, опутанных предрассудками.

«...Медведя убить легче, чем собаку: он большой, в полдома. В него и с закрытыми глазами попадешь. Приезжай. Поохотимся на славу. Тебя приглашает твой ахмалк. Я уже сказал об этом сородичам».

Хвастун, нахал и болтун! Понятно, почему он так усердно приглашает. Чувствует, хитрец, что подчеркнутое внимание окружающих — маска. Он хочет поднять себя в глазах односельчан. Он всегда был честолюбив. И в качестве жертвы выбрал, конечно, его, Малуна, представителя рода зятей. Ох, этот обычай! Он гадко переползает через пороги веков и десятилетий. Ахмалк... Нужен он Малуну!

Малун всего полмесяца назад побывал в Тул-во. Прямо с самолета на катер. На плаще еще серела ленинградская пыль, а он возбужденно ходил по песчаной косе Тул-во, где, казалось, недавно вместе с другими пацанами и визгливой сворой собак бегал по кустам за бурундуками. Сородичи радостно и по-нивхски гостеприимно встретили молодого учителя. Малун долго говорил со старым У-Тером — Обгорелым Сучком, который сомневался, посылать ли сына в школу. Его сын Сережа остался в третьем классе на второй год. Сережу в школе называли переростком. Может быть, ему и не стоит продолжать учебу? Ведь охотнику нужны твердая рука и точный глаз. У сына У-Тера все это, как у всякого нивха, есть.

Односельчане ожидали учителя с нетерпением. Рыбаки просили совета, как жить дальше — в заливе из года в год становится меньше рыбы.

Надо объединиться с другими колхозами, приобретать флот и выйти в море — другого выхода нет. И Малун говорит об этом на правлении колхоза. Или рассказывает о том, что творится в стране и за рубежом. Для старшего поколения нивхов, которое не читает газет и не понимает радио, он был и газета и радио. Малун запомнил теплый прием сородичей. И еще запомнил холодный взгляд в затылок.

На этот раз Закун прямо на берегу, даже не дав Малуну выйти из лодки, сказал громко, чтобы все слышали:

— Вот и приехал к нам медвежатник! Смелости тоже учили в институте?

Что и как ответить на эту бестактность, Малун не знал. Потому разозлился, но не подал виду.

...Широкая чугунная сковорода тяжело прокатывается по кускам свинца. Дробный стук разносится далеко окрест.

— Будто мелем кости, — сказал Малун.

— Эй! Не говори так! — вдруг запальчиво крикнул Закун. — Ты же собрался на охоту, а не на игру какую-нибудь. Уйкра[1]. — Но потом спохватился и, оправдываясь, сказал: — Охотничий обычай так велит.

Малун отметил про себя, что, поменяйся они ролями, Закун использовал бы этот случай для бесконечных насмешек при людях.

...Дул тлани-ла — олений ветер. Он идет с океана, сырой и холодный. Даже в августе при этом ветре только ватная

---

[1] Уйкра — грех.

куртка с обшивкой из брезента может спасти от озноба. Комары и мошки стынут и становятся вялыми. Оленям благодать — гнус их не беспокоит, они большими стадами совершают перебежки в поисках лучших ягельников. Вот и назвали этот ветер «оленьим».

Закун зябко поежился и поднял капюшон.

Между дюнами стыло поблескивали озера. Осока на их берегах звенела, будто жестяные пластинки. Охотники прошли несколько рядов дюн и вышли к мелким зарослям кедрового стланика. Между кустами виднелись следы оленей, но медвежьих не видно. Можно подумать, что медведи ушли с косы. Закун так и сказал:

— Медведи ушли в тайгу.

— Не может быть, — ответил Малун. — В тайге нет ягоды.

Уже давало знать о себе расстояние, пройденное по сыпучим пескам и кустарникам.

— Медведя бить легко. Он большой, — опять начал Закун. — Бьет тот, кто ближе к нему и кому удобнее. Лучше бей ты, а я буду добивать. Это по нашим обычаям.

«А шкуру заберешь ты «по нашим обычаям», — разозлился Малун, но ничего не сказал.

Прошли еще километра четыре и повернули к заливу. Малун отвлекся. Его сейчас больше занимали мысли о начале учебного года. «Сережа будет учиться! Очевидно, прошлогодний учитель двойками и упреками отбил у Сережи желание учиться. Я найду подход к Сереже и его отцу. Он будет учиться. Все будут учиться. Дурацкое слово «переросток». Кто его выдумал? Сейчас нивхи поняли значение образования. Не то что во времена недавнего прошлого, когда родители забирали детей из школы, едва подходило время осенней охоты. Обгорелые сучки — единицы. Жизнь — это дерево. А дерево растет вершиной. Старые сучья остаются под новыми, сгнивают и опадают. От этого дерево становится стройнее».

Вдруг Закун крепко схватил руку Малуна: охотники шли по еще теплым отпечаткам больших лап.

Это было исключительное лето — лето без дождя. Такого давно не было на Сахалине. Медведи, голодные и злые, бродили близ селений. Непрерывающееся утробное урчание и сосущая боль в желудке заставляла их бродить целыми сутками.

...Медведица была старая. Огромная и сильная, она долго дралась с другими медведями, пока не стала хозяйкой большого урочища, богатого ягодой, муравейниками и дичью. Возвышенные места сплошь заросли длинноветвистой таежной брусникой, низкие сырые берега реки поросли голубицей и малинником. А осенью в реку входит кета. По утрам медве-

дица выходила на реку и на перекатах ловила рыбу. Она ловко подхватывала цепкими когтями больших и упругих рыбин и бросала на берег. А там ее детеныши, маленькие и пушистые, прокусывали рыбам голову.

Поздно осенью медведица со своими детенышами поднималась вверх по долине реки и ложилась в берлогу у подножия горы. Так было каждый год. Нынче же лето подходило к концу, а семейство медведицы еще не накопило жиру, чтобы думать о берлоге. Медведица остервенело преследовала бурундуков, разоряла их гнезда глубоко в земле и поедала все их запасы. Но рытье бурундучьих нор утомительно и только еще больше истощало медведицу. Иногда ей удавалось поймать обессилевшую от голода куропатку. Тогда медвежата дрались из-за каждого перышка.

Она оставляла детенышей у суковатого дерева, а сама уходила на охоту. Однажды она вернулась с охоты и не нашла старшего медвежонка. Голод вынес его из кустов, и он обалдело понесся куда глаза глядят — авось где-нибудь да наткнется на пищу. Мать с другим медвежонком долго шла по следу глупого пестуна. Но на болоте потеряла его. Несколько ночей и дней она тонко и протяжно кричала, звала сына, но тот не объявлялся. Может быть, он нашел пищу и сейчас быстро накапливает жир. А может... Беспокойство не покидало мать.

Уже листья, трепетно дрожа, срывались с ветвей и нехотя ложились на землю. Уже начались нудные осенние дожди, способные вызвать только досаду. А медведи все рыскали в поисках пищи.

...Медведица долго не решалась идти через залив на косу. В давние времена она бывала там. И знала тамошние ягодные места. Но страшно идти туда — там люди. Когда медведица вспомнила людей, у нее заныла правая лопатка. Туда в позапрошлом году ударил человек чем-то горячим. Рана долго не заживала. Боль напоминает о встрече на косе, пугает ее. Но она хорошо помнит тамошние ягодные места. Скоро время ложиться в берлогу на долгую зиму. Надо за оставшееся время накопить жиру. На косу! На косу! И медведица, тяжело опустив голову, будто собралась разбить невидимую преграду своим твердым лбом, решительно вышла на высокий берег залива.

— Нигде нет ягоды, а на косе ее много. Почему так? — спросил Закун. — Ведь и здесь не было дождей.

— Это объяснить легко. Когда идешь в густой туман, вся одежда промокает. Не так ли?

— Так, так, — поспешно ответил Закун.

— Растительность косы получает от морских туманов достаточно влаги, чтобы нормально расти.

— Гм-м-м, — промычал Закун.

...Следы на ягельнике пропадали. Но глаза врожденных следопытов вели по следу точно — кое-где медведь когтями ковырнул лишайник, кое-где на сучьях трепыхалась побуревшая шерсть. След с бугров повел на травянистую низину, поросшую по краям ольховником. Медведи проложили в нем тропу.

У охотников участилось дыхание. Стали резко и порывисто оглядываться по сторонам. Кусты загустели, и они пошли, пригибаясь. По краям тропы жухлая трава ровно подстрижена. Это медведи ели ее. А в стороне от тропы в некоторых местах трава примята. Здесь медведи спали. Малун, что шел впереди, чуть не наступил на свежий помет медведя, бордовый от брусники. Куча. Еще куча. Это уборная медведей. Значит, медведи постоянно обитают в этом месте. Где-то сидит медведь и поджидает преследователей.

От этой мысли по спине Закуна пробежали мурашки.

Тропа раздвоилась.

— Иди по левой, — тихо сказал Малун.

Закун сделал два шага и повернул за Малуном.

— Ты чего?

— Ы-г-г. — Закун хотел что-то сказать, но не смог произнести ни слова. Его волнение передалось и Малуну. Черт дернул идти на эту дурацкую охоту. Это не охота, а сплошная пытка. Ты не знаешь, что тебя ждет через секунду. Но делать нечего. Надо идти дальше.

Конечно, он мог бы вернуться домой без добычи. Ведь медведь — не утка весенняя, которую можно настрелять десятками. Охотники на медведя чаще всего возвращаются без добычи. И никто не говорит, что они плохие охотники. Можно вернуться и без добычи. Но тут Малун поймал себя на том, что дал своей воле слабину. Нет, вперед! Искать встречи с медведем! Что-то все время сковывало его волю, и она требовала раскрепощения. Что-то из взаимоотношений с Закуном угнетало Малуна, и ему казалось, что именно сегодня он должен освободиться от этого тяжелого груза. Что-то большее, чем добыча, чем медведь, настойчиво толкало его вперед по следу, до страха свежему.

Справа открылась кочкарная поляна. Дальше залив напоминал о себе бликами от заходящего солнца. Слева продолжался черный ольховник. Метрах в тридцати он обрывался, и там начинались голые дюны. Охотники шли по свежим отпечаткам огромных лап.

...Медведица тоскливо глядела на своего маленького и пушистого детеныша, нервно тянула ноздрями, поднималась с лежки, пыталась бежать. Но куда? Она еще в детстве усвоила закон: не показывай себя врагу, выжидай сколько можно. Внезапность — вот залог успеха. Она уже давно видела тех страшных врагов, которые шли убивать ее детеныша. Она бы

сама напала на врагов, но боялась — их двое. А враги идут прямо на нее. О, нет! Она не покажет себя. И медведица поднялась и тихо пошла в обход.

— Ы-г-г-г, — затрясся Закун, будто его голого бросили в прорубь. Дрожащей рукой он показал под ноги. На человеческих следах четко обозначались когти медведя.

— Дьявол! Пожиратель охотников! — взвизгнул Закун. Он, бледный, суетился долго и зряшно.

«Вот оно твое лицо», — с презрением подумал Малун. Он с удовлетворением заметил, что волнуется гораздо меньше, чем его нахальный и самоуверенный напарник. А Закун уже потерял власть над собой. Им полностью овладели страх и суеверия.

Малун повернулся и пошел навстречу следу. Закун, сбиваясь, глухо умолял:

— Уйдем, пока ничего не случилось. Уйдем подобру-поздорову. Это не медведь. Это сам дьявол.

— Молчи! — вдруг разозлился Малун. Он впервые поднял голос на этого почтенного представителя рода тестей и этим нарушил старый обычай.

Медведица выскочила неожиданно и резко, будто взрыв. Малун только подумал: «Когда же кончится?» Выскочила медведица, за ней медвежонок, потом огромный медведь. Но медведь не выскакивал. Это кусты стланика сдались под напором медведей и отпрянули назад.

Медведица галопом уходила от людей. Казалось, вся округа трясется от ее тяжелого бега. Рядом подвижным шаром катился медвежонок. Он то и дело исчезал в траве. Быстрей! Быстрей! Надо успеть увести детеныша от страшных врагов.

«Уйдет!» — озадаченно подумал Малун. С уходом медведицы будет потеряно больше чем день, потраченный на утомительную охоту. Ведь весь поселок знает, что учитель вышел на охоту. Не потерял ли он за долгие годы учебы в русском городе охотничьи навыки, которые привили ему сородичи еще в детстве? А главное, этот проклятый груз. Не дать уйти!

А медведица уже пересекала кочкарник. Малун взял упреждение и быстро нажал на гашетку. Медведица перекатилась через голову. Пуля прошила грудную клетку — низковато.

Зверь в мгновение ока поднялся на дыбы и с пеной в пасти бросился на врагов. Быстрей! Быстрей! Привычно ударить лапой, сломать хребет и рвать, рвать врага! Боль в груди довела медведицу до бешенства.

Закун дико прокричал: «Дьявол! Дьявол! Чур, не меня!» — и исчез где-то за спиной Малуна. Вместе с ним вдруг исчезла все время давившая Малуна тяжесть. Он вздохнул необыкновенно легко, будто сорвал с себя цепи.

У Закуна расчет был прост: пока медведица расправится

с Малуном, он успеет унести свою шкуру. Малун это понял. «Надо бы перезарядить ружье», — лихорадочно подумал учитель, но увидел, с какой скоростью приближается зверь: не успеть. В двустволке только один патрон. Один выстрел должен решить, чья жизнь через секунду оборвется. Возможно, острота ситуации, когда не остается никаких путей к спасению жизни, кроме открытого боя, и заставила Малуна не потерять самообладания. Точно и только насмерть. Чем ближе, тем точнее. Учитель собрал все силы и волю, чтобы в последнюю секунду не сделать какой-нибудь оплошности. Чем ближе, тем точнее. На сотую долю секунды он залюбовался потрясающим зрелищем: огромная квадратная голова втянута в широкие, крутые плечи, лапы с длинными растопыренными когтями выброшены далеко вперед. Желтые клыки. Желтая пена в пасти. И какая всесокрушающая уверенность в нападающей медведице! Медведица не бежит, а летит.

Прыжок. Еще прыжок, и она встанет на задние лапы, мелькнет передняя лапа, и в ноздри брызнет вкусный запах крови.

Но тут рядом с собой она увидела своего детеныша. Куда? Враг слишком страшен, чтобы детеныш находился рядом. Остро и властно заговорил инстинкт материнства, заглушив инстинкт самосохранения. Медведица резко остановилась, повернулась к детенышу и дала ему оплеуху. Этой доли секунды оказалось достаточно, чтобы Малун выстрелил. Пуля прошла под ключицу, прорвала сердце и ударила в землю. Медведица рухнула, в последний раз недоуменно и грустно взглянув на крепко стоявшего человека. Малун машинально перезарядил ружье. Только теперь он почувствовал неимоверную усталость. Хотелось развалиться на мхах, закрыть глаза и лежать долго-долго.

За спиной хрустнула ветка. «Еще!» — ударило в воспаленный мозг. Малун резко обернулся — с высокой лиственницы спускался Закун. Он подходил медленно, будто шел на казнь. На его лице — виноватость и покорность.

Первое желание было — дать пощечину. «К чему?» — уже спокойно подумал Малун и, повернувшись к нему спиной, устало сел на оскаленную, но уже ничем не угрожающую ему голову зверя.

Медведица оказалась крупной.

Хозяином добычи, как ожидалось, должен быть Закун, представитель рода ахмалк — тестей. Но Малун разрезал медведицу на множество кусков и, это видели все, не спросясь Закуна, роздал односельчанам. Люди благодарили охотника. Говорили, что он настоящий нивх — он не забывает народные обычаи. Благодарили охотника и непонимающе шептались между собой...

А шкура... Она на другой же день висела, прибитая к стене дома Закуна с полуденной стороны. Так велит обычай.

Мужчины пригласили Малуна на новую охоту.

Охота была назначена на утро следующего дня. Малун всю ночь не спал. Ворочался с боку на бок, сбил все белье. Его замучил непонятный доселе пот. Каждый раз, когда он, измученный, впадал в полудрему, на него неслась разъяренная медведица. Огромная голова втянута в широкие, круто налитые мышцами плечи, лапы с длинными растопыренными когтями выброшены далеко вперед. Желтые клыки. Желтая пена.

Утром, в назначенный час, охотники зашли за Малуном. Но он не пошел с ними. Сказал: срочно нужен в школе.

В тот же день Малун покинул Тул-во.

СКАЗКИ

КЫКЫК

Говорят, раньше лебеди были немыми птицами и лапки у всех были черными. Теперь всякий знает, что они кричат «кы-кы, кы-кы», за что и получили название «кы-кык», и лапки у многих — красные.

Почему лебеди стали такими?

В стойбище, на берегу залива, жила маленькая девочка. Она очень любила играть на ровной песчаной косе: с утра до вечера рисовала прутиком разные узоры, строила из песка маленькие домики.

Еще она подолгу любовалась красивыми птицами, которые, как молчаливые белые облака, проплывали над ее стойбищем. Девочка ложилась на теплый песок и смотрела вслед стаям до тех пор, пока они не исчезали вдали.

Родители девочки очень любили свою дочь. Но однажды летом умерла мать. Отец и дочь сильно горевали. Через месяц отец уехал в дальнее стойбище за новой мамой для своей маленькой дочери.

Отец привез красивую женщину с черными соболиными бровями и ресницами, похожими на кисточки ушей зимней белки, с толстыми, подбно хвосту черно-бурой лисицы, косами.

Мачеха сверху вниз посмотрела на девочку и ничего не сказала.

На другой день отец ушел на охоту. Девочка встала с восходом солнца и пошла на берег залива играть с волнами. Она играла долго, а когда солнце высоко поднялось над лесом, побежала домой завтракать. Вошла в дом и увидела: мачеха еще спит. Девочка тихо вздохнула, вернулась на берег и снова стала играть.

У самой воды она строила домик из морского песка. Набежавшая волна смывала его. Но когда волна отходила, девочка успевала построить новый домик. Так она и не заме-

тила, как наступил полдень. Спохватилась, когда солнце стало сильно печь голову, побежала домой.

Мачеха еще спала. Наконец встала, принесла из амбара белую мягкую юколу и стала есть. Она даже не замечала стоявшую рядом девочку.

Мачеха прожевала последний кусок юколы, облизала жирные пальцы и, не глядя на девочку, бросила ей хвостик вяленой кеты. Девочка съела этот хвостик. И ей еще больше захотелось есть. Мачеха зевнула, отвернулась, снова легла спать.

Так настали для маленькой девочки тяжелые дни.

Отец добывал много зверя и дичи. Приходил домой только для того, чтобы принести добычу, и снова надолго уходил в тайгу. Все вкусные куски мачеха съедала сама.

Однажды отец спросил у жены:

— Жена моя, что-то дочь сильно похудела. Может быть, она больна?

Женщина ответила:

— Нет, здорова. Она уже большая, а по хозяйству ничего не делает, не помогает мне. Только знает целыми днями бегать! Бездельница! Как ее ни корми, она будет худой — так много бегает!

Как-то осенним вечером, когда птицы большими стаями улетали в сторону полудня, отец вернулся с охоты и лег отдыхать. Мать принесла жирную юколу и стала резать ее на тонкие ломтики. Девочка не ела с утра. Она подошла к столу, стала просить мачеху дать поесть. Мачеха молчала, как будто и не видела девочки.

— Дай мне поесть! — просила маленькая девочка.

— Отойди от стола! — был ответ.

— Дай мне поесть! — просила маленькая девочка.

— Отстань! — был ответ.

У девочки совсем стянуло животик. Голод так сосал ее, что она протянула руку за розовым кусочком. И только дотронулась до юколы, мачеха ударила по руке острым ножом. Кончики пальцев так и остались на столе. Девочка убежала на теплый песчаный бугор, стала громко плакать. Из пальцев струйками стекала кровь. Девочка всхлипывала:

— Кы-кы, кы-кы!

В это время над заливом пролетали лебеди. Они услыхали голос плачущей девочки и сделали круг. Потом сели рядом с ней, окружили ее и принялись разглядывать. Когда они заметили, что из ее пальцев струится кровь, им стало очень жалко бедную девочку. Жалость птиц была так велика, что у них на глазах выступили слезы. Лебеди заплакали молча. Слезы росинками капали на песок. И там, где сидели лебеди, песок от слез стал мокрый. Большие белые птицы плакали все сильнее и сильнее, и вдруг у них пробился голос:

— Кы-кы, кы-кы, кы-кы!

Услыхав голоса, отец девочки вышел из дому, увидел, что

его дочь окружили лебеди, бросился за луком и стрелами: хотел убить больших птиц.

Лебеди взмахнули крыльями. В тот же миг и у девочки из плеч выросли крылья — она превратилась в стройную лебедь с красными лапками.

Когда охотник выбежал из дому, стая лебедей уже поднялась в небо. В самой середине стаи летела молодая птица.

Все лебеди кричали:

— Кы-кы, кы-кы, кы-кы!

Только молодая птица молчала.

Охотник схватился за голову, крикнул вслед улетающей стае:

— Дочь! Вернись! Ты будешь хорошо жить!

В ответ раздалось только:

— Кы-кы, кы-кы, кы-кы!

Отец долго стоял у дома и, ссутулившись, печально смотрел вслед улетающей стае. Вот лебеди бисером повисли над морем. Вскоре они растаяли в лазурной дали.

Каждую весну над стойбищем у залива пролетали лебеди. И громко плакали: «Кы-кы, кы-кы, кы-кы!» Только одна птица молчала. И каждый раз, когда лебеди пролетали над стойбищем, далеко внизу они видели фигуру человека, одиноко стоявшего на бугре.

С тех пор прошло много времени. И на том месте, где когда-то стоял одинокий человек, выросла кряжистая лиственница. Ни туманы, ни ветры, не могут сбить ее. И стоит она, подавшись в сторону полудня, воздев в небо свои ветви-руки. И лебеди с красными лапками, пролетая с севера на юг, с юга на север, обязательно завернут к этой лиственнице и громко проплачут:

— Кы-кы, кы-кы, кы-кы!

БУРУНДУК И МЕДВЕДЬ

Ты, наверно, видел бурундука — маленького лесного зверька. И заметил: по всей его спине проходит пять черных полос. И конечно же, встав ранним июньским утром, едва солнце коснется своими еще не горячими лучами вершин деревьев, ты мог слышать этого зверька. Он обычно сидит на верхней ветке высокой ольхи и, совсем по-беличьи закинув пушистый хвост на спину, негромко зовет:

— Тут... тут... тут.

Если ты не замышляешь ничего плохого, бурундук поприветствует тебя наклоном головы, спустится на нижнюю ветку и скажет:

— Тут... тут... тут...

А если ты вздумаешь поймать его, он пронзительно завере-

щит и, показав полосатую спину, юркнет в кусты. И вокруг станет настороженно тихо: все лесные жители — зверье и птицы — попрячутся в дуплах, норах, расщелинах. Но стоит тебе уйти, как бурундук вскочит на ту же ветку и опять возьмется за свое:

— Тут... тут... тут.

Жил в лесу бурундук, пушистый желтенький зверек. Жил один. Всякий знает, что одному в лесу — невыносимо тоскливо.

Бурундук и подумал: если мне тяжело, то, наверно, есть еще кто-нибудь другой, который тоже умирает с тоски. И пошел бурундук по лесу искать себе друга.

Скачет бурундук от дерева к дереву, от куста к кусту, заглядывает под коряги и валежины, в расщелины и норы.

Встречает горностая. Спрашивает:

— Горностай, горностай! Тебе не скучно одному? Давай дружить.

Горностай отвечает:

— Нет, бурундук, мне не скучно. А ты все равно умрешь с тоски. Приходи ко мне завтра: я тебя съем.

Бурундук подумал: «Чем гнить в земле, уж пусть лучше съест меня горностай».

А так как до завтра было далеко, бурундук снова поскакал от дерева к дереву, от куста к кусту, заглядывая под коряги и валежины, в расщелины и норы.

Встречает лису. Спрашивает:

— Лиса, лиса! Тебе не скучно одной? Давай дружить.

Лиса отвечает:

— Нет, бурундук, мне не скучно. А ты все равно умрешь с тоски. Лучше приходи ко мне завтра: я тебя съем.

Бурундук подумал: «Чем гнить в земле, уж пусть лучше съест меня лиса».

А так как до завтра было далеко, бурундук вновь поскакал от дерева к дереву, от куста к кусту, заглядывая под коряги и валежины, в расщелины и норы.

Встречает соболя. Спрашивает:

— Соболь, соболь! Тебе не скучно одному? Давай дружить.

Соболь отвечает:

— Нет, бурундук, мне не скучно. А ты все равно умрешь с тоски. Лучше приходи ко мне завтра: я тебя съем.

Бурундук подумал: «Чем гнить в земле, уж пусть лучше съест меня соболь».

А так как до завтра было далеко, поскакал бурундук от дерева к дереву, от куста к кусту, заглядывая под коряги и валежины, в расщелины и норы.

И вот бурундук встретил медведя. Медведь спал в тени под кустом кедрового стланика.

Бурундук схватил его за ухо и стал тормошить. Кое-как разбудил. Тот недовольно рявкнул:

— Чего тебе надо?

Бурундук говорит:

— Медведь, медведь! Тебе не скучно одному? Давай дружить.

Медведь лениво поднял голову, зевнул и, не глядя на бурундука, сонно спросил:

— А зачем нам дружить-то?

Бурундук отвечает:

— Вдвоем нам будет лучше. Ты большой, неуклюжий. А я маленький, ловкий. Я буду сидеть на дереве, сторожить тебя, когда ты спишь — а вдруг какая опасность идет.

— А я никого не боюсь, — говорит медведь.

— Тогда вместе будем собирать орехи.

Медведь глянул на бурундука:

— Орехи, говоришь?..

— Да, орехи. И ягоду будем вместе собирать.

— Ягоду, говоришь?

— Да, ягоду. И муравьев будем вместе ловить.

— И муравьев, говоришь?.. — Медведь окончательно проснулся, сел. — И орехи, и ягоду, и муравьев, говоришь?

— Да, и орехи, и ягоду, и муравьев.

Медведь довольно отвечает:

— Я согласен дружить с тобой.

Бурундук нашел себе друга. Большого, сильного. Никто в лесу не мог похвастаться таким другом.

Как-то встретил бурундук горностая. Тот обрадовался:

— А-а, пришел. Теперь я тебя съем.

Бурундук говорит:

— А я дружу с медведем.

Горностай испугался:

— С медведем?!

Поскакал бурундук дальше. Встречает лису. Та заплясала от радости:

— Наконец я дождалась. Теперь я тебя съем.

Бурундук говорит:

— Я дружу с медведем.

У лисы дух перехватило:

— С медведем?!

Поскакал бурундук дальше. Встречает соболя. Тот обрадовался:

— А я тебя давно жду. Теперь я тебя съем.

Бурундук говорит:

— А я дружу с медведем.

Соболь так испугался, что птицей взлетел на дерево и уже оттуда спросил:

— С медведем?!

Живут себе бурундук и медведь. Быстрый бурундук находит богатые ягодные места и кусты кедрового стланика, сплошь усыпанные шишками.

Медведь радуется, не нарадуется таким другом.

Вскоре медведь ожирел настолько, что ему стало трудно ходить. Он теперь больше отдыхал. И лишь изредка повелевал:

— Эй, бурундук, принеси-ка брусники.

Или:

— Эй, бурундук, почеши мне спину.

Наступила осень. Впереди зима, долгая, холодная.

Бурундук беспокоится.

— Слушай, медведь, скоро зима. Нам надо сделать запасы.

Медведь лениво отвечает:

— Правильно говоришь, бурундук. Давай делай запасы! — а сам как лежал, так и лежит.

— Как же я один насобираю столько орехов и ягод? Ты ведь очень много ешь, — чуть не плачет бурундук.

— Сказано тебе, делай запасы! — сердится медведь. — А я выкопаю берлогу. Просторная она. Вот будет настоящее жилье! Не то что твоя нора.

И бурундук понуро поплелся заготовлять орехи. Но тут в небе появилась снежная туча. И бурундук стремительно поскакал по кустам — надо успеть заготовить орехи, а то снег спрячет их.

Бурундук сделал запасы.

А медведь залег в берлогу, подложил под голову лапу и заснул. Спал месяц, спал два — проснулся. Говорит бурундуку:

— Подай-ка мне орехи.

Наевшись досыта, медведь опять завалился спать. А запасов осталось немного. И бурундук стал экономить. Недоедает, чтобы дотянуть до весны. Съест один орешек, подойдет к выходу берлоги, вылижет иней, и ему покажется, что он сыт. Бурундук и не заметил, как он сильно отощал. Кое-как дотянул бурундук до весны. Когда снег начал таять, медведь проснулся. Он потянулся, довольный, и сказал бурундуку:

— А здорово, братец, мы с тобой перезимовали!

Потом похвалил бурундука:

— Молодец! — и провел лапой по его спине. Так и остались на желтой спине бурундука пять черных полос — следы медвежьей дружбы.

Когда снег сошел с земли, бурундук ушел от медведя. Медведь и не жалел: вокруг много сладких кореньев и муравьев.

Но в конце лета медведь вспомнил бурундука: пора готовить запасы. Он стал звать бурундука. Но тот не откликался.

— Изменник! — на всю тайгу заревел возмущенный медведь.

С той поры медведь всячески преследует бурундука. Он никогда не упустит случая разрыть бурундучью нору и разорить. Все мстит.

Как ни странно, бурундук жив и по сей день. Я его видел сегодня утром, когда шел опушкой леса. Он сидел на верхней ветке ольхи и, совсем по-беличьи закинув пушистый хвост на спину, призывно кричал:

— Тут... тут... тут.

Наверно, он думал, что кто-нибудь ищет дружбы с ним.

«МУДРАЯ» НЕРПА

Жила в заливе нерпа. Жила и горя не знала. Днем она выходила на песчаный берег и сладко дремала под теплыми лучами летнего солнца. Выспавшись, влезала в воду, долго резвилась в свое удовольствие. Потом ловила самых вкусных рыб — благо в заливе много всякой рыбы.

Раздобрела нерпа от сытой жизни и стала поучать других зверей уму-разуму.

Говорила вороне:

— Эх, ворона-ворона, голодные глаза. Живешь ты много лет, а ни разу не вкусила живой трепещущей рыбы. Все пользуешься падалью, несчастная. Мне жаль тебя. Надо было тебе родиться нерпой.

Говорила зайцу:

— Эх, заяц-заяц, неспокойные ноги. Так много бегаешь по тайге за корьем. И все равно ты тощий, как сук ольхи. Мне жаль тебя. Надо было тебе родиться нерпой.

Так и жила нерпа и поучала зверей и птиц.

Как-то поселилась в прибрежных кустах лиса.

Нерпа несколько раз видела лису, пыталась заговорить с ней, но та все уходила от разговора. И нерпа невзлюбила за это лису.

Все лето лиса кормилась мышами, ягодой, разоряла птичьи гнезда. Осенью она ловила мышей, подстерегала молодых, еще глупых птиц, грызла орехи. Зиму она пережила трудно. Кое-как дотянула до весны.

И вот голодной весной лиса вспомнила о нерпе. Вышла на берег залива и увидела: нерпа плавает в разводье. Облизнулась лиса. Но разве справиться ей с нерпой: та большая и сильная! И плавает нерпа в ледяной воде, где лиса не может продержаться и один миг. Но тут увидела лиса нерпенка. Жирного, беленького, еще совсем беспомощного. Нерпенок лежал на льдине невдалеке от берега.

Лиса выскочила на припай, заплясала, будто обрадовалась встрече с нерпой.

— Ты чего это пляшешь? — спросила нерпа.

— Как же мне не радоваться! Ведь я давно ищу встречи с тобой, мудрая нерпа! — А сама так и приплясывает, так и приплясывает. От голодного нетерпения, конечно.

— Зачем я тебе? — спрашивает нерпа.

— Я очень прошу тебя, мудрая нерпа, научи меня счет вести.

— А зачем тебе еще счет вести? — удивляется нерпа. И, польщенная вниманием лисы, подумала: «Вот какая я мудрая — сама лиса пришла ко мне учиться».

— А затем, чтобы знать, сколько у меня друзей. Ты мой друг. И других нерп я хочу взять в свои друзья.

— Ну ладно, научу, — сказала нерпа. — Давай повторяй за мной.

Лиса пригнулась над кромкой припая, приготовилась.

— Раз, — сказала нерпа.

— Раз, — повторила лиса и коснулась лапой головы нерпы.

— Два, — сказала нерпа.

— Два, — повторила лиса, пронесла лапу от головы нерпы и коснулась воды. — Ой-ой-ой! — закричала лиса, затрясла лапой.

— Ты чего кричишь? — спросила нерпа.

— Лапу обмочила, — жалуется лиса.

— Встряхни ее, подержи на ветру, — посоветовала нерпа. — Тоже мне, воды боится. Надо было тебе родиться нерпой.

Долго ждала нерпа, когда просохнет шерсть на лапе лисицы. Дождалась и говорит:

— Давай по новой. Значит, раз...

Лиса повторяет:

— Раз...

— Два...

Лиса повторяет:

— Два... — коснулась опять воды. — Ой-ой-ой! — закричала она, затрясла лапой.

— Экая ты неловкая. Зачем же мочить лапу? — недовольно ворчит нерпа.

— Как же я могу не коснуться воды, когда никого там нет. Ведь ты — «раз», а на «два» никого нет. Получается не «два», а пустое место.

— Вот оно что! — усмехнулась нерпа и поплыла за подружками. Привела, выстроила их одну за другой и говорит: — Давай, лиса, продолжим. Значит, раз...

— Раз, — сказала лиса и вскочила на голову нерпы.

— Два, — сказала нерпа.

— Два, — повторила лиса и прыгнула на следующую голову.

— Три, — сказала нерпа.

— Три, — повторила лиса и прыгнула на третью голову.

— Четыре...

— Пять... — Скачет лиса по нерпичьим головам, только правит хвостом, чтобы не соскользнуться в воду.

При счете «девять» лиса доскакала до льдины, вспрыгнула на нее, обернулась и прокричала:

— А теперь не мешайте мне, я сама буду тренироваться в счете.

Отплыли нерпы подальше, чтобы не мешать лисе заучить счет. А лиса тем временем съела вкусного жирного нерпенка. И, когда наелась, вышла к кромке льда:

— Эй, нерпы! Я уже выучила счет!

Приплыли нерпы к льдине, выстроились одна за другой. И лиса поскакала по их головам:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть...

Доскакала до берега, выскочила на припай, полуобернулась, помахала пушистым хвостом:

— Спасибо! До свидания!..

А нерпа подумала: «Какая я мудрая — так быстро научила лису».

ТЮЛЕНЬ И КАМБАЛА

На севере Ых-мифа есть залив, отделенный от Пила-керкка — Охотского моря — песчаной косой. Это лагуна. Лагуна как лагуна: в ее чаше есть глубокое русло, в которое во время прилива вливается морская вода, а в отлив она бурно выливается обратно в море через узкий пролив; в лагуне есть и обширная отмель, она простирается к западу от голубого русла, постепенно переходя в пологий берег. Отмель вся заросла морской травой.

Когда ты поедешь ставить сети, не ставь их на мелководье. Здесь не поймаешь ни кеты, ни тайменя. Сети забьет морская трава, а нижние ячеи — камбала. И не просто гладкая, а звездчатка. Она вся покрыта колючими наростами, похожими на бородавки. Эта камбала обычно ложится на дно лагуны, плавниками накидает на себя ил, и ее не видно.

А глянешь туда, где глубоко, увидишь на поверхности воды черную круглую голову тюленя. Она поворачивается влево, вправо, большие блестящие глаза словно ищут кого-то. Тюлень долго ищет, не находит, ныряет в глубь залива, но вскоре опять появляется на его поверхности, поворачивает голову влево, вправо.

Некогда звездчатка была похожа на других камбал. И ей это не нравилось. И поплыла она искать, с кем бы посоветоваться, как быть не похожей на остальных камбал.

Встретилась с навагой:

— Навага, навага, ты пришла в наш залив из дальних вод. Тебе не страшен даже седьмой вал. И ты видела много. Скажи мне, как сделать, чтобы не походить на остальных камбал?

Видавшая виды навага удивилась вопросу камбалы, покачала тупой головой, вильнула тонким хвостом и ушла в глубину.

А камбала обращалась и к корюшке и к тайменю. Но никто не мог помочь ей.

— Я помогу твоему горю! — сказал тюлень. — Только, чур, и ты поможешь мне.

— Конечно же! Конечно же! — обрадовалась камбала, подплыла к тюленю, погладила плавниками его усы.

В то давнее время тюлень был весь черный, и его можно было заметить далеко во льдах. А у тюленя, известно, много врагов: медведь, орел, лиса...

Тюлень принялся мазать камбалу потайной глиной. Долго и старательно делал он свое дело. Только и было слышно, как он сопит от усердия. На хвост камбале тюлень перенес веер северного сияния, плавники окрасил в цвет тихого заката над августовским заливом.

Камбала любуется собой — не налюбуется. Повернется то одним бочком, то другим, проплывет то под волной, то у самого дна.

Тюлень ждал, ждал, кое-как дождался, когда угономится камбала.

— Теперь ты принимайся за меня, — говорит тюлень. — Я черный, и меня далеко видно во льдах. Сделай меня серым, чтобы я был незаметен и во льдах и на берегу.

— Мигом я это сделаю, — сказала камбала и стала мазать тюленя белой глиной.

Но у камбалы не было столько усердия, сколько у тюленя. Да и спешила она к своим сородичам, чтобы показать себя. Она нанесла несколько пятен и отстала.

— Фу-у-у, устала, — сказала она.

— Отдохни немного, — посочувствовал тюлень.

А камбала повернулась и поплыла от него.

— Ты куда? — спохватился тюлень.

Камбала сильно ударила плавниками, только и видел тюлень ее плоскую спину. Тюленю стало страшно: он ведь теперь пестрый. Ему не укрыться ни во льдах, ни на берегу: во льдах его выдадут черные пятна, а на берегу — белые.

— Ах, так! — возмутился тюлень и погнался за камбалой. Долго длилась погоня. Но куда там: только тюлень раскроет пасть, чтобы поймать обманщицу, та ловко увильнет в сторону. Тогда разозленный тюлень схватил горсть крупного морского песка и бросал в камбалу. Так и покрылась камбала колючими наростами, похожими на бородавки.

С тех пор прошло много времени. Но и по сей день тюлень враждует с камбалой. Камбала прячется от грозного тюленя в траву на мелководье. Она ложится на дно лагуны, накидывает на себя ил, и ее не видно.

А пятнистый тюлень плавает на глубине, все ищет камбалу, не находит, ныряет до самого дна, всплывает на поверхность залива, поворачивает голову влево, вправо...

НА БОЛОТЕ

Неподалеку от нашего селения есть болото с островками посередине. Берега его заросли густой травой.

Большая красивая птица цапля давно поселилась на болоте и свила себе гнездо на сухом островке под тенистыми кустами. Она каждый год, как только сойдет с болота лед, прилетала на тот островок.

В солнечный день цапля любила тихо стоять на одной ножке, подтянув другую. Она закрывала глаза, думала свои думы. А думала она о прожитых днях, о хорошем летнем солнце, о сухом островке с уютным кедровым кустарником. Еще вспоминала она, как ей трудно преодолевать большие расстояния через леса и горы, реки и моря, чтобы уйти от зимы в лето и возвращаться назад, когда наступит в ее суровом краю тепло. Трудно совершать дальние перелеты, но птица знала, что в мире ничего нельзя изменить, что в ее краю всегда будет полгода зима и надо на это время улетать. И радовалась, что природа наделила ее сильными крыльями.

В летние тихие дни цапля взлетала над болотом и, раскинув широкие крылья, подолгу царила в восходящих струях нагретого воздуха. Она поднималась до самых облаков, кружила вместе с ними. И на нее с земли восхищенно смотрели другие жители болота: тонкоклювый кулик, который тоже умеет летать, но невысоко, и терпеливая, ленивая выпь, которая предпочитает длинные, быстрые ноги своим слабым крыльям. Они задирали кверху головы и от изумления цокали языками.

Покружив, цапля плавно опускалась на свой островок и снова грелась на солнце, стоя на одной ноге, и думала свои думы. Теперь она думала о том, что скоро прилетит цапля-отец и они вместе будут ладить остывшее гнездо. А впереди целое лето: ведь нужно выкормить и поднять на крыло всех детей!

Рядом с островком в болотной жиже жила жирная лягушка.

Она тоже любила понежиться на солнце. Лягушка выползала на кочку, подставляла под теплые лучи свой холодный бок и лениво лопотала языком.

Говорила она обо всем, что видела или слышала. А когда не знала, что говорить, лягушка не находила себе места и прыгала по всему болоту, поднимая шум. И тогда из прибрежной травы высовывались другие жители болота: жуки, черви, мухи. И лягушка останавливала каждого, кого встречала, и заговаривала с ним.

Но жизнь болота тихая, в ней происходит мало событий. И лягушке стало невмоготу от скуки. Известно — у нее нет особых забот. Лягушке не надо вить гнездо, не надо вскармливать детей — выбросит икру в болотную воду и тут же забудет о ней. А когда нет забот, время тянется томительно.

Много раз видела лягушка, как цапля легко взмывает в небо. И ей захотелось туда же. Как-то вскарабкалась на кочку, собралась всеми силами и оттолкнулась. Взлетела она над кочкой, раскинула лапки и уже думала, что парит, и от радости хотела крикнуть победное «Ква!», как почувствовала резкий удар в брюхо и всю глотку забило илом — лягушка шмякнулась в грязь.

Лягушка обалдела от боли. Потом, когда в глазах прошло помутнение, заметила в небе цаплю. И оттого, что ей больно, и оттого, что она не взлетела в небо, и оттого, что в это время под облаками парила цапля, лягушку обуяла неукротимая злость и сердце защемила зависть.

Долго думала лягушка, как бы досадить цапле. Как только прошла боль в брюхе, нырнула в воду, всплыла у островка, спряталась в траве. И стала следить за цаплей. Цапля была не одна — к гнезду прилетела цапля-отец. Цапли занимались своими обычными делами: выправляли помятые перья, чистили их и грелись, медленно поворачивались грудью вслед за солнцем. До самого вечера прождала лягушка, но так и не нашла, к чему бы прицепиться. В ту ночь лягушка совсем не спала. Все от злости.

На другой день чуть свет лягушка вновь оказалась у островка. Было холодное туманное утро, и цапля-отец и цапля-мать спали в своем гнезде, уютно спрятав головы в перья.

Лягушка осторожно, без плеска нырнула в воду, поплыла в высокую траву и стала шептать на ухо жуку, червяку, мухе, своим сородичам — лягушкам, что вот, мол, цапли спят в одном гнезде.

И хотя все болотные твари видели такое и раньше и не обращали на это никакого внимания, но в сей миг, когда услышали слова лягушки, удивленно переглянулись между собой, каждая из них приняла позу и с гневным возмущением высказалась в адрес цапель. Потом лягушка, дав тварям повозмущаться, многозначительно сказала:

— Видали, какие нахалы: они такое позволяют на глазах у всего болота! Вы только представьте, что они делают зимой, когда мы все спим!

Лягушка замолчала, наслаждаясь произведенным впечатлением. А вокруг поднялся невероятный галдеж. Молва о цаплях с быстротой молнии обошла все болото, и его жители, каждый добавляя невероятные подробности, судачили об услышанном. И все они были едины в своем суждении. Только кулик и выпь недоуменно вертели головами на длинных шеях, но так и не смогли понять, из-за чего весь этот шум.

Шум на болоте не утихал, наоборот, с каждым днем он усиливался. И дело дошло до того, что цапля застонала, взмахнула крыльями и улетела. Вслед за нею поднялась цапля-самец. На островке осталось их гнездо. Оно остыло, его били и дождь, и град.

А лягушка и по сей день, где бы она ни находилась, без устали лопочет, все рассказывает о цаплях. И косит одним глазом на кулика и на выпь: летайте, летайте, скоро долетаетесь. Я и до вас доберусь...

КАК ЧАЙКИ-КРАЧКИ СТАЛИ ЖИТЬ ВМЕСТЕ

Как-то ночью ехали мы заливом. Было тихо-тихо, настолько тихо, что казалось: пискни комар на том берегу — и мы услышим. На заливе ни одного всплеска, лодку ни разу не покачнуло.

Легкий туман парил невесомо. Сквозь него и подслеповатая заря, которая летней ночью не покидает небо, и зыбкая лунная дорожка, и сама луна, и звезды были матовые, будто кто их слегка припудрил.

Я аккуратно опускал весло, придерживая его в тот миг, когда оно входило в воду.

На корме смутной громоздкой тенью выплывал старик. По-видимому, и ему не хотелось нарушать тишину: он попыхивал трубкой и пока мы пересекали залив, не произнес ни слова. И не видел я, как он взмахивает кормовым веслом, и только по упругим длинным толчкам лодки узнавал глубинные гребки старика.

Прошло еще много времени, прежде чем я уловил ленивый, как сквозь полусон, скрипучий голос чайки:

— Ке-ра, ке-ра, ке-ра, ке-ра, — будто уговаривала она кого-то.

Старик перестал шевелиться. Я понял: прислушивается. Потом услышал его шепот:

— На гнезде...

Вскоре донеслись голоса и других чаек, такие же негромкие и дремотные: мы проезжали мимо острова Тьатьр-ур — острова Крачек.

Разговор маленьких легкокрылых чаек не нарушал тиши-

ну. Он звучал в ней как музыка, подчеркивая умиротворение и спокойствие.

— На гнездах сидят, — как и прежде, шепотом сказал старик.

Вдруг раздался невероятный гвалт, и в воздух взмыло большое белое облако, будто взорвало остров.

Меня бросило в жар. Потом словно окунули в холодную воду. В утлой лодчонке я почувствовал себя очень неуютно. Я в ужасе таращил глаза и вертел головой, но не мог понять, что происходит вокруг. Я с надеждой посмотрел на старика: может, он поможет чем-нибудь. Но и старик в напряжении смотрел на остров, смутно темнеющий в стороне от нас. Голова старика в брезентовой шапке поворачивалась из стороны в сторону на длинной худой шее и походила то на вопросительный знак, то на его же обгорелую трубку. Я на миг забыл о своем страхе и усмехнулся нелепому виду старика. Я, конечно, и не подумал, как выглядел сам со стороны.

И тут меня всего передернуло: будто скала обвалилась в воду. Гвалт перешел в грай. Стон, свист, скрежет, визг...

И мой старик вдруг замахал руками, гулко ударил веслом по лодке. Удар. Еще удар. И невероятный вопль:

— У-лю-лю-лю! Га-га-га! Улю-лю-лю! Улю-лю-лю-у-у-у!

Старик перешел на дискант. Еще энергичнее замахал руками и тонко завопил:

— И-ги-ги-и-и!

И осатанело захохотал:

— Так его! Так его! Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а!

Только теперь я заметил: от острова, шумно отфыркиваясь, быстро плыло что-то большое и темное. А над ним, прочерки-вая темноту, тысячи белых стрел с пронзительным криком вонзались в спину большому зверю. А зверь, беспомощно взревывая и тяжело отфыркиваясь, в панике уплывал в ночь.

А старик распалялся все больше и больше. И восклицал восхищенно:

— Вот что делают! Вот что делают маленькие мерзавцы, когда они вместе: медведя прогнали! Ай-яй-яй, медведя прогнали!

Старик еще долго не мог угомониться. Наконец он перевел дыхание, замолчал, о чем-то задумавшись. Потом зашуршал рукой под брезентовой курткой — я понял: полез за кисетом.

Старик курил, положив весло перед собой. И я перестал грести. А он все молчал, задумчиво попыхивая трубкой. Я знал старика: он к чему-то готовится. И не ошибся. Вот что рассказал он.

Раньше чайки не жили вместе. На самом деле, зачем им жить вместе! Ведь каждая из них имеет сильные крылья, такие сильные, что они могут перенести чайку через море. Каждая из них имеет острые глаза, такие острые, что они могут увидеть рыбешку даже под волной. Каждая из них имеет

крепкий клюв, чтобы цепко схватить добычу или отбиваться от врагов.

Так думали и крачки. Как думали, так и жили: каждая в отдельности добывала пищу, каждая в отдельности вила гнездо.

Но не всегда легко найти рыбу: море большое, и рыба плавает, где ей захочется.

И летают чайки каждая сама по себе. Вот над пенистой волной пролетела черноголовая крачка. Как ни зорко всматривалась она в волну — не нашла серебристых рыбешек. Так и ни с чем, голодная, улетела черноголовая крачка.

Вот над тем же местом пролетела красноклювая крачка. Зря она здесь летала: у черноголовой глаза не хуже, чем у красноклювой. И красноклювая улетела ни с чем, голодная.

И еще много крачек пролетало над пенистой волной, потому что не знали, что здесь уже побывали другие.

Вернулась черноголовая крачка к своему гнезду уже в потемках, так и не найдя рыбешку. И что видит: сидит у ее гнезда большая ворона и склевывает яйцо.

Забилась чайка, закричала тревожно. Ей не прогнать ворону: та большая, сильная.

Прилетела на крик красноклювая крачка, сама вся в слезах. Жалуется:

— А мое яйцо украла мышь.

Прилетает третья крачка и тоже жалуется:

— Кто-то разорил мое гнездо.

А ворона склевывает уже второе яйцо.

Взлетели крачки, прокричали. На их крик явились и другие чайки. Налетели они на ворону: от нее только перья полетели.

И вот держат совет крачки.

Черноголовая говорит:

— Худо, когда мы живем каждая по себе. Даже ворона и та обижает нас.

— Худо, худо, — сказали крачки.

— Худо, когда мы по отдельности летаем за пищей. Одной трудно найти рыбу в большом море, — сказала красноклювая.

— Худо, худо, — сказали крачки.

— Нам надо вместе жить. Когда вместе, нам не страшен никакой враг, — сказала черноголовая.

— Вместе! Вместе! — сказали крачки.

— Нам надо вместе добывать пищу. Когда нас много, легче найти рыбу в море, — сказала красноклювая.

— Вместе! Вместе! — сказали крачки.

С тех пор и живут крачки вместе. Живут большими колониями. Им вместе легче найти рыбу в море. Найдет крачка стаю рыбы, прокричит, и слетаются к ней другие крачки. И все сыты.

А если появится какой враг, крачки тучей налетают на него, тот бежит сломя голову. От одного только крика их у самого черта волосы дыбом встанут.

— Видел: они медведя прогнали! — сказал старик. — Медведь хотел полакомиться яйцами, да не тут-то было.

Легкий туман стал белесым и так же, как и час назад, парил неслышно и невесомо. Луна побледнела, будто ей стало зябко от сырости, и поплыла в сторону гор на покой.

А за нами раздавалось негромкое, умиротворенное:

— Ке-ра, ке-ра, ке-ра, ке-ра...

Чайки садились на свои гнезда.

Старик погрузил в воду кормовое весло. И я взмахнул своими веслами. Было приятно грести: с каждым гребком по озябшему телу растекалось тепло.

Мы плыли в рассвет.

ПО СЛЕДАМ МОИХ ПРЕДКОВ

❋

Мифы, легенды, предания

ПОЧЕМУ НА ЗЕМЛЕ ЛЮДЕЙ МАЛО

В древности, когда родилась наша земля — Ых-миф, ее положение было другим: западный берег был восточным, а восточный западным. Ее спина стала животом и теперь омывается Пила-керкком — Охотским морем, живот стал спиной и омывается Матькы-керкком — Татарским проливом. Когда земля перевернулась, все живое на побережье Пила-керкка погибло. Жизнь сохранилась только на горах Арккивовал — на Западном хребте — и в некоторых других высоких местах. Из селений сохранились только два стойбища, отдаленные друг от друга. В одном селении — три человека, два брата и сестра, в другом — муж с женой и младшая сестра мужа.

И жили люди двух стойбищ, не имея ни огня, ни топора. Дохлую рыбу выбросит на берег волна — подберут и съедят сырой и усердно благодарят Тол-ызнга — хозяина моря.

Так они жили.

Однажды утром старший брат из первого стойбища вышел из дома и слышит, как со стороны захода солнца раздается то ли пение, то ли крик: «Кор-р-р» и «Торо-ро-ро-ро». По голосу узнал, что это кричат заяц и белка.

Сел и слушает. А те то ли поют, то ли лают. Молча ждал, ждал, когда они умолкнут, но не дождался. Вошел в дом. Его брат и сестра еще спали, одетые в одежду из коры, в шапках из бересты. Он тоже надел берестяную шапку, вышел и направился на звуки. Долго шел и вот видит...

У трех ям куги-рулкус — остатков от жилищ древних поселенцев Ых-мифа — стоят два дерева. Под одним из них сидит заяц, сидит со стороны живота земли, под другим — белка, сидит со стороны спины земли. Сидят друг против друга, и каждый кричит по-своему.

Человек стал осторожно подкрадываться к ним. Когда он

подошел к ним совсем близко, его заметила белка. Человек сел на землю и стал смотреть на зверей. Те замолкли. Затем белка говорит:

— Хала![1] Мы живем на одной земле. Живых существ сейчас мало. Давайте все соберемся и будем держать совет, как дальше жить. Нам надо спешить размножаться, пока не состарились и не умерли от старости. Пусть растут и насекомые, и животные, и люди, и растения, пусть все растет и хорошо живет.

Человек догадался, что в образе зайца и белки выступают посланцы Тайхнгада — сотворителя живых существ. Вернулся в свое селение и рассказал об этом брату и сестре.

Втроем собрались и пошли на совет. Пришли на место и видят: вокруг ям сидят медведи, собаки, насекомые, олени. А заяц и белка все кричат. Три дня они кричали, три дня никто не уходил, все сидели у ям. На четвертый день заяц и белка наконец умолкли. Белка осталась у дерева, а заяц обошел всех присутствующих, осмотрел их. Потом стал говорить. Первых спрашивает самцов зверей и птиц. Подошел к лисовину:

— Как ты зимой будешь жить?

Лисовин отвечает:

— Ай, зимой, как и летом, меня будут кормить мои ноги.

— Что ты будешь есть?

— Мышей, рыбу и все живое, что одолеют мои зубы, — все буду есть.

Подошел к собаке и спрашивает. Собака отвечает так же, как и лисовин.

Опросил заяц и волка, и пташек, и больших птиц, и насекомых. Черед оленя настал.

Олень отвечает:

— Летом буду питаться тем, что растет на земле, зимой буду есть то же, что и летом. У меня ноги длинные, я достану пищу из-под снега. Так я и буду жить.

Медведя черед подошел. Он отвечает:

— Летом буду питаться всем живым, что только встретится мне на пути. Зимой тоже буду есть живое.

Тогда заяц говорит:

— Если ты и зимой будешь есть, то уничтожишь все живое, уничтожишь жизнь на земле. Ты большой, тебе много пищи надо, поэтому я не позволю тебе зимой есть. Ты зимой не будешь есть, ты зимой будешь спать.

Когда заяц опросил всех самцов, снова заговорила белка:

— Заяц опросил вас всех. Каждый из вас ответил, чем будет питаться, чтобы жить. Так и живите. Теперь я опрошу самок. Чтобы жизнь на земле продолжалась, нужно заботиться о потомстве.

---

[1] Хала — возглас, требующий внимания.

Подошла белка к лисице и спрашивает:

— Сколько тебе нужно иметь детенышей?

Лисица отвечает:

— Я хочу иметь пять или шесть детей каждый год.

— Пусть будет по-твоему, — говорит белка.

Спросила у собаки. Собака-самка ответила так же, как и лисица. Белка опросила многих. Подошел черед самки оленя.

— Я тоже хочу иметь много детей, — говорит она.

Белка отвечает:

— Тебе нельзя иметь много детей. Тебя будут преследовать хищные звери, и ты не сумеешь уберечь всех своих детенышей. Когда детей меньше, их легче защитить. С тебя довольно и одного-двух.

Черед медведицы подошел.

— Сколько детей ты хочешь иметь? — спрашивает белка.

— Когда много — семь, когда мало — пять, и я буду довольна, — говорит медведица.

Белка отвечает:

— Тебе нельзя иметь столько детей. Медведей слишком много разведется, и вы пожрете всю жизнь. Одного или двух, и с тебя довольно.

Белка опросила всех зверей-самок.

И вот белка подошла к сестренке двух братьев и спрашивает:

— Ну а ты, самка-человек, сколько детей будешь иметь?

Молодая женщина стесняется, молчит. Заяц спрашивает:

— Говори, сколько детей хочешь иметь!

Та все молчит.

Белка повторяет вопрос. Женщина от стеснения покраснела, потупилась. Ни жива, ни мертва. Белка не выдержала и говорит:

— Если ты не хочешь разговаривать, то в наказание будешь иметь только одного ребенка.

После этого совета все живое ушло по своим местам, чтобы продолжать жизнь. Зверей и всякой твари развелось множество.

Вскоре младший брат женился на молодой женщине из другого стойбища.

Люди живут, продолжают свой род. Но людей потому сейчас мало, что их предки оказались очень стеснительными, когда решался вопрос об их племени.

КУЛЬГИН

В нивхских тылгурах герои — всегда безымянные. То ли потому, что обычай запрещает называть имена людей, которых давно нет, то ли потому, что потомки забыли

имена своих предков за давностью лет. Но сегодня я расскажу вам предание о человеке, имя которого не забыли сказители. Это предание о подвигах человека из рода Руй-фингун. И его звали Кульгин. Давно ли жил Кульгин или недавно, но люди Руй-фингун, приехав в селения других родов или принимая гостей у себя, всегда рассказывают о Кульгине, о его подвигах.

I

А жил Кульгин в то время, когда в лесах Ых-мифа было множество зверей и птиц. Так много, что добыча не обходила ни одной ловушки. А в реках было так много рыбы, что ее ловили руками.

Жили нивхи и горя не знали. Люди добывали зверя и рыбу, все нё были завалены вяленой рыбой и мясом.

Но вот однажды осенью на прибрежное стойбище, где жил Кульгин, откуда-то налетело много ворон. Так много, что, когда они взлетали, крыльями закрывали все небо, и днем становилось темно, как ночью.

Налетели вороны на стойбище, стали грабить людей. Сожрали вороны все запасы жителей стойбища и стали нападать на людей. Выйдет человек из жилища по своим нуждам, налетят на него тысячи ворон, выклюют глаза.

И уже казалось: нет никакого спасения. Тогда-то люди узнали о своем сородиче Кульгине, который жил, как и все, в стойбище и ничем не отличался от других.

В тот день, когда особенно много было ворон, Кульгин шел из сопок, где ставил ловушки на соболя. Подошел Кульгин к своему стойбищу, и тут напала на него большая стая ворон. Стрелял Кульгин в ворон из лука, прострелял все стрелы, убил много ворон, но их в стае не стало меньше.

Вернулся Кульгин в тайгу, тем и спасся. Но знал Кульгин: там, в стойбище, люди ждут не дождутся спасения.

Выстругал Кульгин стрелы. Выстругал много, взвалил на плечо целую вязанку стрел и пошел к стойбищу.

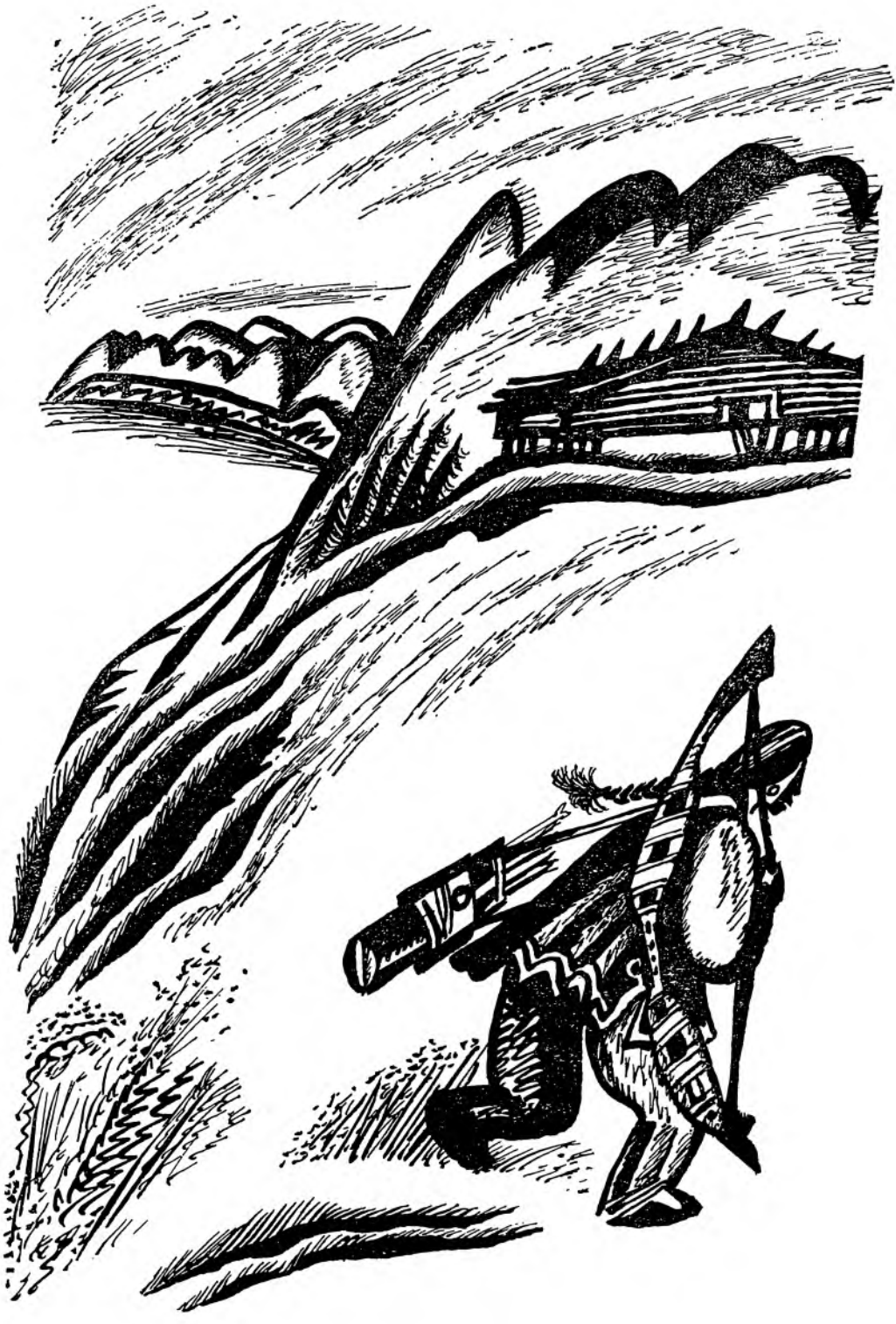
Не дошел Кульгин до стойбища — налетела на него несметная стая ворон.

Целый день отстреливался Кульгин, убил сотни ворон, но к вечеру кончились стрелы. А ворон в стае не стало меньше. Бежал Кульгин в тайгу, тем и спасся.

Но вот заметил Кульгин: что-то блестящее и длинное торчит в кустах, выдернул его, стал разглядывать. На одном конце — удобная ручка, другой конец заострен. Лезвие широкое и острое. Взял Кульгин за ручку, взмахнул и ударил по дереву. Перерубил дерево с одного удара. Кульгин нашел саблю.

«Теперь можно спасти сородичей», — подумал Кульгин.

У стойбища снова налетели на него вороны — большая



стая. Кульгин отбивался саблей. Взмахнет раз — перерубит несколько ворон, взмахнет второй раз — перерубит столько же.

Шесть дней и ночей бился Кульгин с воронами. Горы вороньих трупов выросли перед ним.

Шесть дней и ночей бился Кульгин с воронами, победил. Те вороны, кого не задела сабля Кульгина, улетели подальше. Они стали бояться людей.

И даже сегодняшние потомки тех ворон не забыли, как бил их предков человек по имени Кульгин.

Потому и по сей день только человек, увидев ворону, наклонится за палкой или камнем, сорвется ворона и в страхе улетит прочь.

II

Живут жители прибрежного стойбища, и не опасаются ворон — их стало мало, и они побаиваются даже детей.

Но другая беда пала на людей. Пойдет охотник в тайгу — не возвращается. Находят его мертвым, с вырванным языком. Перестали люди ходить в тайгу, боятся. И стойбище стало голодать — осталось без мяса.

И тогда Кульгин один отправился в тайгу, нарубил много дров, развел костер. Потом вырубил чурку. Положил ее у костра, сам лег отдыхать, упираясь ногами о чурку.

В полночь слышит крик. Такой сильный, что кора на деревьях с треском отлетает.

Лежит Кульгин, думает: кто это может так кричать?

Прискакала откуда-то белка, вскочила на чурку у ног Кульгина и смотрит на него маленькими глазками.

«Что, белка, — думает Кульгин, — наверно, милка испугалась?»

Но тут белка так крикнула, что кора на деревьях отлетела с треском. А Кульгин только вздрогнул. Понял Кульгин: это таежный милк — халу-финг явился в образе белки. Это он криком своим убивает охотников. Охотники умирают от разрыва сердца. А милк поедает их языки.

Изловчился Кульгин, толкнул чурку ногой. Упала белка в костер. От милка только и остался запах паленого.

И опять вернулся Кульгин в стойбище победителем.

III

В голодную пору, когда весна слишком затянулась и у людей не осталось припасов, выбросило штормом огромного кита. Люди благодарили Тол-ызнга — хозяина моря — за такой дар, и каждый ходил к тому киту и вырезал себе сала и мяса.

Но вот пошел человек к киту и не вернулся. Пошел вто-

рой человек и тоже не вернулся. Перестали люди ходить за мясом. А в стойбище нет припасов, и стали жители стойбища голодать.

Тогда взял Кульгин саблю и вышел на берег.

Подошел Кульгин к киту, а из его вырезанного бока выходит медведь. Выходит медведь из брюха кита, с ревом бросается на Кульгина. Но Кульгин не дрогнул, встретил медведя сильным ударом сабли. Ударил медведя саблей, но отрубил только ухо. Второй раз бросается медведь — Кульгин отрубил ему другое ухо.

Долго бились Кульгин и медведь, полдня бились. Изрезал Кульгин медведя-разбойника, изрубил его на куски. Теперь людям ничто не угрожало.

Голод покинул стойбище. А вскоре наступило сытное лето.

IV

После удачной зимней охоты два охотника — один помоложе, другой постарше — уехали на лодках к торговым людям. Дал им Кульгин свою саблю — может, понадобится в дороге. Уехали к торговым людям двое, но вернулся только один, тот, кто был помоложе. Вернулся охотник от торговых людей, привез много товару. Привез много товару, но привез и страшную весть.

Собрал охотник стариков и рассказал, что случилось в пути.

Выехали они вдвоем из своего стойбища, поплыли вдоль берега. До самой ночи плыли. И когда пристали к берегу, увидели большой ке-раф. Охотники вытащили лодки на песок, чтобы не унесло волною, зашли в ке-раф. Он пустой, а очаг теплый. «Наверно, хозяева уехали куда-нибудь», — решили охотники и развели огонь. Развели огонь, поужинали. Ночью старший видел сон: явился хозяин и сказал, чтобы люди уходили из этого дома.

Проснулись утром охотники, старший за завтраком рассказал о сне. Сказал, что хозяин-милк грозил прогнать их из своего дома. Сказал и рассмеялся, показав на саблю и пригрозив: «Пусть только явится, изрублю его на куски».

Тогда младший сказал, что так говорить грех. На это старший ответил, что младший ничего не понимает и потому пусть лучше молчит.

После завтрака охотники спустили лодки на воду, поехали дальше. Несколько дней они ехали, ночевали на берегу в кустах. И доехали до большого селения торговых людей. Долго торговались охотники, выторговали всяких дорогих товаров. Младший ко всему еще взял в жены молодую женщину.

Ехали охотники домой вдоль берега. И вот доехали до того ке-рафа, где старший охотник видел сон.

Младший говорит: «Не будем заезжать в этот ке-раф». А старший говорит: «Идем, переночуем в нем».

Уж так заведено у нивхов: младший слушается старших. Пристали охотники к берегу, вытащили лодки на песок, чтобы их не унесло волной, и зашли в ке-раф.

Зашли охотники в ке-раф, притронулись к очагу: он теплый. Старший сказал: «Наверно, хозяева утром ушли. Приготовим еду, поедим. Переночуем здесь, а утром поедем домой».

Развели охотники огонь, приготовили еду, поужинали и легли спать.

Младший видит сон. Явился хозяин-милк, говорит: «Уходите из моего жилища. А то приду, прогоню вас».

Проснулся младший, разбудил старшего, рассказал о сне. А старший повернулся на другой бок, захрапел.

И вот слышит младший: кто-то подходит к ке-рафу, открывает дверь. Является большой милк. Он говорит: «Я велел вам уходить, вы не ушли». Сказал так и напал на старшего, который ничему не верил.

А младший схватил свою невесту, выбежал из ке-рафа, спустился к морю, столкнул лодку и приехал в стойбище. А того охотника милк убил и забрал все его добро.

Кончил рассказывать охотник, и старики удивляются, качают головами.

А Кульгин задумался. Он знал обоих охотников. Старший был честный и старательный человек. Младший всегда завидовал удаче других, был жадный и злой.

Собрал Кульгин стариков, и поехали они к тому ке-рафу. Приехали, зашли в него. И видят: лежит охотник с отрубленной головой. Лодка его пустая, а в песке у воды лежит сабля.

Вернулись старики и Кульгин в стойбище, стали пытать и охотника и молодую женщину. Молодая женщина призналась: ее взял в жены старший охотник. По дороге охотники передрались из-за нее, и младший ударил старшего саблей.

Неслыханный случай возмутил жителей прибрежного стойбища. Они назвали того охотника милком и наказали его: прогнали из рода.

Тот человек не вынес позора, ушел из стойбища.

V

Живет Кульгин. Сородичи благодарят его за подвиги и за то, что он живет.

Долго не было в стойбище никакой беды. Женился Кульгин, и у него родились дети — два сына. Но не дожил Кульгин до седых волос, не пришлось ему видеть своих детей взрослыми.

Случилось так, что в прибрежном стойбище стали пропадать дети. Выйдут на морской песок поиграть и исчезают.

Тогда Кульгин взял с собой двух своих малых сыновей, позвал друга-охотника и вышел к морю. Велел детям играть на песке, а друга попросил, чтобы, когда придет беда, забрал детей и уходил в стойбище.

Вышли Кульгин с детьми и его друг к морю, дети стали играть на песке, а взрослые спрятались за кустами.

Играют сыновья Кульгина, резвятся, пересыпают сухой песок из ладони в ладонь, а на мокром песке прутиком рисуют всякие узоры.

И тут в море показалось что-то большое, красное, похожее на морского льва. Плывет чудовище к берегу, грудью раздвигает воду, поднимая большие волны.

Выскочил друг Кульгина, забрал детей и спрятал их в кустах.

А Кульгин прыгнул в море, схватился с чудовищем. Поднялась волна, гул прокатился над побережьем. Бьются Кульгин и чудовище. Видел друг Кульгина, как мелькала сабля, как рубил Кульгин чудовище — только раздавались звуки, будто били скалой о скалу.

Вот Кульгин ударил чудовище саблей. Брызнула кровь фонтаном, окрасила волны. Заревело чудовище, но тут же, изловчившись, отхватило Кульгину левую руку.

Закричал Кульгин от боли, выскочил из воды по пояс, сильно ударил саблей. Взвыло чудовище от раны, но опять напало на Кульгина, перегрызло ему ногу.

Закричал Кульгин от страшной боли, выскочил из воды по колени, замахнулся и изо всей силы опустил саблю на голову чудовищу. И видел друг Кульгина: сабля переломилась пополам.

На этот раз чудовище не выло и не ревело. Оно рвануло в сторону, подняло большую волну. Но тут же силы покинули его, и чудовище испустило дух.

Вышел из прибрежных кустов человек и стал звать Кульгина. Долго звал он храброго человека. Звали своего отца и два его сына. Но лишь окровавленные волны еще долго плескались и били о берег.

ДВА ПОДРОСТКА И ШАМАН-МИЛК

Посредине Матькы-керкка в стороне от устья Ла-и-Амура на острове стояло два стойбища: стойбище рода ымхи — зятей и стойбище рода ахмалк — тестей.

Два подростка из двух стойбищ очень дружили. Каждый день босиком по морскому песку ходили они друг к другу, вместе ели за одним столом, вместе играли, вместе кормили стаи щенков и приучали их сидеть на привязи.

Росли подростки дружные, смышленые. Старики двух стойбищ радовались: растут сильные добытчики.

Был в роду ымхи шаман. Только он не радовался подросткам. Увидев радостных ребят, он говорил: «Резвитесь, резвитесь — дорезвитесь...» Знал шаман: чем больше люди уважают кого-то, тем больше они обращаются к нему, тем реже вспоминают шамана. Не знали люди, что в роду у них живет не простой шаман.

Как-то раз перед сезоном лова кеты подростки поехали на маленьких лодках вдоль острова. И решили они соревноваться в гонках. Вышли на берег, отмерили расстояние, поставили два шеста. Кто первый пройдет створ шестов — выиграет гонку.

Отмерили друзья расстояние, поставили шесты, вернулись к лодкам и разом начали гонки. А плыли они по мелководью, там, где течение тише и нет волн.

Сильно греб тесть, упираясь ногами о перекладину — какору. Прошел мысок, прошел второй. И вот и створ шестов.

Обрадовался подросток своей победе и стал ждать соперника. Ждал, ждал, а зятя нет и нет. Забеспокоился тесть. Уж он-то знал, что его друг сильный гребец и не мог отстать намного. Еще подождал немного. Сильным гребком развернул лодку, поехал назад. Проехал мысок, проехал второй. Видит: лодку прибило к берегу. Подъехал: лодка пустая. Посмотрел на песок — следов нет.

И тут увидел тесть: его друг лежит на дне под водой. А воды здесь — по колено.

Выскочил тесть из лодки, поднял друга и вытащил подальше на берег.

Стоит тесть, склонив голову, думает, как мог погибнуть его друг.

Приехал подросток в стойбище, взял лук и копье, вернулся туда, где лежал его друг. Срубил два прута, воткнул один прут впереди себя, второй — сзади. Лучше нет укрытий от кинра, чем прутья. Прутья в глазах кинра превращаются в толстые деревья, сквозь которые кинр не может видеть. А сквозь настоящие толстые деревья кинр видит, как сквозь сеть.

Воткнул подросток прутья и стал караулить. И когда солнце опустилось за гору, увидел над стойбищем зятей густой дым и искры. Потом услышал удары в бубен и голос родового шамана. Потом звуки прекратились и искры перестали вылетать из шаманова жилья.

И вскоре подросток увидел: поднялась в море волна, накатилась на остров. На волне вышло из моря что-то большое, красное. Не сивуч, не нерпа, но какое-то морское чудовище. Чудовище на волне подкатило прямо к телу подростка-зятя, зашлепало ластами и укусило подростка за бок.

Подросток-тесть сильно натянул тетиву, пустил оперенную

стрелу с железным наконечником точно в грудь чудовищу. Чудовище взвыло от боли, тяжелыми прыжками ушло в море. А подросток-тесть упал.

Очнулся он — уже светало. Спустил лодку, положил в нее тело друга и поехал в свое стойбище.

Приехал в свое стойбище, рассказал отцу, старикам. Собрались жители стойбища тестей, поехали на многих лодках в стойбище зятей.

Приехали тести в стойбище зятей, рассказали о случившемся. Собрались мужчины двух родов и во главе с подростком-тестем направились к родовому шаману.

Еще не дошли они до жилья шамана, услышали: оттуда раздается стон. Зашли мужчины во главе с подростком к шаману, видят: шаман лежит, укрытый теплым х'ухтом, стонет.

Сдернул подросток с шаман х'ухт, и люди увидели: в груди шамана торчит оперенная стрела. Наступил подросток на грудь шамана, вытащил стрелу.

Люди сказали: это не простой шаман, это шаман-милк и нет ему места в стойбище.

ЫМХИ И АХМАЛКИ

Три охотника — ымхи и два ахмалка — пошли в тайгу ставить петли. Ымхи был бедный, неженатый. Ему нужно добыть соболей на юскинд. Ахмалки же из богатой семьи, где было много мужчин-добытчиков. Ымхи, если охота окажется удачной, женится на сестре ахмалков.

Пришли охотники в сопки, срубили балаган, расставили ловушки. Ымхи поставил штук тридцать ловушек, младший ахмалк — пятьдесят, старший ахмалк — триста.

Прошел день, прошел второй. Пришли охотники проверять ловушки. Ни в одной ловушке не оказалось добычи.

Принесли охотники Пал-ызнгу жертву: табаку, корни сараны. Ымхи при этом сказал: «Не оставь, добрый дух, мои ловушки без внимания». Младший ахмалк сказал то же. А старший ахмалк сказал: «Добрый дух, награди меня за все мои страдания — вон сколько ловушек я выставил».

Пошли на следующее утро охотники проверять ловушки. Шли, шли они по распадкам и сопкам, видят: идет по скалам сопки красивая девушка, зовет: «Кыть, кыть, кыть!» Так обычно скликают щенков, когда нужно покормить их. Идет красавица по склону сопки, зовет: «Кыть, кыть, кыть!» И со всех склонов и распадков, из кустов и из-под валежин, из расщелин и нор выскочили соболи, окружили девушку-красавицу, идут вместе с нею. А девушка что-то бросает в стадо соболей, соболи ловят на лету.

Стоят охотники разинув рты. Стоят и смотрят, как лесная девушка, дочь Тайхнгада прошла по склону сопки вместе с огромным стадом соболей. Прошла дочь Тайхнгада по склону сопки — исчезла.

После этого еще несколько дней соболи не шли в ловушки. Охотники ходили по сопкам и распадкам, переставляли ловушки, но все равно не было добычи.

Однажды вечером, когда охотники сидели в балагане и печально думали о своей неудаче, кто-то стал спускаться по сопке к балагану. Охотники подняли головы, видят: входит к ним седовласый старец. Вошел старец, прошел к лежанке, присел. «Ух-ух-у-у-у, — перевел он дыхание. — Вижу, что вас мучает неудача. Жалко вас — вы так стараетесь, а добыча не идет в ловушки».

Поняли охотники: к ним явился сам Тайхнгад, сотворитель живого на земле.

Старец сказал: «С завтрашнего дня соболь пойдет в ваши ловушки. Вы ловите соболей, а я буду снимать шкурки, сушить». Охотники не знают, как отблагодарить. Покормили охотники гостя, легли спать. Ымхи подумал: «Хоть бы двадцать соболей послал в мои ловушки. Столько соболей, пожалуй, хватит на юскинд». Подумал так ымхи и уснул с этой мыслью.

Младший ахмалк подумал: «Мне бы поймать хоть двадцать пять соболей. Тогда мои отец-мать скажут, что я добытчик». Подумал так младший ахмалк и уснул.

А старший ахмалк подумал: «Знать, я наделен счастьем, раз сам Тайхнгад пришел ко мне в гости. Сделай так, чтобы мои ловушки всегда были полны добычи». Подумал так ахмалк и уснул с этой мыслью.

Утром охотники проснулись рано и пошли проверять ловушки. Увидели: в каждой ловушке сидит соболь.

Ымхи подумал: «Надо снять ловушки. Если так будет ловиться, не успеем обработать шкурки». Так же подумал и младший ахмалк.

А старший подумал: «Вон как ловится соболь. Хорошо, что я поставил столько ловушек». Снова зарядил ахмалк свои ловушки. А добычу в мешках таскал к балагану несколько дней подряд.

Пока он таскал соболей в мешках, во всех его ловушках оказалась новая добыча.

Старик тогда сказал: «Не надо так торопиться, я не успеваю обрабатывать шкурки, и они портятся».

Ахмалк ничего не сказал. Но и ловушки не снял. И накопилось соболей так много, что негде их хранить.

Старик опять говорит: «Не надо ловить так много священных зверей — ведь и они портятся».

Ахмалк подумал: «Старик только мешает мне охотиться. Надо избавиться от него». Он знал: Тайхнгад не любит, когда

костер складывают из пихты: пихта, разгораясь, трещит так, что на все живое наводит страх.

Ахмалк незаметно срубил пихту, незаметно положил в костер. Костер вспыхнул, затрещал. «Тэх-тэх-тэх!» — трещит огонь. «Ыйк-ыйк-ыйк!» — вздрагивает Тайхнгад. Потом старец молча надел шапку и вышел из балагана.

На следующее утро охотники услышали шум, будто ветер прошел по лесу. И увидели охотники: по сопке проходит лесная девушка. Она не смотрела в сторону охотников. Шла и звала, как щенков: «Кыть-кыть-кыть». И со всех склонов и распадков, из кустов и из-под валежин, из расщелин и нор выскочили соболи, окружили девушку-красавицу, идут вместе с нею. А она все зовет: «Кыть, кыть, кыть». И вдруг все соболи, которых старший ахмалк хранил в амбарах, ожили и присоединились к большому стаду.

Схватился старший ахмалк за голову, побежал за соболями с криком: «Соболи! Соболи! Мои соболи!»

Долго бежал ахмалк. Но куда там. Ступит девушка — она на одной сопке, ступит второй раз — уже на другой сопке. А вместе с нею перелетает от сопки к сопке стадо соболей.

Бежал охотник за соболями, только видели ымхи и младший ахмалк его распростертые руки и долго слышали, как по распадкам и ущельям, дробясь и затухая, разносился голос: «Соболи! Соболи!»

Вернулись ымхи и второй ахмалк в стойбище. Отдал ымхи отцу-ахмалку юскинд, забрал жену. Ымхи и ахмалк рассказали о случае в тайге. Их рассказ стал преданием.

КАК КРАСАВИЦА ХОТЕЛА УЙТИ ОТ ЛЮДЕЙ

Раньше род Пилвонгун был большим и сильным. Много было в нем мужчин-добытчиков. И мяса у них всегда имелось вдоволь, и рыба не выводилась.

В этом старейшем роду была красивая девушка — любимица матери, отца и всех сородичей.

Росла девушка, ничего не делала, только набиралась красоты.

Выросла она красивая, гордая. Никого не хотела видеть, ни с кем не хотела разговаривать.

А женихи стали наезжать один за другим. Говорили с отцом, с матерью. А красавица не желала никого видеть. Родители же так любили свою дочь, что не могли перечить ей.

Но женихи — не из тех людей, которые быстро отстают.

И вот сказала красавица своим родителям:

— Отец-мать, мне надоели люди. Я никого не хочу видеть. Уйду я туда, куда ничья нога не знает дороги.

Заплакали отец и мать, но и здесь не могли они перечить гордыне дочери.

Только дали старики дочери удочку, нож, камень-оселок для правки ножа. Красавица еще взяла деревянный гребень, чтобы наводить красоту.

Далеко ли ушла девушка — никто не знает. Только очутилась она на берегу реки в небольшом теплом то-рафе. Кто хозяин то-рафа, неизвестно. Вокруг нет следов, и очаг без углей и золы. «Наверно, курнг меня осчастливил: подарил то-раф», — подумала красавица.

Поселилась красавица в то-рафе, живет себе одна. Вокруг — лес: много дров. А проголодается — выйдет к реке, наловит всякой рыбы и — сыта. Только и знает красавица ловить рыбу, готовить себе еду, потом ложиться спать. А спать она любила подолгу: ей нравилось видеть красивые сны.

И еще она выходила на реку, когда наступала хорошая погода. Она глядела на воду, долго причесывалась, засматривалась на свое отражение и, тихо улыбнувшись своей красоте, возвращалась в то-раф спать.

Однажды пошла она на марь собирать вкусную ягоду морошку. Ходила она по мари, наклонялась за сочной ягодой. Как-то увидела на краю мари женщину.

Обозлилась красавица, ушла к себе в то-раф.

На другой день снова пошла на марь — уж очень вкусна морошка. Ходила она по мари за ягодой, увидела на краю мари мужчину.

Совсем обозлилась красавица, повернулась к нему спиной и ушла к себе в то-раф.

Прошло еще несколько дней. Девушка боялась, что вся морошка повянет и ссыплется, — пошла собирать ее. Ходила она по мари, наклонялась за ягодой. Наклонилась — поднялась: увидела под кустом кедрового стланика голого младенца. Младенец лежал беспомощный, только шевелил ручонками и ножками.

Подбежала красавица к младенцу, схватила его на руки, отнесла к себе в то-раф.

Вырезала она бересту, сшила из нее тякк — люльку, привязала люльку к жердинке на потолке.

Кормила красавица ребенка грудью, приговаривала:

— Мой бедный младенец, без отца, без матери. Вот мой мытик[1]. Ешь и расти быстро.

А младенец хватает грудь руками, сосет жадно и больно кусает. «Неужели у младенца есть зубы?» — подумала красавица.

А младенец сосет грудь и растет быстро. Вот он уже сам раскачивается в тякке.

Как-то принесла красавица юколы — вяленой кеты. При-

---

[1] Мытик — грудь.

несла, положила на столик и по какой-то надобности вышла. Вернулась в жилище — смотрит: от юколы остались обгрызенные куски. А младенец висит в своей люльке и раскачивается.

Принесла красавица еще юколы, положила на столик, вышла. А сама приникла к щели в двери. И увидела: младенец быстро развязался, спрыгнул с люльки, подбежал к столику, схватил юколу, и от юколы только крошки полетели. Младенец жевал, как голодная собака. Во рту у него мелькали длинные зубы. Проглотил младенец всю юколу, вскочил в колыбель, быстро обвязался и стал раскачиваться.

Красавица испугалась. Но вошла в то-раф. А младенец плачет, просит грудь.

Красавица положила за пазуху гребень, камень для правки ножа. А младенец раскачивается, плачет.

Красавица выскочила из то-рафа и побежала что есть силы. Бежала она по берегу и думала: «Скорей бы к людям! Скорей бы к людям!» А сзади доносится:

— Ымыка! Мытик, мытик! [1]

Девушка оглянулась: бежит за ней младенец, толстый, большеголовый.

Еще пуще побежала красавица. Но вот уже совсем рядом слышит:

— Ымыка! Мытик, мытик!

Тогда красавица бросила через голову гребешок. Только коснулся гребешок земли, поднялся густой лес. Деревья стоят часто, как зубья гребешка.

Обрадовалась девушка, подумала:

«Теперь-то кинр не догонит меня». Подумала так и пошла медленней.

Но тут услышала совсем рядом:

— Ымыка! Мытик, мытик!

Выскочил кинр между деревьями. Красавица побежала сломя голову. Бежала, бежала она, но кинр не отстает от нее. Устала красавица. И тогда бросила через голову камень для правки ножа. Только коснулся камень земли — поднялась большая гора. «Теперь-то кинр не догонит меня», — подумала девушка и пошла медленней, чтобы унять сердце.

Но не успела она отдохнуть.

Опять услышала:

— Ымыка! Мытик, мытик!

Оглянулась: кинр быстро сбегает с вершины горы.

Побежала красавица. Бежала долго. И уже думала: «Наверно, умру от кинра», когда увидела горную речку, на берегу которой росли высокие тополя. Заметалась красавица, не зная, куда деваться. А кинр уже совсем рядом. И тогда вскочила красавица на высокий тополь, забралась на самую вершину.

[1] Мать! Грудь, грудь!

А кинр подбежал к тополю и стал грызть комель. Бегает вокруг дерева — только щепки летят в разные стороны. И вот уже дерево раскачивается. Девушка просит:

— Повались, дерево, вершиной к другому берегу, дай мне дойти до людей.

Услышало дерево просьбу девушки, повалилось вершиной к другому берегу.

Только соскочила красавица на крутой берег, сильное течение подхватило тополь, развернуло и унесло вниз. Кинр остался на том берегу.

Прибежала красавица в стойбище, рассказала отцу-матери.

Те сказали:

— Это курнг наказал тебя за то, что ты хотела уйти от людей.

ДЕВУШКА И ВЕХР

В маленьком то-рафе на краю стойбища жили две сестры. Вместе спали, чтобы было теплей. Вместе ходили за дровами: одной боязно идти в лес.

Но вот старшая сказала:

— Аска[1], сегодня я пойду посмотреть, поспела ли ягода. А ты сиди дома, укройся х'ухтом. Никому не отвечай.

Взяла старшая сестра тякк — берестовую посудинку, ушла в лес.

Младшая легла на понахнг[2], укрылась х'ухтом с головой и не шевелится.

Прошло некоторое время. И девушка слышит: кто-то ходит вокруг то-рафа, ищет дверь. Потом потянул за дверной ремень, открыл дверь. Вошел, обошел очаг, молча присел на край понахнг.

А девушку распирает любопытство. Она тихонечко приподняла полу х'ухта, чтобы посмотреть, кто сидит рядом. И увидела большую женщину в богатом х'ухте. Волосы в две косы. Только во взгляде женщины что-то нечеловеческое, страшное. Девушка догадалась, что это вехр — злой дух.

Испугалась девушка, опустила полу х'ухта. Но вехр заметила движение.

— Кто лежит под х'ухтом? — спросила вехр.

Девушка молчит, затаила дыхание. Тогда вехр схватила за подол х'ухта, дернула. Увидела девушку. Девушка испугалась, думает: «Вот сейчас съест меня».

— Не бойся меня. Я тебя не съем. Ты красивая, будешь женой моего брата.

---

[1] Аска — обращение к младшим (брату или сестре).

[2] Понахнг — почетное место для гостей, нары.

— Нет, я не буду женой твоего брата. Вы убиваете людей и едите их мясо. Я не стану женой людоеда.

Тогда вехр набросилась на девушку и стала щекотать. Щекотала, щекотала — защекотала до беспамятства.

Очнулась девушка в красивом то-рафе. А в то-рафе большой очаг. У очага — длинные вертела, и на них куски жареного мяса. Хозяин то-рафа — большой красивый мужчина. Волосы заплетены в одну косу. Он сидит на понахнг. Справа от него на лежанке сидит вехр, сестра красивого мужчины.

Вехр говорит девушке:

— Вот мой брат. Ты будешь его женой.

Сидит девушка, молчит. Понимает, что ей некуда деться. Молчала, молчала и сказала:

— Буду ли я твоей женой или не буду — не моя воля. Но я человек и не ем вашей пищи.

Мужчина отвечает ей:

— Для своей любимой жены я добуду мясо любого зверя.

Сказал так, обернулся в большую невиданную птицу, взмахнул крыльями, вылетел в томс-куты — дымовое отверстие на потолке. А там, где он стоял, осталась на полу шкура, золотистая, похожая на шкуру змеи.

Вехр быстро соскочила, схватила шкуру, свернула ее и спрятала за пазуху.

Поднялся брат вехр выше облаков, полетел к дальней земле — хотел добыть для жены мясо неслыханного зверя. Летит он над облаками, только черная тень скользит по тайге, сопкам, долинам и рекам.

Пока он летал, наша девушка уснула и видит такой сон. Старшая сестра говорит ей: «Сестра моя, не будь женой людоеда. Не плоди людоедов, их и так много на земле. Отбери у вехр шкуру людоеда, сожги ее. И людоед без своей шкуры не сможет жить на земле и умрет от разрыва сердца».

Проснулась девушка. Видит: сидит вехр у горящего очага, жарит мясо и громко чавкает.

Думает девушка, как отобрать у вехр шкуру ее брата-людоеда. Потом вспомнила девушка, как вехр защекотала ее.

Поднялась девушка с лежака, сзади набросилась на вехр, крепко обхватила ее руками и ногами и стала щекотать.

Щекотала, щекотала — защекотала насмерть. Потом развела большой костер. Пламя и дым поднялись над очагом, дым и искры вылетали в томс-куты. И услышала девушка: с неба раздается грохот. Это летит брат вехр, несет своей жене мясо неслыханного зверя.

Схватила девушка вехр, кое-как приподняла ее и бросила в очаг. Потом добавила еще дров в огонь.

В это время брат вехр уже опускался в томс-куты. Но его шкура сгорела вместе с вехр. Закричал брат вехр, загремел крыльями, взмыл над землей.

Люди разных стойбищ видели: его тень скользнула по тайге, сопкам, долинам и рекам.

Говорят, он долго летал и никак не мог приземлиться. Летал, летал брат вехр, устал и умер от разрыва сердца.

И по сей день между сопками Ых-мифа есть глубокая впадина — след от падения брата вехр. И с тех пор на земле стало меньше злых духов-людоедов.

А девушка вернулась в свой то-раф, рассказала обо всем старшей сестре и всем жителям стойбища.

И с той поры случай с девушкой стал тылгуром — преданием людей таежного стойбища, и его передают из поколения в поколение, рассказывают малым и большим.

В МЛЫХ-ВО

Спроси у моих сородичей, где находится Хоркс — вход в Млых-во? Северяне скажут: надо идти по западному побережью в сторону Ккоккр[1], и где-то в распадках Кршыус южнее бывшего селения Руй и находится вход в Млых-во.

Я был в тех изрезанных распадками местах. Добирался где на машине, где катером, где пешком. Разговаривал там со стариками из рода Кршыус-Пингун. Они сказали: да, где-то в наших распадках находится вход в Млых-во. Но кто-то сказал совсем другое: вход в Млых-во находится на Т'ый[2].

Я бывал и на Т'ый. Местные старики сказали: да, где-то в нашей долине у склона какой-то сопки и находится вход в Млых-во. Но кто-то сказал, что слышал еще от отца своего отца: Хоркс находится где-то на Ккоккр. Я искал Хоркс, чтобы найти причину «прописки» входа в Млых-во в том или другом месте Ых-мифа.

Но приехал на Кэт[3] с Ккоккр человек из рода Руй-фингун по имени Колка.

Колка не увлекался ни рыбалкой, ни охотой. Кажется, со зрением у него неважно — во время войны взрывом опалило ему лицо.

И я не знал, зачем он проделал много сотен километров. Но вскоре выяснилась причина его путешествия: он женился на Мулгук, женщине из рода Кевонгун. Моя мать тоже из рода Кевонгун. Она старше Мулгук. Так что Колка стал моим ымхи. А я ему — ахмалк.

Колка неважный рыбак и неважный охотник. Но он знал много старинных тылгуров.

---

[1] Ккоккр — «Низ» — название средней части западного побережья Сахалина.

[2] Т'ый — Южный Сахалин, бассейн реки Поронай.

[3] Кэт — северо-восточное побережье Сахалина.

Как-то во время летней рыбалки мы остановились с ночлегом на берегу нерестовой реки. Тымь, что несет свои воды в Пила-керкк — Охотское море. Мы срубили шалаш и развели ночной костер.

После нежного шашлыка из горбуши и крепкого чая пришло время тылгура. Я попросил своего ымхи рассказать, где находится Хоркс. И если он знает где, чем объяснить, что «вход» в Млых-во находится там, а не в другом месте.

Колка глянул на меня удивленно и сказал: «Я не знаю, где находится Хоркс — не был там. Но знаю тылгур «В Млых-во».

И вот что рассказал Колка.

Раньше на берегу залива стояло стойбище. Жили люди стойбища в дружбе и согласии. Никто никого не трогал, каждый жил своей жизнью. Все реки были полны рыбы. И жители стойбища ловили так много рыбы, заготовляли так много юколы, что заполнили ими все амбары и другие хранилища. На всю зиму хватало припасов и еще оставалось. И люди стойбища еще и кормили своих соседей. Даже из самых отдаленных краев приезжали голодные, и им не отказывали.

Так продолжалось долго. Но пришел конец счастливым годам. Кто-то, имя которого забыло предание, сказал, что люди не умеют рыбачить. Нужно ставить сети не на заливе, а у входа в устье реки.

Поехали рыбаки к нерестовой реке, поставили сети. Поставили сети так плотно, что загородили вход в реку. И действительно, рыбы подошло к сетям очень много — рыбаки не успевали снимать улов.

Все знали: рыба, как и птица, оставляет потомство там, где она сама родилась. И если ее выловить, в последующие годы не жди подходов рыбы. Знали, но поступили так, как велел этот человек. Уже осенью следующего года люди узнали, что такое голод.

Зима выдалась холодная, затяжная. Голодало все стойбище.

И мужчины стали искать счастья в охоте на таежного зверя. Уходили охотники в тайгу, в сопки — не все возвращались. Жители стойбища дивились: куда исчезают кормильцы? А тут еще пошли болезни, и люди начали умирать. Только еда могла спасти стойбище от беды.

И вспомнили люди того, кто велел ставить сети в устье нерестовой реки. Вспомнили его и наказали идти в тайгу.

Хорошим ли был охотником или плохим, но взял оружие, стал на лыжи и пошел в тайгу промышлять.

Только вышел за стойбище, увидел свежий лисий след. И подумал охотник: «Может быть, удача меня ждет».

Пошел охотник вслед за лисой. Шел, шел — увидел черно-бурую лису: она копалась в заснеженных кустах. Близко подошел охотник к зверю. И прежде чем пустить стрелу, по-

думал: «От этой твари сыт не будешь — мало мяса, разве только четверых накормишь. Но зато шкура какая!»

Только подумал так охотник, лиса почуяла опасность, и прежде чем охотник понял, что его заметили, лиса скрылась за кустом.

Обругал охотник себя. Но что делать, надо идти по следу: авось где-нибудь да и настигнет зверя.

Долго ли шел охотник или недолго, но вдруг увидел: след привел к подножию сопки и оборвался у норы. И заметил человек: нора не похожа на обычные норы — вход в нее шире. Голод и желание добыть зверя заставили охотника войти в нору. Вполз охотник в нору — темень окружила его. Полз, полз человек на животе и почувствовал: стены норы раздвинулись, и голова уже не задевает за верхний свод. Стал охотник на четвереньки и пополз дальше. Чем дальше полз охотник, тем своды становились шире, шире. И вот встал человек на ноги.

Встал человек на ноги и пошел дальше. Шел, шел — заметил, стало светлее. «Откуда свет? — подумал охотник. — Наверно, прошел сопку насквозь».

А вокруг все светлее, светлее. И вот стало совсем светло, и охотник не поверил своим глазам: попал он из зимы в лето. Густая трава поднимается до колен, белокорые березы светлой рощей встали у реки. А река быстрая, горная. Небо синее-синее. На нем высокие белые облака и жаркое ослепительное солнце. За березовой рощей — синие сопки.

Остановился охотник, ничего не понимает. Подумал, что это сон. Ущипнул себя за руку — больно, ущипнул себя за уши — больно. «Нет, это не сон», — решил охотник и пошел по берегу реки. А вода в реке светлая-светлая: видны камешки на глубине и стаи больших серебристобоких рыбин.

Идет охотник по берегу, смотрит: навстречу вышли двое юношей. Идут юноши по берегу, колют рыбу острогой, весело переговариваются. Когда юноши поравнялись с охотником, охотник узнал их. «Да это же те двое, которые ушли охотиться на оленей и не вернулись. А люди думали: силы покинули юношей, и юноши замерзли где-нибудь в тайге».

Поравнялись юноши с охотником и, не останавливаясь, проходят мимо, будто его не видят. Обозлился охотник, окликнул их. Те даже не оглянулись — переговариваются между собой, весело смеются, колют жирную рыбу.

Окликнул их охотник еще раз. Те будто не слышат его. Совсем обозлился охотник и, оскорбленный непочтением, пошел дальше.

Шел, шел охотник по красивому берегу, видит: впереди большое селение. У каждого дома по нескольку х'асов, сплошь занятых кетовой юколой. Дети весело прыгают, резвятся. Сытые собаки развалились в тени и лениво шевелят пушистыми хвостами — отгоняют мух.

У одного дома сидит мужчина с седеющими волосами, строгает чевл-ручку к остроге. Подошел наш охотник к нему, а он даже не поднял головы, продолжает строгать и напевает какие-то мелодии.

Присел охотник на корточки, вытащил сумку с табаком, предложил мужчине закурить. А тот никак не ответил нашему человеку, продолжает свое дело. Тогда охотник кашлянул. Мужчина и на это никак не ответил. Опять обозлился наш человек, ударил рукой по палке. Мужчина удивился и сказал: «Что это: мой чевл ожил?» Удивился старик и опять стал строгать чевл.

Наш человек схватил за конец палки, дернул. Нож соскочил с палки и порезал руку мужчине. Мужчина отложил палку, побежал в дом. Наш человек вошел следом. Вошел и увидел: ох и богатый дом! На понахнг красивая дорогая постель. Прошел охотник к понахнг, сел. Справа от него сидит молодая женщина. Она бранила мужчину: «Ты словно ребенок: строгал палку, а порезал руку». И тут узнал наш человек: молодая женщина была его невестой. Она ведь умерла в прошлую осень? Как же она теперь жива?

Вскоре снаружи донеслись голоса, и в дверях появились те двое, которые встретились охотнику на берегу реки. Они прошли мимо очага, сели на нары. Обратились в правый угол, где сидела старая женщина:

— Мать, мы наловили свежей рыбы.

Старая женщина сказала:

— Дети, принесите рыбы, сварим ее и поедим.

Молодая женщина, которая в том свете, где теперь зима, была невестой нашему человеку, и еще одна девушка, что сидела рядом со старухой, вышли за рыбой. Отобрали они вкусную рыбу и стали резать. А мужчины разговаривают между собой, смеются, не замечают нашего человека. А наш человек удивляется: слепые — не слепые, глухие — не глухие. Что за люди?

Приготовили женщины рыбу, сварили. Сварили рыбу, пригласили мужчин к столу. А нашего человека не замечают.

Едят хозяева рыбу, весело переговариваются между собой. А у охотника от голода стянуло живот, и слюни натекают в рот — только успевай глотать. Сидел, сидел наш человек, ждал, когда и его пригласят к столу, — не дождался. Хозяева поели, женщины прибрали стол, вынесли объедки.

Когда хозяева кончили есть, уже вечерело. И хозяева легли спать. Молодая женщина, которая была невестой нашего человека, легла ближе к выходу. «Если не покормили меня, то хоть отдохну. Уговорю свою невесту и заберу с собой», — решил он. Решил так и лег рядом с ней.

Женщина вскочила и сказала: «Что-то холодное вошло в мою постель и остудило ее».

Хозяева удивляются:

— Что могло остудить твою постель?

— Что-то холодное, вроде льда, — отвечает девушка.

— Откуда взяться льду? — удивляются хозяева.

Молодая женщина села на край постели, так и просидела всю ночь без сна.

Утром хозяева позавтракали и опять не покормили нашего человека.

Разозлился наш человек, ногой ударил стол, перевернул. Удивляются хозяева, переглядываются. Старший говорит: «Однако сегодня день какого-нибудь злого духа. Надо позвать шамана, пусть скажет, что за день сегодня».

Сказал так и направился к двери. Наш человек подставил ему ножку. Хозяин упал, потом поднялся, посмотрел на пол и сказал:

— Вроде бы ничего нет, а я споткнулся. Да, сегодня явились злые духи. Надо быстрей позвать шамана.

Вышел наш человек за хозяином. Увидел х'ас, который ломился от юколы. Подошел к х'асу, сорвал юколу и стал есть. Ох и вкусная юкола! Нежная, жирная! Съел две юколы, сорвал целую охапку, связал их, взвалил на плечо и понес: надо же убедить своих сородичей, что он не зря пошел промышлять.

Шел, шел охотник, пришел к тому отверстию, через которое он попал в странный мир. Прошел в широкое отверстие. А своды становятся ниже, ниже. И вот пополз человек на четвереньках, таща за собой юколу. Потом пришлось ползти на животе.

Вышел из отверстия наш человек — попал в зиму. Хотел взвалить юколу на плечо, смотрит: у него в руках не юкола, а одна гниль.

Пожевал охотник то, что осталось от юколы, никакого вкуса нет, будто это труха древесная. Удивился теперь наш охотник, испугался, что придется ему голодать, хотел обратно войти в отверстие, но оно на глазах сократилось. Осталось маленькое отверстие — нельзя даже руку просунуть. И охотнику ничего не оставалось, как идти в голодное стойбище.

Пришел охотник в стойбище, собрал стариков, рассказал им о своем приключении. Все рассказал. И старики сказали:

— Ты шел за лисой и попал в Млых-во.

И еще сказали:

— То, что ты рассказал нам, сделаем преданием. Будем передавать его из поколения в поколение, из уст в уста. Будем рассказывать и малым и большим.

А человек, побывавший в Млых-во, повалился на пол, умер.

Старики объяснили:

— Он умер, потому что в Млых-во ел их юколу. И еще потому, что ложился в постель к той женщине.

О БЕДНЯКЕ, КОТОРЫЙ ЖЕНИЛСЯ НА ДОЧЕРИ МОРСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

На краю большого селения находился маленький ке-раф — летнее жилье. В этом ке-рафе жили юноша и его мать. У юноши не было ни своей сетки, ни своей лодки. Чтобы не умереть с голоду, ездил юноша на рыбалку с людьми из рода ахмалк-тестей.

Каждый день уходили тести на рыбалку. И каждый день с ними уходил юноша. Тести сажали юношу за весла. Против ли течения, против ли ветра — но юноше одному приходилось вести лодку.

Много ли поймают рыбы, мало ли поймают рыбы — тести всегда обделяли юношу из рода зятей. И никогда не давали ему больше двух рыб: одну для него, другую, чтобы он покормил свою мать.

После больших уловов все х'алнгары[1] стойбища бывали завешены юколой. Только х'алнгар юноши оставался пуст.

Как-то рыбаки притонили большой улов. Получил юноша две рыбы, принес домой, опустил их в большой котел с водой. Одна рыба — самец, другая — самка.

Мать сказала:

— Сварим одну рыбу, а другую оставим на завтра.

Вытащила самца, распотрошила его, сварила. Сварила рыбу, покормила сына и сама поела.

Поели и легли спать. Ночью слышит юноша: в котле раздаются всплески. Поднялся юноша, подошел к котлу. И видит: ожила рыба, бьется в котле, поднимает брызги.

Юноша призадумался: «Вчерашняя рыба. Она подохла, как только вытянули сеть на берег. А ночью вдруг ожила. С чего это?»

Потом вспомнил старинное предание, которое говорит: както принес рыбак рыбу и положил в котел с водой, а та рыба расплодилась, и рыбак каждый день до конца своей жизни ел свежую рыбу.

Только вспомнил старинную легенду, слышит женский голос:

— Пожалей меня, юноша, отпусти. Не рыба я — я толршанг, морская женщина. Обернувшись рыбой, резвилась у прибрежной отмели. Вы запутали меня сетью, вытащили. Отныне ты каждое утро выходи к своему х'алнгару. Он будет полон свежей рыбы. Ты будешь знать одно: резать юколу, вялить рыбу. Что день — так новая рыба завалит твой х'алнгар. Пожалей меня, выпусти в море.

Юноша говорит:

---

[1] Х'алнгары — сооружения для вяления рыбы и разделки морского зверя.

— Мы с моей матерью самые бедные люди стойбища. Не имеем ни сети, ни лодки. Нам не много надо: один х'алнгар юколы, чтобы не умереть зимой с голоду.

Отнес юноша рыбу к морю, выпустил. Набежавшая волна подхватила ее, и рыба вильнула хвостом, ушла в глубину.

На другое утро первой встала мать. Решила сварить рыбу: сыну нужно поесть перед рыбалкой. Сунула руку в котел — не нашла рыбу. Подумала: наверно, сука ночью пробралась в ке-раф и съела рыбу. Вышла посмотреть: сука на привязи. Куда же девалась рыба?

Разбудила сына. Сказала:

— Наша рыба куда-то исчезла. Сходи к своим ахмалкам — они подадут тебе что-нибудь перед рыбалкой.

Оделся сын, вышел. Посмотрел на х'алнгар — он сверкает на солнце серебристой горкой рыб.

Вернулся сын в ке-раф, сказал матери:

— Сходи к х'алнгару, принеси на завтрак рыбы сколько нужно. После завтрака будем резать юколу.

Мать удивленно взглянула на сына:

— Что ты говоришь, сын мой? Не болен ли ты?

Сын ответил:

— Нет, не болен я, мать. Сходи к х'алнгару, возьми рыбы.

Вышла мать. Не поверила своим глазам: весь х'алнгар завален рыбой. Приставила лесенку, поднялась на х'алнгар, взяла в руки холодную свежую рыбу. Подумала, что это ахмалки стали добрыми и подарили своим ымхи столько рыбы.

Приготовила мать рыбы. И впервые мать и сын поели досыта.

Потом взяли ножи и стали резать рыбу на юколу. Целый день они резали, заняли под юколу все шесты.

На другое утро мать опять встала раньше. Увидела на х'алнгаре жирную нерпу, совсем свежую. Старая женщина обрадовалась и очень благодарила в душе своих ахмалков, думая, что это они угостили своих бедных соседей так щедро.

Теперь каждое утро бедняки находили свой х'алнгар заваленным то рыбой, то морским зверем.

Однажды пошла старуха мать к ахмалкам, чтобы как-то отблагодарить их. Пришла, сказала:

— Вашей волей мы теперь сыты. Много юколы заготовили. Мы даже не знаем, чем вас отблагодарить.

Ахмалки переглянулись удивленно:

— Мы ничего не знаем. Сами удивляемся: ваш х'алнгар каждый день завален, будто удачливые братья из старинного предания все ночи только на вас и рыбачат.

Старуха вернулась к себе, сказала сыну:

— Не ахмалки одаряют нас своим уловом. Кто же тогда?

Как-то вышел юноша на морской берег, хотел собрать морскую траву. Видит, сидит девушка на дереве, выброшен-

ном волной. Думает юноша: «Откуда молодая гостья и к кому она пришла?»

А девушка сказала:

— В вашем стойбище живет юноша, который спас мою мать. Моя мать, обернувшись рыбой, резвилась у берега, и рыбаки запутали ее сетью и вместе со всякой рыбой вытащили на берег. Ахмалки дали своему ымхи всего две рыбы. Одной из них и была моя мать. Тот юноша был очень беден. Но он отпустил мою мать обратно в море. И моя мать в благодарность велела мне прийти в стойбище к тому человеку.

Юноша отвечает:

— Тот бедный юноша — это я.

— Раз так, веди меня к себе, — сказала девушка.

Привел юноша девушку в свой ветхий ке-раф.

Мать подумала: «Откуда эта молодая гостья?»

Хозяйка подала гостье покушать. Та поела и говорит хозяйке:

— Ты помнишь, потеряла рыбу, которую оставила в котле?

Хозяйка отвечает:

— Я правда потеряла рыбу. Оставила ее на завтрак, а утром не нашла в котле. Ночью к нам не могли забраться собаки, но рыба исчезла.

Гостья говорит:

— Это была не рыба — морская женщина. Твой сын отпустил ее обратно в море.

Старуха мать обращается к сыну:

— Скажи, мой сын, правду говорит наша гостья?

Сын отвечает:

— Это правда, моя мать. Нерпы и рыба, которые по утрам лежат на нашем х'алнгаре, — не дар ахмалков. Наши ахмалки больше двух рыбешек никогда не давали нам. Все это дар тол-ршанг — морской женщины.

Живет в ке-рафе семья: старая мать и ее сын с женой. Живут они, горя не знают. Всегда есть у них и всякая рыба, и мясо всяких морских зверей.

Ахмалки теперь каждый день приходят к ним в гости, называют юношу своим самым любимым и уважаемым ымхи.

Через год у юноши родился сын. Крепкий мальчик. Когда он подрос, отец стал брать его на рыбалку и на охоту. И сын вырос в сильного и удачливого охотника. Он умел распутывать следы всех лесных зверей, соболь не обходил его ловушек, медведь подставлял убойное место его оперенным стрелам.

Прошло много лет. Уже давно умерла старушка мать. Состарились и наши герои.

Как-то дочь морской женщины говорит мужу:

— Муж мой, наш сын давно взрослый. Пора нам иметь внука.

Муж согласился с женой. И вскоре их сын женился.

Прошло еще некоторое время, и у наших героев появился внук. И тогда дочь морской женщины говорит мужу:

— Муж мой, теперь у нас есть внук. А мы с тобой состарились. Нам скоро умирать. Я дочь моря. Отпусти меня умереть в море.

На другое утро проснулся наш герой, а его жены нет. Вышел старик к морю, но не нашел даже следов своей жены.

Вернулся старик в ке-раф, стал у колыбели и долго смотрел на спящего внука.

Говорят, он жил еще много лет. И видел, как внук принес первую добычу.

ЮНОША-СИРОТА И ШЕСТЬ БРАТЬЕВ-ЛЕНТЯЕВ

На берегу таежной речки, вдали от других селений стояло стойбище из двух землянок — одна маленькая, вторая большая — с двумя амбарами на сваях, с двумя лодками-долбленками. Одна лодка маленькая, одновесельная, вторая — большая, трехвесельная.

В маленькой землянке жил мальчик с больной матерью, который все делал сам: дрова рубил, сетку ставил, юколу заготовлял на зиму и охотился. Он рос крепким, смекалистым.

В большой землянке жила злая шаманка с шестью взрослыми сыновьями.

А сыновья шаманки были ленивые и глупые. Они ничего не делали по дому, все старались добыть без труда. Двум землянкам жить бы в мире и доброжелательности. Но не тутто было. Шаманка все дни и ночи только и шаманила, чтобы добыча шла не в петлю юного охотника из маленькой землянки, а в петли ее сыновей.

Так они жили несколько лет. Мальчик из маленькой землянки вырос в сильного юношу. Он теперь ловил еще больше рыбы и добывал еще больше зверя.

Шестеро братьев-лентяев завидовали ему.

Юноша много ходил в окрестных лесах, знал все распадки, ключи, сопки, озера. Он знал все нерестилища, куда приходят с моря метать икру тысячи лососей. Он знал тайхуры — глубокие ямы на дне реки, где отдыхают рыбы; знал места переходов соболя.

А братья-лентяи не ходили далеко в тайгу, не искали места охоты. Только следили за удачливым юношей и ставили ловушки вокруг его ловушек.

Однажды летом юноша нашел новую тонь. Поставил сети — поймал сотни горбуш. На другой день смотрит: плывет большая лодка. Подъехали братья-лентяи, поставили свои сети впереди и сзади его сети.

Юноша сказал на это:

— Где это видано, чтобы уважающие себя поступали как вы?

На это братья-лентяи ответили:

— Ни у тебя, ни у нас нет старших родичей. Самый старый человек в нашем стойбище — наша мать. Ну так вот, ее память говорит: первыми на это урочище пришли наши отцы, а твои — позже. Значит, мы — хозяева урочища, и потому все лучшие тони и охотничьи угодья — наши.

Юноша говорит:

— А наше родовое предание говорит, что наш род пошел отсюда. Хозяева обычно знают, где что находится. А вы все время преследуете меня.

Братья-лентяи отвечают:

— Да что там ваше предание! Мы не верим ему. Мы — хозяева урочища!

Юноша говорит:

— У нивхов считается грехом, если жители одного стойбища живут не в мире.

Братья-лентяи отвечают:

— А ты не ссорься с нами!

Юноше ничего не оставалось, как снять свою сеть и уехать искать другую тонь.

А шаманка сказала сыновьям:

— Пусть старается. Для нас же старается.

Как-то вернулся юноша в стойбище из тайги, видит: его х'ас пустой.

— Где юкола? — спросил у плачущей матери.

— Лентяи перетаскали в свой амбар, — ответила мать сквозь слезы.

Юноша ушел далеко, на побережье моря ловить нерпу, иначе умрешь с голоду. Добыл много нерпы и сивучей, заготовил шкуру и сало и отправился домой. Он не торопился: настал сезон охоты на соболя, пусть дети шаманки поставят ловушки в лучших местах и не трогают его! По дороге встретил оленью нарту: ехал богатый эвенк с мехами. Эвенк остановил оленей.

— Юноша! Нет ли у тебя что-нибудь поесть? А то я второй день ничего не ел.

Наш охотник накормил эвенка мясом и говорит:

— У тебя в нарте шкуры таежных зверей. У меня кушанье — дар моря. Давай поделимся тем, что у нас есть.

Эвенк, поедая вкусное мясо, говорит:

— Я согласен.

Юноша вернулся домой, таща за собой нарту с мясом и мехами. Его встречает плачущая мать:

— Дети шаманки перетаскали все наши дрова, пожгли, а угли бросили около нашего дома.

Юноше ничего не оставалось, как собрать угли, отнести к берегу реки и сбросить там в яму.

Вскоре вернулись с охоты братья-лентяи. Узнали, что юноша привез много мехов, — диву даются.

Прибежали шестеро братьев к юноше:

— Как ты достал столько мехов?

Юноша отвечает:

— Я обменял их на уголь в стойбище эвенков.

Братья-лентяи прибежали домой, пожгли все свои запасы дров, насыпали полную нарту углей и заторопились в стойбище эвенков. Пришли. Ходят из юрты в юрту, предлагают уголь, просят в обмен меха.

В каждой юрте им отвечают:

— Ищите людей глупее себя!

Братья вернулись в свое стойбище, обозленные неудачей.

Пожаловались матери-шаманке. Она говорит сыновьям:

— Этого дурня мать научила всяким хитростям. Надо убить ее!

А мать нашего юноши лежала больная.

Шаманка пришла, приготовила из всяких корней и трав зелье и дала больной.

— Не пей! Зелье приготовила злая шаманка! — сказал матери юноша.

Больная мать отвечает:

— Умру я от болезни или от желания злого человека умру — все равно. А может, добрый дух нашей соседки поселится в моем больном теле, и я поправлюсь?

Выпила больная зелье и умерла к утру.

Загоревал юноша. Но нечего делать. Положил тело своей матери на нарту, обложил лисами, горностаями и потащил в лес, чтобы сжечь его на костре родового кладбища.

Нарубил из толстых сухих лиственниц длинные поленья. Совершил обряд. Хоть и было одному трудно, но все сделал по обычаю. Отправил мать в Млых-во — в потустороннее стойбище.

Поздно ночью, когда последние искры от костра поднялись в небо и превратились в маленькие-маленькие звезды, юноша возвращался домой. Он переходил реку, когда увидел: едет с морского побережья на собачьей нарте человек, везет много рыбы, нерпичьего мяса и сала.

— Зайди, человек, в мой дом, погрейся у очага и выпей горячего чая, — говорит юноша.

— Мне очень радостно встретить на пути человеческое жилье. Но спешу домой: там ждут не дождутся меня дети, — отвечает приезжий.

— Тогда возьми своим детям от меня гостинцы: шкуры соболя и лисы, — говорит юноша, отдавая ему шкуры, что остались, не были закопаны у костра.

— Я от благодарности не знаю, как поступить, — отвечает проезжий. — Возьми от меня нерпичьего сала и мяса. Если есть дети, пусть они будут сыты. Если нет детей, пусть будет сыта мать-старушка. Если нет матери, пусть будет сыт отец-старик. Если нет никого — будь сыт сам.

Показал юноша-сирота проезжему кратчайшую дорогу к его стойбищу и вернулся домой.

Утром прибежали братья-лентяи, смотрят, удивляются. Спрашивают, где он достал столько пищи.

— Если вы принесете труп женщины в селение ороков[1], они наперебой будут вам предлагать нерпичье сало и мясо, — отвечает юноша.

Побежали братья домой, убили свою мать-шаманку, положили на нарту и повезли в селение ороков. Заходят в каждый дом, предлагают труп матери в обмен на пищу. Мужчины-ороки палками прогнали их из своего селения.

Обезумев от злобы, прибежали братья-лентяи в свое стойбище, схватили братья-злодеи юношу из маленькой землянки, привязали к нарте и прикрыли сверху нерпичьей шкурой — решили утопить.

Все шестеро взялись за потяг и потащили нарту далеко от стойбища, к кипящему озеру. Долго шли они, устали. Устали и проголодались. Остановились по пути в одном селении. Зашли в крайнее жилище пить чай. Пьют. Один чайник пьют, второй — на огне. Второй чайник пьют, первый — на огне.

Слышит юноша: проезжает мимо кто-то. Юноша подозвал его, говорит:

— Я болел и умер. Мои братья повезли меня хоронить. Чтобы не выпал, привязали к нарте. Но по дороге я ожил. Моя братья пьют чай. Развяжи меня.

Тот развязал юношу.

Юноша привязал к нарте бревно и большой камень, прикрыл сверху нерпичьей шкурой и ушел домой.

Наевшись юколы и напившись чаю, шестеро братьев вышли из гостеприимного жилища, опять взялись за потяг и потащили нарту к озеру. Подтащили нарту к озеру и с прибрежного бугра скатили ее. Нарта исчезла на дне.

Братья-разбойники наперегонки побежали в свое стойбище, чтобы растащить добро юноши, которого, как они думали, удалось утопить. Один за другим перепрыгнули порог маленькой землянки. Смотрят — и глазам не верят: стоит он перед ними.

Говорит:

---

[1] Ороки — маленькая народность, живущая на Сахалине.

— Друзья мои! Там в озере, под водой, шесть сестер, одна красивее другой. Ждут вас.

Шестеро братьев-лентяев наперегонки побежали к озеру. Со всего разбега нырнули в кипящую воду. Оттуда уже никогда не вернулись.

А юноша ушел из своего стойбища в далекое путешествие искать людей.

ЧЕЛОВЕК И ТИГР

Три человека — тести и их молодой зять — пошли в тайгу промышлять зверя. Пришли к месту охоты, срубили балаган. А на другой день поставили ловушки.

Тесть, что помоложе, был сильным человеком. Сильнее его не найти на побережье. Но он любил хвастаться. Он говорил:

— Никакой зверь меня не осилит — такой я сильный. Никакой зверь не уйдет от меня — такой я ловкий.

Зять говорил тестю:

— Ты сильный и ловкий — это правда. Но в тайге много говорить — грех.

Тесть сердился на это, ругал своего зятя.

Каждое утро уходили охотники проверять ловушки. Но ни в одной ловушке не оказывалось добычи. Охотники снимали ловушки, ставили их на других местах. Но и там добыча не шла.

Зять говорил тестю:

— Ты своей болтовней отпугнул всех зверей.

Тесть отвечал:

— Это ты лишен удачи. Из-за тебя зверь не идет в наши ловушки. Я сильный и ловкий. И всегда был удачлив. Никакой зверь не осилит меня.

Как-то утром тести увидели неподалеку от балагана большие следы тигра. Старший говорит:

— Брат мой, беда пришла к нам. Надо быстрей уходить.

Младший брат, тот, который всегда хвастался, перепугался и говорит:

— Если мы все уйдем, тигр нагонит нас и съест всех троих. Оставим зятя в жертву. Тогда тигр не будет преследовать нас.

Так и решили братья. Как решили, так и поступили: ушли, не сказав зятю.

Зять приготовил еду и целый день ждал своих тестей. Но те так и не появились.

Утром охотник увидел: у входа в балаган лежит большой тигр.

Испугался охотник и замер. Сидит не шевелится. Прошел день, устал охотник, говорит тигру:

— Буду я шевелиться или не буду — ты успеешь съесть меня. Дай мне приготовить еду.

Тигр молчит.

Охотник развел костер, сварил чай, приготовил еду, поел. Потом снова обращается к тигру:

— Ты, гроза зверей, хозяин здешних мест, выпусти меня: мне надо проверить ловушки.

Тигр молчит. Лежит он, уронив голову на передние лапы, сторожит человека глазами.

Тогда человек снял х'ухт, бросил его на лежанку, заправил рубаху в брюки, засучил рукава. Взял в ладони листового табаку.

Накрошил табаку полную ладонь и бросил в глаза тигру. Тот взвыл от боли, закрыл глаза.

Разбежался человек, наступил на голову тигра между ушами, оттолкнулся и выскочил из балагана. Бросился тигр за ним.

Напротив балагана стояла береза с раздвоенным стволом. Прыгнул человек в развилку. Тигр — за ним. Но развилка оказалась для тигра узкой, и тигр застрял в ней.

Повис тигр в развилке, не может освободиться.

Понял охотник: не выбраться тигру. Собрался охотник и пошел проверять ловушки. Целый день ходил по тайге, проверил все ловушки, но ни в одной не оказалось добычи.

Повернул охотник назад, нашел вчерашние следы тигра и следы тестей. И только теперь понял охотник: тести бежали в стойбище.

Вернулся охотник к балагану. А тигр все висит в развилке, еле дышит. Лишь хрип и стон говорят, что он еще жив. Охотнику стало жалко тигра. Но нечего делать: тигр есть тигр, зверь лютый.

Охотник лег спать.

Утром охотник долго смотрел на тигра, думал. Потом взял топор и ремень, взобрался на березу. Обвязался ремнем и стал рубить толстый сук. Рубил, рубил — срубил. Свалился тигр на землю. Из его пасти выступила кровавая пена.

Настругал охотник нау — священные стружки, обвязал ими шею тигра. Потом стружками вычистил его пасть.

Вернулся охотник в балаган, приготовил завтрак, поел. И пошел проверять ловушки, взяв с собой копье.

Целый день ходил охотник по тайге, проверил все ловушки. Ни в одной ловушке не оказалось добычи.

К вечеру вернулся к своему стану. Видит: тигр уже свободно поднимает голову, но еще лежит. Дал охотник тигру юколы. Тот только притронулся к еде. Охотник, хотя и боялся тигра, подошел к нему, взял его лапу в руки, размял суставы. Потом вторую, третью, четвертую.

На следующее утро вышел из балагана, видит: тигр уже ходит. Подошел тигр к человеку, смотрит в глаза, тихо воет, будто что-то хочет сказать.

Человек обращается к тигру:

— Моей волею ты жив. Теперь уходи.

А тигр стал бегать вокруг балагана. Бежит быстро — только комья летят из-под лап.

Человек испугался, вбежал в балаган. И сразу почему-то захотелось спать. Лег человек, уснул. Видит сон. Тигр говорит ему: «Не бойся меня. Я тебе зла не сделаю. Садись на мою спину — отвезу тебя в свое селение. Одарю тебя, чем смогу». Человек тут же проснулся, взял копье и лук, вышел к тигру. Увидев человека, тигр потихоньку завыл, а сам прилег на землю и смотрит в глаза.

Человек осторожно подошел к тигру и так же осторожно перекинул ноги через его спину, сел.

Встал тигр, пошел медленно. Потом перешел на бег. И вскоре прыжками стал уходить в сопки. Охотник вцепился в загривок. Скачет тигр, перелетает от сопки к сопке, только топот сотрясает землю.

Прошло какое-то время. И тигр замедлил бег. А у большой реки остановился. Слез охотник с тигра. Тигр тихо завыл и исчез в кустах. Человеку стало боязно: уже темно, а он один в тайге неизвестно где.

Но тут появился тигр. Он принес оленя и положил у ног охотника.

Развел охотник костер, поджарил себе оленины, а тигру дал сырого мяса.

Человек и тигр ночевали у костра. Наутро подошел тигр к человеку, прилег перед ним. Теперь человек уже не страшился, удобно сел на тигра верхом.

И опять помчался тигр сопками — только гул раздается по распадкам. Целый день мчался тигр. К вечеру остановился у большого дома. «Что за дом в сопках?» — удивился охотник.

У дома стояли толстые такки[1], а на них несколько тигровых шкур. Подошел тигр к свободному такки и стал трястись. Трясся, трясся, и вдруг выскочил из тигровой шкуры человек. Красивый человек, молодой. Повесил человек тигровую шкуру на такки и сказал охотнику:

— Ты не бойся меня. Я из особого рода — из рода Палнивнгун. Мы надеваем шкуры лишь тогда, когда идем на охоту или на битву. А дома мы, как все люди. Идем в дом, человек.

Вошел тигр-человек в дом, а за ним — наш охотник. Увидел охотник: в доме много молодых людей. И среди них — старик и старуха.

Старик говорит тому, кто привел охотника:

[1] Такки — многорожковые шесты.

— Сын мой, ты старше своих братьев. Я думал, ты умнее этих несмышленых детей, а ты поступаешь, как безмозглый ребенок. Где видно, чтобы человек, не имеющий шкуры, приходил в наш род. Это великий грех.

Старший сын говорит:

— Если бы не этот человек — вы бы не увидели меня живым.

Рассказал старший сын, как человек спас его.

— Мы, Пал-нивнгун, самые сильные на земле. Но этот человек одолел меня.

Отец выслушал сына и сказал своим:

— Ты не зря, однако, привел этого человека. Ты привел его, чтобы отблагодарить. Но нельзя ему долго быть у нас. Это грех. Кто у кого долго живет, одевается в его шкуру, становится, как и он. Накормите гостя, потом спросите, чего он хочет. Не отказывайте ему ни в чем.

Собрали хозяева стол: мяса каких только зверей и птиц не было на нем, какой только земной пищи не было на нем!

Старший брат сел рядом со своим спасителем, поел вместе с ним.

Потом старик хозяин спрашивает у охотника:

— Скажи, человек, чем нам отблагодарить тебя?

Охотник говорит:

— Я не знаю, что просить. Что вы сами надумаете подарить мне — буду за то благодарен.

Тогда старик хозяин говорит:

— Отныне в твоих ловушках всегда будет зверь.

Охотник отвечает старику:

— Я не знаю, как вас благодарить. Но у меня есть просьба. Найдите мне жену.

Старший сын, тот, которого спас охотник, спрашивает:

— Отец-мать, как вы думаете?

Отец и мать сказали старшему сыну:

— Если ему понравится твоя сестра, отдадим.

Старший сын сказал:

— Отец-мать, я еще у балагана так думал. Но до сих пор молчал: боялся опередить вас.

И вот старуха мать сказала снохе:

— Сноха, найди мою дочь, позови. Скажи: тебя зовут отец и мать, тебя зовет старший брат.

Вышла жена старшего сына и через некоторое время вернулась. За нею следом вошла девушка невиданной красоты. Прошла она, села рядом со снохой.

Старуха мать сказала дочери:

— Вот этот человек спас твоего брата, нашего кормильца. Ты пойдешь с ним в его селение?

Девушка отвечает:

— Как же мне перечить воле старшего брата? Как же мне перечить воле отца-матери? Добудет брат зверя — я сы-

та, не добудет — голодна. Я жива удачей старшего брата.

И тогда хозяева посадили свою дочь рядом с охотником, чтобы они вместе поели.

Когда они поели, старик хозяин сказал:

— Пусть наш гость переночует, а утром уходит со своей невестой.

Когда подошла ночь, все легли спать. И охотник лег. Проснулся он в полночь, видит: на лежанках лежат не люди — тигры! Лежат и храпят так, что стены дрожат. Испугался охотник, так всю ночь и не сомкнул глаз. Утром тигры вновь превратились в людей.

Старик хозяин сказал охотнику:

— Не доходя до своего стойбища, сруби балаган и оставь мою дочь в нем. Попроси древних стариков и старух, чтобы они пришли к ней. Пусть ее кормят едой людей. Шесть дней пробудет она в балагане. Шесть дней будет есть пищу людей. Тогда моя дочь навсегда станет человеком.

Повел охотник свою невесту домой в стойбище. Долго ли шел он, но привел ее в долину. И не доходя до стойбища, срубил балаган. А сам спустился к стойбищу, собрал древних стариков и старух и рассказал им все.

Настругали старики нау — священные стружки, а старухи приготовили всякой еды. Поднялись они к балагану и шесть дней провели вместе с невестой нашего охотника.

Когда наступил срок, привели древние старики невесту в стойбище. Со всего побережья приехали люди, чтобы посмотреть на жену охотника.

Живут себе охотник и его жена. Какого только зверя не добыл охотник, какою только пищей не кормил он сородичей!

Говорят, они долго жили. Жили до глубокой старости. И когда совсем состарились, умерли своею смертью.

ОТКУДА ПОШЕЛ РОД ПАЛ-НИВНГУН

Известно, что Горный род — Пал-нивнгун — самый удачливый. В их ловушки идет самый дорогой соболь. На их тропах чаще, чем у других, встречается медведь и подставляет им убойное место. Им чаще, чем другим, орлы показывают свои гнезда, чтобы Пал-нивнгун брали орлят, выкормили их в больших орлов с богатым оперением. Ведь орлиные перья — дорогой товар. Их чаще, чем других, лисы наводят на свои норы, чтобы Пал-нивнгун достали из нор лисят, выкормили их. Ведь лисьи шкуры — дорогой товар.

Вот с чего Пал-нивнгун такие удачливые.

В далеком прошлом на берегу залива стояло два крупных стойбища. В верхнем стойбище жили рыбаки и охотники

на лесного зверя, в нижнем стойбище — рыбаки и охотники на морского зверя.

Долго жили люди в мире и добре. Ездили друг к другу в гости — возвращались домой с богатыми гостинцами. Но добру пришел конец. Жители нижнего стойбища украли у людей верхнего стойбища несколько женщин. Тогда люди верхнего стойбища пришли в нижнее стойбище и потребовали вернуть женщин. Но в ответ их крепко поколотили и выгнали вон. Обиженный род попросил родового шамана вразумить недобрых соседей. Много раз уходил шаман в нижнее стойбище, говорил с мужами и седовласыми старцами, но люди верхнего стойбища не дождались своих женщин. Наоборот, люди нижнего стойбища пригрозили верхним, что они еще придут и заберут других женщин.

В тяжбах и во вражде люди обоих стойбищ забыли о промысле: мало заготовили припасов.

Наступила долгая зима. Кончились припасы у тех и у других. Кое-как дотянули до весны.

Но весной новая беда опустилась на жителей верхнего стойбища: какой-то кинр — злой дух поселился в стойбище и стал уносить людей в Млых-во — селение усопших.

Узнали об этом злые соседи, нагрянули на верхнее стойбище, побили мужчин, увели женщин.

Только один юноша остался в живых. Он покинул осквернённый залив, ушел берегом таежной реки в горы.

Много ли шел юноша, мало ли шел — сам не помнит. Чтобы не умереть с голоду, ел клубни прошлогодних трав.

Не замечал он ни птиц, ни зверей, не замечал ни солнца, ни звезд.

Шел он, натыкаясь на деревья и кусты, падая и вновь поднимаясь. Шел он в забытьи. И очнулся тогда, когда его окликнул женский голос.

Юноша не поверил своим ушам. Оглянулся. И увидел на суку лиственницы девушку.

Девушка улыбалась доброй улыбкой. Юноша подумал: «Кто это? Может, новая беда — дочь милка — злого духа подстерегает меня». Испугался юноша и побежал сломя голову. Бежал он, натыкаясь на деревья и кусты, падая и вновь поднимаясь. Опомнился, когда вышел к горной реке. Пошел ее берегом вверх, к истоку и наткнулся на охотничий шалаш. Шалаш новый, сложен из свежих ветвей. А рядом горящий очаг.

Кто хозяин шалаша? Может быть, опять милк?

И подумал юноша: «Своей ли смертью от голоду умру, умру ли от милка — все равно умру. Зайду в шалаш».

Вошел юноша в шалаш и увидел: посредине стоит низкий столик, заставленный всякой пищей, а в углу сидит девушка, которая окликнула его в лесу. Девушка как девушка: сереб-

ряные серьги свисают с ушей, медные украшения на полах халата, черный волос в две косы до пояса.

«Раз стол накрыт, — подумал юноша, — я поем. Ох и богатый стол: здесь и мясо таежных зверей, здесь и птица, здесь и пища из реки. Если стол накрыл злой дух — умру. Если выживу — добрый дух хранит меня».

А девушка улыбается доброй улыбкой и ничего не говорит.

Сел юноша к столу, поел. Поел мяса таежных зверей и птиц, поел пищу из реки.

Наевшись, лег отдыхать.

От сытой еды потянуло ко сну. И не заметил юноша, как уснул.

Сколько спал, не знает юноша. Но когда проснулся, почувствовал в себе новую необыкновенную силу. Оглянулся вокруг и увидел: на столе — мясо таежных зверей и птиц, и всякие ягоды и клубни, и всякая рыба. Ох и богатый стол!

Девушка, так же как и вчера, сидела в углу, улыбалась доброй улыбкой.

И подумал юноша: «Раз я жив — добрый дух хранит меня».

И опять, как вчера, подсел он к столу и сытно поел.

Когда юноша кончил есть, девушка наконец заговорила:

— Ты меня принял за дочь милка. Но это не так. Я дочь Хозяина тайги и гор, доброго духа. Это я направила тебя к шалашу. Мой отец и моя мать узнали о твоем горе и велели мне спуститься с гор, встретить тебя. Если бы не я, ты бы заблудился. Ты бы кружил вокруг одной сопки, пока тебя не съела бы вехр — злой дух, хозяйка этой сопки. Отныне каждый день ты уходи в сопки, ставь ловушки. Соболь ли, медведь ли встретятся на твоем пути — станут твоей добычей. А я буду в шалаше думать о тебе, чтобы удача не обошла тебя.

С той поры охотник каждый день уходил в сопки. Каждый день приносил он богатую добычу. Говорят, удача никогда не покидала его. Долгой жизнью жил тот человек. И, умирая, он разделил очаг [1] Хозяина гор и тайги. И от этого человека пошел новый род — род Пал-нивнгун.

Много детей осталось от него и той женщины, дочери Хозяина гор и тайги. И никогда удача не покидала род Пал-нивнгун. В их ловушки идет самый дорогой соболь. На их тропе чаще, чем у других, встречается медведь и подставляет убойное место. Им чаще, чем другим, орлы показывают свои гнезда. Их чаще, чем других, лисы наводят на свои норы.

---

[1] «Разделить очаг» — значит войти в тот или иной род. В данном случае герой тылгура женится на дочери Хозяина (бога) тайги и гор.

О ЮНОШЕ БЕЗ РОДСТВЕННИКОВ

Посвящается сказителю ***Колке*** *из рода Руй-фингун*

В большом стойбище без отца, без родственников, с одной матерью жил бедный юноша. Жил он плохо. Вместе с соседями ездил на рыбалку. Рыбаки поймают много рыбы — ему только одну-две рыбки дадут. Жители стойбища заготовляли юколы так много, что уже негде хранить. А у юноши с матерью не было никаких запасов.

Осенью, когда мужчины собирались в тайгу соболевать, мать пошла просить людей рода тестей взять ее сына. Ей сказали:

— Хорошо. Пусть твой сын идет с нами в тайгу. Чай будет согревать — это в его силах, дрова будет рубить — это для него.

Вернулась мать домой:

— Сын мой, наши тести возьмут тебя в тайгу, чтобы ты чай кипятил, дрова рубил.

— Я согласен.

Мать обрадовалась, побежала к людям рода тестей:

— Мой сын согласен.

Тогда тести сказали:

— Пусть завтра утром приходит к нам — позавтракает и вместе с нами пойдет.

Мать прибежала домой:

— Передали, чтобы завтра пораньше пришел к ним. Они покормят тебя, и ты пойдешь с ними.

Назавтра, чуть рассвело, сирота был уже у тестей. Ему сказали:

— Поешь. Понесешь котомку.

Когда сирота поел, братья-охотники вышли из своего дома, взвалили на плечи котомки, сказали:

— Вон ту понесешь.

И сирота увидел большую котомку. Подошел, кое-как поднял на плечи и сказал:

— Она тяжелая, и мне за вами не поспеть.

Старший тесть говорит:

— Ты столько мяса съел, что две такие котомки должен нести.

Юноша промолчал. Только подумал: «Если взять обе их котомки вместе, и то они легче моей».

И вот пошли охотники. Долго они шли. Наш сирота далеко отстал. Тести устали, сели отдыхать. Когда сирота подошел к отдыхающим тестям, те подняли головы, посмотрели на солнце:

— О, солнце уже опустилось низко, нам надо торопиться!

Сирота хотел было сесть отдохнуть, но испугался — он ведь дороги не знает, может заблудиться. И, не отдохнув, последовал за тестями.

Тести опять ушли далеко. Через некоторое время они снова сели отдохнуть. И когда увидели, что к ним подходит сирота, вскочили на ноги, заспешили. И говорят между собой:

— Этот негодник даже воды не согреет, даже дров не нарубит. Только зря мы на него еду потратили.

Так они шли до самого вечера. И когда солнце ушло за сопки, тести наткнулись на большой дом. Удивились тести, увидев в сопках большой дом, вошли в него.

Хозяева дома: старик, старуха и молодая девушка. Одеты, как все нивхи, но меха у них дорогие. Хозяевы очень гостеприимны.

Старший брат подумал: «Наверно, мы наделены кысом — счастьем, коли сам Горный Тайхнад — сотворитель живого на земле — позволил нам войти в его дом». Старший брат знал: «Тайхнад не всем показывает себя. Он обычно невидим. А его дом, если пожелает хозяин, может стать невидимым, и охотник пройдет рядом, так и не увидев его».

Поели братья из рода тестей, напились чаю. И лишь когда они отодвинулись от пырша — низкого столика, появился сирота. Он еле стоял на ногах.

Тести увидели его и удивляются:

— Наш вехр[1] только сейчас догнал нас!

Когда юноша вошел, хозяйка-старуха подняла голову от шитья, пристально взглянула на него. Потом протерла глаза и еще раз посмотрела так же пристально. А сирота стоит у порога и не осмелится пройти к понахнг — к месту для гостей.

Смотрела-смотрела старуха и сказала:

— Похож на человека, который в давние годы раз или два раза заходил к нам. Верно, это его сын. Пройди к понахнг, садись.

Сирота вспомнил, как его мать говорила не раз, что отец был удачлив, потому что Горный Тайхнад благоволил к нему.

Сирота обошел очаг справа, но не дошел до понахнг, на котором сидела молодая дочь Тайхнада. Сел с краю, ближе к порогу.

Тогда тести говорят хозяевам:

— Мы не знали, что этот негодник ни на что не способен. Мы бы не взяли его с собой. Только зря еды на него потратили. От самой плохой собаки и то больше пользы.

А девушка будто и не слышала, что говорят охотники. Она приготовила кушанье, пододвинула столик к молодому гостю. А сама села есть вместе с ним. Юноша от благодарности не знает, как поступить. Он знал, что, если женщина садится есть с мужчиной, — это от сочувствия к нему.

[1] Вехр — работник, раб.

Когда поели, девушка сказала:

— Юноша, сними торбаса — я починю их. И свежего сена дам на стельки.

Сирота снял свои рваные торбаса, из дыр которых торчали сбитые пучки сопревшего сена.

Девушка починила торбаса, набила их свежим сеном.

Сунул сирота ноги в обувь и вышел из дома.

Когда вернулся в дом, его тести уже спали.

Дочь хозяина постелила сироте постель, достала свою рубаху из-под лежанки, подала и сказала:

— Пусть рубаха женская, носи ее. Носи ее под своей одеждой.

Сирота принял рубаху, надел ее на голое тело. И вскоре уснул.

В полночь девушка притронулась к его руке и сказала:

— Завтра утром, когда пойдешь в тайгу, не спеши. Иди вслед за старшими охотниками. Пусть они удаляются, не бойся заблудиться — я прослежу, чтобы ты не сбился с пути. Иди не спеша и придешь точно к месту охоты.

Сирота кивает головой.

А девушка говорит:

— Завтра утром я попрошу у отца две петли, отдам тебе. Когда придешь на место охоты, проложи две тропы: одна — за водой, другая — за дровами. Одну петлю поставь у тропы к ручью, другую поставь у тропы в чащу. Ты будешь дважды с удачей. Одна добыча — черный соболь, другая — невиданный зверь. Не показывай свою добычу тестям. Сними с добычи шкурки и спрячь под мою рубаху. Прижми к телу и высуши шкурки.

Утром тести встали рано, сами позавтракали. Девушка же собрала завтрак, накормила молодого охотника.

Когда тести вышли из дому, девушка сказала отцу:

— Отец, мне жалко юношу. Он очень беден. Дай мне две петли для него.

Старик пошел в нё — амбар на сваях. Взял там две петли, протянул дочери. Потом прошел к своему понахнг и достал сверток старинного китайского листового табаку и протянул молодому охотнику:

— Возьми в дорогу. Не давай своим тестям. Твои тести — плохие люди, никого не любят, обижают слабых. А я каждую зиму наделял их удачей. Нынче же сделаю так, чтобы они едва окупили свои труды.

Сирота принял сверточек. Девушка вышла вместе с ним и сказала:

— Вот тебе две петли-ловушки. Поставишь их — поймаешь двух зверей, очень дорогих, о которых даже в старинных преданиях не говорится.

Юноша поднял котомку, взвалил на плечи, отправился вслед за тестями, которые уже далеко ушли.

Шел-шел сирота и, когда солнце упало за сопки, пришел к месту охоты. Тести уже успели поесть. Они сами нарубили дров, сами приготовили еду. Отломили кусок прелой юколы, бросили ему. Будто не человека кормят — будто собаку кормят. Юноша проголодался. Взял брошенный кусок юколы, съел.

Когда стало темно, тести легли спать. Только они уснули, сирота достал табаку, потихоньку закурил. И ему стало спокойно, и он уснул.

Тести встали рано. Опять сами приготовили завтрак, поели и сказали сироте:

— Мы идем ставить петли. А ты сходи за водой, наруби дров, разведи костер, приготовь еду, вскипяти чай — жди нас. Если все сделаешь хорошо, — дадим тебе половину юколы. — Сказали и, как вчера, кинули объедок.

Когда тести ушли, сирота сходил за водой к ручью. Потом нарубил дров.

Поздно вечером вернулись усталые охотники, сказали:

— Вот сегодня дадим тебе половину юколы.

Достали юколу, бросили юноше.

Каждое утро тести уходили проверять ловушки. Возвращались они чаще всего с пустыми руками. Сирота же еще не ставил свои ловушки. Однажды ночью он увидел сон: девушка, дочь Тайхнада, говорит ему: «Что же ты не ставишь ловушки? Твои тести отчаялись и скоро уйдут из тайги. Пора ставить».

Утром, когда тести ушли, сирота поставил одну петлю у тропы к ручью, где брал воду, другую — у тропы в чащу, где рубил дрова. Потом вернулся, быстро развел костер, приготовил еду.

Но уже до того, как вернулись тести, он проверил свои ловушки. У ручья попался дорогой черный соболь. Подбежал юноша, схватил соболя. Потом бегом вернулся к костру, торопливо содрал с него шкурку. И, как учила девушка, спрятал под рубаху. Тушку завернул в еловую лапу, вынес и спрятал в кустах.

Вечером вернулись тести. Сказали:

— Зря только мучили себя. Завтра снимем петли, послезавтра вернемся в стойбище.

Сели поужинать. Вытащили половину юколы, бросили сироте. Посмеиваясь, сказали:

— Этот вехр должен бы поправиться, но он еще больше похудел. Ты разве когда-нибудь дома ел столько юколы?

Сытно поев, легли тести спать. А когда они уснули, сирота потихоньку закурил. Покурив, лег спать. Хорошо спал молодой охотник, но, как только рассвело, он уже был на ногах, развел костер, приготовил завтрак. Тести поздно встали, не спеша поели и говорят между собой:

— Сегодня снимем петли, а послезавтра пойдем домой.

Тести ушли снимать петли. А юноша отправился по тропе в чащу, где рубил дрова. В ловушке оказался невиданный зверь.

Юноша быстро снял шкурку с него, спрятал под рубашкой.

Вечером вернулись тести. Сказали:

— С малых лет ставим ловушки. Нынче как никогда не везет. Завтра пойдем домой.

Сирота потихоньку подсчитал добычу тестей: младший добыл восемь зверьков, старший — десять. Все звери плохие.

Поужинали охотники и легли спать. Сирота видит сон. Девушка, дочь Тайхнада, говорит ему: «Завтра утром, когда встанешь, не спеши домой. Иди вслед за тестями. Я прослежу, чтобы ты точно попал в наше жилище. Мой отец сказал: «На этот раз сделаю так, чтобы охотники не увидели нас. Пусть они в тайге переночуют, а на другой день дойдут до стойбища».

На следующее утро тести отправились домой. Сирота не спеша пошел вслед за ними. По пути отстал. Идет наугад. Шел целый день и, когда солнце опустилось низко, наткнулся на большое жилище.

Когда юноша вошел во двор, навстречу ему вышла девушка и ласково сказала:

— Входи! Тебя трудно узнать — так ты похудел.

А молодой охотник говорит:

— Зато я осчастливлен удачей.

— Когда войдешь к нам, достань шкуру одного зверя, своей рукой положи на ладонь моего отца. Мясом этого зверя накорми мою мать. Мясо другого зверя оставь для своей матери. Мой отец скажет: «Вот этими петлями ты всегда будешь ловить зверей. Они отныне твои». Моя мать скажет: «Подойди ко мне, позволь поцеловать тебя». И ты подойди к ней, пусть поцелует. Мать поцелует тебя в левую щеку, скажет: «Отныне будь удачливым охотником».

Молодой охотник поступил, как велела девушка: одну шкурку положил на ладонь Тайхнада, подошел к старушке, та поцеловала его в щеку.

Наутро девушка вывела юношу из жилища и сказала:

— Я сделаю так, что ты не собьешься с пути. Дома сними мою рубаху, спрячь ее в сундуке, чтобы никто не мог ее увидеть. Моя рубаха будет твоим счастьем. Отныне ты будешь удачливым человеком. Подарок моего отца — петля — никогда не оборвется.

Сирота отправился домой. К вечеру он дошел до стойбища. Кинулась мать к сыну, обняла его.

— Я думала: ты заблудился, твои тести еще днем пришли.

А сын развернул еловый лапник и подал матери мясо невиданного зверя.

— Это твои тести дали тебе мясо? — спросила мать.

— Нет. Я сам его добыл, — ответил юноша.

Обрадовалась мать такой удаче сына.

Весной мужчины собирались ехать в город, на пушные торги. Мать юноши пошла к тестям. Тести сказали ей:

— Мы едем в город. Пусть твой сын едет с нами — во время привалов будет варить чай.

На другое утро юноша достал дорогую шкурку, спрятал под одежду, пришел к тестям.

Много дней ехали охотники. И во время остановок юноша только и делал, что варил чай.

И вот приехали в большой город.

Тести ушли торговаться. Сироте велели остаться сторожить лодку.

Несколько дней не было тестей.

Но вот однажды мимо юноши проходил старый китаец.

Юноша обратился к нему:

— Добрый старец, выслушай меня. В прошлом мой отец привозил в ваш город много дорогой пушнины. В то время у вас жил богатый хозяин. И мой отец только ему отдавал пушнину. Жив ли тот хозяин?

— Жив, — ответил китаец.

Тогда юноша сказал старику:

— Раз так, своди к тому человеку. Я буду благодарен тебе.

Старик согласился проводить юношу.

Они поднялись на берег и скоро пришли в город. Подвел старик юношу к самому большому дому.

— Вот дом того хозяина, но его охраняют воины. Ты иди один.

Юноша вошел во двор. Стражи с ружьями в руках, с саблями на весу подошли к юноше:

— Ты зачем тут? Сюда нельзя подходить.

Тогда юноша сказал:

— Я сын того нивха, который в прошлом много пушнины привозил вашему хозяину.

Старший страж сказал:

— Я зайду, спрошу.

Вошел страж в дом. И вскоре вышел.

— Хозяин велел привести тебя.

Провел страж юношу в дом. Девять дверей открыли они. Десятая дверь привела к хозяину.

Хозяин внимательно посмотрел на юношу, сказал:

— Как звали твоего отца?

Юноша назвал имя отца. Хозяин достал книгу, стал листать ее. Потом спросил:

— Ты его сын?

— Да, — ответил юноша.

— Коли так, проходи, садись. А что привело тебя ко мне?

Юноша молча достал шкуру, подал хозяину.

Хозяин взял шкуру, переворачивает ее и так, и эдак — рассматривает.

— В мою молодость твой отец привозил много всякой пушнины. А такого зверя впервые вижу. Что бы ты хотел за него?

Юноша говорит:

— Ты не знаешь цены этому зверю. И я не знаю ей цены. Давай вместе думать.

Хозяин говорит:

— Ты сегодня ночуй у меня. Завтра мы договоримся.

Страж провел юношу сквозь несколько дверей, накормил, постелил постель.

А хозяин пригласил к себе людей — советников. Те рассматривают шкуру, диву даются.

Юноша же видит сон. Ему приснилась дочь Тайхнада. Она сказала: «Не соглашайся ни на какую цену. Все отвергни — попроси в жены его дочь. Она добрая и красивая».

Наутро страж провел юношу к хозяину. Тот говорит:

— Даю за невиданного зверя все, что ты попросишь.

Юноша говорит:

— Дай мне в жены свою дочь. Я бедный человек. Но я хороший охотник.

Богач хозяин не ожидал такого. Но честь мужчины заставила хозяина сдержать слово. Да и шкура не имела цены в деньгах.

— Хорошо, — сказал он. — Только ты пройдешь испытание. Пятнадцать девушек спиной к тебе будут стоять. Если ты наделен кысом — счастьем, укажешь на мою дочь.

Провели юношу в другое помещение. Пятнадцать хорошо одетых девушек стоят спиной к юноше. Хозяин сказал:

— К которой прикоснешься, твоя будет.

Юноша почесал голову, прошел по ряду. Заметил одну, одетую чуть похуже других. Подошел и притронулся к ее руке.

Хозяин сказал:

— Ты вправду наделен кысом: на мою дочь указал.

Девушка повернулась к юноше — ох и красивая!

Хозяин говорит:

— Уж такая судьба: не я направлял руку счастливого охотника. Будете до старости жить в моем доме, горя не будете знать.

— Нет, — возразил охотник. — Я повезу свою жену к себе на Ых-миф. У нас, у нивхов, род идет от мужчины. Я должен продолжать род отца.

Поплакали родители, а через несколько дней снарядили большое судно с богатым приданым и проводили юношу нивха и свою дочь на Ых-миф.

ПРЕДАНИЕ РОДА КРШЫУС-ПИНГУН

Это было давно, когда — никто не помнит.

Двое Кршыус-Пингун — отец и сын — пошли вверх по реке колоть рыбу острогой. Далеко они поднялись, накололи много рыбы. И тут сын сказал:

— Отец, посмотри вон туда. То ли большой человек, то ли какой милк спускается по сопке.

Отец-старик поднял голову, увидел: спускается очень большой голый человек ростом до середины деревьев.

Сын испугался, побежал вниз по реке. Отойдя, остановился и оглянулся: голый милк подошел к старику, взвалил его на плечо и потащил.

Прибежал сын в стойбище, рассказал сородичам. Сородичи не верят ему:

— Какой милк может быть среди бела дня?

Сын старика говорит:

— Это правда. Большой милк ростом до середины деревьев утащил моего отца.

Собрались его сородичи и стали говорить. Древние старики вспомнили:

— Старинное предание говорит, что есть такой милк.

И вот жители стойбища отобрали шестерых мужчин с крепкими сердцами. Взяли мужчины копья и луки, пошли вверх по реке. Пришли к тому месту, где старика забрал милк. Спрятались в кустах.

В полночь при луне и вправду появился большой голый человек ростом до середины деревьев. Когда милк подошел близко, один из мужей сказал:

— Приготовьтесь!

Но другие мужья не ответили ему, промолчали. Их совсем не слышно, будто они умерли.

Подошел к ним милк. Говорит:

— Их, оказывается, шестеро! По одному всех перетаскаю к себе домой. Вот какая радость-то!

Подошел к ним, схватил одного, взвалил на плечо и потащил.

Остальных совсем не слышно — то ли уснули, то ли умерли. А тот, который говорил «Приготовьтесь!», выронил из рук лук и копье и сам стоит, будто забылся. Через некоторое время опомнились мужья, бегом спустились в свое стойбище.

Прибежали они в свое стойбище, рассказали все. Услышала их древняя старуха, самая древняя в роду. Она сказала:

— Это милк преследует наш род с незапамятных времен. Надо позвать человека из другого рода, и с ним идти на этого милка.

Двое мужчин пришли в соседнее стойбище Руй просить

помощи. А род Руй-фингун — ахмалк роду Кршыус-Пингун. Согласился один Руй-финг пойти вместе с людьми Кршыус.

Ночью пошли Кршыус-Пингун вместе с Руй-фингом на милка.

В полночь появился милк. Оглянулся Руй-финг: его напарники повыронили луки и копья, стоят, забывшись. Закричал тогда Руй-финг:

— Вы что, спать сюда пришли!

Поднял Руй-финг лук, сильно натянул тетиву, пустил стрелу. Милк схватился за грудь, взвыл от страшной боли.

Услышали этот вой Кршыус-Пингун, только тогда опомнились. Схватили луки, натянули тетиву, пустили стрелы. Повалили милка, убили.

Пришли они в свое стойбище, рассказали о победе. Древняя старуха, самая древняя в роду, сказала:

— Это счастье Руй-финга помогло вам одолеть милка. Если бы не Руй-финг, милк забрал бы вас, потом спустился бы в наше стойбище и перетаскал к себе всех. Хоть он и милк, вернитесь, похороните его по обычаю.

С того времени прошло много лет. Но люди Кршыус-Пингун из поколения в поколение передают малым и большим предание о храбром Руй-финге, который спас их род.

О МОРСКОМ ТАЙХНАДЕ И О ШАМАНЕ, КОТОРЫЙ МУЧИЛ ЛЮДЕЙ

Это было давно. Люди одного стойбища пережили затяжную буранистую зиму. Съели все свои припасы и ждали, когда подойдут весенние льды, чтобы пойти в море на нерпу. И вот подошли льды.

Шестеро мужчин — тести и зятья — вышли в море. И попали в густой туман. Шесть дней шли они, ничего не видя. Шесть дней без сна и без еды блуждали охотники. Блуждали они, блуждали, пока лодка не наткнулась на что-то твердое.

Сидящий на носу выпрыгнул из лодки. Сказал:

— Земля! Но не знаю, большая ли она.

Кормчий говорит:

— Выйдем все.

Ступили охотники на неизвестную землю. Кормчий обратился к охотникам:

— У нас очень мало сил, но вытащим лодку, а то унесет ее прибоем. И срубим себе шалаш.

Вытащили лодку охотники, срубили шалаш, легли в нем.

В полночь снаружи раздались какие-то звуки. Прислушался кормчий — вроде человеческие шаги раздаются. Кормчий сказал своим спутникам:

— Проснитесь!

А снаружи слышится голос:

— Люди прибрежного стойбища, мой отец велел вам идти со мной.

Кормчий говорит своим спутникам:

— Друзья мои, вы слышали? Кто-то говорит, что его отец зовет нас. Мы не знаем, что нас ждет. Но надо идти с ним.

Вышли охотники из шалаша, видят: туман рассеялся. Местами на небе видны звезды.

Пошли следом за неизвестным человеком. Шли, шли — пришли к большому жилищу. Неизвестный человек открыл дверь, вошел первым. Остальные вошли за ним. Провел человек охотников, посадил на середину понахнг.

Сели охотники, оглянулись. По левую сторону от них сидят старик и старуха. По правую сторону от них сидит человек, который привел их. Сидит с молодой женщиной, женой.

Старик говорит:

— Бедные люди, вы столько дней голодали.

Потом сказал молодому человеку:

— Сходи в амбар, принеси еды.

Жене сына говорит:

— Подойди ко мне, возьми табаку, подай гостям.

Старик дал листового табака. Охотники отщипнули каждый на одну трубку, закурили.

Тут принесли целую охапку юколы. А молодая женщина сварила всякой еды: рыбу, мясо таежных зверей, мясо морских зверей. Все это выложили на широкий стол, подвинули к охотникам.

Подсели охотники к столу, поели понемногу. С голода сразу много нельзя: боль замучает.

Когда охотники поели, старик говорит:

— Бедные люди. Если бы вы не вышли на этот берег сегодня, завтра умерли. В нашем стойбище живет злой, сильный шаман. Это не простой шаман. Это шаман-милк. Он долго мучил вас, но вы крепко держались. И шаман назавтра хотел поднять большой шторм. Но я сделал так, что ваша лодка вышла к моему берегу. Я Водяной Тайхнад. Это я кормлю вас рыбой. Я сделаю так, что вы доберетесь до своего стойбища. Только вот что запомните: рыбу, которую поймаете, морского зверя, которого добудете, не тратьте попусту, не портите их. Если вы не послушаетесь меня, в будущем году я направлю к вашему берегу меньше рыбы. Через год еще меньше рыбы направлю. И все вы умрете с голоду. С сегодняшнего дня берегите рыбу, берегите морского зверя.

Проводил старик охотников на берег, посадил их в лодку, сказал:

— Вы устали. Я сделаю так, что вы не будете грести: течение принесет вас домой.

Только сказал старик, вдруг ожила вода, понесла лодку, как горная речка. Даже рулить не надо.

Глянули охотники на берег. Тайхнад сидит на песке, курит свою длинную трубку.

Плывут охотники, плывут, оглянутся — видят Тайхнада. Он все сидит на песке, курит свою трубку.

Тогда один из охотников говорит:

— Вправду ли мы едем? Этот Тайхнад все рядом. Вон я вижу его жилище. Наверно, мы стоим на месте.

Тогда кормчий отвечает:

— Ты слишком много говоришь.

Едут охотники или нет, но вскоре впереди увидели стойбище. И только тогда Тайхнад исчез.

А стойбище быстро приближается. Уже видно: по берегу ходят люди.

Кормчий думает: «Неужто это наше стойбище — так быстро мы доехали. Может быть, это сон? Я ведь только что видел Тайхнада — а уже к своему стойбищу подъезжаю. Около берега шесть дней блуждали, проклятый шаман чуть нас не погубил. Все думали, что он добрый шаман. Люди со всего побережья обращаются к нему, когда кто-нибудь заболеет. А он, оказывается, милк».

Когда охотники вышли на берег, подбежали к ним жены и дети, плачут от радости. И тогда кормчий сказал:

— Мы и вправду дома.

Повел кормчий охотников к шаману-милку. И увидели охотники: шаман корчится в муках, умирает. Это Морской Тайхнад наказал его.

Разошлись охотники по домам, рассказали о своих приключениях. И с тех пор нивхи берегут рыбу и морского зверя — ловят столько, сколько им нужно для еды. А рассказ охотников стал преданием, и его рассказывают малым и большим.

ЛЕГЕНДА О СИРОТЕ

Однажды летом юноша-сирота, ловя петлями длинноклювых кроншнепов, услышал в кустах стланика плач медвежонка. Вытащил нож, вошел в кусты. Видит, огромная рысь грызет годовалого медвежонка. Юноша с криком бросился вперед и изо всей силы всадил нож в сердце рыси. Рысь издохла. Медвежонок поднял окровавленную голову — одно ухо у него было откушено. Посмотрел медвежонок, обнюхал человека. Затем вышел из кустов и направился в тайгу.

Сирота, наловив много кроншнепов, вернулся в селение. Войдя в дом, где жила его невеста, отдал ее матери всех жирных птиц, а себе оставил одну.

— Ну, когда вы мне отдадите дочь? — спрашивает он.

— Чего захотел! Даже не имеешь ни одеяла, ни постели, ни одежды. А еще — жениться! — отвечала мать невесты.

Сирота ушел домой грустный.

Пришла зима. Он отправился ловить соболя в тайгу. Но у него было мало охотничьего снаряжения. Поймал только двух соболей. Их хватило, чтобы, обменяв на еду, не умереть с голода зимой.

Прошло еще какое-то время. Юноша уже стал терять надежду, что женится. Однажды в их селение приехал на большой упряжке — на тринадцати собаках — гость в черной собачьей дохе. Его нарта остановилась у дома невесты. Ох, и собаки у него! Крупные, как медведи. Гость долго говорил с хозяином, чтобы взять у него дочь. Предлагал мешок дорогих мехов в обмен.

— Не могу, — говорил старик, — дочь сосватана.

— Тоже мне — жених! Он даже не знает, будет ли утром завтракать. А я вам даю за дочь столько добра, сколько вы ни от кого не получите.

— Да-да, — согласилась мать невесты.

— Приезжай летом, — решил отец.

Гость уехал, забрав все свои меха.

Через несколько дней кто-то увидел около селения следы медведя. Он, пробивая наст, прошел утром. Охотники направились по следам. И сирота пошел с ними.

Так вместе поднялись на гору. Затем спустились с горы. Потом опять поднялись. У сироты запас пищи кончился. Он стал терять силы и отставать. А другие охотники ушли вперед, даже не оглянулись. Каждый старался первым догнать медведя. Сирота совсем потерял силы, сел отдыхать под деревом. Сидел, сидел — замерз совсем. Уснул. Уже ночью проснулся. Слышит, кто-то тяжело дышит рядом. Открыл глаза — стоит огромный, как вывороченный корень лиственницы, медведь. Схватил копье. Медведь не шевелится. Смотрит на него. И тут человек видит, что на голове медведя торчит только одно ухо.

— Идут по твоим следам охотники, чтобы убить тебя, — говорит человек.

— Они устали, преследуя меня, и повернули домой, — отвечает медведь. — Садись на меня верхом.

Сирота же так замерз, что не смог сам встать на ноги. Медведь поднял его, посадил на спину. Помчался быстрее ветра. Снег вихрем летит из-под лап. Человек знай только крепко держится за загривок. У берлоги в высокой горе остановились.

Вошли в берлогу. Темно, но тепло. Сирота лег на хвою рядом с медведем. Только лег, захрапел. Спал, спал — проснулся от толчка.

— Сосчитай пальцы на моей правой лапе и возьми в рот пятый палец, самый маленький.

Человек подтянул к себе лапу. Сосчитал пальцы. Взял в рот самый маленький. Сосет. Человек не знает, что съел, но наелся.

Захотелось пить.

— Сосчитай пальцы на левой лапе. Возьми в рот пятый, самый маленький.

Подтянул к себе лапу сирота, стал считать. Взял самый маленький палец в рот. Вода ли пошла в желудок или еще что, но он напился.

Много ли времени прошло, мало ли времени прошло — неизвестно. Но он только один раз поел, один раз только попил, как весна пришла.

Медведь говорит:

— Уже пора мне выходить из берлоги. И тебе надо уходить.

Вышли из берлоги. Очень светло, даже больно глазам. Снег почти везде растаял. Под берлогой пропасть, над берлогой отвесная стена — скала.

Оглянулся сирота. Стоит медведь и держит шкуры самых дорогих соболей — целую охапку.

— Это тебе от меня, — говорит медведь.

Наш сирота от благодарности чуть не умер.

— Но как мы уйдем отсюда? — спрашивает его человек.

— Садись на меня и крепко держись, — говорит медведь.

Сирота устроился на нем верхом. Крепко вцепился в загривок.

Медведь присел и сильно оттолкнулся всеми четырьмя лапами. Взлетел на выступ. С выступа на утес, с утеса на склон горы.

Слез сирота с медведя. Пошел домой не спеша. Когда подходил к селению, люди спрашивали друг друга:

— Что за человек спускается с гор?

Подошел ближе. Узнали. Окружили. Увидев богатую добычу, все стали его называть единоплеменником, родственником. Каждый приглашает к себе чай пить и спрашивает, где он находился, как жил все это время.

А сирота зашел в дом невесты, скинул всю охапку дорогих соболей на нары, взял себе только несколько шкур и молодую невесту.

Вышли вместе и ушли из этого стойбища.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ БРАТЬЕВ

В селении Кекрво, которое теперь называется Пильтун, жил старик со старухой и двумя взрослыми сыновьями.

Оба сына — удачливые охотники. Они всегда возвращались с охоты с богатой добычей, а поставят сети — поймают много рыбы.

Старик старшему нашел жену, совсем еще молодую девушку. Через некоторое время спрашивает у младшего:

— А ты хочешь жениться?

Младший сын ответил, что ему тоже пора иметь жену. Тогда старик и ему нашел жену.

Живут молодые люди с женами в согласии.

Через полмесяца после того как младший женился, наступила весна. Молодая трава синью покрыла землю.

Старик говорит своим сыновьям:

— Лед поднялся и разбился. Наступила пора охоты на морского зверя. Спустите лодку и езжайте на охоту.

Молодые люди давно ждали этого дня. Столкнули лодку в воду, сели в нее. Набежавшая волна подхватила их и вынесла в море. Младший сидит за веслами, старший — на корме, держит рулевое весло, правит.

А старик долго стоял на берегу, провожал сыновей взглядом. Жены охотников тоже стояли на берегу.

Охотники пробыли в море дотемна, но так и не увидели ни одной нерпы. А еще не было случая, чтобы неудача постигла их. Старший брат с досадой говорит:

— А, вернемся! Ведь зря мы бороздили море, ни одной нерпы не видно.

Стали грести к берегу. Но вдруг море покрылось туманом. Туман был такой густой, что братья плохо видели даже друг друга. И ветер изменился. Братья едут наугад.

Наступила ночь. За ней день. Они все гребут. Туман еще больше сгустился. Братья блуждают по морю уже много дней. Сперва считали дни, потом сбились со счета.

Дома мать и отец горевали:

— Погибли наши дети.

Горюя, они отказались от пищи. Плачут день и ночь.

Охотники же, не чувствуя ни голода, ни холода, по-прежнему гребут наугад. Старший брат подумал: «Наверное, уже прошло много месяцев, как мы блуждаем». Но промолчал, боясь, что этим напугает младшего.

— Теперь-то мы, наверно, умрем, теперь мы никогда не увидим своего дома, — говорит младший брат.

Старший жестом велел ему сесть за руль, а сам решил взять в руки весла. Младший ползком перебрался на корму и стал рулить. Оба настолько обессилели, что лодка шла еле-еле.

Как-то младший поднял голову и видит — впереди проясняется. Он сказал об этом старшему. Старший поднял голову, тоже увидел впереди море, свободное от тумана.

Солнце вышло из моря и стало подниматься на небо. Братья направили лодку в сторону восхода солнца. Вскоре

туман совсем исчез. Впереди показалась неизвестная земля.

Младший говорит:

— Перед нами — земля. Лишь бы на нее попасть. Можно и на чужой земле кости оставить.

— Поедем вдоль берега, — отвечает старший брат.

Повернули лодку и поехали против Тлани-ла — морского ветра. Ехали, ехали и въехали в залив уньрков — людоедов. На берегу толпилось столько уньрков, что весь песчаный берег был черный. Главный уньрк имел восемь голов, остальные — по шесть. Уньрки зовут наших людей пристать к берегу.

Младший говорит:

— Нас зовут. Хотя и страшно, давай подъедем к берегу. Если умирать, то умрем на суше.

Старший возразил:

— На берегу — селенье уньрков. То селение, о котором нам рассказывали еще в детстве. Нельзя подъезжать к берегу. Хуже нет смерти, чем смерть в зубах уньрков.

Младший резко повернул лодку в море, старший изо всех сил приналег на весла. Лодка братьев стала перелетать с головы одной волны на голову другой волны.

Уньрки спустили на воду берестяные лодки и пустились вдогонку. Их так много, что не было видно цвета воды.

Они догнали братьев. Восьмиголовый схватился за корму. Но в это время набежала большая волна. Берестяная лодка уньрков ткнулась носом в волну и перевернулась. Уньрки не умеют плавать, все утонули. Их берестяную лодку ветер понес в открытое море. Остальные уньрки испугались и повернули назад.

Лодка братьев была сделана из крепкого тополя умелыми руками их отца. Она хорошо выдерживала удары волн.

Братья теперь поехали не спеша, обдумывая, что дальше делать. Младший все время просит:

— Пристанем к берегу. Все равно где — между кустарниками ли, между кочками ли — нам положить свои кости.

Долго-долго, не слушая уговоров младшего, старший ведет лодку.

А тогда, когда солнце совсем низко опустилось над морем, старший прекратил грести, поднялся во весь рост и стал осматривать берег. Видит — стоит один-единственный ке-раф. Младший просит старшего подъехать к берегу. Наконец старший согласился.

Лодку вынесло на берег волной. Старший приподнял лодку за нос, младший потянул за уключину — вытащили на несколько шагов.

Немного выше стоял такки — суковатый шест. Но не хватало сил дотащить лодку до такки.

От берега к ке-рафу вела тропа. Тропа плотная, похоже, что по ней ходили много раз. Из дома — ни звука.

— Войдем переночуем, — говорит младший.

Поднялись по тропе и остановились у порога. Солнце уже зашло, но было еще видно.

— Давай я первый войду в дом. Может быть, там нас дожидается уньрк, — сказал старший и переступил порог. Посмотрел в правый угол, затем в левый. Видит — большого роста красивая женщина сидит, глядит в другую сторону, курит. У нее золотые серьги, цвет лица белый, длинные косы, одета в дорогую, с богатой отделкой меховую одежду.

Братья прошли и сели на середину нар для гостей.

— Нгаркара![1] Откуда вы начали свой путь и как пришли ко мне? — спрашивает женщина.

Она нарезала красивую белую юколу кеты, из высушенного желудка сивуча нацедила нерпичий жир. Поднесла к ним столик с едой, предупредила:

— Не много ешьте. С голоду разом много нельзя.

Братья поблагодарили женщину. Поели немного, сказали, что они сыты, и отодвинули стол.

— Ложитесь спать, — сказала хозяйка. — Вы — мужественные люди, раз достигли здешних мест. Отдохните и завтра продолжайте путь туда, куда вы шли. Юколу взвалите на плечи, нау прикрепите к спинам.

— Мы, мужчины, понимаем трудности. Но завтра продолжим путь, — ответили братья.

— Раз вы так решили — будет по-вашему, — говорит женщина. — Если вы завтра вместе с солнцем тронетесь в путь, ко времени падения солнца достигнете оконечности земли. Вдаль посмотрите и увидите, как большая волна подойдет и ударится о берег. Внимательно слушайте меня. По вашим преданиям, жители Ых-мифа наделены счастьем. Если бы не так, вы бы не дошли до моего ке-рафа. Завтра после захода солнца вы достигнете края земли. Запомните место удара большой волны. У этого места увидите ке-раф. Войдите в него. Старый-престарый старик в этом ке-рафе живет. Там больше никого не будет. Сединой убеленный, он одет в одежду из кетовой кожи, и обувь из кетовой кожи, и постель из кетовой кожи. Около него будут лежать рукавицы из кожи кеты, шапка из кожи кеты. Старик будет спать. Хоть и тесно, войдите и сядьте на пустое место. Сам проснется и будет ворчать недовольный. Тогда ему расскажите о своем горе, так же как и мне рассказали.

Дав такой совет, женщина уложила братьев спать. Сняли обувь — положили под голову, сняли одежду — постелили. Сразу захрапели.

Посреди ночи младший проснулся. Старший спит, храпит. Младший вышел, посмотрел на небо и снова вошел. Лег. Но

[1] Нгаркара — междометие, выражающее участливое отношение к собеседнику.

никак не берет его сон. Вдруг почувствовал младший брат сильную любовь к хозяйке. Встал и направился к ней. Когда он подошел к ней, та взяла его за руку и притянула к себе. От радости он чуть не умер.

Женщина говорит:

— Зачем подошел? Ко мне нельзя подходить.

— Не знаю. Я вдруг почувствовал, что люблю тебя.

— Меня нельзя любить, — говорит хозяйка дома. — Завтра покажу яму с кипящей водой. Она находится около дома. Там лежат кости людей, которые преследовали меня своей любовью. Тебя мне жалко, я не убью тебя, но могу боль напустить.

— Жители Ых-мифа наделены счастьем, — ответил гость и почувствовал, как что-то в нем изменилось, какая-то боль вошла в него. Стоять — больно, лежать — больно. Уж очень велика боль.

Старший проснулся. Видит, младший мучается около хозяйки. Старший одним прыжком оказался рядом.

— Что случилось? — спросил.

— Хозяйка нанесла мне боль, — отвечает тот.

Тут хозяйка говорит:

— Меня не вините. Только себя вините.

Люди Ых-мифа справедливые. Они согласились, что сами виноваты.

Когда посветлело, хозяйка приготовила кушанье, накормила гостей, дала на дорогу юколу, прикрепила к их спинам нау и сказала:

— Один из вас больной. Как вы пойдете? Мне вас жалко, но вам оставаться у меня нельзя.

Старший брат обхватил младшего рукой, двинулись в путь.

На голый песок садились отдыхать, в траве, в кустах отдыхали. Наконец достигли ке-рафа. Вошли. Старик лежал на спине. Проснулся. Оглядел пришедших.

— Откуда и зачем пришли?

— Много времени блуждаем, сами себя уже не узнаем, — говорят братья.

А этот старик обо всем и без них уже знает.

— Зачем к водяной вехр ходили? Она вас чуть не погубила, — говорит старец.

— Мы не знали, что эта женщина — вехр. Ест, как человек, говорит человеческим языком, сама точно женщина, — отвечают братья.

Старик, лежа на спине, достал из бочки, стоящей рядом, живую трепещущую кету, ударил ее по голове палкой, убил.

— Вот вам. Варите и ешьте.

Варили в котле хозяина. Положили вареную рыбу в деревянную посуду.

— Ешьте чафками-палочками, — говорит старик.

Гости сели поудобней, прикоснулись к рыбе, подняли

палочки без рыбы ко рту, облизали их и вдруг от сытости чуть не лопнули. Посмотрели друг на друга, удивляются.

Старик рассмеялся и сказал:

— Вынесите рыбу, выбросьте и ложитесь спать.

Братья только легли, уснули как мертвые. Когда наступило утро, проснулись.

А старик, как вчера, лежит на спине. Ел он или нет, не видели братья.

— А теперь езжайте домой, — говорит старик.

— Как же мы поедем, на чем?

— Я вам помогу добраться до дома, — обещал старик.

Как и вчера, живую трепещущую рыбу достал, ударил по голове палкой, убил.

— Сварите и ешьте. Когда вы будете сыты, тогда я вас и отправлю, — сказал хозяин дома.

Сварили рыбу, сели лицом к старику и приготовились есть. Только облизали палочки, как их животы вздулись от сытости.

— Что вы не едите?

— У нас желудки наполнены. Некуда больше есть! — ответили гости.

— Вынесите и выбросьте рыбу. Посуду вымойте и повесьте сушить, — сказал хозяин. — Солнце уже высоко. Вам пора в путь.

Достал старик золотой ящик и сказал:

— Отправлю вас домой вот в этом ящике.

Братья рассердились:

— Да ящик-то меньше ладони! Как мы поместимся в нем?

— Посажу вас в этот ящик, оттолкну, — не слушая их, говорил старик. — Когда ящик перевернется на другую сторону, ударьте головой по крышке, откройте. Вы будете на земле.

Затем обратился к старшему:

— На берегу выйди на бугор. Там увидишь двух оленей: один белый, другой черный. Олени убегут к воде и спрячутся в ящике, который должен удерживать твой брат. Как только войдут они в ящик, закрой крышку. Ящик сам вырвется из рук и приплывет ко мне. Эти олени — дань вашей земли. Вас двое, и оленей будет два. Ясно? — спросил старец.

Братья только теперь поняли все. Они находятся в гостях у самого Тайхнгада — сотворителя живых существ. Это он в разное время года бросает в море несметное количество горбуши или кеты и посылает их к берегам Ых-мифа, чтобы жителям этой земли было сытно.

— Как ящик уплывет от вас, — говорит старик изумленным людям, — вы пойдете берегом против ветра Тлани-ла. Увидите двух юношей. Они будут стрелять из луков куликов. Когда они подойдут к вам, остановите их. Спросите: «Где ваши отцы?» Старший юноша скажет: «Наши отцы давно, до

нашего рождения, ушли в море на охоту и погибли там». Скажите им: «Мы и есть ваши отцы». Они вам не поверят. Тогда покажите им свои золотые кольца, которые дали вам матери ваших сыновей перед вашей последней охотой.

Плывут братья в золотом ящике и только слышат, как ящик перелетает с волны на волну. Прошло некоторое время, и ящик задел за что-то твердое. Набежавшая волна перевернула его на другую сторону.

И вот братья на своей земле. Вышел старший брат на бугор, увидел оленей. Загнал оленей в ящик, и ящик умчался к морскому старцу. Идут братья против Тлани-ла. Встретили двух юношей, стреляющих из луков по куликам. Остановили их. Сказали им все, что говорил Тайхнгад. Затем младший брат отдал младшему юноше золотое кольцо и говорит:

— Вот кольцо твоей матери. Я взял его, когда уезжал на охоту.

Юноши прибежали домой, говорят:

— Наши отцы живы!

Матери и дед с бабушкой испугались, стали ругать юношей, считая, что они зло шутят:

— Уйкра! Вы называете имена давно умерших людей!

— Это правда! Наши отцы живы!

Еще сильнее ругают их.

Младший юноша показывает матери кольцо.

— Ты отдавала это золотое кольцо отцу? — спросил он.

И четверо — старик, старуха и две женщины — пошли на морской берег.

Подошли братья, разглядывают. Плачут от счастья.

Привели братьев домой. И зажили они счастливо и в достатке.

Только через шесть лет рассказали братья о своих приключениях, но промолчали о своей встрече с морской женщиной — вехр.

На седьмом году младший брат вдруг отказался от пищи, перестал спать и разговаривать. Каждый день, как только солнце поднималось над морем, стал выходить он на берег и петь песню. Пел до самого захода солнца.

Люди пытались успокоить его. Но он никого не хотел слушать. Так с песней и ушел охотник.

Говорят, это звала его морская женщина — вехр.

ЛОВЕЦ ФОРЕЛЕЙ

На берегу таежной речки стояло маленькое ветхое жилье. Жил в нем человек — молод не молод, но и не стар. Жилье досталось ему от отца. Жил человек без родст-

венников, без добра. Даже собак у него не было на упряжку. Дрова возил сам — впрягался в старую нарту. Запасов юколы не делал — кормить некого, а для себя как-нибудь добудет свежей рыбы: река рядом.

Так и жил. Люди из других стойбищ далеко обходили его жилье: чего доброго, еще подумает, что ищут дружбы с ним.

Ни одна женщина не шла замуж — у него не было собольей шкуры на юскинд — выкуп. Потому отказывались от него даже кривые и горбатые.

Знал он одно: ловил рыбу. Выйдет на берег реки — будь то лето или зима — забросит удочку, поймает форель, крупную, жирную, вкусную. Сам ловил, сам варил, сам ел.

Осенью он собирал бруснику и орехи.

Поест рыбы, погрызет орехи, заест ягодой. Вынесет кости и шелуху, выбросит у своего жилья.

Как-то заметил: там, где он сбрасывал объедки, появились два существа — дымчатая мышь и какая-то птичка. Мышь обгрызала рыбьи кости, а птичка копошилась в ореховой шелухе — выбирала семечки.

На другой день снова вынес человек объедки. И снова появились мышь и птичка. Поначалу они побаивались человека, прятались, когда он подходил близко. Но через несколько дней привыкли к нему.

Птичка подпускала к себе на вытянутую руку, а мышь бегала у самых ног человека. Человека радовали маленькие существа. Он разговаривал с ними, чтобы не забыть язык. И так часто говорил, что те стали понимать его.

Когда наступили холода, человек увидел, что мышке и птичке зябко. Он сказал им:

— Живите в моем жилье. Вы маленькие — много места не займете, чтобы прокормить вас, не надо много еды.

Мышь тут же согласилась жить в жилье человека. А птичка отказалась — ее крыльям нужен воздух. Она свила себе теплое гнездышко в щели под крышей, где нет ветра и куда не проникает дождь.

Выйдет утром человек из жилья — встретит его птичка своей песней:

— Пе! Пе! Чик-чирик!

И назвал человек ту птичку Пе — воробей, значит.

Воробей и мышь признали человека своим хозяином.

Наступило лето.

Как-то солнечным днем пошел человек на рыбалку. И увидел необычное: в реке купаются две женщины. Плавают они, резвятся. И человек подумал: «Что за женщины? Нивхские женщины не умеют плавать. Кто же они?»

Удивился человек, прошел прибрежным ивняком, вышел напротив купальщиц. Одна женщина постарше, другая — еще подросток.

Загляделся ловец форелей, забылся на миг. И не заметил,

как кашлянул. Женщины перестали резвиться, насторожились. А человек ударил себя по голове, поругал: «Ах ты! Тоже мне! Надо же было тебе кашлянуть: помешал только людям».

А женщины говорят:

— Человек, отойди в сторонку — дай нам одеться.

Ловец форелей ушел за кусты. Женщины вышли из воды, оделись.

Одевшись, старшая крикнула:

— Человек, появись! Мы одеты.

Ловец форелей вышел из-за кустов.

Старшая сказала:

— Сколько живу, такой красивой реки не видела. Мы дети Клы-ызнга — Хозяина неба. Мы знаем: ты хозяин этой реки. Позволь нам приходить к ней.

Ловец форелей сказал:

— Ты можешь стать хозяйкой реки — только будь моей женой.

Старшая сестра говорит:

— Как же я могу стать твоей женой: отец не согласится. Даже самые богатые небесные люди сватались, но не выдерживали испытания нашего отца. Если мы скажем о тебе, отец разгневается, и нам беды не миновать. Если ты наделен кысом — счастьем, тогда я могу стать твоей женой. Ложись спать. Забудешься — проснешься, окажешься на небе. Я встречу тебя там, проведу к отцу.

Вернулся ловец форелей домой, покормил своих друзей: мышку и птичку. И лег спать.

Проснулся он на неизвестной земле — небе.

Только встал на ноги — идет к нему та женщина, купальщица. Улыбается, говорит:

— Мои отцы наслышаны о тебе, ждут. Они дадут тебе три испытания. Мне жаль тебя: тебе будет трудно.

Женщина повела человека к себе, приготовила еды, угостила его и сама поела с ним. Наш человек хорошо знал обычаи: если женщина села с мужчиной за один стол, она согласна быть с ним.

Вошла младшая сестра. Говорит:

— Сестра, наш отец велит твоему жениху явиться.

Сказала и вышла.

Женщина сказала ловцу форелей:

— Иди, не задерживайся. Иначе вызовешь гнев отца.

Наш человек пришел к большому жилищу, открыл дверь. Увидел человека, убеленного сединой.

— Вон какой ты! — сказал старец. — Совсем бедный. А еще хочешь взять мою дочь! Я не знаю, наделен ли ты кысом, но пройдешь три испытания. Придешь ко мне, когда стемнеет. А теперь ступай отдыхать!

Вернулся наш человек к невесте, сказал:

— Лучше бы сейчас начать испытания — заставил ждать.

Услышала его слова женщина. Ей жалко ловца форелей, и она заплакала.

Когда стемнело, вывела она жениха, сказала:

— Имей удачу.

Пришел наш человек к Клы-ызнгу. Увидел рядом со старцем молодого красивого мужчину.

Старик сказал:

— Пойдешь с моим сыном. Он знает, что делать.

Юноша взял маленький серебряный ящик, велел человеку следовать за ним. Привел человека в густой темный лес и сказал:

— Этот ящик наполнен мелким золотым песком.

Сказал так, размахнулся и рассыпал песок в траву, в кусты.

— Если завтра в полдень ты не принесешь этот ящик, полный золотого песка, — не иметь тебе жены.

Сказал и ушел.

Наш человек закурил, подумал. Подумав, сказал себе: «Если бы меня совсем обошла удача, я бы не оказался на небе». И крикнул:

— Эй, где ты, мой друг, птичка Пе! Прилети, помоги мне!

Крикнул и лег спать под дерево. И слышит: прилетела птичка Пе. Человек слышал ее порханье и звуки, будто сыплются мелкие камешки — так часто стучал воробей клювом.

Проснулся человек, когда солнце поднялось высоко. Видит: стоит серебряный ящик, полный до краев золотого песка. Обрадовался человек, осторожно поднял ящик и понес к Клы-ызнгу.

Хозяин неба удивился, сказал:

— Ты вправду наделен удачей. Иди отдыхать. Я сам позову тебя для новых испытаний.

Вернулся человек в дом невесты.

Та увидела жениха, подскочила к нему, схватила за руку, сказала:

— Ты выдержал первое испытание!

Приготовила она еду, покормила, сама поела с ним.

Потом сказала:

— Еще два испытания ждут тебя.

Вечером пришла младшая сестра, сказала старшей:

— Зовут твоего жениха.

Когда ловец форелей вошел к старику, тот сказал:

— Ты быстро явился. Теперь возвращайся назад. Придешь, когда солнце покинет небо.

Ловец форелей недовольно подумал:

«Гоняет взад-вперед. Ему нечего делать, он и гоняет потехи ради». Подумал, но ничего не сказал.

Когда солнце ушло за сопки, он снова пришел к старцу. Тот сказал:

— Видишь мою старуху? Тридцать пять лет назад она

пришла в мой дом молодой девушкой. У нее тогда были золотые серьги с дорогими камнями — подарок отца. Мы потеряли их. То ли крысы утащили, то ли мыши. Люди не могли: на нашей земле воров нет. Так вот тебе испытание: найди эти серьги!

Наш человек не долго думал. Он взял еды немного и пошел куда глаза глядят.

А невеста, проводив жениха, вернулась к себе, разобрала постель, легла, укрылась одеялом. Так и лежала она, не принимая ни еды, ни воды.

Через несколько дней младшая сестра заглянула к старшей. А та как лежала, так и лежит.

Младшая говорит:

— Нанака, нанака, так ты умрешь. Я приготовлю еды, поешь.

Старшая отвечает:

— Я ничего не буду есть. Я отказываюсь от отца-матери. Лучше умереть, чем жить без ловца форелей. Я не знаю, люблю его или жалею. Но только о нем думаю день и ночь.

Младшая сестра пришла к матери-отцу:

— Мать-отец, моя сестра лежит, ни еды, ни воды не принимает.

Отец и мать оделись, пошли к старшей дочери. Отец говорит:

— Дочь моя, зря ты убиваешься. Только форелью жив этот человек. Не жалей его. Слушай отца-мать: на конце Головы Земли живет богатый человек. Он собирается к нам за тобой. А ловец форелей заблудится, умрет с голоду.

Тогда дочь говорит:

— Мать-отец, не мучайте меня. Я люблю простого человека, ловца форелей.

Разгневались отец и мать и ушли к себе.

А наш человек все идет, идет куда глаза глядят.

Шел-шел, увидел большой старый то-раф. Вошел. Прошел к понахнг. Только присел — услышал шум, стук, писк. Из щелей, из всех углов выскочили крысы и мыши. Они напали на человека, кусают руки, ноги, прыгают, пытаясь вцепиться ему в шею. Человек только и успевает наклоняться из стороны в сторону. Прыгал-прыгал человек, устал. «Хуже нет смерти, чем смерть от поганых тварей», — подумал человек.

И тут крысы удрали врассыпную, спрятались по углам, в щели, в норы. Откуда-то из-под ног понахнг выпрыгнула дымчатая мышь. Уставилась на человека. «Вот еще одна тварь. Сейчас наступлю на тебя», — решил человек.

И тут мышь сказала языком людей:

— Я та мышь, которая жила у тебя. Ты жил на Нижней земле, ловил форелей. А я грызла рыбьи кости после тебя.

Человек говорит:

— Правда, у меня была мышь. Она была предана мне, как собака, которая любит своего хозяина. Когда я спал, мышь охраняла сон мой.

Мышь говорит:

— Я и есть та мышь. Когда ты покинул меня и птичку Пе, я пришла в этот то-раф. Он полон крыс и мышей. И стала хозяйкой всех крыс и мышей. Крысы — настоящие разбойники. Они бы съели тебя, если бы не я.

Человек говорит:

— Наверно, я наделен удачей, раз ты спасла меня от смерти.

А мышь сказала:

— Я не простая мышь. Я знала, что тебе трудно. Это я своей волей направила тебя в этот то-раф.

Ловец форелей удивился:

— Хы! Думал, кормил простую мышь, а ты — добрый дух!

Мышь отвечает:

— Всему живому делай добро. Доброе, оно всегда зачтется.

Человек говорит:

— Помоги мне. Жена Хозяина неба, когда пришла к жениху невестой, имела золотые серьги — подарок отца. Она потеряла их. Вот уж тридцать пять лет прошло с тех пор.

Мышь говорит:

— Да, я знаю об этом. И не потеряла та женщина серьги — крысы украли их. Вон, посмотри под понахнг.

Человек заглянул под понахнг: там один на одном в три ряда стояло девять маленьких сундуков.

— В этих сундуках мы храним все дорогое, — сказала мышь.

Потом подошла к первому ряду сундучков, порылась в самом нижнем, вытащила серьги, красивые, дорогие.

— Вот серьги, которые ты ищешь, — сказала мышь. — Возьми.

Ловец форелей не знает, как отблагодарить.

Вернулся он к Хозяину неба. Тот не поверил своим глазам, потер их руками. Но перед ним и вправду стоял ловец форелей.

— Хы! Ты не погиб в пути! — удивился Хозяин неба. — Ушел, сам не зная куда, и вернулся живой и здоровый.

Наш человек протянул руки: на ладонях сверкали серьги.

Подскочила старуха, заплакала от радости. Поцеловала человека в правую щеку.

А Хозяин неба наморщил лоб: не понравилось ему, что ловец форелей выдержал и второе испытание.

— Иди отдохни с дороги, — сказал он человеку. — Завтра чуть свет чтобы был у меня.

Невеста увидела своего жениха, обрадовалась. Приготовила еду, покормила и сама поела с ним.

На другой день чуть свет появился ловец форелей у старца. Ложился ли тот спать или нет, но, когда появился ловец форелей, старец сидел на меховом ковре, подогнув под себя ноги, и курил длинную трубку.

Старец сказал:

— Слушай меня внимательно. Далекий путь тебе предстоит. На самом конце Головы Земли живет сильный человек. Он жених моей дочери, и я обещал отдать за него свою дочь. Дойди до него, скажи, что ты хочешь жениться на моей дочери. Кто из вас явится ко мне, тот и возьмет мою дочь.

Вернулся наш человек к невесте, чтобы собраться в путь. Невеста тихо спросила:

— Какое испытание ждет тебя?

Ловец форелей отвечает:

— Твой отец велит мне дойти до Головы Земли к твоему жениху. Кто из нас явится к твоему отцу, женой того ты и будешь.

Заплакала дочь Хозяина неба. Но делать нечего: покормила жениха на дорогу, проводила. А сама легла в постель, отказалась от еды и воды.

Долго ли шел наш человек, но когда кончились припасы, увидел на скалистом берегу моря большой темный ке-раф — летнее жилище. Рядом несколько х'асов — вешалов для вяления рыбы. На крыше ке-рафа сушатся шкуры таежных и морских зверей. На привязи много откормленных ездовых собак — на две упряжки наберется.

Собаки лаем встретили человека. Вышел на лай крепкий мужчина таких же лет, что и ловец форелей.

— Хы! — удивился хозяин ке-рафа. — Долго же я не видел человека.

Но обычай требует: пригласи человека в дом, накорми его с дороги, а расспросы — потом.

Вошел ловец форелей в ке-раф. Большой ке-раф: в длину — девять махов, в ширину — восемь махов. Посередине большой очаг. Над дверью висят две когтистые лапы орла — говорят о храбрости хозяина жилья.

Посадил хозяин гостя на понахнг — место для почетных гостей. Приготовил еду, пододвинул пырш — низкий столик — к ногам гостя. Ловец форелей сошел с понахнг на пол, сел, подогнув под себя ноги.

А на столе всякая еда: юкола морских и речных рыб, и мясо морских и таежных зверей, и всякие травы и ягоды.

Поели мужи, поговорив за едой о погоде, об улове, о том и о другом.

После еды замолкли и гость, и хозяин. Ловец форелей

понял: хозяин хочет знать, зачем пожаловал дальний гость.

— Не желание увидеть новые земли привело меня к тебе, — сказал ловец форелей. — И не оскудела моя земля, чтобы я покинул ее. Хозяин неба сказал мне: дойди до жителя Головы Земли. Кто из вас придет ко мне, тот и возьмет дочь в жены.

Лицо жителя Головы Земли почернело в гневе. Наш человек знал: сейчас хозяин вызовет его на битву. Так уж исстари повелось: спор за невесту решается в битве.

Хозяин вышел из ке-рафа. Гость вышел следом. Хозяин снял с х'аса два тяра — шесты для битвы, — один подал ловцу форелей.

Стали бойцы друг против друга, обхватили руками тяры посредине, взмахнули ими. И началась битва.

Долго бились они. Ловко увертывались они от ударов. Ловко защищали головы тярами и тут же шли в нападение. Дважды солнце покидало небо, дважды оно поднималось на небо — а битва все продолжалась. Землю они взрыхлили вокруг себя, будто медведи, когда они дерутся из-за самки. Оба устали, но ни тот, ни другой не хотел уступить. Взмахи тярами стали небыстрыми, а удары — несильными.

На третий день ловец форелей, изловчившись, нанес точный удар. Человек Головы Земли зашатался, выронил из рук тяр, медленно осел. Ловец форелей подбежал к поверженному сопернику и в знак победы в равной битве положил ему на горло тяр и сказал:

— И вправду я наделен кысом: выдержал третье испытание. Теперь дочь Хозяина неба моя.

А поверженный соперник сказал:

— Наполни свою сумку едой, человек. И отправляйся в дорогу. Такова воля курнга — не дал он мне удачи.

Ловец форелей наполнил сумку едой и отправился назад.

Долго ли шел он или недолго, но дошел до Хозяина неба. Тот сказал:

— Ты вправду наделен кысом. И вправду курнг благоволит к тебе — возьми мою дочь.

Пришел ловец форелей к невесте — та лежит, убитая горем. Волосы распущены, лицо белое, как береста.

Увидела невеста жениха, и жизнь вернулась к ней. Поднялась она, заплела косы, оделась. Быстро приготовила еду, пододвинула пырш к ногам ловца форелей.

— Ешь, муж мой.

Потом ловец форелей лег отдыхать. Спал ли он или только забылся, но проснулся в своем жилище на берегу форелевой реки.

Долго жил он с женой, много детей они имели.

О БУКТАКАНЕ

Кер-Керу из рода Сакквонгун посвящается

В старое время айны жили в разных местах Ых-мифа. В каждом селении был старейшина. У старейшины одного селения родилась дочь. Она у него была единственная. Внутри своего дома старейшина построил другой дом и велел дочери жить там.

Девочка никогда не выходила из своего дома. Не пускал отец. Она видела только своих родителей и то лишь тогда, когда они входили к ней. Изредка она слышала голоса людей. Так она росла и стала взрослой.

Но однажды вдруг исчезли голоса людей и все звуки. Прошел день, звуков нет. Прошел второй день, а звуков и голосов все нет. Вышла девушка в помещение родителей. Отца нет, матери тоже нет. Вышла из дому, огляделась кругом. Видит — ее родители и все другие люди превратились в камни. Справа виднелся скалистый мыс. Окаменевшие люди повернуты лицами к этому мысу.

Увидев это, девушка стала плакать. Плачет день, плачет ночь, плачет дни напролет. Даже опухла от слез. Горло раздулось от плача.

«Наверно, умру от горя», — думает она.

И как-то ночью ей приснился сон. Красивый молодой человек в одежде с блестящими пуговицами вошел к ней. Сел рядом, говорит:

— Слушай, девушка, не надо себя мучить. Слезами не проживешь. С сегодняшнего дня перестань плакать. Твои родители и все другие односельчане услышали шум и вышли на улицу. А посмотрев в сторону моря, превратились в камни. Ты одна осталась жить. Умойся, причешись, поешь.

Проснулась — этого человека нет. Встала, умылась, причесалась, поела. Живет, помня советы человека, которого видела во сне. Проходят месяцы. Девушка чувствует, что у нее будет ребенок. Считает месяцы с того дня, когда видела сон.

Еще видит сон. Тот мужчина вошел к ней и говорит:

— У тебя родится сын. Назови его Буктакан.

В этот же день родился у нее ребенок. Назвала его Буктаканом. Ее сын рос быстро. Прошла зима, наступила весна, сын подрос, и мать сделала для него лук. Буктакан стал стрелять из него птиц. Однажды, наигравшись, вошел Буктакан в дом и спросил:

— Мать, кто целый день гремит вон у той скалы?

Мать отвечает:

— Сын, туда не ходи. Там живет злой милк. Раньше, когда ты еще не родился, здесь было много людей. Видишь вот эти камни? Это люди. Тот милк превратил их в камни.

Как-то Буктакан снова говорит матери:

— Я все же пойду туда, посмотрю. К скале ведет красивая дорога.

— Не ходи. Не позволю убившему сородичей твоей матери взять и тебя.

Буктакан вырос еще больше, сам стал рубить деревья на дрова, сам носить воду. Он научился метко стрелять из лука и быстро бегать.

И однажды он все же подошел к этой скале. Слышит, раздаются звуки ударов. Осторожно выглянул из-за камня. Видит — сидит человек в богатой, сверкающей золотом одежде. Сидит и что-то делает. Буктакан ползком приблизился к нему. Затем с громким криком поднялся и бросился на него. Этот человек с испугу прыгнул в воду и исчез. Подошел Буктакан и увидел — лежит готовый нож, еще горячий. Человек делал нож, большой и длинный, на глазастом огне[1]. Буктакан взял нож, взял и молот, которым работал человек. Вернулся домой.

Буктакан стал совсем взрослым. Стал хорошим охотником. Удачно охотился на нерпу, удачно ловил рыбу. И вот зимой Буктакан сказал матери:

— Мать, нам вдвоем жить плохо. Я пойду искать людей.

Подготовила мать сына в дорогу. Наложила полную нарту запасов, проводила.

Буктакан потянул нарту, отправился в далекий путь искать людей. Он долго шел по берегу Пила-керкка, в сторону полудня. Шел, шел и пришел на Т'ый. Обошел мыс Тагг'о-ах[2], пришел в селение айнов Сиск. Это было большое селение. Буктакан вошел в один двор, сел на свою нарту отдыхать. Один человек вышел и спрашивает:

— Ты откуда?

Привел Буктакана в большой дом. Здесь жил старейшина селения. Буктакан рассказал, откуда пришел и зачем. Тут старейшина стал выяснять, из какого племени Буктакан, и сказал, что Буктакан тоже айн.

— Если то, что я говорил, вызвало у тебя сочувствие, ты не позволишь мне возвратиться домой одному, дашь мне товарища.

Тогда старейшина сказал:

— Я дам тебе нарту, упряжку собак и пошлю тебя к моим сородичам. Ты им расскажи о себе. Они проявят сочувствие.

Перед тем как Буктакан тронулся в путь, старейшина сказал:

— Когда стемнеет и ты будешь думать о ночлеге, увидишь

---

[1] В представлении нивхов огонь, как и все окружающее, имеет душу, он живой. В нивхской мифологии «глазастый» огонь обычно разводят нечистые духи.

[2] Тагг'о-ах — нивхское название мыса Терпения.

дом. В доме будет огонь. Не подъезжай к этому дому. Кто войдет в него, обратно не выйдет. Это дом милка.

Ехал, ехал Буктакан, доехал до середины берега залива. Уже стало темнеть, и он думал о ночлеге. Вдруг видит — стоит на берегу дом, а в нем огонь.

Закрепил нарту тормозом. Вошел в дом. Видит — очаг пылает и трещит сильным огнем. Очень большой человек сидит на нарах для гостей и, держа наголо саблю, смотрит на Буктакана. Буктакан прыгнул в открытую дверь. Милк бросился за ним, но ему дорогу преградила собака Буктакана, передовик. Буктакан только слышал, как собака щелкнула зубами, дважды подала голос:

— Ках, ках!

Буктакан прыгнул в нарту и поехал дальше. Через день он приехал в селение. Нашел дом старейшины. Рассказал ему, откуда явился, что ему нужно.

Вскоре Буктакан женился на дочери этого старейшины. Ему дали в провожатые одного женатого человека, который должен жить в селении Буктакана. И вот Буктакан с молодой женой и его новый товарищ тоже с женой — четверо едут назад. Приехали в то селение, где Буктакану дали упряжку собак. Буктакан спросил старейшину:

— Тебе, конечно, жалко передовика?

Тот отвечает:

— Собаку, конечно, жалко. Но если бы не собака, ты бы погиб. Теперь сделай все, чтобы твое стойбище не знало бед.

Буктакан отвечает:

— Я поеду назад, найду дом этого милка. Сражусь с ним. На нашей земле не должно оставаться зло. Дай мне в помощники двух человек с крепкими сердцами.

Старейшина выбрал из своих людей двух самых храбрых и отправил их с Буктаканом.

Идут. Когда стемнело, видят — стоит дом. Буктакан — впереди, два его товарища — позади. Начерпав воды и набрав дров, вошли в дом. Видят — тот милк сидит посреди средних нар, как и в прошлый раз.

Буктакан развел в очаге большой огонь. Его спутники стали быстро кипятить чай. Буктакан их торопит.

Его спутники боятся милка, от страха дрожат. Один не выдержал и умер. Буктакан встал, вытащил нож, который подобрал на скале, у своего селения. Милк тоже встал, приготовил саблю. Милк саблей, Буктакан ножом сражаются. Долго сражались. От ударов их оружия искры летели во все стороны. Буктакан изловчился и воткнул в сердце милка свой нож по самую рукоятку.

Когда Буктакан вложил в ножны свой нож, чай уже вскипел. Поели, попили чаю и вернулись в селение.

Буктакан собрался ехать домой. Старейшина отправил с ним двух женатых и одного неженатого. Все три женщины

и четверо мужчин приехали в селение Буктакана. Его мать встретила их у дома.

Живут они в селении Буктакана. Живут в довольстве.

Наступила весна. Однажды все четверо мужчин ушли в море охотиться на нерпу. Их застал туман. Туман был настолько плотный, что сидевший за рулем Буктакан не видел переднего гребца. Плывут, а сами не знают куда. Семь дней плывут наугад. Потом видят — какая-то земля перед ними. Пристали к ней. Вылезли на берег, смотрят — на этой земле нет деревьев. Поехали дальше вдоль земли. Едут, видят — большой дом стоит. Подъехали к берегу напротив дома. Буктакан сказал своим товарищам:

— Вытянем лодку на берег.

Вытащили лодку выше линии прилива.

Буктакан впереди, его товарищи за ним вошли в этот дом. Вошли и видят — большого роста женщина жарит на огне человеческое бедро, проткнутое железным вертелом. Вошедшие испугались и хотели убежать, но наткнулись на стену, дверь исчезла. Ничего не поделаешь. Прошли и сели на нары в один ряд. Думают: «Теперь нам всем конец».

Вдруг откуда-то взялось очень много милков. Все они большого роста. Разглядывают людей. Один милк подошел к ним и стал поднимать одного за другим, хватая за волосы на темени. Пробует, кто самый тяжелый. Самым тяжелым оказался неженатый. И милки остановились на нем. Наелись милки, легли спать.

Ночью Буктакан заметил, что страж милк заснул.

Буктакан огляделся. На него смотрит очень красивая женщина, смотрит, улыбается и тихим голосом говорит:

— Зачем на меня смотришь? Лучше ножом сверли быстрей пол у своей головы.

Буктакан взял в руки нож того неизвестного кузнеца, которого он согнал со скалы в море, залез под нары.

— Сверли пол этим ножом. Когда твой нож иступится, возьми потихоньку саблю стража. Сверли саблей. Ты просверлишь пол. Затем осторожно выходи в это отверстие и беги быстрей. Догонят — съедят, — сказала женщина.

Буктакан ножом сверлит пол. К утру нож совсем притупился. Оглянулся. Страж по-прежнему храпит. Буктакан потихоньку подошел к нему и осторожно взял из его рук саблю.

Стал сверлить саблей. Ох, и крепок пол каменный, но еще крепче сабля. Она входила в пол, как в свежий снег.

Сделал большое отверстие. Разбудил своих товарищей. Одного за другим вытолкнул в отверстие. Сам вышел последним. Все побежали к лодке. Как только они столкнули в воду свою лодку, милки выбежали из дома. Один милк влез в воду и ухватился за корму. Буктакан саблей ударил его по рукам,

Люди отошли подальше в море и поехали вдоль берега, не теряя его из вида, к вечеру заметили впереди жилище в виде чума из древесной коры.

Буктакан говорит:

— Подъедем к берегу. Не будем обходить этот дом.

Все согласились. Вышли на берег. Вытащили лодку выше черты приливной волны. Втроем вошли в дом. Когда вошли, увидели, что там сидят седая старуха и женщина, которая помогла им бежать.

Старушка над очагом повесила маленький котел. Положила три палки накрест под котлом, прошла в угол дома, откуда-то вытащила живую рыбу, маленькой палкой ударила, убила и бросила в котел. Разожгла огонь. Дрова затрещали. Рыба быстро сварилась. Старуха дала троим полрыбы. Все трое проголодались. Стали есть. Они едят, а рыбы не убавляется. Все трое наелись, а рыбы осталось столько же, сколько и было. Отодвинули рыбу от себя.

Только теперь заговорила старуха:

— Куда держали путь и как попали на эту землю?

Буктакан рассказал обо всем.

— Хорошенько спите. Завтра продолжите путь. Когда поедете дальше, увидите такой же дом, как у меня. Там тоже живет старуха. Она покажет вам, куда идти.

Утром все спустились на берег, осмотрели лодку.

Когда вернулись в дом, старуха, как вчера, вытащила из угла дома живую рыбу, ударила палкой по голове, сварила и подала им поесть. Ели, ели, а рыбы осталось столько же, сколько было.

— Вы сейчас поедете отсюда вдоль берега, — говорит старуха. — Увидите высокую гору, покрытую елью, мысом выходящую в море. Въезжайте в залив. Там увидите обломки лодок, весел, шестов, гарпунов. Они будут лежать у самой воды; сломанные вами и брошенные в разных местах тайги луки, стрелы будут лежать большой кучей, побольше, чем эта сопка. Поедете дальше, увидите распадок, в распадке — дорогу. А на берегу много разных лодок. Поднимитесь дорогой. Там будет стоять дом. Войдите в дом. Увидите отдыхающего старца. Он вам укажет дорогу дальше.

Наши люди спустили лодку и поехали. Едут, едут. Под вечер подъехали к высокой горе, выходящей в море мысом. Едут по заливу вдоль берега. На берегу залива лежат, как и говорила старуха, большой кучей выброшенные волной орудия охоты на море. А повыше — таежные орудия. Проехали это место. Едут дальше. Видят — распадок отрезал гору низким перешейком. По распадку идет широкая дорога. Вытащили свою лодку подальше на берег. Буктакан впереди, его товарищи — за ним. Поднялись по дороге. На горе увидели дом. Из дома вышла молодая женщина. Наши люди смотрят и удивляются — перед ними вчерашняя молодая женщина.

Взглянув на них, женщина вернулась в дом. Ох, и красивый дом! Там сидят старик и та же старушка.

Хозяева дома приготовили самую разнообразную пищу и подали гостям. На столе всякая рыба и мясо нерп. Хозяева посадили гостей с одной стороны, сами сели с другой. Едят.

За едой Буктакан рассказал о себе. Тогда старик говорит:

— Три дня дам тебе на отдых. Отдохнув, поезжай домой вместе со своими спутниками. Дома расскажите своим сородичам вот что: все рыбы, которых вы съели, все морские звери, которых вы съели, приходят ко мне, все ваши орудия, поломанные на охоте, находятся у меня. Убивая зверя, не мучайте его. Поймав рыбу, не мучайте ее. Завтра, когда вы отдохнете, я покажу замученных вами рыб.

После хозяин приготовил постели и уложил гостей спать.

На другой день, хорошо выспавшись, встали. Как и вчера, их угостили самой разнообразной пищей.

После еды старик пригласил всех следовать за ним. Стал старик водить гостей внутри своего дома. В одном месте увидели озеро. Там плавают горбуши. В другом месте тоже озеро. Там плавает кета. В третьем озере — таймени. Что ни озеро — новая порода рыбы. И среди живых, быстро плавающих рыб, много измученных. У одних откушен только нос, у других отрезаны головные хрящи и кем-то из людей съедены. Они приплыли к старику и вечно мучаются. И зверей самых разнообразных можно видеть в доме. Каждый зверь на своем месте, в своей норе. И птицы и насекомые в своих гнездах. Люди три дня подряд ходили и смотрели владения старика. На четвертый день старик говорит:

— Вот теперь вас отпускаю домой. Дома все расскажите своим сородичам. Скажите, чтобы они бережно относились ко всему живому. Не допускайте зла сами и не позволяйте делать это сородичам.

Затем старец проводил гостей до берега. Спустил на воду белую лодку. Велел Буктакану сесть на корме, чтобы смотреть только вперед. После этого спустил на воду пеструю лодку. Посадил второго на середину лодки. Для третьего спустил черную лодку. Велел ему сесть в носу лодки, чтобы смотрел только назад.

— Когда лодка выскочит на берег, вставай, — сказал старик Буктакану.

Последнему, сидящему в черной лодке, приказал:

— Гляди только назад. Поднимайся тогда, когда лодка коснется берега. Если ты встанешь раньше времени, не доедешь до дома.

То же сказал среднему, только предупредил его, чтобы он смотрел по сторонам. Дав им наставления, старик оттолкнул лодки одну за другой.

Буктакан смотрит только вперед, а перед глазами образ

оставшейся со старцем молодой женщины. Последняя в чёрной лодке смотрит только назад и видит сзади лодку старца.

Плыли лодки по морю, несли их волны на своих спинах. Через некоторое время услышали, как их лодки ударились о песку: кыр-р-р-р-р-р — и остановились. Тогда все трое поднялись. Осмотрели берег. Увидели стойбище.

Буктакан обратился к своим спутникам:

— Поверните свои лодки носом к воде.

Повернули лодки носом к воде, поднялись повыше на берег. Сели на бревно. Видят, недалеко играют дети. Буктакан подозвал одного.

— Это ваше селение? — спросил.

— Наше, — ответил мальчик.

— У тебя есть отец и мать?

— Мой отец уехал на море охотиться и не вернулся.

— Знаешь ли ты имя своего отца?

— Мой отец Буктаканом звался. На охоте потерялся. Мы сейчас с мамой живем.

Тогда Буктакан говорит:

— Иди и скажи матери: вымой дом, мой отец приехал.

Мальчик побежал.

Второго мальчика позвали. Приехавший на пестрой лодке спрашивает:

— Твоя мать имеет мужа?

— Моя мать не имеет мужа, — отвечает мальчик.

— Иди и скажи: тебе велели вымыть дом.

Мальчик убежал домой.

Подошел сын приехавшего на черной лодке.

— Ты имеешь отца? — спрашивает.

— Мой отец пропал на морской охоте, — отвечает.

— Твоя мать имеет мужа? — спросил.

— Да, имеет, — отвечает.

— Скажи матери: пусть прогонит этого человека. Скажи, что твой отец приехал.

Мальчик побежал домой.

Услышав вести, матери не поверили. Пошли на морской берег. Видят — три лодки лежат на морском берегу. На них три человека сидят на бревне. Жены побежали скорее домой обратно, чтобы вымыть свои дома.

— Давайте выберем из дымокура самой... — сказал Буктакан. — Надо отблагодарить старика... к нам.

Поймали белого, пестрого и черного оленя... к лодкам.

Буктакан положил белого оленя вверх... где сам лежал, и оттолкнул лодку. Лодка... щалась, затем понеслась прямо в море с... Пестрого оленя положили ничком в пестрой...

нули. Эта лодка шесть раз возвращалась, затем как птица понеслась в море. Черного оленя положили на нос вверх ногами и оттолкнули лодку. Лодка три раза возвращалась, затем пошла вдогонку другим лодкам.

После этого пришли домой и стали жить. Живут-поживают. Ездят на охоту, много зверей убивают. Но никто больше не бросает в море полуживых рыб, никто больше не калечит зверей.

ЧЕЛОВЕК ЫХ-МИФА

Посвящается сказителю Ршызнгауну Вагзибину, память которого достойна долгого почитания

Я расскажу давний нгастур. Об Ых-нивнге, человеке необыкновенном, праотце людей Ых-мифа.

Говорят, что он и по сей день покровительствует живущим.

А сам он жил много-много лет назад, когда на нашей земле и на других мифах-землях было много всяких милков и кинров — злых духов.

Где-то на берегу большого и сердитого моря в окружении густой тайги вдали от человеческих поселений стоял полузасыпанный землей старый то-раф — деревянный зимник. Зимник был маленький, темный, весь в щелях, через которые с гудением проходил Умла-ла — Злой ветер.

Умла-ла натужно гудел, истошно взвывал, но его перекрывал крик младенца, раздававшийся из тякка — берестяной люльки, подвешенной лахтачьим ремнем за навесную жердину. Кто его родители и почему они оставили свое дитя подвешенным за жердину, не мог знать младенец.

Туча пронесется над побережьем — дождь прольется через томс-куты — дымовое отверстие на потолке — поймает младенец ртом струи, утолит жажду. Муха ли, жучок ли какой сядет на его лицо — съест младенец. И растет. Быстро растет. И тякк уже стал тесным, и младенец начал раскачиваться в висячем тякке, вот-вот вывалится. Не выдержал, лопнул лахтачий ремень, упал тякк на нары, опрокинулся. Вылез малыш из тякка, пополз по шкурам, щупает их руками: мех мягкий, теплый. Удивляется мальчик, радуется своему открытию, все ползает по шкурам, приникает щекой к длинной пушистой шерсти, дышит запахом неизвестного большого зверя. И еще заметил мальчик: на нарах спать удобно!

Растет мальчик. Быстро растет. Как-то свесил он ноги с нар, достал носками земляной пол, спустился. Удивился тому, что он стоит. И еще больше удивился, когда сделал несколько первых шагов. Засмеялся мальчик, запрыгал от радости. И теперь только и занимался, что поднимался на нары, спускался с них и бегал по земляному полу то-рафа.

А жилище большое: в длину девять махов взрослого человека, в ширину — восемь махов. Видно, жили в нем могущественные люди. Но куда они исчезли?

И вот слышит: «ж-ж-ж-ж-у-у-у». Поднял голову мальчик, видит: в дымовое отверстие влетела большая муха. Муха летала, летала, будто выбирала место, куда бы сесть. И вот она села в темный угол, совсем рядом с серебряной сетью, растянутой золотым пауком. У мухи глаза большие, зеленые. Крылья широкие.

— Ж-ж-жу-уу, — тоненько сказала она. — У тебя есть и отец и мать. Когда ты родился, мать дала тебе из левой груди один глоток, из правой — два глотка. Отец поцеловал в правую щеку раз, в левую щеку — два. Положили тебя в тякк, подвесили к поперечной жердине. Отец ушел в самый дальний, Девятый земной мир богом, а мать — в самый дальний, Восьмой морской мир богиней. А тебя оставили в Первом земном мире. Живи как можешь, — сказала муха и взлетела. Но задела крыльями паутину, прилепилась к сети. Набросился на муху паук.

Бьется муха с пауком, из сил выбивается. Почуял мальчик беду, но не знает, как помочь мухе.

— Выйди из то-рафа, отломи ветку дерева, сделай из нее лук, убей паука, — просит муха.

Мальчик бегает по то-рафу, ищет выход. Долго искал. Нашел. Толкнул дверь рукой — не открывается, налег плечом — не открывается. Тогда разбежался мальчик, грудью ударил в дверь. Поддалась дверь, открылась. Выбежал мальчик из то-рафа и закрыл глаза — так много света. Услышал он шелест трав, шум листвы, пенье птиц — закружился, завертелся. Но не было времени радоваться — надо спасать муху. Отломил длинный сук, свил из крапивы тетиву, приладил ее к суку — получился лук.

Когда мальчик вбежал в то-раф, муха совсем обессилела, а паук уже подбирался к ней. Нацелился мальчик, пустил стрелу. Стрела пронзила сердце пауку, и он свалился на пол. Наступил на него мальчик пяткой, раздавил.

А муха еле жива, стонет чуть слышно.

Вышел мальчик из то-рафа, отломил длинную ветку, сбил ею сеть паука.

Лежит муха на наре, набирается сил. И вдруг зажужжала муха, завертелась и обернулась молодой красивой женщиной: волосы в две толстые косы до бедер, одета в яркий х'ухт с богатым орнаментом по краям полы. Белолицая, черноглазая, она улыбнулась, а мальчик удивляется, не верит своим глазам.

Женщина подошла к мальчику, расчесала ему волосы, заплела в одну косу, одела в одежду из кожи невиданной рыбы.

— Это тебе в благодарность, человек, ты спас мне

жизнь, — сказала она. — Ты Ых-миф-нивнг, житель земли Ых-миф. Когда ты вырастешь, я жду от тебя подвигов, — сказала женщина, и мальчик вновь услышал жужжанье. Женщина снова превратилась в муху и вылетела в дымовое отверстие. Мальчик крикнул ей вдогонку:

— Мне надо благодарить тебя, муха. Ты назвала меня человеком, и теперь я знаю, что мне делать.

Только сказал, как почувствовал, что он растет, раздается в плечах. Вот уже нары опустились по пояс, потом ниже пояса, до бедер. И вскоре оказались на высоте колен. Человек услышал свое сердце, оглянулся вокруг, легко открыл дверь, шагнул в мир. И пошел человек, слыша в себе неведомый доселе зов — зов дали.

Шел-шел человек, видит: на большой поляне трое, похожих на него, бегают, прыгают, чем-то длинным колют какое-то большое существо. А большое существо ревет так, что деревья дрожат. А шкура на нем такая же, что лежит на нарах в то-рафе.

«Ой, какая шкура хорошая!» — подумал Ых-нивнг. А на поляне происходит не то игра, не то борьба. Когда увидел, как один из трех ударил зверя длинной палкой с блестящим острым наконечником, понял — идет борьба. Из раны зверя пошла кровь. Зверь еще громче заревел, лапой ударил по копью. Копье сломалось. Вышел вперед второй охотник, но и у того копье сломалось. Выступил третий охотник — и у того копье сломалось. Выхватили охотники ножи. А зверь все кидается, те едва успевают уклониться от него.

Тогда Ых-нивнг заревел по-звериному. Зверь оставил охотников, повернулся к Ых-нивнгу.

— Эй, человек! — крикнули охотники. — Ты безоружный, убегай, а то разорвет тебя медведь!

А Ых-нивнг и не подумал отступать. Только зверь стал подыматься на дыбы, ударил его кулаком, и отлетела голова медведя.

Удивились охотники такой силе.

— Это не человек, — сказал один.

— Он, наверно, милк, — сказал другой.

— Милк не убил бы медведя, — сказал третий.

— Но человек не может рукой убить медведя, — сказал второй.

— Надо узнать, понимает ли он язык Ых-миф-нивнгов — жителей Ых-мифа, — сказал третий.

Услышал Ых-нивнг родную речь, обрадовался. «Значит, на Ых-мифе не я один живу».

— Я человек, житель Ых-мифа, — сказал Ых-нивнг.

— Хы! — удивились охотники и тоже обрадовались.

— Мы трое — братья, — сказал тот, кто постарше. — Мы не знаем, как тебя звать, какого ты рода.

— Я сам не знаю, как меня зовут. И не знаю, какого рода.

— Тогда будем звать тебя просто Ых-нивнг — житель земли Ых-миф, — сказал старший брат. — На Ых-мифе рода разделяются на ымхи — род зятей, ахмалки — род тестей. Мы не знаем, какого ты рода. Тогда будем звать друг друга нгафкк. Так обращаются между собой все добрые люди.

Пока говорили между собой старший из охотников и Ых-нивнг, младшие братья срубили стройные ели, отесали их, оставили только верхушки крон и два сучка — «руки».

Выстругали языкастые стружки — нау, привязали их к сучкам.

— Теперь нау будут говорить с душой медведя, — сказал старший брат, — и Пал-ызнгом — богом гор и тайги, будут просить бога, чтобы удача никогда не покидала жителей Ых-мифа, чтобы кинры — злые духи не убили никого из Ых-нивнгов.

Зашелестели языки — нау, повели разговор с Пал-ызнгом.

А братья-охотники взялись за передние лапы медведя, чтобы совершить с медведем ритуальный танец — протащить его вокруг главного пурунга[1] три раза против хода солнца. Но как ни силились братья, сдвинуть с места не смогли.

— Нгафкка, нам одним не одолеть. Помоги, — попросил старший брат.

Ых-нивнг схватил медведя за правую лапу, трое братьев-охотников за левую и с криком «хук» три раза протащили медведя вокруг пурунга. Сели братья свежевать медведя.

Нагрузили братья друг на друга медвежьего мяса. Ых-нивнг последним взвалил на себя полтуши и пошел следом за охотниками.

Жители стойбища встретили удачливых охотников песнями, а собаки — дружным радостным лаем.

— Кто этот человек? Из какого он рода? — спрашивают старики у братьев.

— Он не помнит своего отца, но называет себя Ых-нивнгом, как и все мы, — отвечают три брата.

И вот на праздник медведя собралось все стойбище: пришел и стар и млад, юноши и мужья.

Женщины расселись в круг, и начались танцы. В круг выходит одна стройней другой, одна красивей другой. Но вот и в круг вошла луноликая девушка с толстыми косами ниже пояса, с черными раскосыми, как крылья ястреба, глазами. Танцовщица извивалась рыбой, молодой нерпой плыла по морю, плавно взлетала лебедем. А женщины, ударяя по бревну короткими палками, запели:

Под бе-ре-зой,
Под бе-ре-зой
Ряб-чик мо-ло-дой
То уйдет в траву,
То сно-ва
Ви-ден над тра-вой.

[1] Пурунг — ель, используемая в ритуальных целях.

Юноши же стали соревноваться в беге на берегу залива у самой воды.

И Ых-нивнг участвовал в состязаниях. Он бежал так, что только босые ступни сверкали на солнце. И о нем запела луноликая девушка:

Так бежит наш гость далекий,
Быстро так бежит —
Пяткой шлепнет по затылку,
В лоб носком вонзит.
Так бежит наш гость далекий,
Быстро так бежит.
Что коса, как ястреб-птица,
Над волной летит.

Старцы, куря трубки, цокали языками: такого бега они никогда не видели.

Начались соревнования в толкании тяжести. Кто дальше всех толкнет валун, тот победит. В спор вступили и юноши, и мужи.

Тяжел валун, не каждый муж поднимет его на плечо, чтобы толкнуть его. Дальше всех, на семь шагов, толкнул Средний брат. Ых-нивнг подошел к валуну, обхватил его двумя руками, поднял до пояса, перенес на плечо, чуть присел, отведя плечо назад, выпрямился и толкнул. Валун пролетел над головами стариков, ударился в лиственницу. Дерево будто срубили.

— Ый! Ый! — удивились старики.

Но вот мужчин позвали на пир. У главного костра расселись нархи — почетные гости из рода зятей. Ых-нивнга посадили среди нархов.

Женщины уселись чуть поодаль, у кустов кедрового стланика.

Нархов хозяева угощали самыми вкусными кусками. Подносили им пищу богов — мос. Нархи, как подобает уважающим себя мужчинам, только прикоснулись к мосу.

Поели почетные гости, запили наваристым бульоном. Закурили.

Отдохнули гости после сытой еды, и хозяева — люди из рода Трех братьев стали вызывать гостей в круг состязания в борьбе. Вышли борцы на середину круга, крепко обхватив друг друга руками, и началась борьба. Кто уложит противника на лопатки — побеждает. А против победителя выходит новый борец.

Никто не смог осилить Среднего брата.

— Он и нынче самый сильный, — сказали старики о Среднем брате.

А луноликая девушка лукаво запела, и ее поддержали женщины:

Гость наш робок, как олень,
Он не выйдет в круг,

Не покажет ловкость ног,
Силу своих рук.

Кто-то в толпе хихикнул, а старики усмехнулись.

Засучил рукава Ых-нивнг, вышел навстречу Среднему брату.

Обхватили борцы друг друга. Ых-нивнг спрашивает у Среднего брата:

— Ты приготовился?

— Приготовился. А ты?

— И я готов. Начнем?

— Начнем.

И увидели старцы такое, что никогда не видели. Борцы поднимали друг друга выше головы, кружились, как вихри, со всего маху бросали друг друга на землю. Но каждый раз и тот и другой касались земли обеими ногами. Вокруг все гудело и дрожало. Ох и ловок Средний брат! Он успевал вывернуться у самой земли и тут же переходил в нападение.

Зрители шумели, кричали, толкали друг друга, подпрыгивали, будто сами боролись. Даже старцы забыли о степенности и кричали, совсем как несмышленые дети.

Долго боролись соперники. Зрители уже давно охрипли и, не замечая этого, беззвучно раскрывали рты, как вытащенная из воды рыба.

Средний брат брал ловкостью, а Ых-нивнг никогда в своей жизни не боролся — брал силой. И пока боролся, научился борьбе. Зрители уже хотели прекратить соревнования борцов, когда Ых-нивнг удачно схватил соперника, оторвал от земли, обеими руками так сильно прижал его к груди, что тот едва не испустил дух. Затем Ых-нивнг, не отпуская соперника, всей тяжестью своего большого тела обрушился на него. Тот упал на спину и больше не сопротивлялся.

— Ух-хуху-у-у, — устало перевели дыхание старцы, будто это они боролись.

А женщины запели:

О, Человек неизвестного рода,
Гость почетный рода Трех братьев,
Силу твою не знаем, с чем сравнивать,
Разве с силой обвала в горах.

Жители стойбища сами утомились и дали гостям передохнуть. Люди лежали на мягких разлапистых ветвях кедрового стланика, курили трубки и говорили о человеке неслыханной силы.

Но вот стало темно. Ых-нивнга позвали в большой ке-раф — летнее жилище. Дали место для почетных гостей — постелили на понахнг.

По старинному обычаю, когда гость в доме, не придет дух ночного покоя, пока кто-нибудь не начнет тылгур.

И в темноте раздался голос Младшего брата. Он не будет рассказывать, он только откроет «дорогу» тылгуру.

— Э-э-э-э, — нараспев затянул молодой голос. — Мы люди Ых-мифа. Куда бы ни смотрели наши глаза, куда бы ни принесли нас наши ноги, мы везде уважали обычаи людей, принявших нас. Мы, как свое, принимаем их радость и горе. Да будь этот день и эта ночь благословенны! Да будь этот день и эта ночь началом дороги добра. Э-э-э-э-э!

— Хонь![1] — закричали справа.

— Хонь! — закричали слева.

— Хонь! Хонь! — раздалось со всех сторон.

Потом стало тихо-тихо. Люди ждали. Но Ых-нивнг не знал, что от него требуют. Никогда он не слыхал, что такое тылгур.

— Хонь! — потребовали люди.

И Ых-миф-нивнг сказал:

— Я не знаю, что вам говорить, я не знаю, о чем бы вы хотели услышать. Я человек Ых-мифа. Когда я родился, мать дала мне из левой груди один глоток, из правой — два; отец поцеловал в правую щеку раз, в левую щеку — два раза. Положили меня в тякк, подвесили к потолку. Отец ушел в Девятый земной мир богом, мать ушла в Восьмой морской мир богиней.

— Хы! Хы! — удивились люди рода Трех братьев.

— Хонь! Хонь! — требовали они продолжения.

— Мне нечего вам рассказать. Я только вышел в мир и попал к вам, люди рода Трех братьев.

В темноте раздался голос Среднего брата:

— Послушайте, что скажет Старший брат.

— Хонь! — попросили люди.

— Э-э-э-э-э! — затянул густой голос.

Вокруг притихли.

— Э-э-э-э-э! — запел Старший брат. —

Мы люди Ых-мифа.
Мы люди добра.
И, в путь отправляясь,
Несем мы добро.
Гостей принимаем,
Как братьев родных.
Врагов мы совсем
Не желаем иметь.
Совсем не желаем,
Совсем не желаем,
Совсем не желаем,
Чтоб были враги.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Мы люди Ых-мифа.
Мы люди добра.
Но в мире не все

[1] Хонь — восклицание, означающее просьбу слушателей начать, а после начала продолжать тылгур.

Из добра состоит,
И духами злыми
Наполнен наш мир.
Преследуют милки
Нас всюду в лесу.
От кинров и дома
Спасения нет.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!

Издавна славен род Трех братьев,
Славен мужьями, мужьями храбрыми.
Род наш издавна бьется с милками.
Битву ведем мы издавна с кинрами.

Слушай о подвиге сына Трех братьев,
Младшего сына, Пулкином что звали.
Был босоног и ходил он в лохмотьях,
Был неумыт, непричесан, голодный,
И на охоте добычей не радовал,
И на рыбалке он не был удачлив.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Ночью осенней, темною ночью
Взлаяли робко собаки на привязи.
То ли продрогли от ветра промозглого,
То ли хозяин забыл покормить их.
Только услышали старые люди:
Взлаяли робко собаки на привязи.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Может быть, путник с далекого стойбища
С доброю вестью иль с вестью-бедою
В трудной дороге своей припозднился,
С добрым намереньем к людям явился.
Вышел на лай самый древний охотник,
Вышел без шапки, согбенный и тихий.
Взлаяли громче собаки на привязи.
Взвизгнула сука, как будто ударили
Палкой увесистой по голове ее.
Взвизгнула сука. И лай прекратился,
Будто собак в конуру отпустили,
Где им тепло и сухая подстилка,
Или как будто хозяин явился,
Дал им похлебку из жирной нерпятины.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Вышел на лай самый древний охотник,
Вышел без шапки, согбенный и тихий.
Взвизгнула сука. И лай прекратился.
Стало вокруг настороженно тихо.
Вышел под небо рыбак седовласый,
Вышел узнать, что случилось с охотником.
Вышел. Но он тишины не нарушил,
Не разрешил он сомнений опасливых.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Вышли под небо и не вернулись
Оба согбенные и седовласые.
Вот уж заря свои крылья раскинула —
Но стариков не дождались люди.

Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Вместе с рассветом увидели люди:
Кто-то изрыл своим следом когтистым
Землю вокруг, и собак словно не было —
Треплет обрывки от привязи ветром.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Старый шаман, родовой всемогущий,
Тут же скликал он мужей с сильным сердцем,
Юношей он пригласил крепконогих,
Старцев почтенных созвал до единого.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Жертвенный жаркий огонь трехъязыкий
Вспыхнул мгновенно, треща, разгораясь.
Лучшего в стойбище пса желтомастого
Духу могучему в жертву отдали.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Люди притихли, томясь в ожиданье:
Что же им скажет шаман их великий?

Долго просил наш шаман добрых духов,
Долго плясал наш шаман всемогущий,
Птицей ночною пугал тишину он,
Зверем неслыханным в темень бросался.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Жертвенный гаснет костер, иссякая.
В людях надежда, как жар, иссякает.
Вздохи отчаянья раздаются:
Где твоя добрая воля, Всесильный?
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Вихрем неудержным и непокорным
Вышел туда, где огонь иссякает,
К людям, в чьих душах надежда погасла,
Парень невидный, Пулкином что звали.
Был босоног и ходил он в лохмотьях,
Был неумыт, непричесан, голодный
И на охоте добычей не радовал,
И на рыбалке он не был удачлив.
Парень как парень, ничем не приметный.
Только глаза, словно угли, горели.
В гневе великом был неузнаваем,
Был он в бесстрашии черным, как туча.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Стрелами люди его снарядили,
Лук ему дали из уса китового,
Дали копье с костяным наконечником,
Молча в дорогу его проводили.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
В два перевала дорога лежала.
Только на третьем догнал злого духа —
Шел не спеша он в обличье медведя,
Шел он ленивою, сытой походкой.

Наш человек заорал что есть силы,
Крикнул угрозу, копьем потрясая.
Только на это злой дух не ответил:
Не побежал, не замедлил он ходу.
Крикнул Пулкин, заорал что есть силы,
Выругал духа словами последними.
Дух заревел, оскорбленный смертельно,
В гневе великом пошел в нападенье.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Выпустил парень стрелу оперенную —
Лапой, как муху, медведь отмахнул ее.
Прыгнул медведь и присел, устрашая.
В грудь ему парень копье направляет.

Глухо взревел тут медведь разъяренный,
В сильном прыжке он вознес свое тело.
Парень не дрогнул: движением точным
Брюхо вспорол костяным наконечником.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Парень копьем уж нащупывал сердце,
Думал уже о своем возвращенье.
К стойбищу мыслями лишь прикоснулся —
Хрустнуло древко в зубах у медведя.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Хрустнуло древко в зубах у медведя,
Хрустнуло, словно солома сухая.
Сердце Пулкина застыло мгновенно,
Руки отнялись и ноги отнялись.

Лапой могучей предсмертным ударом
Бросил медведь человека на камни,
Сам растянулся в агонии длинной
И бездыханно застыл на каменьях.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Ветер по сопке к Пулкину спустился,
Лба его влажной ладонью коснулся.
Небо увидев и солнце увидев,
Силы собрал, закричал человек наш.
Э-э-э-э!
Э-э-э-э!
Клич через два перевала пронесся,
Людям сказал о победе великой.
Вышли в дорогу мужчины и юноши,
С песнями, плясками вышли в дорогу.
Но ликование длилось недолго —
В два перевала оно продолжалось.
И на подъеме, скалистом и диком,
Долго и скорбно мужчины молчали.

Тело медведя — нечистого духа —
В гневе великом они изрубили,
Мясо собакам бродячим отдали,
Сердце отдали мышам на съеденье.
Почести люди Пулкину воздали.
Сердце его в небеса улетело,
Дух его ястребом стал всемогущим,
Стал он хранителем рода Трех братьев.
Э-э-э-э!

Э-э-э-э!
Э!

Все время, пока рассказывал Старший брат свое древнее предание, никто даже не пошевельнулся.

Подвиг босоногого юноши поразил людей. Еще больше поразил их сам рассказ. Поразил красотой своей.

— Хы! Хы! — выразили люди свое восхищение.

Старшему брату подали воды в тыке — берестяной посуде. Сделал Старший брат шесть больших глотков, трижды глубоко вздохнул и сказал:

— Люди Ых-мифа! Ваш сын ступил на длинную тропу больших и опасных битв. Путь его лежит через восемь небес на Девятое небо. Путь его лежит через семь морей на Восьмое море. Сколько опасных приключений ждет его! Если кыс — счастье не отвернется от него, совершит Ых-нивнг свои великие дела. Пусть гость наш силу набирает. Пусть дух Ночного покоя лаской своей не обойдет его.

Вокруг стало тихо. Только слышен сап и храп. Дух Ночного покоя опустился и на Ых-нивнга.

Но недолго был отдых Ых-нивнга. Еще утренняя заря не успела заалеть, как снаружи раздалось: курл-гурл! Проснулись люди, затаили дыхание.

А в томс-куты — в дымоход спускается серебряный крюк. Крюк шевелится, живой. Зацепил Младшего брата и потянул кверху. Как ни бился Младший брат, вытащил его крюк в дымоход и утащил в небо.

Опять спускается крюк в дымоход.

Зацепил Среднего брата и утащил в небо.

В третий раз спускается крюк. Зацепил Старшего брата и утащил в небо.

Заплакали женщины и дети, деды склонили головы в тяжкой печали. Юноши схватили копья и луки, но им даже на Второе небо не взобраться.

Один из них стал под дымоход с копьем в руках, крикнул:

— Эй, небо! Опусти еще раз свой крюк! Возьми и меня!

Но крюк не опускался.

Стали под дымоходом все юноши с копьями, с луками, с саблями в руках, крикнули:

— Эх, небо! Опусти еще раз свой крюк! Возьми нас всех!

Но крюк так и не опустился.

Тогда вышел в круг Ых-нивнг.

— Я пойду искать ход в небеса.

— Где ты его найдешь? — спросили люди.

— Не знаю сам. Но пойду искать, — твердо сказал Ых-нивнг.

Снарядили его люди, дали копье и лук тугой. Только сказали:

— На нашей земле много милков всяких. Увидишь дву-

ногих, похожих на нас. Будь осторожен в дороге. Береги себя.

Привязали люди рода Трех братьев к спине Ых-нивнга нау — священные стружки, чтобы добрые духи сопровождали Ых-нивнга в опасной дороге.

Вышел Ых-нивнг на морской берег, пошел куда глаза глядят.

Долго шел он. А на песке ни одного следа. Только чайки пролетали над ним, и еще дельфины выпрыгивали из моря, чтобы посмотреть на путника.

И еще много дней шел он, много месяцев. В траве ли прибрежной жесткой, в кустах ли колючих кедрового стланика спать ложился на ночь, но только вскинется рассвет многоперой зарей, путник вновь продолжал свою дорогу.

Вышел путник к широкому устью реки, увидел людей, похожих на него. У тех волосы в одну косу, халаты из рыбьей кожи с орнаментом на полах. Обрадовался Ых-нивнг встрече, ускорил шаг. А те побросали сети, сели в лодку и переехали реку.

— Милк, наверное, пришел, — сказал один.

— Уж очень похож он на человека, — сказал второй.

Ых-нивнг крикнул:

— Эй, если вы люди, чего меня испугались, я сам человек!

— Если ты человек, из какого ты рода? — спросил старший.

— Я, как и вы, Ых-миф-нивнг — человек земли! — крикнул Ых-нивнг.

— Вправду, он не милк, — сказал первый.

— У него на спине нау — священные стружки, — сказал второй.

Убедившись, что Ых-нивнг не милк, неизвестные люди пригласили его в стойбище.

— По обычаю нашему, если путник обошел стойбище, не зашел в него, обиду великую нанесет он жителям стойбища.

Погостил Ых-нивнг день, два. На третий отправился в путь. Провожая его, жители стойбища сказали:

— Дальше нет человеческих селений. Только милки, похожие на людей, встретят тебя. Мы с ними издавна бьемся. Мы потеряли много детей и мужчин-кормильцев.

Долго шел Ых-нивнг. И вот видит: бегут навстречу трое, похожие на людей. И одежда людская. Только глаза волчьи — жадные, горящие.

— Это тот самый человек, — сказал один.

— О-о-о, много в нем мяса, — сказал другой.

— Если мы его одолеем, никто на этой земле не будет нам мешать людей забирать, — сказал третий.

Окружили милки Ых-нивнга. И не успел Ых-нивнг натянуть лук, набросили на него толстую цепь, опутали ноги и руки.

— Будем есть его сейчас или поведем в свое селение? — спросил первый милк.

— Надо повести его в наше селение, пусть увидят его другие милки, — сказал второй.

— Покажем его Главному милку, — сказал третий.

Повели Ых-нивнга в густую тайгу. Долго вели. Привели на поляну. Там жилища, похожие на ке-рафы. Вошли в большое жилище. И увидел Ых-нивнг: сидит на нарах старый милк, одноглазый, с большими редкими зубами.

— Хе! Какую добычу добыли! — говорит Главный милк и, довольный, почесывает круглый живот.

Сбежались милки, разглядывают Ых-нивнга так, как люди разглядывают добытого жирного оленя.

Подходит один милк, хватает Ых-мифа за волосы на темени. Как ни тужился милк, оторвать его от пола не смог.

Подходит второй милк, третий. Все милки пытались поднять Ых-нивнга, но не смогли.

— Х-хе-хе! — доволен Главный милк. — Вот это добыча!

А человек думает: «Неужто я умру, ничего не успев сделать?» — И говорит милкам:

— Как бы вы ни были сильны, нельзя меня поднять: на мне тяжелые цепи.

Сняли милки с Ых-нивнга цепи. Хотел один милк вновь испытать свою силу, но его опередил человек:

— Съесть меня вы успеете. Но хочу перед смертью раскрыть вам одну тайну.

Милки сдвинулись плотнее, притихли.

— Недалеко от вашего селения есть небольшое, но глубокое пуню — озеро. Оно пахнет, и от него всегда идет пар. Вы думаете, отчего это?

Милки переглядываются, молчат.

— Это оттого, что на дне его милки из другого рода жарят на огне мясо неслыханного зверя, вкусного, жирного.

— Хы! Хы! — удивились милки.

— Проведи нас к тому пуню! — сказал Главный милк.

Привел Ых-нивнг милков к пуню — горячему озеру. Пузырится вода в озере, клубится паром. Повели милки носом — пахнет чем-то.

— Ныряй! Посмотри, что там, — приказал Главный милк одному милку.

Милк нырнул с берега. Ждали, ждали его другие, а он не показывается.

— Он, наверное, не выйдет, пока не сожрет мясо, — сказал один милк.

— Он всегда был жадный, — сказал второй милк.

И все милки наперегонки бросились в пуню и сварились в нем.

Вышел Ых-нивнг из лесу, снова пошел по берегу моря.

Шел-шел и остановился: земля кончилась. А вдали в небе — большое отверстие. Видит: в него вереницей влетают лебеди. Пролетают над морем и исчезают в отверстии. «Наверно, они там зимуют, — подумал человек. — Но как пробраться в небо?» Думал-думал человек, устал. Лег прямо на траву, уснул. И во сне явилась к нему муха, та муха, которая прилетала к нему, когда он был младенцем. Говорит муха: «Позови Ват-нгайхылка — Железного ястреба, покровителя рода Трех братьев. Скажи ему, что ты идешь биться с милками, которые утащили братьев на небо».

Проснулся Ых-нивнг, позвал Железного ястреба. Только сомкнулись губы Ых-нивнга, просвистело в воздухе что-то. Глянул Ых-нивнг в небо, видит: гонит Ват-нгайхылк большого лебедя. Пригнал лебедя к Ых-нивнгу. Сел Ых-нивнг на лебедя, полетел в отверстие. А ястреб за ними. Пролетели одно небо, потом второе. Летят дальше. На Четвертом небе их остановил большой железный волк на девяти железных цепях. Привязан к девяти железным столбам. Кидается волк, цепи звенят, столбы гнутся, вот-вот сломаются. Кидается волк, не пускает Ых-нивнга дальше.

Ударил Ых-нивнг волка саблей — полетели искры, откололось лезвие сабли. Ударил копьем — копье притупилось. Не знает Ых-нивнг, как убить железного волка. И слышит голос женщины-мухи:

— Это не просто волк. Это живое жилье милков. Сами милки в брюхе волка прячутся.

Раскрыл волк пасть. Впрыгнул Ых-нивнг в пасть и очутился в большом жилище. Сидят там старые худые милки: старик и старуха, родители всех милков, гложут гости. Увидели старики милки Ых-нивнга.

— Хы! Мясо свежее пришло! — обрадовался старик.

— Вы меня успеете съесть, — сказал Ых-нивнг. — Сперва я дам вам гостинец.

— Где гостинец? — спросили милки.

— Идите за мной, — сказал Ых-нивнг и вышел из пасти волка.

Только вышли старые милки, налетел на них Ват-нгайхылк, Железный ястреб, выклевал им глаза.

Милки тут же издохли. Издох и железный волк — он не живет без хозяев.

Сел на лебедя Ых-нивнг, полетел дальше. Долго летел он. Прилетел на Седьмое небо. И там в селении милков увидел: сидят люди, привязанные цепями. Среди них — три брата. С трудом узнал их Ых-нивнг: милки откармливают людей, как люди откармливают животных, чтобы потом убить и съесть их.

Увидели три брата Ых-нивнга, обрадовались. Но тут же омрачились: Ых-нивнг не сможет освободить их. А один из стариков сказал:

— На Ых-мифе нам трудно добывать пищу, а тут нас откармливают. Пусть немного нам жить, но зато мы сегодня сыты.

Возгневались три брата, глазами, как стрелами, пронзили старика. И Ых-нивнг впервые в жизни познал гнев.

И вот явились милки. Ходят среди людей, выбирают их на ужин.

Остановились перед тремя братьями, рассматривают их, цокают языками от радости.

— Подождите! — крикнул Ых-нивнг.

Только теперь увидели милки Ых-нивнга. Подивились: как этот человек сам попал на Седьмое небо?

«Наверно, бог», — подумали они.

— Надо принести сперва смолы. Много смолы!

— Это зачем? — спросили милки.

— Я научу вас делать вкусную приправу. С приправой мясо вкуснее!

Принесли кинры смолы, сложили в одну кучу.

Ых-нивнг развел большой огонь, растопил смолу. Каждому кинру дал по щепе и сказал:

— Отведайте приправу.

Жадные милки, оттесняя друг друга, набежали к горящей смоле, зачерпнули и проглотили. И заживо сгорели.

Ударил Ых-нивнг саблей по цепям, перерубил их, освободил людей.

Велел Ых-нивнг ястребу, чтобы тот доставил людей на Ых-миф. А сам сел на лебедя, полетел дальше.

Долго летел лебедь, устал. Уже из сил выбивается. Видит Ых-нивнг: висит серебряный амбар на золотой нитке. Кое-как долетел до него лебедь.

Серебряный амбар, раскачиваясь на золотой нитке, полетел вверх. Летел-летел амбар, остановился. Выглянул Ых-нивнг из амбара, видит: такая же земля, как и Ых-миф. Только травы и деревья ровные, будто постриженные. Тепло — солнце такое же, как и на Ых-мифе летом. Еще увидел большое серебряное жилище. Из него вышел крепкий мужчина в золотой одежде. «Кто это?» — подумал Ых-нивнг.

— Долго же ты шел ко мне, мой сын, — сказал мужчина.

— Отец мой! — только и воскликнул Ых-нивнг.

Провел бог Девятого неба нашего человека в серебряное жилище, угостил его земным кушаньем: жирной кетовой юколой, ягодой всякой.

— Очень высоко живешь, отец мой, — сказал Ых-нивнг.

— Высоко, потому что большие заботы требуют этого, — сказал бог Девятого неба.

— Какие же заботы занимают тебя? — спросил Ых-нивнг.

— Там, на Ых-мифе, ты много раз видел дождь, много раз слышал гром и каждую ночь видел звезды. Дождь — это слезы людей восьми миров. Могучие кинры и милки горе на

них наводят. Гром — это я скалы обрушиваю на кинров и милков, молнии — это мои стрелы, которыми я поражаю врагов, звезды — это глаза кинров — они высматривают свои жертвы. Много забот у меня. Я знаю, ты большие подвиги совершил. Но на Ых-мифе еще много бед и зла. И много подвигов ждет тебя впереди. У тебя крепкое сердце. Я дарю тебе бессмертие. Только пусть зов дороги и подвигов не покидает тебя.

Закончил бог Девятого неба свою речь, и Ых-нивнг почувствовал, как перевернулась под ним опора и он полетел вниз. Долго летел, пока не упал в море. «Наверно, утону, я ведь не умею плавать», — подумал Ых-нивнг, захлебываясь. И тут кто-то подхватил его и вынес на поверхность.

Смотрит Ых-нивнг, оглядывается: сидит он верхом на дельфине.

Вынес Ых-нивнга дельфин на берег прямо напротив стойбища рода Трех братьев. Встретили Ых-нивнга люди рода Трех братьев, устроили игрища в честь его.

И вечером после игрищ Старший брат сказал:

— Наш гость почетный, храбрый и всемогущий Ых-нивнг, мы считаем для себя великой честью породниться с тобой. Возьми в жены самую красивую девушку из рода Трех братьев.

В это время открылась дверь, и женщины ввели луноликую девушку. Ту, которая лучше всех танцевала на медвежьем празднике. Ту, которая лучше всех сочиняла песни.

Ых-нивнг только и сказал восхищенно:

— Луноликая...

Так и осталось это имя за первой женой Ых-нивнга.

Прожил Ых-нивнг с женой всего одну луну. И опять собрался в дорогу. Надо увидеть мать свою. Услышать ее слово.

Обвязался Ых-нивнг нау — священными стружками, вооружился копьем и саблей, вышел к берегу моря, позвал дельфина. Приплыл дельфин. Сел на дельфина Ых-нивнг, и дельфин унес его в море.

Долго плыл дельфин. Ветер и штормы били Ых-нивнга. Но крепко держался человек и только смотрел вперед. Проплывал он мимо разных островов.

У одного острова он услыхал крики: кто-то звал его. Посмотрел Ых-нивнг и увидел на берегу много вехр.

И тут Ых-нивнг услышал печальный голос Луноликой:

Ы-ы, ы-ы, плачу я.
Ы-хы-хы-хы, плачу я.
Только сердце слышу я,
Слышу, как болит.
Будто ястреб лютый,
Восемь дней неевший,
В грудь мою ворвался,
Сердце там когтит.

Изболелось сердце,
С горя вся иссохла я.
Отчего ж так долго,
Милый, тебя нет?
Вижу: волны резвые,
В радости безумные,
Ветру лишь подвластные,
Мчатся вслед тебе.
Ветер силой полнится.
Я волнам завидую.
Отчего волною
Не могу я стать!..

Повернул Ых-нивнг своего дельфина, поплыл от берега. Но тут услышал за своей спиной ликующие крики. Оглянулся: его догоняют морские милки верхом на большой касатке. Быстро плывет касатка, плавником-саблей разрезает волны.

«Уж не смерть ли меня нагоняет?» — подумал Ых-нивнг и приготовился к битве.

Подпустил касатку ближе, ударил саблей по ее плавнику. Раз ударил, два ударил — перерубил. Копьем пронзил касатку и милков всех порубил.

Ых-нивнг поспешил дальше.

Еще много дней прошло. Много битв он выдержал в пути. И вот увидел Ых-нивнг: впереди воду круто закрутило. «Водоворот», — успел подумать Ых-нивнг, и его унесло вниз.

Наш человек пришел в себя в большом жилье, похожем на жилища людей Ых-мифа. Только построено оно из больших каменных глыб. В нем тоже есть томс-куты — отверстие-дымоход, есть нары для отдыха.

Сидят на нарах две женщины, одетые в одежду из рыбьей кожи, волосы заплетены в две косы. Одна средних лет, другая молодая и необыкновенно красивая.

Женщины разом глянули на Ых-нивнга. Старшая сказала:

— Хы! Это мой сын! Охо-хо, долго я ждала. Ждала, чтобы взглянуть на тебя. Я знала, что ты будешь таким сильным и бесстрашным. Мой дельфин привез тебя. Ты, наверно, голоден с дороги.

Женщина, мать Ых-нивнга, Богиня Восьмого моря, сунула руку под нары — вытащила живого тайменя.

Рыбу она подала молодой женщине.

— Свари. Накорми своего жениха.

Удивляется Ых-нивнг: у него есть жена, красивая Луноликая.

— Ты не удивляйся, сын мой. Я знаю: у тебя есть жена, женщина Ых-мифа. А эта молодая женщина, которая будет сегодня кормить тебя, твоя вторая жена. По нашим обычаям, мужчина имеет столько жен, сколько может прокормить. Эта женщина — добрый дух моря, Дочь хозяина моря — старца Тайхнада. Это она, обернувшись мухой, прилетала к тебе. Я породню людей Ых-мифа с добрым духом моря. И тогда

жители Ых-мифа и их дети не будут знать голода: к их берегам пойдут неисчислимые косяки рыбы и стада нерп.

Дочь моря сварила тайменя. Подала в широкой блестящей раковине — чаше. По обычаю, жених и невеста ели из одной чаши.

На другой день Богиня Восьмого моря сказала:

— Тебя, сын мой, ждет много дел и забот. И у меня их много. Возьми свою жену, и да будет вам счастье на Ых-мифе.

Сели на дельфина Ых-нивнг и Дочь моря. Дельфин отправился в далекий путь через семь морей к берегам Ых-мифа. А вслед за ними поплыли неисчислимые косяки наваги, горбуши, кеты, большие стада нерп и лахтаков — дары Тайхнада и Богини Восьмого моря.

С тех пор прошло много поколений. Потомки Ых-нивнга, дети прекрасных женщин — Луноликой и Дочери моря, заселили заливы и реки Ых-мифа и низовья большой реки Ла-и-Амура.

И зимой, и летом выходят они на заливы и реки ставить сети, и в сети идут косяки жирной вкусной кеты, горбуши и другой рыбы.

ТАИНСТВЕННЫЕ СТРАНИЦЫ

О край мой!
Как много таинственного
и очаровательного
ты можешь рассказать!

РОД ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ

Один из родов, населяющих побережье Лер, носит печальное название П'нягг'огун. Нет, род тут ни при чем. Но ведь во все века соседи не отличались душевной щедростью, не прощали другим их недостатки, неудачи или попросту случайные промахи. Обязательно уцепятся за них, вытащат на всеобщее обозрение, безжалостно высмеют.

Так произошло и с родом, который называется П'нягг'огун. Раньше он назывался по-другому. Возможно, название звучало благородно, отражая действительные качества этих мужественных людей. Но время постаралось позабыть его. И оставило далеко не лестное название.

А род обозвали так вот почему. Люди нескольких родов как-то преследовали медведя. Нагнали. Зверь с устрашающим рыком пошел на преследователей. И тут охотник, стоявший ближе всех к медведю, вместо того, чтобы поразить зверя точной, сильной рукой мужчины, в глухой панике бросился бежать, но споткнулся и упал. Потеряв от страха рассудок, он руками закрыл глаза, чтобы не видеть, как медведь начнет терзать его.

К счастью, медведь проскочил мимо. Охотнику бы опомниться, встать, но он не сделал этого.

Когда охотники вернулись домой, то, конечно, со смехом рассказали о случившемся. О неудачнике сказали, что он от страха п'нягг'огун — «закрыл глаза». Так и прозвали его П'нягг'огун. Но злым соседям этого мало. Этим нелестным словом они обозвали весь род, к которому принадлежал несчастный охотник.

На побережье Лер живет несколько представителей рода Ньоньлакхун. Они пришли на Ых-миф из селения Тахта на Амуре.

«Ньоньлакхун» — значит «мелкие». Действительно, эти

люди даже среди нивхов, не наделенных природой большим ростом, кажутся низкорослыми. Говорят, что ньоньлакхун боялись всего на свете. В кустах ли что зашевелится, бурундук ли пронзительно засвистит — ньоньлакхун бегут в панике. Из-за своего страха они подолгу голодали.

Однажды во время большого года близ их стойбища появился медведь. «Мясо!» — закричали ньоньлакхун и, обезумевшие от голода, набросились на зверя, закололи его копьями.

С тех пор ньоньлакхун как заслышат где-нибудь рев медведя, хватают оружие и дружно нападают на хозяина тайги.

Но соседи утверждают, что они до сих пор не преодолели страх перед бурундуком. Только услышат его свист, ньоньлакхун в панике бегут из леса.

Пилвонгун — так называется род, населяющий западное побережье полуострова Миф-тёнгр. Некогда этот род был большим и могущественным. Их селение называлось Пилво — Большое селение.

Люди рода Пилвонгун жили и на Лер.

С родом Пилвонгун связано много замечательных легенд и преданий, песен и игр.

Раньше нивхи повсеместно держали медведей. Культ медведя — самый многозначительный и грандиозный обряд у язычников. Люди же рода Пилвонгун научились еще и использовать медведей как помощников. Пилвонгун отучали их от зимней спячки, дрессировали, запрягали в нарты.

Встретив собачью упряжку где-то на зимней дороге, впряженный медведь зачастую набрасывался на собак. Нартовые лайки не страдают страхом ни перед кем. Тем более когда их целая упряжка. Стычка откормленного сильного зверя с собачьей упряжкой никогда не заканчивалась благополучно ни для той, ни для другой стороны.

И чтобы медведь не нападал на собачью упряжку, хозяин накрывал его голову полой одежды, гладил и говорил ласковые слова. А в это время каюр собачьей упряжки торопливо объезжал медвежью нарту.

В преданиях говорится, что люди Пилвонгун держали много полуручных медведей. Они свободно расхаживали по селению. Когда подходило время кормления, хозяин стучал палкой по деревянному корыту, и медведи сбегались с ближайших рощ, в тени которых они обычно отдыхали.

Случилось так, что мужчины рода Пилвонгун долго отсутствовали. То ли воевали с кем, то ли еще какая причина заставила их покинуть свое селение. По обычаю, кормить медведей — не женское дело. Медведи стали сами добывать в тайге корм. И одичали. Через некоторое время мужчины рода Пилвонгун вернулись в селение. Но зря они стучали палками по корытам: звери не пришли на их зов.

А сегодня из этого рода осталось несколько человек.

СЫТЫЕ И ГОЛОДНЫЕ

Селение Ныврово расположено на самом Миф-тёнгре — Голове земли. Место богато морским зверем и рыбой. Много веков назад несколько родов облюбовали его для постоянного поселения.

Само название Ныврово берет начало от слова «ныур» — «живот», «требуха». После большой охоты берег залива напротив селения бывал завален отбросами от нерп, лахтаков, морских львов.

Суровое море уступает свои дары только сильным и мужественным. Но не в каждом роду были такие кормильцы. Потому люди одного рода процветали, а другим приходилось трудно. Об этом и рассказывают названия родов, населяющих Ныврово и близлежащие стойбища. Род Ногг' лагун славился удачливыми добытчиками. Во время весенней охоты во льдах охотники добывали столько морского зверя, что весь род со своими многочисленными прожорливыми ездовыми собаками не мог справиться с запасами мяса. И мясо портилось. От селения этого рода далеко разносился дурной запах. И завистливые соседи обозвали людей сытого рода «ногг'лагун» — «вонючие», значит.

Тьорангун — жители лайды. Малочисленный, слабый род не мог уходить далеко от лайды, которая как-то кормила их. В преданиях о них говорят как о самых бедных на побережье.

Однажды по какому-то случаю сошлись люди разных родов. Каждый из них взял с собой запас еды. Только человек из рода Тьорангун не взял ни юколы, ни свежей рыбы. После сытной трапезы у костра кто-то забросил в море обглоданный хвост печеной горбуши. И человек из рода Тьорангун, рискуя погибнуть, бросился в море и достал этот хвост.

С тех пор злые соседи, поедут ли в гости в отдаленные стойбища или примут у себя гостей из дальних стойбищ, потехи ради обязательно расскажут о том, как голодный человек из рода Тьорангун едва не отдал жизнь, чтобы достать со дна моря обглоданный хвост горбуши.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ КЛУБНИ САРАНКИ?

На Миф-тёнгре есть река Каркк-хыф-эри. По-русски название звучит как «Река, у которой копают саранку». Зачем нивхи копали саранку?

Нивх кормится морем, тайгой, добывая рыбу, морского и лесного зверя. Но в его меню обязательно входит и растительная пища: ягода, орехи. А во время родовых праздников

(медвежьи праздники, поминки, кормление хозяина моря) готовят мос — «пищу богов».

Мос — это студень, приготовленный из рыбьей кожи и ягоды. Иногда в него входят и клубни саранки.

Но основное назначение клубней саранки — жертва для многочисленных у язычников больших и малых «хозяев», будь то «хозяин» моря или тайги или «хозяева» угодий, рек, сопки или просто какой-то скалы или болота, от которых якобы зависит жизнь нивха или успех какого-нибудь конкретного дела. Подъедет усталый рыбак к берегу залива или реки, разведет костер и, прежде чем самому поесть, «покормит» хозяина огня: бросит в костер сушеный клубень саранки. А перед тем как лечь спать, «покормит» хозяина местности — разложит под кустом клубни саранки, бросит щепотку табаку и скажет: «Дух счастья, если ты есть, не покидай меня! Чух!»

В детстве я любил ходить вместе с бабушкой копать саранку. Иногда нам удавалось накопать клубней на полный подол бабушкиного х'ухта. И тогда бабушка разводила небольшой костер, пекла клубни и угощала меня «пищей богов». Это были радостные, светлые дни в моем детстве.

Помню, когда впервые покормила меня, мальчонку, картошкой. Мне она понравилась. И я авторитетно заявил:

— Вкусная. Похожа на саранку.

НИВХИ-ОЛЕНЕВОДЫ И НИВХИ-ПТИЦЕВОДЫ

Нивхи были не только рыбаками и охотниками. Кое-кто нашел, что оленеводство тоже может кормить. Но нивхи-оленеводы редко отрывались от моря. Чаще всего они связывали таежных ороков родственными отношениями. И олени нивха-тестя паслись в стаде орока-зятя. Лишь изредка нивх выезжал в тайгу к зяту-ороку. Как правило, любящий тесть привозил зятю гостинцы и подарки: нерпичье сало, круги лахтачьей кожи на арканы — награда за усердие. При этом нивхи и ороки изъяснялись между собой на нивхском языке.

Оленей использовали при перевозке тяжести (волоки лодок), а также на мясо.

Были нивхи птицеводы. Нивхи ловили орлят и гусят. Нивхи давно заметили, что орлы и гуси хорошо переносят неволю. Почти у каждого жильца в стойбищах можно было видеть нёнё-раф — гусиные домики и на нашесте — величавого орла.

Перья орлов и гусей пользовались громадным спросом у энак-качнг — «пришлых иноплеменных людей» (китайских, русских купцов).

На Миф-тёнгре есть озеро, на котором паслись полуручные табуны гусей. Озеро, река и бывшее стойбище так и назывались Мати-нгар от слова «нгар» — «табун гусей».

К'ЭНГ-ВАР-Т'ЛЫ

Мыс К'энг-вар-т'лы (мыс Марии) у жителей Миф-тёнгра пользуется большой известностью. Бурное море, подводные и надводные скалы заставляют относиться с себе почтительно. Если нивх обогнул конец мыса — считается, путь пройден благополучно.

Высокий скалистый мыс далеко отбрасывает сплошную тень. И человек, идущий на лодке вдоль берега с северо-востока на юго-запад, не выходит из тени. А если найдет туман, человек едет вовсе в темноте. А дорога опасная, каждый миг можно ожидать неприятные сюрпризы. И вот наконец обрывается высокий мыс, и человек выходит из тени. И как бы в вознаграждение за мужество над головой будто прорывается небо, и солнце светит ослепительно и щедро, что по-нивхски звучит К'энг-вар-т'лы.

ЛЕНИВЫЙ ЧЫЙВЫНГ И ХВАСТЛИВЫЙ ЧВЫНЫНГ

Как-то охотники из рода Чыйвынгун пошли по следу медведя. Прошли прибрежные бугры, болото, вышли на возвышение, сплошь усыпанное ягодами. Охотники наверняка знали, что медведь пасется где-нибудь на ягоде, и, приготовив луки и копья, начали осторожно обшаривать кусты.

Один из них — ленивый и нерасторопный — жадно набросился на ягоду и стал пригоршнями отправлять в рот. Наевшись, он не последовал за другими охотниками. Наоборот, поразмыслив, что ягода — не медведь, за нею не надо гоняться и не надо рисковать жизнью, он отвязал от лука тетиву, подпоясался и вскоре насыпал за пазуху столько ягоды, что стал вдвое толще. И когда уже подумывал возвращаться домой, услышал рядом тревожные крики охотников и тут же увидел: на него несется огромный медведь! Горе-охотник рванул с места и, не видя ничего под ногами (мешал «живот»), споткнулся о сук, растянулся и со страху закрыл голову руками. Медведь пронесся мимо.

Преследовавшие зверя охотники подбежали и увидели: их напарник лежит в луже крови. Остановились охотники, осторожно подняли пострадавшего. И удивились: из-за пазухи

пострадавшего посыпалась мятая ягода. Некоторое мгновение охотники недоуменно переглядывались. Все это время «пострадавший» улыбался виновато и глупо. А когда поняли охотники свою оплошность, след зверя простыл. Говорят, гнев людей рода Чыйвынгун был велик. Они чуть не избили своего сородича. И чтобы об их позоре никто не знал, договорились не рассказывать о случившемся.

Но находятся и среди мужчин неумеющие укоротить свой язык. О случае на охоте вскоре узнали соседи по стойбищу, от них — близлежащие стойбища. Не прошел еще один сезон дороги, как эта весть облетела побережье Лер, перешла на Миф-тёнгр, оттуда перекинулась на Кэт (восточное побережье) и пошла, пошла, пошла, забавляя седовласых стариков, вызывая ироническую улыбку у полных достоинства юношей...

А вот что рассказывают об одном из Чвынынгун.

Жители стойбища и в туман и в дождь выезжали на рыбалку или на промысел нерп. А этот человек все время сидел дома и сосал трубку. И его семья оставалась на зиму без запасов юколы. Только сочувствием сородичей жили сын и жена человека из рода Чвынынгун. Этот человек не любил промышлять, но любил похвастаться. В стойбище все знали о пристрастии этого человека и не слушали его.

Как-то поехал Чвынынг в дальнее стойбище. Жители стойбища приняли гостя по обычаю, угостили его кто чем мог. А он расхвастался, сказал, что очень богат. Поверили ему люди, одарили подарками. Вернулся Чвынынг к себе с полной нартой подарков.

К началу весны Чвынынг съел все, что привез.

И вот с первым настом у его жилища остановилась упряжка дальней дороги, запряженная одиннадцатью псами. Это жители дальнего стойбища ответно приехали в гости.

Ввалились гости в то-раф Чвынынга, разделись, погрели у очага закоченевшие ноги и стали делиться новостями в ожидании, когда хозяин накроет стол. А хвастун сам с утра ничего не ел. Словоохотливые гости рассказывали всякие пустяки, хозяин поддакивал им, а сам мрачно думал, как выйти из затруднения. Думал-думал — ничего не придумал.

А время идет. Вот уже полдень, а гости все говорят. «Пусть говорят, — решил Чвынынг. — Самому нечего есть. Сделаю вид, что попросту забыл накрыть стол, и начну длинный нгастур. Не перебьют».

Но уже сам не может спокойно сидеть — проголодался очень. Вспомнил, что когда-то в коридоре воткнул в щель между корьем хвост кеты. Обычно нивхи не едят хвост кеты— им кормят собак. И позор человеку, обгладывающему хвост рыбы.

Вышел потихоньку в коридор, нашел мерзлый хвост кеты, развел за жилищем маленький костер, проткнул хвост

прутом и сказал сыну на ухо, чтобы смотрел, когда испечется хвост. Сам зашел домой и стал занимать гостей разговором. Говорит, говорит Чвынынг, а гости то ли слушают его, то ли нет. Только видно, как они все мрачнеют и мрачнеют.

И вот когда Чвынынг начал свой длинный нгастур, вбежал в то-раф мальчик и крикнул отцу:

— Твой рыбий хвост сгорел!

Разгневанный Чвынынг набросился на сына и так ударил, что мальчик упал и больше не поднялся.

Голодные гости запрягли своих собак и покинули хвастливого Чвынынга.

И с тех пор ходит поговорка: «Прибереги хвост кеты, на случай пригодится».

ОТОБРАЛИ ЖЕНУ

Нивхов не коснулось христианство, и они принесли в двадцатое столетие свой первобытнородовой уклад жизни. Устойчивые обычаи язычников трудно подвергались изменениям. У нивхов в течение многих веков сложилась строгая и стройная система родства.

Один род (род ымхи — зятей) мог постоянно пополнять себя женщинами из другого рода (род ахмалк — тестей), но запрещался взаимообмен женщинами между этими родами. В то же время первый род отдавал своих женщин в третий род. Третий род отдавал женщин во второй род. Таким образом между тремя родами устанавливался прочный родственный союз. При этом род тестей занимал преимущественное положение. Оно выражалось в примитивной, чисто утилитарной форме: люди из рода зятей за женщину отдавали юскинд — выкуп, как правило, в виде соболиных шкур, ездовых собак, бытовых предметов. Ахмалки требовали к себе уважения, любви. Гостинцы и подарки от ымхи само собой разумелись. Покажись какому-нибудь ахмалку, что его не очень почитают и обделяют вниманием — быть гневу. Рассвирепевший ахмалк мог забрать из упряжки ымхи любого пса, отобрать лодку, ружье или еще какой-нибудь приглянувшийся предмет.

Довольно часто один род обзаводился двумя или более родами — зятями. В таком случае второй род зятей выбирался территориально как можно дальше, чтобы не было кровосмешения.

Иногда на один и тот же род (особенно, когда он слабый) падали путы родства сразу от двух или более сильных родов. И тогда возникали конфликты, которые, как правило, решались в битве: соперники вооружались тярами — длинными

палками и в бою завоевывали сердца и руки женщин. Довольно часто весь род поднимался в защиту обиженного сородича. И тогда возникала настоящая война между родами.

У нивхов была полигамия. Нивх имел столько жен, сколько мог прокормить. Это совсем не означает, что у счастливого обладателя жены — тунеядки. Наоборот, в нивхском роду женщина трудилась от зари до зари. На ней лежала забота об очаге, уход за детьми, уход за собаками, шитье и много, много домашних дел. Трудолюбие у нивхов особо почитается.

Сильные удачливые охотники имели по нескольку жен, а неудачники, бедные и сироты не всегда имели возможность завести семью. Вот почему излюбленной темой в нгастурах является путешествие сирот, бедных юношей в дальние стойбища за женой.

Не редки случаи, когда сильный род попросту отбирал женщину у человека из слабого рода. Такой случай и произошел когда-то на побережье Лер, о чем рассказывает название стойбища Васких, что и означает: «Отобрали жену».

ДОРОГА ТАЙХНАДА

Добрый морской бог Тайхнад — сотворитель морской живности, кормилец нивхов, вырастил в своем доме на дне Пила-керкка огромное стадо горбуши и кеты. И велел им идти на Ых-миф плодиться. Пришла рыба к побережью земли. В то время берег Ых-мифа не был изрезан реками — рек тогда вообще не было. Подошла рыба к побережью Ых-мифа, потолкалась в прибойной полосе и вернулась к Тайхнаду. Тогда Тайхнад решил пробить на Ых-мифе дорогу, по которой пойдет рыба на нерест.

Вышел Тайхнад из моря у Ныйского залива и пошел по долине вверх. Пошел быстро, оставляя за собой широкую и глубокую борозду и ударяя влево и вправо плетеным бичом из сыромятной кожи. Щелкнул Тайхнад бичом влево — образовался приток Ноглики, щелкнул бичом вправо — образовался приток Пагги, щелкнул бичом влево — появился приток Пилнги (Пиленга). Поднялся Тайхнад по долине далеко вверх. За ним осталась глубокая и длинная дорога, в которую хлынула вода. А слева и справа в эту дорогу Тайхнада втекает множество притоков — следы от бича Тайхнада. Длина дороги Тайхнада по Ых-мифу — четыре дня езды на собачьей упряжке.

Вслед за Тайхнадом в реку и ее притоки валом вошла рыба: горбуша, кета, гой и всякая другая. А Тайхнад прошел новыми долинами — и там появились реки. Чтобы видеть, что он сделал, трудолюбивый старик поднялся на небо, и с высоты осмотрел Ых-миф. Он прошел по небу и оставил там

тропу Тайхнад-зиф[1]. Усталый бог, прежде чем спуститься в пучины моря, прилег отдохнуть на берегу Ых-мифа южнее Лунского залива. Там и сегодня можно видеть отпечаток фантастически огромного тела.

В давнее время, когда нивхи только начали осваивать Ых-миф, мой прародитель перевалил горный хребет и вышел в цветущую долину. Перед ним открылась река, которая потом стала кормилицей многих родов. Первооткрыватель увидел: все притоки реки будто наполнены не водой — рыбой! Так много кеты шло на нерест. И назвал тот первооткрыватель эту реку Тыми — Нерестовая река.

Нашли нивхи, что долина Тыми богата реками и озерами, лиственными и хвойными лесами. И заселили нивхи эту богатую рыбой и дичью долину, построили много стойбищ. Каждой речке, каждому озеру, каждому мысу и бугру дали названия.

Прошло с тех пор много времени. Стойбища эти исчезли. Но сохранились их названия. А они рассказывают о многом.

Уха из тайменя, заправленная черемшой. Начиная от селения Палево (в переводе на русский означает «Горное селение») у истоков Тыми и кончая ее устьем, большинство названий так или иначе связаны с родом занятий древних нивхов.

В Тыми водится крупная благороднейшая лососевая рыба — таймень. Она достигает до сорока килограммов веса. Мясо тайменя белое и нежное, является деликатесом даже у таких рыбоедов-гурманов, как нивхи. Таймень водится по всему бассейну Тыми. Эта рыба любит светлую студеную воду. Особенно много ее в реке с изумительно прозрачной водой, которая так и называется — Кунвд, что в переводе означает: Белая. Любопытно отметить, что и русские назвали эту реку Белая. На берегу реки стояло стойбище Хой-худво — «Селение, где добывают тайменя». Теперь это стойбище переросло в поселок Верхний Армудан.

Известно, что лучшая юкола делается из тайменя. Но тайменя добывали не только из-за его мяса. Раньше, до того как появились на Дальнем Востоке китайские и русские купцы, когда нивхи еще не видели ткани, материалом для одежды служили рыбья кожа и кожа морского зверя. Лучшей считалась кожа тайменя. После обработки она становилась мягкой, как замша.

Из рыбьей кожи шили рубаху, штаны, х'ухт — верхнюю одежду типа халата — и даже летнюю обувь. Богато орнаментированная одежда красива и привлекательна.

Кожа тайменя специальной обработки шла на бубен.

В меню нивхов основное место отводится рыбе и мясу.

[1] Тайхнад-зиф — «Тропа Тайхнада». Так нивхи называют Млечный Путь.

Известно, в таком случае трудно обойтись без растительной пищи — организм требует ее. И нивх заготовляет ягоду и орехи, разнообразную траву: кислицу, черемшу... Черемшу на Ых-мифе особо почитают. Богатая витаминами, острая, она превосходит по вкусовым качествам лук и чеснок.

Нивхи потребляют ее в свежем, вареном, соленом и вяленом виде. Уха из живого тайменя, заправленная черемшой, — разве что-либо вкуснее едало когда-нибудь человечество! — считает нивх.

Черемша растет островками на сырых травянистых лужайках. Много ее рвали на берегу реки Тангвынг-во жители стойбища Тангвынг-во. Оба названия происходят от слова «тангвынг» — черемша. Сейчас Тангвынг-во называется Воскресеновка...

Нивхи любят игрища. Игрища проводились по разным причинам, но чаще всего они связаны с родовыми и сезонными праздниками: будь то удача охотника-медвежатника, проводы усопшего в Млых-во — потустороннее селение — или в честь удачного сезона охоты или рыболовства.

В праздниках большое место уделяется зрелищной части: соревнованиям в беге, стрельбе из лука, в играх на ловкость, поднятии тяжести, национальной борьбе. Местом игрищ может быть любое стойбище. Но жители долины Тыми часто собирались на красивом месте у стойбища Выск-во (Усково). Само стойбище и название в честь игрищ. Выск-во — «селение борьбы» (игрищ).

Кета пошла на нерест! Преодолев огромнейшее расстояние из океана в верховья нерестовой реки, кета наконец у цели. Можно очень точно сказать: у цели жизни. У кеты вся жизнь подчинена величайшему долгу: оставить после себя жизнь. Во имя его кета еще мальком скатилась со студеными горными струями в большую реку, а из реки вышла в безбрежный океан. В течение нескольких лет вольной океанской жизни невзрачный малек превращается в сигарообразную серебристую рыбину весом от шести до двенадцати — тринадцати килограммов. Рыба нагуливается в каких-то дальних водах океана. Но вот в ней заговорил великий инстинкт. Он собирает всю океанскую кету в несколько стад и властно бросает их к берегам Ых-мифа. Огромная, сильная рыба презирает еду и отдых. Отказавшись от еды и отдыха, она с непреодолимым упорством одолевает океан, идет, как по точнейшим приборам, в ту единственную из многих тысяч реку.

Кета точно находит пресную струю «своей» реки.

И вот позади тайфуны, позади зубы кашалотов, акул, нерп, позади многокилометровые сети и стены стальных крючков! А впереди — еще много труда, впереди еще долгий путь. Попав «на пресняк», стройная и серебристая, как ракета,

рыба начинает менять форму и цвет. Ее будто сдавливают с боков. Она становится плоской, как меч, горбится (на спине скапливаются жировые отложения), голова удлиняется и заканчивается «орлиным клювом». Зубы, не очень заметные в океане, в реке увеличиваются и заостряются. Из серебристой кета становится зеленовато-бурой с «тигровыми полосками» на боку.

Все эти изменения связаны с переходом в новую биологическую среду, на новый биологический режим. В океанском просторе, где у нагулявшей силу кеты много врагов, рыба имела защитный цвет — цвет морской пены. В реке, где рыбе нужно преодолеть сильное течение, у нее соответственно изменяется форма. И цвет становится «речной»: бока тускнеют, и на них появляются зеленовато-бурые полосы цвета и рисунка речных водорослей.

Несметными стадами кета врывается в нерестовые реки. Она с непреодолимым упорством стремится в верховья, туда, где река собирает свои чистые студеные струи. Глянешь на реку и видишь: то здесь, то там из воды выскакивают рыбины, похожие на снаряды. Выскакивают, будто хотят осмотреть берега: а далеко ли еще идти? Пролетят над водой, тяжело плюхнутся, чтобы снова с тупым ожесточением преодолевать течение, подводные скалы, быстрины. Встретится на пути перекат, ударит рыба хвостом, стремительно пронесется по каменистой мели, обобьет плавники и хвост, исцарапает в кровь брюхо, но пройдет — где тонкими, как бич, струями, где боком проталкивается посуху.

На перекатах ждет рыбу еще один враг, теперь сухопутный. Всякий таежник-нивх видел, как медведь ловит рыбу.

Наиболее сильное впечатление у меня оставила первая встреча с медведем-рыболовом. Может быть, потому, что первые встречи всегда воспринимаются ярче и надолго запоминаются в подробностях.

Стоял солнечный сухой сентябрь. Начало осени на Ыхмифе всегда солнечное, мягкое. Я шел по прибрежному тополиному лесу с малокалиберной винтовкой за плечами. Рябчики любят этот светлый лес, когда листья будто слегка подпалены и только начинают опадать, а подлесок пестрит зрелой ягодой.

Было тихо. Лишь струи реки бормотали свою извечную речь, да дятел где-то на сопке остервенело долбил сухое дерево, и его стук доносился, как отдаленные хлопки выстрелов.

Пройдя излучину реки, я услышал странные звуки: было похоже, что по мелководью бегают озорники-ребятишки и шлепают по воде веслами. Но откуда взялись эти озорники? Могло случиться, что какой-то рыбак, уступив их настойчивой просьбе (хорошо знаю, как нивхские подростки неотвязно преследуют взрослых, чтобы те взяли их на рыбалку — сам

был такой), выехал с ними на галечный плес, а те, вместо того чтобы помочь снимать улов, резвятся себе, как им вздумается.

Я широко шел на звуки, обдумывая, какими словами пристыдить мальчишек. И... спасибо случаю, что передо мной оказались кусты ивняка. Не знаю, как бы повел себя «озорник», увидев незваного «распорядителя». Но знаю, что медведь, обычно мирный и опасливый, неустрашимо бросается на того, кто, по его мнению, бессовестно претендует на его добычу, честно заработанную собственным трудом.

Сперва увидел высокие всплески, потом в брызгах мелькнуло что-то огромное, темное. Оно упруго взлетело над водой, неловко упало, и под ним разверзлась река. Это был матерый зверь. Низко опустив вытянутую голову, он остервенело погнался за рыбиной. А та, убегая от преследователя, молнией пронзила мелководье и, показав хребтину, ушла на глубину. Раздосадованный зверь на миг остановился, недоуменно взглядывая по сторонам. На шее медведя отчетливо виднелся белый «ошейник».

Сложное противоречивое чувство овладело мной. Я помнил о винтовке. Но и не забывал, что малокалиберная винтовка слишком легкомысленная штука, когда имеешь дело с медведем. Хотя я знаю уникальный случай. Несколько лет назад один из моих сородичей уложил медведя из малокалиберки. И притом с первого выстрела. Маленькая, свинцовая пулька угодила между ребер, прошила толстую кожу и мышцы и проткнула сердце. Но тот случай, повторяю, уникальный. Все равно что с закрытыми глазами попасть ниткой в ушко иголки, которую держат от тебя на расстоянии. Провоцировали меня на действие охотничья страсть и тщеславие: мол, не побоялся идти на медведя с малокалиберкой и вот — добыл. Маленькую и обманчивую надежду вселяло то, что со мной была пятизарядная винтовка. Авось какой-нибудь пулей да угожу в «ушко иголки»...

Но тут медведь властно прервал мою мучительную нерешительность. Он поднял лобастую голову, созданную из самой крепкой кости. Мои пульки сплющились бы в монету, едва пройдя кожу...

Зверь был незлобивый и симпатичный, понял ли он мои намерения или нет, не знаю. Но, увидев, что добыча ушла, зверь быстро развернулся, помчался по гребню переката. На середине реки сошел в глубину, вздыбился, опираясь задними ногами о дно, и... — что бы вы думали? — оглушительно шлепнул широкими лапами по воде! Раз, другой... Потом, не переставая бить по воде, пошел в мою сторону. Медведь брал рыбу нагоном. И действительно, пара рыбин «выстрелила» буквально из-под медведя и забилась на мели. Но пока медведь, вздымая волну, напористо мчался к ним, рыбины бок-о-бок соскользнули на струю и из-под самого носа зверя были таковы. Медведь прыгнул на то место, где еще секунду

назад виднелись бока рыбин, пошарил лапами в воде и, ничего не найдя, опечаленный, сел в воду, тоскливо рявкнул и повел носом вокруг. Он был от меня в каких-то двадцати шагах. И я боялся, как бы разозленный неудачей зверь не вышел на берег и не сорвал на мне зло. Я уже подумывал, как бы удачно ретироваться, когда медведь круто повернулся и, дергая крупной головой, вяло поплелся по камням переката.

Снова дойдя до середины, он выбрал плоский камень, что чуть виднелся в струях воды, и сел на него. Он сидел неподвижно и внимательно глядел перед собой. Раз медведь поднял лапу и почесал за ухом. И мне подумалось, что медведь размышляет, как поступить дальше. В это время к перекату подошла стая кеты. Рыбины штурмовали перекат. Разогнувшись, они с ходу пролетали над мелью. Некоторые из них, ударившись о камни, трепетно бились на месте, но их смывала вода, и они, оказавшись в родной стихии, оживали и снова и снова шли на штурм.

И тут медведь показал свои способности. Поняв тщетность попыток поймать рыбу нагоном, он решил перехитрить ее. Вот медведь застыл. Большая рыба подошла вплотную к камню, на котором сидел зверь, и, по-видимому, намеревалась обойти его. Но тут медведь с молниеносной быстротой нагнулся и грабнул двумя лапами. В когтистых лапах забилась рыбина. Медведь хрумкнул ее зубами, но не стал лакомиться, приподнялся, положил рыбину под зад, сел на нее. И снова застыл. Через какой-то миг вторая рыбина затрепетала в его лапах. И ее положил под зад. И еще через секунду поймал третью рыбину. Зацепил ее неловко, приподнялся над камнем. И тут две ранее пойманные рыбины соскользнули в глубину — одна сама ушла, вторую смыло волной. Медведь даже носом не повел, все его внимание было сосредоточено на третьей кете. Наконец он схватил ее крепко, некоторое время раздумывал, что с ней делать. Решившись, он вынес рыбу на берег и бросил на гальку. И тут же отправился к своему камню. Дошел. Сел, как прежде.

А рыба шла и шла. Медведь теперь подхватывал кету, когда она, стремительно разогнавшись, выскакивала на перекат и, энергично работая хвостом, пыталась протолкнуться через мель. Медведь ловил ее и бросал на берег. Но рыба, не долетев до гальки, звучно шлепалась в воду. И, опомнившись, рваная, обессиленная, опять шла на перекат...

Медведь же ловил новые рыбины и бросал их туда же... в воду. Тупоголовый трудяга, он не мог понять, что нужно всего чуть-чуть добавить его медвежьей силы при броске, чтобы рыбины оказались на суше. А он, бросив кету в сторону берега, даже и не пытался удостовериться, долетела ли она до цели, — его вниманием целиком овладевали другие рыбины, что, обгоняя друг друга, носились под носом.

Занятие медведя должно было чем-то кончиться. Тем бо-

лее он несколько раз взглядывал на берег, где лежала первая кета. По-видимому, зверь намеревался обедать. И я, прикрываясь прибрежным ивняком, осторожно отступил назад и, отойдя на достаточное расстояние, чтобы медведь не услышал мои шаги, быстро пошел прочь.

...Пройдя все преграды, рыба наконец у цели: перед ней нерестовые притоки со светлой студеной водой. Перед последним броском рыбины тысячами скапливаются в тайхуршах — на дне реки.

Какие-то непонятные человеку достоинства самца определяют любовное отношение к нему со стороны самки. Из миллиона самцов самка отдает предпочтение одному самцу, и под его надежной защитой от поползновений других самцов она устремляется на нерестилище. Неразлучная пара долго выбирает место для своего потомства. Но вот самка наконец останавливается, повисает в чистых струях, сильными, энергичными ударами выбивает на галечном дне лунку. А вокруг плавают сотни таких же пар и снуют одинокие холостяки. Избранный самец охраняет свою самку, устрашающе разевает огромную пасть со страшными зубами. Он отгоняет других самцов. Но самку сторожат не только самцы. От нее не отстает множество алчных хищников: форель, кунджа, красноперка... Странно, избранный самец мало обращает на них внимания. По-видимому, для него важнее исполнить сам процесс продолжения рода, нежели защищать свое потомство. Он набрасывается только на тех самцов своей породы, которые норовят лишить его возможности самому совершить великий процесс.

Лунка готова. Самец подплывает к самке, нетерпеливо покусывает, торопя ее. Самка застывает с низко опущенным брюшком. Напрягается. И вот в лунку бьет золотистая струя. Зрелая сверкающая икра ровно ложится на дно лунки. Струя! Еще струя! На беззащитную икру со всех сторон набрасываются хищники. Самка энергично бьет хвостом по гальке, накрывая ею икру. Ее удары приходятся по хищникам, те, ошеломленные, отстают, но тут же снова кидаются под слабеющую самку. И прежде чем над лункой поднимается бугорок из крупного песка и гальки, хищники успевают сожрать десятки и сотни икринок. Теперь дело за самцом. Он становится над горкой. Белое облако накрывает бугорок, молоко проникает в щели между галькой, доходит до икринок.

Оплодотворенная икра будет вызревать до весны. А весной проклюнутся маленькие беспомощные мальки, которые ничем не похожи на будущих громадин-кетин. Мальки сквозь щели выскочат из галечных бугров. Их подхватит течение, и они миллионными стайками скатятся в океан, чтобы через несколько лет огромными серебристыми рыбинами устремиться в «свои» реки. И все начнется сначала...

Исполнив великий долг, рыба слабеет. Обессилевшая, она

вяло сопротивляется течению, бессмысленно тычется в берега, подводные скалы, в топляки. Рыба гибнет, заполняя собой ямы в реке, заваливая берега.

А на берегу вся таежная живность устраивает пир. Тут и медведи, и лисы, и соболи, и горностаи...

Если, читатель, тебе захочется увидеть, как кета идет на нерест, приезжай на берега Тыми. Найдешь в ее верховьях селение Тла-во. Оно так называется потому, что рядом с ним в нерестилищах кета мечет икру. Название произошло от слова «тлад» — «метать икру». Только на карте ты найдешь не Тла-во, а Славо.

Ведь послышалось французскому мореплавателю в нивхском слове Руй его далекое родное Дуэ, и он так и пометил на карте это название. А на первых картах стойбища Тла-во было помечено без изменения. В последующих картах это нивхское название видоизменилось в Сла-во, потом в Славы. На сегодняшних картах стоит Славо. А если ты, читатель, задержишься с приездом на берега Тыми, не удивляйся, если к тому времени, когда ты все-таки решишься в дальний путь, на новой карте будет стоять название Слава, а речка будет называться Славка...

Соседи щедрые и соседи скупые. О северянах вообще и о нивхах в частности обычно принято говорить как о людях неиссякаемой щедрости и доброты. Так оно и есть. Застанет ли тебя в пути буран или кончится в дороге запас еды, будь уверен, что впереди тебя ждет зимовье. А в нем: сухие дрова, спички, еда, соль, чайник. Эта великая традиция в таежных урочищах жива и по сей день. У нивхов, чья жизнь во многом зависела от суровой природы, особенно поощряются такие качества, как доброта, самопожертвование, взаимопомощь. Общинным нивхам было бы тяжело, если бы в людях эти качества почему-либо притупились.

Найдет ли нивх зимой в тайге большое стадо оленей, обнаружит ли озеро, богатое рыбой, — он всегда сообщит своим сородичам, чтобы и те могли добыть себе на пропитание.

Озеро и река, что впадает в Тымь ниже Тла-во, сохранили в своем названии это качество в характере жителей долины.

У всех рыб есть общее: во время нереста они сбиваются в большие косяки. А щука и карась буквально заваливают озера. Особенно много рыбы скапливалось в озере, что ниже Тла-во. И добрые жители близлежащих стойбищ оповещали дальних соседей: рыба пошла! И привилось в народе светлое название этого озера — Ксысачф, что в переводе означает: «Озеро добрых вестей». А речка, протекающая у озера, называется Ксы. Второе ее название — А-дымы (Адамка) — «Нижняя нерестовая река». Отсюда же и Адо-Тымово — название близлежащего селения.

Но и среди нивхов встречались люди эгоистичные, недобрые. Об этом рассказывает другое озеро, что расположено в стороне от Ксы-сачфа. Какой-то нивх нашел, что и в него рыба приходит на нерест. И долго один ловил там рыбу, в то время когда другие терпели голод. Имя того эгоиста не сохранилось, но озеро прозвали Иты-герлачачф, то есть «Озеро, которое долго держали в тайне».

Стойбище знаменитой юколы. У каждого народа есть своя основная традиционная еда. У русских — хлеб, у итальянцев — спагетти, у китайцев — рис. У нивхов такой является юкола — вяленая рыба. Жители побережий лагун пластуют на юколу разную рыбу: навагу, камбалу, красноперку, бычка, горбушу, кету. Каждая имеет свой вкус.

Лучшую юколу готовят жители Тыми. У них отборная юкола из кеты. Отдаленность от моря с его туманами, солнечное лето и сухая осень создают наилучшие условия для вяления рыбы. Распластанная и развешенная на шестах кета как бы всеми клетками вбирает солнечные лучи. Юкола «созревает», как плоды в садах юга. Мягкая и сочная, тымская юкола издавна славится среди нивхов всего Ых-мифа.

В начале весны, когда заканчивается сезон охоты и у мужчин мало дел, в Тымскую долину несутся упряжки дальней дороги с побережья Кэт, со стороны Лер и с других районов Ых-мифа. Гости везут сало и шкуры морских зверей, а щедрые жители Тыми дадут им взамен знаменитую душистую и сочную тымскую юколу. Гостей бывает много, к тому же ни один житель Тыми не упустит случая послать с приезжим гостинцы своим родственникам или просто знакомым — так что юколы требуется много. И житель Тыми заполнял ею по нескольку нё — крытых корьем амбаров на столбах, напоминающих избушки на курьих ножках в русских сказках. Одно из селений на берегу Тыми нивхи и назвали Пото-оо — «Селение, где готовят юколу».

Как охотились древние нивхи. Имчин... Расшифровать название притока в нижнем течении Тыми мне долго не удавалось. Имчин... Имчин... Что кроется за этим названием? Чье это слово? Может быть, его оставила какая-нибудь другая народность, населявшая берега Тыми вместе с нивхами или до нивхов?

А населяла ли Ых-миф другая народность?

Если да, то когда? И почему она исчезла?

Множество вопросов возникало у меня, когда я изучал происхождение названий или записывал старинные предания. На размышления наводили и открытые на Сахалине тулкусы — следы древних городищ и раскопки с находками: глиня-

ные черепки, каменные наконечники стрел и гарпунов, каменные топоры. Правда, в нивхских преданиях и легендах можно найти вышеназванные предметы. Но только ли нивхи в древности населяли север Ых-мифа? — этот вопрос еще требует своих исследователей.

Известно, что вместе с нивхами Ых-миф населяли айны. Но они в основном жили на юге.

Но вернемся к загадочному названию.

Сперва мне подумалось, что это название иноязычного происхождения, возможно тунгусских племен (ороки, эвенки), которые появились на Ых-мифе в девятнадцатом столетии. Но тщательное изучение топонимических[1] принципов этих племен и особенно изучение исторических справок данной местности напрочь отвергли такую возможность. Тогда мне ничего не оставалось, как предположить, что время надежно спрятало истоки этого названия и вряд ли кому удастся расшифровать его. Но оказалось, виной моих мучений (который раз!) является неточная надпись на сегодняшних картах. И меня выручили мои сородичи — старики охотники.

Оказывается, на карте помечено неполное название. При обозначении этой реки «выронили» первый слог — слово «Нга-...» Да и при написании пользовались приблизительными звуковыми изображениями. Дело в том, что нивхская фонетика располагает гораздо большим количеством звуков, чем русская. Для их изображения требуется более сорока знаков. А в русском алфавите 33 буквы. Вот и приходится изображать отсутствующие в русском языке звуки приблизительными знаками.

Так о чем же рассказывает название реки? А вот о чем. Древние нивхи, как и вообще все народности на первобытной стадии развития, не имели совершенного оружия охоты. Чуткий зверь редко подпускал охотника на расстояние выстрела из лука. Потому древнему человеку приходилось придумывать разные способы охоты: подкарауливать добычу у водопоя или у солонца, сооружать всякого рода ловушки.

Но наиболее добычливой является охота нагоном, которым пользуются до сих пор. Но в давние времена, когда дичи было несравненно больше, этот способ широко применялся при охоте на лесного зверя. Охотники делятся на две партии: нагонщики и засадчики. Нагонщики оцепляют большой участок леса и криками и ударами в бубен выгоняют зверей на засадчиков, которые бьют их луками, дротиками.

А в низовьях Тыми несколько видоизменили эту охоту. Один из притоков Тыми в своем верховье имеет излучину с обрывистым оголенным выступом. Противоположный берег поднимается стеной выше выступа. И древние нивхи прекрас-

---

[1] Топонимика — наука о происхождении географических названий.

но использовали эту особенность местности в охоте. Они выгоняли медведей, росомах, оленей и кабаргу из распадков и сопок на оголенный выступ. Зверям деваться некуда — впереди вода, а сзади напирают загонщики. И ничего не оставалось, как пытаться с разбегу перелететь на противоположный берег. Олени и кабарга долетали до противоположного берега, но не выше выступа, и животные, ударившись о стену, падали в воду на скалы. Та же участь постигала и хищников. Засадчики добивали беззащитных, покалеченных зверей. Этим способом охоты нивхи пользовались до недавнего прошлого. И место у реки, где нивхи охотились нагоном, называется Нга-итинг, или просто Итинг, то есть «Место, где звери ударяются».

Должен сказать, что и мне при изображении первого и последнего звуков в данном названии (заднеязычный «н») пришлось использовать два знака «н» и «г», что далеко не соответствует звучанию.

Последний осетр? Река Тымь славится лососевыми рыбами. Но еще тридцать — сорок лет назад в ней вылавливали осетра. Этот по-видимому уже вымерший вид был известен науке как сахалинский осетр.

Некогда в Тыми осетра водилось много. Но в начале нашего столетия он сохранился только в тайхурах — ямах на дне реки. У местечка Парката есть глубокая яма, откуда, как из волшебного котла, доставали эту прекрасную рыбу. В наши дни об этой рыбе совсем не слышно. В последний раз осетра поймали случайно и при моем участии. Это было в 1961 году, осенью. Как-то я приехал к рыбакам в Ныйскую лагуну. Тянул слабый отлив, через полчаса ожидался прилив. А рыбаки на севере Ых-мифа метают невод только в отлив. Сделали последний замет. Подтянули невод к берегу. В неводе билось много сотен больших кетин. И вдруг среди мечущихся серебристых рыбин всплыла громадная темно-бурая спина. Чудовище медленно, расталкивая кетин, подошло к берегу и застыло. Рыбаки опешили. Кто-то крикнул:

— Акула!

Я схватил весло и подбежал к невиданной рыбине. Удивительно, она вела себя совершенно мирно и даже не пыталась вырваться из плена.

Удар веслом. На это чудовище ничем не ответило. Но, очевидно, удар все-таки немного оглушил его. Я быстро продел линь сквозь округлый хоботообразный рот, протащил через жабры. И четверо рыбаков вытянули рыбину на песок. Только теперь громадина «возмутилась». Она стала бить хвостом, переворачиваться набок.

Странно и удивительно было видеть, как эта невиданная рыбина дышит. Она разевала рот не как все другие рыбы,

когда вытащат их из воды. Те обычно гибли тут же. А эта рыбина дышала в буквальном смысле слова: бока вздымались и опускались, жабры работали, как мехи. Больше двух часов, удивляя и смущая видавших виды рыбаков, лежала рыбина на песке и все время дышала. Причем ритм дыхания за это время мало изменился. Рыба водила своими отрешенными глазами, изредка шевелила хвостом. Потом кому-то надоело ждать. Он сказал:

— Давай кончать.

Чтобы не запачкать мясо рыбы, ее снова затащили в воду. Оказавшись в воде, она медленно и удивительно спокойно вильнула хвостом, повернулась головой на глубину. Но топор уже был занесен над ней.

Я измерил эту рыбину. Длина ее — два метра сорок три сантиметра. И что еще поразило: когда вскрыли ее брюхо, в ней оказалось икры на два с половиной ведра! Я никогда до этого не видел осетров и не знаю, свойственно ли им столько икры. Затем я вскрыл желудок. У такой громадины желудок неожиданно миниатюрный, всего с кулак! В желудке я не обнаружил ничего, кроме переваренного тонкого корешка от какого-то растения...

По-видимому, это был последний осетр. И ему наверняка много лет. Он спустился по Тыми, вышел в Ныйский залив, где его и поймали.

Отчего вымер сахалинский осетр? От обмеления Тыми. Некогда она была глубоководной. И в ней водился не только осетр, но и его более древний собрат — огромная, в несколько центнеров, калуга. Об этом говорит название местности у большой ямы в Тыми-Парката. Оно произошло от слова «парккр» — «калуга».

Почему же произошло обмеление Тыми? Главная причина: медленное вековечное поднятие восточного побережья Ых-мифа, о чем известно из геологии. Но и названия местностей отметили этот незаметный для глаза процесс. На заливе Чайво есть остров Тор-нгыр. Словом «тор» нивхи обозначают заливаемые в прилив песчаные острова. Но этот остров сейчас высоко вздымается над водой и сплошь зарос лесом. А название «тор» за ним так и закрепилось навсегда. Значит, поднятие Ых-мифа отметила память нескольких последних поколений.

В подтверждение своей мысли приведу еще ряд названий. Напротив селения Чайво посредине залива тянется длинный бугристый остров Вангркво-миф. В нескольких километрах от северного конца он имеет поперечное понижение, разбитое болотами и озерами. Это понижение сохранило за собой название Мать-тваххх — «Малый пролив». На косе, что выдается в залив Пильтун, что севернее залива Чайво, есть название местности — Арп-тваххх — «Закрывшийся пролив». За несколько сотен километров южнее на косе Лунского залива

сохранилось название бывшего стойбища Ахлнг — «Стойбище у оконечности мыса». Теперь же от бугров, у которых стояло стойбище, тянется длинное понижение. Местные жители утверждают, что стойбище Ахлнг стояло у пролива. А вот и само название говорит за себя: Хитьнги — «Поднявшаяся река». Теперь этой реки нет. Осталось одно русло. Если не прекратится вековечный подъем Ых-мифа, судьба Хитьнги постигнет многие реки...

Бубен знаменитого шамана. В жизни нивхов шаманы играли заметную роль, хотя шаман — такой же рыбак или охотник, как любой мужчина. От камланий шаман имел какую-то ничтожную выгоду в виде угощений или гостинцев.

Шамана нивхи вспоминали лишь в случае необходимости: кто-то заболеет, кого-то подстерег несчастный случай или голод падет на стойбище. Древние нивхи рассуждали так: шаман — посредник между землянами и всевышним духом. А злые духи — милки и кинры — могли общаться с шаманами. Среди шаманов были не только добрые. Бывали и злые. Это настоящие кинры: они могли обернуться медведем-шатуном, морским львом. От них вся беда.

Но назначение шаманов — делать добро. Не всегда усилия шамана достигали цели — это, когда ему мешал другой шаман. И надо того, другого, шамана убрать, чтобы не мешал. Но у того шамана находились защитники — люди его рода. И тогда взаимное нетерпение сильных людей могло вызвать кровавое столкновение между родами.

Чтобы поверили в его святые таинства, шаман обычно шел на всякие ухищрения, с помощью которых «убеждал» сородичей в своем всевышнем назначении. А если ко всему еще он обладал гипнозом — в их глазах выглядел всемогущим. Сильным шаманам, как верил нивх, доступно буквально все. Они могут превратиться в птиц, зверей, стать невидимыми.

Один из притоков в низовье Тыми называется Кказггьо-бангньи, а бугор на ее берегу — Кказггьо-бангнь. В переводе означает: Бугор шаманова бубна.

...Жители низовьев Тыми пригласили знаменитого шамана из селения Чайво, что севернее по морскому побережью на сотню километров. Теперь уже предание не сохранило, чем было вызвано приглашение. Но оно рассказывает о том, как этот шаман провел свое последнее камлание. Во время сногсшибательного танца, в тот самый миг, когда шаман дошел до великого духа, люди вдруг увидели: шаман превратился в вихрь и вылетел в томс-куты — дымовое отверстие на потолке. Великий шаман покинул своих страдающих сородичей. А наутро люди обнаружили его бубен на бугре у реки...

Река священной ямы. В низовьях Тыми в нескольких километрах от Ноглик за рекой, впадающей в Тымь, поднимается плато. На нем какими-то древними людьми вырыта большая яма. И сейчас там можно обнаружить следы огня и кости лесных зверей. Нивхи называют эту яму Уйг'ла-к'уты — «Священная яма». Очевидно, эта яма — место священнодействий древнего жителя Ых-мифа. И река названа именем этой ямы (на карте — Углекуты).

Сегодня в верховьях реки появился нефтепромысел.

ДРЕВНЕЙШАЯ ПОЧТА

Нивхи родами или группами сородичей заселяли обычно примечательные урочища Ых-мифа. Иногда расстояния между крупными стойбищами составляли много десятков километров. Но между ними на каком-нибудь острове или в устье какой-нибудь речки всегда можно было найти одиночный летник или зимник уединившегося нивха. Этими промежуточными станами нивхи пользовались как местом отдыха и ночлега в пути. И конечно, гость и хозяин делились вестями. Через некоторое время этим же станом мог воспользоваться житель другого стойбища. И он вступал с хозяином в разговор, а тот в свою очередь передавал гостю услышанное от первого. И таким способом люди всего побережья обменивались вестями.

Расстояние между бывшим селением Лар-во и селением Чайво более тридцати километров. Между ними, в узком проливе, есть остров, который так и называется Кер-ивланг ур — «Остров, имеющий вести». На лето сюда приезжал рыбачить кто-то с семьей. И этот рыбак был посвящен во все, что происходило на обоих заливах, и был проводником вестей из одного залива в другой и обратно.

Но не всегда вести ползли медленно и лениво. Иногда мирные, занятые повседневными хлопотами рыбаки и охотники могли увидеть на горизонте над голубыми лесами и над сверкающей гладью залива черный столб дыма. И тогда мирные люди вооружались лучшими луками и копьями и, объединенные единым порывом помочь попавшим в беду соседям, устремлялись на их зов... Вангалу — «Бухта битвы», Уанды — «Битва»... Эти названия сами за себя говорят.

Нивхи — миролюбивый народ. Они добродушно «приняли» на свои земли сперва ороков, а во второй половине девятнадцатого столетия другую группу тунгусо-маньчжуров — оленных эвенков. Между нивхами и тунгусскими родами сразу установились добрые отношения. Некоторые орокские рода вошли в родство с нивхами.

Нивхи соседствовали с довольно многочисленными племе-

нами айнов, с которыми исторически сложились добрые отношения. Но время хранит в своей памяти отдельные печальные случаи столкновения между родами двух народностей — аборигенов Ых-мифа.

Но вот пришли на Дальний Восток хищники — промышленники и пираты — и столб Костра Беды все чаще стал взмывать к небу...

Добытчик огня изо всех сил стремится раздуть из искорки уголек. Он до головокружения дует на то место гриба, куда падает искра.

Но вот появляется тоненький дымок, и добытчик огня видит чуть тлеющий алый уголек. Человек с новой силой, но уже аккуратно, чтобы не сбить зародившееся слабое пламя, раздувает огонь, и гриб загорается. Пламя переходит на тонкие сухие щепочки. И пройдет совсем немного времени, как запылает большой костер — источник тепла и жизни.

В разных местах человек подбирал кремень. Но лучшими считались кремни, добытые на небольшом плато у реки Даги. Плато так и называется: Нгак-ивф чир — «Плато, где есть кремень».

«ЖИРНЫЕ» РЕКИ

На острове можно часто встретить природные выходы нефти. Чаще всего о них узнаешь по рекам. На десятки километров реки разносят жирные пленки, выдавая людям потайные места нефтяных месторождений. На острове много названий, связанных с выходом нефти: Ноглики — «Пахучая река», Томи — «Маслянистая река» (впадает в залив Даги), Катангли — «Терпкая река», Ноххти (Нутово) — «Вонючая река», Нохтохнги — «Провонявшая река» (впадает в залив Пильтун), Порпур-кеты (приток реки Набиль) — «Река с дурным запахом», Карсин-Ивнги — «Река, в которой есть керосин» (нефть). Последняя река протекает южнее Лунского залива, не доходя реки Лангери.

У большинства названных рек в наши дни появились нефтепромыслы.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ОКРЕСТНОСТИ ЧАЙВО

Раньше Чайво было крупным селением, где жили люди многих родов. Расположение стойбища удобное: оно стоит на косе, откуда одинаково сподручно добираться как до морской охоты, так и до речной рыбалки. Коса, отделяю-

щая залив от моря, богата ягодными полянами и ореховыми кустами, а в заливе много всякой рыбы и островов с птичьими гнездовьями.

Жители этого большого стойбища жили более зажиточно, чем другие. И у них сложились свои традиции. В сытное время устраивались праздники, посвященные кормлению тайменя (чтобы задобрить бога моря), проводом медведя к богу, всякого рода поминки по усопшим сородичам и другие. Все праздники сопровождались массовыми пиршествами, где любой и всякий считался званым. Во время подобных праздников прекращались межродовые распри.

Обязательными в подобных праздниках являлись спортивные состязания. Любимым местом сборищ считалось местечко Нгармуф. Это чистая поляна, покрытая ягельником. Здесь проходили соревнования по борьбе, прыжкам, стрельбе из лука. Веками на этом месте вели стрелковые соревнования. За все это время было выпущено неисчислимое количество оперенных стрел. Стрелы ломались, гнили, а перья оставались. И их скопилось так много, что местечко так и назвали: Нгармуф — «Место, где много перьев».

За Нгармуф расположено местечко, которое никому нельзя посещать. Оно называется Тиглаф — «Запретное место». Отделяется от Нгармуф песчаным бугром.

Нивхи мертвецов обычно сжигают. Но нельзя сжигать утопленников. Утопленник не гибнет. Его забирает злой дух.

Утопленников хоронят на одном, священном месте. У чайвинцев этим местечком и является Тиглаф. Туда нельзя ходить — иначе тебя постигнет судьба тех, кто здесь похоронен.

Севернее по косе есть бугор Чингай-ирнпг-уланг. Здесь некогда стоял вырезанный кем-то идол, которому и поклонялись жители Чайво.

А еще дальше к северу в залив выступает красивый мыс. Он покрыт ягельником, травой. После утомительного сбора ягоды женщины выходили отдыхать на этот мыс, где гуляет легкий бриз и меньше комаров.

А название этого местечка — Хорккоф, то есть «Место приятного отдыха».

Чуть дальше Хорккоф Чайвинская коса сужается. Напротив перешейка далеко в море простирается подводная мель. На этой мели обычно намерзает большая льдина, на которую выходят полежать нерпы и лахтаки. У перешейка находилось маленькое стойбище, посещаемое охотниками в сезон охоты. Оно называлось Ез-во — «Селение охоты во льдах». Теперь этого стойбища нет, но название местечка осталось.

А еще дальше к северу есть урочище с названием Нё-нёраф. Там нивхи ловили гусей и держали в неволе, чтобы потом, когда они оперятся, аккуратно выщипать с них драгоценное перо для продажи. Нё-нё-раф — «Жилье гусей».

На противоположном берегу узкого залива на мысу раньше стояло стойбище Кинр-во, а мыс называется Кинр-во-вагр. Есть предание, в котором рассказывается о трагическом конце этого стойбища.

В стойбище жили шесть братьев, удачливых добытчиков. Случилось так, что все братья ушли на охоту. Дома осталась женщина с ребенком в колыбели. В отсутствие мужчин на стойбище напал медведь. Он задавил всех цепных псов. Потом забрался в жилище братьев через томс-куты — дымовое отверстие на потолке. Зверь-разбойник задавил женщину, но ребенка не тронул.

Вернулись с охоты шестеро братьев. По следам узнали о случившемся. Шестеро братьев, сильных и храбрых мужчин, пошли по следу медведя-злодея. Прошли они кустами, марью и на возвышении увидели зверя. Напали на него. Копьями пропороли, саблями изрубили на куски. И сказал самый старший: они не медведя растерзали, кинра — злого духа — убили. Обыкновенный медведь сам не нападает на человека.

Вернулись братья в стойбище, совершили обряд — похоронили женщину. И покинули свое стойбище и назвали его Кинр-во — «Селение кинра».

У Кинр-во в ложе залива заканчивается впадина, и отсюда идет обширная отмель. А впадина начинается от мыса. По внешнему виду мыс очень похож на кита, вылезшего наполовину из воды.

Вот как в народе объясняют, почему в заливе есть впадина — фарватер и почему впадина не идет до конца залива. Раньше залив был сплошь мелкий. В один из дней из моря в залив Чайво вошел кит. То ли за стаей мелкой рыбы погнался, или какая другая причина заставила его войти в залив. Долго шел морской великан, пробивая глубокое русло. Прошел кит по заливу вверх. И все бы обошлось благополучно. Но и тут на свою беду увидел кит на берегу беременную женщину. И тут же обернулся землей-мысом. Нельзя смотреть на беременных женщин не только мужчинам, но и всему, кто имеет глаза. Иначе каждого ждет судьба кита.

Там, где прошел кит, появилось глубокое русло — фарватер. А за мысом отмель так и осталась, потому что туда не прошел кит.

Южнее Кинр-во есть местечко Хой-вызф. Здесь перед сезоном рыбной ловли символически «кормили» духа рыбы хой — тайменя, чтобы дух направил эту рыбу в сети нивха. Когда какой-нибудь охотник или рыбак пристанет к этому берегу, он обязательно должен принести жертву, бросить в воду пищу богов: мос, клубни саранки, щепотку табака. Иначе, как считал нивх, ждет его плохой сон — будут тревожить духи за непочтение к обычаям. И если тебя обойдет удача в рыбалке — ругай самого себя.

НГА-БИЛЬ

Я люблю произносить названия вслух. Произношу по многу раз. Вслушиваюсь не только в смысл слов, но и в звуки, составляющие их. Слушаю, как стихи. Или музыку. Таинственные, они могут не только поведать что-то, но и вызвать определенное настроение. И лишь потому, что звучат так, а не иначе.

Как-то у меня собрались поэты. И я высказал им свою мысль. Разговор заинтересовал присутствующих. Среди моих гостей был армянский писатель Карпис Суренян, с которым меня познакомили накануне. Он вмешался в разговор и вот что рассказал.

Однажды французский писатель Люк-Андре Марсель присутствовал в Париже на вечере армянской музыки. После исполнения одной из песен композитора Комитаса писатель подошел к пианистке и сказал: у народа, создавшего такую музыку, должна быть хорошая поэзия. И если так, хотел бы ознакомиться с ее образцами. На другой день дядя пианистки, у которого нашлась поэма «Книга трагедий» средневекового армянского поэта Григора Нарекаци, прочитал писателю начало поэмы. Писатель внимательно прослушал и вдруг спрашивает: не о таком ли предмете говорится в поэме? — и... действительно угадывает содержание прочитанного. Собеседник изумлен до крайности и спрашивает: знает ли писатель древнеармянский язык? Последовал ответ:

— Нет, не знаю.

— Как же в таком случае вы поняли, о чем говорится в поэме?

— Я угадал по звучанию слов и по музыке стихов.

Кстати, эта встреча имела замечательное продолжение. Люк-Андре Марсель так увлекся поэмой, что изучил армянский язык и великолепно перевел ее на французский и издал отдельной книгой.

По-видимому, есть в звукосочетаниях почти неуловимая и трудно объяснимая прелесть, какая-то сила, вызывающая у людей, чувствительных к словозвучаниям и обладающих обостренным воображением, определенные ассоциации.

И я подобрал несколько названий. Среди них было название Нга-биль. Один из поэтов сказал, что не знает языка, в котором эти звуки имеют смысловое значение. Но тут же почему-то стал ходить взад-вперед и беспрестанно с какой-то внутренней сосредоточенностью повторять слова: Нга-биль... Нга-биль... Потом остановился и, глядя куда-то мимо нас, вслух произнес: «В них что-то есть. Что-то светлое, радостное, весеннее...»

И я рассказал своим гостям о происхождении названия Нга-биль.

У нивхов с этим названием действительно долгое время

было связано радостное. Еще и поныне ходит выражение: «Благополучно, как в Нга-биле». Иронией судьбы это выражение сегодня звучит парадоксально. Некогда залив Нга-биль был одним из самых благодатных мест Ых-мифа. В него впадает много лососевых нерестовых рек, побережья богаты озерами с дичью. В окружающей тайге водились соболь, лиса, медведь, олень и всякий другой зверь. Самым замечательным было то, что в заливе много островов с крупными лежбищами сивучей и нерп. Где водились рыба и зверь, там поселялся нивх. И в прошлом веке на заливе Нга-биль стояло несколько стойбищ. К жителям благодатного края ездили гости из самых отдаленных мест. Сюда приезжали не просто погостить, но и промышлять крупного зверя.

А название залива в переводе означает: «Место крупных зверей».

Один из поэтов вдохновенно сказал: «Это же стихи!» Второй поправил: «Поэма!»

Почему-то я не рассказал до конца о судьбе залива. То ли потому, что прервали меня, то ли потому, что не хотелось омрачать моих коллег. А я хотел сказать еще вот о чем. В начале нашего века у реки Катангли обнаружили нефть. Впоследствии здесь появилась концессия — нефтепромысел. Японцы знали: они временно здесь хозяйничают, и вовсе не заботились о последствиях. Брали нефть, а об окружающей природе не хотели думать. И нефть отравила реки, берега, залив.

РЕКА КОРМИТ

Река Нга-биль некогда была щедрой кормилицей нивхов. На ее многочисленных нерестовых притоках стояли большие и малые стойбища. Основным видом занятия жителей этих стойбищ была рыбалка и охота на таежных и морских зверей. Так же как и долина Тыми, долина реки Нга-биль славилась обилием и благополучием.

В бассейне Нга-биля были поселения нескольких родов. За ними закреплялись реки и урочища. Одни реки изобиловали нерестовой кетой, другие — горбушей, третьи — тайменем. Особенно много рыбы входило в реку Эвлазнги — левый приток Нга-биля. И сюда на рыбалку съезжались жители близлежащих стойбищ. А кеты шло столько, что создавалось впечатление: река пошла вспять! Каждый рыбак мог заготовить рыбы сколько угодно. Естественно, все время, пока шла кета, люди питались свежей рыбой. А нивхи знают толк в рыбе. Они знают «сладкие» места в рыбине. Это плавники, брюшко, голова. Но плавники и брюшко нужно варить, а голову едят сырой. Так зачем же хлопоты — подавай голову! И ее подавали. Столько, сколько просил каждый. Но ведь на то, чтобы отрезать большую голову, нужно затратить какие-то усилия. Зачем же тратить силу, когда можно вырезать лако-

мые места головы, не отрезая ее саму! А что делать с самой рыбиной, когда завалены все хранилища? С нею поступали очень просто — выбрасывали в реку... А река называется Эвлазнги, то есть «Река, где вырезают лакомые места в голове рыбы».

С рыбой связано не только такое благо, как еда. Но с нее еще и сдирали кожу на одежду. Обработанная рыбья кожа шла на рубаху, на штаны, на верхнюю одежду и на обувь. Мастерицы вышивали свои лучшие орнаменты на одежде из рыбьей кожи. Жители стойбища Чо-изл-во, что располагалось на берегу нерестовой реки того же названия, шили себе одежду в основном из кожи кеты. А название стойбища переводится как «Селение, где одевают рыбу». (Имеется в виду кожа рыбы.)

В лесах долины Нга-биля, в сопках и горах водился всякий лесной зверь. Самой желаемой добычей считался медведь. Удача охотника-медвежатника являлась радостью целого рода, который собирался на пир. Но еще больше счастья испытывали ахмалккун — «люди рода тестей». Они являлись почетными гостями на медвежьем празднике и обычно увозили домой шкуру медведя.

У реки Эвлазнги раньше стояло стойбище Кукубангнь-во. Оно располагалось рядом с высоким бугром. Об удаче жителей стойбища сообщали с бугра бубны. Рокочущие звуки, отражаясь о сопки, далеко разносили радостную весть, приглашая жителей долины на пир. А название стойбища означает: селение у бугра бубнов.

Жители Тымской долины часто посещали Нга-биль. Они приходили охотиться на морского зверя или просто погостить у сородичей, зная, что те одарят их богатыми гостинцами и подарками.

Дорога из Нга-биля в долину Тыми пролегла по реке Аднги, которая берется у основания Нга-бильского хребта. Когда идешь по реке вверх, она будто упирается в стену гор. Ее название так и переводится: «Река, уткнувшаяся в стену».

Любопытно, что во время похода люди разных родов никогда не останавливались на привал в одном месте. Каждый род имел свое место привала. Это связано с тем, что они посвящали определенную местность своему родовому духу, приносили ему здесь жертву, и родовой дух должен был покровительствовать человеку в его трудном пути. Эти местности носят названия родов: Лубочххаукканг — «Роща рода Лубогун», Тым-фингун-чхха-укканг — «Роща людей Тыми».

Долина Нга-биля богата тополями. А из тополя нивхи издавна мастерят быстроходные лодки-долбленки. Лодки нга-бильских мастеров славились повсеместно. Все лодки не только Нга-бильского залива, но и близлежащего Лунского залива сделаны в долине реки Нга-биль. Мне приходилось видеть нга-бильские лодки за двести и более километров к северу.

СОДЕРЖАНИЕ

Романы и повести

Женитьба Кевонгов. Роман 9
Изгин. Повесть 161
Ложный гон. Роман 185
Тынграй. Повесть 283

Рассказы

Первый выстрел 296
У истока 302
Голубые горы 309
Последняя дань обычаю 316

Сказки

Кыкык 327
Бурундук и медведь 329
Мудрая нерпа 333
Тюлень и камбала 335
На болоте 337
Как чайки-крачки стали жить вместе 339

По следам моих предков

(мифы, легенды, предания)

Почему на земле людей мало 343
Кульгин 345
Два подростка и шаман-милк 351
Ымхи и ахмалки 353
Как красавица хотела уйти от людей 355
Девушка и вехр 359
В Млых-во 361
О бедняке, который женился на дочери морской женщины 366
Юноша-сирота и шесть братьев-лентяев 369
Человек и тигр 373
Откуда пошел род Пал-нивнгун 378
О юноше без родственников 381
Предание рода Кршыус-Пингун 389
О морском Тайхнаде и о шамане, который мучил людей 390
Легенда о сироте 392
Приключение двух братьев 394
Ловец форелей 400
О Буктакане 409
Человек Ых-мифа 416

Таинственные страницы

Род тут ни при чем 435
Сытые и голодные 437
Зачем нужны клубни саранки? 437
Нивхи-оленеводы и нивхи-птицеводы 438
К'энг вар т'лы 439
Ленивый Чайвынг и хвастливый Чвынынг 439
Отобрали жену 441
Дорога Тайхнада 442
Древнейшая почта 456
«Жирные» реки 457
Достопримечательности окрестности Чайво 457
Нга-биль 460
Река кормит 461

Владимир Михайлович Санги

У ИСТОКА

Романы, повести, рассказы

Редактор *Т. Мирзоян*
Художники *В. Петров, М. Шевцов*
Художественный редактор *В. Покусаев*
Технический редактор *В. Юрченко*
Корректор *В. Дробышева*

ИБ № 2159. Сдано в набор 27.01.81. Подписано к печати 17.04.81. А10022. Формат 60×90/16. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Уч.-изд. л. 30,66. Усл. кр.-отт. 29,26. Усл. печ. л. 29. Тираж 100 000 экз. Заказ 898. Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

•СОВРЕМЕННИК•